

Феаикс Светов

ОТВЕРЗИ

МИ

ДВЕРИ



Ф. СВЕТОВ

ОТВЕРЗИ МИ ДВЕРИ

LES ÉDITEURS REUNIS

11, rue de la Montagne Ste Geneviève 75005 Paris

Обложка работы Arcady

© LES ÉDITEURS REUNIS 1978

... и так весь Израиль спасется.

(Р. II, 26)



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Зима, видно, кончалась, такая брошенность была в природе, оставленность, как в квартире, из которой хозяева выехали, а новые еще не въезжали. Лев Ильич усмехнулся про себя — переезжал он много раз, и комнат этих, квартир навидался, и каждый раз, открывая дверь нового жилья, чуть ежилась от бесприютности; земля где обнажилась, где покрывал ее слежавшийся мокрый снег, кучи обледеневшего мусора у мелькавших за окнами пристанционных построек, бумага, огрызки в полосе отчуждения, деревья, натыканные без цели и смысла, брошенные куклы без рук, ног, с оторванными головами, пыльные осколки раздавленных елочных игрушек, замусоленные книжки без титульных листов, старые учебники, лыжные палки без колец, аптечные пузырьки, а вот теперь: недостроенный брошенный дом, повалившаяся изгородь, собака, копошащаяся в отбросах, нищие огороды — все улетает, поворачивается перед глазами, поезд грохочет, проскакивая мосты, речки в темных полыньях с тускло блеснувшей рыжей водорослью, и снова стрелки, разбегающиеся рельсы, грязные вагоны в тупиках, и опять голые, брошенные поля со случайными деревьями, ненужными никому, отслужившими свое поломанными стульями, матрасами в желтых разводах с торчащими пружинами...

Лев Ильич всегда любил возвращаться, а уезжал с трудом и редко, волновался, дожидаясь встречи, считал километры, смотрел на часы, ждал и боялся упустить что-то, опоздать, а теперь было какое-то сонное безразличие — устал или что-то сломалось в нем, первый раз так: пусть бы остановился поезд, стал посреди поля, можно лечь на полку, закрыть глаза — все равно.

Он и внимания не обратил, так, отметил как еще одну мелькнувшую за окном подробность, не вздрогнул, просто голову по-

вернул на шум отъехавшей двери и раньше всего увидел, как поехали в зеркале, уходя в переборку, водокачка, столпившиеся у переезда грузовики, поздоровался механически, ничто в душе не открылось, а всегда так чуток бывал до мелочей, загорался, предощущая, — а сколько напрасно предчувствовал! — и все-таки, не зная, угадывал — что-то быть должно. А тут жизнь поворачивалась, гром грянул, а ему было все равно. Устал, стало быть, Лев Ильич, подошел к краю, а здесь уж от него (или не от него совсем?) теперь зависело — пройти мимо или навстречу шагнуть иной жизни, что вот вошла в тесное купе с чемоданчиком, сумкой, расположилась чуть наискосок от него у двери. Он уже разговаривал, что-то отвечал: надо ж так, случайно встретились, вот ведь как бывает, тесен мир, знакомы столько лет, хоть и встречались не часто, последний раз с год назад, — да, да, чуть меньше, под первое мая... — нет, на Пасху! А, да, да, верно, на Пасху у ...их, еще ночью приехали — развощенный стол, свеча в закапанном стеарином, заваленном крашеными яйцами, скорлупой — зеленом, чуть переросшем овсе, разгул такой, странные, пьяные, освещенные неверным светом свечей лица — зачем все это? И вот она, это лицо — да, да! — мелькнуло и забылось.

— Откуда это вы?

— Да тут... Пришлось навестить одну старушку.

— Грязь, наверное?

— Да, едва добралась, до станции километров пять, больше, автобуса не дождалась, промокла, уговорила проводника, а то еще час до электрички.

— Сейчас чаю попрошу, согреетесь.

— Да ничего, спасибо, как-нибудь — скоро Москва.

И тут, как нарочно, проводник с подносом, чай, а у него лимон сохранился, полбутылки водки ("Один пить не могу, а вам в самый раз..."). И вот уже на столе мед в большой — литра три банки ("Бабушка-старушка — нянька наша старая..."), пирог домашний ("Вам же домой, верно, дали?" — "Да ну, обойдутся, он еще теплый, дышит"... И вот со второй полки спускается еще один — третий пассажир, где-то ночью сел, Лев Ильич и не видел его, отвернулся к стене, когда ночью грохнула дверь.

Поезд стоял на станции: "Последняя, что ли, перед Москвой?" — "Нет, еще одна будет через час, а потом — все".

Что-то было в ее лице, что остановило Льва Ильича, подивился — почему не разглядел раньше, так мелькало, не задерживалось — жена и не приятеля даже, знакомого, мало ли их у него, кто-то из друзей с ним поближе был, да и все встречи по праздникам — шум, бестолковщина, и всегда своим так занят — не до кого. Такое круглое лицо, чуть курносое, скулы (ох, намешали татары!), подбородок нежный с ямочкой, глаза с косинкой, спокойные, в

зелень, только печаль в них пронзительная, вот этим, верно, и оставила: такая не постоянно влажная, что пригляделась в темных еврейских глазах, а светлая, холодная безнадежность, тут до отчаяния рукой подать, но вот светятся добротой, внимательные такие, будто еще и его беду готовы на себя переложить, намеки только — ей уж все равно... Ох, сколько всего сразу напридумывал Лев Ильич!

— Вон и сосед не откажется. Видите, сосед, каким нас Верочка исконным, деревенским потчует.

— Не откажусь, у меня правда пусто...

— Да, что там, час-два все и разойдемся, а там, Бог знает: может, и свидимся... Вера...? Хорошо, пусть просто Вера, ну а я — Лев Ильич, так солиднее... Костя? Отлично... Вот и стаканы у нас... Да нужно ли споласкивать — водка... Ну, хорошо, хорошо. Это, как там у Толстого — мед с огурцами? Ну а водка с медом — то же дедовская история — медовуха...

— Нет, тот продукт почище был, без химии.

— А тут, неужто правда, химия? Значит, мало что не пшеничная, ну хоть бы сосна, береза...

— Нет, я вам как специалист, никакой тут березы, самая зараза химическая.

— Да, я и забыл, вы ведь не то химик, не то физик? Что делать, цивилизация, от нее никуда, вот вам плоды ее реальные, просвещения — и ничего, живем, не от водки ж помираем...

Так тепло стало Льву Ильичу, и за окном посветлело, он уж и не глядел на всю эту заброшенность, бесприютность: Вера сидела против него, через стол, мило враз стало, и мусор она выбросила, а он и не заметил, окурки, полотенце с петухом свесилось со столика, мед желтел в миске, и Костя, видно, славный человек, поглаживает смешные, рыжие усы...

— Интересная вещь днем пить, — воодушевился Лев Ильич, — что-то меняется круто, вечером это ритуал, привычно, все равно деться некуда, а днем, словно совершил что-то, тут смелость нужна, шаг делаешь, ломается привычное течение жизни. А часто ли мы на это способны — жизнь вот так самостоятельно переиначивать?

— Фу, нищета какая, — Костя ложку с медом у рта задержал, а глаза у него острые, огоньком загорелись. — Рюмку водки днем выпили — уже и подвиг совершили. Печальная ваша жизнь, Лев Ильич, простите меня, конечно.

— Ну а что ж, и верно, печальная, я про то самое, только смелость нужна самому себе это вслух сказать. Так вот год к году собирается: первый класс, десятый, вуз, одна жена, вторая, ребенок, отпуска... И вот, глядите, вот она печаль наша — снег с грязью пополам, травы и в помине нет, и будет ли?

— Неужто и впрямь думаете, не зазеленеет? — внимательно

взглянул Костя.

— В том и дело, — зашепшил Лев Ильич, очень важным ему показалось объяснить, а как объяснишь чужим людям, первый раз (а не последний ли?) видит их, или чувствовал, понимал — билось то знание в нем, — что нет, не последний раз, не случайно: и встреча здесь, и нелепый разговор за рюмкой водки, так язык ему развязавший. — В том и дело, что непременно зазеленеет, но ведь то трава, а здесь и снег, и грязь, и вся эта заброшенность имеют смысл и предназначение. А у нас все не так, это такая вульгарность — законы природы накладывать на человека. Из чего ей зеленеть, когда все повыврано, а раньше еще смерзлось. Или нет, нет, не раньше, а сперва все расстряслось, выветрилось, а раскисший остаток — водка там, чужой какой разговор, идеи неформившиеся, мысли, родиться не успевшие, так мечта может когда блеснула, память о собственной несостоятельности, да мало ли чего! А потом мартовский мороз, перед концом, и вот все так промерзло глубоко, на сажень, чему уж, простите, пробиться, вылезти?

— Тогда, и правда, плохо ваше дело, — сказал Костя. — Коли неверующий человек, стреляться надо. Чего зря небо коптить?

Лев Ильич поставил стакан на стол.

— Жестко вы со мной, хотя что ж, верно, логично.

— Нет, нет! — глаза у Веры чуть потеплели, увлажнились. ("Надо ж, подумал Лев Ильич, стало быть и отчаяние ее не до конца, доброта там поглубже будет...") — В том и дело, человек тем и отличается, хоть от дерева, у него не только данная заранее программа, генетически или еще как, у него настроения, падения, взлеты... Ёму, может быть, да, кажется, смерзлось, растерял все — нет ничего, а тут и происходит: подул ветер, глядишь, он и сам не знает откуда, а зелень проклюнулась. Зачем вы так говорите, это не жесткость, а холодность, равнодушие...

— Я всего лишь хочу последовательности от человека, если он взялся размышлять, — резал Костя. — А то, знаете, у нашего интеллигента постоянно так вот, все ему плохо — и внутри, и вокруг, и все он на свете знает — что, откуда, зачем. Но, заметьте, смирения при этом ни на грош, полная путаница — одна живем! Но гадости делать все-таки не хочет — по мере возможностей конечно — чего-то стыдится, хотя стыдиться, между прочим, нечего, если ты от обезьяны произошел, а она, как и дерево, от атома. Чего там — бери, что плохо лежит! Но он все почему-то стесняется, в карман не лезет, хоть и готов уже взять, только чтоб видимость соблюсти, что не из чужого кармана, а вроде ему дают за благородство. Но это ладно, он все равно знает, вот что интересно, убежден, ему это вдолбили как правила умножения, что он и венец творения, и звучит гордо, и что мир победит войну, или впрочем наоборот — не в этом суть. Но вот, скажем, жена изменит, с работы погнали, дочка за прохиндея замуж вышла или еще того веселей — влипла, ну, тут он совсем впадает в отчая-

ние, в панику — трава у него уже не зазеленеет! Ну, и стреляйся тогда, все равно лопух из тебя вырастет — небось зазеленеет лопух-то! Или плюнь на свое нелепое благородство, обезьяна не стесняется, нагишом в клетке прыгает, ну и хватай что плохо лежит — все равно хватаешь!.. Но на это уж и нет смелости, печаль, видите. Да не печаль, так, слякоть...

Лев Ильич глядел на Веру, такая в ней была обнаженность, будто и у него не глаза — рентгеновские лучи... "Да это ведь всем заметно!" — вскинулся он. Как же она живет, бедняжка — не солги, не умолчи — все наружу! А что это она так за него переживает, или очень и верно жалок, а несчастенького почему бы не пожалеть — тоже как огурцы с медом, дедовская традиция...

— Вы все не так говорите... — Вера у Кости взяла спички, две сломала, Лев Ильич свою зажег, она прикурила. — То есть, правда все и еще можно бы добавить кой-чего поважней. Но нельзя так, тут опасно: вот вы нашли что-то или вас одарили, а он — гибни? Нет, тут другое, тут удивительная любовь к себе, ослепление... Это верно, все он знает, ни в чем не усомнится и никакой загадки, ну там почему гром гремит или после весны — лето, а феодализм сменяется капитализмом. Это понятно, написано в книжке, а учился прилежно. Но почему он себя так любит? Ведь своей жизнью недоволен, все ругает, надо всем смеется, в окно посмотрит — нелепость, задумается — глупо все, жизнь его висит на волоске, он свой дом строит-строит, таскает по кирпичику, такие муки испытывает — достань-ка кирпич и не запачкайся! — а дом этот разрушить, ну, ничего не стоит — дунет кто посильней, где он, дом этот? Он и боится, ясное дело, нервничает. Но я сейчас про другое. Ему ведь и в голову не приходит усомниться, может, он все-таки в чем-то неправ, не так построил, не туда строит, не на то тратит силы, может, не знает самого главного, чего ради можно б и про дом позабыть, про машину, что с таким трудом, — а ведь как трудно, как ему все трудно достается! Но можно и перечеркнуть свою бывшую жизнь, все начать с начала никогда не поздно... Вот тут вы, Костя, и не правы, когда у человека отнимаете будущее, он еще все может, все у него в руках до самого конца, только надо перестать себя любить. То есть, и эту свою слабость, и свое страдание — неважно, копеечное оно или настоящее — а кто знает, оценить чужое страдание кто может, вы, вот, скажем, мое? И силу свою, и то, чего достиг, и знания... А что он там знает-то, Господи, стыдно сказать, какая степень невежества у нашего интеллигента, в какой бы он области ни зарабатывал свой хлеб! Но он всем своим, собой все равно упоен. Вы на него посмотрите внимательней, когда он что-то там объясняет, рассуждает или высказывает доморощенные умозаключения, когда он хозяин, муж, любовник, отец — такая снисходительность, ему до других совсем нет никакого дела, а слух идет, такой он добрый,

хороший... Навидалась я! Но ведь и правда хороший! Верно, что в карман чужой не лезет, а по нашим временам и то, почитай, подвиг. Вот в чем его главная гордость, тут уж его не тронь — смертельно обижается: как же так, я мог бы схватить, получить, заслуги, право имею, а не беру, не пользуюсь — от них ничего не хочу! А у кого ж ты берешь-то, прости меня, Господи? Он и не подумает, что то, что у него есть, для всех других-прочих недостижимая мечта. Удивительный тут разлад — одно дело его жизнь, беды и проблемы, другое — как живут все остальные. Тут уж они и сами виноваты, они и стадо, и рабы, и сами того заслуживают. Такой, понимаете, иностранец в своей стране... Тошно, с души воротит. Но привыкает человек к такой жизни, вот и я... И уж не тошнит, редко, и с души не воротит — сил нет...

Лев Ильич изумленно смотрел: вот так рентген у него, дедовская традиция, защитила она его, ничего не скажешь. Стало быть, он про нее и понять ничего не смог, а на самом деле все не так — себя она, что ли, защищает, от кого? И как-то они друг друга узнали, с намека, будто разговор у них вчера шел, оборвался на полслове, и что-то знают, что ему невдомек, на него никакого внимания, вроде бы его тут нет, или это все о нем?..

— ...Тут ослепление, — торопилась Вера, щеки у нее порозовели, глаза стали тверже, печаль ушла, ясные такие были глаза. — Я как-то с одной дамой возвращалась, тоже в поезде, подружились в доме отдыха, в Болгарии, между прочим, были. Такая женщина даже знаменитая, стихи пишет, добрая, славная, умная, ироничная, не молодая уже, свои беды, огорчения, но внешне все благоблучно, хорошо и более того — положение и прочее. Стоим, уже ночь, на станции — маленький городишко — дождь только прошел, свежесть, тепло — лето было. А мы не спим, в коридоре у опущенного окна: завтра Москва, дом, она мне про дочерей рассказывает, подарки им везет шикарные... И тут такой хриповатый голос дикторши, ночью особенно так всегда звучит: поезд такой-то, Унгены — Москва отправляется с первого пути... Дернулись и поехали. Понимаете, она мне говорит, а я до сих пор, лет десять назад это было, забыть не могу, понимаете, говорит, а ведь и я могла бы, вот как она здесь... Да, вспомнила, Жмеринка станция называлась, да, да, она — еврейка, может оттуда родом, а может так, ассоциация, все ж еврейские анекдоты про Жмеринку. Могла б, говорит, здесь жить, на станции так же вот работала бы диктором, мало ли как жизнь бы сложилась... И поехала от ужаса, такого презрительно-го ужаса перед тем, что б с ней было, когда она б была не знаменитой поэтессой, а этой хрипчатой дикторшей на бесконечно осмеянной Жмеринке. И это серьезно, искренне, душа ее тогда и верно содрогнулась!

— Бога нет, — сказал Костя. — О чем она стихи пишет, так,

видно, рифмует свои заграничные впечатления с мечтой жить пошкарней, или, как говорят, поинтересней, а результат этого умножения он, разумеется, выражается в сумме прописью... Страшная история, тем более, говорите, человек уже немолодой, перед концом стоит, что она принесет на Последний Суд — эту свою осуществившуюся мечту об удавшейся жизни?

— А будет Суд? — быстро спросил Лев Ильич. — Уверены вы в этом, то есть, я не в метафорическом смысле, а вот чтоб реально?

— А вы его разве не чувствуете, что уж страшнее, когда все смерзлось и в том, что, само собой разумеется, усомнились — что трава зазеленеет?

— А там, — очень важно почему-то стало Льву Ильичу услышать ответ, — а там станут наше добро и зло мерить — взвешивать?

— Оно все взвешено, Лев Ильич, измерено, вы вот подумали о чем-то хорошем, — Вера улыбнулась ему, и Лев Ильич опять изумился обнаженности ее лица — все на нем видно было, хоть и знал теперь, что нет у него ключа, чтоб понять ее, — всего лишь подумали! — а там такая радость на небесах, ангелы крылами машут — вам радуются.

— Интересно как вы сошлись, — высказал Лев Ильич свою мысль вслух, — впервые встретились, чужие друг другу, а будто вчера расстались.

— А я вас видел, — сказал Костя Вере, — в храме на ...ке, мне думается, на Рождество, я запомнил, вы стояли у стенки против левого алтаря, потом к вам церковный сторож еще подходил, или он служба — рыжий, без бороды, верно?

— Я вас не помню, — Вера к нему обернулась, задумалась. — На Рождество я там была, вечером...

Дверь поехала и снова метнулись в глаза Льву Ильичу, утекая в переборку, деревья, гольи, облезлый бугор, а на месте ив в проеме пожилая женщина в плисовой жакетке, в шали, завязанной крест-накрест на груди, и девочка трех-четырёх лет тоже в платочке, в валенках с галошами — тянула ручонку.

— Вы как сюда оказались?! — проводник — красный, распаренный — повернул женщину за плечо. — Сейчас бригадир вам попросит, отойти нельзя, стаканы прибрать...

— Зайди-ка, девочка. — Вера разрежала пополам белую булку, мед налила внутрь, намазала. — Зайдите и вы, присядьте. Куда вы их, все равно до станции. Чайку попьете.

— Не положено, — сказал проводник, — бригадир сейчас придет, вас саму пустил не знаю зачем.

— Спасибо тебе, дамочка, — женщина вытянула девочку назад в коридор вместе с булкой, с нее мед капал. — мы до Москвы так вот с одного перегона на другой. Дочка померла, а отец, ейный вон, сбежал, еще и не родилась внучка. В Москве, говорят, проживает,

такой весельи, лихой, письма ни разу не прислал, не только что денег.

— Как же найдете? — Костя поднялся, выгреб мелочь из пальто.

— А чего не найти, человек не иголка, не затеряется. Да и похожа на него — из одного мешка горошины. Найдем. Мы из самого Барнаула едем, что ж, зря по вокзалам валяемся? Найдем. Бог не допустит оставить сироту, а я уже, вон, и не жилица. Хворая вся. Спасибо вам, гражданин, сироту пожалели.

Лев Ильич, смущаясь от чего-то, достал три рубля.

— Вон, вишь как, — женщина ту же опоясалась шалью, — а ты все бригадир, бригадир. Что мне твой бригадир, когда мы все под Богом ходим... Спаси вас Христос, гражданин хороший, и дамочке вашей душевной с вами радости да детушек...

— Послушай, мать, — сказал Костя, — у нас тут разговор вышел... Да проходи ты, садись, отдохни, и девочка спокойно поест, пусть его приходит — ничего он тебе не сделает. Тебя как зовут, малявка?.. Тоже Верочка?.. Пролезай к окошку... Вот скажи, мать, жизнь у тебя, видать, не такая веселая, вон сколько навалилось: и внучка на тебе, и дочь умерла, и мужа давно нет, верно? А вот предложили бы тебе снова прожить жизнь, и чтоб все не так — жила б в большом городе, ну, скажем, в Москве; была б ученая, книги писала, за границу ездила, портреты б твои печатали в газетах — ну и все, чего надо. Захотела б, или предпочла свою такую ж, как была, еще раз повторить?

— Молодой ты, хоть вон, и усы нарастил. Что ты, мил человек, понимаешь про мою жизнь — веселая она или хоть в петлю? Да хоть бы и в петлю — значит, такое испытание, удержусь или нет от греха, крест приму... У меня, может, такое в жизни было, — вон ты, как кадры в очках — на заводе я в войну работала: "Мужа нет, нация, в армии не служила, в белой, то есть..." Да разве ты меня — погляди получше! — в этих кадрах разберешь? У меня, ух, такое было, что зачем мне твои портреты — чего на меня глядеть, кому? Грех, конечно, вот и замаливаю, внучку доставляю до места. Испытание, или еще, может, чего. А за что мне по второму разу ходить всеми этими тропками? Не такая великая грешница, да такого наказания никогда и не бывало. Только я скажу тебе, последнее дело позавидовать другому счастью или своим перед кем другим погордиться. Кому что положено, так я тебе отвечу, ну и делай, что тебе совесть говорит. А знать, чего на этом выгадаешь — прогадаешь, — не нашего ума дело... Ясно ответила или еще что разъяснить?..

— Вы простите меня, — Лев Ильич от чего-то очень нервничал, с ним такого давно не было: "В детство впадаю", — подумал он, но тут же отмахнулся, — мне очень бы важно, чтобы вы

ответили. То есть, мне это важно, а вам, если, конечно, покажется неприятным, вы не отвечайте, а меня извините... Вы в Бога веруете? То есть, не так, чтоб — а как же, мол, и все тут, а реально, во Христа, в Воскресенье Его, в третий день по писанию, в Церковь, — что в ней не одна только служба и обряд, утешение, быть может и обманчивое, а Бог и верно обитает? — Лев Ильич смотрел внимательно, напряженно, но краем глаза отметил, как Вера к нему обернулась, глаза у нее совсем круглые стали.

— Ты сам-то не русский будешь? — спросила женщина.

— Нет, — ответил Лев Ильич, что-то в нем дрогнуло, — я еврей. Что ж, поэтому отвечать не стоит?

— Христос с тобой, милый человек, а Богородица наша — Мать Божия кто по-твоему была, а святые Апостолы? Я потому тебя спросила, что немолодой уже, в моих годах или помене?

— Сорок семь лет. Полвека живу.

— Видишь как, сколько в России прожил, а такое про Церковь загадываешь. А как бы я жила — не верила? Мужик мой у нас в деревне — я из-под Сасова, Тамбовская была область, это потом, в войну залетела в Сибирь, — озорничал больно, крест сшиб на колокольне. Последний оставался крест, уже служить давно некому было, нашего батюшку еще в антоновщину кончили. Сбил крест, перед деревней выхвалялся, это когда колхозы пошли. Правда, потом — не случись с ним этого, может и отыгралось бы ему его озорство — у нас, чуть погода, всех этих озорников-партийных по-забирали. Прямо под самую Пасху и сбил, а через неделю — выпил, правда, да не очень и пьяный был, тогда на Пасху он и загулял, — икону у меня углядел. Да чего ее глядеть, она, как себя помню, всегда в углу висела — бабкина еще икона. Это, говорит, что еще за темнота такая, что ж, говорит, крест на колокольне сбивать, а в своем доме терпеть? Пошел в угол, поднял руку, да и брякнулся об пол, как стоял. Десять лет потом я его на солнышко выносила, так без ног и пролежал, пока не скоронили. Что ж, скажешь, есть Бог или нет?.. А про церковь ты никого не спрашивай — приходи, стань на коленки, отстоишь службу — чего тогда спрашивать, сам не захочешь. Я в Москву-то еще еду, говорят, церквей много — везде служба. Правда — нет?

— Правда, — сказала Вера, — не так чтоб много, как было, но есть...

— Вишь как живете, а все, другой раз, встретишь кого из города, да из Москвы, жалуются — того, сего нет... Я гляжу, вы тут люди грамотные — поймете меня: мне внучку покрестить надо. У нас нет ничего, бабы, другой раз, увидят мужика с бородой — приезжего, в избу тащат — крестить или венчать, а он и лоб-то перекрестить не умеет. Они теперь, какие из города, все в бороде,

а что толку? Я вот хочу внучку — чтоб в храме, чтоб в Москве — чтоб благодать...

— Зачем в храме? — влез вдруг Костя. — У вас наверно и документов на нее нет. Мы ее и так окрестим.

— Как "так"?.. — нахмурилась женщина. — Найдем документы. Нет, нам в храме нужно — пусть внучка со Христом растет...

— Спасибо вам, — сказал Лев Ильич. — Я очень ваш ответ и ваш разговор запомнил.

— Тебе спасибо. И всем вам, люди добрые, — она низко поклонилась.

— Подождите... — Вера, давно уж заметил Лев Ильич, все хотела что-то сказать, но не решалась. Теперь она встала, оперлась рукой о столик, рука подрагивала. — Подождите! Вы из какой деревни под Сасовым, не из Темирева?

Женщина на нее внимательно посмотрела, поправила плавок.

— Из Темирева мы, а ты уж не из тех ли мест?

— Из тех, — сказала Вера, — то есть, я-то не из тех, а вот моя родня...

— То-то я смотрю, словно бы и видала, а не знаю тебя, хотя где уж — девчонкой ты была, я свойны оттуда.

— Нет, — сказала Вера, — я не жила там, слыхала. Это отца Николая, батюшку, у вас убили в антоновщину?

— Его. Его и убили. Вон как, слыхала, выходит. Хороший был батюшка, царствие ему небесное, отмучился. Меня крестил. И дурака моего отчаянного он же... Да чего я говорю — кому ж еще, один он у нас и был, как себя помню...

Вера схватила со стола банку с медом, завязала ее тряпичей, подала.

— Возьмите, вам пригодится с девочкой, — и руки стиснула на груди.

Женщина только посмотрела на нее, размотала свою торбу, устроила.

— Спаси вас, Господи, — она опять поклонилась в пояс. — Пошли, внученька, а то за нас этому орлу нагорит от бригадира, он и то уж стал на курицу похож...

Дверь с треском задвинулась...

— Вот вам православное сознание в чистом виде. И заметьте, — Костя выжимал из бутылки последние капли в свой стакан, — ей и в голову не пришло, как любому благородному интеллигенту уж непременно бы, качать свои права: хотя бы заявление написала, через милицию его найти ничего не стоит, сразу бы объявили розыск. Она сама его ищет древним способом — подумаешь, Москва, десять миллионов, у нее, вишь, приметы: лихой, веселый и на внучку похож! Найдет, между прочим, не сомневаюсь. А вы правда зна-

ете про того священника?..

Лев Ильич смотрел в окно: поезд опять двинулся, женщина в плюсовой жакетке с девочкой пошли в вокзал, не торопясь, будто и надо им здесь выходить, не оборачивались.

Вера молчала.

— Есть в одном романе, у великого нашего писателя, такое место, — сказал Костя, — помните, наверно? Рогожин спрашивает князя Мышкина, как вы, вот только что, Лев Ильич: веруешь ты в Бога или нет? А тот ему рассказывает про свои недавние, свежие четыре встречи — не помните?

Лев Ильич обернулся, посмотрел на Веру.

— Как я счастлив, что вас встретил, — сказал он вдруг. — Я б и не знаю, что со мной было, когда б не так... Простите, Костя, что за место, не помню?

— Четыре встречи. Первая с ученым человеком — атеистом. Они о том, о сем говорили, только князь его не понял, все он что-то не про то говорил, а про то, видно, и не мог, не знал, что и почему. А потом князь жил в гостинице — там случилось убийство. Два немолодые мужика, из одной, что ли, деревни, много лет знакомые, а один у другого углядел серебряные часы, ему понравились, он взял нож и когда тот, с часами, отвернулся, этот — с ножом, перекрестился: "Прости, мол, Господи, ради Христа!", зарезал и взял часы. Это вторая встреча. А третья — вон какая, вспоминаете? Идет князь по городу, а навстречу пьяный солдат — купи, барин, серебряный крест за двугривенный. Князь и купил — оловянный крестик, сразу на себя надел, он потом с Рогожиным этим крестом поменялся. А солдат тут же отправился пропивать тот крест. И четвертая — самая главная встреча. Князь тогда только-только вернулся из-за границы, знакомился с Россией, видит бабу с ребенком, с грудным, ребенок первый раз улыбнулся, она и перекрестилась. Что это ты, князь спрашивает. А вот, мол, как радость матери, когда первый раз младенец заулыбается, так, мол, и у Бога радость, когда ему с неба видно, что грешник от всего сердца помолится. Вот, вам, кстати, на ваши вопросы и ответ. Князь Мышкин — этот припадочный идиот, или другими словами скажем — Рыцарь печального образа свои первые впечатления от России так и сформулировал: есть, мол, что в России делать, если простая неграмотная баба своим сердцем поняла такую глубокую христианскую мысль. И вот сто лет минуло — есть что в России делать или нет?

— Делать здесь всегда было чего, слава тебе Господи, простор позволяет экспериментировать, а вот делатели подросли ли? Вон вы только что как с интеллигентами круто обошлись, или на эту несчастную женщину с внучкой рассчитываете? — Льву Ильичу снова стало повеселей, хмель, ударивший было в голову, прошел, ясность в нем такая звенела.

— Не на нее. И уж, конечно, не на господ интеллигентов. На Господа Бога надеюсь, на Спасителя нашего Иисуса Христа.

— Верно говорят, о чем подумаете, то и произойдет. Произошло! — одушевлялся все больше Лев Ильич. — Значит, на Бога? Но он, как мне известно, от человека все чего-то хочет. От России нашей дождался, видимо, надо ж, как разделались с колокольной, а уж про священников и говорить нечего. Сначала, значит, все не про то писали-говорили, потом брат брата за часы зарезал, крест пропили, дальше — больше, церкви сковырнули, а вы все на Бога да на бабок надеетесь, которые первой улыбке младенца радуются, — так, что ли?

— Так, — тихо сказала Вера. — В этом, Лев Ильич, может самая главная христианская мысль, об чем Костя говорит, только он резко очень, не так можно и понять. Улыбка эта, которой ангелы или сам Господь радуются, она все прочее перевесит — и зарезанного мужика, и проданный крест, и копеечный атеизм, и даже Архипелаг, может быть. Вот как вы это сердцем поймете, слова этой женщины, сказанные тут, сердцем услышите — и вопросы будут другие, и сама жизнь изменится.

— Я уж слышу вас, Вера, слышу! А мне и это, по моей жизни много — за что, не пойму, такая награда, и не стою словно бы... Простите, если вам неприятно, какие у меня права на такую откровенность.

— А про то никому неизвестно, — все так же тихо продолжала Вера, — кто чего стоит, это только в "кадрах", как она говорит, расценки проставлены на каждом пункте анкеты, а в подлинной жизни все другое, и никаких пунктов нет. Человек только и Господь Бог.

— Да, — сказал Лев Ильич, — крепко вы за меня взялись, а я еще, дурак, сетую — делателей, мол, нет!

— Все это вы по-женски, Вера, поэзия у вас, а Лев Ильич человек, я понял, реальный — какие ему младенцы, — Лев Ильич с удивлением взглянул на Костю, тот важно так говорил, покровительственно, усы ласкал. — Я, правда, сам начал этот разговор, и литературу вспомнил, но это для того только, чтобы выразить мысль, раньше всего, если хотите, о разнообразии русской религиозности. Режет, а верует, крест пропивает — а верует! А потом еще и о природном таланте веры — таком редком даровании, не от ума, тем более не от образованности — сердечном таланте понимать Христа. Это вот наши мудрецы, пророки все никак не могут выразить, все больше не про то говорят, вот их и обвиняют — то в национализме, то в изоляционизме, что, впрочем, одно и то же, то еще Бог знает в чем. Все слова давно скомпрометированы, в тираж вышли — богоносность, скажем. Какая, прости меня Господи, богоносность, когда — не еврей ж в кожа-

ных куртках! — сам православный народ с удовольствием гадил в своих храмах! Здесь именно другое: талант понимания глубины веры — из удивительного страдания, забвения себя. И ведь несомненно — тут история, факты — вся культура на этом стоит, не придумаешь. А про этих младенцев, не забывайте, сто лет назад все-таки написано, к тому же, дело происходило в православной стране — это существенная разница, принципиальная. В семнадцатом году в России Христа действительно предали — и не так, как тот солдат, что крест пропил — не продал, заметьте, а пропил! — но от веры при этом не отказался. И не так даже, как тот мужик, что брата-земляка за часы зарезал — тот Богу при этом помолился, — есть и тут разница. Здесь так предали, что и младенцы, которые улыбаются, и священники, что через день бегают к уполномоченному и еще уж не знаю куда, — не помогут. Какая на нем благодать, соблазн только. Есть мысль более существенная, и если хотите, сегодня более важная, современная, хотя, как это ни странно может показаться, святоотеческая. Дух — Он где хочет дышит, и не только в храме, загаженном жалкими житейскими компромиссами, — а уж как научились сами себя оправдывать!.. Живет, быть может, какой-то человек — и не подумаешь о нем ничего такого, живет себе — и за всех, и за все отмаливает.

— Святой, что ли? — спросил Лев Ильич.

— Где хочет, сказано, — строго взглянул на него Костя. — Вы не смотрите, что я сигарету курю и чужой водкой не брезгаю.

— Это мне не понять, — Лев Ильич снова от чего-то смутился. — Трудно такое постичь так вот сразу.

— Это и я не пойму, — сказала Вера. Она уже увязывала свою сумку, устроивала остатки пирога. Тоже что-то новое услышал в ней Лев Ильич: раздражение или твердость то была? — Откуда вам может быть известно, кто куда и зачем бегают, да и что, если побегал, что с того, какое все это имеет отношение к вашим же высоким словам о сердечном таланте веры — для меня это, кстати, всегда было несомненно.

— Как, то есть, какое отношение? — задохнулся Костя. — Вы что ж, зная про его сотрудничество, поверите в благодать, на нем присутствующую, пойдете к нему причащаться?

— Я не к нему прихожу, — сказала Вера. — Я в храм прихожу — не в "кадры". Я за него вместе с ним помолюсь. Да и с собой бы разобраться, что мне за других решать...

Они подъезжали, вошел проводник с билетами, не поглядел на них, молча отдал, поезд шел все медленнее, дернул напоследок — и встал. Все поднялись.

— Вы меня не бросайте, — зашептал Лев Ильич, — давайте обменяемся телефонами, мне это очень важно, я все плутаю в трех соснах... А ваш, Верочка, у меня есть, кажется...

— Я там не живу теперь, Лев Ильич.

— Переехали?

— Ушла. У меня квартиры еще нет, так что звонить некуда. Я сама вам позвоню, может, кстати, услышите, кто сдает, если не очень дорого... — она уже выходила в дверь с чемоданом и сумкой. Лев Ильич пошел следом.

2

Он перешел площадь, потом подземным переходом широкое, как проезжий тракт, грохочущее Садовое кольцо и углубился в переулки. Такое странное состояние было у него — будто это и он и не он шлепал сейчас по жидкому снегу, сворачивал, не выбирая дороги, просто куда ноги несли. Домой ему не хотелось, это он знал твердо. Старые ботинки сразу промокли, руки он засунул в карманы, а портфель зажал подмышкой.

Ему было хорошо! И вот, собирая и не умея собрать разбегавшиеся мысли, он пытался понять, отчего так уж хорошо ему — не молодому, уставшему человеку, вернувшемуся и все старавшемуся оттянуть возвращение домой, промокнутому и озябшему?..

Выпить ему захотелось, он и не пил никогда вот так, в одиночку, а только с друзьями, по случаю или с женщиной, а тут от сырости, от озноба, неприютности — счастья, звеневшего в нем, и захотелось холодной, чтоб все замерзло, а потом само из себя загорелось, зажглось, расходясь по всему телу.

Он толкнул дверь и оказался в столовой. Час был неурочный, уборка, кто-то там все-таки сидел, он и глядеть не стал, только отметил: буфета нет, значит снова выходить в магазин, под снег... — подошел к кассе.

Блондинка — не блондинка, светленькая, или показалось так ему, с кудерьками, а глаза под тоненькими, наверно выщипанными бровками неожиданно добрые и с усмешкой.

— Замерз, что ли? Платите три рубля за гуляш.

Лев Ильич вытащил деньги, не поняв еще.

— На раздачу, а компот здесь получите, — она выбила чек, быстро — и не глядела вокруг, достала стакан, бутылку початую, закрыла компотом — второй стакан тут же стоял, у кассы, яблочко сушеное плавало сверху. — Пей на здоровье, а то у нас, говорят, японский грипп.

— Ловко как, — Лев Ильич смотрел с восхищением.

— А ты приходи почаще, я тебя еще и не такому научу... Иди,

иди, не пугайся — шутка.

Лев Ильич сел в углу у окошка. "Господи, хорошо-то как!" — все думал он. Водка не холодная была, теплая, компот чуть сивуху перебил, он еще не успел закусить, зажглось что-то внутри, как и ждал. Горчицей намазал черный хлеб, из глаз слезы посыпались, ясно так все ему стало. "Интеллигентская сентиментальность!" — усмехнулся он. Выпил сто грамм и всех вокруг готов целовать — хорошо-то как! Женись вон на этой женщине, комната у нее тихая, старенький телевизор под белой вышитой салфеточкой — "ришелье" непременно, узорчик такой хитрый, кровать с шишечками, или нет, тахта у нее широкая — кровать выбросила, круглый стол под тяжелой цветастой скатертью с кистями, хорошо бы еще абажур, так нет же — люстра с тремя светильниками! Цветочки на окне уж обязательно, гераньки и беленькие занавесочки — "ришелье" с тем же узором. А книг совсем нет, "Огоньки" лежат стопочкой и на стенах оттуда приклепленные картинки. И квартира небольшая, тихая, старушка какая-нибудь еще живет да паренек, может пьющий, а может ушел уже тот паренек в армию — вот и ничего. Утром она на работу, бигуди снимает, сковороду картошки на стол, скатерть заворачивает; он тихонько встает, чайку с картошкой поест, занавесочку откинет, на улицу выглянет, а там — бедненький двор, помойка, собака рыжая бегаёт, ящики старые, почерневшие, деревцо дрожит на ветру... В чем же дело, думал Лев Ильич, ему ж, и правда, хорошо, себя он не обманывал, и не нужно ничего другого, это раньше всегда оно казалось обязательным, столько сил на то тратилось — душевных и всяких. Ему вспомнились шумные, далеко за полночь встречи, рестораны, дорогие духи, громкие споры и рискованные песни, дешевая отчаянность, искренняя увлеченность... А может, возраст, усталость, не зря говорят, натворит человек в молодости, наблудит, а когда сил нет на то ж самое, он и начинает всех призывать к трезвости. Может и так, только это все пошлость какая-то, жалкий такой цинизм, мудрость дешёвенькая, а здесь дело в другом... — легко так думалось Льву Ильичу, быстро. По молодости и думать времени нет, да и о чем думать? О любви? А какая любовь — для себя все это, чтоб повеселей, послаще было, а потом, чуть опомнишься, вину свою почувствуешь — за другого ощутишь боль, станет она к тебе ночами или еще страшной — днем приходит, тогда и услышишь... Стой-ка, обрадовался Лев Ильич, вот и разгадка: все вокруг хорошо, когда тебя любовь коснется, тогда все и кажется славным, но не потому, что тебе хорошо от любви, а из чувства собственной вины, жалости... Да, да, — застешил он, — что прежде тебя только раздражало — ну, твоя собственная слабость, в той — ее слабости — выразившаяся, — тут ты вдруг в этом увидел свою вину, услышал ее, понял, жалко становится до слез — значит любишь... "О чем это я?" — остановил себя

Лев Ильич и заторопился, пошел к дверям.

— Согрелись? — кассирша курила у себя сигаретку, посетитель никаких не было. — Может еще компотику?

— Спасибо, — Лев Ильич уже дошел до дверей, да воротился. — Вы не подскажите, мне бы нужно было... никто комнату не сдает?

— Вам, что ль, надо? Чего подсказывать — у меня и живите, целый день дома нет. А вечером вдвоем веселей... Вот сына провожу через недельку-другую в армию — живите. Квартира тихая.

— Может быть, для себя, — сказал почему-то Лев Ильич, — а может, для женщины одинокой.

— Заходите, как надумаете, найдем, чего там хитрого.

Почти угадал, — усмехнулся про себя Лев Ильич и не удивился; и квартира тихая, и сын уходит в армию, осталось только стол и гераньки проверить. Может быть, и перед этой женщиной чувствуешь себя виноватым, а потому и полюбить ее готов? Вон жениться надумал, а сын вернется из армии, да по шее, по шее! — и опять хорошо ему стало. Он уже по бульвару шагал, посреди, вроде посуше было, снег летел, как зимой, машины с двух сторон только всхлипывали, как тормозили... Вот тебе и весна, думал Лев Ильич, Пасха... Да какая Пасха, далеко еще. Так, значит, год назад я видел ее, чуть меньше, только тепло уж совсем, ночь такая была ясная... "А не тут ли разгадка?.. — он даже остановился, отвернулся от ветра, вытер лицо платком. — Откуда я все это могу знать?" — перебил он себя, не хотелось, боялся он про это думать, что-то случилось с ним, не зря такая размягченность, не от водки ж этой с сушеным яблочком?.. Ему вспомнилась еще одна Пасха, давно, больше тридцати лет назад, он жил в деревне, война, ему тогда, верно, лет тринадцать, нет, четырнадцать, что ли, исполнилось. Теплынь стояла, на пригорках уж совсем сухо. мальчишки учили его играть в бабки, а потом водили по избам: где кулича им давали, где крашеное яичко. Ему еще так странно казалось: есть нечего, он ни о чем тогда и не думал — только б поесть, а тут чужой паренек — и не жалко! И вина тогда он выпил первый раз, красного, помнится, вина, все в голове покатилося. "Христос воскрес!" — поцеловала его хозяйка, где они с теткой жили. "Спасибо", — сказал он. "Да не 'спасибо' — нехристь какой, а еще из города! Воистину воскрес!" — хозяйка была молодая, крепкая, она ему и во сне приходила, подглядел раз с печки, вместе с ее ребятишками спал, как она утром умывалась, сбросила рубашку... "Воистину воскресе..." — согласился он тогда тотчас, до слез глядя на нее...

Нет, не оттуда, подумал он, еще раньше. С нянькой он был в церкви, в Москве, совсем давно, еще отец был дома, лет пять, верно, ему, нянька не велела рассказывать куда ходили. Зимой,

праздник какой-то, темно, свечи горят, душно, запах непривычный, и все, как знают его, все в руки совали — конфетки, еще что-то; страшно. "А ты перекрестись, батюшка, — сказала нянька, — вот и не будет страшно", — и пальцы ему сложила. Он и крестился стоял, а бабки охали да по головке его гладили. "Ты руку, руку-ту поцелуй!.." — зашептала нянька, когда к ним большой кто-то подошел, остановился, тоже руку на голову положил, рука была теплая, большая, не как у отца — мягкая. "Вот и хорошо, — шептала нянька, когда уходили, — ты дома молчи, а то и мне попадет от твоих партийных..."

Вот она любовь откуда, — с умилением думал Лев Ильич, тепло ему стало, и ноги словно высохли, не чувствовали, хоть шлепал по воде, не разбирая. — Они еще про благодать спорят — как ей не быть, когда, верно, сорок лет прошло, а он ту теплую руку помнит!

Но и это еще не все, что-то было у него в душе, чего он никак не мог ухватить, но так важно казалось вспомнить, словно там и содержалась разгадка — вот-вот! — и сердце падало сладко, как на качелях.

Лев Ильич стоял возле ограды церкви, мимо шли старушки, крестились на надвратный образ. Лев Ильич стянул с головы шапку, мокрым снежком так сразу его и облепило, да и шагнул в ограду.

Он часто здесь проходил, редко осмысленно поглядывал на церковь, некогда все было, спешил, дела, а вот какие дела теперь и вспомнить не мог, но что о церкви каждый раз, пробегая, думал, все вспомнил: и о том, как пытался ее возраст определить — восемнадцатый, что ли, век, или поближе — начало девятнадцатого, а может все-таки постарше? спросить бы человека образованного. И как грустно становилось — все старушки, старушки идут в двери. А другой раз совсем молодых ребят увидел, отметил — лица у них у всех отрешенные, светлые, или показалось это ему — видел, что о т т у д а выходят? А вот они рядом с ним идут, вот они вместе на большую улицу заворачивают из переулка, слились со всеми, теми, что бегут, торопятся, и смысла в их беготне никакого... Может, стало быть, ошибается он, может и у тех людей, что ежедневно бегут с ним рядом, смысл есть, откуда он знает, что у кого есть, чего нет, что про другого известно — вот у него есть ли хоть какой-то смысл в его собственной жизни?..

Он тем временем пересек дворик, мелочь раздал, вошел в двери.

Не очень много было народу, он даже удивился, темновато, как в детстве, и запах он узнал, вспомнил, оклады тускло блестя золотом, иконы, он и не различал ничего, вперед продвинулся. Все-таки есть народ, подумал, вон мужик постарше его, исто-

во как крестится.. "Спасителю, Спасителю передай..." — ткнула ему в спину костяным пальцем старуха, глаза на него глянули из-под черного платка — и Лев Ильич увидел все сразу: и священника, появившегося перед закрытыми Царскими воротами, и маленький хор — жалкий какой! — и изображение Спасителя на кресте, и свечки перед ним...

"Господи Боже спасения моего, во дни возвах, и в ночи пред тобою"... — услышал он четкий, хоть и немолодой глуховатый голос, быстрый, как горох. Лев Ильич впервые услышал, прежде все казалось гулом — слова различил... Да вон он еще что вспомнил, — что-то прямо летело в нем, он вокруг смотрел со слезами, вот почему издавна так боялся заходить в церковь. Он заглянул тогда в кладбищенскую церковь, первую жену только похоронил, мальчишкой он еще был — двадцать два, что ли, года: уже успел и жениться, и жена на его руках умерла, он сначала и опомниться никак не мог, и уж совсем потерялся, с могильщиком, который ее закапывал, завел дружбу, в дом к нему зачастил, тот прямо и жил на кладбище — стояла рубленая изба, а вокруг кресты, памятники, комнатка у него была — кровать только влезала и столик, а там жена, сын большой уже... Да, да, вспомнил Лев Ильич про того парня целую историю, он и сын-то не их... Но сейчас не до того ему было вспоминать, он только страх свой тогдашний вспомнил. Он зашел, а скорее вбежал в церковь — прямо против дома могильщика, будто гнался за ним кто-то, — а там гробы, гробы, и не отпевали еще, служба, видно, шла, он ничего разобрать не успел, да и все равно не понял бы, но только из притвора шагнул, дьякон и провозгласил с амвона: "Оглашенные, изыдите!.." Он так и споткнулся, да назад, назад попятился, а с паперти и кинулся прямо вон с кладбища. Плохо ему тогда было... А сейчас услышал, четко так произносились слова...

"Господи, — сказало в душе Льва Ильича, — ко мне ж то опять!" Это ко мне! И тогда было ко мне — не готов, значит, оказался, вот меня и вышвырнуло из церкви, а сейчас, стало быть, пора, время мое пришло, — и все как-то засветилось в нем, вся путаница и пустота его жизни смыслом наполнилась, каждый из его шагов был не случаен — он знал теперь это! — и падения свои постыдные увидел, отчаяние — все шло сюда, вот что он понял: иначе и быть не могло.

Лев Ильич обернулся назад, глаза его сразу уперлись в конторку, за ней старуха... Он все теперь здесь видел!.. Он вытащил деньги, свечки зажал в кулаке, и не заметил, как оказался подле Спасителя, огонек затеплился в его руке, еще бабка подошла, свечку поставила. Он снова обернулся — на него из глубины темной доски Божья Матерь глядела — он поставил вторую свечку.

"Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя имя свя-

тое Его! — Услышал он тот же голос где-то рядом с собой, оглянулся, но теще не разглядел, — Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его!..”

”Не забывай всех воздаяний Его...” — повторил Лев Ильич про себя ошеломившие его слова, отвлекся, пропустил что-то и снова услышал:

”...Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако отцветет: яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творити я...”

— Да ты не мучайся, — старушка рядом со Львом Ильичем глянула на него из-под платка, — вон, извелся весь. Ты перекрестись — легче станет.

Как же, подумал Лев Ильич, я и некрещеный совсем... А пальцы сами сложились, он себя крестом осенил, низко поклонился, ощутил рукой прохладный камень.

— Ну вот, — упорно смотрела на него старушка, — полегчало?

Лев Ильич не мог ответить.

— Ты поплачь, поплачь, батюшка — еще полегчает...

”Как нянька моя...” — с умилением думал Лев Ильич. Он пошел к выходу, а там, в дверях обернулся и снова перекрестился.

Снег перестал, огни зажглись, он шел переулками и ничего не видел вокруг. Он вспомнил, вспомнил, что мучило его и никак не давалось, вспомнил в тот самый момент, когда с темной доски выступила, глянула на него Мать Божия. Он болел тогда, совсем был маленький, лежал в кроватке с сеткой, и проснулся раз ночью — от чего и не знал. Тишина такая стояла, одеяло отбросил — жарко, а верней жар у него был сильный. Темно в комнате, сквозь морозные стекла с улицы падал свет, телега прогрохотала. Кто-то вошел в белом, он и не испугался, как сон видел... ”Маленький мой, — прошептала мама, — горишь весь”, — и под подушку что-то сунула, одеялом его прикрывала, подоткнула, поцеловала — он закрыл глаза, она и не видела, что не спит. А потом руку под подушку... Проснулся — светло, весело, солнышко бьет в окно, все сверкает — и совсем здоров, хоть сейчас выпрыгивай из кровати. Разжал кулак, а в нем голубенький образок: женщина с ребенком — Мать Божия с Сыном...

Знал, знал Лев Ильич, откуда тот образок у мамы, все он теперь вспомнил, потом, спустя много, не так уж давно узнал всю эту историю, но как-то и прошла мимо него, никогда не возвращался к ней — не его была история, да и зачем, к чему она, а вот сегодня — е г о оказалась, и образок тот мамин не случайно, зна-

чит, вошел в его жизнь. Такую странную историю рассказала однажды мама. Болела она, уж совсем перед смертью незадолго, а он все и слушать ее не хотел — успею, успею, страшно было, от себя отгонял мысль, что когда-нибудь поздно будет, да и знал все про нее — так считал. А вот самого главного, выяснилось, и не знал, да и услышав, не счел главным, не понял — и все-то ему некогда было: собственные дела, беды, что казались важнее всего. А мама была рядом, жизнь из нее уходила, а он все о себе, доброту ее ложкой хлебал, не задумывался — бездонна. Да и бессилие свое чувствовал, знал, не может, ничем не может помочь, хоть выпрыгни из себя, от того и со своим раздражением не всегда мог справиться — своей слабостью ее мучил... Усадила раз все-таки рядом: ты послушай, послушай, может задумаешься когда-то. И рассказала. Отца тогда забрали, — но так, еще не до конца, хотя уж все понимали, коли берут — крепко будет, но он еще был в силе, поверить не мог, что и ему та же участь уготована, которая и другим-прочим, он еще хозяином себя чувствовал в своем государстве, сам все ломал до основания, вот "затем" и наступало, а он все не хотел понять, не верил. Это не всем далось то образование, надо ж, тупость такая, — отвлекся Лев Ильич... Пришли три человека, и обыска не было, ничего, он только сказал ей, как уходил, потом говорил, и сам не знает, почему так сказались: "Может совсем, так ты уж прости меня за все..." А прощать-то, ох, было за что, только она все наперед ему простила. Лев Ильич маленьким был, ничего этого не помнил. А следующей ночью ей приснился сон: Божия Матерь пришла — явственно так было, вошла к ней и говорит: ты, мол, завтра пораньше вставай, иди в церковь, к ранней, в ту, что близко возле вас. А войдешь, подойди к конторке, образок увидишь — голубенький. Ты не торопись, может сразу и не разглядишь, второй раз мимо пройди и третий. Как увидишь, купи его и сразу надень на себя. А вернешься домой, заводи пироги, у сына твоего день рождения. Вот и заводи пироги, ни на кого внимания не обращай, кто тебя станет стыдить. И всех зови — справляй день рождения сына. А вечером — вернется... Она так и сделала. Утром побежала в церковь — и не знала никогда, как туда входить, и раз-ду до того не была. Вошла — и конторку сгоряча пробежала — нет ничего! — да она как безумная была, и того, что было-то, не видела. И второй раз, и третий. Еще себя дурой посчитала — совсем ума решилась, рассказать бы кому! — и тут заголубело, увидела! Маленький образок — Божья Матерь с Сыном! С цепочкой. Она тут же на себя и надела. А дома нянька на нее кинулась: какие пироги, простите меня, совсем сбрендила, мол, хозяин в тюрьме и вернется ли, нет, что уж по этим временам себя надеждой тешить, какой там праздник-именины. А она — нет, говорит, ставьте тесто, и родных обзвонила. Пришли брат отца с женой, еще кто-то, понять

ничего не могут, осуждают. А она хлопочет, стол накрывает, ска-терть самую лучшую стелет, ставит вино, закуски... Все сидят, молчат, мрачно, как поминки. А она все в окно, в окно глядит. А потом неловко стало, наливайте, говорит, простите меня, я и правда с ума схожу, а тут в дверь зазвонили — отец стоит...

Как странно, думал Лев Ильич, как странно все это, какая-то неразрывная связь увиделась ему, не логика, нет, а связь истинная меж тем, что билось, дышало в нем, а он и не знал этого никогда, и чем-то еще — единственным, что всю жизнь определяло во-круг него. Она была, эта связь, в жизни его няньки — неграмотной простой женщины, в стихах поэта, которого он с детства любил, повторяя, не задумываясь, а потом все что-то открывал в пленительных колдовских строках, которые он и постичь не умел до конца. То же самое бросалось ему порой в философских отвлеченностях, в системе сложной — все завязано было, такая лестница ему увиделась, по которой сил бы достало взбираться, связанная ступеньками-перекладинами, а сломай ее — досточки бессмысленные. Или семечко прорастет в стебелек, на нем распускается цветочек, а там, глядишь, плод завязывается, когда приходит время. Так и язык, на котором мы говорим и думаем, не просто ж сотрясение воздуха, звуки, выражающие предметы, или наши примитивные желания, чувства: дай, отойди, боюсь. А ведь теми же самыми словами — и его нянька говорила, и те стихи написаны, и ученый-философ излагает свои системы... Он так пронзительно ощутил вдруг свою связь со всем этим — его миром, он переполнен им был, такая любовь в нем захлебывалась — что перед этим были его куцые познания, яркие и умные книги — Господи, сколько он их начитался — модные, оглушительные идеи, грохот современного города, бетон, стекло, ирония, все испепеляющая... Но разве могло все это — и еще сто крат больше, разве могло затронуть то подлинное, сердечную доброту, умственный склад, всю полноту жизни, которая и выливается потом в словах ли его няньки или в стихах, которые в нем повторяются с детства?.. Ну как тут объяснить, мучился Лев Ильич, как сформулировать, чтоб услышали, поверили, что и сила в этой слабости, покорность, смиренность эта не зря, не напрасно, только тут и могло сразу, с того самого дня — десять веков назад, пустить корень, зазеленеть, расцвести то, что еще тысячу лет до того было брошено в мир, и вот нашло почву — проросло. А все остальное: зверство и рабство, корысть и трусость — все другое, другое, — торопился Лев Ильич, — это в сторону, это к главному не имеет отношения... "А может имеет все-таки? — спросило что-то в нем. — Как ты ловко — или трусливо? — отмахиваешься, ой, не отмахнешься..." Но это потом, думал Лев Ильич, нельзя сразу, сейчас к нему главное пришло, его чтоб не потерять, не потопить, — он испугался даже —

опять один останется! Он понял главное, оно в том, что никто не мог и не смог изменить, а уж как старались, что вытворяли на этой земле, чем только не утюжили, и до сих пор...

Перед Львом Ильичем, как блеснуло что-то, завеса разорвалась, до того все скрывавшая. Не нужно торопиться, сказал он себе. Мне главное ясно, а остальное потом, потом, только удержаться, чтоб не потерять...

Он поднял голову и изумился, что пришел. Он стоял возле своего дома, распахнутая дверь открывала темный подъезд. Ну, раз пришел, подумал он, так тому и быть, что ж я буду бегать от дома.

Он стал подниматься по лестнице, лифт был занят, он пошел дальше, какие-то люди спускались навстречу, громко так, возбужденно переговаривались. "Похороны что ль?" — подумал он почему-то. Прошел еще марш, люди толпились у открытой двери. Конечно, случилось, шум там был как на вечере в провинциальном клубе... "У Валерия... — мелькнуло в нем. — Умер кто-то..." — испугался он вдруг.

— Левка! черт, приехал все-таки! А я думал, не повидаемся...

Его уже тянули, тормозили, расстегивали пальто, он протиснулся вперед, люди стояли в коридоре, как в троллейбусе в час пик.

— А я Любу спрашиваю, — сыпал Валерий, у него белая рубашка расстегнута, лицо потное, глаза влажные, блестят, — едва ли, говорит, успеет. Завтра, завтра улетаем... Ребята, Лев Ильич приехал!

— Постой, — сказал Лев Ильич, — куда это улетаем?

Но того уже оттащили, он исчез в толпе. Лев Ильич разделся, бросил пальто — целая гора их лежала прямо под вешалкой на сундуке, мелькали знакомые лица, где-то он их всех видел, знает, он втиснулся в комнату — и сразу увидел Любу: она сидела за разгромленным столом — бутылки, стаканы, закуска брошенная, недоеденная, вокруг гул стоял, как в туннеле, она с кем-то оживленно разговаривала, он взгляделся, тоже вроде знакомый. И тут только поднял на него глаза: "А он зачем здесь?" — подумал Лев Ильич, узнав Костю.

Он, конечно, уже догадался, вспомнил, понял все, что тут происходит. Эгоизм какой, подумал Лев Ильич, так собой занят,

что позабыл о том, что происходит с товарищем, должно было произойти. А может, это и не эгоизм был, а просто поверить никак не мог, что то, о чем они болтали, спорили, обсуждали — так вот, вдруг, могло реализоваться? Такая у нас консервативность мышления, не поспеваем за жизнью, все давно изменилось, ежедневно меняется, а мы все меряем прежними своими соображениями, а главное страхом. Люди-то уезжают, сотни, тысячи, десятки тысяч людей, а еще пять лет назад об этом кто думал, разве что на остер за это шли. А теперь нормально — жутко, конечно, постыдно, омерзительно, но нормальная наша жизнь — ты ж в результате получишь не какую-нибудь прописку в Москве — совсем выпрыгнешь. Главное тут в другом — решишь, плюнь на всю эту жизнь, прокляни ее в душе, или оплачь — это уж от опыта, темперамента или от совести — придумай себе оправдание: не только, мол, себя, шкуру свою спасаешь — Россию, за дорогих тебе людей будешь хлопотать, правду расскажешь про нашу жизнь, кричать станешь на весь свет, пока не охрипнешь. Ох, только быстро там что-то все хрипнут, голос теряют, или быстро приходит понимание, что здесь у нас акустика будет лучше — отсюда и шепоток слышен, а там кричи-не кричи — лес глухой, каменный.

И то и то правда. Лев Ильич давно это все для себя решил: каждая судьба уникальна, каждое соображение имеет свой резон, чего там общие рецепты выписывать. Да что уж там — столько про это обговорено, пересказано, но то все теории были, отвлеченности: есть право, нет права, надо об этом думать — не надо думать, может ли быть спасение предательством, или предательство становится спасением — внутренним компромиссом, что естественней — страх или авантюризм? Да все естественно, думал всегда Лев Ильич. У одного предел, болевой порог, как кто-то назвал, далеко запрятан, он и перед смертью об нем не догадывается, а у другого первое серьезное столкновение с жизнью, реальностью вызывает взрыв. Раньше, когда это не с ним — с дальним ли ближним — не с ним ведь! — и не замечал ничего, хоть и любил про это поболтать, а тут, когда самого ухватят за большое место, защемят — нет, мол, хватит, а пошли вы все!.. Но это еще отвлеченность — поговорили, поспорили, перегрызлись — чай пошли пить или за бутылкой сбежали. Но тут — Валерий!..

Лев Ильич оглянулся вокруг — странное это было сборище, и верно, похоже на поминки. Он прочитал в одной книжке, в рукописи вернее — не издана она, и когда-то еще издадут! — эх, пошли бы те книжки, что в Москве — да не только в Москве! — лежат в столах, и не у писателей, ихним союзом дипломированных, а у тех, для кого то, что они пишут, — жизнь, каждый день ими открываемая, для кого фиксация того, что с ними происходит, само находит себя в литературе, действительно становится истиной,

культурой, а раньше всего еще потому, что нет в тех книгах корысти — и внутренней, никакой продажи, это вот ценней всего будет, это сразу чувствуется. Вот в одной такой рукописи и прочел Лев Ильич, и название было прекрасное — "Лестница страха", что эта толкучка — проводы — на поминки похожа, и таким это сейчас точным показалось, жалко не раскрыл автор образ, метафору свою — да и так все ясно! Покойника вынесли уже давно, закопали — и позабыли про него после третьей рюмки, уж за здравье оставшихся пьют, и у каждого крутится в голове: я-то остался, жив куда! Да и своего у каждого столько, вон и сегодня — то, пятое, десятое — а, ладно, гуляем сегодня! Так, взглянешь на вдову — печально, конечно, и сразу, тут же, мысли, хорошо не игривые, лезут про нее в голову, да и про него — покойника, у всех с ними свои отношения, чаще всего непростые, да еще приятеля встретил — и не виделось столько времени: как у него дела узнать, чем-то он там может помочь, надо его спросить, не позабыть... Идут себе поминки, разворачиваются, хорошо, коли поносить не начнут покойника и вдовы не застесняются, или вот еще песнь грянут — и так бывает, покойник, мол, был человек веселый, рад бы был, что так весело его провожали... И такая устойчивая родилась традиция — интеллигентские поминки, вроде бы и обычной старьей, дедовский, и такой юмор ко всему на свете — современный, отчаянность — ничего не страшно, да и кормят как, тоже не последнее дело, другой раз кажется, за неделю готовились... Льву Ильичу неловко стало, очень уж он азартно все это себе наформулировал, — а что там про чужое горе ему известно?

Но тут, и верно, кто-то гитару выгащил, струны тронули, сам покойник... "Прости Господи, — подумал Лев Ильич, — я и сам хорош, дорассуждался..."

— Тише, тише! — закричали. — Валерий будет петь!

— Галича! — крикнули из коридора и все хлынули в комнату, затеснились, лица у всех возбужденные, женщины красивые, глаза блестят, кто-то водку разливает, стаканы передают в коридор, никак не замолчат...

— Да ладно, наслушались...

— Тихо, тихо! Совесть имейте — слово имениннику!

Валерий настраивал гитару, ногу утвердил на стуле, влажные волосы упали на лоб. Красивый он какой парень, подумал Лев Ильич, не стареет. Неужто и правда никогда его больше не увижу?

— Значит Галича? — звонко так спросил Валерий, и рванул струны. Голос у него был сильный, с хрипотцей — самый шик.

— Облака плывут, облака,

Не спеша плывут, как в кино,

А я цыпленка ем табака,

Я коньячку принял полкило.

Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака,
Им тепло, небось, облакам,
А я продрог насквозь, на века!... —

Он отшвырнул гитару, она хрипло так охнула, сел на стул и заплакал. И сразу тихо стало, как опомнились.

— Лева! — крикнула Люба. — Что же ты?

Лев Ильич протиснулся поближе, сел рядом, стул был свободный подле, руку положил Валерию на плечо.

— Чушь все какая-то, — сказал Валерий и за руку его ухватил, — бред. Помнишь, прошлой весной я тебе свою Москву показывал? Ты помнишь, помнишь?..

Помнил Лев Ильич, они тогда загуляли с вечера, Валерий у него остался ночевать, невеселая была история, с женой, думал, расходится, потом все обошлось, Люба ей звонила: у нас, мол, двумя этажами выше, — успокаивала, а утром вместе ушли, пиво пили, как никогда разговаривали. Глупая была история: девочка, только десятый класс кончила, где-то там встретились — Валерий читал лекции про кино, демонстрировал западные фильмы зарабатывал деньги — халтурил, у него как раз на студии начались неприятности, его собственный фильм прикрыли, новый снимать не дали. А тут любовь, страсть — первый раз так, и уж, конечно, последний — а сколько слышал Лев Ильич про такое от него — и все в первый раз, и все, конечно, в последний. Но тут семья, отец каким-то образом в курсе дела, за жениха считают — что ж, что постарше, дело житейское, зато человек с положением, — Валерий приврал еще, что там у него происходит, не рассказывал, а у нее жизнь по высокому разряду: казенная машина, дача в закрытом поселке, то, се, а Валерий тогда как раз об отъезде начал теоретизировать, про то, что еврей, вспомнил, а тут этот жлобский дом — ненавистью дышит, что он наполовину еврей, им и в голову не могло прийти, а то б там дочь загрызли. И как раз совпало — сын Валерия, года на три Наденьки Льва Ильича постарше, поступал в университет, явно завалили, парень талантливый — математик, носом не вышел. Я, говорит Валерий, сам, понимаешь, сам предал своего парня. Отец ее, куркуль, обещал помочь, ерунда, мол, сыну, как же, нужно образование, а там у него везде свои ребята, все сделаем, один звонок, пусть только бороду не отпускает, очень, мол, на этот счет у них строго. А его Борька к тому времени закусил удила, если, говорит, не захочешь уезжать, я что-нибудь такое натворю — один уеду. И уже какие-то у него свои связи, дела, участвует в демонстрациях у посольств, — тот как прослышал, не про демонстрации — куда там! — про боевое настраивание будущего математика, проблемы которого он собирался решить "звонком", а вернее, про его еврейскую кровь, — все

сразу и сломалось, к Валерию и выходить перестал. "Там у них строго насчет этого", — сказал Валерий. А девчонка горит, у них начиналось все шикарно: рестораны, в Ленинград поездка, мастерские художников, актеры — высший разряд! Да и девчонка, верно, красавица, избалованная — ни в чем отказу: никогда не знала, а тут скисла, плачет, поняла, видно, что папочка всерьез грозит оргвыводами, тут не покапризничаешь — основы колеблются. "Зачем мне это все?" — это Валерий спрашивает. И верно, зачем, сказал ему тогда Лев Ильич.

Долго они тогда ходили по городу. "Я тебе сейчас Москву покажу, — сказал Валерий, — мимо тысячу раз ходишь, а не видишь." И правда, далеко не ходили, у дома Пашкова лестница, круглая, баллюстрадка-верандочка, Льву Ильичу и в голову никогда не приходило подняться, а там славная скамеечка — каменная, и как поднимаешься — будто от всего отделился. Кремль — угловая башня, Троицкие ворота, Каменный мост, — а то, что мимо бежит, суеливо грохочет — не видишь, забываешь. А может настроение такое было, — но очень уж хорошо там стало Льву Ильичу. "Я знал, что тебе понравится, — Валерий говорит, — а парню моему уже не до этой милоты — ненависть клокочет, зацепиться ему не за что. А я за что цепляюсь, за колготки только? Ты думаешь, так у нас тогда все тихо и кончилось? Куда там. Меня мой Борька раз с ней увидел, шикарно ехали, черные машины — большой выезд одним словом. Что ж ты думаешь — узнал, или с Борькой кто ее знакомый был, но только они ее нашли, у Борьки с ней был современный разговор, ихний, нам не понять. Он и меня прирежет — ты погляди, погляди на него, я и не думал, что такие евреи бывают, а сколько там у него еврейской крови — четвертушка!.."

Они потом свернули за угол. "Возле самого Пентагона, не доходя, — торопил Валерий, — фонтан знаешь? Да не знаешь ты, никто не знает, за решеткой, вот здесь где-то, перед библиотекой..." И верно, фонтан за чугунной решеткой, как на картине старого мастера, порос какой-то свежей жимолостью, вода тихо сочится, журчит. "Ты послушай, послушай!.. И еще одно место, если не сломали, прямо против самого Пентагона — Мастер там жил со своей Маргаритой..." Они прошли через стройку, через что-то перелезли, вдоль заборчика, толкнули калиточку — тихий такой зеленый дворик, дома двухэтажные покоем, скамейка под деревом... "Ее, что ль, сюда водил?" — спросил Лев Ильич. "Да я их всех сюда вожу — у меня маршрут один, и все остальное одно и то же. Мне товарищ показал, тот, правда, не для этого только собирал коллекцию. Такой был московский человек — не нам чета, он тут все печенками чувствовал, тоже, между прочим, уехал — попробуй объясни! Теперь на земле Обетованной, а уж такой здешний человек, я и представить города без него не могу, все кажется,

вот-вот из-за угла вывернется — маленький, чернявый — цыганенок, да ты видел его у меня, Сережа... Уж как он всю эту Москву собирал, когда чего ломали, это для него было — как руку ему режут, хоть и пошучивал все, — как он там по чужим закоулкам шастает? Или получше нашел?..”

— Помню, — сказал Лев Ильич, — у меня память дурная, я даже все, что ты мне тогда говорил, помню — и про Сережу не забыл. Это навсегда. То есть, ты, вот, все равно останешься со мной.

Валерий поднял голову, в глазах стояли слезы.

— Простите меня, выпил видно лишнего...

— А по мне, ты тут единственный нормальный человек, то есть, ведешь себя естественно, — Лев Ильич глянул на Любу, очень уж она на него требовательно смотрела. — Мы вот с тобой и видимся последнее время редко, и разговариваем мало, но это не важно, мне всегда кажется, ты мне все когда-то сказал, а я, как мог, ответил, то есть, самое важное, что определяет нашу с тобой неразрывную связь. Это, знаешь, как в письмах — почему еще чужие письма нельзя читать, там ничего не поймешь, у каждого существует своя нота, на которой люди меж собой объясняются. Слова, сюжет некий, складывающийся из их отношений, — это все одна внешность, а главное другое, как ты на меня когда-то посмотрел, может, пусть, а я вспомнил и другой раз на твой взгляд ответил — только ты и поймешь. Так вот, эта связь, разве она имеет отношение к географии, подумает, дела — одна граница, другая, третья, речки какие-то — Дунай там или еще что, море-окиян — лужа. Ты подумай про меня, а я тотчас услышу, а ты же не можешь не подумать?..

— Чего там думать... — еще один подошел, водку налил в большой фужер, кусок колбасы намазал маслом, рука у него была тяжелая с перстнем на толстом пальце, где-то и его видел Лев Ильич, не мог вспомнить, здоровенный такой мальч. В американских джинсах, лицо красное, потное — пьяный, а так, видать, красавец — чернокудрый, с бараньими глазами, Лев Ильич когда еще пробирался коридором, обратил на него внимание — какую-то он даму в длинных серьгах прижал в углу, вольно так, чуть ли не руками с ней объяснялся, — Нам не думать — ехать надо, пожил, говнеца похлебали, кому сладко, пусть дальше хлебают, да в Магадан сплывают за своими облаками, как в твоей песне, Валерий, в которой Галич перед отъездом расплакался. Там им кино покажут, и не коньяк с цыпленочком табака — кошек скоро начнут жрать, юшкой собственной закусывать. Туда и дорога.

Лев Ильич крепко держал за руку Валерия.

— Ты пойми меня, — заторопился он, ему свою мысль договорить было дорого. "Совсем, совсем ведь не увидимся больше!" — билось в нем, — эти расстояния — чепуха, не потому, что самолеты

летают — сел и через три часа в Париже, как в Калугу съездить, — может и будет так, да не в нашей уже жизни, я про другую связь, ей и название простое, — он опять взглянул на Любу: "Какие у нее красивые глаза, — подумалось ему, когда добрые и свои. Батюшки, спохватился он, да она совсем пьяная..." Но тут уж ему не до того стало. — Это любовь, Валерий, — сказал он, — ей и писать не нужно, слов, обязательных встреч — ты же вспомнишь про меня, как ты про это позабудешь!..

Лев Ильич вдруг смутился и замолчал. А ведь неправду я говорю, подумал он, не случайно все — и то, что видется мы почти совсем перестали, и что я только что плакал в церкви, а он всю эту ораву собрал. Но что-то все-таки есть, вот и он заплакал, как вспомнил Галича, и про свою скамейку — пусть там с бабами начинались у них сюжеты, что я ему за судья? Или есть все-таки разница между им, сразу же для дела приспособившим те московские закоулки, и тем его Сережей, собиравшим их неизвестно для чего? Может у меня с Сережей любовь, хоть я его и не знаю, а не с моим многолетним приятелем?

— Значит, мало того, что бежите, шкуру спасаете, еще наплевать хотите на все, что здесь оставляете: и на могилы родителей, — небось здесь закопали, и на землю, что вас вскормила, читать-писать выучила, и на книжки — вас же пытались людьми сделать, а то бы до сих пор все по деревьям лазили, на хвостах раскачивались, а уж на всех оставшихся, которым, как изволили выразиться, в Магадан плыть, — про них что уж и говорить, — так, что ли?

Это Костя сказал, Лев Ильич сразу узнал его голос, запомнил с поезда, такая в нем звенела внутренняя энергия, раскручивалась. Он по-прежнему сидел рядом с Любой, бледный, руки на столе сжаты в кулаки.

Тот с кольцом длинно так на него посмотрел, поболтал водкой в фужере, выплеснул в рот, кусок колбасы с маслом туда же кинул, прожевал и старательно вытер рот рукой.

— Вон кто оказывается у тебя сидит, Валерий, это тебе напоследок полезно поглядеть-запомнить, а то, вон, твой дружок что-то все тебе лопочет про память, которая поверх границ оказывается летает. Не забудь. А пока даю справочку. Первое. По деревьям это вы лазили, когда мы уже Библию записали и Храм построили. Это раз. Про ваши книжки я еще в детстве позабыл — дешевое слонтяйство, лживое. Могилу моего отца мы еще вас заставим разыскать — носом будете пахать землю — отсюда до Тихого океана, пока не найдете. А мать я сам сжег, не в землю ж эту поганую опускать, и пепел ее перед отъездом выковыряю — вам не оставляю. А на вас, тут оставшихся, кто все это глотает, трусливо, рабски оправдывают свою жизнь — ничтожную или драгоцен-

ную, это уж как угодно! — на вас я и плевать не стану, слюну пожалею. Ишь ты, про отцовские могилы вспомнил! Надо ж — страна, единственная, между прочим, где на кладбищах устраивают стадионы, где каждого десятого дали зарезать среди бела дня, а они — все в барабаны от восторга стучали, а по ночам от страха тряслись, радовались, что не к нему, а к соседу протопали!...

Вот оно, думал Лев Ильич, что ему ответишь, ведь не услышит, не поймет, да и нужно ли говорить? Тогда, значит, две правды существует, или сколько людей — столько и правды?..

— Но как же все-таки так, — сказал он, ему вдруг жалко стало этого парня, будто он горбатый калека, — как же так, вы и верно, прожили здесь всю жизнь, откуда такая злоба? Ну, понимаю, понимаю, — заспешил он, — отец, еще что-то, не забудешь, но неужто ничего хорошего у вас не было, что памятью увезете, что оставите, о чем там, когда не достанешь — далеко, заплачете?

— Как же оставлю, — усмехнулся тот. — Эх! Сколько мы тут семечек набросали — поглядите какие девочки набежали вашего друга проводить — небось запомните! А еще какие всходы будут от той сладкой памяти, пока всю эту рабскую — трусливую кровь не перебьет... — он налил себе еще водки.

— Ну да, — сказал Лев Ильич, — когда так — разъезжаться нужно, тут не дотолкуешься.

— Вот мы и объяснились — вам направо, а нам — налево, так что ли, Валерий? Давай-ка выпьем лучше, чтоб летелось, да с глаз долой — из сердца вон. Запомнилась премудрость — здешняя, посконная.

— С глаз долой — это хорошо, — сказал Костя, спокойный, холодный стал у него голос, — нагладелись на всю эту животную мерзость, а вот из души не следовало бы выпускать, это большая наука понять, как человек сначала слез с дерева, а потом носом в навоз уперся, захрюкал от удовольствия, что джинсы натянул, думает, от этого человеком стал. Нет, не стал! Потерял облик человеческий. Обезьяна по мне лучше, она по деревьям прыгает, едва ли сук, на котором ночью сидит, станет ломать, да и ту, кто ее вскормил, за грудь не укусит. Чего вы от него хотите, — повернулся он ко Льву Ильичу, краска на щеках появилась, — когда тут не чувства — одни эмоции, да и то простейшие, две-три элементарных, вон и ученая собака с родословной в три листа ногу поднимает, не стесняется... Здесь другое — как это могло случиться? — да не про то, что уезжают — скатертью дорога, баба с возу — кобыле легче, и так ведь говорят, коли посконное вспоминать... Откуда, как вы сказали, эта злоба, отсутствие всякого желания понять, не только к себе — к другому хоть когда-то прислушаться? Ишь, про свои страдания вспомнил, — что ж меряться будем, у кого больше?

— А что ж, и померяемся, — тот с кольцом еще раз глянул на Валерия, — он головы не поднимал, махнул рукой и еще один фужер с водкой опрокинул в рот. — С чего начнем: с погрома в Кичиневе или с сорок девятого, после великой победы славного года?

— Да нет уж, — сказал Костя, — не будем меряться — кровью захлебнетесь, еще не улетите, здесь останетесь воздухом наш отравлять, сказано, скатертью дорога. Да и не на базаре мы, это только в больницу голову могла залететь такая мысль — кровь на литры или на килограммы мерять, не про Троцкого же со Свердловым, не про Ягоду и не про Райхмана вспоминать...

”Но все-таки вспомнил”, — с огорчением отметил Лев Ильич и тут же устыдился — самому та самая мысль пришла в голову. То же, стало быть, и у меня на литры пошел счет — вон до чего доказался!

— Я все другое хочу понять — как, каким образом?.. — Костя себе тоже налил водки. — А простой ответ, между тем, — он все ко Льву Ильичу обращался. — Мы с вами днем, помните, еще в поезде говорили о том, что Бога нет, что Христа здесь предали — вот оно и отыгрывается, человек теряет свой образ и подобие, а много ли прошло — два поколения! И уже опять на деревьях виснут, хвостом помахивают, в собственной навозной куче копаются...

— Ну затянул, чего вспомнил — про царя-гороха, давай уж про Ярилу, кто там еще? Дажь-бог с Перуном — давайте, давайте! — катайтесь на святках с горки ледяной, блинами закусывайте — христиане православные! Да евреям, которые у вас тут полезными останутся, пускайте на Пасху перья из подушек, особенно выкрестам — тут самая сладость проявить свои гражданские чувства, патриотизм, смелость — мы великий народ! Вот для этого пусть и остаются.

— Перестань, Саша, — Валерий встал и пошел к дверям, там уходили, прощаясь с ним.

И тут Лев Ильич увидел мальчика: он значит все время тут и стоял, слышал! Тоненький, в джинсах, вытертых до белых пятен, больши́е, серые глаза горели — он на Сашу глядел с восхищением. Красивый какой, подумал Лев Ильич, на Валерия похож, нет, лучше будет, и вдруг так больно ему стало, защемило сердце, он даже рукой схватился: как насквозь его проткнули. Нет, это не поминки, подумалось ему, не похороны — хуже. Там все естественно, все равно жизнь какая-то. Закопали — он же здесь остался, и не метафора это, не поэзия — могила есть! — здесь он. И вранье все это про русские кладбища, видел он, сколько людей туда приходит на праздники, в родительские дни, как с могилками возятся: кто песок, камушки, оградку доморощенную — все, у кого

что есть ташат, как выпивают там на травке, на самодельных скамеечках, закусывают, а об чем они говорят со своими покойниками, про что молчат, о чем молятся — то уж никому не известно. А другие факты, противоположные — забвение, равнодушие, цинизм — что ж, что факты, пусть гора фактов, разве они говорят о чем, больше о том, кто их собирает, выискивает, а к душе народа какое это имеет отношение? И стадионы — перекопанные кладбища, что это тоже к русским людям претензии? Да все тогда сюда вали — во всем виноваты... Но ведь он здесь остается покойник — навеки остается!

Вокруг каждого из нас существует магнитное поле, думал Лев Ильич, связи настоящие, истинные и случайные, слова сказанные и не вымолвленные, отношения всякие — и не реализовавшиеся, добрые поступки, побуждения — да мало ли что хорошего исходит от него за целую человеческую жизнь! Человек умер, похоронили его — все это остается, так или иначе, но проявляется, длится, пусть память короткая, забудут про него, но кто-то ведь не забудет, цветочки принесет, — а это ведь, ой, как много, когда он один приходит, никто про то не знает, он тогда с вечностью разговаривает! А тут все это завтра исчезнет, в квартире дырка будет, пустота, окна станут слепыми, а он, Лев Ильич, каждый раз, как к дому вечером подходил, глядел на эти окна, его-то окна выходят во двор, глядел и не думал, зачем, просто отмечал — дома Валерий, знал, жена в его комнате никогда без него не сидит, раз горит лампа — знал и настольную, и большую, — ничего этого теперь не будет, не останется! А сколько этих дырок по Москве, это мы еще пока считать не начали, да тут не статистика — не на литры же! — пройдет лет пять, ой, как мы почувствуем эту демократическую арифметику! ”А что ж ты, в таком случае про свою память, для которой не существует границ и горьких цепей? — спросил он себя. — Поминки! в них хоть и безобразия, а тоже резон есть — разрядка вполне естественная... Так я повинился уже перед собой, это Люба на меня смотрела, не мог же я видеть, как он заплакал...” Да и другое это, его, с ним останется: то живое, хоть и смерть, а здесь мертвое — пусть живы все. Нет, все равно неправда, что баба с возу, вот этот мальчик, горящий как свеча, как он здесь, у нас нужен с его чистотой, пусть и с ненавистью — она ж на погранный справедливости замешана, нашей виной вскормлена, а как нам уже завтра будет нехватать его чистоты и горения — вот про что думать, плакать над чем!..

— Дядя Саш, — сказал мальчик, — налей-ка и мне тоже, я с тобой хочу выпить, отец совсем стал никуда. Ничего, мы его там быстро приведем в норму... Чтоб у тебя вся эта... богоносная бодряга скорей кончилась, чтоб скорей мы тебя там увидели — вместе начнем с первого кольшка!

— Брось ты, — сказал Саша, он из разных бутылок сливал в стакан, — какой тебе кольшек, там такие, Боренька, эйфелевы башни стоят, будем только поплевывать в Средиземное море с ут-и до вечера.

“Помоги ему Бог, мальчику несчастному”, — подумал Лев Ильич, что-то не отпускало сердце, раньше так долго никогда и не болело.

— Ну а вы, Любушка, — Саша явно был пьян, хотя, видно, и много мог в себя перелить, но хватил все-таки лишка, — неужто с вашей красотой и ученостью останетесь в этом, прости меня Господи, уж ежели есть он, богомерзком городе? Супруг ваш, живу, из тех, кого не научишь, кому одна радость, когда их по голове бьют, только просят, чтоб побольше, им в этом видится высшая цель, но вам-то это зачем? Глазки выплечете, выцветет красота, а тут ваши последние бабы годочки, простите уж за прямоту! Эх, мы и загуляли бы, названья одни чего стоят — Ницца, Монте-Карло, Лиссабон, Бермудские острова! Мы там торганем вашей красотой — небу станет жарко! — русская женщина с еврейской закваской... Так ведь, угадал, не ошибся? Самбый, простите, цимес, уж мне поверьте, попробовал... Да замордуют они вас тут, своим слюнтяйством занудят, вы свой масштаб только теряете. Эх, не то, не того вам нужно! Я ж говорю вам, знаю, повидал кой-что, глаз имею... Когда бабу давно не целуют, не обнимают — видно, ой, видно это, Любушка! А ведь последние остались поцелуи, пройдет, не вернется!..

Костя поднялся, на Льва Ильича дико посмотрел.

— Что ж, взаправду берете?.. — Люба на вид была спокойная, ничто в ней не дрогнуло, только глаза выдавали, да и не каждому — кто знал их. Лев Ильич знал эти глаза у нее и все, что сейчас последует. (“Пьян он все-таки, этот Саша, не равное сражение, хотя почему ж неравное — и она набралась. Правда, он не знает, что коль она пьяная — плохо его дело”, — ровно так думал Лев Ильич, сам себе удивляясь.) — Значит, не шутите, берете? Только запомните, Саша, я женщина дорогая, мне не слова нужны, я этих слов за свою жизнь, ух, сколько наслушалась! И Ницца мне не нужна, Лиссабон с этими дурацкими островами. Там у них в Европе есть закулочки — знаю, прослышала кой-что. Вот там, где за поганую русскую водку, за селедочку вонючую-ржавую сотни долларов швыряют — вот где шик! — там и погулять и поплакать можно... Иль испугались?

— Да вы что, серьезно, Люба? — Саша прямо на глазах начал трезветь. — Да если б я хоть на минуту мог поверить, если бы вы согласились, — я один еду и вот-вот, я знаю, у меня сведения точные, верные, — вот-вот получу, я бы мгновенно вас вписал к себе... Да вы что? Правда? Если б с вами...

— Стоп, — сказала Люба, так же она сидела, ни разу не повернулась, на Льва Ильича не смотрела, — а вы как там мной собираетесь торговать, советоваться хоть станете, или кто даст больше, а вам все равно? Хотя нет, прошу прощения, много ли мне осталось, не успеете, состояния не сделать, самому б хватило — последние у меня остались... неизрасходованные поцелуи — так, что ли?

— Вы меня простите, Люба, — новые нотки появились у Саши в голосе. — Я это так, для остроты, для пустого трепача, чтоб разговор перебить, я понимаю кое в чем толк, мне и в голову не могло прийти. Да я вас давно знаю, заметил, слышал еще больше, у меня, правильно только поймите, идея была б, а то это все больше от того, что и моя жизнь впустую — силы девать некуда, не залатывать же эти вонючие прорехи, нашей кровью перемазанные? Лучше уж там, хоть чистого воздуха поглотая, а с вами — можно б, и правда, все начать с начала... Да я — куда хотите!

— Ну а вдруг передумаю, позову вас в Абакан?.. Ну, ну, что вы, — она даже покраснела, подняла руку к глазам, заслонилась, — пошутила, зачем мне требовать от вас такого подвига, тем более знаю, предупреждена, что последнее осталось, это раньше надо было нам так-то вот встретиться, тогда б могла диктовать и географические условия. А так, что ж — значит выбор между Нищей и Лиссабоном?

Саша все больше трезвел и на глазах менялся, такая спокойная наглая уверенность была в нем все время, а тут появились мелкие суетливые движения.

— Вы знаете, Люба, — сказал он уже негромко, — я вас верно давно знаю, вы помните, может быть, один вечер в ресторане на Речном вокзале, там еще цыгане были?..

— Ну вот, — засмеялась Люба, — я еще с вами уехать не успела, а вы при моем муже такие подробности, может, я всю жизнь про то молчу. Совсем вы иностранец какой-то — Речной вокзал у нас известное место для адюльтеров...

Сашу даже жалко стало, до того он смутился.

— Нет... я в том смысле, что с тех самых пор никак вас не могу забыть. А знаете, поверьте, это редко со мной... — он на Льва Ильича оглянулся, покраснел и совсем сбился.

— Ну, что ты! — смеялась Люба. — Зачем такие откровенности! Такой воин, такой гуляка, такой русофоб, а перед русской женщиной, с которой только спать да на дверь указывать, правда, кровь еврейская чуть подмешана, но так-то уж зачем теряться! А как же ваша идея, миссия, об еврейском заселении человечества, или от меня станете гулять, как в Европу залетим — а вдруг не соглашусь? Претензии предъявляю, там строго, а может там и такой работы не требуется, до вас ее всю провернули, закончили? Или так крепко надеетесь, что меня совсем ненадолго хватит,

сразу скисну — сдадите в богадельню?

— Я извинился перед вами, — Саша начал злиться, — объяснил, что те слова ничего не значат.

— Объяснил, извинился! Разве женщина когда такое забудет? Эх, простота! с какими ты только бабами дело имел до сих пор, что из твоего подвига-миссии получится? Чепухня одна! Разве это всходы будут — сорняки, их полоть не нужно, сами повянут. Или и из такого, как ты, человека можно сделать — последнее на тебя и потратить? Родину заради такого дела можно продать — не жалко, да и самой меж делом спастись! Крысы, которые бегут, живы остаются, или прямо с корабля да в море, там и топнут? Но то поэтический образ, а если по-сухому бежать и прямо в Ниццу, в Лиссабон, там ведь, и правда, повеселей — ни тебе Абакана, ни парторга — цветочки в общественных парках — или там парки одни только частные? Над ними бабочки порхают — махаоны? А правда, Лев Ильич, — она впервые к нему повернулась, — не совершить ли мне такой подвиг, даже если я одного человека человеком сделаю — и то подвиг?

— Тетя Люба, вы это всерьез? — Боря теперь на нее глядел с тем же восторгом.

— Понимаешь, Боренька, тебе соврать не могу, — и захотелось бы, не смогла. Нет, не поеду. Никуда я отсюда никогда не поеду. Да и поздно мне, правду твой герой сказал, давно уж меня никто не целовал. Да и время бы не ушло — не поехала. Я думаю, и тебе ехать незачем — дел-то, дерьма, в университет не взяли, кому-то там морду набили, жидом обозвали! Пусть бы кровь пустили, родительские стекла вдребезги — твое это все, Боренька, твое. И ты — наш, жиденок ты или русский — наш ты, здешний. Чистота твоя — здешняя, и ненависть эта — здешняя, знаю я тебя, видела, слышала, как ты с моей Надькой разговариваешь... Да, что там говорить — все решено, завязано, сожгли кораблики... А меня вы простите, Саша, я вас обидеть не хотела, хоть так, как вы, меня еще никто не обижал.

Саша взял со стола бутылку воды, стал наливать, она у него выскользнула, покатился фужер, упал на пол — брызнул стеклом. Лев Ильич поймал бутылку, налил стакан воды, подал ему. Саша выпил, зубы стукнули о стекло, и повернулся к Льву Ильичу.

— Ну, я вам этого никогда не забуду, — сказал он. Лев Ильич даже вздрогнул, такой злобы он и не видел ни у кого. — Спасибо за науку, — он опять говорил громко, видно, смог взять себя в руки.

Лев Ильич все еще поеживался. Саша пошел из комнаты, в дверях столкнулся с Валерием.

— Уходишь, что ли? — они были уже в коридоре.

— Что дома? — спросил Лев Ильич.

Люба наливала себе вина, подвинула тарелку, накладывала салату из миски.

— Вон как, тебя, оказывается, дом интересует? Скажите, Костя, вы, как я поняла, только сегодня познакомились с моим благоверным, к тому ж человек посторонний, похож он на моего мужа? Только искренне, без вранья — у нас сегодня откровенный такой вечерок.

Костя стоял у окна, Лев Ильич и не заметил, как он отошел за разговором.

— Только таким он и мог быть. Я очень ценю вашего мужа.

— Конечно! Что он вам такого наговорил?.. Догадываюсь примерно. Есть, есть в нем кое-что, чего нельзя не оценить, особенно если по контрасту с нынешним героем, здешним... Ох, и надоели они мне все, как надоели, Костенька, кабы вы могли знать! Началось бы что-нибудь такое, чем нас наши умники пугают, забрали бы, увезли, — пусть эти все туда, а мы чтоб в другую сторону, на казенный счет, разумеется.

— Тетя Люба, вы серьезно считаете, что я совершаю предательство, или вы это так, чтоб Сашу отвадить?.. Он не такой, вы не думайте, он хороший, он сильный человек, его мучают, не пускают... — Боря весь дрожал, ждал ответа.

— Бог с тобой, мальчик, уезжай! Я, может, и не понимаю, я на себя меряю. Тебе и там будет тяжело, тебе везде будет трудно, так что если ты райской жизни боишься — не будет ее у тебя. А ты молодой, поплачешь и позабудешь, только место ищи, чтоб верно, с кольшка начинать, а не гулять там под пальмами и небоскребами — это все равно. Есть, конечно, и своя правда в этом жутком отъезде, и люди там нужны — вот, чтоб и ты был нужен, а не просто как шлак отработанный, пусть и благополучный, удачливый. Я за тебя выпью, жаль, ты с моей Надькой больше не увидишься...

— Папочка! — в дверях стояла девочка, тоненькая, почти девушка, в широких бархатных брюках, темные длинные волосы косо падали на бледное лицо, светлые глаза в слезах. — Приехал, успел, а я боялась не попрощаться... — Она вбежала в комнату, Лев Ильич шагнул навстречу, поцеловал ее в голову, в мокрые глаза. — Вот видишь, — лопотала она, — Борька уезжает, ему никак нельзя оставаться, он мне все объяснил, — ну никак нельзя. А может что изменится, правда? Может, будем туда-сюда ездить? Я на практику поеду, или, знаешь, вдруг случится, — она зашептала Льву Ильичу в самое ухо, — гастроли, а? И Борька придет туда — там это просто — из Франции в Италию, из Италии в Швецию — ведь может так быть?..

— Славно как, свои остались, — Валерий вошел следом за Надей. Варя, иди сюда, посидим хоть тихонько... Здесь что, баталия была, пока я всех выпроваживал? Саша совсем огузнул,

перебрал...

— Баталия, — сказал Костя, — уехали бы вы все скорей, а то мы только вами и занимаемся.

— Завтра и уедем, успокойся, — Варя сразу подошла к Боре, обняла за плечи, посадила. — Завтра чуть свет нас и не будет.

Тихая она какая, — подумал Лев Ильич, вот слово точное про нее — тихая. И всегда была такая, что тут только Валерий не устраивал.

Она что-то прибрала на столе, осколки с пола, подрагивал светлый пучок на голове.

— Ты знаешь, Надя, — Боря глядел на нее, как она вошла, не отрываясь, — я сегодня шел по Москве последний раз. Мы с отцом сходили в посольство, поставили визы, все уж сделано, еще книжки последние отправили, он куда-то пошел, а я один пройду, думаю, по бульварам. И так странно было, будто меня уже здесь нет, а я все вижу — в кино, что ль, смотрю, или откуда-то, не знаю. И даже не грустно, а просто странно — сон такой.

— Боря, но это не может быть, мы ведь с тобой увидимся? — Надя оторвалась от Льва Ильича, присела на корточки возле Бори, волосы закрыли ей лицо.

— Ладно, — сказал Валерий, — вы увидите, а вот мы — никогда. Давайте выпьем последний раз да идите, нам еще чемоданы укладывать, а уж первый час...

Они стояли на площадке, все уже перецеловались.

— На аэродром не нужно, — говорил Валерий, — там будет народ, да и не к чему, совсем сердце разорвется.

— Пусть, — обнял его Лев Ильич, — все правильно. Наверно.

Варя подошла к нему, уткнулась в плечо и заплакала, первый раз он видел ее слезы.

— Никогда, — сказала она, — никогда, Лева, я тебя больше не увижу.

Боря все держал Надю за руку.

Они стали подниматься по лестнице, прошли марш, Надя вдруг повернулась и бросилась обратно.

— Пусть ее, — сказала Люба, — пускай еще у них побудет.

Они поднялись еще на этаж. Люба открыла дверь. Костя вошел с ними.

— Тише, — сказала Люба, едва они оказались в коридоре, — вы лучше проходите на кухню, я сейчас посмотрю, может, спят...

— А кто там? — спросил Лев Ильич, ему не понравилось, что кто-то тут оказался без него.

— Один парень с женой, у него неприятности... Одним словом, надо было уехать из дома, чтоб глаза не мозолить... Ну, я тебе потом расскажу.

Они зашли на кухню, сели за маленький стол у окна. Лев

Ильич огляделся. Странное у него было чувство — будто он все еще не приехал, хотя вот он и дом, и все здесь его руками двигалось-прибывалось: медные ручки на дверях из квартир его теток — свинчивал, когда ломали их дом, картины на стенах — с каждой что-то связано, тарелочки — пятна, трещины прикрывались ими... Вон чайник появился новый, отметил он, и такой запах знакомый, домашний — а все уже без меня. Что-то с ним случилось, произошло, а что — никак не мог понять... Вот и эти уехали, вспомнилось ему, как только взглянул на картину — и с ней была связана история, еще одна потеря — нет, не мог он больше про это, Боря стоял перед глазами: "О чем они там с Надей?" — подумалось ему.

Он встал, поставил чайник, зажег газ. Говорить не хотелось, а знал, не избежать разговора, тяжело будет, потому и не шел, оттягивал, и Костю привел — не обойдется ли? Может хорошо, что здесь чужие, отложится объяснение, но чувствовал, знал — добром это сегодня не кончится.

Они уже входили в дверь: молодая женщина, длинноногая, с накрашенными, чуть испуганными глазами, он — в бороде, легко улыбался.

— Мы тут у вас расположились, извините нас, Люба не знала, что вы сегодня приедете...

— Да что вы, — заспешил Лев Ильич, ему уже стыдно стало своих мыслей: людям деваться некуда, что-то у них стряслось, а он опять о себе, первое чувство, комнату его, вишь, заняли, — устроимся, да я опять, может, уеду, — сказал и совсем смутился своему вранью.

Люба поняла — ох, знала она его, лучше его самого знала, поэтому, может, и тяжело так было с ней. "Ничего она не знает!" — обозлился он вдруг, с трудом сдерживая вспыхнувшее в нем раздражение.

Люба переделалась, тонкий черный свитер — он ей к лицу всегда был, серьги позванивали.

— Сейчас чайку попьем, — сказал Лев Ильич, чтоб себя не выдать, — тяжкий у нас выдался вечерок.

— Да я понимаю, — живо откликнулся Митя — они познакомились уже с ним и с Кирой, — у нас с друзьями те же бесконечные истории. А что вы думаете, про каждого понятно, вынуждают людей. Я вот сам всегда считал это невозможным, а теперь — и выход другого нет.

— Выход есть всегда, — сказала Люба, — сейчас мы его обнаружим, — она открыла холодильник и вытащила запотевшую бутылку. — Нашла, чем не выход в такой ситуации?

Посмеялись.

— А не поздно, — спросил Лев Ильич, — вы, наверно, спать собирались? — не хотелось ему начинать новое застолье, разгова-

ривать с новыми чужими людьми. Да и Любы он побаивался.

— Что вы, это вам, может, устали с дороги.

— У меня просто день такой длинный — никак не кончится. Да и не заснешь...

Они уже все разместились за столом, Люба нарезала колбасу, вытатила сырую, холодную картошку.

— Больше нет ничего, да, словно бы, все съты...

Разговор все не начинался, смущались друг друга — не знали.

— Эх, Митя, жалко вас не было, я таких комплиментов наслушалась, чуть было сейчас в Лиссабон не улетела — прямо сразу обещали выдать визу.

— Отказались?

— Для меня некоторая неожиданность, выяснилось... Впрочем, надо бы, пора догадаться, что я уж не гожусь для употребления, только после взбалтывания, да и то ненадолго.

— Перестань, Люба, — поморщился Лев Ильич.

— А что — иль неправда?

— Ты сама знаешь, что неправда, — он посмотрел ей прямо в глаза. "Вот оно, начинается".

— Не пойму, кто об этом знает — я или ты?

— Саша тот знает, — сказал Лев Ильич, ему все равно было... — А что у вас стряслось, если не секрет? — спросил он Митю. "Может, еще как-то перебыю ее", — решил он.

— Какой секрет — обыкновенная история... Разрешите, — Митя разливал водку. ("Его значит бутылка", отметил зачем-то Лев Ильич.) Пришли в восемь утра — четверо, работали двенадцать часов — и все перетрясли, даже письма все перечитали.

— Нашли что-нибудь? — это Костя первый раз подал голос.

— Можно сказать, ничего — так, ерунда, у всех есть, — я не маленький дома хранить. Солженицын, изданный на Западе — "Раковый корпус", Библия американская — это вот и забрали. Жалко, конечно, лучше бы продал, деньги сейчас можно хорошие взять.

— Странно как, — сказал Лев Ильич, — книг совсем нет, такой у людей голод на книги, а за них деньги берут, да еще хорошие.

— Потому и берут, что дают, — Митя засмеялся, — закон коммерции.

— Ну да, — смутился Лев Ильич, — я понимаю, только какая-то неловкость в этом — вы не согласны? — на такой жажде зарабатывать деньги.

— Старый разговор, — сказала Люба, — наслушалась я споров о том, может ли врач брать деньги — безнравственно это или нет.

— Тут другое, — спешил Лев Ильич, ему и неловко было, да и не мог оставить без ответа. — Мне рассказывали, в церкви одной, здесь в Москве, зимой, на паперти стоял мужик и громко так обращался к каждому входящему, как милостыню просил: "Хоть какую-нибудь книжку, ради Христа! Я, говорит, из Курска, все у нас сожжено, ни одного храма не осталось, ни одного слова печатного — Евангельского нет — хоть что-нибудь дайте для нас!.." Как же так: милостыню просит, а у него за это деньги брать?

— Ну, знаете, — сказал Митя, — настоящие собиратели книг тратят огромные деньги, переплетают, а потом книги в цене не падают — только поднимаются, по нашим временам, это, так сказать, верное вложение капитала — сегодня пятьдесят рублей заплатишь, а через год сто получишь.

— Ах, вот как вы подходите? — Лев Ильич совсем растерялся: человеку ночевать негде, он прячется, а я его, выходит, оскорбляю, осуждаю, своей нравственностью, видишь ли, попрекаю... — Конечно, если к книжкам относиться как к капиталу... Но ведь у них есть и другое назначение — первое, они, так сказать, духовную жажду утоляют.

— А разве плохо, если человек, вместо того, чтоб купить себе новый шифоньер, притащит домой книгу — это ведь тоже о нем свидетельствует.

— Ну да, — с усилием бормотнул Лев Ильич, — о том, кто купит, но и том, кто продает, тоже.

— Так не он же сам цену устанавливает? — сказала Люба с горячностью. — Разговор какой-то глупый, рынок ее диктует в зависимости от потребностей. Забыли все политекономию, мало вам, значит, вдалбливали в свое время.

— Наверно, так, — поспешно согласился Лев Ильич. Вот, настроение скачет, как у барышни, грустно ему было. — Но не хочется, чтоб Библию продавали, наживались на ней. Тут еще одна проблема возникает... — он все пытался как-то пробиться, нащупать почву — трудно ему всегда бывало разговаривать с новыми людьми, как по тонкому льду шел, все проваливался. — Там, понимаете, в Писании, как раз и идет речь, чтоб не стяжать, не собирать сокровищ на земле, сказано — от мира откажись, ну и прочее. А человек, особенно я имею в виду, кто читал — а кто ж не читал Евангелия? — за эти самые слова берет деньги. Согласитесь, странно?

— Так ведь и Библию где-то печатают: станки, набор, бумага, рабочие — все стоит деньги, да и продают же ее там в магазинах — не в сумме дело, может тамошний цент подороже наших бумажек, если перевести на настоящий курс, — никак не сдавался Митя.

— Бесплатно там раздают, — сказал Костя, — вот вам и политекономия.

Льву Ильичу стало скучно.

— И правда, разговор у нас странный, тем более, вино давно налито. А я сегодня с утра все пью, никак не могу остановиться.

— Догадался все-таки, — Люба обожгла его глазами. — Давайте за них — вон за тех, кому завтра... Не нам, вот в чем дело-то, а им будет плохо. Наше плохо — оно так и быть должно, а потому — нормальная жизнь. А вот там что случись — прямо в море головой, благо теплое у них везде море, — она выпила и пошла из кухни и Киру вытащила за собой.

— А вы чем занимаетесь? — спросил Лев Ильич, надо ж было говорить о чем-то.

— А я самиздатчик, — просто сказал Митя. — То есть, я числюсь в разных местах, чтоб участковый не ходил: то сторожем устроюсь, то в булочной — грузчиком, но чтоб время было свободно — и так дела много.

— Что ж, и техника существует?

— Ну, какая техника — фотоспособом да машинка — верно, ведь, жажда большая.

— Ну и как... — не утерпел Лев Ильич, — окупается?

— Окупается, — Митя первый раз на него прямо взглянул. — Пришли с обыском, теперь не отстанут, пока не заберут, разве уехать успею.

Вот откуда появились у нее новые нотки и слова, понял вдруг Лев Ильич: что на казенный счет ехать на восток, про Абакан...

— Не просто как все, — подумал он вслух, — одна правда, вторая, третья — сколько уж я сегодня насчитал? — вон и плутают люди меж ними, пока до своей не доберутся. А если ошибся, не за ту принял?

— А по мне тут никакой путаницы, — Митя почувствовал себя уверенней после первой рюмки. — Все просто: что не ложь — то и правда, чего ж мудрить? Правда ведь, что мне тут дышать не дают, что миллионы людей ни за что убили, что завтра это опять может повториться — гарантий никаких, что я об этом, тем не менее, сказать громко не могу — это ли не правда?

— И истина, по вашему, в том же? — спросил Костя.

— Ну, я вашу терминологию, может, и не знаю, но для меня это и истина, в том смысле, что аксиома.

— Хорошо, — сказал Костя, — предположим, это аксиома. Ну, вот вы, своим способом — какой там у вас есть, будете эту правду говорить, талдычить, люди ею проникнутся, поверят вам, что-то там изменят, получите, скажем, гарантии, о которых хлопчоте, и сможете уже не доморощенными средствами, а с помощью печатного станка, радио и телевидения говорить свою правду...

— А зачем ее тогда говорить? — удивился Лев Ильич. — То

есть, она тогда и правдой перестает быть, — все получим?

— Я это и имел в виду, — Костя не улыбнулся. — Какая же это истина, если всего лишь привязана к сегодняшней конкретности?

— Вот вы о чем! — обозлился вдруг Митя. — Мне на мою жизнь моей правды хватит. Как же, изменится здесь чего, ждите, тут еще триста лет то же самое будет.

— Вот ведь как, — дотягивал свою мысль Костя, — в вашей деятельности, оказывается, и практического смысла нет никакого — не только истинного! Одно, как бы помягче сказать, сотрясение воздуха.

— Нет уж, позвольте, — Митя загорячился. — По-вашему, значит, я должен мириться со всей этой мерзостью? Людей будут на моих глазах убивать, за каждую свободную мысль прятать в сумасшедшие дома, нарушать собственные же законы, о которых шум на весь мир, а я буду помалкивать и, стало быть, участвовать в этом? Да тогда б и вообще никогда движения в обществе не было — застой на тысячу лет. А как, по-вашему, прогресс происходит? От активности человека, способного принести жертву, или от такой, извините, рабской покорности обстоятельствам?

— Ну это долгий разговор — про прогресс, — ответил Костя, — да не миритесь — это ваше дело. Только истиной эти свои хлопоты не называйте. Даже если жертву принесете, рискнете собственной жизнью. Борьба ваша не за истину, а лишь за улучшение условий существования, своего в том числе, да за право заниматься любимой деятельностью. Ну, чтоб вам разрешили обличать конкретные недостатки, бичевать. Так ведь? Или чтоб печатать что угодно. Только, кстати, Библию тогда на черном рынке не продашь — ее бесплатно станут раздавать, как на Западе.

— Странно мне все это здесь слышать, — сказал Митя, — не того, признаться, ожидал. Если мы уж говорим откровенно, то это элементарное приспособленчество, готовность примириться с любым преступлением самого гнусного режима... Все, мол, от Бога, и кесарево кесарю! А между тем, если что и было в России истинного, что к этой нашей отечественной гнусности не имело отношения — от декабризма до теперешнего самиздата — оно именно и боролось с этим рабским страхом, с трусливой пассивностью, готовой все на свете оправдать, лишь бы самого не трогали.

— Ну да, — сказал Костя, — будто бы Архипелаг построили славянофилы-примиренцы и те, кто в церкви смиренно молился о здравии Государя Императора, а не большевики-активисты, которые выводят свое начало от Белинского и героев народолюбцев. Думать нужно, Митя, сто лет прошло, как в России за царем, как за диким зверем, начали охотиться, а каким морем крови отлилась чистота тех героев, которые все о справедливости, о правде пеклись, и против пассивности метали грома и молнии? Неужто ни-

когда про это не задумывались? И вон опять: демократические свободы, грабь награбленное, вот главное-то в чем — перераспределение! Чтоб в особняк Рябушинского поселить пролетарского писателя. По анекдоту: дворник из подвала в хоромы въехал — а кто в подвале живет? как кто — дворник!

— Правду, значит, я тут кой про что наслушался, что у нас уже и этим ветерком потянуло, ладаном трусливым запахло. Не верил, что это на самом деле может быть. А почему бы собственно и не быть? Татары резали, князья продавали, баре секли, попы причастиц лапали, в навозе и в грязи копошились при лучине, когда Европа уже давно жила электричеством. Да и новая, наша свеженькая мерзость не случайна — все той же богоносной гнусностью вскормлена, трусливой подлостью, жестокостью азиатской. Да вы куда ни посмотрите, вы хоть выезжали из Москвы этой заплыванной, видели, как люди живут, как они всем довольны-счастливы, как же — телевизоры, стиральные машины, "Жигули" — коробка консервная миллион стоит — как хорошо! А эти церкви — православные святыни не просто ведь разрушены, не случайно ненависть такая накопилась? Как все это загажено, по камушкам растащили, в нужники и не войдешь, а проберешься, увидишь — выложены чугунными плитами от паперти. Сам видел в деревне подле знаменитого монастыря, кстати. И это не по приказу, без добротства ничего такого не сделать, тут такая внутренняя страсть к мерзости, разрушению — и она во всем, она и создает то, что определяет атмосферу этой жизни — да в любой области, вкус ее и цвет.

— Как страшно все это, — сказал Лев Ильич, так грустно ему было, хоть плачь, — как страшно, Костя. Я это у кого-то прочитал, помнится, может, в том романе, о котором мы с вами говорили? Как у нас либералы или революционеры, так обязательно Россию ненавидят, и не просто даже ненавидят, а со злорадством, сладострастием, будто он совсем и не русский — иностранец. Ну я еще того, вон, Сашу готов понять, у него идея, свой счет, пустота — сам же признался, а тут-то? Ну ради чего тогда ваш либерализм, жертвенность, неужто всего лишь чтоб мерзость выискивать да за это потом чтоб на костер идти? И верно, не сегодня это случилось-произошло, ну надо бы турист заезжий — де Кюстин какой-нибудь, клопов по русским гостиницам коллекционировал, экзотикой упивался с наслаждением, но ведь и наши гении со страстью выкрикивали свои проклятья, Россия для них всего лишь географическое понятие! А уж об отечестве, любви к нему — сколько на это вывалено грязи, причем даже не против режима и его преступлений, чаще всего это полное отрицание истории, обычаев, души народа... Вы, Костя, правы, потому что изменить завтра хоть что-нибудь, им и делать тут будет нечего. Потому и тянет дальше, вглубь — сегодняшнего мало. И опять для спекуляции...

Простите, Митя, я не про вас сейчас, я очень понимаю, когда несправедливость толкает на сопротивление, но против самой сути-то почему? Почему наше проклятье, факт злосчастный, беда какая-то — пусть конкретная, пусть общая, почему она вызывает не жалость, не огорчение, почему не болью пронзает? Почему такое злорадство, злобный смех, даже восторг? Вот эти рассуждения про кладбища только что — неправда это все! — вот вам к разговору о том, что такое правда! Верно, что где-то кладбище срыли, устроили танцплощадку, где-то к своим покойникам не ходят, а там, вон, еще пуше — на могилке старую табличку сняли и поставили памятник герою революции, может и тому самому, кто того, кто там на самом деле лежит, убивал-мучил, — и такое, верю, случается. Но разве эти факты — хоть гору из них нагромозди — правда? Разве могут они дать верное представление о том, как в России относятся к памяти своих родителей? Разве через них поймешь суть — душу народа, историю разве можно так прочесть?.. Ну хорошо, может, и я в чем не прав, не знаю, в конце-концов, любить не прикажешь, но ведь либерализм подразумевает, так сказать, исправление во имя чего-то, не во имя ведь ненависти? Чтоб исправить, не ненавидеть — любить нужно. Это иностранец может приехать, свежим глазом углядеть мерзость, обличить да и поехать к себе, а в своем вафельном ватерклозете ухмыляться над чужой дикостью и варварством. Но здесь ведь другое, свое? А все равно либеральная болтовня, а не боль... От чего это так, странность эта?

— От обывательского равнодушия, — отмахнулся Митя, — от трусости и рабства, которые всю эту боль перекрывают. Только эта либеральная болтовня никакого отношения к самиздату не имеет. Одно дело болтовня, а другое — напечатанное размноженное слово. Подумаешь, про клопов сто пятьдесят лет назад написали, — обиделись, и о сю пору ту обиду вспоминают! А что, неправда, что ли, что Россия была загажена клопами, да и сейчас? Благодарить нужно, что вам глаза открыли, а вы все про любовь к отечеству толкуете. Тоже мне отечество — клопы, шпицрутены, лагеря и ложь на каждом заборе...

Звонок резко так ударил.

— Наденька! — Лев Ильич сорвался к дверям. — А, — удивился он, — Иван? Какой поздний гость. Заходи.

— А тебя, вроде, не ждали сегодня... — Иван с Костей знакомился, и к Мите, — А водку без меня выхлестали?

— Какая водка, — сказал Митя, — тут разговор такой — пить не захочешь.

— Все разговоры разговариваете, нет делом заняться... — Иван налил себе в чашку остаток. Он был в строгом костюме, галстук на белой рубашке, спокойный, уверенно-грустный, как всегда. — Об чем спор?

— Об том самом, — сказала Люба, она стояла у косяка, при-
слонилась. ("Вон оно что, — увидел Лев Ильич, — где-то там еще,
значит, выпила...") — Об том, что, вместо того, чтоб за женщинами
ухаживать, мы все русские проблемы решаем. Наконец мужчина
пришел. Ко мне ведь пришел, Ваня, надеялся, дурачок мой еще не
приехал?

— А чего надеяться, я знал, что его нет, — невесело усмехнул-
ся Иван.

— А его нет, — сказала Люба, — это тебе показалось. Костя,
вон, зашел — познакомясь, скучный человек, но ничего, молодой,
им можно заняться — меня и на двоих хватит. А уж Митю трогать
не будем — у него Кира есть...

Кира как раз показалась в дверях, глаза у нее стали сов-
сем бессмысленными — тоже, видно, и ее подпоила, со злостью
подумал Лев Ильич, и молчит, хоть бы рот открыла.

— А что мы все на кухне, — продолжала Люба, — пошли в
комнату, здесь опять заведут нудягу. Посуду только берите.

В большой комнате, она у них называлась кабинетом, хо-
тя все они тут всегда торчали, спали, принимали гостей, горел верх-
ний свет и настольная лампа, рядом с ней на письменном столе бу-
тылка коньяка и большая бутылка-корзина с красным болгарским
вином; на тахте, стульях разбросаны женские тряпки.

— Вот и славно, люблю, когда баб мало, — Люба налила се-
бе в стакан вина, Ивану опрокинула в чашку коньяк.

— Стоп, Любаня, мне, пожалуй, сначала с ихними пробле-
мами разобраться, а то Митя, гляжу, совсем загрустил.

— Чего грустить, пулемет нужен — облегчить господам хри-
стианам перемещение из этого мира в иной. А то здесь слишком
хорошо. Вполне богоугодное дело — им только лучше, они ж к
тому и стремятся!

— Про Льва Ильича мы все знаем, не удивит. Ну а Костя —
тоже туда? — Иван держал свою чашку в руке.

"Чего это он вдруг заинтересовался? — подумал Лев Ильич,
на него не похоже? А, вот оно что, ему надо прояснить отношения
Кости с Любой — что, мол, за человек, откуда?.."

— Перестань, Иван, — сказал он, — тебе это совсем не нужно.

— Ты за меня и это знаешь?

— Вы, Митя, дослушайте, — отмахнулся Лев Ильич, — не
обязательно соглашаться, но может, задумаетесь, — он вспомнил
вдруг свой аргумент, ему дорогой. ("Хотя зачем я к нему при-
вязался, чего я достичь хочу, я его и не знаю, а он добра желает...") —
Вот, вы вспомнили про загаженную деревню, хотя там у всех хо-
лодильники и телевизоры. Верно, все загажено, сам видел. Но тут
есть проблема посерьезней. Я был сейчас в командировке, жил
на квартире у одной одинокой женщины, пожилой. Поселок, почти

деревушка. Комнатка маленькая — не повернешься, а вся заставлена этой техникой — только полотера нет, потому без паркета живут — доски. А то бы купила и полотер. У меня, говорит, все есть, чего хочу, все могу купить. А как-то мальчишки выбили у нее стекло — играли в футбол, пришел сын, уже взрослый, женатый. Нет, говорит, мать, пока бутылку не поставишь, не вставлю... Вот в чем проблема, думается мне, а не в том, что у нее нет свободы слова — ту женщину я имею в виду — она ей и вовсе не нужна.

— Да что вы мне свои рождественские сказки рассказываете! — взорвался вдруг Митя. ("Тоже, что ль, пьяный?" — удивленно посмотрел на него Лев Ильич.) — Стекло разбили, сын у матери бутылку требует — нашли проблему! Вы мне тогда мою проблему разъясните, раз истиной обладаете. У меня тоже мать — да не в деревне, здесь в Москве, в почтовом ящике. И отец здесь — на Новодевичьем, вот вам, кстати, ухоженное кладбище — влазит в вашу концепцию? Так вот, я у нее бутылку не требую, а она на меня стучит — понимаете, что это такое? Стучит! И не от того, что ее затаскали, ноги-руки выкручивают — ладно б, она сама к ним ходит, наводит, без меня по моим ящикам шарит — куда их любительству, профессионалка! Вы б это мне объяснили...

— Мотать тебе отсюда нужно — и побыстрей, — вставил Иван. — Пусть их сами решают свои проблемы. Ты из-за них в лагерь загремишь, а они и не заметят за своим моральным совершенствованием. Уехали б тоже — пусть бы все отсюда уехали, а уж мы как-нибудь...

— Как — уезжать? — испугался Лев Ильич. — Вы ж здесь своим делом занимаетесь — Россию спасаете-исправляете?

— Ничего, мы ее и оттуда спасем, даже лучше, — сказал Митя и не улыбнулся. — По крайней мере видеть не будем тех, кого надо спасать, а то, верно говорите, ненависть появляется... А жрите-ка вы сами свое дерьмо, если оно так вам нравится! А мне еще пожить охота, как люди живут — по-человечески, да я и заслужил — каждый день ждешь стука в дверь!..

— Хватит, — сказал Иван, — а то наши девочки, а их у нас мало! — совсем заскучали. Люба-то где?

Люба вошла в другом уже платье, вечернем, на открытой груди бусы.

— Итак, поскольку муж в командировке, отсутствует, — сказала она, глядя мимо Льва Ильича, — кидаемся в разгул. Опять же серьезный повод, чтобы мальчишки нас не позабыли, мало ли куда их закинет. Программа такая: за мной ухаживает Митя, за Кирой — Ваня, а Костю мы будем держать на скамейке для запасных — поможет, кто заскучает. Давайте, Митя, для начала выпьем на "ты".

Кира неожиданно засмеялась, громко так, все замолчали.

Ну вот, подумал Лев Ильич, живая она все-таки, хоть смеяться может.

— Заметано, — сказал Иван, — вон какая у нас будет остренькая ситуация. — И опять, как всегда, его глаза поразили Льва Ильича — затаенно-грустные даже сейчас, когда ему коньяк явно в голову ударил. Он подошел к Кире, обнял ее, но она все смеялась, не могла остановиться. — Ну знаете, Кира, смеяться и целоваться две вещи несовместные, закон физики, между прочим... — Вот так он всегда острил — по-фельдфебельски.

Митя с Любой пошли на кухню, Лев Ильич вдруг обозлился на Костю: "Ну чего он сидит, зачем пришел?" — забыл, что сам его и привел. Тот пристроился у стола на тахте, смотрел с интересом: "Кино ему показывают, конечно, не часто такое увидишь!..."

— Вернулись! — провозгласила Люба, втаскивая за руку Митю в комнату. — Пока, Костя, нет в вас необходимости, у тебя как, Кира? Не оплошал мой дружок?

Иван оторвался от Киры, она лежала в кресле с закрытыми глазами.

— Постой-ка, — сказала Люба, — слушай, Ваня, что это на тебе за жлобский галстук? Я тебе получше выберу, у Левы моего командированного есть что-то там такое, — она распахнула шкаф, вытащила галстук, Иванов развязала, швырнула на стол. — Так получше, да и про мужа нет-нет, а вспомню, вот и нравственная проблема разрешена!

Иван только молча смотрел на нее, не шевельнулся, пока она продевывала перед ним все эти манипуляции.

Лев Ильич знал, что главное теперь ни во что не влезать, она специально дожидается его реплики.

— Очнись, Кира, — не унималась Люба, — молодое мясо, конечно, лучше старого, да жаль, быстро варится, нынешний мужик и загореться не успеет. Поэтому старое теперь в цене, хоть и жевать его искусство требуется — профессионализм.

— Прожужем, — сказал Митя, — нам не к спеху.

— Bravo! Будем считать, что образование щенка под мастера началось — десятый класс закончил. Итак, приступим ко вступительным в университет, — она щелкнула кнопкой магнитофона. — Танго! — объявила громко и сразу подошла к Мите.

Он тем временем налил себе полный стакан вина из большой бутылки, выпил, вытер бороду и поцеловал Любу прямо в обнаженную грудь. Иван вытащил Киру из кресла, она глаз так и не открывала.

Теперь танцевали две пары: Иван целовал Киру, не отрываясь, а Любины волосы смешались с бородой Мити. Костя налил себе вина.

— Может, достаточно? — сдался Лев Ильич.

— Батюшки! — охнула Люба, остановив Митю. — Надо ж, муж приехал, явился без предупреждения! Что в таком случае происходит?

— А пусть обратно едет, — буркнул Иван. — В другой раз за три дня чтоб сообщал.

— Не гуманно, — сказал Митя, — да и не по-русски, тут без физических мер воздействия не обойдешься.

— Ну что ж, — Люба высвободила руку, щелкнула выключателем — теперь только на столе горела лампа, — будем считать, что в университет вы кое-как поступили, прошли конкурс. Но ведь еще надо диплом защитить... Тут как раз танго кончилось, джаз взревел.

Она вышла на середину комнаты, одно движение — молния дзинькнула, платье распахнулось — на ней не было рубашки, темные трусики и темный низкий лифчик, она шевельнула плечами и кинула платье на тахту.

Кира не только глаза — и рот раскрыла.

— Огня! — закричал Митя, он хотел зажечь верхний свет, Люба перехватила его руку. — Как ты думаешь, Иван, может мне подождать сматываться, лучше со своей деятельностью завяжу? Лев Ильич прав — вот она абсолютная истина, — он говорил хрипло, задыхаясь.

Иван как бы споткнулся, будто сломалось в нем что-то, бросил Киру. Все теперь глядели на Любу, не отрываясь.

— Нда, — выговорил Митя, — есть женщины в русских селеньях, — он перехватил Любину руку повыше, другой рукой обнял ее за спину... Она развернулась и свободной рукой ударила его по лицу.

Лев Ильич встал и пошел на кухню.

В комнате начался шум, ревел магнитофон, потом музыка оборвалась, еще погалдели и вывалились в коридор.

Люба уже в пальто, наброшенном на плечи, под ним незастигнутое платье, заглянула в кухню.

— Я тебе этого, Лева, никогда не прощу, — сказала она. И дверь хлопнула...

— Они на аэродром поехали, в Шереметьево, — сказал входя Костя. — Наверно, будут Валерия провожать... Как вы с ней живете? Отойти нужно — так только хуже... А Иван этот кто такой?

Лев Ильич не ответил, пошел в комнату, принес бутылку с вином, налил себе и Косте по большому стакану, выпил, сразу еще налил, отхлебнул и снова стал пить с жадностью, пока в голове не зашумело. Он заставил себя допить до конца.

— Надо ж так, — Лев Ильич наконец поставил стакан на стол. — Я как открыл сегодня глаза — вас увидел. И целый день вы передо мной. Какой черт нас связал веревочкой?

— Поверили, стало быть?
— Как? — не понял Лев Ильич. — Во что поверил?
— То вы все про Бога выспрашивали — абстракция это для вас, разумеется, а уж когда про черта вспомнили — значит дело пошло всерьез.

— Это в какого — пакостного, тьфу! — с рогами, с копытами?
— Пустяки какие, — отмахнулся Костя, — это что, тут страшней бывает.

— А это представление — ну, только что было, — не то еще, значит?

— Опять пустяки — бабьи шалости, одна литература, к тому ж невысокого разбора. Сами и виноваты.

— Неуж похлеще видывали?

— Да вы про что?

— Все про того же, — который с рогами-копытами.

— Приходил, — тихо сказал Костя. — Только не такой, как вы думаете, — он глядел прямо в глаза Льву Ильичу, что-то такое страшное пролетело меж ними, бесформенная черная пустота открылась Льву Ильичу на мгновение, пахнуло холодом, сыростью. У него руки вспотели.

А ведь и правда, подумал Лев Ильич, что ж он не защитил ее, не прекратил безобразие, мерзость эту — он же муж, хозяин дома, отомстить, значит, хотел? Она ведь потому и гуляла, что была дома, что он был рядом, всегда знала, что он поймет, что бы не случилось, поймет, а тут... Нет, это не литература, не шалость...

— Понял, — усмехнулся Костя, — оно и есть начало премудрости — страх Господень.

У Льва Ильича дрожали руки, никак не мог зажечь спичку.

— Так вот они, господа русские интеллигенты и проявляются, — говорил Костя. — Сначала натворят, сделают мелкую пакость, а потом начинают страдать, а уж страдание неимоверное, будто произошло что-то, и правда, космическое. Иной раз, действительно, приходит в голову, Бог придумал Россию, чтоб человек однажды и навсегда такую гадость увидел — уж не позабудет! — до чего никакое животное не дойдет — и не от темперамента, не от чувств, эмоций, а от душевного извращения.

— Бедная Россия, — сказал Лев Ильич, он начал в себя приходить, ему теперь жарко стало, — евреи ее ненавидят, русские презирают, христиане считают дьявольским наваждением — страшным уроком человечеству...

— Что ж, в этом высшая справедливость. Не человеческая, конечно, когда считают, что за подвиг тут же тебе и награда положена, причем в точном соответствии с потерями, как в дурацких физических законах. Высшая, провиденциальная, которую человек, может, когда-то и научится понимать. А национальное — это все то

же самое мирское, поверхностное, душевное, в лучшем случае — но никак не высшее. А потому от него нужно отрешиться, навсегда отказаться — выбросить, это всего лишь к земле тянет.

— Этого я никак не пойму, — печально сказал Лев Ильич, — да и как понять, что то слово... что не Бог со мной говорит, а Он иной раз ко мне так вот и обращается, я слышал... — он сам смутился такой откровенности. — Что ж и это меня к земле тянет?

— Он же с вами не по-русски говорит, — засмеялся Костя, — не по-еврейски.

— А как же? — удивился Лев Ильич. — Я сегодня слышал, ну может, не по-русски — по церковно-славянски...

— Почему тогда вы услышали, а Митя или этот ваш Иван — они ничего не поняли? Как же так — не задумывались?

— Магнитофон ревел, — сказал Лев Ильич, — они и не слышали. Мне он тоже все другие голоса заглушил. Бог, видно, не может перекрыть такую технику. Или не хочет?.. — И он представил себе машину, такси, летящую сейчас по ночному шоссе, мокрый снег из-под колес, рев самолетов за окном ресторана, мокрые пьяные губы в Митиной бороде, широкую спину Ивана... "Отомстил, значит, подумал Лев Ильич, кому только отомстил?.." Не было у него сейчас сил что-то делать, кидаться следом и что потеряно навсегда, пытаться разыскать — сгорело в нем все давно. И опять холодом пахнуло, как из старого погреба, где одна сырость и мыши.

— ...Разные вещи, — услышал он Костю. — Одно дело география, а другое биография, вернее судьба. Или, скажем, так: земля и небо. Так вот, отечество — это земля, а истина — небо. Что ж тут может быть общего?

— Хоть бы день этот когда-то кончился, — подумал вслух Лев Ильич, а про себя сказал: "Поздно мне, ой, поздно, нет уж сил разобратся во всем этом."

И тут звонок брякнул, он встал и его развернуло о косяк: "А я просто пьян!" — обрадовался Лев Ильич.

Надя бросилась к нему, спрятала мокрое лицо на груди, горько-горько так заплакала.

— Все, папочка, никогда больше, все-все теперь, я понимаю — все!..

— Давайте расходиться, Костя, — сказал Лев Ильич, — извините меня.

Он укрыл Надю одеялом и долго еще сидел возле нее, пока она не утихла, только всхлипывала. Потом поцеловал, потушил свет и плотно прикрыв дверь в ее комнату.

Ему снилось, что он в провинциальном зоопарке: такие несчастные, жалкие звери, все спят — их и не расшевелишь, и почему-то вместе — или это молодняк? Хотя какой молодняк: старые волки, грязные, с облезлой шерстью — или это собаки? мерзкие кошки, такие шныряют по помойкам, — а уж не тигрята ли, раз их посадили в клетку? А рядом лежал лев — груды желтой шерсти — грязной, потертой, траченной уже молью, грива закрывала голову — как старый, выброшенный диван с поломанным валиком. А может, это вовсе и не зоопарк, а правда, помойка, что видна из их окна? И никого — людей нет, пустой зоопарк. От этого и страшно было так Льву Ильичу... И тут он увидел толпу: возле одной клетки стояли плотно, молча, как на похоронах. Лев Ильич подошел, но за спинами не разглядеть, а их не раздвинуть, как каменные. Он все-таки начал протискиваться. Пропускали его неохотно — он был им чужим, и неловко, словно правда забрел на чужие похороны и любопытствует. Но молчали мрачно, и даже не презрение почувствовал Лев Ильич, а будто нет его, как на пустое место на него глядели — не видели, да и как им глядеть, не поймешь, что за люди — безликие, глаз нет, только черные, каменные спины. Он еще протиснулся — и различил клетку. "Пустая она, что ли?" — подумал Лев Ильич. Но тут увидел: в углу на задних лапах-ногах стояла обезьяна, держалась руками за прутья. Тоже неподвижно стояла, как и толпа, и молча глядела на всех. "А что она, говорить, что ль, должна?" — удивился сам себе Лев Ильич. Только обычно они двигаются, прыгают или ходят с такой странной неуклюжей ловкостью... И вдруг он понял, почему на нее так смотрят, выставились — она ж похожа... На кого только, никак он не мог вспомнить. Он стал еще настойчивей протискиваться, человек перед ним обернулся: красные губы в черной бороде раздвинулись, и он засмеялся — громко так, звонко, и вся толпа засмеялась, оборотившись на Льва Ильича, показывали пальцами то на него, то на обезьяну и хохотали. Звон стоял в ушах от их хохота, он хотел зажать уши, а руки не поднимаются, стиснули его. И обезьяна зашевелилась, руки к ушам подняла, закрыла их, повторяя жест, который Льву Ильичу не удалось сделать. И тут он узнал ее! "Лев Ильич! — услышал он знакомый голос, он все это время ждал его, надеялся, что услышит, и в зоопарк пошел, как чувствовал, что там встретятся. И обезьяна в клетке кинулась на голос — из угла к другой решетке. "Да это ж

я! — вырвалось было у Льва Ильича, но он не смог крикнуть. — Нет, я здесь, это обяыяна, она просто похожа на меня, а я здесь, здесь!..” Но рта он раскрыть не мог, и так стыдно стало Льву Ильичу, что там в клетке он голый, что все смотрят на него, и она, значит, смотрит, видит... ”Вы спите, что ль, Лев Ильич?..” — все громче и громче звенел в ушах голос.

Он, наконец, собрался с силами, рванулся и отбросил одеяло. В комнате было темно, сквозь шторы едва проникал свет, видно, рано еще, а телефон звонил и звонил, наверно, давно.

Он прошлепал по комнате, взял трубку и услышал, как тот самый голос, который он только что слышал в зоопарке, спросил его: ”Я вас разбудила, Лев Ильич, извините меня, я боялась, вы уйдете... А мне очень, очень хотелось бы вас где-то...”

— Нет, нет, Верочка! — кричал Лев Ильич и сжимал трубку. Он даже не удивился, просто обрадовался. — Я не сплю, я очень рад вам, мне тоже необходимо вас повидать!..

Они договорились встретиться днем, сегодня он мог и не сидеть в редакции, так только надо было зайти.

Люба не приезжала: может, и правда провожают Валерия, подумал Лев Ильич, а потом прямо на работу? Но куда ж она в том самом платье? Хотя ей ведь не с утра, еще заедет домой, переоденется... ”А мне-то что, какое мое дело...”

Он оделся и пошел было из комнаты — тяжело ему тут стало: все как вчера ночью разбросано, шкаф открыт, он подошел к столу, выдвинул ящик, достал свою рукопись — начатую работу, полистал. Тут тоже немного было радости: год, как он ее сел писать, а она все так и была ”начатой”, да и что, о чем — сам толком не знал... На столе бутылка из-под коньяка, грязные стаканы, галстук Ивана в пятнах от вина, — будто и не сон этот зоопарк, так оно и было. Он бросил рукопись обратно, задвинул ящик и пошел прочь.

Побрился, выпил холодного чая, оставил Наде записку — пусть спит, куда ей сегодня в школу, взял пальто и тихонько вышел. На площадке оделся, вызвал лифт — он не мог бы сейчас пройти мимо квартиры Валерия.

И на улице все та же пакость...

Жуть какая, вспомнился ему сон, да и скверная эта история, не к добру. Идти ему, собственно, некуда было: в редакцию рано, до двенадцати там и делать нечего, а куда еще? Во как жизнь повернулась, размышлял Лев Ильич, шагая по улице, полвека прожил в этом городе, миллион знакомых, друзья, родня, а как дошел до стенки — и податься некуда.

”А почему до стенки?” — подумал он. Что нового вчера случилось, такого, чего не было три дня до этого или месяца? Дом всегда был... раньше, то есть, вот от этого и пляши. Был дом, куда он все складывал — радости, печали, заботы, свои доморощенные от-

крытия... Нет, не так, перебил он себя, это все литература третьесортная, это все слова пустые. И он вспомнил, из какого странного материала сооружался его дом, а стало быть, вся жизнь, вчера обернувшаяся такой гнусностью, рассыпавшаяся. И верно, странный это был материал...

А что случилось, снова остановил он себя. Что такого уж нового, невиданного произошло, что можно бы считать концом, а значит и началом новой жизни? Другое дело, если к этому прицепиться, счесть поводом, забрать свой чемоданчик... "Какой еще чемоданчик?.." А такой: все эти годы, сказанное, передуманное, невысказанное, свои слезы, никому не видные, обиды, подарки, которые никто не заметил — попробуй, запихни их! — да еще много чего в тот чемоданчик... Опять же не то, снова во всем этом была литература и порочный круг, из которого не выпрыгнешь... Я же нашел уже вчера то, что покачалось главным, от чего надо плясать, коль верно хочешь добраться до истины? То невероятно трудное, что себе и не скажешь, а решишься, определишь для себя выбор, делаешь первый шаг, соберешь все силы для следующего — вот второй-то особенно нужен. Первый — это еще так, нечто неосознанное — ненужное или случайное, нога сама пошла, а голова не подумала, может и сердце еще не дрогнуло, а дрогнуло — так ты и не услышал, не понял. А вот второй шаг — он уже поступок, принятое решение, за него придется отвечать. Сделаешь этот второй шаг и там — далеко-далеко, в конце пути — увидишь, да нет, не свет еще, а узкую полоску, как бывает в поле, когда солнце закатилось, небо все затянато тучами, идешь по пыльной дороге, дождем еще не прибитой, сейчас, думаешь, тучи опустятся, гром грянет, торопишься, страшно, пусто на душе, выбираешь, путаешься — куда бежать: к лесочку, к ближней деревне или в овраг прятаться? И вдруг там — далеко-далеко, где сошлось небо с землей, блеснет что-то, а потом обозначится узкая алая полоска. И на душе сразу полегчает, отпустит, становится светлее: вон куда надо — дождь, гром, овраг ли, лесочек — все равно, так вот и быть должно...

"А что ж ты все-таки нашел вчера?" — спросил себя Лев Ильич, все мысль бежала в сторону, или нарочно уходила, петляла, потому — скажешь сам себе, откроешься — сразу и окажешься перед вторым шагом; а тут уж нужно или решаться на него, или шагать в сторону, на обочину, прямо в привычную грязь: поругаемся, выясним отношения, а там чей-то день рождения или так — праздник-новоселье, а там работа, новая книжка журнала — роман переводной, премьера модной пьесы, вернисаж, политическая сенсация... Как не обсудить, не проклясть лишний раз под хорошую закуску, под рюмочку — глупость, идиотизм, глядеть не умеющий дальше своего носа! А еще связь, интрижка — незатейливая или шумная, чтоб приятели позавидовали — и покатится все, покатится, и все

так славно, весело: милые огорчения, омерзительные ссоры, наслаждения тонкие или поглубей — для пищеварения, изысканные умозаключения, ирония над всем на свете и над собой, — но при людях, для разговора, сам с собой не останешься — времени нет, да и зачем с собой разговаривать, врать себе самому, это трудно, усилие приходится делать, лучше отмахнуться, бежать от себя, главное одному не остаться...

Лев Ильич и сейчас сунул руки в карманы, выгреб мелочь, подошел к автомату: "Что уж мне, позвонить некому, правда, что ли, я остался совсем один в этом городе?.. Ага, — остановил он себя, — испугался..." Он купил в киоске сигарет, закурил и пошлепал дальше. Та обезьяна в клетке стояла перед глазами, мерзко было Льву Ильичу. Вот он материал, из которого строился дом: из вранья милого и каждодневного, такого привычного, что, словно бы, и не вранье, а нормальная жизнь — лучше других жили — не воровали, никого, кроме самих себя, не обманывали, много работали, пока не стали профессионалами, не выбились из одного коммунала в другой — сколько они менялись, пока не построили себе в долг человеческую квартиру, не хуже, чем у людей, и как радовались, долги отдавали, ручки, вон, медные он натаскал, привинчивал, какие-то старые люстры, что теперь вошли в моду... Но и это все не то, уже с раздражением перебил он себя, давай-ка всерьез о материале, который шел на постройку дома, — не из медных же ручек он складывался и не из добрых поступков, порядочности?.. И он уже явственно, так отчетливо увидел, что главное, из чего складывалась его жизнь все эти долгие годы, что пролетели, как какая-то неделя — от понедельника до воскресенья, в другом: как он жадно хватал жизнь, как все, что происходило в доме, невидимым никому образом вращалось только вокруг него, как он добивался всего, что ему было нужно, — слабостью ли, силой, упорством, хитрым расчетом, часто подсознательным, хотя и четко знал, что было надо; как, получив, тут же забывал о благодарности — так, мол, и быть должно, и еще обида копилась, что на это силы потрачены — само бы в руки шло, так заведено, чужая доброта, как лимонад шла, не задумывался. Вон он, материал какой, сказал себе Лев Ильич и ужаснулся: признания, они всегда были лицемерными, даже когда искренне произносились — за них он тут же получал награду, рассчитывал на нее, его доброта тут же вознаграждалась, так что, вроде и не доброта, а отработанный трудовой день... А сколько вынесено оттуда — из дома, подлинного, что по-настоящему трудно и дорого — выброшено, раздарено, кому и не вспомнишь, но уж непременно, кому это и не к чему — так, для жалкого тщеславия, суеты или самой низкой жадности.

Да что, — заспешил он вдруг, как с горы сорвался, — разве домом тут ограничешься — хотя и там еще столько всего было! —

что я, об разводе, что ль, хлопочу — ну разойдемся, ну нет, тут жизнь решается! Да и не жизнь, что-то еще стучалось, слышал он, хоть и не мог себе сказать, все проваливался, но чувствовал, знал, о чем-то еще, куда более важном, он задумывался... Как ударило его, в жар бросило, он торопливо оглянулся — не заметил бы кто? — куда там, кто увидит, обратит на него внимание: толпа его обгоняла, текла навстречу — самое ходовое время, часов восемь было, он никогда и не выходил так рано, хотя вставать привык, дочку всегда провожал в школу, варил ей манную кашу, пока она, уже в восьмом, что ли, классе однажды не взмолилась: "Ну не могу я, папочка, я вставать из-за этой каши боюсь!.." Ну ладно, он ей яичницу жарил этот последний год.

Вот, кстати, Наденька, подумал Лев Ильич, а она как же? Ну с ней как раз все было, словно бы, спокойно, росла себе девочка, любила его, он ее любил как мог, а если недодал чего — какие у них счеты, когда любовь безо всяких видов — здесь все просто, и думать нечего. Маму вспомнил Лев Ильич, вон где беда его неизбывная, неутолимая никогда вина, а тоже ведь, скажешь, любовь, что все наперед простила. Но разве прощение ему сейчас нужно было, он-то не мог, никогда не сможет себе простить, он и думать про это не решался... А тут вспомнил: тихую улыбку, вечную заботу, такую ровность, все сразу понимающую за него, такое непостижимое ему свойство сразу в любой ситуации не за себя — за него считать, будто у нее и нет ничего своего — да и не было. Так и с отцом когда жила, и с ним — чтоб ни случилось, чего б ни подумал — все у нее тут же находилось в любое время, он и понять не мог, откуда бралась такая сила в маленькой хрупкой женщине, умение радоваться любой его малости и сразу ее — эту радость, ему же и отдавать обратно. А ведь это были крохи, он их сметал со стола за ненадобностью, кусок, что пожирнее, себе, небось, накладывал, а так ошметки, что уж совсем не нужны. И вот ведь как выходило, все равно он считался хорошим сыном, заботливым, любящим, но сам всегда знал, а особенно как ее не стало, четко так представлял цену этим своим "заботам", любви, жадной только до своего... "А вдруг и она это понимала?" — так страшно стало Льву Ильичу от этой мысли. Конечно, знала, видела, не могла не знать, да что ей до этого, что ль, было — ей и вправду, никогда ничего не было нужно, она и крошки им сметенные все равно ему ж и возвращала. Вот в чем здесь дело... "Но, может, ей так лучше..." — шепнул ему кто-то, — чего зря хлопотать, когда б все равно вернула, жесты, показуха, зачем они ей, так на роду и было написано — ей отдавать, а ему брать. Ну да, сказал он себе, ты про нее, и верно, не хлопочи, с ней тоже все в порядке т а м будет, ты о себе подумай — из какого материала свою жизнь сооружал, вот что вспомни...

А вот так и сооружал: одна доброта, что еще бы на две его жизни достало — и не исчерпал бы, та, другая еще доброта, что однажды да враз кончилась — вся вышла, там тоже своя правда, на какую он уж и прав никаких не имел. А сколько еще нахватал — много было надо: крышу покрыть-покрасить, печку переложить — дымит, крыльцо развалилось, венцы подгнили — да тут без конца забот, в одном месте залатаешь, с другого конца горит, вот и брал, благо давали. И он вспомнил женщин — не так, словно, и много было, как, другой раз, веселого приятеля послушаешь; а коль долги начал отдавать — жизни не хватит. И хорошо, если весело, или так, чтоб смысла никакого — только самому муторно, заранее все определено, просто, а вот, когда что-то загорится, когда ставка на это какая ни есть, но поставлена, а ему лишь бы поскорей уйти да по избитой, привычной колее двинуться дальше, когда непролитые слезы увидишь, а не увидишь — и так поймешь, а все равно ведь не останешься — часы тикают на руке, когда телефон тут же отключается, словно там рука все время и лежит на трубке, а ты не звонишь — так, под настроение, когда перед тобой на коленки станovyтся — и такое бывало! — а у тебя уж только злость, про то, мол, разговора не было, стало быть, и прав...

”Все, что ли?..” — отчаяние билось в душе Льва Ильича. Ишь ты, закрылся воспоминаниями, что позффектней, отгородился, уж не прихвастнуть ли хочешь? а может самая малость, вот то, что забыл, отмахнулся, она, быть может, и будет потяжелей того, что в глаза бьет?.. И он подумал о своей тетке, старой-одинокой, у которой так давно не был, — жива, мол, раз никто не сообщил, еще была родня. О няньке — не поспел на похороны, не знал, но ведь и на могилке не был — вон уже три года прошло, тоже взялся рассуждать про русские кладбища! — про товарища, с кем все сводил счета, рядился, кто перед кем больше виноват — он зайдет, тогда и я, а что ж я первый, он же, мол, меня обидел; про другого, что кругом перед ним уж точно виноват, а в чем все-таки — что живет не так, как он — Лев Ильич полагает, надо жить, что сам себе одну беду другой еще пущей разводит, вот главная была его обида на него — что помочь ему ничем не в силах, а неловко, — так пожалей, пойми его, наберись терпения и такое вынести, это тебе не смелости набраться спрятать подметный листочек, передать, размножить под копирку: там что — загремишь в лагерь, дел-то, слава да деньги по теперешним временам... Вон как, снова взялся других судить — всем легче, тебе тяжелей всего приходится, не надолго, значит, хватило — попробуй-ка!..

Но он уже задыхался — чернота поглощала его, он и не ожидал, как вошел в ту речку, что так его затянет, потащит, все ж любили его, сколько себя помнил: Лева да Левушка, Лев Ильич — он человек славный, особенный, чистый, мухи не обидит, от себя отор-

вет... Он снова вдруг оглянулся, не увидел бы кто, и сразу мысль обожгла: "От кого прячешься, Он-то все видит".

Лев Ильич остановился, как наткнулся на что-то. Он стоял посреди улицы, машины летели, обтекая его с двух сторон, грязь из-под колес, шофер высунулся из пикапчика — погрозил кулаком: "Оштрафуют еще", — подумал он, легче стало, хотя бы и взаправду оштрафовали, может подождать, хоть лицо человеческое увидишь, пусть обратят на него внимание, пусть обругают. Но когда надо, и милиция спит...

Он передохнул — пока прошли машины, перешел улицу прямо возле блинной, толкнул дверь, его обдало вкусным горячим запахом, народу немного возле раздачи, он взял блинов, полил маслом, и кофе два стакана, выбрал столик около окошка.

Вон как, усмехнулся про себя Лев Ильич, аппетит не отбила моя чернота, совсем, видно, дела плохи. Ему, тем не менее, стало повеселей, как набил рот блинами — может, и преувеличил? Это как же, подумал он, что ж, выходит, наговорил на себя? Или начать свое благородство вспоминать, а что — не в счет, что ли? И странное дело, он и вспомнить ничего не мог, почему он все-таки считался славным человеком, или условились они промеж собой ничего такого не замечать, жизнь и была условной...

— Погоди-ка, остановил себя Лев Ильич, к нему силы возвращались — с голодухи еще не то на себя придумаешь, что-то в нем легонько так посмеивалось. Вчера и вовсе ничего не ел, только в поезде пирога с медом, правда, еще столовского гуляша, но уж винища выдул! Погоди, не один, значит, я — у всех так, когда остаются сами с собой, ну а на миру, известно, не так уж и страшно... Опять, стало быть, будем другими заниматься, или все-таки на себе остановимся?.. Но это ведь без меня само все происходило: сами шли навстречу, ничего не обговаривали — что за претензии, должок, по справедливости можно бы и не возвращать — пусть-ка помнят, сколько остались должны — что ж все на меня... Вот, вот, начнем сначала, сейчас еще блинков — и понеслась...

Хорошо, пусть так, Лев Ильич оглянулся, не написано было, что нельзя курить, но пепельниц на столах нет, а, была-не была, закурим! Важно уж очень показалось дотянуть свою мысль до конца, такая жадность появилась, что-то во всем этом было для него новое — но что? Страшно себе об этом сказать, но коль уж решился... А если бы теми же дорожками пройти все сначала?.. И он вспомнил вчерашнюю женщину в поезде с ребенком, Костя, помнится, ей тот же вопрос задал. "За что это, сказала она, такая мука, не такая уж и великая грешница..." Запомнил ее слова Лев Ильич, а понять не мог, почему ж она ничего не хочет исправить, тоже, верно, накопилось, если бы с собой захотела разобраться. Но здесь ведь все не исправишь, а где — там, что ль?

Тут другое, лихорадочно соображал Лев Ильич, надежда какая-то есть, не может ее не быть. А почему не может? Разве кто-нибудь другой, а не ты один виноват во всем: и в том, что вспомнилось, да и еще... об чем и вспомнить не смог бы — сил неостанет? Но можно ведь и иначе решить, тут просто: позабудь, иди обратно, это все затрется, вон сколько средств существует для забвения — от блинов до какой-нибудь политической деятельности. А там и время опять покажется — от понедельника до воскресенья, кто ничего про тебя и не вспомнит, а когда заметят — конец подойдет — поздно, никто уж не схватит, улетел Лев Ильич, перехитрил... "Кого только?" — подумал он, и не улыбнулся своей шутке.

В чем же все-таки тут дело? — уже только из упрямства настаивал он. — Если набраться мужества и дойти до конца, в себя заглянуть, да не так, как он, а чтоб ничего не шадить, разлюбить в себе все, чем он нет-нет, а любовался, если безжалостным и холодным глазом, чужим, посмотреть на собственную жизнь, хватит ли сил продолжать ее? Тут каждый новый шаг увеличивает зло, хотя бы в смысле его количества, — бухнул он себе вдруг, и глазам стало больно. — А сколько его и без того накопилось в мире? Ага, обрадовался он своей логике, значит, коли ты человек честный и ответственный — не о себе только хлопчешь, но о людях вообще, — какой же единственный, гуманный выход? Он даже и не спрашивается, он сам собой разумеется, то есть, существует и без этой логики, дан как некий абсолютный закон природы. Почему ж тогда человечество живет уже столько тысячелетий, не один же он, вот тут, за блинами, после того, как его щелкнули по носу, ту единственную логику увидел, понял — что-то еще есть, кроме обезьяньего легкомыслия, что удерживает людей на земле?

Да знал он, что есть, читал, слышал, но одно дело мысль, вычитанная из книжки, чужой опыт, от которого и дрогнуть можно, а все равно отмахнешься — не с тобой же, там и условия другие, и обстоятельства, и время, и темперамент — то, се, а потом — ну живут же вокруг люди, так же, как он, хуже его, ну что я себя казню-мучаю? — возмутился он вдруг. И сразу же увертливая мысль, она давно зудела в нем, нет-нет пробивалась, а тут дождалась минуты, услужливо вильнула: страшно было, тут уж он не логику открывал абсолютную, надо было сказать последнее слово, а потом, за словом-то последним некий шаг сделать. А может просто устал Лев Ильич, не привык все об одном долго напряженно думать, вмешался другой закон — самосохранения, который и самоубийцу-утопающего заставляет опомниться, отчаянно забарабанить по воде, когда он себе загодя руки не свяжет, да "караул" кричать. Что ж я, и верно, лучше других, что ли, или просто люблюсь собственными разоблачениями, собираю коллекцию своих подвигов? — снова ухватился он как за веревочку. "Да и что уж такого случилось?" — опять

спросил он себя, только теперь сразу двинулся в другую сторону. Дочь растет — добрая, красивая, ну зажились с женой, хватит, потравили друг друга, он ли, она виновата — разошлись в разные стороны, вот и ладно, всем хорошо. Работа у него есть, на хлеб денежки, комнату можно снять, не угол у той вчерашней кассирши, а комнату, пусть в коммунале, столик у окошка, можно сочинять, он давно хотел, и планы-замыслы имелись, и не для продажи — честолюбия вроде бы, и не было у него, не болел он этим, и проблемы ему наши проклятые не нужны — все равно в них никакого смысла: Россия, цивилизация — какая там еще цивилизация, ему самой малости достаточно. А еще забыл, подхлестнул он себя: милая женщина ему свидание назначила, что ж забыл, мало ли как сложится, нежная, руки у нее добрые — все разглядел вчера Лев Ильич. А это — грошевое похмелье, свет, вишь, увидел, хорош свет — в омут головой! Да и неправда в той логике, где-то он, видно, знак спутал, вот и результат вышел не тот, слишком сложное для него уравнение, куда ему решать такие задачки со столькими неизвестными, ему попроще надо — четыре правила арифметики — вот с этим он бы еще справился. Дочь вырастет — доброе дело, женщину пригреет — вон, ей не сладко, видать, не позвала б иначе — чем не дело, не зря, значит, небо будет копить. Да еще мало ли чего можно походя, попутно совершить — все и запишется, поживем еще! — он потушил в тарелке сигарету, вытер губы бумажной салфеткой, пошел к выходу, да и застрял в дверях — народ входил-выходил, натыкались на него, стоял, пока швейцар не тронул за плечо, попросил пройти — так и стоял с кепкой в руке, застыл.

Как же так, думал он, а весь вчерашний мерзкий вечер — толкучка, проводы, спектакль домашний, а до того его слезы в церкви — это все в сторону? с чем он в своей комнатке за геранькой станет жить? Чемоданчик-то откроет, как переедет на новое место? Опять, значит, ошибся, там знаки перепутал, а здесь схитрил, вместо неизвестного подставил наперед знакомую себе цифирь, ответ подогнал: "Кого перехитрил-то?" — снова спросил он себя.

Он же, ясно, не врал он себе, не договаривал всего лишь, ясно назвал в себе тот отчаянный, каждодневный ужас, что ж — он исчезнет, сном окажется, разве от него убежишь, он ведь задавит его, где б ни жил, чем бы ни пытался его в себе заглушить — вон и сейчас не получилось, не удалась хитрость! — все кричало уже в нем, росло, паутиной его оплетало, метастазы открывались то тут, то там. Он ведь и сам не знает, только предчувствие билось в нем, куда дальше потянется эта чернота...

Истерика женская, пытался еще удержать себя на поверхности Лев Ильич, сбить, зацепиться за что-то — но не мог. Он уже и до редакции дотопал: тихое такое было место, милые люди, к нему доброжелательные, кропал он тут популярные заметки, при-

кладные статечки, очерки, поехать мог куда угодно, сам себе выдумывал тему, хоть никогда и не любил ездить, но приходилось, и каждый раз бывал доволен — то леса защитит от бессмысленной вырубки, то напишет о разведении норок, об исчезнувшей пеламиде, то о японской сельди, хищнически уничтоженной нашим рыболовством, а то, вон, про бобров все мечтал написать, хоть и без него все там давно выяснено. Ни во что не лез, природа в двадцатом веке, тающая на глазах, и не сопротивлялась даже, печально так угасала, а он ее и не спасал — куда уж! — описывал, как вымирающих аборигенов, да хватит на его-то век природы! Плакал над нею, как мог... Он походил по редакционным комнатам, пошутил с машинисткой — повинулся, что не привез обещанной ей вяленой рыбки: "Я тебе здесь достану, а там вместе и порыбалим — обмоем рыбку ту..."; составил отчет о командировке, выслушал новый анекдот, курьер-весельчак затащил его в "тихую комнату" и выложил, начальства, слава Богу, не было, да и с начальством поболтал бы — он как бы и не присутствовал здесь, снова все в нем летело, он как заведенный механически что-то делал, улыбался, говорил, а в нем все кричало от животного ужаса перед собой.

Время как на грех стояло, а тут двинулось, он испугался, как на часы взглянул, хорошо, можно было уйти, не нужен никому, да он бы и все равно ушел, пусть бы рухнула эта его тихая пристань, какие уж тут бобры-пеламида!

Он кое-как втиснулся в троллейбус, следующий подходил пустой, он уже не мог ждать, хоть никогда не любил транспорта, если недалеко, пешком лучше... "А что было бы, когда б она не позвонила утром, куда ему бежать?" — ему даже жарко стало: неужто и такое б было возможно? Но мысль уже катилась, захватывала все глубже, и он вспомнил, как вот сейчас, только что, когда все в нем разрывалось от крика, когда глядел на часы, боясь опоздать на подаренное ему невесть за что свидание, он пошучивал с машинисткой — не просто ведь так время убивал, и на "рыбалку" ее приглашал неспроста: рядом у приятеля-художника была мастерская, всегда можно забежать, ключ под половиком, а если он дома — еще лучше, можно поболтать, картинки интеллигентно посмотреть, а там еще комнатка с диваном... Вот оно главное, не то, что сделал, совершил — грешки! — а сколько-чего передумал, намечтал, да и не это — тоже беда великая, на круглые бабьи коленки загляделся — похуже бывало. Теща, вон, помирала, старая несчастная женщина, замотала их своей болезнью, извела своим ужасом перед концом, тем, как цеплялась за жизнь, а сколько раз он — добрый, славный человек, чистый, кристальный, подумывал о ее смерти, место ее в квартире приспособлял под улучшения-реконструкции. А ведь тут никакой разницы — совершил или подумал, второе-то еще хуже, подлее, трусливее потому, а все

равно как убийство — отвечать и за ту мечту придется... "Как отвечать?.." — испугался он, и впервые реально представил себе, что все, что он в своем истеричном похмелье сегодня навспоминал, все это правда — пусть не со зла, пусть пополам, на всех лежит камень, но тут уж петли не будет, не сбежишь, т а м наказание не ты станешь выбирать. "А кто?" — спросил он себя.

Троллейбус стоял, затор впереди — давно уж стоим, засуетился Лев Ильич, стал пробиваться к выходу, кругом ворчали: не видит, что ли, дверь закрыта. "Да откройте, откройте! — закричал Лев Ильич, протиснувшись, — все равно стоим!.." — "Как же, откроет, чтоб ему на штраф налететь, спать не надо было..." Лев Ильич уже у самой двери пальцами барабанил по стеклу, прямо вплотную к ним грузовик, легковые машины, автобусы — все забито. Дернуло, проехали чуть и опять встали. "Надо было пешком идти — ноги то верней..."

Он с детства боялся закрытых дверей, замкнутого пространства, из которого своими силами не выбраться, вспомнил, как подростком, когда в войну жил в деревне, заполз на полати, а ночью проснулся, поднял голову — ударился, руку протянул — стена, и в другую сторону, и так стало страшно, — замуровали, закричал, забился...

Вагон еще дернулся и снова резко так затормозил — его к самой двери притиснули, навалились: вот он — сон его, в самый раз в руку. И такая безнадежность на него накатила — он затих. "Все, — мелькнуло в голове, — конец..."

5

"Опоздал..." — подумал Лев Ильич, увидев ее. Да нет, просто пришла пораньше, сразу потеплело у него на душе.

Она сидела боком на каменной скамье, глядела вниз на Кремль, мост через реку и обернулась, когда он уже подошел вплотную, поднявшись по лестнице.

— Хорошо как здесь... — начала было она. — Господи, что с вами, Лев Ильич? А я-то...

— Ничего, ничего, — бормотал он, ухватившись за ее руку, — теперь уж ничего.

— Да вы больны, Лев Ильич, что ж это я, не нужно было вас из дому вытаскивать...

— Что вы! — он со страхом глянул на нее. — Если бы вы не позвонили...

— Ну как бы я не позвонила, — у Веры глаза круглые-круг-

лые, а сначала, когда улыбнулась, увидев его, удлинённые с косинкой.

Лев Ильич почувствовал, как спокойствие теплой волной поднимается в нем, и осторожно, боясь, чтоб не расплескать его, сел рядом.

Она замолчала и больше ни о чем не спрашивала. Он вытащил сигареты, все закурить не мог на ветру, наконец, удалось.

— Да, здесь хорошо, — сказал он. — Это не я открыл, то есть, не мое это место, по наследству досталось.

— Сколько мимо бегала, сначала еще в детскую библиотеку, потом годами просиживала, а все мимо, мимо... А вам не холодно, пойдемте лучше или посидим?

— Да как хотите...

— Давайте тогда и я закурю. Все бросаю, не покупаю сигарет, а как увижу... — и они замолчали.

Город бежал мимо, не замечая, позабыв про них, растекался в одну, другую улицу, через мост, раскручивался, а они как плыли над ним; солнце глянуло сквозь летевшее облачко, блистало золотом на кремлевских куполах...

— Пойдем, — сказала Вера. — Солнышко, а я замерзать начинаю.

Они и пошли так же молча. Лев Ильич даже позабыл про нее, тишина в нем такая настала после все оглушавшего крика, ничего не замечал, хотя ее и поддерживал под локоток, когда переходили улицу, что-то она иногда говорила, он отвечал, но скорей механически, будто сто лет ее знал, все сказано и все знают друг про друга — чего языком молоть, коль необходимости в этом нет.

Да что это я, опомнился он вдруг, задержавшись глазами на доме, на котором и вчера почему-то застрял, идем уж, верно, с полчаса, больше, вон, куда забрались, она ж по делу звонила, не просто на меня глядеть и молчать, это мне хорошо — наверно обиделась...

— Простите меня, — сказал он, — у меня сегодня с утра... Я только что, вот, опомнился. У вас дело ко мне, раз вы позвонили так рано?

— Дело... — сказала Вера. — Да, какое дело, повод придумала, чтоб с вами поговорить, а сейчас уж и забыла какой... Вас хотела увидеть, — она спокойно так на него смотрела и не улыбнулась.

— Это как же! — смутился Лев Ильич. — Чего на меня глядеть, радость какая... То есть, спасибо большое, — он совсем сбился, даже покраснел.

— Ну вот, — засмеялась она, — я вас и в краску вогнала. Экая татарочка, подумал Лев Ильич, и ямочки на щеках.

— А мы пришли, — сказал он, — я тут вчера познакомил-

ся с одной женщиной, она насчет комнаты обещала или с ней вместе жить.

Она внимательно взглянула на него и тоже чуть порозовела.

— А я думала, вы забыли.

— Ну что вы, я тогда с вокзала пошел и сразу, холодно еще так было, промок, помните, вчера жуткая погода, дай, думаю, зайду, выпью чего-нибудь, мы так славно тогда в поезде начали, я потом до поздней ночи все остановиться не мог... Правда оно и похуже вышло... — он помолчал, припоминая, как оно у него, и верно, не весело получилось. — Да, а тут столовая, вон, через бульвар перейдем, в переулочке. А там женщина, кассирша... Заходите, говорит, найдем, чего, мол, хитрого. То есть, насчет комнаты я ее попросил.

— Прямо так сразу и спросили? — улыбнулась Вера.

— Нет, не сразу. Мне очень хорошо было, хоть и промок, выпил, думалось легко, а потом, знаете, по дороге домой я... Ну, это не к делу, — перебил он себя, — вам, может, и неинтересно. А в столовой она мне водки налила в компот, наоборот, то есть, компотом подкрасила, им нельзя же торговать водкой — потому столовая, я и думаю, какая славная женщина, вот бы жениться на ней, комната тихая... Нет, нет! — перепугался он, его в жар бросило. — Это я в шутку, такая нашла размягченность...

Вера до слез смеялась.

— Что ж, вы теперь меня, что ли, вместо себя ей хотите предложить?

— Конечно, не поверите, но я и спросил для вас — сейчас она сама вам подтвердит, — улыбался сам над собой Лев Ильич.

— А я-то еще ему звоню, свиданье назначаю, признаюсь, что хотела видеть... Экой вы опасный человек, Лев Ильич...

Они уже подходили к столовой, Лев Ильич открыл дверь: так же пусто было, только не убрали, вчерашняя кассирша все там же сидела, в окошко поглядывала.

— Здравствуйте, — сказал Лев Ильич, — а я вам жиличку привел, как вчера говорили.

— Разве мы про жиличку? Я на жильца рассчитывала.

Вера только рукой на него махнула, пошла столик выбирать.

— Для нее, вон, что ли? А не побоятся, что отобью?..

Лев Ильич было рассердился, но самому стало смешно — очень уж они обе от души потешались над ним и над его смущением.

— Обедайте, я потом подойду. Компотика вчерашнего пожелаете?

— Сейчас спрошу, — он пошел к Вере.

— Попало вам? — улыбалась Вера. Она выбрала столик, при-

несла вилки и ложки.

— Попало, — в тон ей ответил Лев Ильич, — расплачиваться придется — выпьем вчерашнего компота, про который я вам рассказывал?

— Давайте, только мне полстакана, а то у меня еще дело вечером.

Лев Ильич воротился к кассе.

— Вон как она тебя строго взяла — выпить спрашиваешь. Не люблю таких, — отрезала кассирша. — Ну так как, позволила или переждешь, пока отвернется, в туалет направится?.. Ладно, возьми и мне для знакомства, а то как же будем разговаривать...

Лев Ильич поставил на стол два стакана "компота", а третий чистый. Вера взяла чеки, пошла к раздаче.

Он сел, положил руки на стол и снова забылся. Он так был сотрясен случившимся с ним, что и сейчас, когда словно бы утих, все продолжал еще этот головокружительный спуск — то, о чем думал по дороге сюда, вышагивая по улицам и не замечая их, рядом с Верой. Теперь он знал, что бежать ему некуда — его все равно поймали, что покой, которым он стал, словно бы, так счастлив, всего лишь продление, оттяжка — подсунули бревно: подержись, соберись с силами, потом бревно заберут, а дна под ним уж давно никакого нет... Но, может быть, нет в этом ничего необычного, подумал Лев Ильич, каждый нормальный человек, думающий, решивший однажды начать говорить себе правду о себе и о жизни, так и существует: держится за бревно, пока не забрали, или пока сам не устанет, не надоест, а там — была-не была! — оттолкнется, побарахтается немного, да и пойдет ко дну. Может, там только и начинается настоящее — реальность, а пока лишь условность, призрачность? Но, не нелепо ли: эта жалкая столовая, водка, подкрашенная компотом, на столе, странная женщина за кассой, с которой он второй день уж встречается, какая-то, словно бы, связь меж ними возникла, к нему и к его жизни не имеющая никакого отношения — так, пересадка на далеком его пути... А вся его предыдущая жизнь не над пропастью разве висела? Разве не тем же случайным бревном были его пустяковые дела, дом, с таким трудом сложенный из материалов, о которых, как выяснилось, и подумать страшно — лучше совсем не вспоминать? Чем более редким, прочным казалось дерево снаружи, тем гаже, гнилым оказывалось внутри. То же бревно, только укреплено, вроде бы, поосновательнее, на тяжелом якоре стоит, а все ведь сорвет, коль потянет посвежей ветерком. Да и неизвестно еще, где якорь потяжелеет — тут, в этой столовой, или там, в ночном ресторане с коньяком в тонких фужерах.

Он увидел, как Вера с подносом, уставленным тарелками, идет между столиками, как поворачивается, обходя одно препят-

ствии за другим — красиво она так шла, смотреть на нее было приятно. Но Лев Ильич как бы издалека это видел, словно не к нему шла сейчас эта милая, по всей вероятности добрая женщина, только что так просто сама сказавшая ему, что хотела его видеть, что, стало быть, он ей нужен. Ага, обрадовался он, может, в этом спасение, если не тебе что-то нужно, а ты кому-то понадобился, тогда уж покрепче будет, не только ты за бревно уцепишься, но и она!.. Ну вот, ей-то за что цепляться, да и зачем?.. Какая-то нескладница была в голове Льва Ильича.

Вера как раз подошла, уже издалека улыбалась, а тут посмотрела на него внимательно и молча стала освобождать поднос, села напротив, взглянула на стаканы с "компотом" и поежилась.

— Страшно? — спросил Лев Ильич, ему все-таки полегче стало, когда она оказалась рядом, правда, может, если вдвоем, друг за друга держаться, можно на мгновение и позабыть, сколько под тобой глубины — хоть на мгновение! — а вся жизнь на много ль больше длится?

— Ничего, это только сперва страшно, дух захватывает — первый шаг, а потом все само собой покатится.

— Вы так думаете? — сбился Лев Ильич, она опрокидывала всю его стройную логику. — Это у всех по-разному, я делаю первый шаг чаще бессознательно или так, для внешнего чего-то — для славы, от трусости, из эгоизма, а на вид — по бесшабашности. Но вот перед вторым — задумаешься, потому что второй непременно обязывает к продолжению.

— Бывает и так, — сказала Вера, — я знаю, люди всю жизнь топчутся на одном месте, вроде и живут, а какая это жизнь — шагнут и передумают. Легкомыслие только или безответственность.

— А если ошибся, что ж и не попробовать прямо — на глубину, а не выплывешь?

— Значит, судьба такая, так тебе на роду написано.

— Я думаю, вы не правы, — сказал Лев Ильич, — это не легкомыслие, а наоборот, серьезное отношение к жизни. Чего ж брать на себя, взваливать, что не под силу? А потом расплата или того хуже — предательство, хорошо, коль себя только заложить, а если других, саму идею опозоришь перед людьми?..

— Может, мы о разном говорим, но, как мне кажется, вы все хотите головой понять, рассчитать, сопоставить, а здесь не голову — сердце нужно слушать. Оно вам самый верный — единственный шаг и подскажет...

Как это верно, подумал Лев Ильич, и он вспомнил, что вчера здесь же в этой самой жалкой столовой, тот же "компот" перед ним стоял, он услышал — он это точно знал, что услышал! — как забилося в нем что-то, что потом детскими, счастливыми слезами в нем же и пролилось. Но это вчера, а сегодня утром?.. Нет, не мог он

так легко с этим согласиться.

— Здесь можно ошибиться, — упрямо сказал он, и самому от собственных же слов стало безнадежно. — Мало ли что можно принять за этот знак: водки выпьешь, размякнешь — знак, женщина милая тебе улыбнется — знак, про детство и маму-покойницу вспомнишь до слез — опять знак. А это всего лишь эмоции, психология, а то и вовсе физиология — первый шаг. А вот потом, перед вторым начнешь себе про себя говорить правду... Нет уж, лучше сидеть в своем болоте и не чирикать.

— Печально, — сказала Вера. Она глядела на Льва Ильича с состраданием, — как вас измордовали: сердцу вы своему не верите, слезы о матери считаете физиологией, покаяние, открывающее перед вами целый мир, вас назад в ваше болото швыряет...

— Покаяние? — удивился Лев Ильич. — Почему покаяние?

— О чем же вы еще — я вас правильно поняла? Маму вспомнили, слезы о чем-то — вину ощутили перед близкими или еще перед кем, случайное слово, что вырвалось — не поймаетесь...

— Конечно! — поражался все больше Лев Ильич. — Я все это вспомнил, но... это и с вами бывает?

— А как же, — просто сказала Вера, — я думаю, нет человека, который бы однажды, ну, кто раньше, кто позднее, кто перед самым концом — оно ж, все равно, с каждым, вместе с ним живет.

— Ну и что тогда, то есть, если весь этот внутренний ужас, что в тебе запрятан, вытащишь на поверхность, как потом жить с ним, когда он перед глазами?

— А это начало премудрости, — легко так сказала Вера. — Страх Господень.

— Знаю я, читал, — отмахнулся он и вдруг остановился: "Страх Господень!" — подумал он, то что было с ним, вот, только что, в троллейбусе, он содрогнулся, это ведь и был, верно, с т р а х Г о с п о д е н ь, — не читал, а на самом деле был, реальностью, жутью обернулся!.. — Ну а дальше? — уже с надеждой спросил он. — Ну когда переживешь этот страх, в петлю не полезешь, вывернешься, тогда что?

— Так я и говорю вам про это, — внимательно смотрела на него Вера, — про покаяние. Покайтесь в своей беде, в грехах — вам и отпустит.

— Как же я покаюсь, — сказал Лев Ильич, — я и не крещеный вовсе.

— А вы креститесь. Я правду говорю, не зря вокруг этого ходите — я ж вижу.

— Я серьезно спрашиваю, — огорчился Лев Ильич, что она уходит от такого важного для него вопроса. — Я понимаю, конечно, для христианина это такой мистический акт, ему, наверно, правда, легче становится, когда с него грехи снимают, чтоб они его не зада-

вили, ну а остальные люди — вообще все люди, как они могут жить, если их посетил этот страх?

— Трудно за других знать, тем более, вообще за всех, но я думаю, страх этот уже и есть раскаяние. А как же, если вы тот ужас испытали, тьму египетскую увидели в себе, неужто не повинились в том, что натворили, неужто свои грехи в душе не прокляли, а это начало пути, пусть неосознанный, но все равно путь. Так в Писании и сказано, что и язычникам дал Бог покаяние в жизни.

— Так и сказано — в каком Писании?

— Ну, в Деяниях апостолов, кажется. Помните, вы с этим Костей говорили в поезде, не совсем об этом — о том, какая радость бывает у ангелов Божиих о каждом кающемся грешнике? Так и написано: больше радости будет об одном кающемся грешнике, чем о девяноста десяти праведниках, нужды не имеющих в покаянии.

— Тоже в Деяниях?

— А говорите, читали — нет, это в Евангелии, у Луки, наверно.

— Все сказано, — потух Лев Ильич, — а легче от того никому не стало. Петр, вон, апостол — и я кое-что помню — ему Христос не читал, а Сам говорил, и то отрекся, да еще трижды, его еще и не взяли по-настоящему — уже и отрекся.

— Мы про это с вами и говорим сколько уж времени, — улыбнулась Вера. — Он как третий раз отрекся — помните, петух пропел? — пошел и горько заплакал. Вот в чем и самая соль христианская — в этом раскаянии. Чего уж горше для него было, он после слез этих и стал апостолом...

— Голубчики мои, иль у вас разговор семейный, не для посторонних?.. Закуски остывают, "компот" выветривается — иль меня ждете? — кассирша стул пододвинула и села к ним.

Лев Ильич посмотрел на нее с удивлением, не сразу вспомнил.

— Садитесь, пожалуйста...

— А я уже сижу. Закусывать мне не положено — на работе, а выпить не помеха.

Лев Ильич поставил перед ней стакан с "компотом".

— Нет, так не пойдет, у нас равенство, уж скоро шестьдесят лет, как от оков освободили. Иль не согласны? — она плеснула в пустой стакан, из одного в другой разлила. — Могу в аптеке работать? Могу. Вот за кассой бы усидеть, тут, говорят, точность требуется, а может, преувеличивают, будто денежки счет любят? Их тратить нужно... Со знакомством, — она выпила, глазом не моргнула. — А зовут меня Маша... Вот и познакомились... У меня сестра была, тоже Вера, померла... Кому из вас комната-то нужна или вместе будете снимать?

— Мне нужна, — сказала Вера, — только вот и не знаю, может, на месяц, а может, на полгода — у меня потом будет, где жить.

— Хорошо, сразу говорите, а то некоторые снимут на год, а через неделю бегут — убыток хозяину. Тут на честность. Значит, срок неопределенный, может надолго. Вы работаете или дома будете сидеть, кухню коптить?

— Работаю, — сказала Вера. — Чего мне готовить, чайник вскипятить.

— Нет, этак не годится. А как мы со Львом Ильичем — правильно я вас назвала?.. — в гости к вам пожалуем, что ж, одни чай станем гонять? Или, как рассказывают, за границей положено, в столовой будете нас принимать? А я тут на службе, это сегодня хорошо: нашу заведующую к ихнему начальству вызвали на бдение... Шучу, конечно. Посмотрите комнату, если понравится — живите, много с вас не возьму, сын уходит в армию, на что мне его хоромы. А сейчас его нет, он по делам, а может, врет матери — к подружке укатил прощаться, она у него артистка, на съемках в Одессе, улетел, одним словом. А вернется, у меня переночует. Да у меня есть еще комнатка. Так что, понравится, прямо сегодня и оставайтесь.

— А когда можно посмотреть? — спросила Вера.

— Да хоть когда. Это рядом, через переулочек. Я уж отработала, сейчас сменщица придет, если не задержится. А нет, ключи дам, пока поскучаете с молодым человеком. Как закончите свои разносолы-закуски — и отправляйтесь.

— Спасибо, — сказала Вера, — я и не ожидала, что так просто, я уж месяц комнату найти не могу.

— Не знаю, где вы ищите, он-то, вон, ваш кавалер, сразу нашел. Верно я про вас понимаю?

— Какой я кавалер, — улыбнулся Лев Ильич, — я уж сколько времени все на свою жизнь жалею.

— А это самый верный ход, хитрый — нашего брата разжалобишь, считай, твое дело выиграно — сама в руки пойдет... Вы не стесняйтесь, как надоест тут сидеть, я вам ключи дам... Спасибо за угощение... — Маша отправилась за кассу.

— Какая славная женщина, — сказала Вера, — повезло мне с хозяйкой.

Они быстро справились со своими тарелками.

— Может, правда, пойдем, — улыбнулась Вера, — здесь что-то неуютно?..

— Чего зря время тратить, правильно, — сказала Маша, когда они уже одетые подошли к ней. — Перейдете переулок, чуть наискосок направо возьмете, двор будет, сразу против ворот — "строение номер два". Вот самое и есть "строение". Подъезд такой невидный, не пугайтесь, на окне еще цветы, сразу увидите — мое окно от ворот видать.

— Герань, что ли? — усмехнулся Лев Ильич.

— А вы откуда знаете — были в нашем дворе?

— Не был, а угадал цветочки?

— Ну, у меня много всяких, а герань редкая — розовая и красная. Держите ключи. Квартира вторая, как дверь откроете, первая комната направо. Там и подождите, а я следом.

Они прошли грязным двором, мимо развороченной помойки и увидели в "строении" — двухэтажном кирпичном особнячке, резко так выделявшемся среди грязных обшарпанных стен, странное зеленое — живое окно на первом этаже. Оно было таким сплошь зеленым и цветущим, что казалось издали куском яркой занавески.

— Смотрите, какая прелесть, — сказала Вера, — я говорю, мне повезло.

— Лев Ильич открыл ключом дверь в квартиру, рядом лестница шла вверх, видно, в такую же квартиру на втором этаже.

Было тихо, темно, он нащупал справа незапертую дверь и они очутились в комнате с ярким зеленым окном.

Лев Ильич должен был признаться себе — не угадал: какая там чахлая герань под сиротской занавеской, это был какой-то ботанический сад, кусок тропиков, буйство и веселье. Он даже оторопел от изумления.

— Никак не ожидал, — подумал он вслух.

В комнате был беспорядок, на стульях висели платья, кофточки, на крепком квадратном столе под темной клеенкой небрежно прикрытая полотенцем немытая посуда, продавленный диванчик, картина на стене маслом. Живопись была хорошей, видно, настоящей, Лев Ильич сразу это понял, хотя и не мог бы угадать художника, да и темно — не разглядеть толком. Еще полка, под потолок набитая книгами, старые растрепанные корешки, пыльные — давно к ним не прикасались. И большой телевизор в углу...

— Неожиданное жилье, — повторил Лев Ильич, взял у Веры пальто и повесил поверх своего на крюк у двери. Она присела на диванчик, он поместился напротив, у стола.

У Льва Ильича опять такое странное было чувство, будто бы и не он сидит тут, в этой чужой комнате, до того непохожей на его собственное жилье, да и на все, что он привык видеть, словно про кого-то ему рассказывают историю и еще из волшебного фонаря демонстрируют слайды. И женщина сидела напротив, про которую он ничего не знал, а до вчера и не помнил, а сейчас, вот, руку протяни — ее руки коснется, она свою не отдернет — а за что ему такая награда? И тишина полная, глубокая, как и не в Москве дело происходит, а рядом ведь бульвары с их грохотом и суетой? Двор, видно, каменный, скрадывал звуки, и переулочек тихий.

— Какая икона хороша, — тихо сказала Вера.

Лев Ильич оглянулся в угол, он от зелени и глаз вверх до

того не поднимал: еле теплился огонек, а там Божья Матерь в точь, как вчерашня, в храме, выплывала из темной доски.

— Какая хорошая... — как бы про себя повторила Вера. — Как хорошо мне здесь — так бы и не уходила... Я понимаю, Лев Ильич... Вы на меня не рассердитесь, что я в вашу жизнь без спросу вмешиваюсь?.. Я вижу, как вам тяжело, я даже испугалась, как вас сегодня увидела. Но это нужно, чтоб так вот было — совсем плохо. Это в вас предчувствие стучится — вот посмотрите. Главное теперь, чтоб вы за свою тяжесть на весь мир не озлобились, а наоборот — чтоб полюбили. Полюбите, все и осветится. Увидите, вспомните мои слова.

— А я уже... — сказал Лев Ильич, и сам себя будто издалека услышал. — Я уже полюбил.

— Да я не про то, — Вера тоже, видимо, услышала и вдруг смутилась... — Я скверная, сама не знаю, чего вас вытащила, правда, повезло — и комната, и человек добрый, и вот вы рядом, может чем помогу, я вижу, вам нужно помочь. Вот и дело у меня на первое время.

— Вы меня, Верочка, не бросайте, — попросил Лев Ильич. — Я возле вас только-только в себя начал приходиться.

— А я вас о том же самом хотела... Как же, — рассмеялась она, — зачем нам друг друга бросать, когда только нашли — еще и надоест не успели.

И Лев Ильич тоже засмеялся.

— Я вчера вечером Костю видел, — вспомнил он почему-то, — того, что в поезде. То есть, он у меня дома был допоздна, чуть не до утра мы с ним разговаривали, пили только много. Интересный человек, я таких не знал раньше... — он увидел, как Вера вздрогнула и поежилась. — Что с вами? — обеспокоился он.

— Я так и знала, что он к вам пристанет.

— Как это "пристанет"? Мы случайно встретились у моего товарища в нашем доме.

— Не нравится он мне, — сказала Вера. — Я боюсь таких людей.

— Правда? — удивился Лев Ильич. — А я еще подумал, у вас с ним интересы общие, близкие...

Дверь стукнула, в коридоре уверенные шаги, вошла Маша с тяжелой сумкой, звякнуло в ней, когда она спустила ее на пол.

— Опять тишина? Что это вы, как и не знакомые, все о чем-то молчите, да тихонько разговариваете? Здесь никого больше нет, не пугайтесь. Или вы правда до сего не были знакомы — не пойму вас?

— Хорошо как у вас, Маша, я говорю Льву Ильичу — уходить не хочется.

— Ну и живите на здоровье, за тем пришли. Как цветы —

понравилась?

— Я такого не видел, — признался Лев Ильич, — парк тропический.

— Ну уж, скажете! — она быстро разделась, подошла к окну. Дома она показалась ему совсем другой: исчезла лихость, как и нагловатая развязность — милая женщина, радующаяся людям, что пришли к ней. — Это я сама намудрила. Герань у меня верно редкая — видите, розовая и красная. И клен комнатный — колокольчики такие розовые... Ну, тут фиалки узайбарские — они все время цветут. Столетник разросся, надо бы горшков достать, а у меня все под кактусами. А это, угадайте, какое дерево?.. Я раз манго купила — тут напротив в магазине, чудной такой плод, да косточку и воткнула в землю и, глядите, деревце уже порядочное, сын измерял — восемь сантиметров... Баловство, конечно, коты летом шастают в окно взад-вперед, устраивают разрушения в моем парке. Я для них, другой раз, двери не закрываю, а они не признают — все в окно... Ой, Господи, что ж я вам зубы заговариваю, видела, как вы там над нашими харчами скучали. Пойдемте-ка, Верочка, я вам квартиру покажу... — они обе вышли. Лев Ильич теперь глухо слышал их голоса.

Он подошел к окну, тронул розовый колокольчик на клене и ему послышалось, тоненько он так звякнул, Лев Ильич даже вздрогнул от неожиданности, еще руку протянул — чашечка фиалки пощекотала ему ладонь, разросшуюся герань рассматривал... Вот так мещанский цветок! Особенно сейчас, в такую грязь-распутицу, в холодном раскисшем дворе эта роскошь казалась прямо чудом. Он так загляделся, что не заметил, как подошла Вера, почувствовал ее дыхание, потом только услышал голос — она тихонько говорила:

— Мы с вами попались — у Маши именины, она затевает что-то.

Льва Ильича радость обожгла, вот как — у них даже интересы общие, секреты...

Он обернулся, взял ее руку и поцеловал. Вера на него тихо посмотрела, хотела что-то сказать, но тут вошла Маша.

— Такая история, гости дорогие. У меня сегодня, как я Вере докладывала, вроде бы именины, и я рада, что вы пришли. Только тут беспорядок и жизнь холостяцкая, потому вдруг одна осталась. Я вас и приглашаю к моему соседу, надо мной, по лестнице только поднимемся.

— Неудобно, — сказал Лев Ильич, ему не хотелось отсюда уходить. — Мы совсем чужие.

— Знаю, чужие, я вас на улице подобрала. Вот и познакомитесь. Сосед мой всегда рад людям. Мне он не чужой, значит, и гостям моим обрадуется... Вы не одевайтесь, мы выходить не будем...

Она еще что-то сунула в сумку и они вышли в коридор.

— Да, — спохватилась Маша, — я ж вам и комнату не показала, что снимать будете, заболталась на кухне, — она щелкнула выключателем, под потолком в коридоре загорелась мутная голая лампочка, велосипед висел вверх ногами, под ним лыжи, ободраный шкаф с холстами в подрамниках и просто так — один на другом до потолка, еще одна дверь рядом, она ее распахнула. — Вот вам и комната, хоть сегодня ночуйте.

Они заглянули. Чуть поменьше была комната, на окне глухая штора, темновато, но Лев Ильич разглядел тахту — матрас на самодельных ножках, ученический письменный стол, полка с книгами и кожаное кресло — глубокое, вытертое...

— Не богато, да жить можно, — определила Маша.

— Славно, — сказала Вера, — мне подходит.

— Ну и договорились. Пойдемте, у нас теперь дела поважнее.

Они стали подниматься по лестнице с выщербленными ступенями и поломанными кой-где перилами, а когда-то, видно, красивой была лестница.

— У вас сын художник? — спросил Лев Ильич.

— Какой он художник, вот отец его кой-что в этом понимал...

Они стояли перед дверью, справа была квартира, как и та, внизу; еще марш вел наверх, видно, на чердак, Маша позвонила.

Дверь открылась сразу, как ждали, они вступили в коридор, Маша с кем-то уже шутила, еще открылась дверь: в коридоре было темно, ничего не видно, а шагнул в комнату, сначала, после этой темноты и не разглядел никого. На окне в красивой клетке большой попугай с зеленым хвостом вертел головой, а рядом круглый аквариум с водорослями, подсвеченными лампой, рыбы медленно, важно так проплывали; стены в книжных шкафах. А правый угол — в иконах, перед ними лампада зажжена.

У книжной стены в кресле, таком же, видно, как в той, второй Машиной комнате, только обтянутом светлым чехлом: "Парные кресла!" — мелькнуло у Льва Ильича, — сидел мужчина. Он встал, как только они вошли в дверь. Лица его было не разглядеть, он подходил от окна, белело в черной бороде, длинные волосы падали чуть не на плечи. Он был в широкой домашней куртке, ворот белой рубашки выброшен поверх.

Маша еще и рта не успела раскрыть, он подошел к ним, протянул руку, а Лев Ильич уже привык к освещению, увидел его глаза — светлые, острые, что-то в них знакомое бросилось, но он не вспомнил.

— А я вас давно жду, Лев Ильич, — сказал он, — знал, что вы когда-нибудь, но непременно ко мне придете.

Уже и свет зажгли, и комната сразу обозначилась, проще стало, хоть и непривычно: весь угол в иконах, мерцающие рыбы в аквариуме, попугай задумчивый, притихший при свете, стены в книгах, неслучайные явно были книги — вон переплеты самодельные. Лев Ильич сидел уже в кресле, как-то так сразу вышло, что его усадили, Вера устроилась подле на стуле, хозяин против них, прямо колени в колени Льву Ильичу. Уже разглядел его Лев Ильич, вот возраст трудно определить из-за черной окладистой бороды, а глаза молодые, зоркие, добрые, веселые сейчас. Уже Маша вместе с хозяйкой летали по комнате — стол на глазах преобразался, что-то там звенело, расставлялось, а Лев Ильич все это видел, отмечал, но никак опомниться не мог — и от того, что так встретил совершенно незнакомый человек в чужом доме, и что какой-то смысл ему в этом угадывался, а в чем — он не схватывал, и в том, главное, что все пытался вспомнить, — знал же он, верно, знал этого человека!..

— Смотри, Дуся, гость у нас какой! — обернулся хозяин к жене. — Помнишь, к Федору Иванычу в родительскую последний раз ходили, к той могилке сворачивали?.. Это вот он и есть — тот самый!

У Дуси обе руки были заняты тарелками — рыба, что ли, какая? селедка? — остановилась, внимательно посмотрела на Льва Ильича: милое лицо, простое, волосы гладко зачесаны, пучочек небогатый на затылке, мягкие глаза под светлыми бровками; улыбнулась, поставила тарелки, обтерла руки об фартук, подошла к ним.

— Спасибо, что пришли, — сказала она, подавая руку. — Я очень вам рада.

Лев Ильич окончательно растерялся, его опять усадили в кресло, Вера улыбалась его смущению, наверно, и ей здесь было приятно.

— Ну что, хозяин, — к ним подкатилась раскрасневшаяся Маша, — хороших гостей привела? А он сомневался — чужие, мол, неудобно. Были, говорю, чужие, когда на улице подобрала, а вот уж и свои стали. Да мы с ним давно свои — второй день вместе пьянствуем.

Хозяин на нее обернулся, посмотрел мягко, но чуть укоризненно.

— Ладно, ладно, не сердись, я к слову, да и что там — мой

праздник-именины!

— Не беда, Лев Ильич, что не помните, важно, что пришли, а пути нам не ведомы. Федор Иванович, покойник, часто вас вспоминал, да и я, видите, не забыл... Ну что там? Уж к столу можно? Сегодня у нас именинница на масленицу угадала...

Они уже сидели за столом, у Льва Ильича в глазах рябило, он и не видел такого стола, хоть нагостевался в свое время: тарелочки, миски деревянные, обливные — огурчики, грибочки, селедка, балычок, мед в большой миске, ягода красная — брусника, что ли...

— Вы уж простите, — сказала Дуся, она еще не присела, — икра бы нужна, но что делать, да это сейчас почему-то все икру хотят, а то к блинам и не обязательно. Вот рыбка хорошая, а это грузди — свое все, и еще, очень вам советую, рыжики в сметане, словно бы удались, и бруснику обязательно — моченая... Да что это я, — спохватилась она, — у меня квас петровский на меду... — она вернулась с большим кувшином.

— Помолимся, — сказал хозяин, встал и оборотился к иконам.

Лев Ильич руки не решился поднять, стоял, мучился, а на него никто и внимания не обращал. Опять уселись.

— У нас только водка, вино к блинам будто и не идет. Хорошая водка, я на смородиновом листе настаивала, на укропчике, — Дуся пододвинула мужу плоский граненый штоф, он налил в большие рюмки — лафитнички.

— Ну, именинница, — сказал хозяин, — дай тебе Бог, а ты меру знай.

— Эх! — вздохнула Маша и рюмку опрокинула в рот. — Кто мне отмерит-то?

— Здравствуй! — сказал хозяин, Лев Ильич его отчество не расслышал, когда он знакомился с Верой — Кирилл Сергееч, что ли? — Будто того не знаешь, Кто?

Водка и верно была отличная, пахла травами, Лев Ильич грибочек подхватил. Так все с ним стремительно сегодня происходило, он никак не мог остановиться, себя понять, и здесь вот, за этим столом осознать — почему он тут и кто?

— Что же вы или, может, пора сразу блинов, а то я смотрю скучают наши гости, — Дуся вышла и вернулась с большим блюдом, на нем высокой горкой лежали блины, дух от них сразу пошел по всей комнате, она Льву Ильичу первому выложила на тарелку — румяные, ноздреватые — Лев Ильич не удержался, слюну проглотил.

— Со сметаной, или маслицем вам полить?

— Ой, смехота! — завелась вдруг Маша. — Как я сейчас Льва Ильича напугала!.. Он вчера ко мне забрел в столовую — вижу,

мокрый, замерзший человек. "Компотиком" его отпотчевала, а он согрелся и вздумал у меня комнату снимать. А сегодня уже не один приходит. Ах ты, говорю, что ж, мол, девушку обманываешь, я жду, рассчитывала с тобой вечера коротать, а тут вон оно что! — Маша так смеялась испугу Льва Ильича, нельзя было не улыбнуться.

— Я говорю, меру знай, — нахмурил брови хозяин, но не выдержал, сам засмеялся. — Набрался все-таки смелости, раз пришел?

— Да ну, — все не унималась Маша, — это Верочка ему споконная попалась — другая б на ее месте! — убежал бы, так его б и не увидели!..

— А я, знаете, что вспомнил, Лев Ильич? — сказал хозяин. — Наша именинница шутит, вы, мол, испугались, убежали, я и вспомнил: я, может, потому вас сразу узнал, все-таки двадцать лет прошло, изменились конечно, а сразу узнал. Я стоял обедню в Ваганьковской церкви — да уж не двадцать, как бы не двадцать пять тому, конечно, мне тогда пятнадцать лет исполнилось! А вы и вошли, я сразу вас заметил, робко так вошли и остановились у дверей. А дьякон тут и огласи: "Оглашенные, изыдите!" — вы обратно и кинулись. Я тогда за вами до самых кладбищенских ворот бежал — не догнал. Да и что, подумал, сам, время наступит, вернется. А потом до сего дня и не виделся. Лицо ваше на всю жизнь запомнил — смущение, страх такой неподдельный, будто сами, только что вот, что-то такое ужасное совершили...

— Господи! — вырвалось у Льва Ильича. — А я вчера и не знаю зачем — да нет, знаю, знаю! — вас вспомнил... Кирюша!.. — он вскочил со стула и кинулся к нему. — Кирюша!..

— Ну вот, слава тебе, Господи, разобрались, — улыбался хозяин.

Они поцеловались, Лев Ильич все руки его никак не отпустил.

— Да как же так, а я ведь ни разу и не искал вас!..

— Ну, так и я вас не искал. Квиты. А Федор-то Иваныч...

— Какой Федор Иваныч?.. А...

— Десять лет как схоронили. Марья Петровна при вас еще жива была? Ну да, она еще с полгода после вас промаялась. А он, видите, сколько еще прожил, хоть постарше ее был лет как бы не на пятнадцать...

Лев Ильич вспомнил, все он теперь вспомнил. И себя, горящего, как свеча, от своего безысходного горя, и Федора Иваныча с голубыми глазами на изрезанном коричневыми морщинами лице, и его руки — широкие, корявые руки могильщика с въевшейся в них глиной. И то, с каким ужасом он глядел на эти руки, будто та глина его была, с той самой могилы. Как тот рассказывал ему о себе, разные истории, думал, верно, чужая беда его остановит,

про свою заставит забыть — да куда там, он только своим и упивался. Тогда-то вот Кирюшу он и заметил. Тихий такой, длинный, нескладный подросток, сидел все с книжкой, школьник, чужой будто в той комнатухе, где на широкой кровати трудно умирала женщина, а в окошко глядели кресты... Вспомнил Лев Ильич ту историю. Пришла раз на кладбище женщина, проведать могилку — самое время было, тридцатые годы, с Федором Ивановичем договорились о той могилке, оставила ему деньги, чтоб следил, — сама мол, уезжает надолго, он и не понял, куда да зачем; что ему за дело, присмотр, велика обязанность, все равно тут. С ребенком пришла трехлетним, мне, говорит, еще туда-сюда сбегать, проездом, мол, в Москве, а поезд вечером, пусть мальчонка у вас побудет. И на это Федор Иванович согласился — почему не помочь. Да и не вернулась. А мальчик тот не ее был, она рассказала Федору Ивановичу, успела. Только ему все равно в голову бы не зашло, что так может обернуться. У них в Ростове — вот они откуда — посадили священника, потом забрали попадью, а мальчика она успела отдать сестре, как за ней пришли, или сами его не взяли. А потом и ту сестру замели — все вычищали под корень, мальчонка и остался соседям. И уж никакой жизни в Ростове не стало, друг друга боялись, молчи, мол, пока цел. Она тоже, эта женщина, была не тамашняя — из Москвы, что ли, беглая, что-то за ней водилось, путанная история. Но Федор Иванович слушал в полуха, ему ни к чему она была, он наслушался веселых кладбищенских историй. Так ли, не так, но паренек у него остался. Детей у них не было, они и не усыновили его, остерегались, уж больно время было хитрое, как-то там записали, оформили, он и жил под их фамилией — сын и сын. Да и Льву Ильичу та история тогда была ни к чему, ему все она виделась, как тепло из нее в его руках уходило, он все на руки Федору Ивановичу глядел... Никогда не вспоминал, а этот вон как его запомнил...

— Ну и что ж... вы, — споткнулся на его имени Лев Ильич.

— Видите, как, — улыбнулся Кирилл Сергеевич, — живу. Федора Ивановича схоронили недалеко от вашей могилки — давно не были?.. Мы там кусты насадили — сирень, смородина... Да разное у меня было, как у всех, а потом выправился, академию кончил, женился. Третий год здесь служу.

— Кем... служите? — все не понимал Лев Ильич.

— Да батюшка он, Господи! — не выдержала Маша. — Какой тебе, Веруша, непонятливый мужичонка достался! Батюшка наш — отец Кирилл, а для меня еще — милый Кирюша, правда, нет?

— Чудеса какие-то, — сказал Лев Ильич. — То есть, не в том, что вы священник, хоть и это... для меня удивительно. Но вот как, почему, зачем? — вот что мне хочется для самого себя понять! За чем я вдруг оказался у вас? И ведь не думал, кто б сказал, не пове-

рил — как это происходит? Да к тому же второй день у меня все словно б и идет к этому! — Лев Ильич разгорячился, на него всегда первая рюмка сильно действовала, потом приходил в себя. — Мы с Верочкой вчера утром встретились в поезде, еще там один — третий, оказался, и понимаете... Кирилл Сергеич, все у нас разговор и вся моя жизнь — она с тех пор, со вчера, — непрерывно вокруг всех этих, как сказать, проблем. Я и думал-то о них — так, к случаю, необязательному разговору. А ночью, сегодняшним утром я было совсем до стенки дошел... Хорошо за Верочку уцепился. И вот в довершение всего я у вас, а вы... Чудо, что ли, или меня кто-то за руку ведет?.. Вы меня извините, — опомнился Лев Ильич, оборотясь к хозяйке, — что-то я разоткровенничался, а у вас праздник, я вам настроение порчу...

— Бог с вами, — сказала Дуся, — я ж сказала вам, как рады, что вы пришли. Мне Кирюша рассказывал о вашем горе и о том, как вы убивались, я словно давно вас знаю. Вон сколько времени прошло, вы мне все таким, как раньше, молоденьким виделись, а теперь вы вон какой — зрелый человек... Только блины мои вам будто и не нравятся — не жалуется.

— Да что вы, — покраснел от чего-то Лев Ильич, — я только и делаю — ем... Правда, разговариваю много...

— Лев Ильич, — спросила Вера; она до сего все молчала, внимательно слушала и улыбалась, спокойней она тут стала, ушла сдерживаемая нервность, которую все время чувствовал в ней Лев Ильич, — Лев Ильич, а мы только что с вами... Я вам про это и говорила — помните? что вы все вокруг ходите не случайно — вот и пришли. Как же в чудо не поверить!

— Это вот он — такой-то, в чудо не верит? Да что ты, Веруша! — Маша тем временем разливала водку из штофа. — Я как его первый раз замерзшего, тихого разглядела у себя в столовой — я их, таких скромных евреев — во как люблю! Они, евреи, бывают нахальные и такие, это как совсем разная нация...

— Маша, Маша, — нахмурился Кирилл Сергеич.

— Ну что ты меня все останавливаешь, батюшка? Я правду говорю. Они, тихие-то такие, самые душевные, а для нашего женского пола особенно сладкие. Им ли в чудеса не верить!

— Маша, ты, конечно, именинница, — сказал Кирилл Сергеич, — вроде бы здесь хозяйка, но не расходишь.

— А что я, обижая, что ль, кого? У них другая сила — она в таком упрямстве — не сдвинешь, все равно по-своему сделают, а посмотришь, его можно руками мять.

— Откуда опыт такой, знание? — улыбнулся Кирилл Сергеич.

— Обыкновенно откуда — из жизненной практики. Повидала.

Кирилл Сергеич только руками развел.

— А вот вы... насчет чуда... — спросил Лев Ильич, ему таким важным показалось все, о чем тут говорили, он так привык к застольному разговору, безо всякого смысла и дела: надо ж как, удивлялся он про себя, жизнь и за рюмкой с блинами продолжается! — Я понимаю и буду еще думать о нашей чудесной встрече, и такой важной для меня — с Верочкой вчера в поезде, и об этих днях, что-то во мне уже изменивших. Но это, как бы сказать, чудеса метафори-ческие, они — хочешь, за чудо посчитай, а не хочешь — все ж обыкновенно: встретились, разговорились, квартиру пришли нанимать, а тут именины — случай!.. Ну а реальные чудеса — их христианство отрицает? То есть, от чуда ведь и Христос отказался — не сошел с Креста, от искушения, то есть... Ну было, было, — заспешил он, показалось, сейчас его поправят, — знаю, были и чудеса: и Лазарь, и бесноватые, и пять хлебов — тоже, говорят, метафора, символика, ну были в те первые века и со святыми чудеса. А в наше время — или это потом, не при жизни узнается? Но ведь потом не отличишь легенду от реальности?.. Я очень нескладно, темно это выражаю? — смутился он.

— Нет, отчего же, — сказал Кирилл Сергееч. — Мне кажется, я вас понял. Хотя это и не простой вопрос. И Фома-апостол тем же мучился, если помните, не уверовал, пока свои персты в Его раны не вложил. Конечно, когда человек живет с верой, у него совсем иное отношение к жизни, как бы другое зрение, ему постоянно открывается чудесное, ну, в каждой мелочи, мимо которой люди обычно проходят, не замечают... Хотя бы то, о чем вы только что говорили: вчерашняя встреча, сегодняшняя — случайность, стечение обстоятельств — пошел бы налево, а не направо, заглянул бы в другую столовую — может быть, и не встретились. Ну а поверь вы в то, что в жизни ничего такого бессмысленного не происходит, что все волосы у нас на голове сосчитаны и каждый наш шаг наперед известен, хотя и полная свобода у вас при этом существует — между злом и добром, я имею в виду. Он потому, верно вы сказали, и с Креста не сошел, чтоб навсегда вам эту свободу оставить.

— Это я понимаю, — сказал Лев Ильич, — то есть, умозрительно понимаю, а какое все это имеет отношение к моей жизни — никак не пойму... То есть, вам-то я верю, — заторопился он, — хоть никогда про это всерьез и не слышал, так, литературно-философские рассуждения.

— Ну и этого для начала не мало. Одному поверили, вон, Вера рядом с вами сидит, ей поверили... Разные пути есть. Одному через чудо, другому — встреча, третий от отчаяния, или, как говорят модные современные философы — от желания отчаяться.

— Объясните, отец Кирилл, — спросила Вера, — я пыталась Льву Ильичу сегодня ответить, едва ли смогла. О том, что страх

Господень возникает непременно в искреннем покаянии, он и есть начало всему — мудрости, пути, вере, в конечном счете.

— Точно, — сказала Маша, — только их, мужиков нынешних, не напугаешь, да и опасно — напугается и к другой убежит. Вот и бегают, пуганные-то, тоже повидала!.. Ладно, ладно, не сердись, — глянула она на Кирилла Сергеевича. — Я это так, чтоб не заскучали.

— Подожди, Маша, — вмешалась Дуся, — человек, правда, переживает, не видишь, что ли?

— Да вижу я, Господи, кабы не видела и не привела бы сюда. Вон оно чудо-то выходит — моя бабья доброта и есть, и никакой другой подкладки... Не сверкай, не сверкай на меня глазами, отче, бабе после рюмочки поболтать не грех. Грех в печаль впасть да из нее не выбраться. Вон и я ученая!

— Видите, как живу, Лев Ильич, — засмеялся Кирилл Сергеевич, — в женском обществе, слово не дадут сказать, не зря монахи от них бегали — забьют.

— Да не за тем они бегали, — обрадовалась Маша, что ее тон поддержали, — они от себя убегали, это только в старое время, до нашего бабьего освобождения считалось, что в нас зло, а коммунисты разъяснили — зло в мужике. Сколько они нашего брата перепортыт за жизнь — страшное дело!

— А вы знаете, в чем Маша права? — сказал Кирилл Сергеевич. — Что грех великий, действительно, не в том, что согрешишь, кто ж безгрешен, а в том, что за своим грехом ничего больше не увидишь, уныние и есть самый страшный грех — к смерти.

— Да, — сказал Лев Ильич, — я сегодня целый день об это и бьюсь. Значит, тогда и... выхода нет? — спросил он опять, как только что Веру спрашивал.

— Есть, — серьезно ответил Кирилл Сергеевич. — Только тут и разница. Апостол Павел говорит в послании Коринфянам: "Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть."

— Тогда нет выхода, — сказал Лев Ильич, — какая ж у меня печаль, как не мирская.

— А почему вы так полагаете? — спросил Кирилл Сергеевич, остро вглядываясь в него.

— Я ж, видите, ничего не знаю, в азбуке не разбираюсь, не верю, да и не крещен.

— То беда поправимая, — сказал Кирилл Сергеевич, — давайте мы вас и окрестим.

— Вот это дело, — обрадовалась Маша, — эх, погуляем! Сколько у нас — четыре дня осталось до Поста, чтоб власть погулять? Я и крестной буду.

— Да ну, что вы, — испугался Лев Ильич, — как я могу крепиться, когда я в самых азах сомневаюсь.

— Не надо, — легко согласился Кирилл Сергеич, — тут не следует неволивать.

— Как не следует? — горячилась Маша. — Вера, ну что же вы не поддержите? Вон, вишь, и святой апостол сомневался, пока ему чудеса не предъявили... Но непременно я буду мать крестная — я ж его на улице подобрала!

— Подожди, — отмахнулся от нее Кирилл Сергеич. — Тут у вас логическое заблуждение. Вот вы все доверяете логике, и от незнания себя, в том числе. Ну как это вы не верите, вы не случайно про чудеса заговорили — они горят у вас в душе, я вижу, да я вас с юности запомнил: и как в церковь вошли, как бежали оттуда — так не бывает без веры. Человек другой раз сам не знает про себя, привычки нет для такого понимания... Ну хорошо, что у вас корысть, что ль, какая в вашем, как вы полагаете, мирском покаянии, вы за него что-то получить надеетесь, или любоваться им перед собой, комплексы, как ныне говорят, в вас гуляют?

— Нет, — сказал Лев Ильич, — какая тут корысть, когда я сегодня — вон, Верочка на меня насмотрелась, тьму египетскую увидел средь бела дня, сам от себя, от ужаса и... омерзения чуть не захлебнулся.

— Видите как, — кивнул головой Кирилл Сергеич. — Апостол Павел в следующем стихе и разъясняет: "Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного (заметьте, на виновного!), какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле", заканчивает Павел.

— Что ж с того? — поднял голову Лев Ильич.

— А то, — сказал Кирилл Сергеич, — что вы о себе плачете, о себе негодуете, себя почитаете виновным, отсюда и страх, и ревность, и взыскание, по слову апостола. А покаяние, как сказал преподобный Исаак Сириянин, есть корабль, страх Божий — кормчий, любовь же Божественная — пристань. Страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит по смраднему морю жизни и пристает к Божественной пристани.

— Прекрасно, — сказал Лев Ильич, — красиво. Но может быть, в этом страхе и есть корысть, о которой вы говорите, — что-то в нем не хотело сдаваться, словно жалко было расставаться со своей безнадежностью. — Какая ж чистота в этом деле, если я с перепугу заберусь на тот корабль от страха наказания — не от веры.

— Разные пути есть, мы и начали с этого. А коли взошел на корабль покаяния, доверься кормчему — он вас мимо той при-

тани никак не провезет...

Колокольчик звякнул, пропел мелодично: "Пришел кто-то..." — успел подумать Лев Ильич. Дверь открылась, и Лев Ильич обомлел, а больше всего от того, что первым его чувством была неприязнь, раздражение: это уж слишком, многовато, зачем так все сходитя? Иль от того, что Верины слова в нем засели?.. Сам себя устыдился Лев Ильич, даже испугался — такая гадость полезла в голову, а человек ему ничего плохого не сделал, самому ж интересно с ним было. Он только взглянул на Веру — она тоже недоуменно пожалала плечами.

— Вот хорошо-то как, — проговорил меж тем Кирилл Сергеич, — спасибо, пожаловали. А у нас гости, знакомьтесь, блины, вон как кстати.

— Да уж и не знаю, кстати ли, но Марию Кузьминичну поздравляю с именинами, — на Косте белая рубашка с галстуком, дешевый костюм отутужен, он протянул Маше букетик в целлофане — хризантемы.

— Вот он, мужчина, а я, балоболка, его не жалую! — воскликнула Маша, стул подле себя отодвинула. — Садитесь, Костя, буду за вами ухаживать.

У Кости лицо не дрогнуло, как Льва Ильича с Верой разглядел, только глаза чуть сощурил.

— Вон как, Лев Ильич, у нас с вами дорожки сходятся.

— А вы знакомы? — поразился Кирилл Сергеич. — Что ж вы, Костя, давно его мне не привели? Мы сейчас подсчитывали — двадцать пять лет знаем друг друга, а почти столько же и не виделись... И Веру Николавну знаете?.. Вот и славно.

Из-за спины Кости показался еще один гость: совсем молодой паренек с румянцем во всю щеку, светлая прядь волос падала на широкий лоб, широко расставленные глаза смотрели смущенно, но смело, из распахнутого ворота ковбойки выглядывала тоненькая мальчишеская шея.

— Да, — замешкался Костя... ("Ага, все-таки сбился, нас увидев, конечно же, никак не ожидал", — удовлетворенно отметил Лев Ильич, а то уж такой был respectable выход, не позабыл бы...) — я, извините, не представил вам своего молодого друга. Федя Моргунов, давно мечтал с вами, отец Кирилл, познакомиться, никогда не видел живого священника, не верил, что бывают...

— Я никогда вам такого не говорил, — Федя залился краской, даже лоб покраснел. — Охота вам меня сразу дураком представлять?

— А не сразу можно? — улыбнулся Костя.

— Ну, если заслуживаю, — у Феди глаза отвердели. — У меня с церковью сложные отношения — смахивают на провинциальный театр, а священники чаще такие любители, вот мне и хотелось уви-

деть не на сцене или за кулисами — в жизни.

— Вон какого привел! — сказала Маша. — Садись-ка, зритель, блинов наших отведай, только честно скажешь, любительские или профессиональные. Вот как с блинами разберешься, тогда мы и о церкви поговорим.

— Садитесь, садитесь, — приглашала Дуся, — что вы на него напустились, человек первый раз пришел. Вы сначала закусите — грибочки, селедочка, а я сейчас вам горяченьких, у меня дожидаются в духовке.

— Спасибо, — румянец на щеках у Федя полыхал все ярче, — я не голодный.

— Да чего там, — сказала Маша, — мы все ныне сытые, достигли, а раз пришел, признавай наш устав. Так я говорю, отче?

Кирилл Сергеич всем налил, Дуся вошла, на блюде дышала еще такая же горка блинов, она ее утвердила посреди стола. Все еще раз выпили за именинницу.

— Рыжики, грузди... — угощала Дуся.

— А мне интересно, — сказал Кирилл Сергеич, — ваше заключение насчет провинциального актерства на чем основано, вы с чем-то сравниваете, или просто другого не знаете?

Федя не мог ответить, он только заправил блин в рот, да по совету хозяйки подтолкнул его туда рыжиком, у него даже слезы выступили на глазах. Он рассердился.

— Мне сравнивать не с чем, — получил он, наконец, возможность говорить, — а что видел, в полном соответствии с тем, что только и может быть. А как же иначе? Я, скажем, прихожу сегодня в церковь, вчера на луну слетал, еще за день до того пересадил умирающему сердце от свеженького трупа, в кармане у меня транзистор — футбол передают из Мексики, а тут, в церкви, все как при царе-Горохе: те же свечки, тот же безголовый хор, язык, давно уж его никто не понимает, одеяния — от них, как в музее, нафталином пахнет, от тоски скулы воротит, десять убогих старушенок и мужичонка колченогий. А священник в этом своем допотопном азыме делает вид, что ничего за стенами не изменилось — то есть, ни луны, ни транзистора, ни современной медицины. Да еще старушонки-святоши за руки хватают...

— Чего ж они тебя сердешного схватили? — искренне изумилась Маша.

— Да кто их знает: не понравилось, что я руки назад сложил. Не нравится! Видно, еще до татар такое правило установили.

— А я напугалась, ну думаю, чего он там своими руками размахивал? Эх, философ! Старушки те не в музей пришли, не глазеть на диковину — домой. А дома, погляди на свою мать, разве она руки за спиной когда сложит, они у нее беспрерывно делом заняты: то исподнее твое отстирать, то тебе кашку сварить. Да,

небось, и самому стыдно дома туристом похаживать?

— Какой дом, когда говорят не по-нашему — ни слова не понять.

— Ну они-то, может, понимают? — это Вера спросила. — Вы за себя сейчас говорите или за других, за кого ничего не знаете?

— Что ж другие, они не сейчас живут, не по тем же улицам ходят?

— Ну да, — сказала Вера, — в смысле транзисторов, конечно, большие произошли изменения на планете.

— Нет, почему же, — сказал Кирилл Сергеич, — есть такая точка зрения, что нынешняя церковь консервативна, не учитывает изменений, происходящих ежегодно в мире. Верно, не учитывает. Но беда ли ее в этом, вот где вопрос? Может, в той консервативности как раз ее сила? Вы подумайте, какие невероятные изменения в мире, да хоть за последние двести, сто, даже пятьдесят лет — прямо эпохи новые, геологические. И все, заметьте, разрушается, самое, казалось бы, прочное, на века строенное, чему рукоплескали, чем восхищались, гордились — никто и не вспоминает. А церковь стоит. Татары, Петр, большевики или, как в школе учат, рабовладельчество, феодализм, капитализм, социализм — а церковь стоит. Может, в этом ее консерватизме и смысл, а чем, как не высшим смыслом, вы это чудо объясните?

— Да мало ли чего стоит, — Федя потянулся было к блинам, но опять рассердился, налил себе рюмку, выпил. — Вон стена китайская стоит, еще может, древней, а какой в ней смысл — одна историческая нелепость... Да нет, глупость сморозил, вы не подумайте, я к вам не спорить пришел, не уличать вас в обмане! — вскричал он вдруг. — Это я потому, что Костя меня дураком представил... Я вам этого, Костя, не прошу, — сверкнул он на него глазами. — Я подумал, может, вы мне мое главное, предельное сомнение разъясните? Что ж, церковь — это обряд, традиция, нужна старушкам, ну и Бог с ними, пусть ходят, раз им хорошо. Пусть любительская служба, профессиональная — пускай их! Можно, ведь, и без церкви — Бог он где хочет живет, но вот, чтоб поверить! Я чувствую, вижу, без веры все расплывается, а с Богом стройно, все на свете объяснимо, все без вранья и жалких научных допущений, когда библейское объясняют социальным, а философию физиологией. Но коль поверишь, как самое главное примирить? Я, может, вам, конечно, ребенком кажусь, про это все написано, сказано, все обсудилось, известно — но то в чужой книжке, а это мое, мне самому себе как объяснить?

— А вы себя не стыдитесь, — сказал Кирилл Сергеич, — он совсем по-другому глядел на Федю, мягко ("Чтоб не смущать", — подумал Лев Ильич). — Чего извиняться, когда вы о таких серьезных вещах говорите. Что же вас так смущает, что не дает поверить,

когда уже почувствовали необходимость, в себе услышали, поняли?

— Главный, вечный — страшный вопрос, на котором все себе головы расшибали. Но про всех-то — зачем мне, он у меня свой? — у Феди даже кровь отхлынула от щек, побледнел, видно, правда, был в недоумении. — Хорошо. Бог. Шесть дней, грехопадение, потоп, Христос, даже Воскресение — и это можно представить, как ни дико, — пусть символика, все равно стройно, прекрасно — все на месте. Соблюдайте заповеди, или хоть старайтесь соблюдать, покаяние... — он заметил, что Кирилл Сергеич глянул на Льва Ильича, и остановился сразбегу. — Ну вот, я ж говорил, вы будете смеяться...

— Бог с вами, — сказал Кирилл Сергеич, — зачем вы так меня обижаете? Мы только-только до вас со старым моим другом Львом Ильичем говорили о покаянии. Но с другой стороны, совсем иначе. Я слушаю вас очень внимательно.

— Можно я еще выпью? — спросил Федя, прямо по-детски у него вырвалось.

— Видите, какой я плохой хозяин, — заметил Кирилл Сергеич, — и верно, любитель — не профессионал.

— А блины замечательные, — первый раз улыбнулся Федя, — и правду вы сказали, — посмотрел он на Машу, — мама у меня тоже такие печет, редко, правда.

— Видишь, как, — сказала Маша, — все и выходит правильно.

— Нет, но я хочу договорить, спросить!.. — заспешил Федя, испугавшись, что его перебьют. — Но как все-таки быть и понять, как поверить, что это все не жуткая бессмысленность — невозможно ж вообразить себе Божье злодейство? Как понять Бабий яр, Архипелаг, или, мне еще ближе, — бабушка моя умирала? Она всю жизнь была голубь чистая, только шишки на нее валились со всех сторон, только добро делала всем, кто бы с ней ни соприкасался. А умирала целый год, я и в книгах не читал, чтоб так человек мучился — за что? А она сдерживалась, не жаловалась, но я не могу и никогда не смогу забыть ее страданий, ее недоумения... Поймите, — ему показалось, что Кирилл Сергеич хочет что-то сказать. — Я договарю. Что ж будет там, где вечная жизнь, она будет сидеть рядом с каким-нибудь медным лбом, который моего деда допрашивал, здесь вон, поблизости, на Лубянке? Я деда своего никогда не видел, до того его допрашивали, что дед, уж такой, говорят, крепкий был человек, а такую на себя напраслину наговорил, да ладно бы про себя — ни в один роман не влезет... Да нет, не рядом, тот изувер, может, крещеный, покаялся перед смертью, он-то одесную сядет, а неверующая моя бабушка на сковородке — так, что ли? Ну как здесь во что-то поверить, не счесть злой, страшной бессмыслицей, безнравственнее, чем рассуждения про обезьян, которые из палок понаделали себе луки, а потом Библию написали? Как жить с этим?..

Вот оно, думал Лев Ильич, пути-то какие у всех разные, он все о себе, копошится в своих жалких переживаниях, а этот мальчик на что замахивается! Он теперь во все глаза смотрел на Кирилла Сергеича, от него ждал чуда, хоть уже две тысячи лет, знал он, никто ничего об том не мог дожидаться, и не так кричали.

— Стало быть, билет возвращаешь, — усмехнулся Костя, первый раз он тут заговорил, молча сидел и не слушал вроде, спокойненько ото всего отведывал, что было на столе. — Русский мальчик с транзистором из книжки выскочил, начался.

— Ну вот, я говорил! — у Федя опять щеки запылали. — Я знаю, что все это смешно, всем давно известно, но от того, что известно, разве оно исчезло, зачем тогда известно, когда у палача перед моей бабушкой будет преимущество?!

— Подождите, Костя, — спокойно посмотрел на него Кирилл Сергеич. — Билет билетом, а кто уйдет от ответа на такой вопрос? Раз он перед тобой стоит, душа задохнулась — не от умозрения же... Здесь, Федя, в страшном этом вопросе есть две стороны. Одна общая, высшая, где существует безусловное разрешение, тоже, разумеется не для всех — для тех, кто верит, кого называют юродивыми во Христе, чей подвиг в силе не искушаться видимым господством зла, не отречься ради него от добра, пусть оно и не видимо, а рядом со злом и вовсе не заметно... Конечно, что оно скажет сердцу человека не верующего, у которого душа сегодня рвется, который в правде, в истине усомнился, которому факты — тьма их — весь свет застыт, который грань эту невидимую уже не различает? Как он поверит, что князь века осужден, когда палач получает пейсью, а бабушка умерла в муках? Можно ли тут чего доказать? Поэтому, коли вы говорите — Бабий яр или Архипелаг — объяснимо. При всей не укладывающейся в голове чудовищности совершенного преступления — объяснимо, если подыдемся на высоту Промысла о судьбах еврейского или русского народа, прошедших для чего-то неведомого нам через такие уму не постижимые испытания. А зло, в котором мы, пусть мистическую, но целесообразность поймем, уже и не зло, ибо зло, как известно, всего лишь бессмыслица. Но вот как с бабушкой вашей — голубем этим быть? Тут уж рационально ли, метафизически, но такое конкретное, реальное зло не разрешить, здесь, с этим ужасом способно справиться только собственное мистическое переживание. Не объяснить, нет, это уже запредельно, тут тайна, которая человеку не может быть ведома. Может быть, только притушить своим страданием, собственным переживанием, живым религиозным опытом, смириться с этим, поверить в скрытый смысл недоступной нам гармонии, который приоткроется в конце времен... Иначе путь страшный — тут и начинается дьяволово искушение, бунт, требующий объяснения: Иов забывает, кого вызвал на суд, перед кем потрясал кулаками...

А что там, где кто одесную, как вы говорите, а кто будет брошен в огненное озеро, на муку "второй смерти", о тех, чьи имена в книге жизни не записаны, про то не за столом, не за блинами говорить, да и не дано нам про это разговаривать. По вере, по молитве, в церкви, где Бог всегда, от века пребывает, вместе с церковью можете своей бабушке, хоть и не верующая она, а кто знает, искренняя молитва Господу все равно будет услышана. А чем ей еще помочь?

— Церковь помолится, как же... — сказал Костя. Он как бы про себя говорил, бледным был, выпил, видно. — Много она молилась, ваша церковь, о Бабьем яре, об Архипелаге, вот о бабушке, хоть и не верующая, можно заказать панихиду — не испугается, пусть ересь, а за тысячи расстрелянных священников, за свои же загаженные церкви... И все благодать у них, которую им уполномоченный выдает на время обедни под расписку из своего ящика...

— Вон как выходит, не сбылось обетование о Церкви? — сказал Кирилл Сергеич, оборотившись к Косте. — Одолели врага ада.

— Да не врата, — с раздражением бросил Костя, — а уполномоченный со старостихой. И не Церковь, которая камень веры, а тех, кому все равно где служить, была б служба. Им и Маркса с бородой повесь, найдут цитату из Писания — кесарево, мол, кесарю. Кесарево, а не Божье — так-то ведь сказано!

Кирилл Сергеич промолчал. Они говорили, как бы меж собой, продолжая какой-то давний разговор.

— Может, чайком займемся, а то еще блинов — у меня теста целое ведро? — спохватилась Дуся.

Она так же, без суеты, переменяла посуду, появились пироги, варенья, внесла большой чайник. Притихшая Маша ей помогала. И все как стихли, или показалось так Льву Ильичу, сам от блинов отяжелел, но что-то осталось на душе от быстрой той перепалки, сыростью потянуло знакомой, промозглой. А стол был красивый: мед отсвечивал янтарем, разноцветные варенья, простые широкие чашки с узорами, — а все было тяжко. А может, верно, не привык к такому угощению — осоловел?

Но они все-таки еще посидели, как-то и неловко сразу подниматься. Кирилл Сергеич с Верой затеяли разговор о воспитании детей, Лев Ильич не вслушивался, все пытался припомнить в точности и понять, что ж тут все-таки произошло...

— Дети, дети! — встряла вдруг Маша в разговор Кирилла Сергеича с Верой. — Все о воспитании толкуешь, а чего ж дегушек-то один Сережка, — рожали бы, коли про воспитание все наперед известно?

— Ну да, — блеснула глазами Дуся, вся так и загорелась, —

какие дети, когда у отца то пост, то служба! — и засмеялась, хорошо так посмотрев на Кирилла Сергеевича.

Тот даже крикнул.

— А ты, мать, погуляла, однако, на масляной!..

Все стали подниматься.

— Спасибо, — сказал Федя, горячо пожимая руку Кириллу Сергеевичу. — Я боялся, вы меня начнете утешать, уговаривать. Я про все это должен подумать.

— Заходите, — ответил Кирилл Сергеевич, — вместе и подумаем. А вас, — он со Львом Ильичем расцеловался, — непременно жду, как уж мы нашли друг друга — нельзя теряться.

Они уже все выходили в коридор, пропуская друг друга вперед: Костя пошел первым.

— Благословите, отец Кирилл, — подошла к нему Вера.

Лев Ильич отчего-то засмутился, заспешил, но проходя в дверь увидел, как мягко засветились глаза Кирилла Сергеевича.

7

Они молча прошли двор и остановились в переулке. Здесь было совсем темно, хотя еще и не поздно, тихо, на бульваре прогрохотал, сверкнув огнями, трамвай. Лев Ильич обернулся в темный двор и увидел, как в первом этаже вспыхнуло зеленое окно: Маша с Верой там, подумал он. Они не успели толком ни попрощаться, ни договориться о следующей встрече. Да и совсем не так, он думал, сложится вечер: даже не поговорили. "Ночевать она, что ли, прямо сразу осталась?" — хоть спросил бы, взял пальто да пошел... Странно как, он ведь ничего и не знает про нее. "Завтра", — почему-то подумал он, завтра все и решится. А что решится? Он отмахнулся. Он и сам не знал, что оно билось в нем, такое ясное было предчувствие о завтрашнем дне. Да, но ведь и сегодня еще как-то надо прожить, подумал он с тоской...

— Спасибо вам, Костя, за то, что привел меня, — сказал Федя. А Лев Ильич и забыл, что он не один. Федя был в легкой спортивной курточке, без фуражки — совсем мальчишка. — Замечательный человек, я не знал, что они такими бывают. Коли так, все серьезней, чем я думал.

— Литературный поп, — сказал Костя. — Он вдобавок еще сочиняет. Я раз читал, не завидую, если вам подсунет.

— Странно как, — сказал Лев Ильич, они, меж тем, двинулись в сторону бульвара. — Я вас второй день знаю, третий раз вижу и не перестаю удивляться — кто вы такой? Совершенно про-

тивоположные вещи все время говорите, я вконец запутался.

— Вас что, мое социальное положение заботит? — Костя был явно раздражен и даже не пытался сдерживаться, всегдашняя подчеркиваемая воспитанность слезла с него. "Да он пьяный?..". — подумал с удивлением Лев Ильич.

— Вы просто, как мне кажется, все время себе противоречите. В поезде одно, вчера ночью — мы с вами сидели — иначе, а тут, я уж совсем в тупик встал. Почему литературный?.. — он не договорил, не хотелось повторять слова Кости.

— "Кажется!" Ежели кажется — перекреститесь... Да потому, что эти грошевые рассуждения о теодицее, зады русского, так называемого, религиозного ренессанса — соловьевско-бердяевского — пора б уже и позабыть. А когда священник перед мальчиком с горящими глазами демонстрирует свою жалкую интеллигентскую эрудицию — смешно. Потому и говорю: литературный поп, — с удовольствием и со смаком повторил он. — Пусть бы неофит какой, в книжке Христа обнаруживший, повторял эти умозрения, а то священник, которому положено существовать в святоотеческой традиции — самому покаяться, если он чистый человек, что участвует во всей этой лжи. Ежедневно людей совращает.

— Странно как, — повторил Лев Ильич, — я ведь его мальчиком вспомнил, а сейчас он на меня самое глубокое впечатление произвел — и чистый, верно вы говорите, человек, и такой добрый, то есть, внутренне добрый, и несомненно искренний.

— Профессиональные приемы. Да что там толковать, хотите поговорим как-нибудь всерьез, не здесь же, да мне и недосуг, дела, отрубил он резко. — Определительность нужна, как Отцы любили говорить, определительность, а не розовая благодность.

— А я согласен со Львом Ильичем, — вступился Федя, молча шагавший чуть в стороне по мостовой. — Мне так стыдно за то, что я наговорил сначала, ничего-то не зная про церковь: сегодня, вчера, завтра — а я и не был там никогда, так зашел однажды, ничего не понял. А там вон какие люди служат.

— Какие — вон такие? — со злостью спросил Костя. Лев Ильич ему все больше поражался. — Начитанные и блинами с брусникой потчуют, квас медовый выдумывают? Так это бессловесная Дуся... А она ему ничего сегодня врезала, я и не ожидал от нее такой прыти!.. — он злорадно засмеялся.

— Она пошутила, — сказал Лев Ильич, — чтоб вашу же неловкость сгладить, чтоб разговор был за столом.

— Вот я и говорю: им бы сгладить, смазать, да блины рыжиками закусывать.

— А будто вы блинов не ели! — засмеялся Федя. — Хоть вы мне и врезали, а заметил — небось за ушами трещало!..

Костя резко остановился, повернулся к Феде, хотел что-то

сказать, но сдержался, махнул рукой и пошел прочь. Они как раз вышли к бульвару, постояли, посмотрели ему вслед и пошли себе.

— Странный какой человек, — продолжал свое Лев Ильич. — Я, правда, все ему удивляюсь, второй уж день.

— Замечательный человек, — горячо сказал Федя. — Я его тоже не очень давно знаю. Он раньше был серьезным ученым — физиком, но потом все бросил. Теперь нигде не работает, не знаю, на что живет — у него денег никогда нет. Один живет. Я был у него — комната маленькая, пустая, иконы только хорошие и книги есть. Он пишет, богослов замечательный, я, правда, мало что понимаю. Но говорит — заслушаешься. Он особенный человек, я думаю. А на меня злится, что я его вроде не признаю, хотя я и признаю, говорю ж вам. Он почему-то и на этого злится... на отца Кирилла. А я его давно просил познакомить меня со священником — интересно. Я, правда, думал, они все, ну не жулики, а — сами по себе, а церковь — сама по себе. Вот и Костя утверждает, что церковь у нас вся давно продана властям. Ну не то чтоб продана, говорит, хотя и продана фактически, но это, мол, второе, первое, что она права не имеет.

— Как не имеет? — удивился Лев Ильич. — На что, то есть, не имеет?

— Ну я его не совсем понял, речь о благодати. Церковь, вроде, монопольно ею владеет, а она дается по делам и по свободному Божьему волеизъявлению, а не за церковные знания... Да вот у них с отцом Кириллом была перепалка — слышали?

— У кого ж, по его, на нее право? — спросил Лев Ильич.

— Тут и вся загвоздка, — усмеялся Федя, — мне потому с ним трудно стало, хотя и интересно, и человек он добрый, не жадный, ну, на свои познания. Много мне чего рассказывал. Я когда с ним встретился, дурак дураком был, собирался в революцию кинуться: письма, протесты, книги распространять, распечатывать. А он меня убедил, что невысокого полета та революция.

— Что ж, по-вашему, совсем нет смысла в этих протестах и книгах? — Лев Ильич вспомнил вчерашнего Митю и опять затосковал.

— Смысл то есть, видимо, да не тот, какой нужен. Может, я, правда, не с теми людьми сталкивался, а только они похожи на наших же комсомольцев, из начальства которые, ну в институте, я в педагогическом учусь, на литературном. Те же у них идеи — только наши за советскую власть, а эти — против.

— Разница есть все-таки, — сказал Лев Ильич.

— Есть, конечно. Я раньше так и думал. А теперь понимаю — разница внешняя. Сегодня эти до власти дорвались, а завтра — те хотят.

— Не знаю, правда, о чем вы говорите... — сказал Лев Ильич,

а сам подумал: чего я спорю с ним, он же прав, особенно если знаком с тем вчерашним Митей? — Но они против беззакония, возможности повторения того, что было двадцать лет назад, да и сегодня еще сколько угодно.

— Вот Костя мне и разъяснил, как такое, всего лишь социальное движение немедленно вырождается в бесовщину, а затем в то, что мы сегодня и имеем. Это в конечном счете, ну, а пока — героизм, жертвенность — романтика. А вот что с ними будет, когда они за свой героизм уже не в лагерь, а деньги начнут получать, в кресло усядутся, портфели разберут!

— Убедительно, — сказал Лев Ильич, — хотя и смело, далека еще все-таки эта эволюция. А других вы не встречали?

— Встречал. Я знаю одного удивительного человека — не верующий, между прочим. Если б такие люди еще были... Правда, Костя и против него чего-то имеет, все равно, говорит, хоть он и чистый, мол, человек, и самоотверженный, и все для других, а раз не верит в нашего Спасителя — гореть ему вечно и никогда не сгореть. Вот и отец Кирилл насчет этого не дал вразумительного ответа — что с ним будет? А человек потрясающий — хотите познакомлю?

— А вы не боитесь, мы в первый раз видимся, меня не знаете, а так откровенничаете и еще про других?..

— Это вы прав... не подумал. Спасибо, вы мне правильно вмазали, — сказал он просто, посмотрев на Льва Ильича. — Но коль про нас Промысел есть — чего бояться? А с ним, я его спрошу, если он захочет, я правда вас познакомлю. Да и Костя говорит...

— Да, — вспомнил Лев Ильич, — так что ж с Костей, в чем та загвоздка, как вы выразились? У кого право на благодать, если не у Церкви?

— А... да, верно, отвлекся. У него право...

— Как у него?

— Да так, — невесело подтвердил Федя. — Он человек избранный. Богом избранный. Апостол.

— Ну да? — оторопел Лев Ильич, даже остановился.

— Так получается, — уныло продолжал Федя. — У него встречи были, и сейчас бывают — ну, понимаете? И ему сказано. А никто из его приятелей не верит, он потому и огорчается. И отец Кирилл тоже. Все разговор переводит.

— Так что, он сам вам и сказал про эти... встречи?

— А кто ж? Мы много про это говорили. Я, конечно, верю ему, если человеку не верить, то и диалога с ним не получится — это Костя мне объяснил.

— Ну а дальше что?

— Вот то-то что и не знаю про дальше. Конечно, интересно, потрясающе, все на свете переворачивается, и человек он удиви-

тельный, знает столько... Но... понимаете, я иногда сомневаюсь, может, он сумасшедший? — Федя на Льва Ильича смотрел с искренним недоумением. — Хотя и грех так думать, а он меня все пытается — веришь, мол, нет? А зачем ему это так уж важно, коль он взаправду этот... встречи имеет?

— Да... — вздохнул Лев Ильич, — тяжелая история... Давайте, верно, повидаемся? Позвоните мне... Запишите лучше рабочий телефон, — почему-то передумал он давать домашний, — так меня верней найдете, передайте, если что... Как-нибудь вместе к Кириллу Сергеичу сходим. Не возражаете?

— С удовольствием. Я вас о том же хотел просить, а то мне одному неловко, а с Костей... вон, видите как...

Они пожали друг другу руки и расстались.

Лев Ильич заторопился: было поздно, он, когда уходил из дому, и забыл, что придется ведь возвращаться, а теперь опять ночью. Лучше совсем было не приходить. "А куда ж деваться?" — подумал он. Да и нехорошо получилось бы, трусливо, ничего не сказав, не выяснив... Вот, еще выяснять, только этого не доставало. Многовато было сегодня для него, хотелось посидеть в тишине, разобраться, но где его найти сейчас, тихого места для себя... Да и с Верой оборвалось на полслове...

Он опять, как вчера, неожиданно для себя обнаружил, что стоит возле дома: "Ноги сами знают, куда мне надо", — невесело усмехнулся он и начал подниматься.

Ему открыла Наденька, бросилась на шею, сразу в слезы. Нехорошо с девочкой, подумал Лев Ильич, а он все про себя, нянчится со своими переживаниями.

— Мама провожала их утром, пока мы с тобой спали! Если бы я знала...

Он тихонько поцеловал ее в волосы, разделся и со страхом услышал гул голосов из большой комнаты.

— Кто у нас?

— Да много там.

— Пьют, что ли?

— Чай пьют, спорят все...

Люба вышла в коридор в черном своем глухом свитере, старой юбке, немодной, бледная, посмотрела на него внимательно, от него ждала первого шага. Лев Ильич молчал.

— Пришел все-таки... — сказала она. И не дождавшись ответа, пересилила себя. — Я думала, ты не придешь, потому они опять у нас — вроде тебя нет, а комната пустует...

Лев Ильич открыл дверь в большую комнату. Там, и верно, было полно народу. Вчерашний Митя по-домашнему сидел на тахте, в уголке, у стола. Что-то в нем остановило Льва Ильича: "Вот оно!" — развеселился он. На Мите его бархатная куртка, он ее дома всегда

переодевал — тепло и уютно. В кресле устроился Иван, Вадик Козицкий — давний, еще по университету, приятель Льва Ильича, веселые фельетоны сочинял: небольшого роста, юркий такой, черноглазый, славный человек, прямодушный, Лев Ильич его за это и любил — говорил всегда, что думает, особенно не стеснялся. Посреди комнаты Феликс Борин — модный одно время литературный критик, обличитель и гроза романистов — лохматый, в толстых роговых очках, с длинным унылым носом над узкими синими губами. Он никогда никого не хвалил, писал остро, безжалостно и по сути демагогично, но, как принято говорить, с подтекстом. Последнее время его почти и не печатали, но нет-нет где-то он пробивался, — и еще одной могилой больше становилось на литературном погосте. На тахте, у самой стены, лежала Кира в Любином стеганом халате, дым пускала в потолок. "Во, поселяемость какая!" — обозлился Лев Ильич. И тут его в жар бросило — за дверь, у книжной полки, поместился еще один человек. Лев Ильич не увидел его сразу, как вошел, а только обернувшись: в алом свитере под шею, американские джинсы, ботинки на толстой подметке выставил вперед, русые волосы, зачесанные небрежно, открывали красивый лоб, глаза его только Льву Ильичу никогда не нравились, он в них и смотреть не мог — наглая, спокойная самоуверенность глядела из них. Он почему-то совсем забыл про его существование, а ведь все это время тот находился здесь, в этом же городе — Коля Лепендин, Верин муж!..

— Наконец-то! — крикнул Феликс Борин. — Мы им сейчас покажем, а то, понимаешь, никаких нравственных устоев. Им бы все сломать, а во имя чего? да и мусор, обломки небось не захотят подбирать, илотов станут нанимать, чтоб в антисанитарии не погибнуть...

Лев Ильич взял стул и подсел поближе к тахте. Возле нее стоял журнальный столик, застланный газетой, на нем на тарелках крупными ломтями нарезана колбаса, ветчина, сыр, две открытые консервные банки, большой заварной чайник. Каким-то здесь нежилым духом пахнуло на Льва Ильича. "Где здесь-то?" Это ж твой дом, сам строил. Столик этот дурацкий — из журнала, наклоняешься над ним в три погибели, у кого-то перекупил... "Скатерти у нас, что ли, нет?" И колбаса, как в забегаловке... Ну еще бы, сам себя окоротил Лев Ильич, кабы блинов не налопался, и в голову бы не влетело...

— Поешь, — сказала Люба, устраиваясь напротив него, на тахте, — наверно, голодный?

— А действительно, во имя чего? — повторил Лев Ильич риторический вопрос Феликса Борина. Ему сразу ото всего от этого тоскливо стало, сколько уж про это говорено — вопросы, вопросы, хоть бы раз кто ответил... — Во имя чего ломать?

— Вот, вот, — обрадовался Феликс. — Я их целый вечер выпрашиваю — все финтят и отмахиваются — до основания, мол, а там поглядим.

— Ну а ты сам-то, что про это думаешь?

— Я?.. — сбился Феликс. — Я полагаю, здесь спешить не следует. Насочиняли рецептов и дозы распределили — кому по сколько капель, а явился смельчак, все рецепты — в печку и всем одно лекарство — клистир. Вот и бегаем по сю пору в лопухи, облегчаемся.

— Разоблачился наш Цицерон, — сказал Вадик Козицкий, — ловко ты его, Лев Ильич, осадил, чтоб не бахвалился.

— Пожалуйста. Вам все положительную программу нужно? — обозлился вдруг Феликс. — Подустали правдой питаться, крутенько для желудка...

— Что уж ты все насчет желудка, — веселился Вадик, — неудобно под ветчину!

— Ничего, слопаешь... И совсем я себе не противоречу. Одно дело, когда разоблачают ради разоблачения, так сказать, для улучшения обмена...

— Я говорю, он на этом заклинился! — хохотал Вадик.

— А ты дождешься, что тебе, и правда, клизму поставят — шут гороховый, — злился Феликс. — Меня не собьешь... То одно. А другое, когда, пусть это ж, но совершается во имя справедливости.

— Вот-вот, — поддержал Лев Ильич, — давай насчет справедливости.

— Значит, как у нас создается литература, — начал свою речь Феликс Борин. — Поиздержался писатель, машину, квартиру купил, а тут дачный кооператив открывается — вот он стимул развития литературы! Значит, выправляет он себе командировку и отправляется на великую стройку. У нас все стройки великие, но выбирает погромче, скажем, гигантский автомобильный завод. Неважно, что там все липа, что до него давно уже вся эта липа в лучшем виде была бесконечно прославлена, то есть, ему можно бы и не ехать туда — все наперед известно: конфликты, сюжет — это он и дома сочинит. Но все-таки живые подробности — река, живописности, чья-то могила, парочка аморальных дел в местном суде или в газетке... Два месяца он пьянствует в тамошней гостинице — проживает пять рублей в день командировочных, и возвращается с блокнотом, а в нем роман. Дальше я ставлю вопрос: кому тот роман нужен? Жене, которой он его посвятит, счастье с которой он никогда не забудет — как в эпитафии к роману будет стоять?.. Так ей не роман — ей деньги нужны...

— Ушла она от него, — подал голос Иван из своего кресла.

— Кто ушла? — опешил Феликс.

— Жена его, счастье с которой теперь уж и не знаю как — забудет, нет. Ты ж про Колю Ведерникова излагаешь?.. Ушла, как же, с мимом этим, из гастрольбюро. Он ей все на пальцах разобъяснил, и денег никаких не надо.

— Врешь ты, Ваня, — сказала Люба, — ничего она не ушла, это у нее в Ялте роман с ним был, а уж растрепали на всю Москву.

— Да знаю я, — не сдавался Иван, — мне этот мим сам все рассказывал.

— Тебе мим, а мне сама Ленка, я с ней пятнадцать лет дружу.

У Льва Ильича прямо зубы заныли: "Господи, подумал он, а ведь они уже старые люди — всем за сорок перевалило..."

— Ну и что: ушла — не ушла. А к чему ты об этом вспомнил? — спросил Лев Ильич и не удержался, обернулся на Колю Лепендина: тот и положения не изменил с того времени, как вошел Лев Ильич, все так же картинно сидел.

— А к тому, что нечего на женщину напраслину возводить, — с пафосом сказал Иван. — Плевала она на его деньги, ей мужчину подавай! А какой он мужчина, когда все это самое на создание шедевров уходит — чтоб и невинность соблости, и капитал чтоб произвесть. Тоже, я вам скажу, не позавидуешь.

— Тогда он настоящий писатель, ежели сублимируется в своей литературе, — весело вмешался Вадик Козицкий. — Это тогда не вранье, как Феликс тут пытается изобразить, а вполне экзистенциальное существование на бумаге, в форме производственного романа.

— Так что ей спать с его экзистенцией? — спросил Иван.

— А с чем они спят, по-твоему? — ухмыхнулся Вадик Козицкий.

— А я, простота, всю жизнь про это иначе думал, да и мим мне кое-что показал и про эту Ленку Ведерникову объяснил...

— Да не про Ведерникова я! — закричал Феликс Борин. — Пошляки-сплетники! Это я выстраивал обоценный образ!

— Давай, обобщай, только мысль тащи, не размазывай, а то опять в гастрономию ударишься, — снова поддел его Вадик.

— Так вот, я продолжаю, — блеснул очками Феликс. — Кому нужна эта вымученная ложь — не на стройке же, хоть там и будут устраивать читательские конференции и сочинять автору банкеты? Книга умрет еще до того, как попадет в корректуру, в макулатуру обречена. А тем не менее, о ней статьи, монографии, дискуссии — вроде бы и не ложь, а как о чем-то реальном. Дальше-больше, пойдут разные круги. А там, глядишь, обобщающая статья о тенденциях в жизни общества. И уже к ней станут обращаться социологи, философы, даже статистика — это называется черпать материал прямо из жизни. А разбери, откуда все пошло? Из желания этой, пусть Ленки, построить себе дачу, и чтоб не хуже, как у людей...

— Ну и что? — спросил Лев Ильич. — Я не пойму, ты ж хотел не обличать, а высказать свою положительную программу, во имя чего ты этого бедолагу — обобщенного писателя притводил к позорному столбу, а его несчастной жене не даешь в свое удовольствие развлекаться с мимом? — "Тьфу ты, подумал Лев Ильич, а я-то чем их лучше?"

— Неужто все непонятно? — снисходительно спросил Феликс Борин.

— Лев Ильич опять протаскивает свою вчерашнюю идею, — заметил Митя, — правда мешает его комфорту, внутреннему, я имею в виду, тревожит задремавшую совесть — думать приходится, а то живи себе спокойненько, лишь бы тебя не трогали, при свете лампы сочиняй статейки про допотопных рыбок. А уж рыбки знай себе помалкивают, пока их на тук не переводят — на удобрения, то есть. Для планового хозяйства. Можно и всплакнуть над исконно-русской закуской, которой издревле славилась богоносная Россия.

Вон как, — подумал Лев Ильич, — спит на моей тахте со своей длинноногой селедкой, сидит в моей кухне и меня ж поносит? И про статьи узнал — Люба доложила?..

— В закуске хоть смысл какой-то есть, — сказал он спокойно, — тем более, когда она исконная, а вот в том, чтобы свой пафос тратить на это сочинение, в котором, как сам оратор утверждает, ничего, кроме жажды получить за это деньги?.. Зачем про это писать, твое разоблачение тоже все это здание лжи, пусть с другой стороны, но достраивает — все как у людей, разные точки зрения! Ведь коль о бессмысленном вранье писать правду, до правды-истины разве доберешься?

— Отлично! — веселился Вадик Козицкий. — Я ж говорил, они от желудка никуда не сдвинутся — теперь закуска пошла в ход!..

— Да вы мне говорить не даете! — кипятился Феликс. — Когда б этот писатель — ну, пусть Ведерников, черт-дьявол, я — сам, наконец, если уж вы всерьез хотите разговаривать — если б он отправился туда, на эту идиотскую стройку не для того, чтоб жену ублажить, а чтоб оттуда невыдуманную — настоящую правду привезти, он бы эту стройку и изобразил бы по-настоящему. Людей, превращенных в идиотов, заботящихся только о своем желудке, чтоб кусок пожирней схватить, у ближнего отобрать, ликующих, когда им повышают зарплату на копейку, и не видящих, что тут же, другой рукой, у них гривеник из кармана тянут. Бесхозяйственность самую тупую, живущую только сегодняшней минутой; рубль выгадывают, хотя и сами знают, что на этом уже завтра потеряют десятку — но, мол, завтра! Душевное убожество, почитающее отправление естественных потребностей за любовь,

жалкое лубочное веселие и троглодитскую ненависть ко всему иному...

— Жуть какая, — не выдержал Лев Ильич. — Так это и есть положительная программа?

— Талант — это она моя программа! — звонко сказал Феликс Борин. — Все это будет изображено средствами искусства, с мастерством — Кафка или "Котлован" покажутся детскими игрушками. И не надо христианских аллегорий, Великого Инквизитора, философии... Представь такого русского идиота, который настолько во все это вписан, органика там такая, что он и не страдает от этой мерзости, он в ней находит свои жалкие радости, свой юмор, он и не знает, что где-то есть иная жизнь, что она может быть, что человек уже по Луне гуляет... То есть, он и сам летал в космос, но все таким же идиотом, жалким рабом. Какая разница — на Луне или в Рязани, он же не знает, что существует эр кондишен и биль о правах... Тут, понимаешь, всю нашу жизнь можно показать через этого идиота, но только чтоб с блеском, с талантом — пальчики оближешь...

— Подожди, — остановил его Лев Ильич, — ты сказал, что этот твой настоящий — талантливый писатель, ну — ты сам, скажем, он затем отправился на стройку — в новом-то варианте, чтоб написать правду — ведь так?.. А разве этот твой идиот — правда о России?

— А как же? — искренне изумился Феликс Борин. — А кто, по-твоему, правда — Ноздрев, Собакевич или Алеша Карамазов со своим старцем, тут же и провонявшим? Не зря ж у наших гениев с идеальными героями ничего не получалось — нет их потому как на самом деле, да и мысль, которую в них пытаются втиснуть, оказывается всего лишь сочиненной, умозрительной, от доброго сердца, может быть, но талант требует жесткости, пожалел — проиграешь.

— А по-моему, так не Ноздрев и не Алеша со старцем правда, а Гоголь и Достоевский — сердце их, как ты говоришь, всего лишь доброе, сострадание к людям, любовь... А как это ты отличаешь поражение от победы в искусстве?

— Да я про то вам и талдычу вот уже целый вечер! — закричал Феликс. — Сострадание, невидимые миру слезы, любовь к падшим и милость! Злости мало ко всей этой мерзости! Когда ощутишь такую злость — все вокруг испепеляющую, тут не до сострадания! Талант — вот он единственный критерий, вот что не подведет, в чем, если хочешь, спасение, если, конечно, сам ему будешь верен, а не своему слезливому сердцу. А потому талант надо беречь, подерживать — вот где национальное достояние — платить, прости за грубость, в современном обществе следует по таланту, а не по труду, где нет и быть не может никаких критериев, где достаточно элементарного, на что и обезьяна способна. Потому, кстати, ни-

кто в этой стране ничего и не делает... По таланту! Чтоб эти дачи, шикарные дома давали не лгунам-приспособленцам, а тем, кто истинно достоин пользоваться достижениями цивилизации. Ну не нелепо ли, чтоб Цветаева от голода полезла в петлю, Платонов с метлой подметал писательский двор, а эти наши, пусть извинят меня дамы, сочинители в особняках жуировали жизнью? Вот за что я боюсь, прости уж за громкое слово, вот в чем пафос, как ты изволил выразиться. Спасать нужно русскую культуру, которая от непризнания ударилась в варяги — хоть по еврейскому, хоть по какому вызову, хоть в гастроль — лишь бы ноги отсюда унести. Там, — он махнул рукой в окно, — для таланта уж непременно подберут соответствующую оправу, а здесь — головой в навозную кучу.

— Вот оно что, — сказал Лев Ильич, — а я по простоте думал, ты истину ищешь, а ты всего лишь хлопочешь с правильном перераспределении, вон где тебе видится борьба за справедливость? Только предлагаешь другие критерии. Мы вчера о том же самом беседовали с моим новым другом, — кивнул он Мите. — Те прогнали миллионера Рябушинского, в построенный на его деньги дворец запихнули голодного Горького — в этом была справедливость, а ты избираешь новый вариант: бездарного Горького обратно на улицу, благо привык еще в детстве, а туда пристроить гениальную Цветаеву и кормить пожирней, чтоб про петлю думать забыла! Ну а уж поскольку та Цветаева до этой радости не сподобилась дотянуть, кого-нибудь из нас грешных, кому ты талант определишь — так что ли?

— Можно, конечно, любую мысль вывернуть, представить идиотской, — сказал Вадик Козицкий. — Тем более, наш оратор, оперирует образами больше по части желудка, но резон-то здесь есть, между прочим.

— Да уж какой еще резон — все наружу, — заметил Лев Ильич. — Очень справедливое будет общество.

— Чем же ты еще будешь мерять справедливость, как не талантом, отмеренным Богом? — спросил Феликс. — Кому больше дано, о том общество и должно проявлять заботу — что ж тянуть с него за это, губить надо талант или беречь его? В чем, по-твоему, высшая справедливость? Знаешь притчу о таланте?

— Знаю... — сказал Лев Ильич. — То есть, при чем тут? Тогда, может, и не знаю. Забыл.

— Вот они, нынешние христиане, — не упустил Митя. — И талмуд свой выучить не удосужатся.

— Ну как же... — с готовностью откликнулся Феликс Борин. — Хозяин отправился куда-то далеко, дал одному своему рабу один талант, другому два, а третьему — пять. У которого пять, он их пустил в оборот — получил десять, у кого два — еще два заработал, а первый решил сохранить свой талант — закопал его в землю, а когда хозяин вернулся, он и предъявил его в целостности и сохран-

ности... Так он зачем зарыл свой талант, как ты думаешь?

— По неразумению, — ответил Лев Ильич, — вместо того, чтоб в рост пустить, он пожадничал и поленился — вот и пропало его дарование... Кстати, там речь идет не о даровании, а о мере серебра — талант называлась.

— Какая мера — там одни иносказания! — А тебе, Левушка, купцом надо быть или спекулянтom — в рост! Куда деваться с талантом, когда его в лучшем случае никто не замечает — им попроще, чтоб сразу переварить... Надо ж, я, и верно, заклинился на этом! — искренне огорчился Феликс. — Это, заметь, в лучшем случае. А обычно за подлинный талант, собственное видение мира, жизни, человека — за свой взгляд, одним словом, у нас непременно сгноят. А если в рост будешь давать, размениваться, конечно, проживешь благополучно, дачку выстроишь жене, но от твоего дарования одни рожки останутся. Да убежден, это позднейшее добавление в Евангелии, компромиссное, апокриф, там и быть не может, чтоб мораль оказалась такой хитрой — не в стилистике.

Господи, подумал Лев Ильич, что это, откуда такое сознание вывернутое, помраченное, как же я жил здесь столько лет, почему только сейчас все это мне открылось?!

— Подожди, Феликс, — сказал он, — что ты говоришь, какой апокриф, когда все Евангелие стоит на этом, вот уже две тысячи лет, сознание в этом укоренено, что ты все вверх ногами переворачиваешь? Я тебя хорошо знаю и твои статьи люблю, и злость твою всегда считал очистительной, да и Вадик, вроде бы легкомысленные фельетоны пишет, но и там этот скрытый гнев против мерзости, которая лицемерно эксплуатирует нашу жизнь... Он, тот хозяин евангельский, потому и приказал выбросить ленивого раба во тьму внешнюю — где стон и скрежет зубовой, потому что талант, подаренный тебе Богом, нельзя скрывать, он для людей, не для тебя одного и твоего ничтожного благополучия. И это ведь не литература, не философия, не разговоры — жизнь. Что ж ты, всерьез думаешь, что вся беда таланта, она в... недостатке средств к существованию, в том, что его преследуют и зажимают?

— А в чем же? — спросил Митя, он уже ясно видел, что противник посрамлен, лепечет что-то.

— Как в чем? — удивился Лев Ильич. — Что ж, и Пушкина, значит, царь погубил через своего француза, и Платонова беда, что пришлось метлой помахать, а не в "Березку" на своей машине ездить, и Мандельштам, когда б не лагерь, расцвел, счастливые гимны сочинял бы о радости?.. Я не пойму... Вы простите меня, я сегодня попал в один дом, выпил, мне... не понять — вы смеетесь надо мной?

— Плачем, — сказал Иван. — Плачем над полной гибелью нашего идеала, продавшегося мракобесию за ни за что.. Хоть бы пла-

тили, тогда б еще смысл был.

— Быдло! — неожиданно выпалил Коля Лепендин. Все к нему обернулись и замолчали.

— Ты что? — ошарашенно спросил Феликс.

— Пушкин, Мандельштам, судьба таланта! О чем вы тут толкуете? — спросил Коля Лепендин, все так же он сидел, засунув руки в карманы штанов. — Кому он нужен — талант? Уж не здесь ли в России?.. Я тут в метро третьего дня ехал, вверх по эскалатору поднимался, в самый час вечерний — пик, глядел на толпу. Быдло! Какой там Мандельштам, они и друг другу горло перегрызут за кусок колбасы. Мотать отсюда надо, и все, что можно увезти — вывезти. Хоть музей останется — сокровища Тутанхамона. А этим ничего не нужно. Трусливые рабы... Мандельштам!.. Не знаю, не встречал. Зато про Вавилова, еще кой про кого — для себя, например, знаю. Тут даже то, что завтра им миллиарды даст — из кош-ки человека сделать — им это, если завтра, уже и не нужно.

— Как из кошки? — испугался Лев Ильич.

Коля Лепендин первый раз повернулся и взглянул на него.

— Элементарно, путем направленного изменения наследственности.

— И это... теоретически возможно? — спросил Лев Ильич.

— Завтра, — сказал Коля. — Не сегодня, а завтра, если б здесь все было как там, — он ткнул пальцем себе за спину. — Из кошки, а не из этого быдла, эту вонючую природу я б и исправлять не стал, пусть для музея уродств сохранится, — он замолчал так же неожиданно и резко.

И все замолчали.

У Льва Ильича пошли зеленые круги перед глазами — тут он и не знал, что можно возразить: "Кто ж такая Верочка?"

— Значит, весь твой конфликт, — тихо начал он, обращаясь к Феликсу, молчать он тоже не мог, — вся борьба, будем серьезно говорить, пафос, страсть, гнев, нравственная платформа, на которой ты стоишь, с которой произносишь свои речи, они все в том, чтоб у них забрать — и себе? Я не пойму, ты ж мечешь свои громы и молнии против тех, кто, пользуясь, скажем, ситуацией, низким уровнем, невежеством — обращает свою лживую демагогию в деньги, так? А сам хотел бы получать те же деньги, но за обличение их в этой мерзости? А чем тогда ты от них отличаешься?

— Что я, бесплатно должен работать? А сколько я б написал, когда б жил в том особняке, за тем столом?

— В каком особняке? — похолодел Лев Ильич.

— У Рябушинского, про который упоминали, в доме-музее пролетарского писателя... Ладно, ладно — шутка, а то сейчас, вижу, ухватишься...

— Да нельзя не ухватиться, — сказал Вадик Козицкий, — если наш уважаемый друг полагает, что Мандельштаму лагерь пошел на пользу, он до того договорился, что стыдно и в дом к нему будет ходить. Ты тут Феликса на словах ловишь, а уж сам в тот особый не метишь ли? Спасибо за комплимен, но мне мои легкомысленные, как ты выразился, фельетоны пока что одни неприятности принесли — вон книгу гробанули в издательстве. Да и Феликса теперь, в наше благословенное время, которое способствует расцвету таланта — правильно я тебя понял! — и вовсе не печатают. По отношению властей предержавших к тому, что мы делаем, и можно определить истинную цену нашему творчеству, и у кого какие цели, заодно выяснить. Смотри, дорогой Лев Ильич, на опасную ты встал дорожку!..

— Да тут так все ясно, — сказал Митя, — что по мне и весь этот диспут лишний. Не зря еще блаженной памяти вождь и учитель восстанавливал церкви.

— А при чем тут церкви? — спросил Феликс.

— Пусть вам товарищ сам доложит, какой он избрал путь — самый короткий, между прочим, для необходимого контакта с этими, которые предержавшие.

Лев Ильич затушил в пепельнице сигарету, встал и ссутулившись вышел из комнаты. "Сколько еще раз я эдак буду отсюда выходить?" — подумалось ему.

Надя уже, видно, спала, дверь была закрыта, он свернул на кухню, пододвинул табуретку и сел у окна. Перед глазами стоял Федя в своей курточке, насупленный, усатый Костя, Кирилл Сергеич — там, в своей комнате с попугаем, надо ж, и не рассмотрел толком диковинную птицу, и тот — давний Кирюша у Федора Иваныча с книжкой в уголке — в комнатке с крестами, заглядывавшими в окошко... "Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? — залетели ему в голову слова, которые он знал, читал, а никогда ведь и не вспоминал. — Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться: трое против двух, и двое против трех, отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей..."

— Разделение, — бормотал Лев Ильич, — разделение. Не мир, но разделение...

Он поднялся, распахнул форточку — душно ему было — невмоготу.

Стукнула входная дверь, видно, уходили.

Люба вошла на кухню — он угадал по шагам, не обернулся.

— Что с тобой, Лева? — тихо спросила она. — Ты был всегда такой мягкий, добрый. Хорошие ребята, твои друзья, обычный разговор, славный... Что с тобой? Совсем один останешься?

— Все, — сказал он, оборачиваясь и глядя ей в глаза. — Все, не могу я так больше. Не хочу.

Она двинула табуретку к столу, села и тоже посмотрела на него.

— Как она все-таки постарела! — с внезапно пронзившей его жалостью подумал Лев Ильич. — Неужели это уже не восстановить? А если все сначала, по-другому, иначе?.. Нет, поздно уже, да и не было у него на это сил. — Сил, или полегче чтоб захотелось?.. А вы попробуйте так-то, — обозлился он, вспомнив их комнату-кабинет и всех, кто только что сидел там, — попробуйте, коли легче!..

— Тебе скверно, Лева? — все вглядывалась в него Люба. — Может, ты из-за Вани ревнуешь?.. Так то давно прошло, а теперь и нет ничего.

Вот оно, подумал Лев Ильич, сейчас начнется объяснение на полночи, только б не втянуться.

— Может, у тебя есть кто? — спросила она, не дождавшись ответа.

— Нет, — сказал Лев Ильич, — я не ревную. И нет никого. Сгорело у меня все. Все, что было, сгорело. А может я устал — я сам не знаю. Только так вот жить, — он махнул рукой туда, где была комната-кабинет, — больше не могу. А может, и это не так. Но вот теперь — не могу... Я и тебе не помощник, только мешаю... Я завтра уеду, в командировку, — сказал он неожиданно для себя. — Может надолго. Не знаю еще. Я прямо сейчас и пойду — поезд утром, рано, чтоб не проспать. Посижу на вокзале...

Он вскочил, все-таки дело было: пошел, взял портфель, он не раскрывал его со вчера — провалялся под вешалкой, да и теперь не стал раскрывать. Вернулся на кухню. Опять сел. Люба не двинулась с места.

— Выходит, все — посмеялись семнадцать лет, покурале-сили, начнем новый шалашик сооружать. Только ловко устроились, Лев Ильич, вы-то, вон как, отоспитесь — какая там усталость, откуда бы? В самый сок вошли. А мне, помнишь, как вчера определили — в богадельню!.. А не просчитаетесь — кто сопли станет утирать, или думаешь, прошел твой насморк за семнадцать лет, а как ветерком обдует?..

Только молчать, повторял про себя Лев Ильич, только бы рта не раскрыть!..

— А я-то, дура, нянчилась, пусть, мол, мальчик еврейский, тихий, погуляет, сил наберется, мудрости, от твоей мерзкой ревности тебя ж и берегла, а сколько через это упустила? И кого упустила! Вот и будет чем заняться на старости лет — упущенные возможности подсчитывать... Вера Лепендина поумней — какого красавца загодя бросила. Верно, чем ждать, пока вы об нашего брата ноги начнете вытирать...

Лев Ильич поднял голову, посмотрел на нее, хотел спросить, но удержался.

— Да что там, мало вытирал, что ли? Думаешь, я не знаю — всего, может, и не знаю, мне и того, что известно, за глаза довольно. И дружки твои приходили, как возле меня начинали крутиться — выбалтывали. И сама слышала, как ни хитер, ни аккуратен — воду пускал, телефон утаскивал в кухню — не хотела, а слышала. И сегодня, дура последняя: ребят позвала, самых твоих близких друзей, пусть, думаю, придут, чтоб все в колею вошло, разговоритесь...

— Разговорились, — сказал Лев Ильич, — от того и сил больше нет.

— Перестань, мне только вранья твоего не нужно! Принципиальность эту ты оставь девочкам, когда будешь им головы морочить. Они хоть делом заняты — и Феликс, и Вадик, у них право есть о принципиальности говорить, через это без куска хлеба остались. Да и Митя — не знаю, за что ты на него взъелся — уж не приревновал ли, как все семнадцать лет к каждому, с кем словом перемолвлюсь?..

Лев Ильич поморщился и взялся за портфель.

— Он тоже не тебе чета — тюрьма за ним каждый день ходит — и не литературная, а самая что ни на есть Лефортовская. А ты... — у Любы глаза загорелись.

— "Господи, вот повезло, что один чай сегодня пили!.." — мелькнуло у Льва Ильича.

— Я никогда твоих глаз не забуду, как мать моя помирала — сама помру, а не забуду. Так и знай, с тем и строй свой новый шалашик...

Лев Ильич встал и пошел из кухни. Оделся. Люба вышла за ним.

— Бог с тобой, — сказала она уже спокойно, — большой вырос мальчик. Думала, правда, орлом станет, спасибо все-таки не коршуном — так, петушок с поистраченным гребешком... Бог с тобой, — она вдруг взглянула на него светло и перекрестила его. — Ступай.

Лев Ильич остановился, взявшись за замок, но дверь уже открылась, он шагнул на лестницу.

8

Он и не помнил ничего из той ночи, сколько потом ни вспоминал, и не мог бы никогда восстановить, где он ходил да зачем; по каким улицам — куда ноги несли. В подъезде раз себя увидел,

сидящим на лестнице, наверху хлопнули дверью — вот он и поднялся, пошел прочь, а что за подъезд — дверь, что ли, была открыта, или еще почему его туда закинуло? Потом на вокзале был, а на каком — убей не знал, возле касс потоптался, на расписание глядел, не видя, ни одного города не запомнил, а так бы можно было восстановить, что за место. С кем-то даже в разговор вступил, да, на вокзале это и было, с проезжим, объяснял, как отсюда попасть в Центральные бани, а откуда "отсюда"? — не помнил. Вот уже потом, надо бы под утро, обнаружил себя на скамейке — на бульваре. Вот с этого момента он себя и осознал: трамвай шли с двух сторон, погромыхивали, он подмерз, но уже знал, зачем здесь сидит и чего дожидается, на часы поглядывал...

О чем он думал? Не помнил этого Лев Ильич, вертелось в голове: обрывки какие-то, разговоры, лица, о чем-то он все сокрушался, будто перед концом — или началом? — бабки подбивал, подсчитывал. Неладно выходило, он и бежал дальше, потому и додумать ничего не мог, или может, мог да не хотел, не решался? А вон тут, на бульваре, на этой скамейке, к спинке ее привалившись, он и начал было в себя приходить, опоминаться.

Любина лица в дверях он не мог позабыть, и то, что она осталась там, у него возникла была мысль — так, мелькнула, вернуться, но не мог без содрогания вспомнить свою комнату-кабинет и себя в ней, выслушивающего вчерашние речи. "Выслушивающего? От кого?.." А может, там только он и был, что уж такого сказано, чего сам он никогда не говорил, а не говорил, так думал?..

Он с себя, как паутину снимал, липкое что-то счищал, и уже решимость в нем зрела, он и не называл ее, спугнуть боялся, или так, от смущения перед собой, но как доберется до нее, норовил в сторону свернуть. И все равно, знал, твердо уже знал, что есть она у него, вот потому и радость, надежда светили ему. Но это он уже здесь, на бульваре, стал осознавать, когда опоминался.

Он даже вздремнул было, может, на минуту всего забылся. Такое небо ему привиделось сиреневое — предгрозовое, что ли? — а больше ничего, страшно стало, будто он и не на земле, летит — раз ничего и нет, кроме неба. А оно все темнело, темнело и быстро так, фиолетовым становилось, какая-то совсем уж темень на него напоззала — и померкло все. Он открыл глаза — светать начинало. Народ пошел мимо, а он все чаще на часы посматривал.

Было восемь часов, когда он встал. Рано, конечно, но ничего, пока дойдет, да и трудовые люди — не бездельники.

Он зашагал совсем решительно, будто договорился — ждали его, прошел переулок, свернул во двор, прямо к зеленому окошку, в подъезд, мимо двери на первом этаже — и не посмотрел, стал подниматься по лестнице. Вот и звонок.

Он только дух перевел, нажал кнопку, услышал мелодичный

звон и даже за ручку взялся: он домой, домой пришел, теперь он знал, что домой, потому и можно так вот, ни свет ни заря, безо всякого предупреждения, ему всегда, все равно будут рады, в каком бы виде ни явился...

Дверь открыла Дуся и не удивилась:

— Вот хорошо-то, пораньше!.. Кирюша! — крикнула она, обернувшись. — Смотри, какой гость к тебе!

В коридоре было темно, Кирилл Сергеич вышел, не узнал сразу, а разглядев, не то чтоб обрадовался, а как само собой разумеющееся воспринял.

— Вот и отлично, — сказал он, — пожалуйста ко мне.

Днем здесь все было иначе, ничего таинственного, или он привык за вчера? Славно, уютно, только раскрытый чемодан с пакетами и свертками на диванчике, будто не на месте, а так — хорошо, и без эдакой нарочитости, до блеска чистоты, когда и неловко — не то входить, не то лучше остаться в коридоре. Живут люди — и все под руками.

Попугай об прутья чистил нос, гремел и бормотал про себя. Лев Ильич подошел к окну разглядеть — такой он яркий был, а на фоне серенького, грязного двора — сердце радовалось. Как цветы внизу, у Маши, подумал он.

— Смотрите, — сказал Лев Ильич, — вчера он был такой скучный, я уж думал больной или старый, а сегодня — хлопотун!

— А он всегда к вечеру устает, или неестественный свет на него наводит печаль. Какой бы шум ни был в комнате — он все дремлет. А утром оживает... — Кирилл Сергеич внимательно посмотрел на гостя. — Садитесь в кресло, удобней, сейчас чайку поьем...

— Кирилл Сергеич, я к вам по делу пришел.

— Вот и хорошо. Да садитесь же, тем более, раз дело.

Лев Ильич снова взглянул на попугая, теперь тот сидел на жердочке, посматривал на него.

— Я хотел попросить вас... Могу я у вас креститься?

— Вот это отлично! — потер руки Кирилл Сергеич, поднялся и зашагал по комнате. — Вот молодец, прямо без разговора. Молодец! А особенно хорошо, что зашли утром — мы сегодня уезжаем за нашим Сережей. Он в деревне, у родни. Захворал, расшибся, еще была история... Мы и отправили его на десять дней. Учится он хорошо, пусть отдохнет. На три дня едем, а там пост — мне до Пасхи не оторваться... Вот хорошо, постом и причаститесь, как я вернусь... Мать! — крикнул он весело и сказал Дусе, появившейся в дверях с кухонным полотенцем. — Лев Ильич-то пришел по делу, говорит. Могу, говорит, я у вас креститься!

— Чудесно как, — тихо сказала Дуся, и глаза у нее заблестели.

— Может, неудобно... У вас, значит, и времени нет, уезжаете — собираться надо, а тут я явился... Тогда другой раз... — у него голос

дрогнул.

— Ну вот, интеллигентские разговоры. Что может быть важней? Успеем, успеем — три часа до поезда... Да, погодите... — оборвал себя Кирилл Сергеич, а у Льва Ильича внутри опять что-то дрогнуло: "Нельзя, верно?" — а... Маша сегодня с утра работает?

— Может быть, Верочка? — спросила Дуся. Она словно бы вчера у Маши оставалась ночевать, если не ушла...

Кирилл Сергеич остро глянул на Льва Ильича, а тот совсем был растерян, все стоял возле клетки с попугаем.

— Нет, — сказал Кирилл Сергеич. — Разъщи Машу, если в столовой, все равно пусть приходит, ничего там без нее не стрясется. Садитесь, садитесь пока, время есть, мы и поговорим.

Лев Ильич опустился на стул возле окна, попугай на него поглядывал с любопытством, но вдруг отвернулся и занялся прутиком, забурчал.

— Привык, — сказал Кирилл Сергеич, — пригдделся. Он всегда так на свежего человека глядит, знакомится... Ну что ж, — он уселся против Льва Ильича, свет из окна падал ему прямо в лицо, Лев Ильич его по-новому разглядел: глаза были хорошие, ясные, думающие, но не затаенные — о своем, а собеседником занимающиеся. — Ну что ж, Лев Ильич, я, и верно, рад, что вы так просто и хорошо пришли ко мне с т а к и м делом. Вы это твердо решили, обдумали, это не минута?

— Да, — Лев Ильич опять напрягся, да и Кирилл Сергеич менялся перед ним на глазах, лицо у него твердело. — Я все обдумал.

— А Символ веры вы знаете?

— Нет, — смутился Лев Ильич. — То есть, я читал, слышал, но... наизусть не помню.

— Ну что ж, повторите за мной... Мы вчера говорили с вами о покаянии, о страхе Божьем, который и есть начало премудрости... Я понимаю ваши вчерашние переживания — о чем, не знаю, но могу себе представить такую муку. Это... как бы вам сказать — как при свете дня все открывается взору, так, когда т о т свет идет, струится человеку, вся его ложь и грех обнажаются. А это не может не быть мукой — ужасом перед собой...

— Да, — сказал Лев Ильич, в нем уже радость поднималась, — так и было.

— "Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче..." — читаем мы сейчас покаянную молитву, — продолжал Кирилл Сергеич. — Но эта работа неостановимая. Чем дальше вы будете в себя в этом истинном свете всматриваться, тем все больше станете видеть и понимать свои слабости, притаившуюся во мраке душевную леность, грех — и боль не пройдет, но этого не нужно пугаться, это свидетельство отворачения от греха, от его признания, желание от него избавиться... "Даруй ми зрети моя прегрешения..." — помните любимую молитву

Пушкина?.. Так же вот и о других, когда мы принимаемся выстраивать о них свои мнения...

Лев Ильич вздрогнул, хотел объяснить, но смолчал.

— ...Тут мы очень часто, опять же по слабости, начинаем судить, а это опасный путь. Вот вы любите, скажем, кого-то и ничего плохого в нем не замечаете, а что случись, он действительно может совершить по отношению к вам, пусть даже нечто скверное, ну оскорбил вас, предал — и уж все забыто, и то, в том числе, что раньше вас в нем восхищало. Но коль вы сами видите свои слабости, знаете их, а все равно с ними живете — та же, быть может, борьба происходит и в том, вашем бывшем друге? Да и потом, так легко ошибиться — какой он на самом деле? Если мы себя хорошо не знаем, что можем о ком-то сказать?.. Вы этим мучаетесь? — спросил он просто.

— Да, — сказал Лев Ильич. — Но я к вам пришел не прощать, а, как вчера говорили, с корыстной целью — спастись.

— То высокая корысть, — сказал Кирилл Сергеич. — Господь заповедал нам быть расчетливыми купцами, искать жемчужину спасения, складывать добродетели, грош к грошику. Ничего нет в мире выше того богатства... Только заповеди-то первые какие? Возлюби Господа своего, всем сердцем, всем разумением своим, и возлюби ближнего как самого себя. Это заповеди главные.

— А я... еще не могу.

— Молитесь, — сказал Кирилл Сергеич, — и вам непременно будет помощь. А сейчас мы вместе с вами об этом помолимся... Вы знаете, как возникает, какой непростой путь зарождения ненависти? Макарий Великий говорил: ненависть от гнева, гнев от гордости, гордость от неверия, неверие от жестокости, жестокость от лени, лень от ослабления, ослабление от презрительности, презрительность от уныния, уныние от малодушия, малодушие от сластолюбия... Тут уж непременно что-нибудь тебя да зацепит, о что-нибудь непременно приткнешься. Молитесь... И еще хотел бы вам сказать, я вижу, может быть, ничего у вас и не случилось, а мытарствуете, и не только от того, что увидели свою черноту — кругом вас нескладно, все словно бы закрыто — куда ткнуться? Вы раз, другой, третий попробовали — везде стена, отовсюду теснит. Ведь так?.. Но вот тут-то человеку и открывается, что есть и иной путь — вверх! Не мирской, где удача, признание, дружество, благополучие — это та же стена, один раньше в нее упрется, другой позже. А коль поймешь это — тогда небо откроется...

— Я сегодня увидел небо, — улыбнулся Лев Ильич. — Небо и я был в нем. А больше ничего.

— Вот видите! — обрадовался Кирилл Сергеич. — Все верно. И это хорошо, что вы мытарствуете, не пустые слова сказали, что Господь кого любит, того и наказует. Скорби наши — печать избранничества, говорят Отцы. Как же еще, если веришь, встречать

всякого рода неожиданности и напасти, что словно бы без нашей воли и участия в них, а происходят с нами? То явный знак, что от Бога — помнит он о вас! А если так, не роптать, а лишь радоваться надо. Но это, разумеется, великий подвиг, он у нас у всех впереди, ежели сил достанет. Вот вам напоследок, а то слышу, Дуся идет, слова еще одного святого — Аввы Дорофея: не желай, чтоб все так сделалось, как ты хочешь, но желай, чтоб оно было так, как будет...

И верно, раскрылась дверь, вслед за Дусей вошла сияющая Маша, а за ней... Вера.

Они, и правда, Лев Ильич сразу это почувствовал, это и потрясло его, были рады, счастливы за него, будто его решение, которому он и сейчас, будучи уже здесь, слушая Кирилла Сергеича, поражаясь, как он про него угадал, все еще смущался: старый он уже человек, а на рассвете, у них свои дела — ну что, подождать не мог, чтоб договориться в удобное им время, да и самому следовало, чтоб никого не беспокоить... Но, вот ведь для них, не для него — для них! — это вдруг оказалось событием, праздником!

И так все стремительно завертелось: женщины о чем-то вполголоса переговаривались, хлопали дверьми, Кирилл Сергеич на него уже не обращал внимания — занят был, потом Дуся вызвала его из комнаты, Лев Ильич слышал обрывки разговора не всегда понятного: "...Маша, найди свечки, да нет, не там — в шкафчике..." — это голос Дуси. "...У меня в коробочке возьми... Ну шнурочек какой-нибудь найдете..." — это Кирилл Сергеич. А потом голос Веры: "Я дам свою цепочку.. вот у меня, а себе этот шнурок..." Он даже к окну отвернулся, застыдился слез.

Вошла Дуся с тазом — белым, большим, звонким, поставила тяжелый кувшин, видно, полный — он об пол брякнулся.

"Это еще зачем?" — испугался Лев Ильич.

Но тут же следом в комнату вступил Кирилл Сергеич — в епитрахили, с большим, тяжелым крестом на груди. Он казался еще выше ростом, лицо торжественное, даже суровое, самоуглубленное. Он не глядел на Льва Ильича. За ним Маша — тоже строгая, кофточку надела другую — беленькую. И Вера — сосредоточенная, но она с Льва Ильича не спускала глаз.

Кирилл Сергеич взял со стола книгу. "Евангелие, что ли?" — подумал Лев Ильич. Тот на него взглянул первый раз, как вошел в комнату.

— Вы разденьтесь, — сказал он.

— Как? — оторопел Лев Ильич.

— Ну... вы в трусах?.. Если уж такой стыдливый, рубашку снимите...

Лев Ильич торопливо, презирая самого себя, уже окончательно стал раздеваться. На стул положил пиджак, свитер, рубашку стянул...

— Ботинки, ботинки — здесь у нас тепло, — сказал Кирилл Сергеич, — и носки.

Он снял ботинки, носки, застеснявшись своих ног, а оттого совсем обозлившись, и штаны стянул. И в жар его бросило: трусы были длинные, черные, еще велики ему на два номера.

— Подойдите сюда, — сказал Кирилл Сергеич, когда тот закончил свою возню.

Сам он стоял спиной к окну, в углу возле икон, Льва Ильича поставил лицом к себе, за спиной у Льва Ильича три женщины.

Кирилл Сергеич надел очки и стал читать по книге.

Лев Ильич ничего не слышал, мысли летели и сначала метались все вокруг его нелепых трусов. Знал бы, надел красивые, купальные... Ну да, окоротил он себя, на пляже ты на Черноморском, что ли? Потом о том, что помылся бы хоть — душ бы принял с дороги, — и опять промелькнуло: будто к врачу пришел за бюллетенем! Да нет, не о себе, вильнула мысль, им же, наверно, неприятно?..

Он себя со стороны увидел: белого, уже чуть рыхловатого — хоть живота нет, спасибо! — на тонких ногах в венах, резко обозначенных, с грудью, поросшей седеющими волосами... Осенью бы, хоть загар еще не сошел, а то к весне... И он представил себе вдруг с ужасом, что где-то тут же стоят — да нет, сидят развалившись! — Иван с Вадиком Козицким, Феликс Борин и этот его новый знакомец — Митя, сидят и смотрят...

Он поднял голову и уже осмысленно посмотрел перед собой... Кирилл Сергеич молился, повернувшись лицом к иконам, скоро, отчетливо выговаривая слова, поугай сидел тихонько, на Льва Ильича завороженно смотрел... И вдруг он все здесь увидел по-новому: эту комнату средь утренней Москвы — гремющей, бегущей, топчущей, брызгающей грязью, сверкающие машины, модных красивых женщин и деловых мужчин с большими желтыми портфелями... А здесь, в этом грязном дворе, в тихом закоулке, в комнате с попугаем — таз, в который — теперь он знал это — для него налили воду, священника перед иконами, трех женщин, повторяющих вслед за священником слова молитвы, себя в длинных черных трусах — бледного, жалкого и не защищенного. И такая пронзительная печаль и умиление его сотрясли — ведь и Он так же стоял, шагал — оплеванный, избитый, сгибаясь под Крестом, падал, поднимался, и снова шел туда, где ждали Его гогочущие солдаты и дорвавшаяся до крови толпа. Так же и сегодня он шел бы по этим сверкающим — равнодушным и своим только занятым улицам, так же бы плевали в него, когда он — раздетый и жалкий пытался бы подняться и поднимался с крестом, сбившим ему плечи...

Да ведь Он не шел бы, а идет, Он и сегодня идет все тем же своим путем, а мы так же смеемся и злорадно кричим ему: "Сойди с Креста!" — вздрогнул Лев Ильич своей мысли, такой ясной, будто

не подумал, а увидел все это...

— Отрицаеши ли ся сатаны?.. — услышал он вопрос священника. — Говорите: отрицаюся.

— Отрицаюся, — твердо повторил Лев Ильич, повернувшись к тем, что стояли за ним. И еще и еще раз повторил, — Отрицаюся...

— Сочетаваеши ли ся Христу? — спросил священник. — Говорите: сочетаваюся.

— Сочетаваюся, — с восторгом сказал Лев Ильич, повернувшись лицом к священнику. И еще и еще раз повторил следом за ним, — Сочетаваюся...

— И веруешь ли ему?..

— Верую ему, яко Царю и Богу, — ответил Лев Ильич и уже с радостью и счастьем услышал и повторял за священником фразу за фразой: "Верую во Единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым... И во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного, прежде всех век..."

Шло, длилось, как тысячи, сотни тысяч, миллионы раз до него, и сколько еще будет после, невыразимое и трогательное до слез таинство, и малая церковь из трех женщин стояла за его плечами, и сам он был не свидетелем, а как казалось ему, членом ее. И Он стоял среди них, знал это Лев Ильич, слышал Его дыхание...

Священник набрал пригоршни воды из таза, вылил на голову Льва Ильича:

— Крещается раб Божий Лев во Имя Отца! Аминь... И Сына! Аминь... И Святаго Духа! Аминь...

— Крестик! — сказал священник.

Маша протянула ему крестик на цепочке.

— Поцелуйте крест, — сказал священник и надел цепочку на Льва Ильича. — Перекреститесь...

Он помазал ему лоб, грудь, руки, ноги...

— Печать дара Духа Святаго. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Аминь. Печать дара Духа Святаго. Аминь...

Зажгли свечи.

Он шел вслед за священником, оставляя мокрые следы на полу вокруг купели, а за ним шли три женщины со свечами, они тихонько пели, а Лев Ильич бормотал, повторяя за ними, угадывая слова: "...Во Христа креститесь, во Христа облекостесь..."

— Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!..

Его остановили.

— Прочти, Маша, — сказал священник и передал ей раскрытую книгу.

— "Братие, елице во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся, — услышал Лев Ильич за спиной спотыкающийся Машин голос. — Спогребохомся, убо Ему крещением в смерть: да

яко же воста Христос от мертвых славою Отчею, тако и мы во обновлении жизни ходити начнем. Аще бо сообразни быхом подобию смерти Его, то и воскресению будем...”

Губкой, смоченной водой, священник отер Льву Ильичу помазанные части тела:

— Крестился еси, просветился еси, миропомазался еси, освятился еси, умылся еси. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Священник отрезал у него прядь волос, склеил волосы воском, бросил в воду...

— Ну вот, — сказал священник, он опять стоял у окна, возле икон, лицом к ним, — вы приняли сейчас Святое Крещение, крестились во Христа Иисуса, в его смерть. Нет уже ни иудея, ни эллина, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет ни мужского пола, ни женского — ибо вы во Христа Иисуса облеклись... Помните, что разное дело — знать истину и жить по ней. Не забывайте, как силен дьявол, как он тщится пролезть в самую узкую щель, как велика ярость бесов на тех, кто начинает преуспевать в деле стяжания Духа Святаго, кто делает первые шаги к спасению. Они и ночью и днем не дадут вам покоя, прознают, через кого к вам подойти, зная ваши слабости, возбуждая в вас самые лютые искушения...

Он говорил просто, спокойно, твердо глядя прямо в глаза Льву Ильичу.

— ...Вы сделали свой выбор, добровольно надели на себя крест, никогда его не снимайте. Вы взяли его в трудное, быть может, переломное время для нас и нашего отечества. Быть может, и пострадать вам за то придется. Ну что ж, никто не может прожить без своей Гефсимании и Голгофы! Радуйтесь испытаниям, какие вам предстоят, ибо убежать от них, по словам Отцов, то же, что убежать от самого спасения. Это тот огонь, которым должна осолиться жизнь каждого, кто хочет наречься чадом Божиим. Поздравляю вас со Святым Крещением!..

Лев Ильич увидел перед собой крест — как в росе, огнем сверкающий. Он поцеловал этот крест и руку священника, держащую крест...

Дуся захватила таз, кувшин, все вышли за ней. Лев Ильич быстро оделся, руки у него дрожали.

Маша вернулась, крепко, трижды поцеловала его в губы.

— Поздравляю тебя, сынок!

За ней Дуся:

— Я говорила — какое счастье, что вы нас разыскали! — они поцеловались.

Потом и Вера подошла, у нее слезы стояли в глазах, а может виделось так Льву Ильичу — перед ним все плавало как в тумане.

Кирилл Сергеич уже без епитрахили, без креста, снял со стены

икону, поцеловал ее и протянул Льву Ильичу :

— Это ваша, — сказал он, — крещальная.

Лев Ильич взял, но руки так дрожали, едва не уронил. На него из темной доски та же — все та же! — Божья Матерь глядела с младенцем.

— Господи!.. — сказал он. — Отец Кирилл, это та самая — мамина икона!..

— Ну вот, — улыбнулся Кирилл Сергееч, совсем другое у него было лицо, — нет ничего случайного. Кто в случай верит — тот в Бога не верует.

— Надо бы это, праздник наш, как-то... отметить, — сказала Дуся, — а мы, как на грех, уезжаем.

— Ничего, — сказал Кирилл Сергееч, — вернемся через три дня, если до поста успеем, а то в Пасху у нас и будет праздник. Ну что ж делать.

— Да, да, — заторопился Лев Ильич, прижимая икону к груди, — у вас совсем нет времени. Я пойду, спасибо вам за все...

— Пусть их уезжают, — подала голос Маша, — а я сегодня с полдня домой вернусь. Вот у меня...

— Я даже и не знаю... — начал было Лев Ильич.

— Да, — вспомнил Кирилл Сергееч, — дайте я ваш телефон запишу, адрес, а то вернусь, надо будет нам сразу повидаться.

— Понимаете... — Лев Ильич тут уж никак не мог промолчать. — Я сегодня ночью ушел из дома... Не знаю... совсем ушел. Так что, куда мне звонить — на работу если... Где я буду жить — трудно сказать.

Кирилл Сергееч посмотрел на него.

— Знаете что, — сказал он вдруг, — а живите пока у нас, все равно квартира пустует. За попугаем, за рыбками приглядите, что ж мы все Машу нагружаем... Вот здесь и живите — в этой комнате. Ключ будет у Маши, она вам все объяснит, где что...

— Нет, мне...

— Да, да, вот и договорились, верно, Дуся?

— Конечно, я только буду рада, нам спокойнее... И потом попугай у нас, можно сказать, особенный, с характером, он один ночью не остается. Мы раз уезжали — заболел, еле отходили. Так что очень нас выручите, — Дуся улыбнулась. — А Маша все вам расскажет — где белье, где что... Вы не стесняйтесь, обязательно приходите!..

— А вернемся — обо всем поговорим, — сказал Кирилл Сергееч. — Что ж сейчас наспех, да и верно, еще кой-что подкупить нужно, знаете как в деревне — пусто...

Лев Ильич с ним расцеловался, пошел было к двери, но вспомнил про икону, воротился, положил на стол.

Кирилл Сергееч длинно, внимательно смотрел на него.

Он и этот день тоже много раз потом пытался вспомнить — то есть, тут все просто было, каждый шаг он ясно видел, представлял, да и ничего хитрого словно бы в этот день не случилось. Он находился в здравом уме, день был, а не ночь, и все его передвижения по городу, встречи, даже разговоры были на памяти. Даже свои настроения, ощущения запомнились — важный и дорогой это был для него день, как же его забудешь. Но здесь другое его томило, он каким-то иным странным чувством знал, что именно в этот самый день допустил какую-то промашку; да нет, не то слово, что-то он позволил себе, разрешил, чего никак нельзя было разрешать, а там — как с горы покатился. Но вот с чего это началось, да и потом, когда уже летел так, что и дух замирал, все не понимал, что катится и погибает, да и знал бы, все равно бы не удержался, да и останови его, он бы не услышал, не зацепился...

Но конечно, он все это потом осознал, падением нарек, но вот где, в чем, в какой момент это началось? Он долго еще потом не там — во вне искал, кого-то обвинял, да и себя не за то, будто кто тащил его, а не он сам шагнул навстречу. Почему?.. Вот в том-то и дело, что все здесь призрачно было, и когда уж сыростью потянуло, гнилью, и было взаправду, кабы не поздно, он и тогда не сразу это осознал и напугался.

Ему даже не хорошо, не просто радостно было. Он и шел иначе, на знакомые улицы не так глядел, ему казалось, люди встречались словно бы те, что уже не раз он видел, примелькались в толпе, но они прежде совсем не так воспринимались, не тем останавливали его глаза. Ну вон женщина, что только что прошла мимо, определенно он ее прежде встречал — и глаза ее яркие, и как шла, плавно покачиваясь. Он еще двинулся за ней следом, уж очень складно она шла, и все так пригнуто было — беленький полушубок, мужская шапка с опущенными ушами — пушистая и тоже белая. Эх, не умел Лев Ильич на улице знакомиться, робел, а хотелось, он только обогнал ее тогда, глянул под шапку, и она на него посмотрела: что ж, мол, и я не против, давайте поговорим... Но не решился... Да, так оно и было, — вспомнил он. А сегодня — ну конечно, она и шла навстречу! — тот же был полушубок и шапка, и глаза, что его потом долго преследовали. Но ему уже не нужно было засматривать ей в глаза, заговаривать — он и так ее знал: и куда она идет, и откуда, что ее ждет, он с такой радостью пожелал ей счастья

в той встрече, что сегодня ей предстоит, непременно предстоит и сбудется, и как она станет улыбаться, смеяться, как закроет глаза, влажные от счастья... А его не заметила, никогда не узнает, — что это он, встреченный ею нескладный прохожий в мешковатом пальто, устроил это ей сегодня, что надо бы оглянуться, хоть запомнить, — да не нужна ему ее благодарность! — но все-таки, пусть бы знала... Он и девчужке-дурнушке такой, с унылым еврейским носом, тащившей потную тетрадь, да вдруг споткнувшейся на ровном месте, так что папка раскрылась, листы полетели по мостовой, помогая подобрать, пожелал найти и сегодня радость, а потом, когда подрастет, мужа, и он — красавец-спортсмен так станет гордиться ею, что вокруг все только рты и будут разевать от изумления и завидовать ее счастью. А она тоже никогда не вспомнит, не узнает, как ей повезло — не споткнись тогда, в тот весенний денек, не обрати на себя его внимания!..

А день, и верно, славный выдался: солнце светило, чуть подмерзло, хрустело под каблуками, небо было высоким, бледным, но где-то там далеко угадывалась уже синева, которая потом, еще месяца через три все и затопит.

Он здесь уже не случайным был — нелепым прохожим, муравьишкой, которого могли и смять ненароком, да и зачем он был тут, появился, куда уйдет — не все ли равно? Все иным здесь стало для него, наполнилось смыслом — не само по себе, а для него! Вот и улица открывается, и переходит в другую, а не будь его — тупиком бы заканчивалась. И у тех, кто попадались ему на пути, кого он одаривал, желая им счастья, и у них какой-то смысл появлялся в их муравьиной жизни — в связи их встречи с ним, а что иначе с ними могло быть! Вон к дверям казенного дома с высоким подъездом, двери тяжелые, обшитые медяшками — не откроешь, поднимается, небрежно покачивает портфелем такой хозяин жизни. Только что видел Лев Ильич, подкатила черная машина, тормознула, он дверцей так привычно отмахнулся — машина тут же отъехала, а он пошел себе, по сторонам и не глядит, несет себя, легко поднимаясь по широким ступеням, наперед все для себя решив. Тоже, между прочим, полагает, что все здесь заради него придумано... Да нет, у него главное страх, он пока достиг этой машины, портфеля, через столько в себе перешагнул, такого натерпелся, такое прознал про то, как этот портфель с машиной можно не только схватить, но и вырвать... Так что — нет, крепко он знает — не для него это — всего лишь для портфеля, для черной машины. А свято место и без него пусто не будет...

А меня, получается, за меня самого наградили? — усмехнулся Лев Ильич. Усмехнуться-то усмехнулся, но все равно горячо стало, ноги ступали тверже, звонко он так шел, поглядывал вокруг совсем по-другому, не как всегда. Вот только Кирилл Сергеич

вспомнился, что-то тревожило — откуда в нем внезапно такая усталость появилась? А может показалось, мало ли что — лег поздно, сборы, дела, он-то, Лев Ильич, здесь причем? Ну устал — отдохнет, в деревню съездит... А правда, как все не случайно: и его детство с нянькой, и мама, и юность, и потери — в них-то непременно знак! — и эти последние встречи, что два дня назад начались...

Он о Верочке подумал с такой радостью — но тоже не так, как прежде, когда бежал к ней сломя голову, или третьего дня, только что-то смутно предчувствуя. Она стала совсем реальностью — и не так даже, как там, у Кирилла Сергеича, когда за спиной слышал ее дыхание и голос, повторявший молитвы, а вот только что, когда с полчаса посидели у Маши, договариваясь на вечер. Он ее и разглядел тогда впервые по-настоящему. Там, в поезде, в первый раз, так, смутность одна была. Остановила чем-то, а чем — Бог весть; вчера на улице и в столовой — слишком собой был занят, и у Кирилла Сергеича не до нее — все вокруг ошеломляло. Тут — сидела, ходила перед ним по комнате прелестная молодая женщина, стройная, плавная в поворотах, глаза не просто блестящие добротой, в них глубина угадывалась, неясность томила, и рот, особенно губа нижняя, чуть запухшая... Он ведь сегодня вечером и пойдет к себе — весело иная так подумал — а она там!..

Он уже недалеко был от редакции, когда вспомнил, что для Любы он в командировке, и так ему что-то жалко ее стало! Но и тут иная это была жалость, не та, что там, у двери, ночью его резанула, иная так сильно, что потом, когда на скамейке вспомнилась под утро, как ссадиной отозвалась. Чуть снисходительно он про нее подумал: конечно, жалко по-человечески, худо-плохо, что говорить, но все-таки вместе были, а тут одна со своим, с тем, что было у нее, с ней же и осталось... И того, что он теперь знал, у нее нет... А может? да нет, не может, а так вот оно и есть! — не зря ему эдак, а ей все то же, что и было... — легко он так про это думал — шуточка, семнадцать лет с плеч сбросил — и нет ничего, свобода!.. Да и вчерашние его ребята, давние друзья-приятели — они и не знают, не чувствуют, а как все у них жалко, ничтожно: и эти их разговоры, и злость, что всегда полагал очистительной — что ей чистить? Хоть до дыр отстирывай или перекрашивай, портками, панталонами, джинсами назови, срам-то прикроют — а что коли срам все равно никуда не денется! И мечты, надежды — вон как вчера определилось, может, и преувеличилось в разговоре, больше для красоты слога, но все равно вырвалось, сказалось. Ни ценностей настоящих — единственных, ни представления о своей вине — так, на два шага вперед видимость, бредут себе, как в тумане, а больше на месте топчутся безо всякого смысла...

А что ж ты, раз такой заботник обо всех, кого ни встретишь, что ж ты им — кто тебе ближе всего, почему им не поможешь, ре-

зультат, кстати, увидится, не то что так, на улице — поди потом проверь, сбудутся твои пожелания, нет!.. Что я "собес", что ли, какой? — отмахнулся от себя Лев Ильич.

Хорошо он так шел, звонко, легкость в нем была, какой в себе и не помнил. Он даже на себя со стороны пытался посмотреть — в окна, в витрины — хорошо шел! И всегдашней усталости, такой, что хоть ложись другой раз посреди мостовой, кабы не милиция — лег бы, ноги вытянул, так уставал, — не было теперь и усталости. Он плечи распрямил, фуражку сдвинул на затылок, лед только позванивал. Он уже и на прохожих не глядел — Бог с ними, пусть себе о портфелях хлопочут, складывают денежки, торопятся — опоздать боятся. Каждому свое!..

"Батюшки!" — сказал он себе, да так ясно подумал, что остановился на всем ходу, дух перевел. Вот она откуда легкость эта звонкая — он же совсем чист, все, что давило, тянуло к земле, в ногах и уж не знает он там, в чем отдавалось, — все с него сняли! Он теперь как цыпленочек желтенький, пушистый — только родился, вылупился. Вот потому и солнце, и такая безотчетная радость, и не гнетет ничего... Он дальше даже не шагнул — полетел прямо... И верно полетел — оступился, что ли, поскользнулся — и брякнулся во всю длину. Да сильно что-то, спину зашиб, к нему уж мужик подходил, как на грех, нарочно с большущим желтым портфелем, руку протягивал помочь, фуражку его поднял — далеко отлетела. Но он обозлился, сам не знал на кого. Встал, счистил фуражкой грязь с пальто... Даже юмора не было — глупость какая-то. А ведь, бывало, смеялся, когда так вот падал. А случалось с ним, он давно, с юности запомнил, как пойдет вот эдак весело, размашисто, от чего-нибудь занесется: ну, там, похвалит его кто-то, девушка сама ему объяснилась в любви, или еще как-нибудь его выделили, тоже голову поднимет, распрямит плечи — так обязательно ему под ноги наледь ли, корка гнилая — он и брякнется. Смеялся, да его и останавливало всегда. А тут — удивительное дело! — такой ему знак подавали, предупреждали, а он всего лишь обозлился: и улицу не чистят — столица мира, центр, прости Господи, цивилизации... Но уж так, со звоном идти не мог, в спине отдавало, прихрамывал.

Нет, не увидел он знака, не захотел прислушаться, хоть и побаливала спина, напоминала — только морщился. Мысль ему сбили, радость пытались испортить — а я, мол, не поддамся!.. Он подумал о том, какой удивительной, не от него словно бы зависящей, самостоятельно живущей в нем оказалась память. Вот, невежда он был, читал вроде, и много, но без смысла и направления — такой интеллигентский набор. Да и все, что читал когда-то, надо бы заново перечитать, что он там понимал — сюжет и аромат остался, а главное — по незнанию, по другой устремленности — ускользало. То самое, ради чего и писались те великие книги, в культуру вошли,

остались — что он про это знал? А как вдруг теперь вспомнилось! И та — Главная, о которой прежде никогда не приходило в голову подумать, давно, чуть не тридцать лет назад она ему как-то попалась... У его теток была домработница — молоденькая, а богомолка, он и взял у нее Новый Завет, хорошо прочел, а потому еще хорошо, что в ту пору учился в университете, все, что читал, ему для дела нужно было, ну какое дело — экзамены сдать. И странная вещь, то, что читалось для экзамена, тут же и забывалось, как только, бывало, оценят его познания. А тут ни к чему ему было, а сохранилось, видно, в рост пошло — страницами вспоминал. Тоже ведь неспроста!

Хорошо ему от этого стало, теплота разлилась по сердцу — все было не случайно, не просто так, кто-то о его жизни наперед все знал и присутствовал в каждом его шаге. Кто-то... "Да не 'кто-то' — Кто!" — сказал он себе строго, вроде бы самого себя призывая к порядку и уважению к себе. И снова распрямил плечи, пересилив глупую боль. Все было правильно и как быть должно.

В редакции ему и сегодня нечего было делать. Начальство, как и накануне, отсутствовало, он сунулся было к машинистке, но видно невпопад: его приятельница размазывала слезы и краску, лицо в красных пятнах и черных подтеках, волосы, всегда тщатель-но уложенные, сбились... "Ну чего я полез?" — огорчился Лев Ильич, теперь уж никак не закроешь дверь, хоть ей, видно, как лихо было, она и не заметила сразу Льва Ильича: горько так, безутешно плакала. Такая модная на вид девица, встретишь на улице, нипочем не подумаешь, что эти разноцветные тряпки — ну тряпки-то, положим, ныне не так дороги, но туфли самые сверхмодные, серьги, кольца на длинных пальцах, — что все этими самыми пальцами и выбито. А так встретишь — ну, мол, папаша одарил или муж из преуспевающих, или мало там чем подрабатывает. Она хорошая была деваха, веселая, добрая, но невезучая, а может, чего-то в ней недо-ставало, что очень важно в женщине, чтоб в конце-концов ей все-таки повезло. А то вроде и заметная, и характер легкий, и комната своя, — а это первое дело, чтоб баба устроила свою жизнь. А может не первое, может, через ту комнату и получается, что как войти в нее мужику легко, так и выйти не трудно? Нет, может быть, не в комнате все-таки беда, хоть и тут, верно, не последнее это дело, устанавливающее в жизни особый тон. Черта такая бывает в бабе — в лице ли, в складе ума, характера, но вот, взглянешь на нее, поболтаешь минут десять и сразу ясно: не везет, да и никогда не повезет. И тут сам собой какой-то механизм срабатывает у муж-чины — берегись невезучих, с ней и тебе не будет радости. Вот и создается такая пустота вокруг — чем ее заполнишь?

А с этой Таней у Льва Ильича давно сложились добрые отно-шения — пошучивали, о чем-то не говоря договаривались, но что-то

не выходило, дела посторонние перебивали. Хотя раз чуть было не сладилось. У них в редакции был праздник, столы накрыли в кабинете у главного, пили и веселились, а потом, к ночи дело пошло, отправились к Тане допивать. У меня, мол, есть дома. То есть, Лев Ильич это и заварил, он с ней весь вечер сидел рядышком, все похотывали, и ей хорошо — все-таки он не последний был в редакции человек, и редактор его уважал, и какой-то вроде особенный, не то, что мальчишки, которые и в возраст войдут, а остаются редакционными мальчишками, их к себе баба позовет только уж совсем от отчаяния и тоски — все наперед ясно, там не только никакого продолжения не будет, и утра единственного не случится, ну, а куда деваться — поехали, мол. В Льве Ильиче какая-то все-таки надежда была, хоть не обидит, искренний человек: все равно не поверишь, но вот тут-то, в этот самый момент — конечно, правда.

Они и поехали, он и еще один автор, случайно оказавшийся на той пьянке, из таких как раз мальчиков-переростков.

Квартира была двухкомнатная, такая бабья, студенческо-мещанская, когда сразу видно, гвоздь вбить некому. С сестрой она старшей жила, Лидой.

Лиды не спала, хоть и поздно было, чем-то она там занималась, когда они весело, разгульно вломились в дом, быстро на кухне организовала стол, спирт у них был — Лиды в какой-то лаборатории работала, автор тот мог на гитаре, и гитара нашлась — как же, хорошо сидели. Таня веселилась, на Льва Ильича с нежностью, с благодарностью поглядывала. А он, как вошел, увидел ее сестру, так и забыл про Таню. Совсем другая была баба, как*и не сестра, — та тоненькая, модно-современная, накрашенная — красивая девчушка, а эта совсем простая, с глазами отчаянными, быстрыми, такими прозрачными, глянешь в них — далеко видно. Да уж куда дальше, когда ночь, все подпили и чего еще делать, как не разойтись по комнатам.

Они и разошлись, как напробовались того спирта, то есть, куда автор делся, Лев Ильич никогда не узнал, может он с Таней до утра и проиграл на гитаре, а вот про себя он все знал, хоть и крепко пьян был, а запомнил, да так запомнил, что если бы не Таня, на которую долго потом и смотреть боялся — стыдно было, неизвестно как бы и выпрыгнул... Ну а после забылось, снова с ней пошучивал, и вот, даже думал, куда пригласить как-нибудь, только уж в ее дом ни ногой...

Лев Ильич прикрыл за собой дверь, сел рядом, тихонько тронул длинную серьгу. Она обернулась, хотела что-то сказать, но закрыла лицо, слезы просачивались сквозь пальцы.

Лев Ильич растерялся — что делать? Но она с собой справилась, открыла ящик, вытаскала сумочку, а оттуда лист бумаги, сложенный в несколько раз, подала Льву Ильичу, а сама отошла к окну,

достала зеркала, пудреницу.

Он развернул бумагу — размашистый круглый почерк — записка, а в ней три строчки карандашом: "Прости меня, Танюша, а другого не придумаю, как уехать из дома. Может, у тебя чего наладится, ты меня не ищи, не беспокойся. Не жить нам вместе, я тебе жизнь заедаю..." Без подписи.

Лев Ильич повертел бумагу, сложил и вдруг его осенило, в жар бросило — это ж Лида, ну конечно, ее записка!

А Таня уж что-то с лицом сделала, смыла краску, припудрила, села за машинку, новый лист переложила копиркой, встала, а потом уронила руки и как проняло ее — все и выложила Льву Ильичу. И как у нее появился парень — да знал его Лев Ильич, художник один, подхалтуривал у них в редакции, никчемный малый, но ничего, словно бы добрый, симпатичный, видно зарабатывал, всегда деньги были, да не очень и пил, больше для веселья и куража. Он неделю у нее жил, все как сладилось, Таня после работы бежала домой, жарить полуфабрикаты, в театр пошли — семейный выход, вот-вот, думала, предложит зарегистрироваться. Но тут, она и не заметила сразу, он спит с ней, а поглядывает на ту стену — в соседнюю комнату. Ну а дальше-больше, он раз пришел да дверь и ошибся. Она этой ночью и ушла, домой не заходила, а сейчас, вот только что, соседская девчонка с площадки эту Лидину записку принесла...

Надо ж, усмехнулся про себя Лев Ильич, как еще этой ночью не встретились, вот бы долгожданное свидание и состоялось — беседовали бы вместе... А твоей-то заслуги нет в этом? — спросил он себя. Это еще почему, ошетинилось что-то в нем, что я, за всех невезучих и за всех, кому везет, отвечаю, что ли?.. Ну тут, может, и нет твоей вины, а вон тогда, а если объединить, она-то, Таня, непременно объединяет, когда плачет над своей бедой — тоже, небось, на стену поглядывала с другой стороны, когда он, в гости придя, наспиритовавшись, все на свете и позабыл!.. Вот она вина какая, ты про нее позабыл, от тебя отлетела, простили тебе, а она — твоя вина — гуляет по белу свету, мало ли где аукнется, вот к тебе и вернулась... "Да простили мне все!" — крикнул себе Лев Ильич, что ж, и буду всю жизнь тащить на себе все, что накопил, тогда и шагу не ступишь... Он поднялся — ну что он мог сделать для нее, что сказать?

И тут на его счастье открылась дверь.

— Вот он где скрывается! — курьер всунулся. — Вас, Лев Ильич, спрашивают солидные посетители, а я везде обыскался, думал, ушли.

Эх, Лев Ильич, Лев Ильич, такой знак подавали, как звезда в ночи заблестела, чего уж ясней было, так и тут не разглядел, не хотел знать, ну а сколько раз предупредить, когда сам человек

не хочет остерегаться, не спасается, как его спасти?

Он только от двери воротился записать Тане адрес Кирилла Сергеича, если, мол, что вдруг понадобится, там и разыщешь. Держись, мол, Танюша, это к лучшему, испытание тебе, Бог тебя любит, вот и оберегает от такой-то радости. Она благодарно улыбнулась сквозь закипавшие слезы — привыкла, верно, что и не может у нее быть хорошо, подумал Лев Ильич, и тут в ее глазах подметил удивление и радость. Видно, приняла за шутку, что про испытание ей ввернул, не раскусила, но приятно: за нее огорчен, вот, мол, потому и говорит невесть что... Нет, тут что-то другое было в ее удивлении, таком добром, радостном, но не успел он сообразить.

Эта была полная для него неожиданность: за его столом сидел Вадик Козицкий, на подоконнике устроился Феликс Борин, а по комнате прогуливался Виктор Березкин — тоже старый его дружок, философ, не то чтоб известный, но уважаемый.

— А я тебе домой позвонил, Люба сказала — ты в командировке, уехал, — ухмыльнулся Феликс Борин.

— Ну а ты что? — быстро спросил Лев Ильич.

— А я что? Ничего. Значит, думаю, не поймали. Исчез.

— Дак — уехал, что ли? — засмеялся Березкин.

— Уехал, — сказал Лев Ильич. — Зачем пришли, случилось что?

— А ты не пришел бы на нашем месте? — глянул на него Вадик Козицкий.

— А зачем бы я пришел, когда б накануне сделал заявление, что в этом доме моей ноги больше не будет? Или не заявляй, или не приходи.

— Так мы к тебе не домой пришли, — сказал Феликс.

— Ну коли так, все в порядке, — засмеялся Вадик Козицкий. — У него не только всепрощение, у него злопамятность — ишь как словцо засело!

— А почему он должен все прощать? — удивился Березкин. — В толстовство ударился?

— Когда бы в толстовство, полбеды... — отмахнулся Вадик. — Слушай, тебе тут обязательно торчать, пошли пообедаем?

Ага, догадался Лев Ильич, и верно, притащились спасать его от него же самого. "Ишь, сколько ловцов по его душу!" — обозлился он. О себе бы лучше побеспокоились, а он далеко отлетел, не дотянуться... Он было хотел отказаться, но азарт появился: чего не поговорить, да и есть захотелось.

Было у них одно давнишнее место — ресторан-не ресторан — столовая, а получше ресторана, в переулочке: вино всегда давали хорошее, и кормили даже удивительно. Это вон Березкин, кстати, и открыл, а того туда знакомый адвокат привел — адвокатское было место, те понимали в этом толк...

Они быстро добрались, недалеко было б и пешком, да Вадик машину остановил — они и долетели. Березкин отправился на кухню, оно хоть и хорошее было место, но не для всех, а его тут знали. Они пока выбрали столик, в уголке расположились.

Березкин подошел вместе с каким-то здешним начальником — заведующий, что ли? — таким белесым, никогда не запомнишь, не то знаешь его хорошо, не то в первый раз видишь. Тот и не спросил ни о чем, чиркнул в блокнотик: четверо, мол, и ладно, обидно не будет. А рядом за столиком скандалили, к ним уж час и вовсе никто не подходил, у них обеденный перерыв кончался, требовали жалобную книгу. Белесый и не обернулся на шум.

— Вот она, Россия, — сказал Феликс, — поразительная все-таки территория, любые землетрясения, что бы ни происходило — она все такая. Советская власть, что ль, виновата, что этот мужичонка уродился таким прохвостом, он бы и сто лет назад служил половым с такой рожей и так же вот.

— Ну положим, — сказал Вадик, — если у него тогда дошло дело до жалобной книги, его бы в тот же миг отсюда вышвырнули. В том и дело, что разница принципиальная.

— Да я не о том, — начал горячиться Феликс. — Я про хамство, которое в крови — наследственная черта, что переходит из поколения в поколение независимо от общественно-экономической формации...

А им меж тем уже накрывали столик, поставили вино, какого и в дорогом ресторане не сыщешь — "хванчкар", закусточку приятную — лобю. Зав самолично обслуживал. За соседним столиком так и замерли с раскрытыми ртами. Зав еще раз подошел, поставил нарзан, вино им разлил. Потом неторопливо подошел к соседнему столу — и там так тихо, робко заказывали, так уж рады, что все-таки вспомнили и про них. О бунте и помина не было.

— Вот она, Россия, — кивнул назад Вадик, — не половой этот, а народ самого себя достоин и всего, что бы с ним не делали. Тоже, между прочим, по наследству это рабство передается.

— Есть и другая точка зрения, — сказал Березкин, смакуя вино, — у одного писателя, который все это изнутри даже не знал, чувствовал. Так там наоборот: это, говорит, у каких-нибудь англичан передается из рода в род, сохраняется, и все ясно — что откуда вышло-произошло. А у нас рассыпана всякая связь — с предками, с преданиями, каждый раз как Америку открываем. Это уж не писатель, я заметил. Каждое поколение считает себя полностью обновленным, будто весь род русский только вчера насадка вывела под крапивой.

— Так это у Лескова, — сказал Феликс Борин, — а говоришь, твое собственное наблюдение — плагиатор несчастный.

— У Лескова про насадку, а у меня про Америку, — засме-

ялся Березкин, — а суть одна — ни корней, ни обязательств ни перед кем.

— Да будет вам, — сказал миролюбиво Лев Ильич, — нашли в чем и откуда извлекать материал для своих обобщений. Вот они у вас и получаются всего лишь гастрономические. Кормят — и спасибо, вина такого нигде не найдешь, — он отхлебнул из бокала. — А куда б девались, как не этот половой — к нему ж пришли, небось не к другому?

— Я про это и говорю, — сказал Вадик Козицкий, — и ты такой же: все действительное разумно, кесарево кесарю, лбом стену не прошибешь.

— Прошибай, коли охота, тем более, ежели у тебя медный. А я думал, вы меня сюда кормить зазвали — оказывается, революцию совершать? Хоть доесть-то дадите?

— Если правду говорить, — сказал Вадик, — мы тебя сюда не кормить привели... Что с тобой происходит?

— А что? — спросил Лев Ильич, в нем злоба закипала, но он сдерживался: ну чего они лезут к нему, тут такой ров — все равно не перескочить, не ему ж назад прыгать? Он за эти дни такую канаву выкопал, водой заполнил, да если подумать, получается, что не вчера, не третьего дня — давно это в нем жило подспудно, работа шла незаметно, пока они за рюмкой сферу обслуживания обличали... — Неужто своей собственной вины за все, да хоть за это вот, не ощущаете?

— А в чем? — удивился Феликс. — Я ни в чем не виноват. За каждое свое слово отвечаю и, если хочешь, нет поступка, которого мог бы стыдиться.

— Да Бог с тобой, Феликс, — с отчаянием сказал Лев Ильич и рукой по столу бухнул, — ну что ты говоришь такое! Ну, мать у тебя умерла — тому пять лет уж кажется, ну неужто ты себя виноватым перед ней не чувствуешь? Ну, прости меня, у тебя ребенок у Инки остался — ты и перед сыном своим не виноват? От ничего как-нибудь отворотился, спешил — гроша ему не подал — так никогда и не вспоминаешь? Кто-то тебя о мелочи, чепухе попросил — ты отмахнулся, недосуг, а для него это, может, землетрясение, конец света... Что ты с собой делаешь, Феликс?

— Вон ты о чем! — махнул рукой Феликс. — Я думал ты всерьез — о том, что я на площадь должен был выйти или впрямую обличать, не в подтексте, тут мы б с тобой еще поспорили, я б тебе доказал бессмысленность максимализма в сегодняшних условиях. А об этой ерунде я и говорить с тобой не стану.

— Погоди-ка, Феликс, — вмешался Вадик Козицкий, — давайте не будем отвлекаться. Мы, и верно, к тебе зашли не обедать. Что с тобой, Лева, ты себе отдаешь отчет в том, куда ты катишься?

— А что вы так обо мне забеспокоились? — Лев Ильич почувствовал, что срывается. — Дорогу я вам, что ли, перешел или правда боишься, что в вашу сферу обслуживания, — сказал он вслух понравившееся ему словцо, — пролезу? Не собираюсь, и не хлопочи — все вам останется в полное распоряжение. Можете закусывать, обличать и снова закусывать. Ну, разумеется, под хорошую выпивку.

— Я не пойму, — сказал Феликс, — почему ты такой злой стал?

— А потому, надоело, что слово для вас всего лишь гарнир к трапезе — трапеза уж обязательно, а гарнирчик и заменить можно, сообразуясь со вкусами клиента.

— А что такое слово, по-твоему, — все не понимал Феликс Борин.

— "В начале бе Слово, — сказал Лев Ильич, — и Слово бе к Богу и Бог бе Слово". Так-то.

— Ну и что? — оторопел Феликс.

— Тоже сказал, выставился! — засмеялся Вадик. — У тебя самого, действительно, не гарнир получается, а просто филе на вертеле!

Им как раз горячее принесли — шашлык на шампурах с зеленью.

— Как кстати, — обрадовался Березкин, он в толк не мог взять, о чем они тут говорят, — вот вам — и на вертеле.

— Бросьте вы шуточки свои дурацкие, — Лев Ильич больше всего б хотел уйти отсюда, прямо сейчас, немедленно, не нужна ему была их дружба, кончилась она давно, так вот, таким засто-льем только и поддерживалась. Мужская солидарность это у них называлось: муж говорит жене, что уехал в командировку, а друзья его днем водят по ресторанам, чтоб к ночи силы были. — Слово не для пищеварения вам дадено, в нем действительно Бог присутствует, а потому за него жизнью нужно быть готовыми отвечать... — он поморщился, такая высокопарность получилась — все равно ничего не поймут, только высмеют. Ну и пусть, решил он, им же хуже! — А то что ж, вчера мне сказано — да ладно бы сказано, а то намеки трусливые! — что я какие-то гнусные цели преследую, что рвут со мной, сегодня уже шашлык винцом запиваем, а завтра что?

— Да если ты так хочешь, завтра и не будет, — сказал Вадик, теперь и его проняло. — Я-то все думал, ты так, под плохое настроение, с женой не поладил, минута такая...

Вот и Кирилл Сергеич так сказал: "Уж не минута ли?" — вспомнил Лев Ильич и от чего-то смутился.

— ...а если всерьез — скатертью дорога, — рубил Вадик. — Только предупредить бы хотел, без намеков, да и вчера тебе так же

впрямую говорил, не в моих правилах лукавить, что ты на опасном пути. Такое стремление оправдать свое отступничество сначала теоретически, оно еще гаже выходит.

— Да от чего отступничество? — крикнул Лев Ильич, он уже совсем забылся. — От вашего жалкого юмора, ничего святого не оставившего? От вашей троглодитской ненависти — вон, Феликс вчера слово бросил — от злобной ненависти ко всякой иной жизни, в которой вам видится покушение на ваш внутренний комфорт? От ничтожного пафоса всеобщего разрушения — всеобщего, но чтоб только касса сохранилась, где за свой очистительный труд рассчитываете получить — и чтоб не обсчитали! От этого отступничество? Да я готов любым предателем прослыть, если, по-вашему, раньше и я принадлежал к этой славной когорте!

— Ты хоть сейчас еще не торопись, — бросил Вадик Козицкий, — вон уже прислушиваются.

— Да не того ты все боишься, — продолжал Лев Ильич, — ты взгляни на себя, ну кто ты, да и все вы, вон, философ среди вас профессиональный — кто вы такие? Ну, не знаю, мировоззрение у вас есть хоть какое-то — взрослые люди, интеллигентами себя называете? Ну, кто вы — материалисты? Нет, скажите, это стыдно теперь, тут логика к марксизму выводит, а там — на Лубянке теоретическая твердыня, это вам не подходит — чистенькие. Идеалисты — абсолюты признаете? Но идеалисты-то, небось, протестанты все больше, проще говоря, верующие люди, а для вас то страшной страшного... Да, вспомнил — экзистенциалисты! Так это и не мировоззрение вовсе — ну кто вы такие?.. Да и стыдно, простите меня, жить в России и поносить ее по любому поводу, а пуще всего без всякого. Половому трояк сунули, чтоб он вам шашлык получше изжарил — Россия виновата, хамство да взяточничество возвращает. Люди торопятся поесть, на работу опаздывают, нет ни сил, ни времени скандал затевать — они уже наследственные рабы и своей участи достойны. Приятелю вашему весь этот разговор омерзителен — он, стало быть, коллаборационист, отступник — уж и не знаю кто. Или как вчера, наш же приятель всех в быдло определил, а сегодня и вовсе под крапивой весь русский род вывели. Стыдно... Вам же всем уже за сорок лет — о Боге пора думать! Да не поверить я вас зову — куда вам! Помирать скоро, а вы и встретились вроде всерьез — о жизни собрались говорить, а все то же: хомочки, полового осудили, рабство за соседним столиком углядели... Я тут вчера с одним мальчиком говорил — ну, наверно, двадцать лет — куда вам, вы только в книгах про это читали да рефераты сочиняли, а для него это жизнь, и верно, проклятые вопросы — сердце пополам. То действительно русский мальчик — не вам чета. Верно у Лескова, да не про народ русский, а про вас — из-под наседки выскочили, с рождения перестарки! Есть и родословная, между

прочим: интеллигенция наша русская, да, да, та самая, что под крапивой нашли, узнав, что все позволено, напозволялась вдо-сталь, потом, до власти дорвавшись, самое себя пожрала, а уж по-том из того, что осталось, из поскребышей — и вас произвела. Ка-кое ж здесь отсутствие преемственности, потому и за права все боретесь, что себя полагаете законными наследниками. Правильно все. А с меня хватит. Надоело. Пусть другой кто пытается вас спа-сать — вон, говорят, никогда не поздно. По мне так поздно — оде-рвенели. Прощайте!

Лев Ильич задыхался, попробовал сигарету закурить, но не раскуривалась, бросил.

— Вон, оказывается, ты куда заехал? И темперамент, надо же... — медленно сказал Березкин. Он тем временем, под этот говор, доел свой шашлык, запил вином, губы аккуратно вытер салфет-кой. — Воистину Россия непостижимая страна, только пора ее, тем не менее, умом понимать, а то обрадовались, что гений нам разре-шил: не аршином, мол, не разумом — одной мистической статью и еще более метафизической верой. Вот и рады-раदेशеньки — ничего, мол, и понимать не нужно, мы — особенные, человечество, мир спа-саем... Один такой был святой — пустынный, где-то в лесу спасался. Он раз так углубился в молитву, что ничего вокруг не видел, не слышал. А молился он всегда об одном и том же — о спасении всего человечества. Русский человек, ему масштаб нужен. Да. И вдруг кто-то его за плечо трогает, он не заметил за молитвой, как его ближний сосед — верст за полста пустынный в другом лесу, вполз в пещеру. Тогда он в бешенстве, что прервали его высокий разго-вор с Богом, схватил камень, ну и того брата по голове. Убил на месте. А тот, как выяснилось, меду принес, два года как пчелка собирал, чтоб брата попотчевать.

— Врешь ты все, — сказал Лев Ильич с отвращением, — не было такого пустынного.

— А откуда ты знаешь, что не было — все истории перечи-тал?

— Я ничего не читал, — Льва Ильича уже трясло, — зато тебя знаю. Да еще кой-чего, что ты метафизикой называешь. Такая исто-рия только в помраченной голове русского интеллигента могла возникнуть. Их Чехов и Горький напридумывали целый ворох, да еще Лев Толстой.

— В хорошую ты меня компанию пихнул, спасибо. Я, верно, только что сочинил. И точно про Россию выходит. Красиво?

— По мне так омерзительно.

— Вот как, друг наш, Левушка, к месту история оказалась — хорошо у тебя камня под рукой нет... — Березкин уже не шутил, тоже, видно, злился. — Ну а раз мы в живых остались, позволь и тебя спросить — не только тебе спрашивать, у нас все-таки демо-

кратия, или отменил?.. Если у нас, как ты полагаешь, мировоззрения вовсе нет, видимо, определил нам бесформенное интеллигентское сознание? Допустим. Ну а мы с кем имеем тут дело — какое у тебя мировоззрение?

— Я про это и говорю, — сказал Вадик Козицкий, — чего мудрить. Ты что, у нас верующий теперь? Может, и крестился?..

Сколько Лев Ильич ни вспоминал потом — как, почему это случилось: испугался он, но кого — Феликса с Вадиком, Березкина? Стыдно ему, что ли, стало, как представил, что они его, вроде бы там, в той комнате с попугаем, когда газ стоял посреди, увидят? Или — одно дело самому с собой радоваться, что другим стал и жизнь иная, а вот кому-то еще сказать, что все твои чуть не пятьдесят лет жизни — они ничего не стоят, зачеркиваешь — перед другими оказаться совсем не тем, кого они знают? Трусость ли, стыд, неловкость, робость или скромность — но загнулся Лев Ильич, как со всего маху наскочил на что.

— ...Хотел бы поверить, — выдавил он наконец. — Счастлив был бы, если бы сил на это достало.

Сказал, потух как-то, встал, да и пошел было к выходу, но с полдороги воротился, достал деньги и положил на стол — пять рублей, больше и не выйдет...

Они не смотрели на него. И на деньги не взглянули.

10

Он пришел в себя по дороге. Еще нужно было зайти в магазин, хоть Маша и сказала, что у нее всего достанет — нашли на хлебника! Он поставил в портфель бутылку коньяку, дорогого сыру, кофе ему смолоти, шоколадных конфет. Закрывал портфель и подумал: может, и у того утреннего портфельщика теми же самыми "секретными документами" набит тот портфель?.. Долго тебе, Лев Ильич, учиться другой жизни! Пока что все так и было, как в доброе старое время, когда торопился на свиданье к женщине. Только и нового появилось, что злость никак не утихала, как представлял себе их там, оставшихся за столиком, за их шашлыком — так и вскипал: эх, не нашелся, не успел всего выбросить, уж говорить, так все надо было, чтоб ничего не оставалось — навсегда вычистить и слова те забыть, и язык тот паскудный, под крапивой сочиненный. Столько дней и ночей потрачено, столько лет там было проведено — не им, самому бы за это со стыда не сгореть! Он позабыл про то, что и сам оказался не на высокой высоте — ничего, и это урок, главное, что простился — ушел, уехал, улетел, достало,

сил, а что ему на сегодня важней — и этого много.

Он опять по-другому шагал: как по городу оккупированному — ими, теми, с кем только что говорил, да и простился навсегда. Захватили город, ввели свой комендантский час, расклеили приказы на чужом непонятном языке — смерть, кто нарушит, шаг в сторону — и пуля в затылок! — вон, патрули на каждом перекрестке. А он идет себе, попробуй, докопайся, что у него на душе, на то ни сил, ни танков не достанет! Всего-то лишь убить можете — велика хитрость да премудрость, дай желторотому мальчишке, который думает по складам, в руки ружьецо, он кого хошь застрелит, а что этим возьмете? В том и поражение их великое, что про человека так ничего и не поняли, хоть и танков наштамповали, интеллигентов — специалистов-психологов позакупили, портфельщиков, даже оппозицию свою завели, чтоб потихоньку выпускать пар, а как подкопится, да дойдет до красной черты — так за очки, за бороду — сами попрыгают обратно в котел. Куда как все предусмотрено, и не было такого, никто не додумался — глыба! А он — Лев Ильич — идет себе, чем ты его закупишь, чем напугаешь, что с ним сделаешь — выскочил?.. В том и дело, что закупленные специалисты по всем вопросам — те же, те же — его товарищи: те, другие-то, всего лишь посмелей, логичней относятся к себе и к жизни. "Если Бога нет — все позволено!" — сказано вам, чего ж боитесь, стесняетесь — верно, позволено! Что ж вы так, межеумками, и век свой доживете, почему, по-вашему, еврея за бороду хватать нельзя, а про особняк Рябушинского мечтать можно, за осуществление той мечты быть готовыми сражаться, зная при этом, что кого-то придется и потеснить — дворника, скажем? Где ваши критерии, под какой крапивой вам их насадка высидела?.. Ох, недоговорил Лев Ильич, тут было где разгуляться!..

Он и гулял, шел себе, стучал каблуками по оккупированному городу. Ошибка их была в том — для них же непростительная, но непосильная, чтоб ее преодолеть — что они сформулировали человеческую природу по своей модели, вся их борьба была со своими же страхами, и те закупленные специалисты, по ночам мечтающие об особняке, то же самое им пророчили — никак не выше психологизма, что всего лишь хочет схватить — пусть грубо, грубо, но чего стесняться, коли все свои! А как схватит — тут естественный страх, чтоб уж что успел не отняли. И вся независимость, свобода, о которой так пекутся — она или в деньгах — тогда, мол, все нипочем, или в правовой обеспеченности — закон охранит! Вот она где, демократическая мечта — чтоб человек был материально независим и правово обеспечен. Все проблемы и решены — как просто! То-то оно и есть, чуть было не крикнул Лев Ильич, что они только с этого и начинаются — настоящие проблемы, с этой вашей независимости и обеспеченности, много вы знаете про свободу, что она такое для

человека, какой с ней ужас начнется!.. Да уж сам-то он знал ли, что она такое, или так просто упивался собственным красноречьем?.. А не знал, так узнает скоро, ой, скоро, Лев Ильич!

Но он того голоса не слышал, он сегодня, так уж получилось с ним, ничего не замечал из того, что всегда сразу схватывал — он расправу чинил, со своим прошлым прощался.

В том и дело, бормотал он, подмаргивая патрулям и ухмыляясь на смертные приказы — возьмите меня, как же! — в том и дело, что справиться с вами проще простого — отними материальную независимость, кончи с правовой обеспеченностью, или того лучше — чтоб ни того, ни другого и в помине не было — и разговору никакого! Но страх только об этом, потому и всех иных они всего лишь подозревают в покушении на ихнюю жалкую независимость и грошовую обеспеченность, потому и крутится все только возле этого, да и закупленные специалисты им про то самое талдычат — так же и ждут от них этого, вот они заказ и выполняют!.. А с ним, ну что можно сделать, когда ему в бесправии — радость, в нищете — счастье? Он расправил плечи, коньяк булькнул в портфеле — и опять юмора в той ситуации не заметил Лев Ильич — хорош нищий был да униженный!

Всего-то скверно было, что сырость какая-то чувствовалась, продрог, что ли, Лев Ильич, вот и выпить в самый бы раз, подумал он, сворачивая из того переулка во двор.

Вера еще не приходила, его встретила нарядная Маша, провела в зеленую комнату, усадила.

— Понимаешь, какое дело, Лев Ильич, совсем забыла, твоей радости обрадовалась. У меня сегодня... ну юбилей, вроде, давний, будет время — расскажу, если интересно, надо к родне ехать. Там все соберутся — без меня никак. Ты меня прости: сама позвала, а сама и ноги уношу. Может мы, верно, твое крещение на Пасху отпразднуем? Не обидишься?

— А если потом поехать? — огорчился Лев Ильич. — Посидим, у меня выпить есть, а потом отправиться.

— Далеко ехать, аж в Коломенское, там и заночую...

Тут дверь открылась — у Веры, значит, ключ был свой, она зашла с чемоданчиком — выходит, переезжала.

— Я тут объясняю ему, — сказала Маша, — и ты меня прости, ехать должна. Вы без меня скоротаете вечерок — не заскучаете?.. Только, знаете что... может, лучше бы вам наверх, а то с попугаем, верно, потом морока будет?..

— А это обязательно, Маша? — так же, как он, спросила Вера. — Может, останетесь...

— Ну то-то вон, что никак, самой обидно...

Они поднялись наверх, Маша вручила Льву Ильичу ключ, открыла шкафчик — там одеяла, подушка, простыни, отвела на

кухню — показала чай, сахар.

— Живите, — сказала, — да главное с попугаем ведите дружбу, воды ему налейте. Клетку Дуся сегодня почистила, а завтра я перед работой — я с полдня — забегу... Да, забыла, вчерашняя закуска в холодильнике. Выпить-то, правда, есть?.. Гриблочки, бруснику не забудьте...

Комната без хозяев словно нежилая стала — чистенько, душновато. Попугай вспорхнул было, их увидев, и успокоился, а свет зажгли, затих.

На столе белел лист бумаги, прижатый Евангелием.

— Тебе, Лев Ильич, записка, — сказала Маша.

Быстрым таким, четким почерком там стояло: "Лев Ильич, дорогой! Забыл сказать, может, главное: поинтересуйтесь книгами, приеду и про это поговорим подробно. У меня есть для Вас кое-что любопытное. Ну, храни Вас Бог!.."

Они присели, неловко было.

— Да вы что, как не дома? — засмеялась Маша. — Правда, что ли, не уезжать? Так не могу, ну никак не могу... Да! — вспомнила она. — Курите, откройте форточку и курите. Что ж делать, раз его нету — можно.

Они все трое сразу задымили, и правда, стало свободнее.

Маша собралась, Лев Ильич пошел проводить ее до двери, темно было в коридоре, он двинулся наугад, да вдруг как бы и ослеп от звона и грохота. Вера раскрыла дверь из комнаты, стало видно: большой белый таз как живой прыгал и звенел на полу.

Они еще молча посидели, покурили. Внизу в подъезде стукнула дверь — Маша совсем, зная, ушла.

Вера отправилась на кухню ставить чайник, Лев Ильич подошел к книжной полке, одну, другую вытащил — мудрено, куда ему, он про такие и не слышал никогда. На комнату оборотился: лампадка мерцала, иконы светились таинственно, в форточку ворвался ветер, крутанул бумажный лист — записку Кирилла Сергеевича. Сыро было, знобко.

Лев Ильич спохватился, щелкнул портфелем, выставил коньяк на стол, развернул сыр, конфеты... А тут и Вера вошла с грибочками, увидела коньяк, улыбнулась.

— Гуляем значит?

— Не по себе, — сказал Лев Ильич. — Страшновато. Мне вот в голову зашло — может, Маша не зря нас сюда отправила, так верней?

— А ей-то что? — прищурилась Вера. — А уж вы не меня ль напугались?

— Страшно, — повторил Лев Ильич, — я никогда не спал в такой комнате... с иконами... Глядят... Или это — так, живопись на досках?

— А думаете, в другой комнате, или за стеной, пусть каменной — спрячетесь, не увидят?

— Так считаете? — засмеялся Лев Ильич. — Ну а коли так, чего ж нам еще остается, как не выпить да в любви друг другу не объясниться?

— Ишь вы какой скорый.

— Какой же я скорый, — сказал Лев Ильич, откупоривая бутылку. — Я вас сто лет знаю, а до сего дня все молчал. Спасибо, вы меня слушаете, а то б и говорить запретили — чего ж, мол, сто лет собирался?

— А почему вы так думаете, что я вас слушаю?

— Верно... — сказал Лев Ильич, — зазнался... Ну, а не станете слушать, я сам для себя буду говорить. Вдруг услышите?

Сыр лежал уже на тарелке, они сидели друг против друга через широкий стол, он спиной к окну — и вдруг, как случилось что-то, он про все и позабыл: и про эту странную комнату, так его вчера поразившую, да и сегодня утром тоже, и про попугая, затихшего за спиной, и про книги, до которых ему не скоро еще дотянуться... Она снова была совсем другой. Есть такие женщины, подумал Лев Ильич, сколько их ни видишь, они всякий раз новые, только к ним, кажется, подберешь ключик, разлетишься, а он не подойдет и не пробуй, сразу видно — не тот ключ. Опять голову ломаешь, так и эдак примеряешь, и уж когда только сообразишь, коль совсем не опоздал, пока слесарил, что тот первый ключик, и был верным, единственным, открывал бы замок, не сомневался, тем самым ключиком, что сразу подобрам — им бы и открывал!.. Лев Ильич только поморщился своей пошлости — какой там ключик, замок, когда с ним тут совсем непонятное происходило, что его опытом никак не мерилось.

— Давайте за вас, Верочка, — сказал он, — и весь вечер за вас будем пить. Это, верно, Кирилл Сергеич не зря за меня не стал пить сегодня, не пора еще, выпьем, коли живы будем. А сегодня за вас. Я даже не пойму, что меня остановило в вас, как только увидел? Но остановило! По сю пору все никак с места не двинусь — понять хочу, а не могу.

— Да бросьте, Лев Ильич, все вы придумали. Ничего во мне нет. Запуталась я. Да и вы, видно, с собой не разберетесь, вот мы вместе и оказались под этими иконами. От того и страшно, что путаница.

— Но ведь оказались, — сказал Лев Ильич, — и вместе, и ничего для того словно не делали — само вышло. Так, значит, и надо... — ему первая рюмка ударила в голову, он знал, это не надолго, скоро пройдет, вот и торопился пока все сказать, а потом не решится. — Я вас и в эти дни видел всего ничего, сколько еще кроме того у меня случилось, а, знаете, все время вы у меня перед глазами.

А я умею так, гляну на человека, он тут же пройдет, или я отвернусь, а все равно его вижу, как отпечатался, могу на покое разглядывать, а то неудобно в упор смотреть, еще по шее получишь. Так и на вас наглядился... Тут странность только, — заторопился он, — вы каждый раз другая, потому мешаете, вот и не разберусь никак.

— Ну уж, извините! — смеялась Вера. — А что вы там углядели — даже интересно?

— Да если честно сказать...

— Уж давайте честно.

— Не много, конечно... Но могу, если хотите, расскажу про вас... А вы потом поправите, когда навру.

— Уже и условия ставите. Лучше тогда я сама все прямо и скажу... Нет, давайте-ка без условий, раз вы такой прозорливец.

— А я вчера вашего мужа видел. У себя дома, — бухнул вдруг Лев Ильич, сам этого не ожидая.

— Не может быть? — покраснела Вера. — Нет, почему ж, все, конечно, может... Ну и как он вам?.. Тоже потом разглядывали?

— Последнее это дело, женщине, которая нравится так, что и не знаешь — любовь, что ли? — ей про мужа плохо говорить. Но... не то даже слово, что не понравился. Я потому и с вами... путаю...

— Как я с ним живу, не поймете?.. Так я и не живу. Ушла.

— Я вот сейчас сюда бежал, — сказал Лев Ильич, — и такое у меня было странное ощущение, первый раз так. Что я-то по своему городу иду, а он уже не мой — захватили. То есть, оккупировали. И вот, муж ваш, ну, Коля Лепендин, он, конечно, и не чтоб оккупант, но совсем тут... чужой, как и они — те. Я, может, да наверно, и не понял что-то, но... страшно стало. То есть, я совсем не то хотел сказать, — сбился Лев Ильич. — Это у меня очень сложное чувство: от разговора с моими старыми друзьями, вот, только что, от того, что здесь, в этой комнате со мной утром произошло... И от вас. Это все вместе. Так выходит, что эта вся оккупация, как бы и ни к чему — этот город у меня все равно не заберут, не получатся. Меня могут схватить, убить — но меня все равно не достигнут. И то, что сейчас, здесь, с вами — никто у меня того не отнимет. Никогда.

— А в других случаях? — спросила Вера, она притихла и спросила, верно, просто так, для порядка, засмушалась от тона, взятого им, сразу слишком высокого.

Но Лев Ильич это только потом сообразил, а сразу не услышал, ему мысль его была дорога.

— В каких других?

— Ну что вы, мне первой, что ли, в любви объясняетесь? Да... Налейте-ка, выпьем, вы ж мне объяснились, да так ловко, что я и перебить вас не смогла! Как же, в первый раз — так я вам и поверила!

— У меня никогда так не было, — сказал Лев Ильич, он сейчас твердо верил тому, что говорил. Это и Вера почувствовала. — У меня всегда было ощущение, что непременно что-то помешает, что не мое — чужое, что не нужно мне это, что как бы хорошо, чтоб помешали, чтоб скорей подальше оказаться... А теперь, хоть и страшновато, а — дома. И вы против сидите — мне уж и не надо ничего.

— Ну, раз ничего, тогда я вас сейчас возьму да и поцелую! — Вера с места поднялась. — Если, конечно, не испугаетесь?

Ветер швырнул форточку, грохнул, попугай взмахнул крыльями, как вихрь пронесся по комнате, лампадка моргнула и погасла... Лев Ильич встал на табуретку закрыть форточку, она не поддавалась, он и бросил.

Вера стояла посреди комнаты, смеялась:

— Видите, природа против нас, а ничего — мы сильнее!..

Что это потом было, как случилось? Да просто все было, чего мудреного, когда мужчина и женщина, каждый со своей бедой, неудачами остаются вдвоем в пустом доме, когда уж несколько дней как их сводит друг с другом, и коньяк к тому ж на столе — что здесь хитрого, удивительного? Но что-то все-таки и иное было. Надрыв, что ли, какой почувствовался Льву Ильичу, тоска бабья, изголодавшаяся по любви, или так уж к нему ее потянуло — да чего в нем такого привлекательного? Но не бесстыдство тут было, страсть сумасшедшая, жадная, ненасытная, и не изощренность была, а непосредственность детская, на лету схватывавшая все, упивающаяся своим открытиям. Она от тряпок освобождалась, как чешую сбрасывала, Лев Ильич даже глаза закрыл, как увидел ее среди этой комнаты... Нет, то не падение, успел он подумать, уж если отвечать, так чтоб было за что.

Он ничего не знал про нее, да и не хотел уже знать. Отчаяние, что ли, ее к нему бросило, а может, сочувствие, жалость... Нет, от жалости тарелку супу может баба предложить, себя, как тарелку супу. А тут — все отдавала, что скопила, сберегла, о чем, видать, и не подозревала в себе — а может, знала, умела? Да нет, то не профессионализм был — безумие первооткрывателя, как по канату бежала над бездной — вот-вот сорвется, будто ночь была для нее последней, будто с чем-то в себе прощалась, затаптывала себя... Неужто потом сядем друг против друга, закурим, станем о чем-то разговаривать? Да не о чем-то — темы высокие!..

— Налей коньяку, — попросила она. — И сигарету мне прикури...

Он прошел к столу и поразился, как комната изменилась: разбросанные тряпки, подушка лежала на полу, одеяло, сбитое в ногах — а из угла, из темных досок, выплывали к ним лики, но теперь, без лампадки, они казались застывшими, безглазыми.

Он воротился к ней со стаканом. Какая она красивая, поду-

мал он, и так неожиданно все в ней было: и тонкие запястья, плавно переходившие в полноту рук и плеч, и сильные девичьи ноги, и кошачья, сдерживаемая, пружинящая сила...

Она жадно отхлебнула из стакана, закурила, он поднял подушку, положил, откинулась на нее, и тут его защемило от жалости к ней, этому прекрасному телу... Так бывает в самый разгар лета, когда в безумстве зелени и цветения вдруг пронзит тебя что-то, и сразу не поймешь — что это? Лист ли сухой, запах, напомнивший о чем-то, освещение, преломившееся сквозь ветви? Пусть это лишь случайно — и лист прошлогодний, и запах ветерок принес издалека, и освещение тут же изменилось, — но уже все равно, вопреки очевидности и календарю, но поймешь вдруг, что уже и осень не за горами, что этот разгул, буйство, радость — все это ненадолго, что они таят в себе тление, смерть — и пусть чувство мимолетно, и острота его минет тут же, но долго еще та печаль не пройдет, запомнится и будет тревожить до слез.

Она, может, поняла или перехватила его взгляд, закрылась одеялом до подбородка, отодвинулась к стене.

— Холодно, — сказала она. — Сырость какая, прямо из погребка тянет, а вчера так тепло здесь было. Может, закрыть форточку... или нет, курить же нельзя. Потуши свет, — попросила она.

Лев Ильич лег рядом: вон как, и ей знак, то ж самое мерещится.

Она отбросила недокуренную сигарету, прижалась к нему, уткнулась, совсем затихла и сказала, Лев Ильич не сразу и разобрал, из-под одеяла:

— А с тобой тепло. Я тебя не отпущу теперь...

Лев Ильич слышал, как стучало ее сердце, ее волосы щекопали ему лицо, он боялся шевельнуться.

— Защити меня, Лев Ильич, спаси, от самой себя спаси... — сказала Вера.

Он не знал, что ответить.

— Да где тебе — самого надо спасать. И тоже от себя, — она отбросила одеяло и засмеялась, сдувая волосы с лица. — Напугала я тебя? Признайся — напугала?

— Да нет, словно я всегда не таким уж пугливым себя считал.

— То всегда, а то — теперь! — смеялась Вера. — Теперь все по-другому будет.

И он опять поразился, что они думают одинаково.

— Мне иногда кажется, что не я, а меня что-то ведет к тебе, — говорила она. — Ну что мне от тебя нужно?.. Ну, не без этого, — она, видно, опять улыбнулась, зубы влажно блеснули над оттопыренной нижней губой. — А ты не думал так?

— Кто ж тогда? — спросил Лев Ильич.

Попугай встрепыхнулся, когтями ли, клювом скрежетнул о прутья.

— Послушай, Лев Ильич, может его чем накрыть, платком, что ли, они и в темноте видят. Вот его я боюсь — этих не боюсь, а его...

Лев Ильич стал было выбираться из-под одеяла...

— Нет, лучше лежи, Бог с ним, пусть смотрит, только чтоб ты не уходил... А я знала, что так будет, ну не так, не здесь, ясное дело, но знала. Как вошла тогда в купе, ты на меня глянул, ну и догадалась — будет!

— Не может быть? — удивился Лев Ильич. — А я думал, это я все к тебе пристаю.

— Как же ты, когда я тебе позвонила, и свидание назначила, и даже не дождалась, чтоб ты меня решился поцеловать... А решился бы ты или нет?

— Или да, — сказал Лев Ильич, — я давно на то решился.

— Кто-то ведет меня, — прошептала Вера. — У меня никогда так не бывало, чтоб за мужиком охотилась.

— Перестань, — сказал Лев Ильич, — это я во всем виноват, чего ты себя казнишь-мучаешь?

— Глупенький! — засмеялась Вера. — Чего мне казнить, когда мне так хорошо никогда и не бывало, а думала, и не будет. Это, знаешь, не всем бабам везет. Вам проще, попробуетесь за жизнь, уж и не отличаете, когда хорошо, когда нет. А у нас по-другому: все боишься расплескать, ему недодать, все хочешь его счастливым сделать — а ему давно плевать на это, а ты думаешь — вдруг сойдется, понадобится, а у тебя уж нет. Вот кабы не ты, я б так и осталась. А теперь — все отдала, и не жалко.

— А я не верю, что ты от него ушла, — подумал вслух Лев Ильич, что-то его осенило, спохватился, но поздно: "Зачем это я ей?" — Ты прости, что так говорю, но подумал... Я — не вижу тебя, чтоб ты одна была, в той комнате, там внизу.

— А я не одна, — сказала Вера. — Я с тобой. Ты что, бежать вздумал?

Он так ясно представил себе Колю Лепендина — там, у них, в алом свитере, с вытянутыми ногами в толстых ботинках, с холодными и наглыми глазами.

— У тебя сын? — спросил он.

— У меня ты, — сказала Вера и поцеловала его.

Он падал, падал, падал, падал, и уже хотел, чтоб разбиться скорей, сил больше не было лететь в ту бездну, оттуда смрадом тянуло — хоть повезло б умереть, не долетев, мелькнуло у него, там уж визжали, поджидая... Его ослепило светом, что-то грохнуло — он пришел в себя. А-а, подумал он, успокаиваясь, это машина въехала во двор, полоснула по стеклу фарами — уж не сюда ли?.. Но не до

того было — пусть и сюда! Теперь, когда прошла новизна, ошеломившая его сразу, он ощутил сладость в этом бесстыдном грехе, пожалел, что послушал ее, потушил свет — пусть бы видели, чтоб и они, и попугай идиотский смотрел! Он уже летел, погибал и погибели радовался, в нем та же отчаянность застонала, что в ней почувствовал, теперь он знал, и его кто-то ведет, тянет, бросил сюда, чтоб сам захлебнулся в собственной черноте... Ну какая чернота, успел он подумать — когда красота такая, вот, зажги свет, увидишь, когда и ей и мне радость, радость, радость, повторял он, чтоб заглушить в себе ужас перед самим собой и той бездной, куда летел, уже не в силах остановиться. Он забыл про нее, только себя слушал, а вспомнил, долетев, мордой шлепнувшись в грязь, задыхаясь, что и ее губит, за нее будет держать ответ, что запах тления, им услышанный, он, может, раньше в себе ощутил...

Они так и лежали молча, слушая, как во дворе снова заворчала, разворачиваясь, машина, полоснула по окну светом, голоса, где-то не у них, рядом хлопнула дверь подъезда, и снова все стихло.

— Зажги сигарету, — прошептала она.

Но он не вдруг поднялся, он все еще захлебывался там, в той своей бездне, боясь шевельнуться, чтоб не напоминать о себе, чтоб не кинулись на него те, что притаились во тьме — слышал он их, слышал!..

— Пропали мы с тобой! — сказала Вера, будто снова подслушав его мысль.

Они теперь курили одну сигарету, по очереди передавая друг другу. Огонек, как затягивалась, освещал ее лицо — темные глаза и спутанные волосы.

— Это только сначала думаешь — ведет, ты, мол, при чем, это потом поймешь — никто тебя, кроме тебя же самого, не тревожил. Лихо станет, когда поймешь.

Он не понял ее, а может, не хотел понимать, он никак не мог отойти от своего ужаса, отчаянной радости: сам ли, кто-то ли его туда бросил — не все ли ему равно было сейчас? Теперь он ее обнял, прижался — что еще у него оставалось, что могло защитить, как не ее живое тепло, с которым уж так сроднился, пророс, что и не разобрать — спасаются они вместе или гибнут вдвоем.

Тихо так в доме, да и во всем мире было, но Лев Ильич уже знал, что та тишина обманчива, он чувствовал, знал, что они здесь не одни, он так ясно, реально ощущал плотность воздуха, каким-то не слухом, еще чем-то слышал тот скрежет — и не попугай своими когтями, кловом скребся о железные прутья. Только здесь, под одеялом, прижавшись к ней, он мог защититься, и он знал — она то же самое так же понимает, потому и нашли друг друга, каждый искал себя в другом, в нем надеясь спастись...

“От чего спастись?” Один только раз он так четко услышал в себе этот вопрос, он пробился в нем сквозь то, что все время сопротивлялось, в самом вопросе слышался уже ответ, а он не хотел, заглушал его в себе, потому бездна и завораживала его ледянистым смрадом — там ничего не слышно! Но уж коль пробился этот голос, тут же и ответ, заключенный в нем, услышался. Так он и летел вместе с ним, слабея, слабея, пока совсем не затерялся в грохоте и свисте. Но и исчезая, поглощенный тем плотным, населенным копошащейся мерзостью воздухом, он еще держал Льва Ильича, а у него уже сил и дыхания не хватало понять, что на самом-то деле только тот слабенкий голосок, от которого он убегал, в кровь обдирая душу, и мог еще задержать его в том гибельном спуске, падении: слезы, неискупимая вина, счет, никогда и ничем не оплатимый — за все: за маму, за Любу, за Наденьку, за все сказанное и не сделанное, за все сделанное и не сказанное...

Ему даже внезапно показалось, их вынесло на плотном этом воздухе в окно, протащило в форточку, они проплыли над городом на немыслимой высоте, а потом их швырнуло вниз, и снова он так ясно ощутил ужас падения, снова от сладкой этой жути зашло сердце и захотелось, чтоб скорей, разом и кончилась эта жизнь, только было открывшаяся ему, которую он сам же и погубил. И он опять, опять, опять, опять падал, и снова его объела та давешняя, третьегодняшняя сырость, и он уже не помнил сколько прошло времени, пока их носило, швыряло и било в той визжащей, клокочущей бездне, заглушавшей голос собственного греха и вины...

Он услышал, как далеко-далеко — в другом мире проскрежетал трамвай. Утро, подумал он, возвращаясь, жив, стало быть.

Вера лежала неподвижно, но не спала. Он и дыхания ее не слышал, даже напугался. Он осторожно поцеловал ее волосы, лежавшие у него на плече.

— А что если нам поесть? — сказала Вера ясно так, будто только и ждала его движения, — вон и стол накрыт.

Она натянула его свитер, села, подсунув подушку под спину, он пошел на кухню, поставил чайник, присел рядом с ней. Лицо у нее стало тоньше, бледность ей шла, глаза потемнели. Они оба молчали.

Он опять встал, чай покрепче заварил, стул пододвинул, сыр и хлеб на тарелочке, разлил чай в чашки.

— Может, коньяку в чай-то? — спросил Лев Ильич.

— Нет, мне надолго хватит, а ты пей, тебе нужно.

Они уж и не говорили.

— Знаешь что, — сказала вдруг Вера, — я тебе хочу все про себя рассказать. А то ничего не поймешь, хоть и хвастаешь, что прозорливец. Все равно не заснем. Ты только свет потуши, скоро светать будет.

Окно, и верно, начало бледнеть, он справился с форточкой, закрыл ее, оделся и сел у нее в ногах.

— Я это никому, и Коле никогда не рассказывала — ему все равно ни к чему...

11

Она говорила ровным бесстрастным голосом, как книгу какую читала, и уж будто не в первый раз. Так что все это в ней давно передумано, для себя сформулировано, а не просто прожито было, будто, так вот и понял ее Лев Ильич, две жизни текли одновременно — одна всем видимая, а другая — главная, про которую никто не догадывался, но именно там, в ней, она словно и жила на самом-то деле. И слова, и весь душевный строй были не те, не ее обычные, а настоящие, которыми и говорила б, думала, коль осуществилась бы в ней подлинная ее суть, а не сложившаяся неведомо почему печальная или трагичная — это уж как захотеть, а внешне вполне благополучная жизнь. Так это было, или Вере хотелось так дело представить, но тому, что ему первому рассказывается, он поверил сразу и твердо. Хотя был все-таки один момент в рассказе, в самом его конце, а может, и в начале он тоже промелькнул, почувствовал Лев Ильич, что о чем-то умолчала, не смогла или не захотела говорить. Был здесь какой-то обман, но не понял, не уловил, в чем может быть дело.

Он только сигареты ей прикуривал одну за другой.

Ей было тридцать пять лет — Вере Лепендиной, а по отцу Никоновой...

"Серьезный возраст для женщины"... — Лев Ильич ни разу до того не думал о том, сколько ей лет. Не двадцать пять, когда еще не знает — любопытство это, жажда жизни, азарт или просто силы девать некуда, не тридцать, когда опыт — уже уверенность в себе, эдакое веселое сознание того, что тебе все можно, не сорок, когда терять нечего и порой самой трудно понять, откуда та благодарная нежность — отчаянность, надрыв или блеснувшая, когда уже не ждешь, надежда. В тридцать пять еще не страшно, но лучше не ошибиться. Нет, здесь было что-то другое...

Она родилась в Москве, никуда отсюда не уезжала, а раньше даже и интересу у нее ни к чему другому не было. "Раньше..." — сказала она и запнулась в этом месте. Вот, может, единственный и был раз, что она сбилась в своем рассказе — не туда, видно, чуть было не свернула. Да еще в самом конце, когда устала и уж о сегодняшнем пошла речь, она и взволновалась, разброд получил-

ся в рассказе, растерянность, смятенность свою высказала. Да еще Лев Ильич ее раз перебил, как у него сердце зашлось...

А отец и дед, и прадед — и весь ее корень не москвичи, из Тамбова, а вернее из тамбовской деревни — теперь Рязанская стала область.

— Помнишь, — сказала Вера, — ту женщину в поезде с ребенком? Она еще про отца Николая рассказывала — священника из их деревни, из Темирева? Я тогда поразилась, ни разу до того про него ни от кого не слыхала, а в тех местах и не была. Это про моего деда история — отца Николая Никонова, темиревского священника. Они испокон веку там жили: и прадед, и до него тоже все были священники — такие сельские попы, но не темные люди. Вот уже про прадеда я слышала, он в конце жизни принял постриг, там у него что-то случилось, с начальством был конфликт или еще что, в монастыре спасался. Ученый, а может, и не ученый, но духовный был человек. А мой дед всю жизнь прослужил в Темиреве. Он был самый тихий из семьи, незаметный. Его брат, отцов дядя — недавно только умер глубоким стариком, в Коломне жил, тот академик, у него книг большущий шкаф — вон как у отца Кирилла. Он служил раньше в Москве, отец, когда мальчиком учился в Москве, у него живал, вот он тогда, думаю, и почитал кое-что — а больше откуда ему? А у деда старенькая Библия да псалтирь, да уж и не знаю еще чего и было. Но человек, видно, был добрый, умный. Мне отец пересказывал одну его мысль — простую, но меня еще, помню, в юности поразила, не знаю, исповедникам ли он ее повторял, но настоящая мысль, не из книжки вычитанная, из собственного опыта. Хотя здесь ведь и нет новых мыслей, они просто рождаются в нас заново... Каждому из нас, говорил дед, — видишь, как я запомнила со слов отца — особенно следует хранить сердечное тепло, и в грехе, и в падении своем или ближнего, ежели тебе то дано увидеть. Ко Господу обращаться. Всегда знать, что это не чужое, не пришлое — наше собственное дитище, порождение: брошено когда-то давно, быть может, легкомысленное слово, взгляд на кого-то, или просто страсть зажглась — и уж все забылось, греховным делом и не успело стать, — но уже брошено в мир, нашло пристанище в слабых душах, пустило корни, проросло. А потом к тебе вернется в такой мерзости — ужаснешься, будешь страдать, а не узнаешь, не вспомнишь, что твое. Вот и знай, когда что-либо из того видишь или услышишь, всегда спрашивай себя, свою совесть: "Не я ли, Господи?" ...Отец повторял мне эти слова незадолго перед смертью, и не однажды, он тогда все про деда вспоминал — он уже другим был человеком, а всю жизнь, может, и не приходило в голову...

Поразительно! — подумал Лев Ильич. — Действительно, христианские идеи и мысли не люди рожают — они сами по себе, независимо от нас в нас же и существуют, живут, только их нужно

суметь услышать. Ну откуда бы еще я сегодня про то же самое мог подумать, когда Таня мне плакалась? — А ведь о том же, точно так же и думал!..

— Дед и жил всю жизнь тихонько, — продолжала Вера тем же ровным голосом, — его уважали, любили, он ведь и вырос в той деревне, мужики его помнили ровесником, небось, в бабки вместе играли, меж ними никогда не было стены или какого непонимания. Но видно, духовность его чувствовали, он у них заместо всякой власти — превыше был: и плакались ему, и за советом ходили, и когда спор какой — тяжба, чтоб до властей не доводить. Они жили патриархально, бабу-то я свою помню, она при мне померла — благостная старушка, раз навсегда замолкшая от пережитого ужаса. Очень моего отца любила, прямо преображалась, когда его видела — может, он на деда похож? да нет, он, словно, совсем другим был, во всяком случае в юности, еще в кого-то — отчаянным. В четырнадцать лет война началась, та, первая, он и сбег из дому. У них была чудная деревня: глушь, тамбовщина, реки даже нет, а как в армию, так всех темиревских мужиков — на флот. Они потом приезжали, рассказывали чудеса и привозили кокосовые орехи. Если, конечно, возвращались. Вот и отец мой, звали его тоже Николаем, побежал, думал до моря добраться, моря не увидел, но, как ни странно, на войну попал. Уж и не знаю, не помню, где он был, но в каком-то сражении участвовал, подвиг-не подвиг, но пулю свою схватил, в газетах написали, в госпитале его навестила императрица — Александра Федоровна, подарила коробку шоколадных конфет. Он мне все говорил, что таких конфет мне никогда не увидеть — ни в кино, нигде. Наверно, если императорские конфеты. Ну а раз императрица — ему и солдатский крест пожаловали. А с тем после госпиталя — там пустынное было ранение — определили в кадетский корпус, в Москве. Так бы он нипочем не попал — сын сельского попика. Первый Московский Императрицы Екатерины Второй кадетский корпус, а во главе генерал-лейтенант Римский-Корсаков. Красиво? Отец потом писал в анкетах: первую, мол, гимназию окончил, боялся страшно. Он как раз и заканчивал свое образование к семнадцатому году. Там учились детки лучших русских фамилий, они той глухой осенью и закрылись в Лефортове со своими винтовочками. Какая там могла быть осада — смешно говорить: в первый же день подвезли пушку, там кадетики чуть не все и остались. Но дело было к ночи, оставили до утра — куда они денутся. А у них дядька из солдат — классово-свой победившему пролетариату. Он десяток оставшихся и вывел каким-то ему только и ведомым ходом, погоны с них содрал, кого смог переодел, и — минуя плац, здание Третьего кадетского корпуса, Алексеевского военного училища, через Дворцовый мост как-то они проскочили, а дальше мимо Елисаветинского института благородных девиц, по Вознесен-

ской, ну улица Радио теперь, мимо частной женской гимназии фон Дервиз, по Гороховскому, мимо церкви Никиты Мученика, Межевого института, по Старой Басманной, к Земляному валу... Ушли! Отец мой сразу дернул на юг. Везло ему отчаянно — он и на юге очутился, и у Деникина побывал, но главное остался в живых, и еще через год явился к деду, в Темирево.

А там уж такой великий страх был, дед чудом как-то и спасался, а тут еще сын кадет, может правда, что к тому ж и у Деникина побывал, слух про это не дошел до деревни, но все равно, однажды мужики силой отбили деда, уже из Сасова привезли, там сгоряча чуть сразу не шлепнули, не помню, по какому поводу, а может, и без всякого. Зачем тогда повод был нужен?

Это, видно, уже в антоновщину было, краем и нас задело. Пришли красные, каратели. Комиссар, как нарочно, еврей, в коже, перепоясанный пулеметными лентами, с красным бантом на тачанке. Над кем было расправу-то чинить? Не было у нас никого, да они в других уездах настрелялись. А все мало. Давайте сюда попа, говорит, и крест велел здоровый соорудить. Дед-то тихий, тихий, а панихиду отслужил по расстрелянном бывшем Государе Императоре, всю семью поименно поминал. Донесли, конечно. Ну что, мол, длиннохвостый, попил нашей кровушки, инквизицию тебе надо?.. Над убийцами торжественные молебны служишь? Сдирайте с него, говорит, эти бабьи тряпки, пусть сам своими средствами с того креста возносится к небу.

Тут не знаю, что и произошло, остановить тот классовый гнев, конечно, никто бы не смог. Деда выволокли на площадь, и уж крест тащат, вкапывать начали. А отец мой, как встал на коленки перед дедом, так и стоял, и кадетскую фуражечку в руке держит. "А это еще кто? — комиссар спрашивает, он прямо на паперти сидел, маузером поигрывал. — Из офицеров, что ль?.. Сыночек, тоже из длиннохвостых? Еще, что ли, крестик сколотить — поменьше?.." Тут все совсем замерли от ужаса, хорошо, бабки при том не было, она, как деда повели, так в беспамятстве и лежала дома. Да, видно, муторно стало тому комиссару. Эх, говорит, что мы сволочь что ли, белая, бандитская, что у нас пуль пролетарских мало? Тащите их обоих на выгон, там и шлепнем.

Повели. Ну а дорогой мужики осмелели, загалдели: мальчонка, мол, никакой не офицер, наш деревенский, с нами вместе гусей пас, дите еще... Ну а там уж, раз пожалел, второй легче. Ладно, говорит, у нас справедливость, чтоб наглядную разницу все видели. Пусть-ка встанет опять на коленки, как стоял, да поближе, поближе, к попу, и фуражечку свою офицерскую наденет. А я, мол, пушечку новую испробую, еще не обстрелял. Если есть Бог — гуляй, да не забудь пролетарскую справедливость, а нет — не взыщи. Вот он — наш Бог, — и он маузером махнул.

Отец говорит, он был как в беспамятстве, ничего почти и не помнил: как его поставили, как к отцу прижался, тот его только перекрестил. А потом сорвало у него с головы фуражку и глаза горячим залило — отцова кровь хлынула. Да и не враз отца Николая убили, не пристрелял еще комиссар свою пушечку.

Так и забили моего деда. И тело не разрешил забрать. Ночью отец с мужиками его оттуда вывезли, те уж тогда уехали на своей тачанке. Отец до утра над ним сидел, про что он думал, не знаю, не рассказывал. А еще через день совсем уехал из Темирева, да ему и посоветовали: один пожалел, а уж другой точно бы с ним свел счеты.

Странный он был человек — мой отец. Я думаю, в ту ночь, когда он сидел над дедом, вся ненависть в нем сгорела, один страх остался, да еще что-то, про что он до самого своего конца и не знал. Ну а страху он, видно, натерпелся, тут ума можно было решиться. А еще кроме страха в нем цепкость такая была, ум мужицкий, трезвый. Он столько лет вовсе на одном месте не сидел — тем и спасся. Даже образование получил, что совсем по тем временам было немислимым. О вузе думать, когда бывших вычищали, а тут сын расстрелянного попа, да если бы догадаться, что первая гимназия — кадетский корпус, сразу бы к стенке! А он как-то втерся, его прогнали раз, другой, он числился заочником — в Темирязевке, сортиры чистил по Москве, экзамены по квартирам профессоров ходил сдавать, получил бумажку! И сразу из Москвы, чтоб духу его там не было. Его однокашники понаписали диссертации, кого не замели, кафедры пополучали, а он на Таймыре, на Камчатке — в самых гиблых краях, да и то застряв больше года на одном месте у него в заводе не было. Знал, чем кончится. Ну и выжил, даже защитил все, что мог — умер он профессором. Ботаник был.

Я не очень его хорошо знала, и жила с ним немного, да он не только меня, себя самого боялся, откровенно лишь перед смертью со мной заговорил, так не про все ж рассказал. Поэтому кто он на самом деле был — Бог его знает, но трудно поверить, чтоб он, человек умный и по-своему даровитый, а главное — мужик, выросший в деревне, чтоб он в своей ботанике таким был всерьез оголтелым. То есть, не оголтелым, но послушать его, когда выступал, а он был оратор, язык у него еще, видно, поповский, мне пришлось как-то — заслушаешься, хотя уж какой язык, он таким в своих лекциях был лысенковцем, сам наш гений, Трофим Денисович, верно бы, поморщился. Он с таким смаком употреблял всю эту идиотскую демагогию, пародия явная, но не подкупаешься, кто ж скажет, что он издевается? Да и над кем — над собой, что ли? Но это он так, любил, чтобы ему был почет от местного начальства, уважение, а карьеры делать не думал, да и боялся, знал, чем кон-

чается та карьера.

И женился поздно, перед войной незадолго. Куда ему было жениться, когда с места на место бегал, как заяц. Где-то он там, из экспедиции, что ли, какой, и привез жену — мою мать. Красивая, может, ему и не совсем была — уж по-настоящему из бывших, аристократка недорезанная — Екатерина Федоровна Брянчанинова. Тоже, между прочим, и духовного звания у нее в роду были. А отец видный был, он, если б не вся эта всемирная история, по духовной линии не пошел бы, ему прямой путь был по военной — и выправка была, крупный такой мужчина, с каким смаком, бывало, повторял: "Первый Московский Императрицы Екатерины Второй кадетский корпус..." Явный был генерал. Они и мучили друг друга недолго, всего, верно, лет пять, ей в нем тонкости нехватало, да и простой домашности — вся жизнь на колесах. Ну а ему нужен был верный товарищ, кому можно не только сердце, но и душу доверить. Тут еще война, его не взяли, освобождение было уж и не знаю какое. А ей, кроме того, развлекаться хотелось, жизнь кипела, которую отняли, так заменить хоть чем-то. Она и заменила — раз, другой, он чуть не убил ее, а в третий, с какого-то очередного перегона она и уехала. Чуть ли не на фронт с кем-то, а может, ошибаюсь, со мной даже не простилась. А потом умерла еще через год-два, не знаю и как. Я ее не помню. Не было у меня матери.

Я у тетки жила — младшей отцовской сестры, здесь в Москве, он только приезжал и умирать приехал, тогда уж совсем.

Он в полгода умер — сколько ему? — да шестидесяти не было, в самой еще силе. Рак желудка, обыкновенное дело. Но знаешь, как умирают здоровые, такие крепкие мужики? Он и не болел до того, не умел болеть, а тут настоящие муки, тяжело было. А за месяц перед концом что-то в нем сломалось, произошло. Вот тогда мы с ним и стали разговаривать. Тогда он мне и про деда все рассказал. И про Него вспомнил. То есть, я думаю, он всегда про Него знал, но в той своей заячьей жизни, какой ему Бог — ему ноги нужны были да мужицкая хитрость. Но все помнил, он, удивительное дело, все службы знал, и как боль отпускала, он мне литургию пел, псалмы читал, духовные стихи.

А однажды такую странную вещь сказал, она, видно, та мысль, в нем с той самой страшной ночи, которую провел над дедом, с тех пор засела, да уж и не знаю, думал он про это, или сама по себе в нем жила, вырастала...

Это вот я навсегда запомнила. Он весной умирал, денек был серенький, промозглый, в комнате темень, мы тогда вместе жили у тетки, я почти все время была с ним. Возле его кровати горела лампочка, ночничок. Я ему много подушек подложила под спину, он сидел, вот эдак. Выпить попросил, а совсем не пил, как заболел, куда уж. А бывало крепко выпивал, ну я не помню, но тетка расска-

зывала, что когда они еще с матерью жили, он пил и страшен становился во хмелю, уж на что мать ничего на свете не боялась, а тут остерегалась, как видит, что к тому пошло дело, пряталась от греха — он здоровенный был, не удержишь.

И вот такую он мне странную вещь сказал. Я, говорит, никогда не мог забыть, как расстреливали отца. И знаешь, мол, что я про то думаю, что евреи у нас в России — это нам Божье наказание за великие грехи, перед всем миром грехи. Ты, говорит, подумай, Он к ним явился, к избранному своему народу, они всей своей невероятной историей готовили Ему чистую обитель, и они ж Его и распяли. Но Он Крест им простил и обетование оставил, как у апостола: что дары и избрание непреложны, что спасение им все равно, но будет. А в России у нас, как они появились, так мы за них и взялись — это еще с каких пор! Но то, мол, случайности, мало ли тогда что. А уж потом, в прошлом веке, а в начале нашего особенно, тут мы во вкус вошли. То распятие нами Божьего народа стало прямо национальной идеей. Знаю, мол, я, помню, да и потом наслушался. Вот эта революция, гражданская война, комиссары в коже, когда они сами стали убийцами, в русской крови перемазались, когда тот грех двухтысячелетний, им прощенный, в стране, уж, наверно, тоже избранной для чего-то высокого, снова взвалили на себя — то не на них, на нас наказание, вот, мол, что надо понять. Мы — мы по своему легкомыслию, беспечности, слабости и греховности, мы сделали их кровавыми убийцами. Мы в том виноваты, за это и платим, да еще, мол, не весь счет... Тут, понимаешь, у него мысль такая христианская, и даже не вывернутая, а ясная по-своему. И заметь, не литературная, не из книжки, или как сейчас на Западе, в Америке, может, и из страдания родившаяся, но человечески понятная мысль, скажем, о неискупимой вине белых перед черными. Тут другое: открывшаяся православному сознанию высокая, истинно христианская идея покаяния.

Вот с тем он и отошел, а я тогда, хоть крещеная была, меня тетка ребенком крестила, да и он меня Верой не зря назвал, а похоронить, как положено, не смогла: профессор, советский ученый, лысенковец — там была целая комиссия. Сожгли отца. А я с тем и осталась... Ты что, не слушаешь меня? — спросила вдруг Вера.

Он задыхался, он и не заметил, как встал и, зажав руками рот, смотрел потрясенно.

— Что с тобой? — повторила она.

— Как же так?... — выдавил он наконец. — Ну я понимаю... пуля или крест — это, может, и не велика разница. Убивать нельзя. Но ведь и забыть нельзя. Простить можно ли?

— Не простить, — сказала Вера. — Это другое дело — как не прощать? Вину свою понять. В чужом грехе свой собственный увидеть. Как дед мой говорил: "Не я ли, Господи?.." А мне отец еще

сказал, не в тот день, а совсем перед смертью: я, мол, всегда жалел, что у меня не сын, а что ты можешь — одно только — за еврея замуж выйти. И за деда, мол, твоего мной не отмолено — грех остался, и на тебе, значит, и на детях твоих будет. За то, что мальчики те из хедера, картавые, которых в университеты не пускали, на их глазах их стариков за бороды возили в грязи — они и кинулись к маузерам, а уж потом во вкус вошли, в кресла сели, сами, небось, не стреляли, командовали. Навидался, мол, баре новые в автомобилях — сытые, холеные, наглые... Кто ж за жиденят этих виноват, не мы, что ли?..

Лев Ильич снова уселся, коньяку себе в чашку плеснул, что оставалось, выпил. Он молчал.

— Да... Вот тебе, Лев Ильич, мои корни, с чем я жить начала самостоятельно, — она говорила все так же ровно, спокойно, сидела недвижно, прислонясь к подушке, только курила много. — А вот тебе моя часть, собственная...

Он не сразу услышал, что она говорила дальше, хотя и услышав, снова поразился, что она будто подслушивает его мысли, отвечает на них — откуда такая немислимая близость?.. Нет, он еще был не в силах это понять — вину жертвы? Наверно, не так, как он, надо было для этого прожить жизнь. Да и не было у него права так, как у того — у ее отца, про это думать. 'Права жизни или права крови?' — вдруг спросил он себя, первый раз ему такая мысль залетела в голову. И снова чуть не задохнулся. Нет, не было у него еще сил отвечать на такие вопросы.

— ...Это у нас очень модно, — пробился к нему наконец глос Веры, — во всем, что происходит, винить последние полвека, будто, как ты говоришь, нас и впрямь кто-то оккупировал, принес чужие нам нравы и обычаи. Но ведь все не так, это издавна идет, в том и дело, что здесь главное хроника, если, конечно, глубоко глядеть, а не по поверхности, как тот вчерашний мальчик со своим транзистором. Мы вот семью ни за что считаем, она у нас и распалась, и случайна, и отношения прямо скотские — и это верно. И тут все виновато: и тяжкий быт, и бесконечные несчастья, и идеология, которая входит в сознание с букваря. Причем тут отец-мать, когда среда существует? Мне это особенно близко, я ж этим и занимаюсь — я биолог, генетик. Тут вот, кстати, Сталин понимал, не зря под корень и выкорчевывал, что мог, но даже и ему масштаба не хватило — повырастали детки — никуда от них не денешься. Я это не к тому говорю, что за еврея замуж вышла...

— А мне и в голову не приходило, что Коля еврей? — удивился Лев Ильич.

— Ну да! — засмеялась Вера. — Будто тип какой сохранился. Он, может, и сохранился, но как исключение, для анекдотов. Тут уж столько намешали — и Гитлер бы не разобрался. Не чистый, конеч-

но, полукровка, а где они чистые?.. Есть у нас один приятель, тоже вон, скоро уезжает, там другое дело — идея, хоть и не высокого разбора: темпераменту здесь нет приложения... А с Колей я познакомилась, когда училась в университете. Он уже аспирантуру кончал — гением у нас считался, а я — девчонка, в баскетбол играла, на втором курсе. Ну про это что рассказывать — нечего. Он, и правда, одаренный человек, к тому же бешеное честолюбие, работоспособность — все, что для ученого нужно, если конечно наука, ну не ступенька, а скажем, некое оформление для карьеры и славы, или пусть чище даже, когда она только в самой себе заключена. Ну и предел у них свой, разумеется. Он-то его не знает, он видит только тот предел, который ему ставят конкретные обстоятельства: за границу его не пускают, академиком ему не быть. Да и то вполне может случиться, у нас странно это все: в вузы не берут, хоть и тоже ведь поступают евреи, но тяжело, а так, честно сказать, Коле это не мешало. Я про другой предел говорю, более серьезный... Тебе, может, неинтересно?.. — перебила она себя вдруг. — Но я уж договорю, как ты сам сказал — для самой себя договорю. А может и ты услышишь...

— Генетика странная наука, — продолжала она, — вон, и мученики свои, и невероятные успехи, а завтрашние и вовсе ошеломительны. Они уже наследственностью управляют, информацию, скрытую в коде, понимают, в банке ублодка вырастили, а того не знают, чего мой несчастный отец, прославлявший Лысенко, и то понимал. Чего в себе никогда не преступил. У них гения нет — Эйнштейна, который бы разом все на сто лет вперед в формулу сфокусировал, в такую поэтическую строку втиснул, а перед тайной навсегда б остановился — предел бы им поставил. Они и слова такого — т а й н а — не понимают, смелость нужна самому себе сказать про это. Я эту биологию про себя "эвклидовой" называю, им все только чистоты опыта не хватает, — а стало быть, денег и чтоб за границу ездить. Все же позволено и все возможно. Они и Лазаря воскресят, если им предоставят свободу в эксперименте, то есть, опять же, кормить хорошо будут. Реанимируют же человека, а какая, мол, разница — через две минуты после смерти, или через день-два! Это всего лишь сегодняшний уровень науки. А завтра — воскресим! И пускай бы болтовня, не стоило бы говорить, но это убежденность, мироощущение — принципы...

— А ты веришь, — спросил Лев Ильич, — веришь в то, что Лазарь вышел закутанный из погребальной пелены, со следами гниения на лице, встал и вышел вон?

— А как же, я про это и рассказываю тебе, что верю в тайну, а они — эвклиды бездарные, только в свой опыт, который им советская власть все мешает поставить.

— Как же так?.. — начал Лев Ильич и не решился.

— Так оно и есть, — поняла его Вера. — Что за все заплатим, полной мерой за каждую свою слабость. Я про это знаю, на то и пошла... Но ты погоди, мне немного осталось.

— Бедный мой отец, — продолжала она, — если б он знал, когда мучался своей высокой виной, как сложится моя жизнь в том еврейском доме! Здесь, конечно, можно считать метафорой, потому как Коля Лепендин такой же как я еврей, а уж Эвклида чего на Россию вешать, и без того не разогнешься. Но если бы я могла тебе передать, как меня ломали в том доме и корежили, меня так ошеломило спервоначала, что и я себя забыла, а когда вспомнила, то пока искала по закоулкам — где она Верка Никонова? — и совсем ничего не осталось. Это был такой фейерверк, каскады, блеск, размах невероятный! И это после моей тетки, как и отец, перепуганной насмерть, после няньки, которая, сколько себя помню, все заговаривалась да заговаривала — такая старая ведунья, после отца и его смерти. А тут — смелость, ирония над всем на свете, все можем и все позволено! Это потом смелость — наглостью оказалась. Остроумие — отрыжкой после обильного ужина, а гениальность — мракобесием. А я там была деталью интерьера, сначала для постели, да какая постель — компот после жаркого! — а потом, чтоб поддерживать тот дом, возникший из ничего, на пустом месте, и чтоб там всегда звенели ножи да вилки, чтобы время можно было со смаком загробить — днем, ночью — когда вздумается... Там, понимаешь, и греха нет, там просто слякоть — от скуки, там и преступления нет — там хитрость, имеющая на все свои резоны. Но что поглавней всего — там любви быть не может. Ты смог бы полюбить ублюдка, оплодотворенного в банке? А они все... из банки.

Она замолчала, так же недвижно посидела еще немного, уронив руки, потом поправила подушку и легла, глаза закрыла.

— Не могу я так больше. Не могу... — у нее две слезинки выкатились из-под закрытых век. — Пусть меня отец простит — не готова я к подвигу, — она еще пыталась отшутиться. — Лучше б у него сын был, а не я...

— Так это ж... в прошлом? — сказал Лев Ильич, он никак не ждал такого завершения. — Помнишь, вчера Кирилл Сергеич говорил, что если зло определить, назвать, оно уж и не зло, вроде бы, чего ж пугаться? Пусть себе... острят.

— Не так он говорил... Да ты сам только что сказал, что не видишь меня... там, внизу, одну, в той комнате?... — Вера открыла глаза — они были у нее сухими, только блестели. — Вот и я себя там не вижу.

— Что ты! — перепугался он, позабыв, что сам недавно так же про нее и подумал. — Зачем над собой такую муку устраивать? Кончилось все — так ли, нет, но кончилось. Ты ж ушла!

— Такое так вот не кончается. Мальчик у меня, ты спраши-

вал. У них и он таким же вырастет. Он и сейчас как собачонка бега-ет за своим отцом, ему в глаза заглядывает, только что не молится. Вот он грех, про который мне отец говорил, что и на детях моих будет... Мне, понимаешь, что важно было — даже не с собой взять, — вдруг заторопилась она и глаза загорелись, — это я к няньке ездила прощаться, — ну, когда к тебе в поезде подседа, чтоб с собой увезти, ее и все там вокруг. Это-то ладно, увезу. Мне важно, чтоб и здесь себя оставить. Я потому, как увидала тебя...

— Как оставить? — почему-то шепотом спросил Лев Ильич. Вера покраснела и опять села на диване.

— Да нет, это так, бабья метафора, — улыбнулась она через силу.

— Постой, почему вдруг метафора? Я хочу понять. Ты же сама только что про... Лазаря, про тайну, в которую не можешь не верить...

— О том и говорю, — уже с раздражением сказала она, что-то истерическое послышалось в ее голосе, — о тайне. Что хотела б навсегда здесь в тебе остаться... А теперь отвернись, — и опять совсем новая нота зазвенела в ее голосе, — я одеваться буду...

12

Он проснулся от звона, свиста и скрежета. Они плыли над землей, летели в небе, путаясь в редких облаках, затухая, и тогда можно было различить слабую мелодию, тут же и заглушаемую. Он не видел себя, не знал, где он, да и совсем не было ничего в мире, кроме этого грохота — может, все уже кончилось, может и его уже не было, только душа слышала и откликалась, ждала той мелодии — слепая душа, которой всего и оставалось, что надежда на возможность услышать, но и ее вот-вот заберут. Ему так страшно, темно было, он чувствовал, знал, что сейчас и эту мерцающую надежду отнимут — ничего не будет, только страшная черная пустота, в которой он один и не задохнется даже, а всегда будет задыхаться.

Мелодия совсем исчезла, он летел в ч черной пустоте, проваливаясь, зная, что не сможет ни за что уцепиться, хватал руками воздух, и только услышав снизу свист и скрежет, вращающий камни, собрав все силы, так что внутри будто сломалось что-то от напряжения, открыл глаза.

Он лежал одетый ничком на диване, в комнате было светло, душно, попугай гремел о железные прутья и бил крыльями, грязь и остатки зерен разлетались по комнате. И тут звонок уда-рил — в который уж раз? — мелодично так пропел и опять смолк.

Он вскочил, сунул ноги в ботинки, не зашнуровывая, зашагал по коридору и открыл дверь.

Он не только не удивился, но обрадовался, хоть и не понял почему, но был рад, это вот он знал, что из всех, кого бы хотел сейчас, в то страшное для него утро видеть, был Костя.

Он шел обратно по коридору, раскрыв дверь в комнату, пропуская Костю, приводил себя в порядок, застегивал рубашку и все думал: почему он так обрадовался человеку, который в последний раз и раздражал, и смущал, и уж Бог знает что про него начал думать, и что-то ему нарасказали — зачем он ему? Он всегда испытывал непреодолимую потребность в дружбе. Что это было — эгоистическая жажда излить на кого-то нежность, переполнявшую его, действительная готовность самоотречения ради другого? То есть, себя ли он любил в своей любви к товарищу, упивался своим чувством, захлестывавшим его, или внутренне всегда был готов взять крест того, кого любил, взвалить на свои плечи? Да и коль раньше всего любил собственную любовь, она ему и была дороже, он через нее себя и узнавал, ей давал выход, она струилась, выбрасывалась в мир. Он не всегда мог выразить это свое чувство. Оно чаще всего и не нужно было тому, к кому он испытывал любовь, к тому же столько было в их жизни навсегда ко всему на свете иронического, слез своих стеснялись, стыдились, скрывали от самих себя, но порой слезы сильней оказывались и лились. Редко когда ему удавалось излить эту любовь не перед собой, а перед товарищем, да не редко, может, это и было два-три раза за всю жизнь, а так он сам с собой о той любви плакал. Но порой накатывало — это необходимо было, чтоб не задохнуться.

А последнее время все чаще оставался один, и то, что женщины забирали, что можно было им бросить, забыв дружбу, ушло, только корысть — сластолюбие осталось. Пора, думал, это возраст такой, это в юности друг другу в любви клянутся, слезами вместе обливаются, на коленки становятся, о подвигах, о служении мечтают — да и когда то бывало! — теперь пора о житейском, о долгах думать, вон их сколько накопил, а это все детские эмоции. Но порой находило, накатывало, он ловил себя на том, как мечтал бы товарищу руку поцеловать, и так явственно, до боли видел эту руку: костистую ли, широкую, мягкую, с тонкими пальцами, с обломанными ногтями, с вьезшейся навсегда чернотой... Да все стыд, боязнь жеста, того, что не поймут его, удерживала, а потом бывал рад, пуще всего боялся насмешек. А теперь, оставшись один, внутренне да и внешне разорвав почти со всеми — нет, была еще у него надежда, запасец оставался, страшно было только испробовать! — он и кинулся к Косте.

Нет! Тут что-то иное было, лукавил сам с собой Лев Ильич, не дружба и не потребность в ней обрадовало его в Косте, откуда

могло это быть, он и не знал про него ничего, разве от одиночества, от того, что пустота открылась под ногами, зацепиться хотел за что-то — вдруг остановится? Но и это не вся была правда: он себя защищал, не только не признаваясь себе в том, но и не зная об этом. Он свою беду, слабость, свое падение должен был оправдать, он терял направление, ориентиры — где их найти, когда кругом чернота, визг и грохот стояли! Он уже не слышал тот слабенький голосок, спасительную мелодию, в коей только и была надежда, он начал защищаться, гнилость, все эти дни преследовавшая его, уже вползла внутрь, вот-вот готовая обернуться злобой. Почему только я — а сами-то!...

— Н-да, — усмехнулся Костя, шевельнул усами, — вот так жилище священнослужителя...

Лев Ильич взглянул на него и обернулся на комнату: на столе пустая бутылка, грязные рюмки, на тарелках огрызки, свитер, пиджак, скомканные на стуле, постель на диване кое-как сложенная, не убранная, набитая окурками пепельница. Он посмотрел на себя Костиными глазами: небритый, заспанный в незашнурованных ботинках... Он забрался на табуретку, распахнул форточку.

— И лампадка не горит, нехорошо, — Костя пододвинул стул, чиркнул спичкой, засветил лампадку и перекрестился. Еще раз глянул на Льва Ильича и уж совсем откровенно усмехнулся.

— Ну здравствуйте, Лев Ильич, вот не ожидал опять вас тут встретить. А хозяин где?

Лев Ильич объяснил, справился со своими ботинками, собрал посуду, отнес на кухню, вытер со стола, вытряхнул пепельницу, убрал постель, принес веник, старательно подмел, попугаю из кружки налил воды в чашечку. Костя сидел у окна, молчал.

Лев Ильич подсел к столу, закурил.

— А я здешнему квартиросъемщику принес книгу из его библиотеки, — Костя положил на стол толстый том. — Вот за тем сюда и заглядываю.

— Может, чаю выпьем? — спросил Лев Ильич. — А сколько времени — у меня часы не заведены?

— Одиннадцать часов, так что могу не сокрушаться, что вас разбудил. Хотя у вас, вижу, до утра какое-то бдение было?

— Я крестился вчера... — сказал Лев Ильич, у него столько всего теснилось в груди, но глянул на Костю и осекся, покраснел.

Костя сощурился на него.

— Много... всего произошло, — зачем-то добавил Лев Ильич и замолчал.

— Ну, и кто был... посредником? — спросил Костя, и Льву Ильичу послышалось раздражение, но он им почему-то не огорчился, скорей обрадовался. — То есть, что я спрашиваю — понятно.

— Посредником?.. Как кто?.. А... Отец Кирилл, ну и...

— Стало быть, отметили начало новой жизни, — опять ухмыльнулся Костя. — Благочестиво, ничего не скажешь. Впрочем, чего уж — каков поп, таков и приход. Так, что ль, говорят?

— А каков поп? — быстро спросил Лев Ильич.

— Что я вам, объясняющий господин? Каков приход — вон как сказано. Ну, а если не по силам с собой разобраться — что ж вы крестились, а ничего не узнали?

— А что я должен узнавать? — вдруг опомнился Лев Ильич, — что, в отдел кадров обращаться?

— А как же. Небось не в храме крестились — дома. А почему там побоялись? Как же у них без кадров — обязательно, надо паспорт предъявлять, все и робеют — велика опасность: ко Христу идут, а зарплату потерять боятся...

Лев Ильич промолчал.

— Что ж вас на это подвигло — скоропалительность такая — как в прорубь? Блины с рыжиками? Или серного озера напугались? Так вот, думаете, на вас теперь и благодать снизошла, а небось и Символа веры не знаете?

— А что вы меня допрашиваете, — тихо спросил Лев Ильич, — по какому праву?

— А без права. Я уж наглядился на этих христиан из инкубатора, от засмердевшего, провонявшего либерализма шатнувшихся в церковь. Религиозный Ренессанс! Для них Евангелие, как стихи какого-нибудь нынешнего... Щипачева, вместо страсти, пожара — центральная батарея журчит, тепло им, греются, лобызаются друг с дружкой. После копеечной баррикады — духовное отдохновение, кадрили под транзистор, да еще в джинсах. Вот оно и православие неофитское!

— Не пойму, вздохнул Лев Ильич, — отец Кирилл плох, я, конечно, не хорошо, а есть... третий путь — ваш?

— Не обо мне речь. Где уж вам сейчас, когда в той кадрили закружились. Я, признаться, вас встретив, не того ожидал, мне в вас увиделось истинное горение, неутоленная жажда, реакции не литературные, не головные, сердце услышал. Выходит — и тут ошибся.

— Я не пойму, — Лев Ильич от чего-то взбодрился, — что я не так сделал?

Костя на него смотрел с явным превосходством.

— Ну, когда такое спрашиваете, какой может быть разговор — все равно не услышите. Те, кто в кадрили, в свободное время — ну, там урвут часок-другой в неделю от деньжонок и удовольствий — они убеждены, что благодать вручается им в крещении, вроде как членский билет в добровольное общество. Да если бы и пастырь находился под благодатью — и то не передаст, самому надо заслужить — от Бога та благодать, не от пастыря, назначенного

продавшейся иерархией. Может, по-вашему, священник, открывающий тайну исповеди уполномоченному, может он быть посредником в таинстве? А если он вчера прелюбодействовал — сегодня любящие сердца навек соединит, обвенчает? Да не прелюбодействовал — коленки на две ладони ниже юбки отметил — все шуточки? Если он на крик о немыслимости, выйдя из храма, участвовать в каждодневной лжи, учит трусливому смирению, а когда ему рассказывают о разорвавшейся пред тобой завесе — о встрече со Спасителем — он тебя тут же обвиняет в прелести, что ж, и через него Дух Святой говорит, вино в кровь пресуществляет? Что ж он, этот пастырь, по-вашему, способен увидеть огонь в чаше?.. Нет на нем благодати и быть не может, как нет ее на его рукоположившем епископе, у которого все силы и таланты уходят на то, как бы с консисторией да властями поладить, как нет ее на патриархе, отгороженном теми епископами от жизни, вполне убоготоренном своим жалким пленом, да и неизвестно кем поставленным. Потому и членский билет, выданный новокрещеному, не больше того стоит, сколько бумага, на которой он отпечатан...

— А откуда вы про них знаете? — спросил Лев Ильич, что-то в нем еще сопротивлялось, хотя уж такой свист, визг поднимался у него в душе, хохот развеселый — все, что собирал по крупичкам, теперь заглушал, затаптывал. — Ну про коленки, про уполномоченного, видит он огонь или нет? А вдруг не так?

— То-то, что вдруг. По делам узнаете. Да вы на себя поглядите — как она вас, вчерашняя благодать, преобразила! То-то и есть — и признать мудрено. Вот он, приход, про который толкую — развеселая кадрили.

— Как же тогда, — шепотом спросил Лев Ильич, слыша уже издали свой голос, все в нем грохотало и рвалось на части, — значит, нет ни церкви, ни священства, ни таинств...

— А вот в том и дело, что есть. И врата ада не одолели. Ада, а не жалкой власти, способной лишь на бесчинства и варварство. Ну на убийство — подумаешь. Будто бы христианину не радость претерпеть поношение и гибель за веру! Святыми стоит Церковь вот уж две тысячи лет. Один, два — в целом мире, как сказано, молятся за всех, а уж их-то поносят, а уж их — сжигают, а они — всех спасают, отмаливают. Вот где истинная Церковь, где выдают не членский билет, а крест взваливают на плечи, где путь только на Голгофу, а не в самодовольную кадрили, где путь и жизнь, а не устройство благополучия, комфорта с современным интерьером. Где в смерти — радость и надежда, упование, а не провинциальная комедия жалкой последней проповеди за панихидой, тебя и во гроб провожающая безблагодатной ложью.

— Откуда вы все это знаете, Костя? — спросил Лев Ильич, он вдруг так явственно в черноте, застилавшей ему глаза, увидел

соломинку: "Ухватиться бы, ухватиться!" — мелькнуло в голове неведомо почему.

— Сказано, — поднялся со стула Костя. — Мне сказано. В последние времена, кои чувствую, знаю — приближаются, когда на маковках Святой Церкви — да, вон, прочтите, — показал он на книгу, положенную им же на стол, — являются новые, доселе невиданные розовые лучи грядущего Дня Немеркнувшего. Тогда Бог выбирает кого хочет и ведет его. Не Бог философов, ученых или либеральствующих пастырей, а Бог Авраама, Исаака и Иакова. Выбирает, берет за руку и ведет. И нет невозможного — это человеку, а Богу все возможно. И тогда Он говорит, а я слышу: "На камне сем, на месте развалившейся, сгнившей, продавшейся — воздвигни новую церковь — Церковь Святых".

— Там... так сказано? — спросил Лев Ильич, он уж обеими руками держался за хрустевшую в пальцах соломинку, висел над визжащей бездной.

— Мне сказано, — отрубил Костя, и тут показалось Льву Ильичу, он словно бы смутился на мгновение. — А вы поскромней, попроще будьте, за все не хватайтесь, чего не понимаете — не всем дано. Оставьте мудрствования — у вас нет сил ни на что, вижу, вы и разу, небось, от соблазна, искушения, от жалкого греха не смогли отказаться, зачем вам про все это знать и думать? За вас решено и подумано, за вас отмолено — крестными муками Спасителя и тех, кому мир воистину доверен, кого и не знает никто, кого затопчут, а хуже того — и не заметят. В них — все, сегодняшняя альфа и омега, оплот христианской веры, камень...

— А мне что ж, все... — будто уже и не он, не сам Лев Ильич, что-то в нем это сказало, — все, выходит... можно? Эти двое... которых затопчут или не заметят, они и это мое "все можно" примут на себя?..

— По вере получите, — сказал Костя. — По истинной вере в Церковь Святых. И здесь и там. Они будут на том последнем Суде и вашими защитниками и обвинителями. Себя забудьте. Тому доверьтесь, кто всю вашу мерзость взвалит на себя...

В руках у Льва Ильича хрупнула соломинка — и он сорвался.

Костя по-прежнему стоял, держась одной рукой за спинку стула, потом шагнул к окну, обернулся — и Лев Ильич увидел, что глаза у него разные: левый чуть косил, был совсем темным, а правый посветлей. Костя левым, косым моргнул ему.

— Чего ждем-то? — спросил Лев Ильич.

— А я уж дождался, — ответил Костя, моргая еще раз тем же глазом, и засмеялся отрывисто, с такой спокойной умешкой.

— Ты что, издеваешься, что ль, надо мной? — спросил Лев Ильич.

— Наконец-то! — Костя повернул стул, уселся верхом, выки-

нул ноги вперед и ловко скрестил их перед собой. — Давай, излагай, что там горит, сейчас разберемся.

— Не хочу, чтоб ты надо мной смеялся.

— Что ж мы слезы будем лить? Хорошо погулял?

— Видишь, едва ноги таскаю, кабы не ты — полдня проспал.

— Ловок... Седина в бороду...

— Ну это ты брось, здесь другое.

— Неужто? — развеселился Костя. — Духовные стихи читаешь? То-то, я вижу, катарсис, ноги не держат.

— Черт его знает, — пожал плечами Лев Ильич, — безумие какое-то.

— Да знаю, чего уж хитрого. Почему безумие, если на сладкое потянуло — недостаточность организма, процесс вполне химический. Знаешь, как кристаллы выпадают? Бросают в перенасыщенный раствор — это взрыв, как в атомном котле — и ты уже не тот, вся твоя аморфность, размягченный хаос — все определится звонкими гранями, засверкает. Ты ж рисковал, мог оказаться ничтожеством, так и сгнуться незамеченным в том растворе, или он бы тебя исторг, не принял. А тут — возрождение, да еще в каком новом качестве, обновленный — посторонись, все можем!

— Чего-то не пойму, — распрямил плечи Лев Ильич, — конечно, уверенность появляется, однако... Черт, зачем мы об этом говорим!

— Ну, если неохота. А может хватать нечем? — снова подмигнул Костя.

— Зачем уж так... — Лев Ильич на себя посмотреть не мог, но губы явно раздвинулись в самодовольной улыбке — знал он, изнутри себя видел! — Недоспал просто — так это наверстаем...

— Ладно, сказал Костя, — оставим тему, мужчина должен быть благородным. Что там еще у тебя?

— Да мелочи все: семнадцать лет надо бы списать, виснут, понимаешь, мораль, ясное дело, но... привычка — мешает, путает...

— А ты и там был на высоте?

— Ну, семнадцать лет многовато все время на высоте — голова закружится; быт, сам понимаешь: после завтрака — обед, ужин, посуду мыть три раза на день — одно и то же.

— Чего не понять — механика разбанальная: от кислого скулы воротит, а от сладкого зубы болят. Тут весь смысл, гастрономический я имею в виду, в смене впечатлений, одна кухня приедается.

— Что-то ты больно уж примитивен.

— А я всего лишь точен, это ты привык прятаться за словами. Списать, стало быть? У тебя что — обязательства, что ль, какие? Да и как тут солжешь, когда вмешалась механика: кристалл хитростью не высидишь — химия точная наука, как математика. А ты

мужик крепкий: в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань.

— Ну а жалость, сострадание, благодарность наконец?

— Эх, куда тебя шатнуло! Да и за что благодарить? Неужто про свой счет позабыл, списочек, так сказать, благодетелей? Тут не арифметика — алгебра скорей, коль не интегралы. Что ж у тебя каждая единица — единице, что ль, равна? Твоя, небось, подороже будет. Тут все дело в силе переживаний, твой-то один раз — помнишь, как на стенку взбирался? — а ей что! Да и разные, согласись, вещи — мы им или они нам?

— Что это тебя все на пошлость тянет — иначе не можешь?

— Коробит? Давай иначе. Тебя оскорбили? Оскорбили. Унизили? Унизили. Зачем ты это должен терпеть? Тебе скучно, пусто, у тебя полет — а там все шажком да ползком. У тебя силы бурлят, а ты сам те силы хочешь умертвить. Ты вон, всю ночь, уж прости опять за пошлость, выложился, а с утра, как птичка Феникс воспрял. А там чаек спитой хлебаешь, да и не похлебаешь, может, и давно заварен, да не про тебя. Ну а с какой стати, когда рядом настоен, аромат парит от чашки — пей вволю, тебе и не выхлебать — накушаешься! Ты вон, себя в жертву хочешь принести — да не хочешь, в том все и дело! Но полагаешь — так надо, как же, мол, христианин без жертвы! Ты о смирении хлопочешь, а того не понимаешь, что человек должен развить в полной мере все, что ему положено, дадено — в полную меру взрастить. Притчу о талантах недавно вспомнил, сам же правильно этим дуракам объяснил...

— Постой, перебил Лев Ильич, — а ты откуда знаешь? Разве ты тогда был?.. Это ж на следующий день разговор, ты вроде накануне к нам заходил?..

— Да брось ты мелочиться — был, не был. Я про дело говорю, а ты все о форме хлопочешь. Талант надо пускать в рост, он тогда сам-пять и отдаст, не зарывать же его, когда он в тебе бурлит. Человека ошастливил, да и не просто страсть, блуду потрафил — помогаешь идее осуществиться, высокой к тому ж...

— Ты что? — оторопел Лев Ильич. — Про какую идею ты говоришь?

— Про ту самую, об которую ты еще не раз споткнешься. Это ты от легкомыслия иль от страусиной трусливости прячешь голову под крыло — русский интеллигент! Интеллигент-то да, да русский ли?

— Ты знаешь что, Костя, — сказал Лев Ильич, он вытирал платком пот на лбу, — ты меня не пугай, у меня сердце заходится.

— А ты не бойся. Я ж тебе с самого начала объяснил — доверься. Через все это пройти просто необходимо, чистота, на которую и тень не падала, не многого стоит — не то она чистота, не то всего

лишь поганка, мимо которой все ходят, а наклоняться над ней, посмотреть поближе никому не охота. Она и стоит себе, пока снегом не запылит — никому не нужна, сгинет впустую, а вываришь ее в котлах — знаешь, как в Европе поганки ценятся, подороже белых идут.

— Стало быть, они нужны кому-то?

— Ну да. Но одно дело, когда они себе стоят, чистотой гордятся, пока не засохнут, не смерзнутся, а другое дело, если ее в рост отдать — ту чистоту, не бойся, что выпачкают, захватают руками, вынесут на базар, выварят — на стол и подадут, пальчики оближешь. За одного битого — двух небитых дают. Невозможно миру без соблазнов, это тому горе, через кого они приходят, а сами по себе они играют очистительную роль — соль в них, коей не осолодишь, завянешь в пресности...

У Льва Ильича в голове звенело, путалось, он ни на чем не мог остановиться, задержаться, плыло все под ногами, но он уж, верно, перестал пугаться: а что он, не заслужил, что ль, очищения, а если надо ту чистоту сперва загадить и выварить — пусть себе кипят котлы! Да и устал он барахтаться, все время с собой бороться. Он в себе уже почувствовал силы плыть, отдаться тому течению — бурному, веселому, ничего, не захлебнется, удержится, птичка Феникс, вон, бьет крыльями: "Накормить, что ль, нужно этого идиотского попугая?" — мелькнуло у него.

— Что там у тебя еще? — спросил Костя. — Или опять по чай-кондитерским изделиям?

— Может, и кондитерские, да запашок не тот. Ты в бардаке был когда?

— Ух, развеселый разговор в святом месте!

— Представь, белый день, комната в коммунале, — с каким-то неизвестным ему прежде, дрожавшим в нем ощущением начал Лев Ильич, — соседи ходят, переговариваются на кухне, гремят посудой, детишки из школы в фартучках с галстучками, телефон в коридоре — течет нормальная коммунальная жизнь. А в той комнате — на столе бутылки и три девицы от восемнадцати до тридцати — вполне разоблаченные, изображают композицию. А за столом три или четыре джентльмена — интеллигенты, с красными лицами, глаза блестят, разговор, естественно, самый вольный... Ну там подробности, может, и не интересны, опустим — конец света, одним словом. И вот, представь, такую щемящую нежность к этой женщине, которая честно отработывает свои десять рублей, такую до слез и боли волну сострадания к ней. Не страсть — какая тут страсть, когда только стыд и гадость. "Сестра моя!" — думаешь ты, несчастная сестра, пред которой ты навсегда виноват!..

— Литературный ты человек, Лев Ильич. Ты этой сестре, коль сострадаешь, подарил бы десятку, зачем же работой ее забавлялся!

— В том-то и дело! Ну а как ты думаешь, сострадание, если оно искренне... Да нет, почему литература, я-то, скажем, знаю, что искренне? — обиделся он вдруг. — Нет, ты скажи, перекроет такое искреннее отношение вину, тот мерзкий грех — зачтется?

— Ах, вон как хочешь устроиться? А еще толкуешь об искренности! Сразу, значит, чтоб за все тебе платили: и за сострадание, и за нежность, а за вину и грех чтоб не брали — десяткой рассчитался? Или чтоб все время бухгалтерия подсчитывала? Больно штаты большие требуешь, там у них и другая ведь работенка, а ежели на нас переложить, по секрету скажу, непременно обсчитаем! — смеялся Костя.

— Кругом, выходит, плохо. Ну а помыслы? — Лев Ильич Любины глаза вспомнил. Помыслы тоже в дело засчитываются, как, вроде уже совершил?

— Это ты про тещу, что ли, что ей скорейшего конца пожелал? Лев Ильич уже не удивлялся.

— Что же тут особенного? — поучал Костя. — Чем мучаться и другим жизнь заедать. Беда с вами, неофитами, прибежавшими из гуманизма ко Христу. Винегрет из Дарвина, Маркса и какого-нибудь супергуманиста — Альбера Швейцера. Вы хоть когда-то поймете, что смерть — радость, что душа здесь отмучалась, а там уж ни боли, ни жадности, ни жажды, ни еще какой-нибудь дешевенькой страсти, заедающей тебя тут. А что еще покойнице, только смердела да на людей кидалась. Там выбор страданий, идущих только на пользу — там тоже ведь некий процесс длится. Да и о себе, о себе не забывай! Про талант, например, который в рост надо давать — йичем не смущайся: не разовьешь талант, сгубишь, за то уж точно ввергнут в озеро, которым так напугался, что без оглядки и сюда прибежал — кто бы ни спасал, пусть хоть церковная старостиха — вон, талмуды те обещают! — Костя указал рукой на книжные полки.

— Так что ж, выходит, не пойму, в том, стало быть, ничего плохого нет?

— Ну что с тобой делать! — смеялся Костя. — Как тебя отучить от слов, в которых и смысла никакого? Хорошо, плохо! Кому хорошо, а кому — плохо. Это какой-нибудь Толстой теми словами все пытался очертить, да не Толстой — большевики! Это они очень любят рассуждать в своих газетах на такие темы, а сами уж так все запутали, что давно ничего не разберешь: сегодня то хорошо, что вчера было плохо, да и завтра окажется скверным. Что, мол, к л а с с у выгодно, а класс с той выгоды за воблу готов душу заложить. Где только ее возьмешь, эту воблу, а за душой нынче никто и охотиться не станет — бери, сколько унесешь, хоть целый мешок. Ты, вон, вчера не поверил той истории — про пустынного, спасавшегося в лесу и своего брата приголубившего камнем от великой любви ко всему человечеству. А между прочим, очень достоверная исто-

рия. Так же, если хочешь, как про Беломорский канал, про который Солженицын высчитал, что там закопали четверть миллиона строителей. Тоже ведь заради того, чтоб освобожденное человечество перемещалось из Белого моря в Балтийское на легких яхтах и экспрессах на подводных крыльях. Да и не в том дело, что, как он же отметил, спустя сорок лет по этому каналу одна баржа в день проходит, да и в ней смысла нет, а в том, что любовь к человечеству уж обязательно вырождается в смертоубийство — камнем ли брату по голове или энтузиастов за колочей проволокой цынглой да морозом в штабеля. О себе думать надо, Лев Ильич, себя спасти, а о человечестве Господь позаботится, если сочтет это нужным.

— Ты б хоть остановился, — сказал Лев Ильич, — ты на каждом слове себе противоречишь — я уследить не могу. Тебя даже на противоречии не поймашь, потому это уже и не противоречие, а... дискретность какая-то...

— Сообразил! — хохотал Костя. — Значит, тебе больше улыбается про себя позабыть, не иметь своей воли, хотения, все, что собрал, скопил, чем гордился, чем этой ночью радость... ближнему... — хохотнул Костя, — доставил, небось, слезы счастливые увидел? Все, что вспомнилось, обнажилось в тебе, заговорило — ото всего от этого отказаться? Хоть тебя отпустили — снова, значит, себе на плечи взвалить свою путаницу и еще к тому ж новую, что тут вон эти церковные кадры наворотили... Вон, еще дочка у тебя попевает, и ее...

— Господи, — сказал Лев Ильич, — спаси и помилуй меня...

Он поднял голову. В комнате, словно посветлей стало, облака, что ль, разошлись, ему солнце ударило в глаза, чуть даже ослепило, перед глазами покатались разноцветные круги, он протер глаза, открыл и вдруг приметил: у Кости на штанах — ноги по-прежнему у него переплетены перед стулом — обозначилась клетка... Лев Ильич еще раз вытер взмокшее лицо платком.

— ...себя забудьте, — говорил Костя. — Он стоял возле окна, поглядывал на улицу, но тут обернулся, внимательно, длинно так посмотрел на Льва Ильича. — Да вы, я вижу, устали, больны, что ли? В другой раз поговорим, коль охота будет. Иль вы все равно со двора собрались?

Ему было мучительно стыдно, он даже не мог заставить себя разобраться: слышал Костя все эти его жалкие саморазоблачения или это была одна лишь мерзкая фантазия? Он оделся, ему хо-

телось поскорей отсюда выбраться. Они направились к дверям, но он вспомнил про голодного попугая, сунулся было найти зерно, не мог сообразить, где ему сказали, крошил хлеба и насыпал прямо в клетку. Потом натянул пальто, и они пошли, как Костя сказал, "со двора".

На улице было холодно, свежесть весенняя, небо ясное голубо-бело сквозь облака, все таяло, звенело, они уж вывернули в переулок...

— А вот и столовая, — сказал Костя. — Вы, как я понял, не завтракали. А у меня мелочишка есть сегодня. Горяченького-то как?

Лев Ильич поморщился. Машу видеть у него не было сил, да махнул рукой — ему было все равно.

За кассой сидела другая женщина — в очках, пожилая. "Ну да, сегодня ж с обеда..." — вспомнил Лев Ильич.

Они разгрузили на стол поднос с тарелками, Лев Ильич, и верно, проголодался. Костя чуть поковырял безо всякой охоты. Молчали.

— Скажите, Костя, — Лев Ильич, наконец, отодвинул тарелку, одним духом проглотил теплый кофе — пошло, — что вы имеете против Кирилла Сергеича? Мне это важно. Я, может, плохо разбираюсь в людях. Придумаю что-то, знаю, мол, а как до дела доходит — все наоборот.

— Все-таки интересно? — Костя закурил, сквозь дым шурил-ся на Льва Ильича.

— Да нет, не то чтоб интересно — нужно, — уточнил Лев Ильич. — Знаете, так бывает, помнишь человека с детства, с юности, сто лет, вроде, знаешь, а потом встретишь и все не можешь понять — в чем дело? Кажется, раз ты стал другим, ну и он, стало быть, ту же жизнь прожил за эти годы, а он, меж тем, все это время совсем не на то определил. Поэтому и выходит, что встретились случайно. Меня, правда, тут вон уверили, что случайностей нет, может, оно и нет, конечно, но жизнь совсем разная была у нас, и если верно вы говорите, а я вашей искренности не могу не верить, пусть и заблуждаетесь, но на чем-то же основан весь этот ваш пафос и... отрицание?

— Все-таки тянет понять. Вы не слышали, что ль, меня? Надо ли? Религиозный опыт тем от человеческого, ну, там психологизм, житейская мудрость, то, се — тем и отличается, что здесь умом и эмоциями и не возьмешь. Я вам толкую про духовный опыт, озарение... Знаете, что значит, когда завеса разорвется?

Лев Ильич смотрел на него и так ему до боли вдруг себя стало жалко, вчерашнего счастья, уж, верно, никогда не достигнутого, с которым так легкомысленно обошелся...

— Ну хорошо, — говорил Костя. — Вы из тех, кому все хочет-

ся потрогать, носом чтоб ткнули — при факте хотите находиться... Извольте вам факт. Я с вашей приятельницей — да мы еще в поезде об этом с ней перекинулись, на Рождестве столкнулись в храме. Я ее почему-то запомнил, сам не знаю... — со злостью перебил себя Костя. — Да ладно, не в том дело. Это, как у нас теперь по Москве, мода то на один храм, то на другой. Интеллигенция валом валит, разговор такой концертный: "Вы где на Пасху — у отца Вячеслава? Конечно, конечно, к кому ж еще идти!" Или эдак: "Ну что, мол, это за проповедь, я вот отца Анатолия слушала в прошлое воскресенье — и сравнить нельзя!" И прочее. Так и ходят — то к Анатолию, то к Вячеславу — в кадрили участвуют, пока не станет известно, что кто-то из них проворовался. А он и всегда подворовывал, но им, как и вам, факт нужен, опыта нет, про который толкую — чтоб за руку поймали, вот что нужно. В том и опыт для них.

— Ну а вы-то зачем... тогда? — не удержался Лев Ильич.

— По делу, — отрубил Костя. — Я только по делу бываю, да и это вам, простите, ни к чему.

— Извините, — поспешил Лев Ильич, — вы уж договорите, пожалуйста.

— Еще служба не начиналась, а там так набились — руку не поднимешь перекреститься. Я и вышел... покурить, — сказал Костя с вызовом. — Гляжу, наш приятель — отец Кирилл, тоже выходит, меня увидел, только кивнул и не подошел, а, казалось бы, мог и с праздником поздравить, не один час толковали про разные разности. Тут, смотрю, не до меня — прямо к воротам дует, рясой снег метет. К нему старушки за благословением лезут, он чуть не отмахивается, благословляет, а сам на улицу поглядывает не больно-то благочестиво. Явно кого-то ждет. Ну и подкатывает, верно, шикарная "Волга", дверь отлетает, а из нее, гляжу, глазам своим не верю: собственной персоной Витька Березкин — философ такой из нынешних — выпрыгивает, а за рулем ослепительная дама, серьгами звенит, концертное платье шумит из-под шубки. Красивая баба, я потом узнал, жена режиссера, сталинского еще сокола — известный мерзавец. У нее с Витькой большое чувство уже три месяца...

— Березкин? — с недоумением спросил Лев Ильич. — Виктор? Да я его хорошо...

— Знаете? Как же, известная фигура, автор громких статей, в которых математически доказано, что Достоевский был атеистом, вольтерьянцем и неосозанным предтечей большевизма. Да ладно статьи, мало ли что пишут, вот он мне как-то доверил свое открытие о заповедях блаженства — тут есть о чем задуматься! Надо, говорит, на арамейский текст взглянуть, перевод явно неправильный, вольный: блаженны нищие — запятая, а то, мол, мракобесы запятую от человечества скрыли, а там все наверняка точно и справедливо — нищие, обездоленные — они и блаженны! Как же, он человек либе-

ральствующий, прогрессист. Да что я чушь эту повторяю, нормальное помрачение рассудка...

— Неужели Березкин? — все не мог успокоиться Лев Ильич.

— Кто ж еще? Ваш приятель юности — православный священнослужитель его под белы ручки вместе с великосветской дамой и ведет в храм, толпу раздвигает, хлопочет, то вперед, то назад забегает, мне даже любопытно стало, следом протискиваюсь. Он их прямо на клиросе и устроил, только что кресла не вытащил. Бедные старушонки — апостолы нашего православия, единственная надежда! — они только рты беззубые пораззявили. А я плонул, да и пошел оттуда.

— Что ж это? — спросил Лев Ильич.

— То-то и дело, что? Случайный факт, свидетельство слабости, суетливости, корысти, в конечном счете, коль вы всего лишь на одном факте хотите застрять, а соображать вздумаете — явление закономерное, естественное свидетельство того, что иначе и быть не может... Ну может ли святыня помещаться в блудилище? Ну а не блудилище ли, когда священник заражен корыстью и мирской суетой? Мне, значит, вам объяснять не нужно, кто такой Березкин — знаете? Ну как, можно ли после этого к тому отцу Кириллу обращаться за благодатью? Вот вам, раз уж вы считаете абстракцией разговор о наушничестве и разврате в храмах, самый, можно сказать, обыкновенный, банальный, будничный факт, в котором раскрывается такое море безбожия, будто видишь — и не через тусклое стекло, а ясно, как в волшебном фонаре, всю эту цепь, завязанную еще в раннем русском средневековье, когда Божьим начали торговать в розницу и оптом — кесарю все отдавали, а уж там дальше пошло: кесарем и городничего почитали, и кварталного — да те хоть в Бога верили, а тут и до секретаря райкома докатились, до уполномоченного! Если всерьез будем искать виновного в том, во что Россия превратилась за последние полвека, обернулась Архипелагом, то не ошибемся, когда все это и припишем русской Церкви, начавшей с духовного соблазна цезарепапизма, с радостью предоставившей все светским властям — мораль, культуру, науку, на все было наплевать, лишь бы ее не трогали и сребролюбие не мешали. А что там оставалось, как было не взрасти ничтожному нигилизму на той безблагодатной почве, чему еще произрастать? Или вам дальше протянуть ту атеистическую цепь — к толстовскому морализму или к большевистскому лицемерию? Может, живописать как сооружалась да рухнула та Вавилонская башня? Что ж, скажете, не Церкви в том вина, что народ оставили без благодати, сначала на стерляжью уху разменивали, а потом на рабскую участь молчаливого соучастия во всех кровавых преступлениях? Может, мне вам фактов подбросить, если до них горазды, или, как раньше говорили, анекдотов? Про то, скажем, как горящий неофит прихо-

дит сегодня в храм на исповедь и вдруг лицом к лицу сталкивается со школьным, самого низкого пошиба злобным атеизмом, или как в крещении над женской наготой потешаются? Да не об отдельных мерзавцах и корыстниках идет речь, вот история-то про отца Кирилла пострашнее будет, потому что и не ловится. В том и дело, что пока не проворуется, все, вроде бы, нормально: храмовое благочестие на высоте, богослужение ведется, что еще надо? Да и какое там благочестие — смешно говорить про это! Что они, заповеди, что ль, пытаются выполнить? Только и разговору про седьмую — самую модную: можно, мол, с бабой переспать или нет? Посты, что ли, соблюдают, общая молитва у них дома — утром, вечером, со Христом, что ли, в сердце живут? По мне так Березкин лучше — не придуривается, живой человек по крайней мере: привел бабу, вроде как в цирк, развлечься, потом в ресторан, а там уж судя по обстоятельствам!.. А верующий, тот шагнет за церковную ограду, как у отца Кирилла окормится, что ж он, по-вашему, остался христианином, утвердился, все ему отпустили, разрешили? Вот он и шагает из одного блудилища в другое, не поймешь, где гаже. По мне, так в церковной ограде, где благодатью торгуют, которой и нет давно. Отказались от Христа, продали Его в семнадцатом году, откуда ей взяться, благодати — из сталинской хитрости, что ли, пооткрывавшего церкви для своих мудрых расчетов? Да их в любую минуту с патриаршего же благословения обратно позакрывают, складами сделают! Или из духовной академии, где штампуют пастырей, как уполномоченных по хлебозаготовкам? Да ну, и говорить про все это неохота, в зубах навязло — все слишком ясно...

— Не верю я вам, — сказал вдруг Лев Ильич. — Не верю. Когда так, а теперь мне ясно, что так, тогда и совсем ничего нет. И святых ваших нет, и Воскресения не было.

Костя как споткнулся, спичку зажег прикурить, да и забыл про нее, такого воздействия своих слов он, верно, никак не ожидал.

— Не по зубам орешек? — спросил он, отбросив спичку, обжегся, видать.

Перед Львом Ильичем как кинематографическая лента прокручивалась, мелькали все эти его последние три дня: он увидел себя в поезде с Верой, этим Костей, бабкой с девочкой, упивающимся завлекательным разговором, в церкви, вспомнившим маму с ее иконкой, ужас, встретивший его дома, и как он оттуда бежал, позабыв себя, как уцепился за Веру, в этом, вон, доме с попугаем, уставившимся на иконы, в нелепом тазу очутился, как потом подвернул ногу — и покотился, вот и сидит здесь...

— Не по зубам, — подтвердил он. — А коль, верно, цепь существует, которой мир Адамом завязан, или еще до того, когда твердь, звезды и всю живность создавали, к которой потом ковалось звено за звеном — через Авраама к Матери Божией, к святым, если ее ко-

нец сегодня в руках у отца Кирилла — что ж я, смогу поверить в нерасторжимость той цепи, ежели хоть в одном ее звене усомнюсь? Хоть в одном, самом маленьком — всего лишь в связке? Нет тогда никакой цепи — и шести дней не было, и Адам со змием — пошлая сказка, и облако на горе с Моисеем — бездарная метафора, да и Церковь на лживом камне, изначально освещенная предательством Петра, вся проникнутая корыстью и трусостью... — не хочу!

— Погодите, Лев Ильич...

— Нет уж, я вас наслушался, Костя, а с меня довольно. Да чего там, вы мне только что сами объяснили? Но у вас почему-то логики хватает отрицать благодать и поносить сегодняшнюю церковь, а дальше пойти смелости, что ль, недостает или своя корысть — куда ж тогда вам деться со своим избранничеством? Больно все ловко, любое сомнение объяснимо — слабостью ли греховной, бесом ли изворотливым, Промыслом — диалектика, отточенная за две да еще за шесть тысяч лет до того. Промысел! Иван Грозный прибрал патриарха к рукам — Промысел, Петр вовсе с патриархом покончил — Промысел, большевики опять посадили кого вздумается — снова Промысел! Да почему Промысел, а не политиканство, всего лишь выгодное в конкретный момент? А если так, и благодати этой в русской Церкви нет и быть не может — да откуда ей, верно, если священники — жулики иль нет, не все ли равно — они ж теми епископами рукоположены, а те точно, выходит, казнокрады, поставлены чекистами, и уж патриарха они — тут и сомнения нет, правильно я вас понял? — не Божьим же жребием избирают? И не наши, не нынешние — пусть бы их! — а еще с тех самых пор, при царях, по собственным соображениям поставивших их ко святому престолу... Только ложь и обман кругом, понял уж я, дошло до меня. Спасибо вам, просветили. Зачем мы будем друг перед другом хитрить — не верна, что ли, логика? Нет никакой цепи, теперь-то нам дано потрогать ее сегодняшние звенья — они все трухлявые, а коли бы могли так же, руками, и прежние пощупать, так и те такими же оказались бы? Почему ж т о м у преданию должен верить, когда в э т о м усомнился? Да хорошо бы усомнился, надежда была б, что ошибиться могу — а тут уж все доказано математически. Да и слишком стройно получается: младенчика в клочья разорвали — так надо, евреев перерезали — правильно, еврейскими руками пустили русскую кровь — еще вернее! И Дахау правильно, и Колыма верно, и Лубянка на пользу, и наш священник во храме в облачении да с крестом на пузе — и он правильно, что соглядатай — к очищению! Да не много ли, что останется? Почему я, с какой стати должен верить во всю эту мерзкую, кровавую бессмыслицу? когда теперь уж и на себе проверил — почему меня Бог не остановил, от себя самого не защитил, на другой... да в тот же день и изгадил — там же, в том самом месте, где и молились, и ангелы сослужили, и

лампадка — дунули на лампадку, и нет ее...

Костя опять верхом сидел на стуле, подмигивал косым глазом, губы у него раздвинулись в блудливой улыбке, под усами зуб блеснул тусклым золотом: "Вроде не было у него золотого зуба?" — успел подумать Лев Ильич.

— Давай, давай! — ухмылялся Костя. — Ты еще про Суламифь позабыл, про Матерь Божию подробности, про архангела Гавриила, да про монахов — говорят, в женский монастырь прокапывали подземный ход...

— Зачем мне ихние мерзости, по мне, своих, что ли, мало? — Лев Ильич развеселился, у него уж ни печали, ни надрыва не было — опять все стало ясно, вот и хорошо! — Хочешь, сюжетец изложу, — влетело ему в голову, — пальчики оближешь? Да вижу, что хочешь, небось, не обманешь!..

— Давай, давай! — веселился Костя, — эго тебя разобрало, — люблю таких горячих, которых только с горушки подтолкни, а там и не догонишь.

— Попробуй! Ясное дело не догонишь, куда там, мы, евреи, народ избранный — бегать горазды.

— А ты ж еще недавно говорил, что русский, ну, то есть, все о России хлопотал, переживал за нее?

— А кровь-то? — брякнул Лев Ильич, да и на что уж с той горы пятками сверкал, дух захватывало от собственной смелости, а содрогнулся, но все равно было! — Еврейская кровь, коль еще не разжижена, погорячей будет, где пролететь, цветы вырастают — то-то от них и ваш брат, как от ладана, шарахается — не какой-нибудь другой водице чета! Здесь что ни гений — Моисей ли, Эйнштейн — найди-ка еще кого другого?

— Эго тебя разобрало, — чуть даже нахмурился Костя.

— Не нравится? Ну да, еврея, в лучшем случае, можно жалеть. А если они, верно, избранные? Да ладно, шучу — кем избранные? — смех один... Ну хочешь сюжетец, наш, чисто православный, безо всякого еврейства?.. Ну хочешь-не хочешь, а слушай. Меня как-то приятель, да не очень давно, пригласил на свадьбу: венчанье было, они только крестились до того, и прямо все как у больших, крамольным неофитством не пахло, сплошное, как ты говоришь, храмовое благочестие. Да. Я в церковь опоздал, прямо к столу поспел — в ресторане гуляли свадьбу. Кабинет, большой стол, гостей, правда, не очень много, — тщательно отбирали, я один нехристи случайно оказался. Ладно. Невеста в белом, он в черном с цветком в петлице, рядом шаферы, крестные — два отца, две матери — может и молитва была перед тем, как шампанским хлопнули? Красиво. Разговор такой, пока не подпили, приличествующий моменту — благочестивый. Ну я влетел, на стул плюхнулся, выпил, осмотрелся — мамочка моя, я ж их всех, как облупленных, знаю! Шафер, тот что

подле жениха строго так сидит, еще, видно, свой подвиг в церкви переживает — руку венцом-то оттянуло, я ж точно знаю, с той невестой года два до того так сладко погуляли в охотку. А счастливый женишок с ее крестной матерью все в жмурки играли, красивая баба, между прочим, я и то думал... Совпало это или они специально подбирали, не знаю. Но и этого мало. Я выпил, пригляделся, мне на что — в ту пору я к этому так очень-то не присматривался, гляжу на его, жениха, крестную, мне это все постепенно соседка по столу объяснила, кто с кем в каком родстве состоит, да не все, разумеется, там еще, верно, и другие комбинации, кабы знать... Ну ладно, глянул я, значит, повнимательнее на его крестную, тут уж и меня затрясло. Сначала не узнал — где, думаю, я ее, голубушку, видел? Вспомнил! Я ведь тебе уже рассказывал про бардачок в коммунале — она и есть сердешная, да не та — сестренка, а другая, там же и тот женишок был, и комната его, он и банк тот держал с десятками: мы ему, а он уж, не знаю как, с ними делился — каждой или разный гонорар. Та самая, постарше, самая главная была, распорядительница. Как уж она ему в крестные попала, где его крестили — не знаю, может случайно подвернулась — надо ж для процедуры, или с собой привел, вроде меня, из сентиментальности...

— Н-да, — у Кости даже смятение углядел Лев Ильич.

— Что, — веселился Лев Ильич, — не по зубам орешек? Не все тебе меня озадачивать!

— Действительно, — пробурчал Костя, — быстро вы, евреи, бегаєте, за вами не угонишься. Которые с горы, я имею в виду. На гору-то потише взбираетесь.

— Ага! — смеялся Лев Ильич. — И ты, оказывается, грешешь антисемитизмом, вот уж не думал, что и у вас там? Нашел все-таки чем уколоть!..

— Тут согрешишь, — Костя надулся. — Не люблю, когда меня кто обскачет... Что ж ты теперь делать будешь? — у него левый косою глаз злобно сверкнул, — крестик-то висит на пузе?

— А что с ним делать? — Лев Ильич вдруг такую ненависть ощутил к Кириллу Сергеичу, впервые его так опалило, даже запеклось внутри, голос его вспомнил вдумчивый. "Кирюша! Вот кто во всем виноват!" Он уж руку запустил под свитер, расстегнул рубашку, нащупал, рванул, но цепочка оказалась крепкой, в шею врезалась...

Он от громкого голоса — постороннего — поднял голову.

— Поели, так освобождайте место, вон очередь ждет. Перерыв, понимать надо, а у нас столовая — не ресторан, дома поговорите.

Перед их столиком стояла пожилая кассирша, очками поблескивала.

— Сейчас пойдем... — сказал Костя. — Вы больны, Лев Ильич, опять побледнели. Я думал, вы покрепче. Конечно, когда в голове

каша, трудно слышать правду...

Лев Ильич вытирал пот, болела шея, цепочка, видно, глубоко врезалась. Он перевел дух и тут вдруг так явственно, ясней, чем только что, когда Костю усмотрел верхом на стуле, увидел ту хрупкую соломинку, в пальцах ощутил. Вот она откуда ненависть! — и вдруг так отчетливо услышались им слова отца Кирилла, вспомнившего вчера слова Макария Великого. Лев Ильич перевернул те слова в уме: от сластолюбия! От него малодушие, от малодушия — уныние, от уныния — презрительность, от презрительности — ослабление, от ослабления — лень, от лени — жестокость, от жестокости — неверие, от неверия — гордость, от гордости — гнев. А от гнева и ненависть. "О что-то уж непременно преткнетесь..." — как напроорочил отец Кирилл. Да не о что-то — обо все сразу!

Он обеими руками держался за соломинку. Она все явственней хрустела под пальцами.

— Откуда вы, Костя, взяли, что на том камне надо соорудить новую церковь Святых, а эту сгнившую отринуть? Как Он мог сказать об этом, хоть и явился вам, если и в это я поверю, когда нигде — или я ошибаюсь, не знаю? — такого не сказано? А разве может Он сказать что-то столь принципиально иное, вон, и у Достоевского Спаситель в том каземате Инквизитору и слова не промолвил, всего лишь и сделал, что его поцеловал. Когда Он скажет Слово — Оно уже страшным Судом явится, не так разве? Может, тогда надежда есть, если не так, то, значит, не та цепь, что от Адама до отца Кирилла, а ваша сплетена из придуманных — корыстных ли, для самоутверждения — но лживых звеньев...

14

Ему открыла дверь Вера. Было уже поздно, темно, опять пошел мокрый снег, он продрог и его познабливало. Весь день был темным провалом в душе: не он словно, а кто-то сидел за него в редакции, кому-то звонил, даже спорил о каких-то проблемах — убей его, никогда б не вспомнил, о чем. И не то чтоб он о чем-то другом, как утром или третьего дня все думал, двумя жизнями жил сразу — просто исчез, растворился в той черной пустоте, пропал.

Вера прижалась прямо к мокрому пальто, волосы щекотали лицо, а он было совсем забыл про нее. Он уж и домой хотел вернуться, и еще куда-то переночевать, наверх не было сил подняться, ноги сами его сюда притащили. Он ощутил вдруг невыразимую нежность к ней, так доверчиво прижавшейся к нему. "Нежность по-выше будет качеством, чем страсть, — мелькнуло у него, — там один

животный эгоизм, все о своем, для себя, и в том, что отдаешь — всего лишь освобождаешься от ненужного тебе, а тут о другом же плачешь, себя готов отдать, нежность — это всегда добро, исходящее от тебя, а потому она и не опустошает, наполняет скорей...” Ему сразу стало легче от этих мыслей, но он не успел додумать, услышал Верин шепот.

— ...хорошо, что пришел, я боялась, тебя не увижу, мне домой нужно — мальчик заболел...

Они прошли в комнату Маши. Она сидела за столом в очках над раскрытой книгой, казалась постарше и совсем другой.

— А мы уж беспокоились — забыл, что ль, дорогу?

Тихая была комната. Низкий абажур освещал только стол. Углы затаились в темноте покоем. Он опустился на тахту.

— Ты что это такой бледный, в пятнах? Не заболел? — спросила Маша, сняв очки, вглядываясь в него. — Поставь, Веруша, чайник, я тебя сейчас малиной отпою — простудился?

— Что читаете? — спросил Лев Ильич, вытянув усталые ноги. А еще, дурак, приходиться сюда не хотел!

— Люблю это место... Дочитаем, Веруша придет — перед постом хорошо.

Вошла Вера, лоб ему пощупала.

— Да он горит весь! У вас нет градусника?

— Спасибо, ерунда это, со мной бывает, — он боялся теперь, что она опять выйдет.

— Веруша, теперь ты, — сказала Маша, — дочитай главу.

— А может, не стоит? — Вера все глядела на Льва Ильича. — Он еле сидит...

— Нет, отчего ж, — Лев Ильич толком и не понял, что они собираются читать, передают друг другу. — Я с интересом, а потом, верно, от чаю не откажусь — продрог.

Вера взяла книгу и наклонилась над ней.

— С того места, где остановились?..

Лицо ее было в тени, свет падал на белые листы книги, чуть ослепляя Льва Ильича, листы казались совсем чистыми. Он закрыл глаза.

— Сегодня четверг, — сказала Маша, — стало быть, ровно через сорок девять дней будет Великий Четверг. Вот это место и читают...

“...Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю вам, один из вас, ядущий со мной, предаст меня...”

Лев Ильич вздрогнул и открыл глаза: что это, почему, откуда они знают, опять случай?.. Вера читала тихим, ясным голосом, а с л о в а жили сами по себе п р о и з н о с и л и с ь в его душе.

“...Они опечалились и стали говорить ему, один за другим: не

я ли? И другой: не я ли? Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмакивающий со мной в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предаётся: лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: примите, ядите; сие есть Тело Мое. И взяв чашу, благодарив, подал им; и пили из нея все. И сказал им: сия есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая...”

Лев Ильич был так напряжен, что казалось, вот-вот что-то надорвется в нем, лопнет со звоном, он знал теперь этот с л у ч а й, это были к нему с л о в а...

“...Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием. И воспевши пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь; ибо написано: ‘поражу пастыря и рассеются овцы’. По воскресении же Моём, Я предварю вас в Галилее. Петр сказал ему: если и все соблазнится, но не я. И говорит ему Иисус: истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня. Но он с еще большим усилием говорил: хотя бы мне надлежало и умереть с Тобой, не отрекусь от Тебя. То же и все говорили...”

Льву Ильичу казалось, он уже не дышал.

“...Пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам своим: посидите здесь, пока я помолюсь. И взял с собою Петра, Якова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь, и бодрствуйте. И отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей; и говорил: Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты. Возвращается, и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! Ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна. И, опять отошед, молился, сказав то же слово. И возвратившись, опять нашел их спящими: ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что Ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: вы все еще спите и поживаете? Конечно, пришел час; вот, предаётся Сын Человеческий в руки грешников; встаньте, пойдемте: вот приблизился предающий Меня...”

— Стойте! — закричал Лев Ильич. — Не нужно, не могу я больше!..

Он стоял у стола, облокотившись на него обеими руками, смотрел на раскрытую Книгу и двух женщин, испуганно глядевших на него снизу вверх...

— Простите меня, — опомнился он. — Простите за все. Простите. Простите...

Он сел, упал на стул, уронил голову на стол и заплакал. Он плакал горько, как ребенок, как только в детстве с ним было, когда все казалось таким навсегда неутешным, будто за этим — чего не дали, потерял, отняли, обидели, не сумел, не смог — и кончается все совсем. И те слезы не приносят утешения, облегчения, сладости — это уже конец, уже ничего нет и быть не может — что еще там осталось за этими: "не дали", "потерял", "отняли", "обидели", "не сумел", "не смог"?..

— Что с тобой, Лев Ильич, родной! — вскинулась Вера.

— Погоди, Веруша, оставь его, — сказала Маша. — Пойду-ка я чаек заварю да малины...

Он ощутил ее руки у себя на затылке, пальцы, перебиравшие ему волосы — нежные, легкие, совсем очнулся, и тут ему стало мучительно стыдно. Он встал, пошел в ванную, умылся, не сразу решился вернуться.

— Лев Ильич, где ты там? Чай на столе...

Они сидели втроем вокруг стола, под абажуром — только и было светлое пятно в комнате, подчеркивавшее ее тишину. "Господи, какие мы все разные!" — подумалось ему. Чего только не было с ним сегодня, с тех самых пор, как он ее обнимал, а что у нее, с ней произошло? — никогда того и не узнать. Это какой нужно обладать пустой самоуверенностью, чтобы полагать, что знаешь все про другого — встретившегося тебе или даже с кем прожил жизнь... "Да я и себя не знаю!.." Это все самое поверхностное, внешнее, ничего не стоящее знание, чем мы соприкасаемся, как какие-нибудь простейшие, членистоногие, это все эгоистическое для себя знание — чем он повернулся к тебе, для тебя, столкнулся с твоим, он только в этом тебе и открывается, а какая его часть тобой занята, может, самая малая, случайная, ему и вовсе не нужная. Ну что мы знаем о другом, кроме того, что он нам сам про себя сказал? Это верно, тот мальчик передал ему Костины слова. Но то разве Слово, это всего лишь скорлупа истинных слов, которыми бы заговорила душа, если б ничем внешним и поверхностным наша плоть не жила. Ничего б не боялась, ничего не хотела, ничего для себя не искала бы... Ну да, поправил он себя, это когда любви нет, когда отношения, действительно, случайные, корыстные ли, добрососедские всего лишь, а любовь другое, она тебе нутро выворачивает, потому и нежность подороже страсти, та тут же сгорает и только... Что я знаю про нее, хоть и все пересказала — сюжет лишь, сам ведь и не вспомнил за целый день, а в какую она сегодня бездну заглядывала, а если нет — ну тогда, может, еще страшней?.. — мелькнуло у него. Вот и мальчик у нее захворал, а сидит здесь, мне сопли вытирает. Да и Маша эта — и "компот" в столовой, и лихость — разве не внешнее, где они там смыкаются с этим домом, с тем, что наверху, и эта вот Книга... Он взглянул на Евангелие: "...вот, приблизил-

ся предающий Меня...” — услышал последние слова, прочитанные Верой... Господи, подумал он, чего стоит вся та сегодняшняя сокрушившая меня логика, горы фактов рядом с этим — это немощная плоть, это она похотствует на Духа, почивает, когда надо бодрствовать, а в этой постыдной немощи и не такое может таиться... ”Я еще про Суд недоумевал — вот он Суд и есть то Слово...”

— Я хорошо сделала, что вчера уехала, — сказала Маша, — там без меня уж и не знаю, что бы произошло. Правда Льва Ильича не уберegli — за тобой глаз да глаз нужен, надо ж, простудился, как маленький. Это, может, еще с третьего дня у тебя простуда, с тех пор, как пришел ко мне замерзший и ”компотнику” отведал...

Лев Ильич молчал, обжигался чаем: того ему никогда не узнать — хорошо ли она сделала, если б не уехала — все б не так было? Опять случай или о н бы его все равно достиг, не тут, так в другом месте, как бы он уберегся, когда навстречу бежал с такой радостью, ничего не слыша, не замечая, он теперь, задним умом все начал вспоминать и подсчитывать.

— Это у меня такая родня есть, уж и не знаю — дальняя, ближняя? — продолжала Маша. — Жена моего мужа-покойника, первая то есть его жена и ее отец. Ну я их давно знаю, еще до него, а как про то, что он там умер, стало известно, они раньше моего узнали, ну я и пришла к ним: старик больной, она тоже тогда совсем была плохая, как дети малые. А вчера особенный день, это они каждый год отмечают. То есть, старик отмечает. Так заведено... Он хороший был художник — Гле, наверно, очень хороший. Будет время, вот Игорь придет — мы вам покажем, ежели будет охота. Здесь-то мало, основная часть у нее, мы с ним только и прожили пять лет. Что при мне наработал. Хотя не так уж и мало, а там — все. Теперь Европа открыла нашу живопись, ездить стали к нам в Россию за иконами да за картинами, а при нем мало кто и знал, что происходит по московским закоулкам. А теперь прознали. Я вчера приехала, а там идет скандал — страшное дело. Только передо мной ушли два иностранца. Не знаю, что они им предлагали — она-то, Лариса, хотела, видно, продать. Так кричала: все равно, мол, тут все пропадет, сгниет, мы, мол, подохнем — все растащат, пожгут, а там сохранится, в музей попадет. Это иностранец в какой-то музей французский, что ли, предлагал сразу все купить, выставку обещал и уж не знаю чего. А старик не дает. Я, говорит, их знаю, жулики, спекулянты, никакой не музей, они их на базаре за свои доллары будут торговать. А он, мол, для нас писал, никогда ничего не продал, он, верно, ничего не продавал, правда, тогда и некому было. Писал да за шкаф ставил. Старик кричит: ”Внуку оставляю!” То есть, Игорю моему, он его любит, признал. Я, говорит, дождусь, когда наш музей купит. Едва ли, конечно, дождется, ему уж под восемьдесят, да как я понимаю про это, дай Бог, чтоб Игорь того дождался. Не знаю, кто тут прав. Но раз Глеб

про это ничего не сказал, я б тоже не продала. Ну чего мы будем все им отдавать — сами с чем останемся?..

Лев Ильич поднял голову: в темноте трудно было понять, он и в прошлый раз отметил, что живопись настоящая — что там? Маша повернула абажур, тень качнулась, открылась картина: он угадал прямоугольник стены, серая, шероховатая — часть храма, что ли? Неба не видно, стена уходит вверх, и тут из нее начал выплывать крест, едва намеченный — и не горит, не сияет, или не видно при таком свете? — выступает из стены — розовый он, что ли? — просвечивает...

— Сейчас не смотри, — сказала Маша, — днем нужно. Это первая наша картина. Я тогда к нему пришла, он ее писал. Ее только и повесил. Очень меня тогда любил, а может, нет, кто его знает, но с тех пор и висит... Ну про это другой разговор, долгий. А вчера старик меня как увидел: вот, говорит, все ей отдам, она законная наследница — не тебя, ее он любил, у нее сын, мой внук. Совсем с ума стронулся — дочке такое слышать. Я уж как их развела, успокоила, не помню чего и говорила. Старик удивительный. Конечно, ей тяжело теперь с ним, и всегда было тяжело, еще когда я молодой девочкой к ним в дом ходила — к старику. Они тогда не там, тут вон, не очень далеко и жили. Я у них убирала — квартира была, а жил один, дочь здесь, с Глебом, они бездетные. Старик тогда только на пенсию вышел. Он — знаешь кто? Надзирателем служил в лагере, да, да, в вохре. То есть, сначала он заключенным, потом ссыльным был — из тех еще, нэпманов. Старая посадка, его в конце двадцатых годов взяли, он и остался в лагере, как срок вышел — небольшой, лет, может, пять отсидел. Но это теперь кажется небольшим, когда по семнадцать-восемнадцать сидели, а так тоже — отбудь пять-то годков. А он чудной человек, законник такой. Как посадили, он свою жизнь вычеркнул, все позабыл, друзей, родных — все вычеркнул из памяти. В лагере — это мне еще Глеб рассказывал, когда срок вышел, в вохру пошел из такого зловредства, над собой, что ли, издевался? Чтоб себе досадить. Он так еще, вроде, думал: если, мол, там по справедливости, чтоб закон соблюдать — и все, тоже, мол, можно людям принести пользу. Я это не объясню, не умею, хотя его знаю, поняла. Он понимаешь, нэпман был, их сперва разрешили для своей хитрости, чтоб использовать, а потом с ними и покончить. А он считал: раз, мол, я живу в этом государстве, то и обижаться нечего, нужно только законы соблюдать, а если я их хитрость не понял — мне поделом. Все равно надо соблюдать, пусть они самые волчьи будут, те законы, но тогда все будет верно, по справедливости. Он только никак не мог понять, хоть навидался, куда уж еще, что тут вовсе нет никаких законов, хоть святых поставь возле тех законов — ничего не выйдет. Какие законы, когда одна бумага, на которой они отпечаны — вот и вся им цена, да и та подороже стоит. Он и начал было там,

в лагере, где уж такое творилось, выполнять все инструкции. Сам-то освободился, не знаю, как он выжил — и на общих, и с блатными, и с начальством не угодник, не доносчик — исполнитель, служака. Он и надзиратель такой был — ненавидели его люто за эту его никому не нужную "справедливость" — и заключенные, и начальство. Долго он не продержался, конечно, но успел сам уйти. Там как раз и вышла история, оттуда этот юбилей, дата... Ты согрелся хоть чуть?.. Давай, еще чайку, первое дело при простуде — чаю побольше, лучше водки...

Лев Ильич откинулся на стуле: где он, что это он слушает — книгу ему читают, бывальщину какую рассказывают, он-то здесь причем? Но в том-то и дело, как ни странно, что было "причем", и не потому, что и ему есть что порассказать, и лагерь, хоть краем, но крепко его зацепил, да уж такой "край"! — но тут совсем другая была сторона, с его жизнью никак не соотносимая. Тут настоящее, реальное... "А у меня придуманное, что ли?" Какая ж придуманная, когда те же сроки — да побольше, повыше, та же проволока? Или другим, меняющим все дело, тут было то, что те сидели, а эти сначала сами сажали, пока их же самих не замели, оттого и весь поворот другой и путаница? Та жизнь — настоящая, книгой кажется, бывальщиной, а его — придуманная, сконструированная из чего-то мертвого, она-то, и не существующая на самом деле, всегда и воспринималась реальностью — так, что ли? Потому и чувствовал Лев Ильич этот разрыв, и сам жил какой-то вымороченной, ненастоящей, сочиненной жизнью. "Но все-таки какие те люди, а какие эти?" — спросил он себя. Почему там, при всей чудовищности, несообразности, кафкианском ужасе — реальность, а тут привычная обыденность выходила призрачностью?.. Ох, темно, смутно тут все для него было, не понять еще.

— ...Он служил в женском лагере, старик мой, — услышал Лев Ильич голос Маши, — тогда уж разделили. И там в одном бараке — попадья. Молодая еще женщина, красивая, хоть измученная, конечно, но необычайной святости человек. На что кругом было зверье, а в женском лагере, может, особенно — блатняшки, там в бараках такое творилось, а от нее как отскакивало, и смотрела, а ничего не приставало — не видела. Она только молилась о своем сыне, оставленном на воле и потерявшемся где-то. И ее не трогали. Там один полез было — мужской лагерь рядом, хоть и проволока, и собаки, а купить кого хочешь можно — его бабы в бараке чуть не разорвали. А наш-то к ней, видно, чувства питал. Он — старик наш — скрытный человек, ничего не добьешься. Я это уж потом, не сразу, а постепенно узнала. Сначала он ее все придирами допекал, хоть она ни от чего не отказывалась — любую работу и за других выполняла: и барак убирала, и параша, и на повале даже. Его и проныло, да еще от нее несомненная святость исходила. Он, другой раз,

просто так, без всякого дела в тот барак — на нее чтоб только посмотреть. Никогда меж ними и слова не было сказано. Но все равно — женщина, она, видно, его поняла, угадала. Вот раз и попросила — один только раз за все время — чтоб на работу разрешил не выходить. Тот его волчий закон нарушить. Мне, говорит, панихиду надо отслужить. Он сначала ничего не мог понять: какую панихиду, о ком? Она ему и сказала: обо мне, мол. Мне над собой панихиду надо, потому что помру, срок вышел. Они и были вдвоем. Она в таком загончике — вагонка на четверых отгорожена была в том бараке. Три ее товарки — блатняшки, ушли с утра, на работу их погнали, лагерь где-то на Урале, лес валили. А еще через день они совершили побег — втроем и ушли. Совместный был побег — с мужским лагерем. К ним в вагонку ходили воры из другой зоны, к своим марухам, те к ним, их и вохры — все боялись. Они вместе с ними и ушли — не знаю сколько было мужиков, но этих из женского лагеря трое. Уйти-то они ушли, да одного вохровца прирезали — не то он их чуть не накрыл в последний момент прямо в бараке, не то давно его участь была решена — может мстили за что. Только обнаружили его с ножом в боку в той вагонке и эту попадью. Чего думать: она, мол, и знала, и уход ихний прикрыла, и убила. Может, могла и защититься, не знаю, только ничего не стала говорить. Чего, мол, меня пугаете, что расстрелять можете, только радость — оттуда сыну молитва скорей дойдет, а срок прибавите — велика разница, когда жизнь вечная или смерть вторая тоже, мол, вечная, а тут еще десять, пятнадцать, ну двадцать пять лет. Что ж я стану сравнивать, чего ж я буду наговаривать на других, помогать людей ловить, грех такой брать на душу... Старик наш приходил к ней в карцер, или в БУР'е она уж сидела. Она ему одному сказала, что ни в чем не виновата, да это и так, верно, всем было ясно, что ничего не знала о побеге, те с ней не делились, тогда только и поняла, когда все перед ней разыгралось. Просила сына разыскать. Расстреляли ее — не зря себя отпела. Этот вот день он позабыть и не может, какой уж год.

— Это он, то есть, ну да... старик ваш все вам и рассказал? Это правда?.. Значит, предчувствие? — нет, не мог Лев Ильич такие вещи понимать.

— Не предчувствие, — сказала Вера и поднялась, — это святость. Там все по-другому бывает... Конечно, святость... Я пойду, поздно... Вы б знали, как мне уходить не хочется...

— Иди, иди, — сказала Маша, — ребенок болен, чего сидеть. А я за ним пригляжу. Аспирином, да еще малиной напою там наверну.

Лев Ильич встал, но у него, верно, поехала голова, ноги как ватные: "Неужто вправду заболел?.."

Вера прижалась к нему и на Машу не посмотрела, крепко по-

целовала в губы. Он ее проводил до дверей. Она, видно, еще хотела поцеловать его или что-то сказать, передумала, кинулась в дверь...

— Ушла? — Маша собирала посуду. — Совсем, гляжу, плохо мужику.

— Тяжко, — сказал Лев Ильич. — Грех жаловаться, жив, здоров, а ты вон какие чудеса рассказывала, куда мне. А так крутит — не знаю, за что? Да нет, знаю, сил только нет.

— Да я вижу, крепко тебя забрало... Не нравится мне... эта твоя, прости уж... ровно б и дело не мое. Какая-то порча в ней — не пойму, какая, а есть порча. Не верю ей.

— Да что вы? — изумился Лев Ильич. — Она хорошая, добрая да...

— Ласковая? Вот они такие и есть — ласковые... Ну что я тебе, коли любишь. Так ты и мне не чужой... Знаешь, Лев Ильич, какой я тебе дам совет. Ты с нашим Кирюшей поговори: ты к кому пойдешь исповедаться?

— Исповедаться?.. Да... я и не думал еще...

— Как, то есть, не думал? После крещения поскорей надо причаститься, тут опасно. Что ты — крестился, да не причастился? Ты знаешь, как нечистый силен, тут на свои силы нельзя рассчитывать, мало ли что может случиться. Ну что ты — думал-не думал! Вот завтра или через день приедет — сразу и иди к нему.

Лев Ильич растерялся. Ему и в голову не приходило, что еще и это предстоит. Правила какие-то. Да нет, понял он вдруг, не правила — жизнь целая.

— Ты знаешь, — сказала Маша, — я его давно, ну может, двадцать лет знаю, мальчонкой был, никакой не священник, привыкла, — но все равно ему верю, он благодатный человек... Он ведь и есть... той попадьи сын.

— Какой попадьи? — не понял Лев Ильич.

— Я же рассказывала тебе только что.

— Той — в лагере расстрелянной? — потрясенно спросил Лев Ильич.

— Мы на том и познакомились... — Маша опять села к столу, закурила сигарету. — Никак не отстану курить, а надо бросать. Сердце болит. Постом давай вместе бросим?.. Ладно, ладно, испугался. Ты, смотрю, смурной, болен, что ли, правда? Вижу, болен, но у тебя еще что-то. Нет, нет, я тебе серьезно насчет исповеди-причастия. Я теперь твоя крестная мать — отвечаю за тебя.

— Так что ж... отец Кирилл? — спросил Лев Ильич.

— Тогда тебе всю историю рассказывать. Может, аспирин, да пошел бы лег — лучше б?

А у Льва Ильича снова забрезжило — вот-вот найдет.

— Ну что ты, Маша, что я, ребенок. Ты, пожалуйста не гони меня.

— Чудик какой — гони. Да хоть живи, небось, не обижку... Хорошо, расскажу, если так тебя раззадорила... Старик мой, когда вернулся в Москву, уволился там, да ему уж и пенсионное время подошло, у него и поражения в правах не было — по чистой. К себе в квартиру вернулся, здесь недалеко, на бульваре жили. Лариса тут с Глебом — не ужилась с отцом. Он тяжелый человек, говорила уже — законник. На что меня любит, видишь, все мне — не дочке готов отдать, а как приду к ним, все выспрашивает: сколько, мол, шаль новая на тебе стоит? а зарплата, мол, — откуда тогда у тебя, воруешь? И пошло-поехало. Сейчас-то он в детство впадает, ну а тогда еще другое дело, и я была совсем молодая. Ты с какого года?

— Мне сорок семь.

— Ну я помоложе. А тогда — двадцать лет назад, самая жизнь у меня. Я на Трехгорке работала, сразу после войны, вместе с этой Кирилловой Дусей. Она совсем молоденькая, а все равно подруги. Это ж ее квартира — здесь и жила. Ну не ее, конечно, Глеба отца весь дом — он профессор, еще до революции, старик — Фермор их фамилия. Его я не застала, он в тридцатые годы погиб, жена из ссылки вернулась. Глеб тогда жил внизу, а наверху ихняя кухня так и осталась. Она, как их обоих забрали, дочку прижила. Дуся не рассказывала про мать — когда что, а я не спрашивала. Я и ее уж не застала, а вот мать Глеба при мне умерла. Дуся все за ней ухаживала, я помогала, а потом скоронили — тихая старушка. Я переехала к Дусе, наверх. Мы хорошо дружили, хоть она помоложе, скромница такая, ну а я побоевей — сам видишь. Меня Лариса и упростила — убирать у старика. Он тогда один жил, как волк. Лариса с ним и двух часов не выдерживала, чуть не дрались. А ко мне он сразу душой повернулся — душа у всех есть, только ведь не каждому открывается. Как-то вот он мне всю эту историю доложил и упросил Христом Богом. И деньги, говорит, дам, и чего хочешь — только поезжай сына искать — той попадьи. Мы с Дусей вдвоем и поехали в отпуск — все равно хотели к морю...

— В Ростов? — вылетело у Льва Ильича.

— А ты откуда знаешь? — удивилась Маша.

— Так я его еще раньше знал! — все больше поражался Лев Ильич. — Мне Федор Иваныч рассказывал...

— Чего ж ты меня тогда спрашиваешь?

— Так я только и знаю, что его какая-то женщина бросила на кладбище, а больше и Федор Иваныч тогда не знал, может, правда, говорить не хотел... — колотило Льва Ильича: ну что ему за дело — так ли, эдак, но тут не интерес — другое было.

— Да, Федор Иваныч... Тут и загвоздка — Федор Иваныч. Ну я пока до того Федора Иваныча добралась — пол-России объездила. В Ростове никого не нашли, только след обнаружили. В той

квартире другие жили и слыхом про то не слыхивали. Случай помог. Или, как тебе третьего дня говорено, случая и вовсе нет. Мы девчонки ушлые были, сообразили — в церковь отправились, и там сразу старушонка, торговала свечками за ящиком — она все и знала: "Как же, отца Сергия? Сухановых да не знать..." И ту попадью, и самого батюшку, и Кирюшу нашего. Отвела к другой старушонке, у которой та — Новожилова, стояла на квартире. Они нам так обрадовались, а когда я им все ее лагерные мытарства описала, ну не знали куда меня сажать, будто я ее спасала. Панихиду отслужили в церкви — по убиенной мученице Варваре. А Новожилова, та не совсем нормальная была — насмерть перепуганная, но письмо той старушонке прислала, у нее какие-то вещи оставались в Ростове, она впопыхах и не забрала — забыла или не хотела сразу брать, не знала еще, где устроится. Тоже несчастная женщина. Всех у нее кругом — здесь в Москве поубивали. А тут еще поповского сына повесили на шею. Что делать — слаб человек. А письмо из Алтайского края, из деревни, от Алейска — это за Барнаулом, еще машиной сто километров — ну где теперь целинные земли — золотой край, хрущевский рай... Сразу-то я туда не поехала. Старик ей послал письмо, не знаю, чего он там написал, но перепугал ее так, что удивительно, как дальше не побежала — тогда б мы ее не нашли. Но в милицию не сообщил, а уж куда как проще. Законник, а понял. Осталась, одним словом, на месте, ничего, конечно, не ответила, на его письмо. А поехала я зимой. Я к тому времени уже ушла с работы, сюда переселилась вниз. Потому и поехала, чувствовала вину... перед ними. Ну хоть чем-то чтоб загладить. Меня как-то Глеб попросил позировать, он портреты не писал, ну а тут, не знаю, так никогда и не сказал — портрет или я ему тогда понадобилась. Ну вот и дописался до того, что Лариса уехала к старику. Я и решила, Глеб меня отпустил и деньги у него были. Это длинная история, как добиралась до той деревни — Костин Лог называлась, никогда не был в тех сибирских селах? Тридцать-сорок километров одно от другого, на лошадях. Доехала. Нашла. Три дня я ее уламывала. Она работала в школе — завхозом, опустившаяся такая, пропадающая женщина. Попивала. Та история про нашу мученицу ее не проняла. А выпили, я заводная была, не то что сейчас, про свое ей наговорила — про свою любовь-женитьбу, она и раскисла, свое вспомнила — бабий разговор пошел. Ну и сказала. На кладбище, мол, у могильщика... Я на другой день на лошаденку и домой. Мы с Глебом туда и отправились, к Федору Иванычу. И Кирюшу увидели, но не сразу, еще намыкались, пока нашли...

Все то же странное чувство, возникшее перед этим, теперь заполнило Льва Ильича, так что ему дышалось все трудней. Будто он, и верно, читал книгу, но теперь она удивительным образом перекреживалась с его жизнью. Там, в ней все было чуждое, стало чуждым ему по какому-то страшному излому его судьбы, потому

что на самом деле не эта, изображенная в книге, а его собственная жизнь была ему чуждой, неестественной, в ней он не столько жил, сколько задыхался, умерщвляя в себе то, что еще в нем ждало и надеялось, засыхало без влаги, а он почему-то ничего про это не знал. На что он тратил свои душевные силы, помыслы, к чему все это было устремлено? Все, что у него за его полвека происходило, таким открылось жалким, а главное, таким неестественным, вымученным, придуманным из ничего. А рядом жизнь шла...

— ...Кирюше тогда лет восемнадцать, что ли, было, — рассказывала Маша. — Он знал, что Федор Иванович ему не отец, а больше ничего тот не говорил, да и не знал ведь больше ничего. Школу Кирюша кончил, в армии еще не служил, а раз напился с ребятами, ночевать не пришел. Что у них там дома произошло — ударил тот его, избил или еще что, но он ему этого уж забыть не мог. Ну потом, верно, как священником стал, другое все, но что-то осталось, не знаю, и Дуся мне не рассказывала, а может, и она не знает... С Федором Ивановичем у нас тяжелая была встреча тогда на Ваганьковском. Прямо если от церкви по главной аллее, дом стоит, большая изба с высоким крыльцом. И комнатуха у них, наверное, метров десять, темная, кресты глядят в окно...

— Был я там, — буркнул Лев Ильич. Он слушал все с большим напряжением, будто вот сейчас эта невероятная история что-то ему откроет.

— Был?.. Ну да, конечно, был, раз ты их и раньше моего знал. Он человек вроде бы простой, но такой мрачный. Сначала и совсем не стал говорить. Мы чуть-чуть опоздали, у них тогда только и произошел этот скандал. Может, с месяц до того. В нем еще все горело — обида! Как же, подобрал, вырастил, а тут — на тебе. Сначала он нас нормально встретил, привык, видно, что к нему люди ходят — могильщик, а только про Кирюшу разговор — насторожился, замкнулся. В тот раз мы ничего не добились. Глеб к нему один отправился, они крепко выпили, там у ворот кладбища была пивная, Глеб потом рассказывал...

— Я и там был, — сказал Лев Ильич, помнил он, как Федор Иванович ему в кружку с пивом доливал водку, а он ему все на руки глядел...

— Ключ-то ко всем один, потому как замок общий, — кивнула Маша. — Он подтвердил, что этот мальчик у него с трех лет, а теперь ушел из дому, где не знает, да и знать не хочет. Глеб тогда сам стал разыскивать, тот ему дал ниточки: у церковного сторожа сынишка — ровесник Кирюши, еще кто-то, клубочек и размотался. Притон там был, да не на кладбище, а рядом, на Пресне, сейчас уж поломали, возле площади стояли двухэтажные деревянные дома. Вот там. Курили они что-то, дурели, дело шло, конечно, к уголовщине. Глеб туда попасть не смог — не пустили. Вот тогда мы с Дусей

и отправились, благо она и работала рядом. Вызвали нам Кирышу — девки молодые, мало ли зачем к нему пожаловали. Рано утром, помню, Дуся после ночной смены, встретились с ней. Он вышел бледный, грязный, жалкий, такой, как волчонок немыйтый. Чего, мол, надо? Я ему сразу и врезала: от матери, говорю, последние к тебе слова. Хочешь узнать? Он краской залился, я даже испугалась, затрясся. Повел нас на кладбище, через ограду, он там все ходы-выходы знал. Далеко завел, хорошо утром, а все равно, как сейчас помню, не по себе стало. Дуся уж совсем, вроде него, тряслась. Там, в какой-то оградке, на скамеечке, я ему все и рассказала — и про моего старика, и про попадью, и как его искали. Ты знаешь, Лев Ильич, вот ты про чудо все спрашивал, оно у меня на глазах происходило с человеком — с этим заморенным волчком. Он светлел и своих слез не боялся, вот как ты только что... А потом сказал: мне надо со стариком поговорить. Конечно, мол, я за тем тебя и ищу, чтоб к нему отвести. В тот же вечер мы были у него. Я при том разговоре не присутствовала, да и совсем его на время потеряла, а потом узнала, он старику прислал записку, попал в больницу, язва открылась. Это ему повезло, я считаю. Его должны были в армию брать, а он уж тогда сказал — не пойду, лучше в тюрьму. Он так прямо и сказал старику, что будет священником, а в армии служить не станет, оружия в руки не возьмет. Это так он материни слова, что ли, понял. Если б не болезнь, ему и быть в тюрьме, он тогда уж ни от одного своего слова не отступился бы. Дуся стала к нему ходить в больницу. Мне некогда было — с Глебом, со стариком, ребенка ждала, да и поняла, что пусть лучше Дуся туда ходит. А потом его в семинарию приняли, Глеб помог, между прочим. Он верующий был человек, знал в Москве священников — помог, одним словом... Там уж дальше все, словно, хорошо пошло, на Дусе женился, в академию — и вот служит. А что с Федором Ивановичем — не знаю, переехать к ним он наотрез отказался, так и умер на кладбище. Они, правда, с Дусей ходили к нему, но что-то у них не вышло, хоть и вроде бы примирились под конец. Тяжелая какая-то история... Я тебя заговорила, — взглянула на него Маша, — тебя уложить надо. Пойдем-ка наверх, я тебе аспиричку дам...

— Я не могу... сказать, — Лев Ильич почувствовал, что у него нет слов, он не может, не в состоянии выговорить того, что его сейчас переполняло. — Понимаешь... ну как бы тебе объяснить?.. Я, понимаешь, все литературой считал, а тут оказалась жизнь, хорошая она, плохая, правильная или неправильная — но жизнь. А я в ней, как всегда, наблюдатель.

— Какой же ты наблюдатель, когда настоящими слезами плачешь, небось, не нарисовал их?

— Ну да... слезы. Ты и представить себе не можешь, как мне неловко... — во, слово какое пустое! Как трудно будет с ним

встретиться, как все, я сам в себе... изгадил. Мне просто нельзя искреннее будет... Лучше я уйду куда...

— Ты знаешь что, Лев Ильич, ты мне не рассказывай, мне не нужно. Я простая баба, может, не так скажу, да и зачем? Тебе сейчас нужно лечь, в тепло. Это одно. А второе — главное. Мне это как-то Глеб сказал, он много понимал, хоть целые дни все красил, да, вон, за шкаф ставил. Там у него своя была жизнь. Когда, говорит, обнаружится высшая Божья сила — ну в чем-то там — в тебе или в том, что с тобой случилось, тогда все наши соображения: ловко-неловко, правильно-неправильно, лезя или нельзя, из того, одним словом, чем мы в нашей жизни живем — это все ничего того не стоит. Тогда другая правда начинается — истина. Может, не теми словами, но я запомнила — так вот он говорил.

— А как узнать, — спросил Лев Ильич, — как узнать, высшая сила обнаружилась или еще что? Он ко мне обращается или нет — а если еще кто? В том-то и дело, что не вижу, не слышу, зачем Он такое со мной допустил?

— Не знаю уж чего с тобой такое, но Он ко всем обращается — приходите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Аз упокою вас. А когда ты к Нему обращался, что Он не пришел? а тут приспичило — обратился? Он тут же и должен прибежать, успокоить? Экие у вас отношения с Богом! "Се стою у двери и стучу", — вон как сказано. Он к тебе пятьдесят лет стучался, ты ему дверей не открывал, а тут пришлось, вспомнил — как же, мол, тут же не откликается, да еще не уберег от твоей же, прости меня, пакости! То ты учился — некогда, то женился — радовался — не до Него, то пьянствовал — время нет, то деньги зарабатывал — дело прежде всего. Куда там этот стук услышать!

— Постой, постой! — вскричал Лев Ильич. — Ты о ком? — Ему вспомнился вчерашний разговор с друзьями, и по какой-то непостижимой для него ассоциации, додумать которую сил у него не было, так все путалось и рвалось, Верин рассказ о том, как расстреливали ее деда... — Это Он к ним стучался, а им все некогда: освобождали, произносили речи, убивали, а теперь... мы?..

— Кто мы? Ты что, Лев Ильич, голубчик, что с тобой? — кинулась к нему Маша.

Снежок шурушал, в окно скребся, день начинался серенький: "Поздно, наверно?.." Лев Ильич еще не пришел в себя, ему почудилось — дверь стукнула, шаги на лестнице: "Ушел, что ли, кто?"

Слабость была, будто неделю провалился. Но такая тишина стояла в нем, покой, он опять закрыл глаза — печально и хорошо ему было. В детстве, когда жил с мамой, любил он так вот утром проснуться — и болен, и ничего не болит, лежишь себе тихонько, как паришь где-то, тепло, славно, а сейчас мама войдет, одеяло подоткнет, поцелует...

Он вдруг с взорвавшимся в нем ужасом открыл глаза и отбросил одеяло.

Это была все та же комната, в которой он проснулся и вчера: сумрачно, чисто и тепло. Попугай посматривал на него убагабоченно, в клетке чистота, вода в чашечке, зерно. "Уж не Маша ли приходила — ушла только что, вот дверь и разбудила?"

Он увидел записку на столе — круглый почерк школьницы: "Сладко спишь — совесть чистая! Будить жалко, сиди дома, пойдешь — заболеешь. Пей чаю побольше с малиной, а каша в духовке. Все на кухне найдешь. А я днем забегу. Маша."

Он так и остался сидеть, забыв листок в руке: чего она с ним возится, зачем он ей и всем, кто делает ему добро? Вчера на него убила вечер, а как он в жару в беспамятстве добирался сюда? Ну а что — она его за дверь, что ли, должна была выставить, куда ж деваться, если он тут? Да не в том дело, а вот почему он, в сорок семь лет оказался бездомным — без руля-ветрил — вот вопрос. Да и не бездомным, чепуха это — и дом есть, и снять можно комнату — тоже трагедия! Руля-ветрил, что ли, у него не было? тоже ведь нашел, счастлив был, жизнь открывалась, гордился... Вот не лишняя ли та гордость?..

Он протянул руку и взял со стола тяжелый том — тот, что Костя вчера принес и оставил. Раскрыл его.

Он никогда потом не мог понять, что же все-таки произошло с ним, он всегда был книгоцеем, увлекался, привык с детства, мама воспитывала в нем культуру чтения, но не было такого, чтоб жизнь путалась с книгой. Книга книгой, а кроме того дела есть: чай пить, во двор к ребятам или потом — мало ли что у него затевалось. Книга оставалась на столе, ждала его, о ней, случалось, и подумается, приятно или утомительно — но ч т е н и е — причем тут жизнь!.. Он забыл обо всем и очнулся от того, что растворилась дверь, вошла Маша, запорошенная снегом...

— Ты что это, голубчик, только проснулся?

Лев Ильич сконфузился, но все не мог понять, взять в толк — сколько времени он так вот сидит, не одевшись, на незастланном диване, с книгой на голых коленях.

— ...За тобой, правда, нянька нужна. Давай-ка одевайся. И чаю не пил?

Маша пошла на кухню, загремела там, Лев Ильич быстро оделся, сложил постель, умылся. На кухне уже кипел чайник, Маша

накладывала в тарелку гречневую кашу.

— Хорош. И давно так вот сидишь, больной-то?.. С тобой напьюсь чаю и побегу — у нас сегодня народ. Каникулы, что ль, студенческие кончились, да нет, рано еще, вот и моего дурачка все нет...

Он и не слышал ее. Поел, каша упрела, пахучая была, вкусная; чаю напился. Чувствовал он себя получше, слабость проходила, все равно решил не ходить в редакцию: позвонил, что заболел, будет в понедельник.

Как только Маша ушла, он сел к столу и взял книгу.

Как она попала к нему, почему именно сегодня утром?.. Да, Костя!.. Но почему именно Костя принес, оставил, а сам... "Откуда ты знаешь, как и через кого т о приходит?" — огорошил сам себя Лев Ильич и ему жарко стало от радости, счастья, вернувшегося вдруг к нему. Он лихорадочно листал книгу — вон оно, место о предельном отчаянии: "Я не знаю, есть ли Истина или нет ее, — читал он. — Но я всем нутром ощущаю, что н е м о г у без нее..." Свою судьбу, разум, душу, требование достоверности — все вручаю в руки самой Истины, ради нее отказываюсь от доказательств. Ибо если нет ее — деваться некуда... О! он знал уже это, почувствовал — и то, что ему некуда деваться, если ее нет, и свою отчаянную готовность, решимость отдать ей все — все, что у него было. "А готов ты к этому?" — спросил его кто-то в его собственной душе. Но он отмахнулся, затопил в себе этот смешок...

Перед лицом вечности все должно разоблачиться, — читал он, — стать нагим — еще Харон это знал! — оставить богатство, красоту, гордость, презрение к людям, человеческое высокомерие, почести, ученый вздор, невежество, пустословие, умствование, суету мелочей... Все, что своим источником имеет не Бога, корни чего не питаются влагой вечной жизни, что внутренне осуждено уже своим несоответствием с Истиной, всему этому все равно грозит вечное уничтожение — огонь второй смерти. И работа эта должна идти еще при жизни — не встречи же с Хароном дожидаться, поздно будет! Сеющий ветер грехов пожнет в том веке бурю, ибо одно и то же пламя светит и греет одним, а других жжет и изобличает своим светом...

Неужели тебе не стыдно, — читал Лев Ильич, обращенные прямо к нему слова, — неужели ты не можешь отрешиться от субъективного, забыть о себе, не поймешь, что надо отдаться объективному? Ты хнычешь, жалуешься, будто кто-то обязан удовлетворить твоим потребностям, ибо ты не можешь жить без того и сего. Ну и что — не можешь жить — умирай, истеки кровью, но живи — объективно, не ищи себе условий жизни, тверд будь, закален будь, живи в чистом, горнем воздухе, в прозрачности вершин, а не в духоте преющих долин, где в пыли роются куры и в грязи валяются свиньи. Стыдно!..

Лев Ильич поднял руки к горящим щекам, потом нашарил спички и первый раз сегодня закурил. Что он, верно, все жалуется и хнычет, не может жить без того и сего — умри тогда, истеки кровью, или копошись в грязи и в пыли, коль не стыдно... Есть два пути, — читал он, — один жизнь, а другой — смерть и между ними большая разница. А зло не что иное, как духовное искривление, грех — все, что ведет к таковому. Или другими словами: грех — беззаконие, ибо Закон и Порядок дан твари Господом. Личность, самоутверждаясь, противопоставляет себя Богу — тут источник дробления, распада, соблазн растления, в котором нет ничего положительного, потерянности: не "я" делаю, а со мной происходит, земля швыряется под ногами, все оказывается свободным во мне и вне меня — все кроме меня, вот оно что! Отсюда извращение и нравственной и телесной жизни. Рак греховной язвой разъедает душу, до сердца не доберешься, оно уже не способно воспринять Истину, как в стальном панцире, не достучишься. Грех и есть по своему, сатана — по своему. Грех непременно нечто рассудочное — парадокс, что ли? — рассудок в рассудке. Дьявол, Мефистофель — голая рассудочность — все делается плоским и пошлым. Не зря ж и интеллигент на словах любит мир, а на деле ненавидит именно конкретную жизнь, повсюду видит только искусственность, лишь формулы и понятия. Поэтому он стыдится еды, не вкушает, но лопает — это всего лишь физиология, отсюда цинизм — стыдятся, но делают! Нет спокойствия, мира, только смятенность и тяжесть — вот она, безблагодатность души, неблагодарность к жизни, бесценному дару Божию, стремление все переделать по-своему — сады, нравы, государство, религию... Дух же Святой открывает Себя в способности видеть красоту во всем — именно в конкретной жизни! — вот что значит "воскресение до всеобщего воскресения"! — в природе, во всей твари.

Лев Ильич уже держался за книгу, как брошенный в реку, нырнувший безо всякой надежды выбраться, доплыть до берега, хватается за случайно (случайно ли?) подброшенное ему бревно. В эмпирической действительности, — читал он, — нет ничего безусловного, даже совесть. Один только Иисус Христос есть идеал каждого человека — не отвлеченное понятие, не пустая норма человеческого вообще, не схема, а образ, идея, не ходячие нравственные правила и не модель для подражания. Он — начало новой жизни, которая раз уж принята от Него в сердце, сама развивается по собственным своим законам. Храм Божий, храм Света не может погибнуть, исчезнуть — погибнет все содержание сознания, поскольку оно не из веры, надежды и любви. Спасется голос Богосознания без самосознания — сознания своего творчества, своей активности, оно станет чистой мнимостью, вечно горящей, вечно уничтожаемой — кошмарным сном без видящего этот сон. А дело каждого все равно обнаружится — это уж Лев Ильич крепко усвоил, — материал, пу-

щенный в постройку, выявит свою природу, и дело целой жизни — а жизнь-то одна! — может оказаться ничем. День покажет подлинную стоимость — День абсолютной оценки, судный День!..

Но здесь, здесь-то — пока ж я здесь! — где это встретить, найти, куда кинуться? — лихорадочно думал Лев Ильич. Вечное усилие, доказывающее бессильность бессилия сделать усилие: "Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее". Любовь обогащает, растит себя через о т д а ч у с е б я. Чем более старается "я" удовлетворить свое слепое хотение, бесконечную похоть, тем более растрavляется внутренняя жажда. Кто стремится быть богатым, тот подобен человеку, пьющему морскую воду: чем более он пьет, тем сильнее в нем становится жажда, да и никогда не перестанет пить, пока не погибнет...

Церковь же строится из самих людей, — читал Лев Ильич с загоревшимся сердцем. — Какой же это материал? Не то, чем человек сам для себя является, а то, что он есть как Божье создание, как образ Божий, то, каким он себя свободно выражает в подвиге, преодолевающим злую самость. И нет ничего прекраснее личности, которая в таинственной мгле внутреннего делания оставила мир греховных тревог и, осветленная, дает увидеть в себе мерцающий как драгоценный маргарит образ Божий. А потому и тайны религии — это не секреты, которые не следует разглашать, не условный пароль заговорщиков, а невыразимые, неопиcуемые п е р е ж и в а н и я, которые и не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречий, которые зараз и "да" и "нет". Церковность — имя тому прибежищу, где умиряется тревога сердца, где умирятся притязания рассудка, где великий покой нисходит в разум... А потому и сама неопределимость церковности, неуловимость ее для логических терминов, несказанность — не доказательство ли, что это ж и з н ь — особая, новая, недоступная рассудку? Неопределимость православной церковности — лучшее доказательство ее жизненности. Нет понятия церковности, но есть сама она и для всякого живого члена Церкви жизнь церковная есть самое определенное и осязательное из того, что он знает. А потому и нет для в е р у ю щ е г о разделения Церкви Духа Святаго и Сына Божия, нет Церкви Мистической и Церкви исторической, на которой все спотыкаются — это одно существо, вторая вырастает в первую, они спаяны так крепко, что кажутся высеченными из одного камня.

"...Многими веками, изо дня в день собиралось сюда сокровище, самоцветный камень за камнем, золотая крупинка за крупинкой, червонец за червонцем, — читал Лев Ильич, не в силах сдерживать слезы умиления. — Как благоуханная роса на руно, как небесная манна выпадала здесь благодатная сила богоозаренной души. Как лучшие жемчужины ссыпались сюда слезы чистых сердец. Небо, как и земля, многими веками делало тут свои вклады. Затаенней-

шие чаяния, сокровеннейшие порывы к богоуподоблению, лазурные, после бурь наступающие минуты ангельской чистоты, радость богообщения, и святые муки острого раскаяния, благоуханные молитвы и тихая тоска по небу, вечное искание и вечное обретение, бездонно-глубокие прозрения в вечность и детская умиренность души, благоговение и любовь — любовь без конца... Текли века, а это все прибывало и накапливалось... И каждое мое духовное усилие, каждый вздох, слетающий с кончика губ, устремляет на помощь мне весь запас накопленной благодатной энергии...'

Да, все было так, так он и чувствовал — не зная и не понимая, не умея сказать и подумать, но он з н а л это, он это всегда знал! Что ему было до того, как могут прочесть это услышанное им, подаренное ему неведомо за что — с насмешкой ли, с брезгливым раздражением! Он знал теперь, что для того, чтобы прийти к Истине, надо отрешиться от самости, надо выйти из себя, а это для него, для нас р е ш и т е л ь н о н е в о з м о ж н о, ибо мы — плоть. Но как же именно в таком случае ухватиться за Столп Истины? Не знаем, и знать не может, читал он. Знаем только, что с к в о з ь з и я ю щ и е т р е щ и н ы ч е л о в е ч е с к о г о р а с с у д к а в и д н а б ы в а е т л а з у р ь в е ч н о с т и. Это непостижимо, но это — так. И знаем, что Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не Бог философов и ученых приходит к нам, проходит к одру ночному, берет нас за руку и ведет так, как мы не могли бы и подумать. Человекам это "невозможно, Богу же все возможно"...

Да, это непостижимо, но это так, — бормотал Лев Ильич, — сама Истина делает за нас невозможное для нас. Книга обращалась к нему, прямо к нему — для него была написана. По мере приближения конца истории, читал он, являются на маковках Святой Церкви новые, доселе почти невиданные р о з о в ы е лучи грядущего Дня Немеркнувшего...

Те же самые слова, те же цитаты, что повторил ему здесь же, в этой комнате, за день до того Костя. Но — не так, не про то было написано — Лев Ильич теперь знал это твердо.

"Розовые лучи грядущего Дня Немеркнувшего", — повторил он про себя и увидел вчерашнюю картину в комнате Маши, выплывшую к нему из темноты: стену храма с розовеющим на ней крестом...

— Ну, хозяин, принимай гостей!

Лев Ильич поднял голову, еще не понимая: в дверях стоял Кирилл Сергеич с чемоданом, под руку ему поднырнул мальчишка — быстроглазый, с исцарапанной щекой, в шапке с опущенными и завязанными под подбородком ушами, кинулся к клетке с попугаем, тот залопотал, рассказывая о своих переживаниях. Лев Ильич, смущенный, не готовый к встрече, к которой давно бы следовало подготавливаться, вскочил, громыхнув стулом.

Кирилл Сергеич зорко смотрел на него, щелкнул выключателем, зажегся свет.

— Что это вы впотьмах? Заболели?

— Простудился. Вчера неважно было, а теперь ничего, получше... Вот решил не ходить сегодня на работу. Зачитался...

— А... Костя приходил? — быстро спросил Кирилл Сергеич.

— Да. Оставил книгу...

Вошла Дуся, улыбнулась Льву Ильичу, открыла форточку. Лев Ильич еще больше смутился.

— Накурил я у вас, простите... — забрал пепельницу, пошел на кухню, вытряхнул.

— Знакомьтесь, Лев Ильич, с моим наследником, — сказал Кирилл Сергеич.

Мальчик уже разделся, розовые уши торчали, как крылья у бабочки; подошел, смело подал руку.

— Сережа...

— Разболелись, Лев Ильич? — спросила Дуся. — Сейчас я вас медом буду отпаивать.

— Спасибо, мне лучше. Маша тут за мной ухаживала... Я пойду, что ж я... мешать буду.

— Бог с вами, куда вам больному — метель на дворе, да и поздно. Нам вы не мешаете.

— И не думайте, Лев Ильич, — сказал Кирилл Сергеич. — Я сегодня свободный, поговорим. Завтра с утра на службу. Вам обязательно денек-другой в тепле побыть... А может, хорошо, что заболел? — глянул он вдруг Льву Ильичу в глаза. — Болезнь, другой раз, посылается человеку, чтоб он остался наедине с Богом...

— Спасибо... — Лев Ильич все еще стоял, держась за спинку стула, а тут было за карман схватился, закурить, и смешался. — Я... если не помешаю, правда останусь. Мне с вами нужно поговорить.

— Вот и отлично... Вы на нас внимания не обращайтесь, мы — на вас. Читайте, перекусим и поговорим.

Окна стали совсем темные. "День прошел!" — поразился Лев Ильич, он и не заметил время за книгой.

В доме шла своя жизнь, на него, и правда, не обращали внимания, но он нервничал, готовился к разговору, очень уж много всего было, без чего, не выяснив, теперь и жить нельзя, а здесь оставаться, вроде бы, и совсем невозможно.

Маша забежала, куда-то торопилась.

— Ну, слава Богу, передаю свое дежурство над тобой. Ты у нас, Лев Ильич, переходящий: Вера — мне, я — Дусе. Поправляйся. Не выпускай его, Дуся, он как маленький...

Сели за стол с молитвой. Если б не то, что с ним тут случилось, Льву Ильичу совсем было бы хорошо. "Вон чего захотел, чтоб все хорошо — заслужить надо!.."

Мальчишечка поглядывал на Льва Ильича с любопытством.

— А вы марки собираете? — спросил он вдруг.

— Давно собирал, когда был такой, как ты. А ты какие собираешь?

— Всякие. У меня мало еще.

— Я тебе принесу. У нас в редакцию приходят письма из заграницы.

— Папа тоже получает. Из Иерусалима. Есть красивые.

— Вот и я тоже, наверно, скоро получу оттуда, — сказал Лев Ильич и Борю вспомнил. Только он его и вспоминал, когда думал про тот отъезд.

Кирилл Сергеич как подслушал его мысли.

— Ой, как печально это все — отъезды, письма оттуда — новое рассеяние, теперь началась наша диаспора.

— Навсегда, — сказал Лев Ильич. — Никогда не увидимся.

— Да, пожалуй, только там — в том Иерусалиме.

Сережа попрощался — спать пора.

— Ну, как решил, пойдешь завтра в школу? — спросил Кирилл Сергеич.

— Пойду, — сказал мальчик. — Чего мне их бояться... А вы завтра будете? — повернулся он к Льву Ильичу. — Я вам покажу свою коллекцию. Есть интересные колонии. Бывшие, то есть, колонии.

— С удовольствием посмотрю. И чтоб знать, какие у тебя есть, хоть для обмена и дубликаты годятся. Или ты не меняешься?

— У меня маленькая коллекция, — ответил Сережа.

— Славный мальчик, — сказал Лев Ильич, когда за Сережей закрылась дверь.

— Вот и у него уже начались конфликты с жизнью... — Кирилл Сергеич помогал Дусе убирать посуду.

— Марки, что ли? — не понял Лев Ильич.

— Нет, не марки... У него, можно сказать, настоящая жизненная история. Рановато, правда, но ведь кто знает сроки?

— Ладно тебе, отец, — сказала Дуся в сердцах, — надо в другую школу переводить.

— Нет, не нужно. Да и все школы одинаковы. Или, может, в Иерусалим поедем?

Дуся ничего не ответила, вытерла стол, забрала посуду и вышла.

— А история такая. Все у него было в школе спокойно, я еще в первом классе познакомился с учительницей, все ей объяснил, просил мальчика не трогать. Она женщина умная, поняла. Как-то и у нас даже была — им положено проверять, как дети живут, сидела тут, чай пила — но больше про попугая разговаривали. Умный человек — зачем лезть в чужую жизнь. А сейчас она ждет ребенка, декрет,

у них другая учительница — временная, да такая... азартная, одним словом. И как на грех случай. Ребятишки-третьеклассники, мальчишки возились на перемене — куча-мала. У нашего рубашонка расстегнулась, крестик и выпал. А здесь звонок, учительница: "Что такое?" "Крестик", — поцеловал его и под рубашку заправил. Что ж ты, говорит, уж не в Бога ли веришь? А как же, мол, верую. "А если ты отцу на работу сообщим? Где он работает?" "А в церкви, священником..." Видно, не нашлась сразу, растерялась, а ребята, известно, довольны, посмеиваются над ней. Вот я и говорю: азартная. Нет бы успокоиться, делом заниматься, а она вздумала начать антирелигиозную пропаганду — как же, случай подходящий. Книг они читались, теоретики есть, специалисты, журнал "Наука и религия"... Если, мол, крест не снимешь, мы тебя в пионеры не примем. А как же, мол, вы меня примете, если я и сам туда не пойду?.. А ведь кругом дети, не та получается пропаганда. Тогда она придумала сильный ход. Приносит в класс икону и прямо на уроке достает из портфеля. Сейчас она разоблачит все это мракобесие! Вызывает Сережу: что, мол, это такое? Уж не знаю, какого она от него ждала ответа. А он подошел к иконе, перекрестился, взял в руки, поцеловал и положил на стол. Это, говорит, Матерь Божия, всех скорбящих Радость... Опять осечка, тем более, у нее инициативу забирают из рук. Приходит еще через день в класс, а на доске сверху мелом выведена надпись: "Бог был, Бог есть, Бог всегда будет!" "Дежурный! Кто писал?" Не знает дежурный. "Староста!.." Не знает и староста. "Дежурный! Сотри с доски!" "Я не писал — я и стирать не буду." "Староста!.." То же самое. Надо бы взять, да самой и стереть, так и нѣ это ума не хватило. Прямо под этими словами стала задачки писать — у них урок арифметики, вроде, мол, внимания не стоит обращать. Или, уж не знаю, амбиция, что ли — стирать не захотела. Так или нет, но весь урок ребята на те слова глядели. Может, кто и задумался: есть Бог-то!..

— Ну а теперь? — спросил Лев Ильич.

— Вот, теперь. Стали мальчонку таскать по разным пионерским мероприятиям, какие-то ему дают общественные поручения. Не отказывается, выполняет: то металлолом, то книжки в деревню — хорошо. А тут вечер, праздник, стихотворная композиция, она ему и сунула — "Про попа и работника его Балду". А он, главное, и нам дома ничего не сказал...

— Сказал он мне, — Дуся вошла в комнату.

— Что ж ты от меня скрыла? Ну вот, видишь как. Я б сразу пошел в школу. Эх, Дуся, Дуся...

— А что, Дуся, правильно он сделал.

— Вот, видишь как... А он взял, да ни слова не говоря "Отцы пустынноики и жены непорочны" прочитал — у них пушкинский вечер. Она сначала ошеломилась, а когда он дошел до "Во дни печаль-

ные Великого поста...” — опомнилась, прервала композицию и его выставила за дверь... Расстроился, конечно, мальчик, а тут еще простудился, мы его и отправили на десять дней в деревню. А в школе я разговаривал, но трудно — никак не могут понять, что с живыми людьми имеют дело, не с оловянными солдатиками. Ну ничего, ничего, не расстраивайся, мать. Еще не такое будет... Посмотри лучше, как он там укладывается, книжки на завтра... А мы с Львом Ильичем поговорим...

Дуся молча ушла.

— Значит, мальчик с таких лет уже изгоем себя будет чувствовать, не плохо это разве?

— Почему изгоем? — удивился Кирилл Сергеич. — Разве он похож на такого, ущемленного?

— Нет, внешне он никак не похож, напротив, но то, что не такой, как все: они пионеры — он нет, они про попа и про Балду, а он — не может...

— Ах, вот почему, — улыбнулся Кирилл Сергеич. — Так это их пожалеть нужно — не его. Что уж в пионерах заманчивого. Жалко это все выглядит, хуже, чем в ваше время, там хоть во всей этой глупости была чистота, а сейчас мертвый формализм — дети это сразу распознают. И с Пушкиным тоже ничего плохого не вижу... Нет, я думаю, все правильно. Какой же он изгой, если уже в детстве знает, что он православный, дома у себя — в России, что он не один — с Богом, что за ним десять веков христианства на Руси? Там у него есть свои беды и слабости, а тут все правильно — у нас хуже было. У меня было хуже, — он замолчал.

Лев Ильич не знал, как начать этот разговор.

— Трудно вам было, Лев Ильич?

— Нормальное детство: в барабан стучал, кричал на Красной площади до звона в ушах... То есть, свое-то было, конечно.

— Я про другое. Надо было мне задержаться на денек — причастить вас.

Лев Ильич откинулся на стуле и впервые посмотрел Кириллу Сергеичу в лицо — оно было печальным и опять, как в тот раз, при прощании, его поразила усталость в глазах.

— Да. Только здесь не то слово. Я чуть было не пропал, отец Кирилл. А вернее сказать, пропал, совсем пропал.

— Ну что вы, эдак-то уж и нельзя. Я ж вас упреждал от отчаяния. Эх, как плохо! Посидите завтра в тепле, книги почитайте — я вас никуда не выпущу, а в воскресенье — у нас Прощеное воскресенье будет, я вас исповедую, причащу...

— Даже не знаю, Кирилл Сергеич, смогу ли... — начал было Лев Ильич, но вдруг как сорвался: "А ведь все защищаюсь, на других хочу свалить, чужими грехами оправдаться!.." — подумал, но все равно не удержался. — Вы знаете Виктора Березкина?

— Березкина?.. — удивился Кирилл Сергеич. — Березкин Виктор... Погодите. Философ? Как же, знаю. А он что, приятель ваш?

— Приятели, — буркнул Лев Ильич, тоскливо ему сразу стало. А правда, что он у вас на Рождество был в храме, и вы встречали его особо, с этой его, простите, шикарной любовницей? И провели, и поставили хорошо... Верно это?

— На Рождество?.. Да, кажется, был... Да, конечно, был. Как же — на клиросе стояли. Хорошо поставил? Да, там удобно, а то очень народу много — не протолкнешься.

— И однако вы их... протолкнули. А вы знаете, что он неверующий и... более того.

— Читал, читал его статейки о Достоевском — смелый исследователь. Я-то его не так хорошо знаю, а он про Достоевского все, как есть, будто тот ему исповедовался. Как же, читал — он там выводит атеизм Достоевского.

— Ну... и почему ж вы?..

— А что такое?

— Как же вы его... встречали, провели, сами говорите, народу было много, поставили?..

— Я что-то, верно, не пойму вас, Лев Ильич, а почему бы мне его не встретить и поудобней не устроить, если он мне знаком? А что неверующий, так я всегда рад атеистам в храме — глядишь, услышат чего ни то.

— Но ведь, чтоб его с его... дамой провести, надо было кого-то потеснить — истинно верующего, да и место хорошее могли бы тем предоставить, кто того достойней. А уж Березкина там были поблагочестивей...

— Подстойней, поблагочестивей? — искренне изумился Кирилл Сергеич.

— Конечно! — заспешил Лев Ильич. — Вы провели своего знакомого, человека, ну... мягко говоря не имеющего к церкви никакого отношения, тем самым лишили места кого-то, кто имел на него значительно больше права. А кроме того, выказав эту свою, ну, как бы сказать?..

— А вы проще говорите, что думаете, а то вас до конца никак не пойму.

— До конца? Ну если до конца, то и получается: вот здесь, в этой потрясающей книге, меня про меня заставившей забыть, сказано, что нельзя различить Церковь мистическую и историческую, что она как бы срослась. Но что же получается, если и священник отравлен мирским — суетой ли, корыстью — да чем бы то ни было! Если... ну не о Боге ж вы думали, отец Кирилл, когда моего дружка Березкина устраивали на клиросе?

— О Боге, — сказал Кирилл Сергеич и лицо его стало серьезным, отвердело. Вот вы о чем! Наконец, понял, простите меня,

недогадлив. Значит, вам увиделось в том, что я...

— Нет, нет! — перебил его Лев Ильич. — Тогда уж я все объясню, а то совсем получается глупо, да и вывернуть можно. Конечно, факт обыкновенный, ничего не стоящий — и человеку сделали удовольствие, а может быть, ему и в душу западет, и притчу о блудном сыне можно вспомнить. Но я здесь другим ушибся. Я этот факт, эту мелочь, чепуху, пусть даже вашу слабость, если вы мне ее объясните не захотите, я, понимаюте, связал это все единой цепью — с Адама начиная, через праотцов ко Христу, всех мучеников веры, святых. И вот, если конец той цепи... у моего дружка Березкина на клиросе, тогда — нет ничего. И цепи той нет, и клирос — пустое место. Я, может, все это сбивчиво, не так объяснил, но мне скверно, отец Кирилл, совсем плохо. Меня вчера Маша, а сегодня — эта книга чуть привели в себя. Очень уж правда красиво в ней все, стройно — другой мир. Все так, но — куда мне!..

— Хорошая книга. Действительно, молодая. Романтическая. Ну это большой разговор, ежели всерьез говорить о "Столпе" и Флоренском. Но напряженность мысли о Христе несомненная и удивительная даже у нас... Хорошо, что вы ее так прочитали... Но вы напрасно думаете, что я от ваших слов намерен отмахнуться, почесть этот факт, так вас поразивший, не стоящим внимания, или даже, как вы говорите, "вывернуть" ваши слова. Я, правда, не знаю, почему он так вас потряс — тот "факт", видимо, есть свои причины, и наверно глубокие — но захотите, сами расскажите... Только причем же тут притча о блудном сыне? О возвращении блудного сына? Этот наш философ — нормальный либеральствующий коммунист. Конечно, коль считать всех неверующих блудными детьми... Нет, если уж вы притчу вспомнили... да вот здесь, у Флоренского... Вы все прочитали?

— Что вы! Я... пролистал... отдельные главы...

— Одна из самых загадочных притч Евангелия — о неправедном домоправителе. Не помните?.. Вот вам Евангелие. Откройте — от Луки, главу шестнадцатую. А я пока у Флоренского найду... Замечательное толкование. Дело, конечно, не в вашем приятеле и моей, быть может, вы и правы, — слабости...

— Простите меня, отец Кирилл, я не хотел вас обидеть.

— Бог с вами, Лев Ильич, я священник, какие могут быть обиды? И поверьте мне — не... фразер, хотя, что делать, и слаб, и недостойн, разумеется, способен на ошибки — вольные и невольные. Но если Богу будет угодно, я вам помогу... Если уж вы себе цепь представили, которая начинается в первородном грехе, а заканчивается этим моим несовершенством — обо мне ведь речь, не о Березкине — правильно я вас понял? — глянул он на Льва Ильича, — то и эта притча будет кстати... Нашли? Читайте вслух, прямо с начала главы: "Один человек..." Ну, хотя бы девять стихов.

Лев Ильич начал было читать, сбился, чуть успокоился и принялся еще раз — с начала.

— "...один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: "что это я слышу о тебе? дай отчет в управлении твоём: ибо ты не можешь более управлять". Тогда управитель сказал сам себе: "что мне делать? господин мой отнимет у меня управление домом: копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом". И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: "сколько ты должен господину моему?" Он сказал: "сто мер масла". И сказал ему: "возьми твою расписку, и садись скорее, напиши: пятьдесят". Потом другому сказал: "а сколько ты должен?" Он ответил: "сто мер пшеницы". И сказал ему: "возьми твою расписку и напиши: восемьдесят". И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо сыны века сего догадливее сынов света в своём роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители..."

Лев Ильич с изумлением посмотрел на Кирилла Сергеича.

— Какая странная притча! Выходит, хозяин похвалил управителя за то, что он самовольно распорядился его имуществом, проявил щедрость за счет хозяина, и еще на этой своей "доброте" за чужой счет приобрел себе капитал? Не понимаю. Какая-то корысть и двойная бухгалтерия.

— Да, все так, если вы подходите к этому законнически, юридически, моралистически. Верно. Но вдумайтесь в притчу, пойдите вслед за евангелистом, за Флоренским в его толковании. Домоправитель — это человек, приставленный к Божьему имению — к той жизни, силам и способностям, которые ему вручены для преумножения, а он расточил ту жизнь — Божие имение. И вот Господь потребовал его к ответу. Ему предстоит лишиться всего, чем он, казалось, владеет, а на деле принадлежит не ему, а Богу — он должен лишиться всего, все это выгорит в судном огне. Он останется "нагим", "нищим" — ему уже объявлено, что он более не может управлять имением. Тут-то он уже понимает, что положение его безвыходно, жил он не на свое — на Божие имение, своего нет и быть не может. И тогда он хочет обеспечить себе место, хотя бы в других домах — то есть, в душах, в молитвах, в мыслях других людей, а быть может, в памяти Церкви. Что же он делает для того, чтобы этого добиться? Он говорит с каждым порознь, в тайне, чтоб не просто выказать свое великодушие, но воистину убавить им их долг перед Богом — сокращает этот их долг в своем сознании. То есть, с точки зрения права или морали совершает новое преступление — прощает поступок против Бога. Но в духовной жизни как раз и требуется

такая несправедливость, ибо, несправедливо прощая чужие грехи, мы более оправдываем себя, неправедных — "сынов века сего", нежели праведные, благочестиво осуждая чужие грехи, могли бы оправдать себя, праведных — "сынов света". Хотя, казалось бы, вполне естественно, что ревность к славе Божией, усугубляя вину других, подчеркивает лишний раз, что мы никак не сочувствуем их грехам, что мы, радея о Господе, считаем их даже своими должниками! И однако "похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде"... Надо ли нам с азартом подсчитывать чужие грехи, кичась своим благочестием, забывая о том, что наше собственное положение безвыходно, что вот-вот и нас призовут к ответу?..

— Что ж получается, что и мораль, и нравственность, и право, моя способность оценивать поступки, добро и зло, справедливость — это все ничто, у Бога все иное? Как же я ориентируюсь тогда в этом мире — я ж в нем существую?..

— Вам даны заповеди. У вас есть Откровение, Предание, Церковь — там все ответы. Да вот — через пять стихов, там же: "вы указываете себя праведными пред людьми; но Бог знает сердца ваши: ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом".

— Я всегда почитал корысть грехом, неприемлемым для себя? — Лев Ильич был по-настоящему растерян. — А оказывается, она может быть достойна похвалы? Сохранить себя в душах других за то, что я прошу им их долг перед Богом? Непостижимо.

— Вы будете молиться за них, они — за вас, что может быть выше такой общей молитвы к Богу? А судить вас или кого-то можно только согласно благодати, но какие вам даны дары, кто знает?..

— Отдать все, что есть, все, чем жил, гордился, собирал всю жизнь по крупицам, отдать память, доброту — то, что и делает тебя самим собой, за что меня любили?

— А другого выхода нет. Отдать все, но остаться в душах других, — просто сказал Кирилл Сергеич. — Все, что вы собирали, чем гордились, что составляло вашу жизнь — ну что это рядом с тем, что вам открылось? Подумайте об этом в церкви, разложите перед собой все, о чем вы сейчас говорите: себя, свое душевное богатство, свою память, сомнения, тревоги — и то, что почувствуете, услышите в церкви. Попросите Бога помочь вам оценить то и это. И все станет ясным. Я убежден — вы получите ответ.

— Церковь! — сказал Лев Ильич с горьким ожесточением. — Я прочитал об этом прекрасные слова в этой книге. Я и не знал, что можно так про это сказать. И когда читал, мне казалось — живу и вижу. Но вот теперь, снова, что делать с сомнениями, с тем, что не можешь не учитывать и позабыть? Да, и о недостойнстве священников, и о том, что благодать в крещении может быть не передана —

так ведь?

— О чем вы, Лев Ильич? Вы приходите ко Христу, себя отдаете, ему вручаете, вам открылась жизнь вечная, а вы — о чем? О ничтожестве пастырей? Их человеческая слабость приводит вас к сомнению в Истине? Да разве вы сами не слабы, разве вам не дано споткнуться на ровном месте? Почему ж и другой, даже облеченный властью вязать и разрешать, от того не огражден? Он такой же. И тем не менее, Серафим Саровский ходил за благословением к священнику отцу Нифонту, который не любил подвижника, утеснял его самым недостойным образом. Столп Православия, праведный Серафим, двенадцать раз удостоенный лицезреть Матерь Божию, просил благословения у какого-то священника, которого мирски, за его поведение, можно подозревать во всякого рода корысти! А что о крещении, то по слову того же Серафима, благодать Духа Святаго, ниспосылаемая нам свыше в таинстве крещения, столь велика, необходима и живоносна для человека, что даже от чело- века-еретика не отъемлется до самой его смерти, светит в сердце светом бесценных заслуг Христовых, какая бы тьма ни была во- круг нашей души. Это слова Серафима. Как же можно усомнить- ся в устойчивости благодати?.. Я не хочу защищаться перед вами — вы правы, я могу только уважать ваши чувства, когда вы так тра- гично думаете о слабости, даже ничтожестве нашей церковной иерар- хии. К тому ж, может быть, тут и другое... Когда дьявол старается ослабить веру в человеке, он раньше всего колеблет в нем уважение к пастырям: когда овца удалится от пастыря — тогда она сразу ста- новится добычей волка. Так Старцы говорили. Хотя это вас не убе- дит — вам нужны другие слова, но что делать, коль они свидетель- ствуют об Истине!..

— Да нет, что вы, мне все это очень важно, но, простите меня, так это тяжело!..

— Тяжко. Но не в этой ли, как говорят, динамичности и до- казательство истинности, жизненности — реальности Церкви — собра- ния спасающихся грешников, а не святых? Ведь самый хороший чело- век срывается, поступает скверно, — если б это было не так, вы б ему просто не поверили. Священник не святой — он только пере- дает благодать, а лично ею вне церкви может и не обладать. Иуда был апостолом, а разбойник — разбойником!..

— Вы не оставляйте меня... — попросил Лев Ильич. — Я все затоптал, и у меня не хватает сил —ни преодолеть этого в себе, ни в себе до конца разобратся.

— Молитесь. А я исповедую вас. В церкви. Быть может, это вам испытание, наказуя вас, Господь ищет вас исправить — за гре- хом последует покаяние, слезы — не стыдитесь их.

— Пусть так. Но я еще жив, как могу я не лицемерить, идти к вам, не будучи уверенным в том, что завтра не совершу того же,

в чем сегодня покаялся — пусть искренне, со слезами, с душевным сокрушением?

— А белье, когда вы отдаете в стирку, разве не убеждены при этом — ведь и сомнения даже нет! — что непременно снова запачкаете? Тоже и с душой. Чем чаще моете — тем приятнее Господу, что же смущаться, что грязь одна и та же — главное смыть ее. Мы себе не судьи, откуда вам знать, хуже вы стали или лучше, хотя и вновь тем же грехом согрешите? Может, это строгость ваша к себе возросла, духовная зоркость? А может быть, вы хорошее в себе не видите — стало быть, в вас нет тщеславия, да и то, что боретесь, страдаете о грехе, — разве это не благо, хоть и вновь мучаетесь? Такая к себе ревность много лучше, чем фарисейское сознание своей избранности. Когда вы сказали мне о Березкине, я, признаться, напугался — он плох, недостойн, а мы, выходит, достойны? Помните притчу о мытаре и фарисее, благодарившем Бога за то, что он не такой, как прочие, лучше?.. А Богу один кающийся грешник приятнее, чем десять самодовольных "праведников". Отцы говорят, что скорби, страдания, жалобы, сетования, муки совести, недоумение, плач ума и вопли сердца, сокрушения и презрение к себе — все это приятнее перед Богом, чем благоугождение благочестивого...

— Не знаю, — сказал Лев Ильич в печали, как бы хотелось ему сейчас все начать с начала! — Если бы раньше, а то теперь я... я не могу прийти к вам за причастием. Я... перед вами виноват. Я вас оскорбил. ("Господи, как передать ему ужас того, что он совершил?")

— Бог с вами, Лев Ильич, я — священник. Как вы можете меня оскорбить? Перед Богом исповедуйтесь.

Но ведь и вы человек, вы сами сказали, что благодать через вас дается в церкви?

— Чего стоили бы мои слова о том, что вам надо ото всего отказать, все отдать, что воспитывали в себе всю жизнь, когда бы сам это свое хранил в себе?

— Ну а Бог, он прощает святотатство?

— Бог есть любовь, Лев Ильич, милосердие. На что ж вам еще уповать?

В церкви было пустынно, холодно и сумрачно. А день обещал быть хорошим, и когда Лев Ильич добирался сюда, с радостью поглядывал на небо, голубешнее опять сквозь редкие облака. У него чуть кружилась голова — первый день все-таки вышел, болен он, конечно,

еще был, и если б раньше сидел дома, спал допоздна, какой-нибудь роман лениво перелистывал, по телефону с кем-то болтал, слонялся по квартире... А теперь вот уж и дома нет, и номеров телефонов — куда звонить, словно бы, не осталось, и Бог с ними, с романами. Он был собран, напряжен, растерянность, которой встретил позавчера отца Кирилла, ушла — ему казалось, он готов к тому, что ему предстояло.

Так ведь он и готовился вчера целый день. С утра тихо было в квартире: Кирилл Сергеич ушел, он и не видел когда, мальчик убежал в школу. Дуся тоже куда-то отправилась. Он читал Флоренского, а потом раскрыл Евангелие: отец Кирилл посоветовал — от Луки и Иоанна.

Его так целый день и не трогали. Только вот, когда Сережа пришел из школы, показывал свои марки, рассказывал о колониях, а Лев Ильич о них уже и позабыл давно, а тот сыпал названиями стран, городов, вспоминал великих мореплавателей — поразил его своей осведомленностью и пытливым, каким-то веселым интересом к вещам, о которых Лев Ильич никогда не задумывался.

— Как вы думаете, — спросил он вдруг, оторвавшись от марок и глянув на Льва Ильича быстрыми, живыми глазами, — почему все-таки нельзя превысить скорость света?

Льву Ильичу в голову не приходило про это думать — ему как-то все равно было.

— Может, пока нельзя, раньше, вон, и скорость звука казалась недостижимой.

— Ну что вы! Скорость звука — разве сравнить! Тут не в том дело, что "пока". Я читал в журнале, но там это формулами, я не понял, как она выводится — выведена и все. А учительницу спросил, она не стала мне объяснять. Еще, говорит, рано. Наверно, не в формулах дело.

— А ты бы папу спросил, может, это по его части, — улыбнулся Лев Ильич.

— Я тоже так думаю. Но интересно, чтоб наука это объяснила. А когда объяснит... Знаете, я вам по секрету скажу, только вы никому не говорите, я хочу записаться в математический кружок — я задачи хорошо решаю. Если доказать, из чего она состоит — скорость света, тогда свет объяснится, ведь так? Если принести, ну то, что получится, нашей Лидии Константиновне, она, может, поймет? Про Христа все и поймет? Так-то она не поверит, а если ей формулу... Зачем она пристает ко мне?..

Солнечный луч задрожал в зарешеченном цветном стекле, прорвался, прорезал церковь, и она наполнилась светом — тем самым, о котором толковал ему вчера смешной лопухий мальчик.

Читались Часы, в церковь шли и шли люди, крестились у входа, прикладывались к иконам, все больше свечей пылало,

потрескивало у изображения Спасителя, Божьей Матери, святых и мучеников.

Из боковых дверей показался священник в облачении с тяжелым золотым крестом. Лев Ильич не сразу узнал отца Кирилла — лицо его было суровым, он казался старше.

Две старушки кинулись к нему за благословением, он о чем-то говорил с ними, увидел Льва Ильича и кивнул ему, подзывая.

Глаза у него были строгие, не улыбнулись ему, ничем не ободрили.

— Сейчас будет общая исповедь у другого священника, у того алтаря. А вас давайте я исповедую.

Лев Ильич поднялся на две ступеньки, они отошли к боковому приделу. Отец Кирилл дал ему в руки раскрытый молитвенник.

— Почитайте пока, а я подойду...

Лев Ильич смотрел в книгу и ничего не видел. Буквы прыгали, пот заливал ему глаза. Он перекрестился, вытер платком лицо. "Господи, как я смогу сказать об этом?.."

"...Иисусе Человеколюбче, едине немощ нашу ведый, — читал он про себя, — в сию бо облекся еси милосердия ради, хотя сию очистити: тем же скверны лукавыя и гноения зол моих очисти, и спаси мя..."

Тут он остановился и неожиданно для себя прочел вслух:

— "Яко блудница слезы приношу Ти, Человеколюбче: яко мытарь стена зываю Ти: очисти, и спаси мя, яко же хананеа вопию, — он поднял глаза на подошедшего отца Кирилла: — помилуй мя, яко же Петра покаявшася, прощения сподоби..."

Отец Кирилл, оборотясь к иконам, начал молиться.

— Говорите все, что есть и лежит на душе, — сказал он, повернувшись наконец к нему. — Помните, что не мне говорите, но Христу, невидимо стоящему сейчас меж нами.

Лев Ильич забыл все слова, что приготовил, что так стройно было им накануне обдуманно, где он, не щадя себя, попытался уложить, сформулировать все то страшное, что случилось с ним за эту неделю. Сейчас у него не было слов, и душа словно окаменела. Он не знал, сколько это продлилось. "Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче..." — услышал он вдруг в себе слова молитвы, произнесенной отцом Кириллом в день его крещения, там, в комнате с попугаем.

— Я слышу вас, Лев Ильич, — сказал отец Кирилл. — Не смущайтесь. Вы перед лицом Спасителя.

И тогда он почувствовал Его присутствие: как ветер пронесся по храму — что стояли все его сомнения, рассуждения, претензии, весь этот жалкий суетливый бунт перед бьющим прямо ему в лицо снопом света! Да, это был с у д. Лев Ильич так отчетливо увидел себя — и фарисеем, пришедшим в храм помолиться, в глубине души

зная, что он не такой, как все, и женщиной, взятой в прелюбодеянии, и богатым юношей, не способным отказаться от своего достояния, и управителем, растратившим доверенное ему имение. "Какое счастье и какое милосердие в том, что я не почувствовал Его присутствия раньше! — мелькнуло у него. — Что если б я был, как и сейчас все тем же фарисеем и той женщиной, и тем юношей, но не сокрушался сердцем о том, что я делаю?.."

— Слава тебе, Господи, за твою милость и доброту ко мне! — прошептал Лев Ильич дрогнувшим голосом.

Он упал на колени, заговорил, не мог остановиться, и замолчал, только почувствовав руку на своей голове.

Отец Кирилл был взволнован. Лев Ильич успел заметить это прежде, чем тот накрыл его епитрахилью и отпустил. Лев Ильич поцеловал Евангелие и крест, лежащие перед ним.

Он стоял у стены, прямо против Царских врат. Он слышал голоса молящихся отца Кирилла и дьякона, отдельные возгласы, строки псалмов. Наконец, над Царскими Вратами отдернулась занавесь, дьякон вышел из боковой двери, остановился на амвоне, повернувшись лицом к Царским вратам.

— Благослови, владыко! — прогудел дьякон.

И из глубины алтаря ответил ему отец Кирилл:

— Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков...

Шла литургия, дьякон выходил, подпрыгивая, летящей походкой, взывал — и хор, и вся церковь вздыхала: "Господи, помилуй!" О патриархе, иерархах, о воинстве, о храме, о плавающих, путешествующих, страждущих и плененных и о спасении их, о избавлении нас от всякия скорби, гнева и нужды. "Господи, помилуй..." — шептал Лев Ильич... "Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим!.."

— Тебе, Господи!.. — шептал Лев Ильич.

С клироса возгласили блаженства, и Льву Ильичу так легко было креститься, повторяя их про себя: "Блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небесное..."

Раскрылись Царские врата. Апостол вынесли на середину храма... "Вонмем!" — громыхнул дьякон... "Святыи Боже, Святыи Крепкий, Святыи Бессмертныи, помилуй нас!.." — пел хор... "Премудрость!.." Ясно, отчетливо произносились слова Апостола... Хор возгласил "Аллилуйя"...

Шла, нарастая, заполняя все углы храма, во всем своем великолесьи удивительная служба. Лев Ильич видел, когда открывались Царские врата, молящегося отца Кирилла, воздевавшего руки — и он знал, что когда молится он обо всех христианах, где б они ни

находились сейчас — в дороге ли, в болезни, в заточении или в пропастях земли — он помнит и про него. "За что мне это?" — думал Лев Ильич. Как можно простить человека, всю жизнь ходившего какими-то другими дорогами, смеявшегося, а вернее, равнодушно-невежественно презиравшего все это, занятого только собой, только своим, гордящегося своей чепухой, бесконечно грешившего, и уже узнав, оказавшегося способным на такое мерзкое, мелкое и ничтожное падение, — как можно его простить? Не исторгнуть отсюда, причастить Святым Телом и Кровью, тем, что вот сейчас там, за закрытыми воротами пресуществляется Духом Святым, молитвами всей церкви... Нет, подумал Лев Ильич, конечно, не помогут тут мне ни право, ни мораль, ни нравственность, ибо с точки зрения человека — просто хорошего, доброго, справедливого человека нет и не может быть мне прощения. Да это и вредно для всех, это какой-то компромисс, несправедливость, что ж ставить меня на одну доску рядом с теми, кто действительно всею жизнью, душевным движением, своею чистотой достоин прощения и того, что сейчас здесь происходит? Только если отказаться от логики, если это и впрямь безумие, абсурд?.. Но он ведь и пришел сюда безо всякой логики, против смысла, которому всю жизнь пытался быть верен, — что его сюда привело, почему? Только на это может быть надежда, на Божие милосердие вопреки всему, безо всякого основания. Только сочувствие, жалость, милость, над которыми не властны мирские разум и справедливость. "У меня нет права, Господи, у меня есть только надежда — впрочем, да будет воля Твоя!" — сказал он шепотом и поднял голову.

"Отче наш, Иже еси на небесех..." — начал хор и вся церковь подхватила слова Господней молитвы.

Да, летела мысль Льва Ильича, коль святится имя Божие, то придет Царствие Его, пусть будет только Его воля — кому же может он теперь верить? Что ему еще нужно, кроме хлеба — Божией премудрости? Он не смел просить — и просил! — о снятии его грехов, которыми он должен ближним, молил о душевном спокойствии — свободе от искушений, бывших и предстоящих, какую радость он предощущал в избавлении от лукавого!..

Слезы стояли в глазах Льва Ильича, он не сразу и различил иконостас, вознесшийся высоко над Царскими воротами, так что надо было запрокинуть голову. Там, под самым куполом, под изображением Спасителя на Кресте ряд аза рядом стояли праотцы, пророки, апостолы, святые, мученики... Слезы мешали ему различить лики, и вдруг на какое-то мгновение он увидел, что они вышли из золотых рам. Они стояли тут, в храме, служили вместе со всеми — вместе с ним, Львом Ильичем — литургию, стояли твердо, спокойно, глядя ему в лицо, — ступили из стены, заполнив ведь видимый в храме придел.

Он сморгнул набежавшие слезы. А когда еще раз рискнул поднять голову, иконы снова сияли на стене, но он уже знал о живом присутствии всех, кем живет и всегда будет жива Православная Церковь.

Врата Царские снова растворились и дьякон возгласил: "Со страхом Божиим и верою приступите!.."

— Верую, Господи, и исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз...

Отец Кирилл говорил тихо и как бы про себя, но отчетливо и ясно, так что слышно было по всей церкви. Но тут, когда приостановился и поднял голову, Льву Ильичу показалось, что он увидел его.

— Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, не лобзания Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем...

Лев Ильич подвигался вслед за причастниками все ближе к алтарю.

— Руки, руки сложи, сынок... — прошамкала, обернулась к нему старуха с провалившимся ртом.

Он сложил руки крестом на груди, подвинулся еще вперед и увидел прямо над собой отца Кирилла со святой чашей и дьякона с красным платком подле него.

"...Не бо врагом Твоим тайну повем, не лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем," — сказал про себя Лев Ильич и поднялся на две ступеньки к отцу Кириллу.

— Причащается раб Божий Лев... во оставление грехов и в жизнь вечную...

Дьякон подставил плат под лицо причастника и священник поднес к его устам ложку с Телом и Кровью Господа...

Он уже ничего больше не слышал и не видел.

— Пойдите и запейте, — уже верно не в первый раз сказал ему священник.

Лев Ильич поцеловал край чаши, подошел к столу, на котором стояли чашки с теплой водой и вином, и бережно взяв в руки, медленно выпил...

— Лев Ильич, поздравляю вас!..

Он глядел и не узнавал: "Кто это?"

— Я так рада вам... здесь. Со святым причастием! Простите меня!

— Господи, Таня! — обрадовался Лев Ильич и обнял ее.

— Вы знаете отца Кирилла? — тараторила Таня. — Как хорошо, мне с вами нужно поговорить... Вы куда пойдете после обедни?

— Да, да... — не понимал ее Лев Ильич, перед ним все звенело и радовалось. — Мы вместе, вместе и пойдем...

— А ко кресту будете подходить?

Он глядел на нее, не понимая. Господи, какая она красивая, девочка совсем, как его Надя, и глаза, когда не намазаны, глубокие и ясные, счастливые, только нет-нет, да блеснет в них печаль...

— Подождите, сейчас еще проповедь... — шептала Таня.

Они протиснулись поближе к алтарю.

Лев Ильич держал Таню за руку и его проникло ощущение удивительной, ни на что не похожей близости с этой девушкой, про которую он, как казалось ему, всегда все понимал, а вот не знал самого главного.

Он опять увидел отца Кирилла высоко над собой у закрытых Царских врат.

Он слышал, как священник поздравил всех причастников — участников Тайной Вечери — а стало быть и его — с приобщением Святых таин, как он говорил о том, что завтра начинается Великий пост — событие огромной важности для каждого христианина — а значит, и для него — Льва Ильича, о том, как важно в эти недели ходить в церковь, молиться...

— Помните, — услышал он слова священника, снова обращенные прямо к нему, — что учеников Христа после Вечери ожидали тягчайшие испытания. Сын Божий был схвачен, унижен, побиваем и распят вместе с разбойниками... Есть три пути от Тайной Вечери: путь Христа — страдания, смерть и воскресение, путь его учеников — заснувших в Гефсимании, и путь Иуды — предавшего и погибшего...

— Господи!.. — прошептал Лев Ильич и услышал:

— Храни вас Христос!

— Спаси вас Господи! — ахнула церковь.

...Он шел ко кресту вместе с Таней.

"...Благодарю Тя, Господи Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, но общника мя быти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тя, яко мене недостойнаго причаститися пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси..." — хрипловато читал на клиросе, наклонившись над подвигавшимися ко кресту, лысый старик в стареньком пиджаке.

Отец Кирилл, усталый и взволнованный, наклонялся и подносил каждому подходившему крест, с иными разговаривал.

"...Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицом всех людей, свет во откровение языком и славу людей Твоих Израиля..." — читал старик уже прямо над Львом Ильичем.

Он поцеловал сверкающий золотом тяжелый крест в руке священника.

— Приходите обязательно, — сказал ему отец Кирилл. — Я сегодня буду поздно. У меня требы, потом всенощная. Сегодня чин прощения. Простите меня за все...

Лев Ильич не знал, что ответить.

— Простите вы меня! — нашелся он наконец.

Они расцеловались.

— Значит будете?

— Я, может, домой сегодня пойду, — вырвалось у Льва Ильича неожиданно для него самого. — Я еще подумаю. Или лучше завтра?..

Отец Кирилл внимательно и длинно посмотрел на него.

— Идите сегодня. Прощеное воскресенье — не забудьте... Ну а в случае чего, хоть и поздно — приходите.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

— Лев Ильич, вас спрашивают... Лев Ильич!..

Он открыл глаза и приподнялся на локте. Над ним стояла Дуся.

— ...Вы меня простите, я было спросила "кто", а там рассердился.

— Да, да, — сказал Лев Ильич, — я сейчас, сейчас...

Он натянул штаны, ботинки, накинул пиджак и вышел в коридор, еще плохо понимая, почему вдруг и кому он с утра понадобился, да и у кого мог быть этот телефон?..

"Ты уж извини, что вынуждена тебя тревожить, знаешь, это не в моих правилах. Если б мои дела, дождалась твоего возвращения из командировки — так, что ли, назывался твой отъезд? А то и твою подругу командировочную обругала..."

— Да, да, — говорил Лев Ильич, — что случилось?

"Я просто позвонила на работу, думала, может, ты сегодня вернешься, так чтоб тебе сразу сказали, чтоб успел..."

— Что случилось, Люба? — с тоской повторил Лев Ильич. Он уже опомнился, пришел в себя и успел даже подумать о том, что вот это ему наказание — не послушался вчера отца Кирилла, сказано ему было, чтоб вчера ж и шел домой. Вот тебе и Прощеное воскресенье!

"Так что извинись перед дамой — это не в моих правилах. Я просто не люблю, когда у меня спрашивают объяснений. Впрочем, как знаешь, можешь не извиняться..."

Лев Ильич молчал.

"Ты слышишь меня?"

— Да, — сказал Лев Ильич, — я слушаю, Люба.

Ну почему, как так вышло, что он вчера не пошел домой? "Домой" — поехал Лев Ильич и поправил сползший с плеча пиджак. Сначала так было ему хорошо, так счастлив он был всем, что произошло с ним, да и рано, не мог он сразу, не пережив всего, идти и начинать этот тяжкий, непосильный ему разговор. Потом — человека не мог так вот, тоже сразу оставить, оттолкнуть. А потом и поздно стало — что ж опять ночью, и опять там люди... Не захотел, поболся, чего там причины выдумывать...

— Погоди, погоди! — закричал он. — Как похороны? Чьи?

"Ты что, не слушаешь меня?.. Дядя Яша умер... Лучше я прочту тебе телеграмму..."

Вот оно что!.. Яша... И он вспомнил почему-то не последнюю с ним встречу год назад — да какая это была встреча, когда сидел перед ним и не узнавал его, хотя, вроде бы, и говорил, и расспраши-

вал, то прямо светски улыбаясь, то напуская на себя нелепую важность, старичок с желтым лицом скопца. Как же не узнал, когда такой откровенностью поделился — небось, не каждого удостаивал! Вдруг наклонился к нему и прошептал: они в уборную пробрались, а я их перехитрил — я горшок держу под кроватью... Нет, что ты! Это я нарочно, чтоб им глаза отвести. Они-то, известно, в горшке ставят свою аппаратуру, а я, знаешь что? Я — под себя, а? Что скажешь? Разве им придет в голову — куда? разве додумаются, чтоб я — понимаешь, я! Как придумал? Под себя! Где им меня перехитрить..." — довольно хихикал старичок, а у Льва Ильича, когда вспоминал, еще долго ныли зубы. Разве это была "встреча"!.. Он вспомнил другого Яшу — тот только что вернулся из лагеря после второй своей посадки. Самая пора начиналась Великой Реабилитации. Он встречал его на рассвете, лето стояло, утром такая свежесть была, улицы пустые, чистые, они ехали с вокзала в трамвае куда-то в Марьину рощу — Яша, две его дочери и он — Лев Ильич. Яша и тогда все улыбался, но не так, как в последний раз, а светло, хотя и робко в окошко поглядывал, а Лев Ильич завел разговор о том, что все изменилось, кончилось, что вот, его явление в Москву только первая ласточка, что, мол, погоди, скоро и Лубянка распахнет свои двери, они прочтут дело отца — все узнают, а дальше!.. Дальше Лев Ильич и сам тогда не знал, чего он хочет. Только его сразу осадил Яшин потухший взгляд, он схватил Льва Ильича за руку, а другой рукой нагнул его голову к себе в колени — напротив сидел: "Тише, ты с ума сошел — о чем говоришь!" Льву Ильичу неловко было, лицом в грязные штаны, обидно стало, он все не мог освободиться, у Яши руки оказались крепкими. "Дапусти меня!.." — взмолился он. "Чего ты боишься? Ты вокруг помотри!" — крикнул он, когда Яша его отпустил. "Я уж рассмотрелся, — бормотнул Яша. — Ты их не знаешь." "Это ты ничего не знаешь, ты что, доклада на съезде не слышал? да не тот, что в газетах, а закрытый, что на собраниях читают?" "То-то, что на закрытых, — устало так, безнадежно сказал Яша. — Да и что там, какой еще доклад..." Так ведь Берия-то... — не сдавался Лев Ильич. "Ладно, Лева, — сказал Яша, — все правильно, хорошо, — и он, как потом год назад, наклонился к его уху, — только ведь... озорники — не забудь про это..."

"Слушаешь?.. — ударил его в трубке Любин голос. — Вот телеграмма: 'Яков умер похороны понедельник одиннадцать утра нас...' и подписи нет".

— Умер? — переспросил Лев Ильич, глядя на часы на руке, но в темноте коридора не мог разобрать. — Ну да... умер... Ты будешь?

"Нет, — сказала Люба, — это уж фарс какой-то. Зачем я пойду? Если б ты действительно был в командировке, и я б тебя

не наша... А вдвоем на похороны — делать вид... Не хочу. Гляди, не простудись, кто сопли будет утирать. Или обеспечил себе?..”

Лев Ильич не сразу положил загудевшую трубку. Он не успел сложить постель, как снова зазвонил телефон.

— Опять вас, Лев Ильич... — открыла дверь Дуся.

”Лев Ильич, я вас подвела? это Таня... — услышал он. — Ваша жена вас разыскивала, у вас умер кто-то. Я и дала этот телефон, а она думала, вы в командировке...”

— Ладно, Танюша, не в этом дело.

”Вы меня простите, я не знала, как поступить...”

— Все правильно, спасибо, что дала телефон.

”А что случилось, Лев Ильич?”

— Дядя мой умер. Больной был, старик... Ну вот, умер... — он уж собрался было положить трубку. — Да, Танечка! — сообразил он вдруг. — Можно я сегодня приду к тебе? То есть, не знаю как получится, но если что?

”Ну конечно. Я только рада буду.”

Он быстро оделся, сложил постель.

— Что-то серьезное, Лев Ильич? — спросила Дуся, когда он появился на кухне.

— Дядя умер. Да он больной был, уже два года слабоумный. Спятил, как говорят. Жизнь у него была... затейливая. Через час похороны. Я побегу.

— Чаю попейте — снег на дворе, опять простудитесь. Вы и так больны.

— Хватит мне вас обременять, да и поздно, далеко ехать. Вы здоровел я. Простите меня, Дуся, я вчера вас обеспокоил, да и все эти дни. Пойду... — он уже взял портфель.

— Ну а портфель зачем? что ж, не вернетесь?

— Спасибо. Я устроюсь. Отцу Кириллу передайте мою благодарность и извинения...

Он был уже в дверях.

— А Сереже скажите, что марки за мной — не забуду. И простите меня, Дуся...

Времени оставалось в обрез, жили они в новом районе, незадолго до того получили квартиру, Лев Ильич и был там только раз, помнил плохо, а перед тем все Яше не давали квартиру, в бараке, в Марьиной роще проживал с двумя своими дочерьми и несчастной женой... Как-то он не сразу и заявление, что ли, подал насчет квартиры, пропустил время, когда вернувшимся давали безо всякого, боялся лишний раз просить, напоминать о себе, а как набрался духа, там уже надоело это все — больно много оказалось хрущевских крестников — раздражаться начали, тянули, спасибо — обещали. А дали на удивление хорошую, большую квартиру в три комнаты, девочки расцвели, одна сразу мужа привела. А самому-то ему —

Яше — чего уж там радоваться: горшок боялся дежать под кроватью.

Снег лепил мокрый, под ногами грязь чавкала, он пока добрался, плутал, как в лесу, меж одинаковыми, без видимого смысла наставленными домами.

У подъезда уже стояла машина, он кинулся к лифту, у дверей споткнулся о красную крышку гроба, люди на площадке, двери настаежь, кто-то бросился к нему...

— Лева, Лева пришел! Мама, смотри — Лева!..

"Господи, как изменилась-то!.." — не сразу узнал Лев Ильич. И вспомнил глгучую еврейскую красавицу своего детства с яркими губами, черными, как смоль, косами, всегда почему-то в белом, полную, с томной улыбкой и неподвижными, темными, большими глазами — она несла эту свою красоту перед собой, как пирог на блюде. Она уже давно, правда, была не такой, все ссыхалась и глаза потускнели, но тут перед ним стояла старуха: растрепанная, седая, сухой лихорадочный взгляд ожег Льва Ильича. "А ведь надо было ходить сюда..." — мелькнуло у него.

— Спасибо тебе, Левушка, все-таки пришел. Нет, нет нашего Яшеньки!.. Как мучился-то, как мучился...

Он гладил ее сухие волосы, а другой рукой расстегивал на себе пальто, наконец, оторвался от нее, повесил пальто, протиснулся в комнату.

Гроб стоял на двух табуретках посреди комнаты и лицо Яши, обращенное к вошедшему, было усталым, но спокойным, без всегдашнего суетливого страха. "Убежал, — подумал Лев Ильич, — тут уж они его не догонят."

Он услышал свое имя и имя отца — видно родственники, переспрашивали, интересовались, "кто" и "что", и тетя Рая называла его уважительно, что-то про него объясняя, а Льву Ильичу так стыдно стало от того, что вот им, оказывается, важно, что он пришел, значит, не загордился, не отказался от родни.

Такая была узкая, нескладная комната, полированная мебель — чисто, неудобно, пустота какая-то и гроб стоял как в казенном, не в своем доме.

Льва Ильича тронули за плечо, надо было выносить. Он и не знал здесь никого, вон старичка седого когда-то видел, но не мог вспомнить, мелькнули знакомые женские лица, сестры его двоюродные... Ему казалось, все смотрят на него, а что он им?

Гроб никак не могли развернуть в узком коридорчике, пронесли сначала в комнату напротив, но и оттуда не выберешься. "Ногами вперед, вперед надо..." — поправил чей-то голос. Они опять внесли в ту же комнату: чего делать-то?

Развернули гроб, ногами вперед, вытащили, обтирая спины, в коридор и опять застряли. "На попа поставим, другого выхода

нет...” Стали поднимать, он оказался тяжелым, посыпались цветы, и тут Лев Ильич испугался, что он сейчас выпадет, но как-то справились, вывалились на площадку и пошли считать этажи, теснясь и задыхаясь на узких поворотах.

На четвертом этаже — на полдороге, поставили гроб на табулетку. Лица у всех были красные, потные, спины перемазаны — обтерли стены.

Двинулись дальше. Что-то было здесь неправильно, а что — Лев Ильич не мог схватить, его как бы поймало ощущение пустоты происходящего еще там, в комнате, когда шагнул к гробу и увидел лицо Яши, никакого отношения не имевшее ко всему, что было вокруг — к дому, выбитому с таким трудом, под самый свой конец, к этой полированной мебели, даже к этим людям с заплаканными, измученными лицами... ”А к чему он имел отношение? — подумал Лев Ильич. — Что ж мы, человека несем — то, что было человеком, или какой холодильник перетаскиваем с этажа на этаж?..”

Они уже сидели в автобусе, все, вроде, и разместились, он рядом с младшей из своих двоюродных сестер. Гроб потряхивало на выбоинах, он придерживал его, но тут их занесло, гроб подскочил и брякнулся о железные полозья.

— Хамы! — вскинулась одна из женщин, в шляпке и в пенсне с золотой дужкой. — Скажите ему, мужчины, не дрова везет!..

Лев Ильич смотрел на мелькавшие за стеклом ряды новых домов, унылых и безликих, на развороченную в снегу грязь возле новостроек... Вот и нет Яши, не ходил к нему, редко вспоминал, но знал, живет где-то — последняя реальная связь с отцом. Но про отца он не мог сейчас думать, да и про того, кто лежал, встряхиваясь под этой красной крышкой, тоже сил не было вспомнить. Его пустота все давила, он пытался осмыслить ее и понять, но что-то мешало сосредоточиться, задержать ускользавшую мысль...

Он вспомнил вчерашний день. Они не вышли еще с Таней за церковную ограду. Лев Ильич запрокинул голову, подставил лицо солнышку, вбирая всею грудью свежий весенний воздух, крики галок, подтаявшая земля не грязью была, а тоже открывалась солнцу — Господи, как хорошо ему было!

Хотелось есть, и он потащил Таню в ресторан, она только удивленно глянула на него, когда он отказался зайти рядом в столовку, схватил такси, они мигом долетели до центра и потом долго дожидались, пока их накормят. Конечно, это было глупой затеей, но ему хотелось и внешней торжественности: ”Нашел, где ее искать!” — корил он себя. Они сидели возле маленького бассейна, нелепо журчала вода, а его не оставляло чувство умиления и нежности к этой девчужке, к которой еще вчера он мог вломиться ночью в дом, а сегодня ощущал чуть ли не отцовскую нежность.

”Какое это удивительное... и слов не подберешь...” — сказал

он Тане, и она сразу же его услышала, поняла, и опять, еще раз его охватило то же чувство, как там, когда, держась за руки, они подошли ко кресту, слитно со всей церковью подвигаясь и ощущая ту, ни с чем не сравнимую переполненность, которой он никогда прежде не знал.

— ...конечно. Мама теперь хоть вздохнет, — услышал он голос Иры, когда машина остановилась на перекрестке. — Ты и представить себе не можешь, как он всех нас извел — это же три года, уже и конца не было: ни в дом никого привести, ни уйти — маму жалко. Да и девочка моя — ты не видел ее? Ну да, тогда она была совсем маленькая, а теперь мы ее к соседям увели — зачем ей на это смотреть? Он, правда, ее никогда не обижал, все конфеты пихал, но грязь-то, грязь какая!.. Нет, знаешь, я думаю, долг врача прекращать такую жизнь — ему все равно, а другим, уж конечно, лучше...

Лев Ильич поежился, машину опять занесло, гроб трянуло еще сильнее, и дядя Яша, видно, крепко приложился там о свою алуку крышку.

— Что это такое?! — вскрикнула та же дама. — Ну что ж вы молчите?..

И опять ей никто не ответил. Город кончился, мелькали овраги, жиденькие рощицы...

— Куда мы едем? — спросил Лев Ильич. — В новый крематорий, что ли? — и он вспомнил страшное это сооружение — смесь дешевого советского модерна с конторской казенщиной. Был, и там уже был Лев Ильич.

— Ну что ты! — с какой-то даже гордостью воскликнула Ира. — Ты разве не знаешь эту дорогу? Мы кладбища добились. Там ведь бабушка похоронена, но все равно надо было получить разрешение — дошли чуть не до секретарей московского комитета. Он старый большевик, имеет право — пятьдесят пять лет стажа...

— Какого стажа? — не понял Лев Ильич.

Ира посмотрела на него, даже плечи подняла возмущенно.

— Папа с тысяча девятьсот девятнадцатого года в партии. Ты что, забыл?

— "Мать-то получше была..." — безо всякого сожаления отметил Лев Ильич. Похожа, но не то совсем, какая-то стертость, пройденность — не заметишь, а мимо тети Раи никто не проходил. Да что уж говорить, многие там спотыкались...

— Ты знаешь, как это было? — горячо, с азартом зашептала Ира. — У нас уже разрешение в кармане, ходим по кладбищу, а бабушкину могилу найти не можем — с похорон там не были, разве узнаешь!.. Ты был тогда на бабушкиных похоронах?

— Меня в Москве не было, — ответил Лев Ильич, и ему вспомнилась высокая сухая старуха, умная, добрая, позволявшая себе только пошутить другой раз над глупостью внуков, да и всех, кто

бывало лез к ней со своими утешениями и советами. Все потеряла бабушка при жизни, всех детей — вон и Яшу не дождалась. Да что потеряла, а раньше-то, когда еще все у нее было — и муж, и дети, и дом полная чаша, а такое творилось в том доме...

— ...Ходим, понимаешь, грязь по колено, сейчас увидишь, там все изменилось, хоронили-то летом, ничего не поймешь. А на новом месте нипочем бы не разрешили, хоть и стаж пятьдесят пять лет. Нашли, когда я уж отказаться вздумала. А там бабушкина плита, дерево большущее — могильщики не хотят копать: "Не будем и никакое нам ваше разрешение не нужно!.." Сто пятьдесят рублей запросили. На сотне договорились, но обещали хорошо, в полную глубину.

По обеим сторонам дороги замелькали кресты, потом кладбищенская стена — они приехали.

Снег валил как зимой, но мокрый, Лев Ильич сразу же плюхнулся в грязь, глина была жирная, еле ботинки вытащил.

Гроб поставили на каталку, Ира с каким-то мужчиной пошли оформлять документы.

Почему ему казалось, что много людей? Шесть человек стояло вокруг каталки, зябко ежились, прятали посиневшие лица от мокрого снега, обтирали платками, сморкались и кашляли.

Подошла Ира с мужчиной.

— Это из нашего ЖЭК'а, партийный секретарь, видишь, как уважали Яшу, — сказала тетя Рая, и Лев Ильич так и не понял, все-раз она говорит или с горечью.

И сразу подскокил старик в ермолке, в каком-то длиннополом пальто, в глубоких калошах, на которые наползали мокрые в бахроме штаны.

— Кого хороните? — пропел он.

Лев Ильич только в еврейских анекдотах слышал, чтоб так говорили. Старик не ответил.

— Аид? — спросил он Иру, безошибочно определив, кто здесь главный. — Махем а муле?

— Ничего нам не нужно делать, — Ира оглянулась на мужчину из ЖЭК'а.

— Как не нужно? — пропел старичок, он сдвинул ермолку, и Лев Ильич увидел слуховой аппарат на веревочке. — Как не нужно? Нужно! Еврея хороните.

— Он был коммунистом! — сказала Ира и с брезгливостью посмотрела на старика.

— А коммунист не человек? — удивился старик. — Тоже человек, а еще еврей — ему и бриз делали...

— Иди, старик, ничего не получишь. Не нужно, сказано тебе? — подошел ЖЭК.

— Ну не нужно, так не нужно, — пробормотал, отодвигаясь,

старик, но когда каталка двинулась, пошел следом, бормоча что-то себе под нос.

По асфальту аллеи каталка шла легко, но как только они свернули вслед за Ирой на боковую дорожку, колеса сразу увязли, они с трудом вытащили их, чуть продвинулись, завязли снова, перенесли каталку на руках, продвигаясь шаг за шагом.

— Да отдайте вы подушку! — услышал Лев Ильич голос все той же дамы в пенсне. — Помогли бы лучше.

Лев Ильич поднял голову, смахнул с глаз пот: дама в пенсне взяла из рук ЖЭК'а шелковую красную подушечку, на которой блеснула медаль. "Да, конечно, медаль!" Они еще выпили тогда с ним — "За победу в Отечественной войне", он ведь и на войне побывал меж двумя лагерями...

Они еще продвинулись и совсем встали. Дальше была лужа, Ира провалилась в нее по колено. Седой старик и старшая из сестер Рита с красной крышкой тоже стояли посреди лужи.

— Тут только на руках, — сказал ЖЭК, — транспорт не пройдет.

Они подняли гроб и пошли прямо по луже, не глядя под ноги — да уж на что было теперь глядеть.

Ира вдруг спохватилась, что надо было свернуть раньше, они двинулись в другую сторону, а потом, выбившись из сил, поставили гроб на ограду, поддерживая, чтоб не упал.

Все молчали, и казалось, этому не будет конца. Снег перестал, но тучи висели низко, вот-вот опять повалит, ветер петлял в памятниках, а Ира, отправившаяся искать могилу, куда-то пропала.

— Может, покурим, — спросил Лев Ильич парня лет тридцати в шляпе и заграничной хрустящей куртке, вроде бы, Иринога мужа.

ЖЭК глянул на него укоризненно.

— Не положено над покойником, уж дотащим...

— Сюда! Сюда!.. — слышали они Ирин голос. Она кричала, как в лесу, размахивала руками, показавшись далеко за поворотом дорожки, в стороне, противоположной той, куда они все время шли.

Они двинулись к ней.

Скоро и дорожка кончилась, теперь они тащили гроб, продираясь меж железных оград с черными, мокрыми памятниками, перед Львом Ильичем мелькали шестиконечные звезды, еврейские имена, хлопающие красные носы его спутников...

— Стоп, — сказал ЖЭК, шагавший впереди. — Дальше хода нет.

Они опять поставили качавшийся гроб на решетку. Надо было каким-то образом пролезть через две-три ограды. Ира оказалась там, впереди, горячо жестикулируя, она визгливо кричала, обращаясь к могильщикам: прямо перед ней картинно выставился ражий мужик

в расстегнутой на волосатой груди рубашке, второй сидел на сваленном памятнике в лихо заломленной зимней шапке и курил, сплевывая в невидную отсюда яму, третий стоял в яме по грудь и весело глядел на разошедшуюся Иру.

— Вы только поглядите! — пролезла к ним Ира. — Мы ж обо всем договорились, а тут... — она осеклась, взглянув на мать.

Лев Ильич, оставив гроб, протиснулся меж оградами к яме. Он увидел разбитую плиту с обломанной надписью. "Бабушка..." — мелькнуло у него. Веселый мужик стоял прямо в желтой жиже и, когда Лев Ильич подошел, лениво выбросил лопату жидкой глины — брызги ударили Льву Ильичу в лицо.

— Извиняемся, — сказал веселый мужик, — пыльная работа.

— Ну смотри, Лева, — клокочущим шепотом запричитала Ира, — договорились, что воды не будет, что глубоко, а тут...

— А тут и сделать ничего нельзя, смотрите сами какой грунт? Да погода. Это не летом помирать. Тут и за две сотни не станешь. Смысла нет, — вразумляюще сказал мужик в рубашке.

— Да вы не расстраивайтесь, — поднялся с памятника тот, что курил, — еще минут двадцать — все будет в ажуре. — Он бодро прыгнул в яму, погрузился по грудь в жижу и быстро, ловко начал выбрасывать глину.

Лев Ильич отошел к гробу.

— Что там, Левушка? — спросила тетя Рая, подвигаясь к нему. — Ира мне не разрешает вмешиваться, а ее всегда обманывают. Господи, уж и похоронить нельзя по-человечески...

— Сейчас, тетя Рая, — сказал Лев Ильич, вытирая платком лицо, — они еще не готовы. Чуть-чуть подождем.

ЖЭК подошел к нему и протянул сигареты.

— Чего уж, — сказал он, — раз непредвиденные обстоятельства.

У Льва Ильича дрожали замерзшие руки, спички тут же на ветру гасли. ЖЭК прикурил и протянул ему огонек в широких красных ладонях.

Вторая сестра Льва Ильича — Рита, невысокая толстушка, курносая и розовощекая, взяла мать под руку и вывела на дорожку. Ира продолжала возмущаться, теперь она обращалась к даме в пенсне. Остальные стояли молча. На мужиков, весело шлепавших глину, Лев Ильич старался и не смотреть. И тут он увидел давешнего старика-еврея. Он тихонько стоял возле самого гроба, поглядывая на всех печальными глазами.

"А ведь он здесь единственный, кто понимает смысл происходящего, — странно так подумал Лев Ильич. — Не про то, как все это жалко, безобразно, а про что-то несравненно высшее..." И он так ясно почувствовал с м е р т ь, глядевшую ему прямо в глаза с тихого, только у него одного здесь безмятежного лица Яши.

Все была такая чепуха рядом с этим — и грязь, которой они все были облеплены с ног до головы, и пьяные рожи удачных могильщиков, и возмущение дамы в пенсне, и Иринин гнев. Только вот тетя Рая с ее тихим горем как-то вписывалась в то, что здесь происходило на самом деле, да еще мокрые черные ветви деревьев, мокрая ворона, низко пролетевшая над ними, да тучи, готовые вот-вот прорваться снегом ли, дождем...

— Готово! Кто тут у вас главный? — крикнул веселый мужичонка, тяжело вылезая из ямы в грязи по горло. — А вы сомневались — сам бы полежал, да дел много!..

— Прощайтесь, — сказал второй, в шапке, и полез к гробу с молотком в руке.

Тетя Рая отчаянно заплакала, припав к Яше, все топтались вокруг, потом Рита мягко, но настойчиво оторвала ее. Сестры поцеловали отца в лысый сморщенный лоб.

Лев Ильич подошел вплоть, глянул на такое непривычно спокойное лицо Яши, неожиданно для себя широко перекрестился и поцеловал его. Он еще не успел распрямиться, как кровь бросилась ему в лицо, пот залил глаза: "Что это, — успел подумать Лев Ильич, — страх, неловкость за, уж конечно, показавшийся всем явно нелепым жест, желание выделиться?.." "Какой же может быть жест перед открытым гробом!" — крикнуло что-то в нем.

— Как вам не стыдно! — гневно блеснула на него из-под пенсне дама. — Он еврей!..

— Он мой дядя, — сказал Лев Ильич. — И я тоже еврей.

Гроб накрыли крышкой в алом шелку, застучал молоток, они подняли гроб, но опять застряли меж решетками. Тогда могильщик перелез через соседнюю ограду, гроб втащили туда, а уж там приняли его, оскальзываясь на глине, два других мужика, подвели веревки, и красный шелк тяжело плюхнулся в вязкую жижу.

— Дайте и мне бросить, и мне! — плакала тетя Рая, но Ира не пускала ее, боясь, что она увидит могилу, и тетя Рая все плакала, зажав в горсти землю.

— Да пусти ты ее! — сказал Лев Ильич. — Давайте, тетя Рая, я вам помогу.

Он протаскил ее возле себя, она продвинулась еще, глянула и, всплеснув руками, кинулась к Льву Ильичу обратно.

Могильщики работали быстро и молча, не останавливаясь, пока не забросали могилу, положили сверху венки, и уже было не так страшно.

— Да вы не расстраивайтесь, — сказал Ире тот, что заколачивал гроб. — Через пару месяцев подсохнет, она даст осадку, подсыплете и можно памятник ставить. Даже лучше, а то б, если летом, еще целый год ждать.

Они выбрались на дорожку. Старик-еврей держал в руке свою

ермолку, черный, прошлогодний листик прилип к мокрой, лысой, как шар, желтой голове. Он бормотал, не останавливаясь, когда все проходили мимо него.

Лев Ильич положил в ермолку мятую рублевую бумажку.

— Помолись за него, отец, — сказал он.

— Помолюсь, — ответил старик, подняв на Льва Ильича умные глаза. — А вы, я вижу, тоже молитесь?.. Какой у вас, я гляжу, странный кадеш. Эх, аид, аид...

Старик прошел мимо Льва Ильича, остановившегося у лужи помыть ботинки и пошлепал дальше, чавкая спадающими с ног галошами. Остальные ушли далеко вперед. Льву Ильичу мучительно не хотелось их догонять, ехать снова вместе, да еще Ира просила зайти к ним. Но ведь обидятся, да и нехорошо, не простившись...

Он догнал старика, продолжавшего что-то бормотать себе под нос.

— Послушайте, — сказал Лев Ильич, — у вас здесь выпить можно? Холодно, боюсь, заболую.

— Где ж еще выпить? — поднял на него глаза старик. — Но вам, наверно, лучше вон с ними, — он ткнул пальцем назад, где весело перекликаясь, звенели лопатами могильщики. — Вы совсем гой, зачем вам пить с таким, как я?

Лев Ильич достал пять рублей и протянул старику.

— Я вас тут где-нибудь подожду.

— Ну если молодой человек не брезгует старым евреем... — Он схватил деньги и тут же исчез в боковой аллейке.

Лев Ильич прошел еще немного вперед, тоже свернул и прислонившись к ограде вытащил сигареты. "Анна Арсеньевна Гамбург, — прочел он. И пониже, — Урожденная Голенищева-Кутузова". Он поднял голову — в сером камне было высечено изображение: в полный рост стояла немолодая, круглолицая женщина в вечернем платье, а перед ней на одном колене мужчина с кривым носом приник к ее руке. "А, и он тут..." — понял Лев Ильич, когда прочел еще ниже: "Петр Юдович Гамбург". "Кто же раньше — Анна Арсеньевна или Петр Юдович? — нелепо думал Лев Ильич. — Вот они — Ромео и Джульетта с нашего еврейского кладбища..." Он повернул голову — этот памятник был поменьше, скромнее: шестиконечная звезда в левом углу, а под ней надпись: "Всю жизнь мы берегли тебя, но немолимая смерть тебя вырвала. Человеку большой души и редкого обаяния. Мордухай Ягудаевич Глизер"...

Памятники стояли тесно, один к другому — лес памятников, черные ограды сливались с черными сейчас, мокрыми деревьями, и показалось вдруг Льву Ильичу, что какой-то огненный смерч пронесся здесь, выжег все вокруг и только черные несуразные пни свидетели того пожара...

— Не слышите, молодой человек? а я вас издалека кричу... —

старик с любопытством поглядывал на него из-под своей ермолки.

Они свернули еще на какую-то дорожку, еще куда-то и вышли с тыльной стороны к зданию кладбищенской конторы, как понял Лев Ильич. К ней примыкали сараи, склады, мастерские, что ли, здесь грязь была особенно жирной, валялись огромные камни — будующие памятники, чуть дальше стучали молотки, были слышны голоса...

— Сюда, сюда давайте, — старик толкнул неприметную черную дверь сарайчика и исчез там. Лев Ильич шагнул следом.

Это было тесное помещение, заваленное железным хламом, ржавыми прутьями от оград, проволокой, трубами... Тусклое оконце едва освещало стол на двух ногах, прибитый одной стороной прямо к стене. Старик рукавом пальто вытер стол и выставил бутылку водки, коробку консервов, сверток в промасляной бумаге и полбуханки черного хлеба. Все это он доставал с видом фокусника из неприметного внутреннего кармана своего долгополого пальто.

— Прошу, молодой человек! Сесть только не на что... Эге! найдем и сесть... — он выкатил из угла загремевшую пустую бочку ибрякнувший от удара ящик в ржавых железных полосах.

— Как вам мой ресторан?

— Мне хорошо, — сказал Лев Ильич. Главное, он был рад тому, что тут его не найдут родственники, уж наверно забравшиеся в дождавшийся их автобус.

— Стакан один, извиняйте... — старик вытащил из того же кармана, запустив туда руку по локоть, мутный стакан и обтер грязным носовым платком. Потом достал из-под стола топор, ловко вбрыкрыл коробку с кильками и разрубил хлеб на несколько кусков.

В бумаге оказалась колбаса, нарезанная толстыми ломтями. Он скovyрнул ногтем алюминиевую крышечку с бутылки.

— А как вас называть, если, конечно, не секрет?

— Лева, — сказал Лев Ильич. — А вас?

— Ну а меня в таком случае Соломон.

— Так неудобно, а по отчеству? Вы постарше будете.

— Думаете, это имеет значение? Когда нас положат в ту воду — кто постарше я имею в виду? Нет. Здесь становишься философ. Меня зовут Соломон Менделевич, если вас это интересует.

— Ну а меня Лев Ильич.

— О! Хорошее имя. Ваш папа был не Илья Репин — известный художник? Я подумал, если вы креститесь, то наверное у вас были благочестивые родители... Я шучу, шучу, Лева, вы не обижайтесь на старого Соломона. Нас, евреев, мало, это только антисемитам кажется, что мы как песок морской, гвоздь им в печенку. А откуда нам быть, когда одних повыбивали белые, хай им на том свете будет жарко, других красные, чтоб и этим не скучалось, третьих зарезал Гитлер, чтоб он подавился, четвертые теперь побежали на историческую

родину, где кушают хлеб обязательно с маслом, а вы начали креститься? Я вас спрашиваю, с кем теперь выпить старому Соломону, который не может не выпить, такая у него работа?.. Пейте, Лева, и не сердитесь на меня. Я понимаю, у вас трудная жизнь: один поступает в партию и ему дают за это автомобиль "жигули", другой идет в церковь, рассчитывая получить свои "жигули" т а м. Только я скажу вам по секрету: т а м автомобиль не нужен. Вы видели эти похороны? Лучше бы на них не смотреть... Пейте, Лева, я всегда шучу, что еще мне остается, когда уж и выпить не с кем?

— Давайте вы сначала, так будет правильно, — сказал Лев Ильич, ему хорошо было здесь в этом сарае — сидеть на железной бочке и слушать старика. "А ведь он прав, что ни скажет, все верно..." — подумал он.

— Спасибо. Уважаете старость. Значит я угадал и у вас были благочестивые родители?..

Он медленно, как воду, не отрываясь, выпил стакан, крикнул и вытер губы рукавом. — Хорошая вещь, стоит денег. А стоят ли чего-нибудь эти деньги? — он наполнил стакан и поставил перед Львом Ильичем.

Тот проглотил водку и его передернуло.

— Не нравится? — удивился старик. — Ая-яй, надо было взять коньячку — я думал, вы пьющий. Закусите колбаской, свежая, только что зарезали, я еще видел, как она бегала...

Лев Ильич было взял кусок колбасы, но передумал, положил обратно на бумагу.

— Я лучше килечку, — сказал он, от чего-то смутившись.

— Ого! Вы серьезный человек, Лева! Я думал, это мода, как девочки ходят в штанах, а мальчики с длинными волосами. И не буду от вас скрывать, хотел вас даже подловить. Но раз вы соблюдаете пост, я должен вас уважать, — он еще плеснул из бутылки. — Вот теперь вы пейте, а я люблю из дорогой посуды, — он держал бутылку черными пальцами у самого доньшка. — Бэрэшит бара Элогим эт хашамаим вээт хаарец!..

— Я не понимаю, — сказал Лев Ильич.

— Не может быть? Это все понимают. Думаете, я ничего не знаю? Старый Соломон ходит в синагогу и читает книги. Но это и в церкви понимают те разбойники, которые пускали перья из подушки моей мамы — большой кол им в могилу! — в городе Сураж... Знаете такой город?

— Знаю, — сказал Лев Ильич. — Моя мама оттуда.

— О! — крикнул старик, лицо у него покраснело, на носу дрожала прозрачная капелька. — Как фамилия вашей мамы?

— Гроз.

— Что вы сказали?! — закричал старик. — Повторите, я плохо слышу, потому что эти жулики, чтоб они забыли своих родителей,

когда делали мне аппарат, думали, что я буду разговаривать только с громкоговорителем! Как вы сказали?

— Фамилия моей мамы Гроз, — повторил Лев Ильич.

— Дочка Левы Гроза, у которого в Сураже была скобяная лавка и домашняя синагога на Мясницкой?

— Я не слышал про скобяную лавку, — сказал Лев Ильич, — но на Сретенке, где дед жил, на праздники у него собирались евреи.

— Вы мне будете рассказывать за Леву Гроза! — кричал старик. — За этого золотого человека, который никогда и мухи не обидел!.. Так вы сын его дочки... Так у него дочка... Да... Лева! — закричал старик. — Так я вас носил на руках на Рождественском бульваре, и вы, извините, запачкали мне однажды костюм, так что не в чем было идти на праздник к моему дорогому другу!..

— Пойдите, — сбился Лев Ильич, — на каком бульваре?

— Он еще спрашивает меня, какой бульвар? А какой бульвар начинается у Сретенских ворот и кончается Трубною площадью?

— Да, конечно, — смешался Лев Ильич.

— Конечно! Он говорит "конечно"! Стоп! И после этого вы не знаете, что такое "Бэрэшит бара Элогим..."? После этого вы крестите себе лоб на похоронах своего дяди?

— Что такое "Бэрэшит бара Элогим"?

— Спросите в вашей церкви, они перевели эти святые слова на свой воровской жаргон, а пока я скажу вам сам, потому что я уважаю, что вы не стали есть колбасу, а я — Соломон Менделевич Шамес съем ее за ваше здоровье! Выпьем за эти слова, — он стукнул бутылкой о стакан и, запрокинув голову, так что стала видна голая шея, замотанная грязной тряпкой, выплеснул остаток водки себе в горло.

Лев Ильич тоже выпил и положил на хлеб еще одну кильку.

— Это значит... — начал старик и бросил в рот кусок колбасы. — Какой, я вам скажу, продукт! Между прочим, можно прокормиться рядом с православным человеком, но лучше, если вы уж хотите правду, быть от него все-таки подальше... Это знаете, что значит? Слушайте меня: "В начале сотворил Бог небо и землю..." Где были бы ваши антисемиты — чтоб им пить и не закусывать! — когда б Он не сказал этих слов, и где они были, когда Он разговаривал с Авраамом и являлся Моисею? Они сидели на дереве и шевелили хвостами.

— А разве Христос пришел не для того, чтобы исполнить Закон? — спросил Лев Ильич.

— О! — завопил старик. — Он мне будет говорить, зачем пришел Христос! Он пришел затем, чтоб у старого Соломона Шамеса убили сначала мать, которая всем делала только добро, потом застрелили отца, который никогда ни у кого ничего не украл, потом сожгли детей, которые хотели всего лишь кормить своего отца, и

чтобы теперь заставить меня просить у коммунистов их медяки!..

— Я думаю, вы заблуждаетесь, Соломон Менделевич, — сказал Лев Ильич.

— Он думает! Он — большой богослов и знает, кто пришел исполнить Закон! Я смотрел, как ты идешь по кладбищу мимо еврейских могил, мимо памятников и надгробий — неужели они не говорят тебе: "Ты — еврей, внук Льва Гроза из Суража — ты отрезан от своих братьев, твои кости не будут покоиться здесь, никогда не смешаются с костями твоих предков, пусть тебя положат рядом, но под крестом — никогда Господь их не смешает! Неужели пламенем не загорится твоя душа, если ты попробуешь зайти в синагогу, или даже пройдешь мимо и услышишь жалобы и стоны своего народа, или бессмертные мелодии Судного дня? Да, если ты услышишь, то поймешь, что вечная пропасть навеки отделила тебя от твоего народа. Ты услышишь, как в твоей душе заговорит голос твоего деда, стены синагоги будут тебе кричать: "Мешумед! Отступник! У тебя нет больше удела в твоём народе, в его вере, в его Боге — ты им всем изменил!.."

Лев Ильич встал, он не знал, что ему делать.

— Ты думал, что купил старого Соломона Шамеса за бутылку поганой водки? — кричал старик, выпучив налившиеся кровью глаза. — Меня, который нянчил в Гомеле твою бедную мать, которому твой дед в своей домашней синагоге на Маросейке подарил талес? Я лучше тем бандитам, что копали сегодня яму твоему дяде — сто болячек им в голову! — буду бегать за водкой, чем с тобой — мешумедом пить ту поганую водку!..

Он схватил со стола бутылку, замахнулся, потом плюнул, повертел бутылку в руках и неожиданно сунул в бездонный карман своего пальто.

Лев Ильич спиной вышел в дверь и не оглядываясь пошел вон с кладбища.

2

Валил мокрый снег, грязь была непролазная, автобус, конечно, ушел, Лев Ильич не стал искать транспорт, надвинул на глаза кепку, поднял воротник пальто и двинулся по шоссе к смутно видневшимся сквозь летящий снег далеким корпусам — сегодняшней границе шагавшей сюда Москвы.

Он прошел мимо стены старого кладбища, замелькали кресты кладбища нового, и они кончились. В открытом месте ветер рванул полы его пальто, пролетевший мимо грузовик обдал его грязью...

Мешумед, думал Лев Ильич, стоны и плач в синагоге, кости моих братьев, с которыми никогда не смешаются мои кости... А эти похороны в красном гробу — как будет с костями моего бедного дядюшки, который плавает сейчас в глиняной жижке?.. А причем тут дядюшка, зачем тут его красный гроб — о нем, что ли, речь? Он, что ль, мешумед... Да, тут-то и был фокус. "Фокус — не аргумент", — ответил сам себе Лев Ильич. Но и коль разговор с ним, со Львом Ильичем, зачем же сюда мешать кого-то другого — там с каждым будет отдельный, свой разговор. Вот что главным здесь должно быть, о чем бы забывать не стоило бы, а то вишь как сразу — и дядюшку приплел! — главное, что р а з г о в о р будет! А это что, — и он с жалостью и теплотой вспомнил несчастного пьяного старика, оставшегося там, в сарае. "Куда он сейчас денется?" — вдруг с любопытством подумал Лев Ильич.

Взвизгнув, затормозила облепленная грязью машина.

— Далеко топаем? Садись, ежели не спортсмен...

"Такси!" — обрадовался Лев Ильич. В машине было тепло, он стряхнул под ноги снег с кепки, мокрыми руками вытащил сигареты.

— Спичками угостите?

— А как же! — шофер был молодой, красивый, быстрые серые глаза сразу ощупали, взвесили и тут же вынесли приговор Льву Ильичу. — Возьмите мои, — он кинул на панель перед ним пачку "Мальборо", — чего мокрое дерьмо курить.

— Фарцовка? — засмеялся Лев Ильич.

— Да ну, заниматься! Бабы снабжают... Эх, залетные! — Крутанул он баранкой, выскакивая из-под тяжеленного автобуса, так что шофер его, прямо слышно стало, как взвыл от бешенства. — Куда путь держим?

— Прямо, — сказал Лев Ильич — куда ему было ехать? — Прямо, а там видно будет.

— Эх, милое дело! Люблю прямо, да все время вбок сворачиваю... Хоронил, что ль, кого или навещал?

— Дядюшку закопали... Отмаялся.

— Дядюшку это что... Вот я бабу свою навещал. Год назад, в такую ж кашу. На новом... И поверишь, слово себе дал каждую неделю ездить. И ездил, хоть у меня этих самых баб — ну, поболее, чем мусоров, пока до центра долетим насчитаем. И ездил. Месяца два. А потом еще раза три — через месяц. Ну а теперь полгода не был. А ты говоришь — прямо. Как же, поездишь прямо... — он покосился на Льва Ильича. — Тоже вот так — да не так, но встретились: проголосовала, села, ну а уж когда вылезла — не то все было. Я за баранкой — бог, с какой хочешь дело сделаю. Ну а тут и не знаю — кто с кем...

Машина подлетела к городу, прямо навстречу им выплывал

в снежной мгле пятиглавый храм с колокольней, а рядом безликой, привычной и такой знакомой толпой стояли огромные корпуса, в которых — вон огни горят — сейчас пыли, ели, ссорились, что-то там делили, любили друг друга. А храм был темным — и так это ясно было, и подходить к нему не нужно! — брошенный всеми этими людьми, но какой он живой все равно, сколько чувствовалось в нем мощи, смысла и сегодня не разгаданного — войди в него, пусть брошен, ободран, загажен — Дух, Он где хочет дышет...

— Тоже вон, наказание нам — мимо ездить, а ведь не останавливаемся, — кивнул головой шофер на надвигающийся храм. — Что, думаешь, не так? Ученые все стали, а раньше, значит, дураками были? — непонятно спросил он.

Лев Ильич с удивлением посмотрел на парня. Тот крепко держал руль, напряженность была в широкой спине под свободным черным свитером, он вытащил одной рукой сигарету, ловко прижав рулем спички, прикурил.

— Эх, заплачу я за все, а еще ведь начнут подсчитывать — чаевых не хватит. Или, думаешь, расплачусь?

— Чаевых уж точно не хватит, — сказал Лев Ильич, все больше удивляясь.

Они лихо развернулись возле храма и тут Лев Ильич легко так стянул с головы мокрую кепку и перекрестился.

Машину швырнуло, но парень удержал ее, скрежетнув колесами о тротуар. Они уже летели обратно, храм остался с другой стороны, а тут стеной стояли эти нелепые дома, грязь летела в стекло...

— Ты что ж, вроде, из евреев будешь? — спросил шофер и еще раз покосился на Льва Ильича. — Вон и дядю на еврейском закопал...

— Из евреев, — ответил Лев Ильич.

— Что ж ты?.. Или у Бога нациев нету — все для Него люди, букашки-таракашки?.. Это я уважаю. Значит, нашел себе точку... Кабы она так могла! Тогда бы и этого не было, и туда бы не пришлось ездить... Я хоть сроду в церкви не был, куда мне, когда с баб не слезаю, а крещеный. Мать крестила, а тоже в церкви только на Пасху — куличи святить, так, больше для бабьего разговору. Ходит, ну и пес с ней! — я раньше и не глядел на эти церкви. Но знаешь, если б та, дуреха моя, да хотя б как мать... душой бы понимала, никогда бы то себе не позволила, знала бы — нельзя. Хотя, может, это я сейчас такой умный...

— Ты про что? — не понял Лев Ильич.

— А про то самое. Она и по церквам ездила, знаешь, теперь мода — на север, как раньше на юг, иконы тащат, по комнатам развешивают, а под ними водку жрут да на гитаре бацают. А вот, как ты, это я в первый раз увидел, чтоб перекрестился... Слушай, я тебе скажу, ты только не подумай. Я, правда, их попробовался, хоть и не се-

дой еще, как ты, но т а к не то, чтоб не было и не будет, а и быть больше не может. Не бывает... Не веришь?

— А так у каждого — один только раз.

— А! У каждого! Баба чаще сука, к себе все норовит — деньги, чего еще, что у мужиков имеется, схватить чтоб. Нагляделся. А может, не те попадались, да и мне что надо было от них?.. А эта!.. Ты поверишь, она до конца все надеялась, что не может быть, чтоб я это так, погулять, что не любовь... Да ну, это в кино посмотришь, не поверишь, чтоб человека после чьей смерти так перетряхнуло. Может неспроста?

— Да уж, конечно, неспроста, — сказал Лев Ильич. — Тут все так. И что сел к тебе не случайно, а зачем-то. Про себя я это точно знаю.

— Серьезно? Тогда, значит, и что она ко мне так вот, тоже смысл есть?

— А как же, когда сам говоришь, другим человеком стал — от чаевых, что ли?

— Какой разговор!.. От аборта она умерла, — сказал вдруг парень и затормозил резко, так что их развернуло задом.

Они стояли под самым светофором на пешеходной дорожке. Лев Ильич сориентировался и понял, где они.

”Вот оно что...” — сказал он про себя и вспомнил Таню и то, что ему необходимо быть у нее сегодня, что ее судьба теперь так важна и навсегда будет важной для него, потому что то, что было, случилось с ним вчера, когда он держал ее за руку, навсегда связало их, может быть самой нерасторжимой связью.

— Знаешь что, — сказал он, — ты извини меня, я тоже все прямо-то не могу, — и он назвал адрес: к Тане все равно рано, в редакцию он сегодня не пойдет — портфель остался у тети Раи, да и может ждут, поминки, что он испугался или того хуже — стесняется их? Не годилось так-то...

— Чего извиняться — все верно, попробуй-ка прямо! Да я никогда не против, сразу заворачиваю... — Они уже летели дальше. — Вот, слушай мою историю, раз мы с тобой не случайно встретились. Ну там любовь, то да се, дело обычное, хоть оно и не такое, как всегда было. Но все равно — баба и есть баба. Любила меня и все прощала. Да всего-то было месяцев семь или восемь, что ли. Такая тоненькая, чистая, а все прощала. Я раз домой к ней завалился — пьяный с дружкой. А там интеллигенты, чинно-благородно, я с порога и начал выламываться. Вижу, они недовольны — первый раз, трали-вали и в таком, мол, виде. Ах, так, в лаптях не любим! Ну дальше-больше. Грязного, мол, Ивана стесняемся — много чего наговорил. Дверь раскрывла, побледнела — иди, мол, отсюда. Ну все, бабу, что ль, не найду, но обидно — никогда еще меня не выгоняли, хоть и верно — по делам вору и мука! Ладно, загулял после этого. А раз, через неделю,

ночью, вот здесь в Черемушках наш парк, выезжаю из ворот, а посреди дороги кто-то стоит, фарами осветил — ни с места. Перед самой затормозил, вот, думаю, шалава, сейчас я ее обучу, высказываю — она, Лиля моя стоит, смеется. Такая была баба... А я, веришь, разговоров у нас много, ребята кой-куда съездили, а еще больше наболтали — надоело мне все, молодой, силенки есть, чего мне тут, хоть свет повидаю, а за баранкой и там можно, такое как у нас дерьмо, у них на свалке валяется, как бы это только организовать, соображаю. А там — билет в зубы и — до свидание, комсомол! Не до нее, одним словом. Она все думала, я шучу, а потом глаза вытарасила: ты что, говорит, в своем уме, как можно! И — понесла, не понять: Пушкин, березы, Волга-река... Какой дом, вот она улица...

— Ну и что? — спросил Лев Ильич, они уже подъезжали.

— А то, — парень мягко остановился, выключил счетчик, вытащил сигарету и повернулся всем сильным телом к Льву Ильичу. — Она мне и не сказала, что беременна, только вижу, уж очень расстраивается, ну надо ведь и себя показать, а потом не до того, у меня одна только мысль — ноги отсюда унести. Надоело. Знаешь, как все это надоело? Я по городу наездился, нагляделся, людей навидался — с души воротит. Сначала она все больше меня агитировала, а когда поняла, что Пушкин не проходит — про то, как жить да учиться, да по России гулять... Ну это все ладно. А раз все-таки поняла, знаешь, умная-умная, а что всем видно — не замечает. Дошло раз, что она мне не нужна, что я уехать хочу — и все тут. Хоть и это уж неправда, но так я тогда выказывал, да и сам ничего не понимал — это я после раскусил, кого встретил. Поняла, потухла, на глазах сгорела. Ну а после ее подружка прибежала в парк — моего адреса не знали. Она не в больнице, у кого-то на дому — да что, может один случай из тыщи, чтоб теперь от аборта помереть. Ты ж сам говоришь, что случая нет — так, стало быть, надо?

Лев Ильич не ответил.

— У нее руки были, — сказал шофер, — легкие, пальцы длинные, а ногти обкусанные, как у девчонки. Я-то мужик, а она — девчонка. Такие бывают — в двадцать пять начинают жить... Да. Вот, гляди, — он полез в задний карман, вытащил паспорт, а в нем фотография.

Стояла девчушка возле куста в крупных цветах — шиповник, что ли? — в длинном платье до пят, мода такая последняя "спираль", светлые волосы распущены, глаза широко расставлены, темные, видно, а лицо тонкое, чистое, ясное такое... Лев Ильич все не мог отдать фотографию.

— Такая, брат, карусель, — сказал шофер и забрал фотографию, сунул не глядя в паспорт. — Ну, бывай, может, встретимся, коль не уедешь. Или намылился...

— Нет. Меня здесь закопают.

— Понравилась, значит, хороша глина! Ну, давай, тогда встретимся...

— Передумал? — спросил Лев Ильич, открыв уже дверь.

— Да зарок, как ты, не давал, а кто на ту могилку станет ездить, хоть и раз в год?..

Дверь, как и утром, стояла не запертая, возле лифта на площадке прогуливался ЖЭК и паренек — Ирин муж, уже без шляпы, в костюмчике, с галстуком на темной рубашке. Курили. Они, вроде, обрадовались Льву Ильичу: "А мы все смотрим, смотрим..." "Так получилось..." Лев Ильич разделся, топтался в коридоре.

— А, Левушка! А говорили, ты уехал? — тетя Рая с тарелкой шла из кухни в комнату. — Хорошо, что пришел, а то когда теперь увидимся.

Он заглянул в комнату — в ту, где стоял гроб. Теперь посреди был стол под белой скатертью, уставленный закусками, бутылками. Ира на него строго посмотрела — ничего не сказала, а дама в пенсне демонстративно отвернулась.

Лев Ильич взял щетку, кое-как очистил брюки, вытер ботинки тряпкой, помылся. Позвали к столу. Да не много было народу — все те же. Какая-то женщина со знакомым лицом — нянька, что ли, их старая? — все хлопотала, накрывала на стол.

— Нянюшка, — сказала тетя Рая, — видите, какой Лева стал большой, солидный.

— Да уж я гляжу — ровно бы он, а меня не узнает — может, кто другой, похожий?..

Рита посадила его рядом с собой. Она была к нему помягче других.

— Холодец накладывайте, — угощала тетя Рая, — с чесночком, и горчица есть. Яшенька так любил холодец, и до последнего, все бывало, просил: "Сделай мне холодцу..." — она заплакала.

— Налили? — спросил седой старичок. Он сидел во главе стола, спиной к окну. "Кто он такой?" — Лев Ильич все пытался вспомнить и не мог.

Старичок поднялся с рюмкой в руке. Все встали.

— Сегодня, — начал он строго, — мы проводили в последний путь нашего дорогого Якова Исааковича Гольцева. Нашего Яшу. Трудно говорить, а еще трудней поверить, что его нет за этим столом. Хотя он давно уже с нами за столом не сидел — тяжелая болезнь вырвала его из наших рядов... — он помолчал. — Я помню Яшу молодым, когда его, из всех здесь присутствующих, только и знала одна Рая. Когда он был моложе своих дочерей. А уж коммунист, большевик, с наганом в своей изуродованной руке...

"Батюшки! — вскинулся Лев Ильич. — Так вот это кто! как мог он забыть дядю Семена!.. Да никакой он не дядя ему был — приятель их, еще по Витебску, из которого они родом — отец и все Голь-

целы. Такой был всегда зануда — и маму он мучил: и сына она не так воспитывает, и деньги не туда тратит, и одета слишком легко зимой и тепло летом — до всего-то ему было дело. И какие книги читать, и какое кино смотреть. Как же, раз он и его — Льва Ильича, он уж, вроде, учился в последних классах школы, до слез довел этим своим занудством. Вот, у Яши, кстати, меж его двумя лагерями, когда тот приезжал на недельку с фронта: почему не работает, шестнадцать лет, учиться можно и потом, в вечерний — все для фронта, они, мол, и в гражданской участвовали, и оппозицию громили... Особенно Яша гробил и участвовал: руку себе сам еще в девятнадцатом году прострелил, чтоб в армию не взяли, как еще от дезертирства спасся — времена, что ль, были полегче? Да ведь он тогда уже в партии был, сам, небось, вылавливал дезертиров, покалеченной рукой чего надо подписывал! А уж про оппозицию что говорить, вспомнилась ему, небось, оппозиция в тридцать шестом славном году, когда его взяли вместе с отцом в один день — тоже была операция... Как он мог забыть Семена с его поразительной способностью даже про что-нибудь действительно прекрасное говорить с такой тяжкой тупой скукой, что можно было возненавидеть и книгу, над которой только что обливался слезами, и фильм, которым восхищался, стоял перед глазами. А уж если что другое... "Мать" Горького — это книга-памятник, — вспомнил Лев Ильич, — это рубеж, навсегда определивший, какой должна быть наша литература: не про ягоды и цветочки, не про то, как жены изменяют мужьям и от ревности прыгают на рельсы, а про классовые битвы, как вчерашние кухарки учатся управлять государством..." "Да ведь он какой-то литературный деятель!" — вспомнил Лев Ильич. Правда, сейчас такой примитив вроде и не проходит, да много ль изменилось — все равно примитивом, ложью и остался! Отец его и в дом не пускал, а у Яши он всегда распускал хвост — говорун-говорун, дурак, а уцелел, ни разу ведь и не тронули!..

— ...Яков всегда был для нас, старых коммунистов, примером кристальной ясности, — говорил Семен. — Он не держал на партию обиды за свои переживания, он знал, что так нужно, что мы куем новый свой мир из обломков старого, что не сразу, что много грязи досталось нам от проклятого прошлого. Он не задумывался пошел на фронт, хотя покалеченный еще на гражданской войне мог бы найти себе дело в тылу...

Да уж, наверное, из лагеря, из Воркуты готов был не только на фронт... — подумал с тоской Лев Ильич, давненько он такого не слышал. "Пришел, так помалкивай, — осадил он себя, — надо было сообразить, кого тут можно встретить..."

— Так он и дочерей своих воспитал, хоть и не всегда был с ними: честными, принципиальными, советскими людьми, которые никогда не прельстятся чужим проклятым раем — у них он свой,

политый нашей кровью и потом. Яков был тем солдатом революции, принесшим с собой из затхлого мира нищего царского местечка чувство интернационализма, очистительную ненависть ко всему, что ему мешает, ненависть к куску хлеба с маслом, за который и сегодня предают идеалы. Он был из того мира, отмеченного на его заре и высеченного в броне Максимом Горьким...

— Ну, слава Богу, не ошибся — тот самый Семен... — усмехнулся Лев Ильич. Уж коль и про Максима Горького вспомнил, и опять этот кусок хлеба с маслом покоя им не дает. Только тот старик на кладбище забыл верно как оно выглядит — масло-то, он водкой жив, а Семен всегда норовил у других его оттягать, небось, с дядошкой вместе ходили с талонами в распределитель, еще и Лев Ильич их застал, помнил те распределители, не стеснялись. Ну да, это ж не расходилось с идеалом... Кто он все-таки — сумасшедший, как дядя Яша, или просто идиот, мерзавец?..

Лев Ильич не выдержал, сел, огурец подцепил на вилку.

Семен покосился на него и закончил с подъемом.

— Спи спокойно, Яков, мы не забудем ни того, что ты сделал для нашей партии, ни того, сколько еще предстоит нам сделать, а сегодня особенно, когда не впрямую, не открыто, а исподтишка проникает к нам враг, норовит залезть в дом, запачкать твой святой красный гроб.

— Ну все-таки заработал, — обрадовался Лев Ильич, — это уж непременно про меня...

— Левушка, что ж ты холодец, — все беспокоилась тетя Рая, — или не любишь?..

Речь Семена тут явно никого не удивила, все было как быть должно. И опять Льва Ильича ударила пустота в этой комнате — ну ничего здесь нет, на чем бы глазу можно было остановиться, зацепиться за что-то... — Ладно тебе, — остановил он себя, — у тебя дома за многое ли цепляешься?.. Живут люди как могут...

— Оставь его, Рая, у него свои правила, свои законы, — это дама в пенсне подала реплику.

— Какие законы? — удивилась тетя Рая. — Холодец свежий, вот Борис Иванович человек новый, — обратилась она к ЖЭК'у, соседу Льва Ильича. — Как вам мой холодец?

Льву Ильичу стало стыдно. Он положил себе кусок, ковырнул вилкой.

— Разрешите и мне, — сказал ЖЭК, поднимаясь с полным стаканом, Лев Ильич и не заметил, когда он успел еще налить. — Я, верно вы выразились, человек здесь новый, первый раз, можно сказать. Так и случая не было... Я имею в виду, никогда с этой квартирой у нас никаких недоразумений. И квартплата в срок. А ведь знаете, дом новый, недоделок много. Но мы, между прочим, — он строго глянул в сторону Семена, — тоже в свой дом врагов не допустим. Не вый-

дет! — он рубанул по столу рукой. — Я, конечно, такого стажа, как предыдущий товарищ, не имею, но как коммунист и представитель общественности скажу, — он помолчал и с печалью поглядел на стакан с водкой, который поднес было ко рту. — Товарищ Гольцев был образцовым жильцом. Он ни разу не пожаловался, ничего для себя не просил, хотя имел, как говорится, все права и более того... Такой был случай, с год уже, а запомнился. На прогулке он был, да и заглянул к нам в ЖЭК. А у нас как раз разбиралось заявление одного такого, простите меня, жильца...

— Что это вы, здесь не собрание... — сказала непримиримая дама в пенсне.

— Минуточку, — остановил ее ЖЭК, — я еще не кончил. У нас, может, и не собрание, я человек новый, но договорить над свежей, так сказать, могилой коммуниста должен и имею право.

— Конечно, Борис Иванович, мы вас очень уважаем и благодарны, что зашли, Яшу не забыли, — заплакала тетя Рая.

— Заходит товарищ Гольцев к нам в ЖЭК, — торжественно продолжал оратор, — а мы разбираем заявление о разделении санузла. Товарищ проживает в однокомнатной квартире вдвоем с женой, но ему, видите, неудобство. Конечно, жить становится лучше и веселее, но можно, как говорится, и в раздельном, так сказать, санузле совершать все, что человеку положено. Громкий был у нас разговор, вполне, можно сказать, принципиальный, тот товарищ пытался давить демагогией — не про-хо-дит! Хоть и за свой счет, а нарушать поэтажный план не положено... И тут товарищ Гольцев вмешивается. Мне, говорит, странно заявление этого товарища. У меня, говорит, квартира трехкомнатная, санузел раздельный, а я б даже просил ЖЭК, чтоб мне его объединили — сломали бы стенку. Потому, мол, я против одиночества и всегда был за коллектив...

За столом замерли, хотя тут, видно, ко всему привыкли и ни на что не обращали внимания. Но и то оторопели.

— Это он, знаешь, зачем? — зашептала Рита в ухо Льву Ильичу. — Он ведь все подслушивающую аппаратуру боялся, а там, считал, им будет трудней установить, воду можно пускать в ванне...

Лев Ильич так и застыл с холодцом во рту.

— Я привел этот, может и незначительный эпизод из боевой биографии товарища Гольцева для того, чтоб сказать, что человек и в малом виден, а может, в малом-то он лучше и виден. Это я по опыту работы с жильцами могу утверждать особенно твердо, — он опять строго посмотрел на Семена. — Спи спокойно, товарищ Гольцев, и за наш дом не тревожься. Чем сможем — поможем вашей замечательной семье. И поэтажный план нарушать не дадим.

Все выпили в некотором даже оцепенении.

— Ну ты даешь, Борис Иванович, с поэтажным планом! — хмыкнул через стол Ирин муж.

— А ты думаешь, это шуточки? — обиделся ЖЭК. — Попробуй посиди хоть день в нашей конторе — не то запоешь. Это кажется легко — напоминай, мол, чтоб платили. А как быть с растущими потребностями — они ж постоянно растут? вот оно в чем дело-то. А базис? Я имею в виду дом — как он может расти, когда строительство закончилось, государственная комиссия его приняла? А что такое государственная комиссия? это уже навсегда. И это не философия, заметьте, а суровая действительность наших дней. Конечно, если считать, что потребности только от грязи да из обломков навсегда канувшего в прошлое, как полагают некоторые, которые стажем перед нами гордятся. А мы имеем дело с живым человеком. А живой человек, известно — у меня у самого потребности растут и все обновиться не могут! — подмигнул он Ириному мужу.

— Я думаю не очень и уместно здесь про эти свои... как вы их определяете... — начала дама в пенсне.

— Потребностями. И не я их определяю, — не сдавался ЖЭК, — а директивные партийные документы. Ну-ка, пусть нам старый коммунист разъяснит: как быть, когда дом построен на века, а человек что ни день — меняется? Сегодня в совмещенном, так сказать, санузле не желает сидеть, а завтра ему подавай индивидуальный бассейн для прыжков в воду! Не всегда жилец такой сознательный, как наш юбиляр... Простите.

— То-то вот, что "простите", — ввернула дама в пенсне.

— А может, музыку послушаем? — сказал Ирин муж. — У меня записи есть новые...

— Будет тебе, — вмешалась нянька, — записи! Чай, не именины.

— Что-то и не кушает никто, — поднялась тетя Рая, — вот и холодец остался...

— Эх, тетя Рая, тетя Рая! — думал Лев Ильич, глядя в ее потухшие глаза, на неприбранные седые волосы, в тусклое, неживое лицо. Ну конечно, горе сейчас все сокрушило, даже не горе, а верно, полное отупение ото всего. Это я-то раз за два года забежал, а потом и вспоминать не решался, а тут день за днем — и этот горшок, и эта аппаратура, да еще, наверно, не самое тяжкое, было и еще чего — и дочери, и их раздражение, и их жизнь, но главное монотонность, безнадёжность — так вот изо дня в день... Тут уж потухнешь, сокрушишься. Да разве только это — ведь и другое было! И он представил себе полвека с этим Яшей — и когда он бегал мальчишкой со своим маузером — она уж и тогда была ему женой, чуть не в восемнадцать лет привел он Раю к своему отцу. Да ведь еще и дед, отец Яши!.. Тут удивляться не тому надо, что потухла и потускнела, а что жива — вон холодом своим потчует!.. Да ведь кроме жалкого преуспеяния, карьеры ненатуральной, пустой, когда этот Яша в своем райкомовском кабинете чьи-то судьбы решал, кроме всего этого была красота

и молодость, пришедшая на двадцатые лихорадочные годы, а были еще годы тридцатые, вот где звездный-то час тети Раи, когда она во имя любви совершала свой подвиг! И он представил себе Лубянку, Кузнецкий, толпу этих женщин, Раю, однажды не выдержавшую этой бесконечной тупой безнадежности — женщина ведь она была! "Вот она, еврейская женщина!" — и так печально стало у Льва Ильича на сердце. "Что-то слезы все близко", — подумал он. Как она пришла к этому человеку, как родилась та мысль? А что тут — и мысли не было: пришла к своему профессору за советом, за помощью, вечерашняя студентка — с томными глазами, с плавной полнотой... И ведь сделал, что обещал, вот ведь что удивительно! сколько было таких историй, когда, натешившись, про то обещанное и позабывали — погулять, воспользоваться сладкой возможностью, в том, какой грех, когда с врагом имеешь дело, а вот сдержать слово — за это могли и спросить по всей строгости классового сознания! Что ж, значит совесть заговорила? Да ну, какая там совесть! Читал недавно Лев Ильич его речи, и по тем даже временам поразительные — да никто себе такого никогда еще не позволял: среди бела дня лгать на весь мир, упиваясь собственным канибальским красноречием, даже не пытаюсь — да что там, принципиально не желая! — соблюдать хотя бы видимость правосудия или вообще хоть какие-то человеческие нормы. От того кровавого пафоса и сегодня, спустя сорок лет, почитай их открытыми глазами, муторно становится — но ведь читали, глотали ту кровавую жижку!.. "А что, не нравится?" — вдруг перебил себя Лев Ильич. Желудок не справляется с такой пищей? А когда те, кому тот профессор вколачивал осиноый кол в глотку, да, да, те самые — с маузерами, и не год, не два — двадцать лет гуляли! — или они соблюдали нормы судопроизводства? "Не нравится?.." "Стоп, — сказал себе Лев Ильич, — это другая тема..." Но вот почему он все-таки сдержал слово? Потому только Яша и выкрутился, через пять лет вернулся, Рая еще одну дочку ему родила, а еще через тридцать лет спокойноенько в красном гробу плюхнулся в глину, провожаемый все теми же речами? Почему?.. А может, профессор за то с Яшиным братом сквитался? эх, темна была вода, не разглядишь! Чтоб еще брата — отца Льва Ильича спасти и ее волооких библейских глаз не хватило б, Эсфирь, быть может, только... Нет, и Эсфирь ту задачку не решить, да ведь и Артаксеркс, и первый человек после него в Сузах, так страшно погибший за то, что осмелился злоумышлять против иудеев — не Сталин с Вышинским! — хмыкнул про себя Лев Ильич.

— Разрешите и мне два слова? — Лев Ильич налил себе водки, но не встал, а голову опустил.

За столом замолчали, только дама в пенсне, фыркнув, что-то бормотнула.

— Конечно, Левушка, скажи, ты ж знаешь, как тебя Яшенька

всегда любил, ты один у Илюши... — тетя Рая снова заплакала.

— Мой дядя, — начал Лев Ильич, — Яша был легким человеком. Такому человеку, как он, и жизнь была б нужна совсем другая — легкая. А она его с самого начала вон куда потащила. Веселый он был человек. И выпить с ним хорошо было, и поговорить про все на свете, и по улицам погулять. А он, видите, как схватился еще мальчишкой за тот маузер, и держал его, пока его самого тем же маузером... Не ту жизнь он выбрал, а может его не та жизнь выбрала — не по его плечам. И все-таки счастливым он был человеком — мой дядя Яков. Таким счастливым, что вот и сегодня, глядя на страшные эти... — Лев Ильич запнулся, представив не дававший ему покоя, не уходивший из глаз красный гроб, плававший в глиняной яме. — Провожая его, думалось: ну как же тебе повезло, Яша! А счастье его, радость — а ведь он это знал, понимал, всегда понимал, потому и бывал порой веселый как ребенок, — посчастливилось ему встретиться с тетей Раей...

— Ой, что ты, Левушка! — охнула тетя Рая.

— И так посчастливилось, — поднял на нее глаза Лев Ильич, — в самом чуть ли не детстве, когда он себя и человеком еще не признавал, мужчиной не был. Это, вон, книжные люди все полагают, что коль держит человек в руке пистолет, или там ножик, он — мужчина. Не так ведь, а, тетя Рая?

— Ну знаете!.. — вскинулся Семен.

— Да уж знаем, — не сбился Лев Ильич. — Куда как знаем, навидалась Россия мальчиков с ножами и пистолетами, возмнивших себя мужчинами. Да уж так, кто берет нож, те же от ножа и погибают. Не нами это сказано, а иначе не бывает. И не у таких, как Яша, спину ломали, не такие, как он, за тот стаж собственной кровью расплачивались. А ведь он вернулся. И вот девочки при нем выросли, внушке порадовался, даже начальник ЖЭК'а, строгий к своим жильцам, доставляющим ему столько огорчения, и он помнит его добрым словом. А все тетя Рая, ее подвиг, ее только сокрушивший, любовь, которая оказалась посильней ножа. Вот кому всем обязан Яша — не партии своей, вы уж простите меня, Семен, лучше б и не вспоминать здесь — за поминальным, тети Райными руками сделанным холодцом про это, да и стаж его — не насмешка ли всего лишь? Любовь тети Рай, которая не просто спасла ему жизнь, что уж там жизнь, которая все равно так или эдак, но у всех у нас закончится смертью. Она эту жизнь ему светом наполнила, про который он за пистолетом своим и позабыл бы, коль не она все — не тетя Рая и не любовь ее великая, никакой награды себе не требующая... Давайте мы за тетю Раю выпьем, за подвиг и за страдания ей поклонимся, пожелаем счастья, покоя, сил вырастить внучку и помочь ее и Яшиным девочкам. Будь здорова, Раечка!..

Лев Ильич выпил, отправил в рот кусок холодца и улыб-

нулся.

— Замечательный у тебя холодец, а я, дурак, все отказывался!..

Все молчали, а тетя Рая тихо плакала.

— Вот мужик вырос, — встала с места нянька и в сердцах громыхнула тарелкой. — Не то что наш, прости Господи, "записи" ему все подавай. "Записи" тебе — как же, музыку! Спасибо тебе, Лева, утешил, спаси тебя Христос!

Все полезли из-за стола.

Рита, когда Лев Ильич протискивался мимо нее, обняла его и поцеловала.

— Еще чай будет, — спохватилась тетя Рая, — у нас и торт есть.

Семен подчеркнуто отворотился от Льва Ильича, отправился на кухню, и Лев Ильич слышал, как он там гневно о чем-то говорил с дамой в пенсне — уж ее голос ему запомнился.

Лев Ильич закурил, к нему подвалил ЖЭК, стрельнул сигарету.

— Пойдем на лестницу, там перекурим.

Они вышли к лифту.

— Послушай, — сказал ЖЭК, глядя на Льва Ильича пьяными, шальными глазами, — у тебя время есть?

— Какое время? — не понял Лев Ильич.

— Да тут, понимаешь, у меня баба, квартирьершница из нашего ЖЭК'а. Пойдем, слушай, тут уж все, больше не дадут, да и ладно, им тоже отдохнуть надо, а то этот заядлый со стажем заведет сейчас свою шарманку, он, видел, как на тебя вызверился?

— Не могу, у меня еще дела сегодня.

— Да брось ты, дела! Все равно всего не переделаешь. Это такая, я тебе скажу, баба — и коньяк есть, все, как положено. Тоже Фира, между прочим. Про все — как есть про все! — и позтажный план позабудешь. Ну его к монаху и план этот — один шут, все прахом пойдет!..

— Неужели до того? — никак не ожидал Лев Ильич. — Чего ж ты тогда распинался?

— Так там, понимаешь, я, вроде, не от себя — представитель, одним словом. За это деньги получаю. Это у них стаж — понастроили, им и податься некуда, а нам — нам зачем? Все равно растащат, какой там план! Тут у нас и эти индивидуальные сортиры, умывальники, плиты из своих квартир — все волокут продавать. Честное слово, не поверишь — чем сами-то обходятся? Да это все — брось, забудь. Я тебе про другое: пойдем, слушай, не пожалеешь!..

"По делам вору и мука..." — вспомнился Льву Ильичу давешний парень. Вот и мне по делам! Начался мой еврейский разговор с праотцев — с Авраама и Моисея, да еще пораньше того — с тех дней, когда Господь создавал небо и землю, даже книгу "Есфирь" вспом-

нил! — а кончился пьяной болтовней о лихой Фире, заставившей начальника ЖЭК'а забыть про поэтажный план!..

— Левушка, Борис Иванович, где ж вы? Чай уже на столе, — выглянула на лестницу тетя Рая.

— Спасибо, Раечка, мне надо идти. Я приду к тебе, обязательно приду, не сердись на меня...

У Льва Ильича не было больше сил сидеть за этим столом, да и от ЖЭК'а надо было бежать, пока не поздно.

3

Он успел еще застать ее в редакции.

”Ой, хорошо как! — обрадовалась Таня. — А я уходить собралась. Вы где?”

Лев Ильич стоял в телефонной будке, против редакции. И так ему тепло стало от ее милого голоса, от ее искренней радости — значит нужен еще кому-то?

Они пошли пешком — не очень было далеко, да и спешить теперь некуда. И это ощущение, что не нужно торопиться, что он все равно пришел — что бы то ни было, пришел! — такое странное оно было для Льва Ильича, так непонятно было, на чем оно основано: вот и дома у него нет, и ночевать сегодня где неизвестно. У Тани? А удобно ли, да еще в том доме... Но как-то все иначе тут было — идет себе с милой девушкой, за руку ее держит, она ему рада, болтает и то, что с ней происходит, то, о чем вчера ему рассказала, доверила, ее драма, решение, которое надо было принять — от него теперь чуть ли не вся ее жизнь зависела, станет совсем другой! И все это было так естественно: эти заботы, переживания, само собой разумеющиеся. Да и какое тут может быть решение — все ясно и спрашивать надо ли? Но важно было и спросить, и поговорить, а с кем еще, как не со священником решать такое — отца-матери у Тани давно не было, и, как вдруг выяснилось, у современной этой девочки с модными глазами и в туфлях на платформе — совсем одинокой. Это одна внешность, а на самом деле все оказалось совсем другим. Так и этот гигантский город живет двумя жизнями — внешней, стоящей немного, только грохоту на весь мир, и — главной, на самом деле единственной, никому чужому неведомой. Может, она и осталась такой — та жизнь, как сто, двести лет назад?.. Это когда — при Екатерине, что ли? — усмехнулся Лев Ильич. Что ж тут осталось, кроме названий, да и они завтра позабудутся. И не завтра — сегодня забылись. И он попытался вспомнить название улицы, по которой они так хорошо шли — Остоженка, а может, Пречистенка? Какая ж

из них какая?.. Почему-то всегда он тут сбивался. И все-таки чего здесь было больше, — застряла у него в голове мысль, — внешнего, что все здесь затопило: машины, асфальт, люди, как придаток к этим машинам, позабывшие запах земли под асфальтом, где та, другая жизнь, существующая и там, под асфальтом? Что ж это за жизнь может быть под асфальтом, под катком, регулярно его приглаживающим — уродливая, затоптанная, задыхающаяся и задохшаяся давным-давно? Это и не жизнь вовсе, а некое существование, какие-то жалкие функции, быть может, сохранившее его и противопоставлять нелепо гигантскому городу, который ведь не просто так вырос, стал из маленького большим, надстроил этажи, выковырял булыжник и залил все бетоном? Это произошло вдруг, однажды — подумаешь, пятьдесят лет! — так что то, что называлось той истинной, глубинной жизнью — она и приготовиться к своей тайной жизни не успела, ее залило, затопило — и она могла сохраниться только уродливым жалким анахронизмом, слезливым напоминанием о некоей древней романтической близости с живой природой... Ну да, подумал Лев Ильич, это верно, если говорить с точки зрения все того же асфальта или каблуков, весело по нему отщелкивающих, или с точки зрения катка — попробуй останови его, ляг на его дороге! Но разве тупая сила свидетельствует истинности и жизни? А травинка, пробивающаяся сквозь трещины в асфальте — это чудо, реально существующее сегодня, когда для чудес нет ни места, ни времени, когда их смяло катком или столь же тупой иронией — не свидетельство?.. Вот мы и договорились, — подвел он итог, — асфальт или травинка, вот и решай, что главнее, что жизнь и чудо? Ага, подумал дальше Лев Ильич, став на мгновение травинкой, а не каблуком, щелкавшим по ней. Да, с точки зрения травинки, на много ли способен и чего там уж стоит ваш асфальт? Это пока вы тут щелкаете и шинами разбрызгиваете грязь, а когда приходит пора, а ведь она непременно все равно придет, когда вы роете яму, чтобы лечь в нее — каково вам оказаться там, в залитой водой глине? А травинка растет и в яме, и еще через месяц-два бугорок над ней зазеленеет — для травинки и ужаса здесь нет никакого. И он вспомнил вдруг таких разных людей, виденных им сегодня — их всех, так по-разному проявившихся возле той ямы: своих двоюродных сестер, даму в пенсне, Семена, тетю Раю, ЖЭК'а, старика-еврея, шофера такси и наконец дядю Яшу, поплывшего в своем красном гробу... Ну конечно, остановил сам себя Лев Ильич, это так заманчиво — представить своего оппонента глупцом, чтоб доказать несомненность правоты собственной банальности: асфальт, каток — уж изначально самый тупой инструмент, и некая травинка — символ жизни, беззащитности. Ну а разве есть принципиальная разница — не количественная, конечно, меж катком, коль уж ты взялся противопоставлять травинке, и каким-нибудь роскошным автомобилем, электронной машиной,

космическим аппаратом — разве он, каток, не выполняет своего назначения всего лишь столько же, или еще более того — безукоризненно: попробуй, повторил он понравившийся ему аргумент, ляг на его дороге! Вот потому я их и увидел рядом и совместил, что в ее беззащитности перед его тупым могуществом некая высшая сила и замысел. И он просчитал про себя двадцать веков, и еще сорок до того, и еще столько же. Он представил себе пору, когда на самой заре истории впервые показалась небольшая толпа полудиках пастухов, вышедших вслед за Авраамом из Месопотамии, из Харрана, путь их лежал через пустынные области в землю Ханаанскую. Он попытался припомнить, что было еще до того, а потом ринулся обратно сквозь тысячелетия и века и уже очутившись здесь, в гремящем, грохочущем, готовом все затопить городе, он и увидел все ту же травинку. Ему показалось, он у с л ы ш а л, как она дышит и толкается там, под его ногами, под толщей сотневекового асфальта — та самая травинка, что была посеяна Господом еще до того, как Он создал человека из праха, и уж, конечно, не человеку сделать что-то с Божьим созданием. Как и не тому, что сделано человеком, его ж и погубить. Он может стать Семеном, может даже управлять катком и не свернуть в сторону, если ты попадешься ему по пути, но даже и тогда он способен однажды открыть в себе то, что открылось ведь Льву Ильичу — племяннику своего дяди и кровному единоплеменнику этого самого Семена. Вот оно, серное озеро, кипящее масло на сковородке: когда водитель катка — а кто из нас так или иначе не был тем водителем? — вдруг опомнится и прозреет, поймет несомненность травинки, которую всю жизнь давил, увидит ее рядом, в первом встретившемся ему человеке — вот в этой девчужке, что о чем-то спрашивает и спрашивает его и уже изумленно останавливается, не понимая его немоты...

— Что с вами, Лев Ильич, вам плохо? Вы что, не слышите меня?

Он поцеловал ее холодную ладошку, что забыл в своей руке.

— Прости, Танюша, я сегодня устал, видно, жутко, да еще пью целый день. Прости — задумался.

— Вот я и спрашиваю, может, купить что-нибудь выпить, а то у меня нет ничего дома?

— Нет, нет! — испугался Лев Ильич. — То есть, как знаешь, если хочешь, я сбегаяю, но я-то совсем... нет, не буду я больше пить!..

— Ну и ладно, а я тоже не хочу.

— Сейчас бы чайку горячего... — подумал вслух Лев Ильич.

Они уже поднялись, входили в квартиру. Лев Ильич не помнил ее, да и ничего у него не осталось с той ночи, кроме чувства стыда. Но сейчас все было другим, и не он сюда захотел прийти — он был нужен, а он так устал в последние дни от того, что все чего-то просил у других и ему все давали. От щедрости других он устал, да и не за-

служил такого.

— ...они попозже будут, — тараторила Таня, — мы пока хоть вдвоем посидим. Мне тоже чайку хочется, продрогла...

— Как попозже? — услышал наконец Лев Ильич. — Это ты про Лиду, разве она здесь живет?..

— Так я вам про это всю дорогу рассказывала? — удивилась Таня. — В том и дело, я потому обрадовалась, что вы зайдете, хотелось, чтоб вы поглядели. Она замуж выходит. Вот и придет с ним сегодня.

— Да, да, — сказал Лев Ильич, — конечно, надо посмотреть... "Да мне-то уж надо ли? — усомнился он. — А главное, надо ли это Лиде?.." Ну да нечего было теперь думать.

Он сидел на беднейшей кухне, Таня сразу поставила чайник, обтерла клееночку, нарезала хлеб, достала банку варенья...

— Может, чего горячего? У меня особенного нет, но можно картошку почистить...

— Если мне, то не нужно, Танюша, я бы чайку... — ему тепло, спокойно так стало. — Икона у тебя хорошая, красивая.

— Бабкина еще... Надо бы убрать ее. Это я пока Лиды не было, а то она, знаете... И этот ее... тоже ведь неизвестно кто... — она подставила табуретку, сняла икону в тяжелом серебряном окладе и пошла из кухни.

Как это все сложно в каждом доме... — думал Лев Ильич. — "Не мир, но разделение..." Вот тебе и родные сестры, и обе одинокие, а друг от друга, может, самое свое главное прячут. И он вспомнил долгий вчерашний разговор с Таней за обедом в шикарном ресторане, куда он ее повез, надеясь этим жалким шиком украсить свою радость и переполненность. Стеснялся он, что ли, своей радости? Да уж совсем это было лишним, не нужным — и ресторан был чужим, и официанта, ему подмигивавшего, когда он спросил Таню, чего ей выпить, было стыдно, а потом вдруг грянул оркестр, — ни к чему это было после всего, что утром с ним происходило. Сколько еще сидит во мне этой пакости, — думал Лев Ильич, — чистить и чистить, а много ль осталось? Так и буду всю жизнь на одном месте топтаться.

А Таня, словно и вниманья ни на что не обращала, только удивилась его приглашению, а потом ей не до того стало. Простая, конечно, была история. Она уж в тот раз, когда ему выплакалась, знала, но не твердо, сомнения оставались, а теперь нет никаких сомнений — беременна она. А тут вон как сложилось. Если он даже и захочет к ней вернуться, она твердо решила — не бывать тому. Решить-то решила, а поговорить надо. Она и к исповеди ходила — все к общей, не так просто, знаете, мол, что про священников говорят, да и нет привычки, одно дело на Пасху да на Рождество, а так, какая, мол, церковь, когда сначала все квартиру выбивала этими пальцами, по-

том замуж собиралась и с Лидой разные истории. Конечно, мол, она понимает, что священник скажет — тут заранее известно, про аборт нечего и заикаться, но может, и права у нее нет рожать ребенка? куда ей, как, мол, она его вырастит, а замуж уж и думать нечего — и так никто не берет. Вот потому она и обрадовалась Льву Ильичу, увидя его в церкви, и что он с отцом Кириллом знаком... Лев Ильич начал было ей объяснять: и про ребенка — какая это радость, и про аборт, что, мол, про это и думать нельзя, и еще про что-то — уж больно ему вчера хорошо, переполнен был, а там и устыдился: таким на него пахнуло безнадежным бытом! Одно — праздник, счастье, трепет общения, другое — каждодневность, вот они, заповеди-то — не в полете, когда никого вокруг не замечаешь, тогда и на костер взойдешь, жара не почувствуешь, а другое — тут, в комнатке, на общей с Лидой кухне, пеленки, денег не будет, из редакции уйдет — пока до яслей, до детского сада... Так они и сидели: после обеда — ужин, Таню даже танцевать пригласили, но она отказалась, не так он, одним словом, думал провести этот вечер. "А как?" Вот в том и дело, что все о н думал, как о н проведет. А надо было о Любе и Наде, ну слава те Господи, Таню утешил, радовался бы... Правда в дом зайти побоялся — сробел вчера, вот и пришлепал к отцу Кириллу за полночь, а утром Любин голос в телефонной трубке... "А почему сегодня не сробел?.."

— Скажите, Лев Ильич, а вдруг вернется? А?.. Или узнает, в каком я роддоме, а у меня мальчик, я с мальчиком на улицу, а он стоит? И цветы... А? Может так быть?..

Ну вот, — подумал Лев Ильич, — что тут скажешь — во*ведь что нужно, а не его абстрактные разговоры и не подвиг, который ему совершить все равно не по силам. И очень даже просто так будет — повалится по чужим углам, тоже верно, бедолага, уж не ему — Льву Ильичу, его судить, а тоже готов был: как же, мол, можно такому простить, "поможем", я буду крестным... Да не крестным — муж ей нужен, ребенку отец!..

Они пили чай с баранками, Лев Ильич отогревался, уходила зябкость, утренний ужас, а тут брякнул звонок, Таня побледнела, метнулась к дверям, а там громкие голоса, поцелуи...

— А!.. Мил дружок? Вот кого не ожидала, то-то радость! А ну — знакомьтесь: мой суженый, а это — ряженный! А это — Лев Ильич, Танин сослуживец, старая моя любовь. Так аль не так?

Лида сбросила на плечи яркий платок — лицо румяное, глаза шальные... "Пьяная она, что ли?" — мелькнуло у Льва Ильича.

Она шевельнула плечами, скинула шубейку на руки "суженого", на ней легонький свитерок: похудела вроде или он в тот раз ее толком и не разглядел, вот только глаз не мог позабыть, да и тогда она дома была, распуستهхой, он навеселе, а она трезвехонька, а тут — все наоборот...

Лида по кухне летала, все оживало под ее руками: стол отодвинула, скатерть чистую вытащила, тарелочки, рюмочки...

— А ну, судьбинушка моя, открывай саквояж!

Чемодан щелкнул замками, на столе уже водка, коньяк, виноград, консервы, коробочка конфет...

— Что, Танюх, выходить, значит, замуж?!..

Таня стояла у плиты, сквозь бледность на щеках проступали красные пятна, молчала.

— Иль не рада? Да ну, как не рада, ты вот посидишь, поговоришь с моей судьбинушкой — не влюбишь, глаза повицарапаю, не смотря что сестра... Все! Садитесь, гости дорогие, можно б в комнату, да уж сели, сидим, пьем — и ни с места!

Лев Ильич на "суженого", "судьбинушку" посматривал. Ему все казалось сначала, видел его иль похож на кого-то? Черный, как уголь, бритые щеки отливают синевой, костюмчик на нем новенький, а свитерок, как у художника, потрепанный, руки не рабочие, а здоровый, крепкий парняга, вон плечища-то... Деятель общественного питания, — решил Лев Ильич, — трест столовых и ресторанов... Да нет, это его закуска богатая сбила, какие-то уж больно движения свободные, размашистые, глаза быстрые, живые, но затаились, пока насторожен — не понял ситуации: что, мол, за фрукт, как тут себя вести, показать, да ведь и в дом, не в гости пришел, жить, вроде бы, тут уж надо отношения строить... Нет, не знал его Лев Ильич, но на кого-то он был похож, видел он таких скромников, пока до дела не дойдет или деньгами не запахнет... "Эх, Лида, Лида!.." — вздохнул про себя Лев Ильич. А что — не нравится? Тебя, что ль, в дом привести!..

Второй — "ряженный" — был еще хуже, то есть, Лев Ильич уж вроде привыкать начал, что все, что как раньше выходило, он знал, угадывал, теперь как-то напротив получалось, другая глубина, что ль, ему открывалась, про которую никак не прознать, но и не мог тоже иначе заключать: маленький такой, коротышка, в рост тринадцатилетнего мальчика, но крепкий малый, грудь колесом, плечи квадратные, лысина во всю голову, золотые зубы, которые он, впрочем, не показывал, только поздоровавшись, щелкнул, а как увидел Льва Ильича, губы сжал, обиделся, видать: пригласили в дом, где будет женщина, а тут ковалер — нате вам! Пиджачок в крапинку, голубые брючки, яркий галстук на темной рубашке — и верно, ряженный!

Они, как показалось Льву Ильичу, были не то чтоб пьяные, хотя уж и давно пьют, а как бывает — расхотиться вроде рано, но и нельзя не продолжать.

Едва уселись, разлили, собрались выпить, Лида подхватила с места.

— Что ж это я — милому и квартиру не показала? Как не люди — на кухню да водку жрать!..

— Да ладно, Лидуша, — застеснялся "суженый", — сидим хорошо. Дай выпить, познакомится... А то слышал: "сестра", "сестра" — вот теперь вижу — сестра.

— А сестра вам для какой надобности? — спросила Таня.

Лев Ильич даже вздрогнул, так она их ждала и вроде даже хотела, чтоб была семья, и у нее надежда забрезжила, а тут, видно, сразу ей все это не понравилось.

Даже Лида не успела ничего сказать, Лев Ильич только заметил, как глаза у нее сузились, она вздохнула, приготовившись, но тут Таня, стоявшая по-прежнему у плиты, скрестив руки под грудью, вдруг закричала и забилась... Лида и Лев Ильич, опрокидывая табуретки, бросились к ней: над плечом у Тани распустился, потрескивал разноцветный зонт хлоплушки.

— Это он — он! — кричала Таня, со страхом глядя на "ряженого".

— Простите, мадмуазель, — "ряженный" скромно склонил прорезанную не то морщинами, не то какими-то рубцами лысину, — искусство всегда столь сильно действует на непосредственную, а стало быть, особенно восприимчивую натуру.

— А я — я? — закричала Лида. — Что ж ты про меня забыл, Аркадий?

— Возможно ли? — патетически спросил Аркадий и желтые глаза его загорелись тяжелым, мрачным огнем. — Возможно ли забыть про вас?.. Позвольте ручку.

Лида протянула подрагивающую руку, видно было, как она напряглась, глаза стали совсем узкими. "Тут еще ничего не ясно, ничего не решено..." — успел подумать Лев Ильич.

Аркадий не поднимаясь крепко взял ее за руку, кисть у него была широкая и видно сильная. Другой рукой он скользнул до ее обнаженного локтя, все так же тяжело и не мигая глядя ей в глаза, потом что-то в глазах у него как бы дрогнуло — и тут Лида закричала, отдергивая руку — по ней, бешено вращалась, спиралью закручиваясь, все ближе подбираясь к плечу, огненная змея, потом она исчезла, Лида с криком подняла руку к уху и вытащила маленький красный шарик.

— Вы... фокусник? — изумленно спросила Таня.

— Ну что вы! — Аркадий не улыбнулся, но как закончивший свое дело мастеровой, хлопнул стопку и понюхал корочку. — Фокусник — это высокий класс, а я скромный чудодей. Служитель культа, — он тут же наполнил свою стопку. — За очаровательных хозяек, которые были так добры, что уделили несколько мгновений моему скромному ремеслу.

Теперь все сидели тесно за столом, даже Таня с пылающим лицом. Она позволила себе налить и чуть пригубила.

— И вы много... такого знаете? — спросила она, не спуская

глаз с Аркадия.

— Ну чего я приперся? — с досадой думал Лев Ильич. — Как бы им тут хорошо было...”

— Что вы, — скромничал Аркадий, — забавы молодости. Теперь все это в большом плюсквамперфекте. Наша дорога с моим другом и идейным руководителем, и не побоюсь сказать, гениальным преобразователем древнего жанра — Василием Постниковым проложена через совсем иные сферы. Мы, так сказать, вторгаемся в то, во что человечество, в силу своего тысячелетнего невежества и не осмеливалось вторгаться. Только отдельные, столь же могущественные художники, оставили свои робкие следы на тех покрытых вековой пылью тропинках, которыми мы теперь шествуем. Не так ли, Вася?..

Он проговорил всю эту свою малопонятную речь и даже вопрос свой обратил не к приятелю, а по-прежнему тяжело глядя Лиде в глаза. Льву Ильичу теперь казалось, что меж ними в тот момент, когда он держал ее за руку, установилась какая-то связь, она уже не прерывалась, и все, что он говорил, не имело ровно никакого значения. Лида откинулась, прислонилась к стене, уронила одну руку на колено, а из ее полузакрытых глаз тянулась и тянулась эта нескончаемая нить, которую фокусник крутил на своем поросшем рыжеватым пухом пальце с тяжелым серебряным перстнем.

— В каком же вы теперь жанре выступаете? — спросил Лев Ильич, надеясь перебить его и порвать то, что было уж просто неприличным.

— Может быть ты, Вася, объяснишь нашему новому другу? Ну хотя бы принципы и сюжет, ибо объяснить все, как вы сами понимаете, невозможно — возьметесь ли вы рассказать "Реквием" Моцарта?

Тут он глянул на Льва Ильича и тот засмеялся: пока что он добился своего — нить была порвана и Лида рядом на стуле освобожденно вздохнула.

— А вы напрасно смеетесь, — Аркадий налил себе еще и тут же выпил, бросил в золотую пасть корочку хлеба. — Видите всю эту роскошь? — широкий жест на уставленный явствами стол. — Ну может ли бедный артист позволить себе такое, даже когда он ослеплен любовью, как мой высокоталантливый друг? Он готов, он способен отдать все, чтобы доставить своей подруге эту маленькую радость — выпить и закусить, но у него нет, простите за грубость, возможностей, презренного металла, средств к необходимому для такой высокой любви шикарному существованию. Чтоб оформить бриллиант чистойшей воды, нужно достать другой бриллиант, и только заложив его, мы соорудим достойную оправу... Я доходчиво объяснил?

— Да, только вы не ответили на мой вопрос.

— О! Интеллигенты! — щелкнул металлом Аркадий. — Им подавай ответы, а вопросов у них миллион. Искусство не должно отвечать на вопросы — оно само ответ, в себе, в собственной гениальности оно содержит все ответы. Как я вам объясню "Реквием" Моцарта, ежели вы не хотите слушать его, а получить свой жалкий ответ, будто Моцарт бухгалтер или лектор по распространению!..

— Сдаюсь, — засмеялся Лев Ильич, — вы правы, Моцарт. Но тем более охота хоть что-то узнать про ваш "Реквием"?

Аркадий теперь снова смотрел на Лиду, а Лев Ильич, глянув на его товарища, увидел, что и тот смотрит на нее. Боже мой, подумал он, нет, не в этом чревоушателе с его белибердой и провинциальными приемами, а в ней, вот в ком сила, неужели она знает это в себе? И то, как сидит, откинувшись, выставив грудь, такую свободную под свитером, широко расставленную, как ее глаза, и полные губы по-детски распустила... Она слушает его, это внимание, интерес или точный расчет, знание того, сколько силы в этой ее откровенной порочной детскости?..

— Верите ли, мой новый друг, — великосветски продолжал Аркадий, — я попытаюсь здесь перед вами проверить нашу гармонию жалкой и ничтожной алгеброй слов. Некий автор на заре нашего российского развития бросил в мир гениальную мысль, никем не услышанную. Дикая эта страна, убивающая своих пророков — прямым усилием или еще более тягостным для них невниманием, прошла мимо его открытия, стыдливо замолчав, называя всего лишь гениальной шалостью. А между тем... ты не возражаешь, Вася?

— Я терпелив, — сказал Вася, не спуская глаз с Лиды, на приятеля он и не смотрел, — ох, как я страшно терпелив! — Вася шевельнул борцовскими плечами под тесным пиджачком.

"Да ведь он тоже актер! — осенило Льва Ильича. — А я-то думал общественное питание..."

— Понял, — кивнул Аркадий. — Понял и учел... Мы с моим дорогим другом, повинувшись единственно душевному движению, а кроме того, разумеется, стремясь к избытку, — он опять широким жестом указал на стол, — поставили мистерию, одним взмахом оставив позади все жалкие потуги наших убогих лекторов и плакатистов, так называемых безбожников и борцов за новое мировоззрение. Ну скажите пожалуйста руку на сердце, может ли вам прийти в голову отправить сегодня слушать лекцию о том, что религия опнум для народа?

— Нет, — сказал Лев Ильич, — такая мысль мне прийти в голову не может.

— Bravo! Смелый ответ. А за смелость услышите откровение.

Теперь Лев Ильич понял, что "ряженный" просто пьян — тут ли он успел нахлестаться, или сначала хорошо держался, но сейчас его явно стало развозить, и взгляд этот тяжелый был, верно, от того, что он уже не мог иначе фиксировать глаза.

— Вы не пойдете на лекцию, наша пропаганда будет хлопотать перед пустым залом, а дурман вползет в ваш дом и в душу. Вы бы вали когда-нибудь в церкви, мой новый друг?

— Бывал, — ответил Лев Ильич.

— Bravo, смелый ответ! Значит видели воочью несос... несо... несостоятельность нашей агитработы. И вот мы с моим гениальным другом приходим им на помощь. А вот их нам за то благодарность... — он налил себе еще, выпил, на этот раз схватил толстыми пальцами кусок ветчины, но так и не донес до рта. — Вы, надеюсь, понимаете, что это не свидетельство их щедрости, а знак нашей гениальности... Я, например, играю в этой мистерии, прошу, впрочем, прощения, у прелестных дам, играю... надменный член.

— Ух ты! — воскликнула Лида.

— Не "ух ты", — поправил ее Аркадий, — а тот самый член, которым грешил лукавый, архангел и Господь Бог... верно, Вася?

— Ладно, — сказал Вася и положил ладонь на стол. — Заканчивай базар.

— Как заканчивать, а... "Реквием" для нашего друга? Тут, понимаете, у нас одна загвоздка. Вася играет архангела, я, как вы уже догадались, беса, да и с Господом все в порядке, его хоть вы, и то б сыграли. Но вот Марию — Матерь Божию, которая с ними, с тремя... Слушай, Вася! — крикнул он, по-прежнему не спуская тяжелых глаз с Лиды. Так вот же она сидит против нас — вот она Матерь Божия, а мне — бесу первому и предстоит с ней наедине пошепаться, как наш гений написал...

Таня встала и не сказав ни слова, вышла из кухни.

— Ты что? — опомнилась Лида. — Вы зачем девочку обидели?

— Да хватит и ей, — сказал Аркадий. — У нее и этот... новый претендент на роль Господа Бога. А... может и ее попробовать на роль... Только потом, а, Вася, только потом?..

Лида поднялась, взглянула на Васю, и тогда он спокойно, чуть наклонившись, вдруг резко дернул за ножку табурет, на котором сидел Аркадий, тот не удержался, соскользнул на пол, потащив за собой скатерть, зазвенела посуда, а Вася так же спокойно, точным движением поймал его за галстук и легко приподняв, бросил в коридор. Аркадий пролетел довольно большое расстояние, ударился спиной и головой о вешалку, повалил ее на себя, забился под пальто, выбрался, постоял на четвереньках, покрутил лысой головой, потом медленно поднялся.

Лида молчала, не шевельнувшись, а Лев Ильич не мог не оценить второе, до сих пор бездействовавшее лицо этой интермедии.

Аркадий, стараясь ступать ровно, подошел к столу, налил себе стопку, выплеснул в рот и посмотрел на Лиду.

— Он еще пожалеет об этом, — сказал он спокойно, — да ведь и мы с тобой свой разговор еще не кончили.

Он повернулся, двинулся в коридор, тут его качнуло, ударило о стенку, но он справился, взял пальто из кучи, валявшейся на полу, распахнул наружную дверь и вышел, не закрыв ее.

— Веселые вы ребята, — сказала Лида.

Она подняла табурет, бросила в ведро черепки, осколки, поправила скатерть, вышла в коридор, закрыла дверь — и не вернулась на кухню.

Вася спокойно курил, аккуратно сбрасывая пепел в алюминиевую пробочку от бутылки.

Вернулась Лида.

— Лев Ильич, зайдите к Тане. Она вас просит.

Он встал и уже за спиной услышал ее голос.

— Ну что, миленький, может, теперь поинтересуемся квартирой?

— Да посидим еще, — ответил Вася, — куда нам спешить?

В Таниной комнате горел ночничок, она лежала на широкой тахте, отвернувшись к стене, и горько плакала.

— Ну, что ты, Танюша! — Лев Ильич присел у нее в ногах. — Пьяные люди, болтают чепуху — посмеялись и разошлись.

— Но ведь он останется! — прошептала в стену Таня. — Я их боюсь. Ну что еще в голову придет, если такое могут?.. А думала, ребенок у нее тоже будет, вместе, по очереди станем нянчить...

— Он не останется, — сказал Лев Ильич. — Ну до завтра или, может, еще на день. Ребеночка вырастим. Брось, Танюш, повернись лучше. Как ты напугалась-то, а потом восхитилась, я даже подосадовал...

Она повернулась к нему и улыбнулась сквозь слезы.

— Правда, страшно, надо ж какой!

— Поздно уже, двенадцатый час... "Куда идти-то?" — подумал он.

— Лев Ильич, — будто услышала его Таня, — не уходите, а? Оставайтесь. Мне так хочется, чтобы вы остались... Вы тут, а я на диванчике — у той стенки. А?

— А тебе ничего? — посмотрел на нее Лев Ильич.

— Да что вы! Наплевать на них. Пусть что хотят думают. Мне только с вами хорошо, а без вас страшно.

Она быстро встала, вытащила простыни, Лев Ильич только воспротивился, сказал, что спать будет на диванчике, ему, мол, хватит места, а она чтобы уж так, как привыкла, иначе, мол, уйдет.

На кухне, когда он вышел умыться, никого уже не было, стол так и остался неубранным, а в металлической пробочке еще дымилась сигарета.

Он разделся в темноте, устроился на отчаянно заскрипевшем под ним диванчике, выставив ноги наружу.

— Вам неудобно, — прошелестела от другой стены Таня, — мо-

жет переляжем?

— Нет, нет, Танюш, мне хорошо. Мне тоже очень хорошо с тобой. А без тебя плохо.

Они замолчали и он невольно прислушался к смеху за стеной. "Какой ужас!.." — вспомнил он ту свою здешнюю ночь и сказал, чтоб она не слушала.

— Всегда что-то случается: как быть должно, так и теперь будет. Может, прямо завтра. Или еще через день. Я верю, что все у тебя будет хорошо.

— А мне, знаете, как сейчас хорошо? Я, верно, даже и думать не смела, что вы будете здесь рядом, ночью. Я давно про вас думаю. Конечно, не так... как сейчас. Но все равно — вы рядом.

Лев Ильич не знал, что ответить. Он ведь тоже думал, бывало, про то же, да не так. Да и не думал, а уж так, другой раз поглядывал на нее. Странная, конечно, ситуация, куда там. Пойду-ка я завтра домой, решил он твердо. Хватит дурака валять...

— А знаете, Лев Ильич, — шепотом, от которого ему уже становилось не по себе, продолжала Таня. — Завтра я проснусь, а вы тут! Так и не бывает! Хоть одно утро да такое...

Он услышал, что она завозилась у себя на тахте, встала, прошлепала босиком и тут он вздрогнул, почувствовав ногами теплоту скользнувшего под рубашкой тела: она подставила стул ему под ноги и укрыла его, подоткнув одеяло.

— Спасибо...

Он слушал, боясь шевельнуться, как она опять прошлепала по комнате, потихоньку улеглась у себя. Лев Ильич глядел в потолок широко раскрытыми глазами. За стеной снова засмеялись.

"Может, лучше уйти?" — мелькнуло у него.

— А вы молитесь на ночь? — спросила она.

— Да нет, Танюш, не умею, — с облегчением ответил Лев Ильич и перевел дух. У него и ночи-то ни одной не было спокойной с тех пор, как крестился. Вот и здесь, нечего сказать, ночь подходящая для молитвы.

— И я тоже не умею. Но я своей молитвой молюсь. Хотите, я вам скажу? Правда, может, нельзя свою молитву говорить, но ведь мы вчера вместе стояли в церкви. И потом я вас как родного люблю.

— Конечно скажи, Танюша, — повернулся к ней в темноте Лев Ильич.

— Господи... — зашептала Таня, так близко она была, что он руку протянул и пальцы ее влажные встретил. — Господи, спасибо Тебе за все, что сегодня было со мной. И за все, чего не было, раз Ты не захотел — все равно спасибо. Спокойной ночи, Солнышко, Родной мой, если есть у Тебя минутка времени, поспи спокойно, отдохни, Господи, дай Тебе, Бог, радости...

— Хорошо как, Таня. И тебе спасибо. Если можно, я ее запомню и тоже буду так молиться...

— Ну что вы... А если нравится, конечно, можно. И потом, дело не в словах, а так мы все говорим одно и то же.

Он откинулся к стене и закрыл глаза: он только сейчас почувствовал, как смертельно устал за сегодняшний день, как он хочет спать и ничего больше не слышать и не видеть.

"Спасибо Тебе, Солнышко, — сказал он внутри себя, — спи и Ты, Господи, если выдастся хоть минутка времени, дай Тебе, Боже, радости..."

Он уже совсем засыпал, как вдруг в каком-то странном плящем розовом свете увидел толпу обтрепанных, усталых людей, гонящих стадо по пустынной дороге. Впереди в клубах пыли шел старик с развевающейся седой бородой, с тяжелым посохом, а за ним, чуть приотстав, тот давешний еврей со слуховым аппаратом, шофер в черном свитере, две сестры — Яшины дочери, Семен, ЖЭК, дядя Яша с тихой улыбкой под руку с тетей Раей, а этот сегодняшний лысый урод с золотыми зубами держал за руку Лиду в разорванной рубашке, с распущенными светлыми волосами, ступающую босыми ногами по пыльной дороге... Только вот себя с Таней почему-то не видел он в этой толпе. Вокруг была голая, с редкими колючками степь без конца и края — вся в розовом мареве. И Лев Ильич вдруг узнал седого старика — ну конечно! "Разве все они еврей?" — спросил он себя с удивлением. Но ответа так и не успел услышать. Уснул.

4

Он проснулся от того, что кто-то легко, заботливо поправил на нем одеяло, двинул стулом под ногами. Он приоткрыл глаза. Свет пробившийся сквозь плотные шторы неверно освещал комнату, Таню в белой до пят рубашке...

— Ой! Я вас все-таки разбудила... Спите, спите, вам еще рано. А мне уже идти скоро...

— Спасибо, Танюша. Мне тоже надо вставать.

— Полежите еще. Я чайник поставлю.

Она подошла к нему, наклонилась, он почувствовал сонное тепло, блеснула цепочка в открытом вороте. Она поцеловала его в голову, а он поймал ее за руку и, притянув к себе еще ближе, прижался щекой к вздрогнувшей под рубашкой груди.

— Спасибо, Танюша, мне очень хорошо было у тебя.

— А если б вы знали, как мне-то хорошо, Господи! Как вчера примечталось: открыла глаза — а вы тут... Раскрылись... Надо бы, ко-

нечно, вас ко мне уложить...

— Видишь, как спал, куда уж лучше... — он боялся шевельнуться.

Она разогнулась, собрала вещи и вышла, тихонько прикрыв дверь.

Лев Ильич закрыл глаза. Больше он не может так жить, — подумал он. — Что это за путешествие по чужим домам и кроватям. Ему вдруг показалось, что его просто носит, как щепку, прибывая то к одному, то к другому берегу, а он и успокоился, доволен, что не нужно ничего решать — все само происходит. У всех свои дела, обязательства, заботы о ком-то или о чем-то, а он про кого, про что? Ну был праздник, кончился, вымыли посуду, что разбили — разбито... "А может еще потянуть, вот ведь, и бутылки можно сдать на опохмелку?.."

Он улыбнулся про себя, так это ему понравилось — нашел дело! Отбросил одеяло, оделся, сложил постель и раздвинул шторы.

За окном опять был серенький денек, подмерзло, верно, с утра, окно уходило во двор-колодец — ничего ему не говорил тот колодец — не напешься.

Он обернулся на комнату. Широкая тахта прикрыта одеялом, в белом с кружевами пододеяльнике, большие белые подушки, над тахтой прикинута репродукция. Он подошел поближе: "Троица" Рублева в журнальную страницу. В углу у окна телевизор под цветной салфеткой, гардероб, полочка с десятком книг над школьным столиком, на нем раскрытая машинка с большой кареткой, стопка чистой бумаги, вчерашняя икона тускло блеснула серебром — это уж из другой жизни. А что он знал-то про ее жизнь? как выяснилось, не много.

За спиной открылась дверь.

— Доброе утро, милоч!

Лида уже одетая, но непричесанная, улыбнулась ему запухшими губами.

— Ну как, не обидел сестричку? — он сощурила глаза, глянула на тахту, на постель, сложенную на диванчике, и посмотрела прямо в глаза Льву Ильичу. Глаза у нее, как всегда, были отчаянные, но где-то в глубине подметил Лев Ильич усталость, что ли, печаль ему моргнула из них на мгновенье.

— Ты знаешь, Лида, ей трудно сейчас будет, а у нее нет никого кроме тебя.

— Думаешь, нет? А ты как же? Мы с ней обои неvezучие, да ведь подфартило — тебя нашли. Такого, как ты, нам за глаза на двоих хватит, как думаешь?.. Ладно, ладно, не обижайся — я ведь тоже не обиделась. Я про тебя, может, побольше, чем ты думаешь, поняла. Хотя, честно сказать, денька два подождала — вдруг заявишься? Да ну, ладно, все мы люди, чего будем ворошить... Ты не думай про ме-

ня и про Таньку мне такого не говори — она для меня, может, все-го главней. Много ли мне осталось — может, чуток всего. Этот не задержится — или ты подумал чего?

— Да нет, не подумал, ты уж прости.

— Видишь, как у нас с тобой — ты меня, я — тебя, — она подошла к нему вплотную и положила обе руки ему на плечи. Ему показалось, он впервые так близко увидел ее лицо — бледноватое, в легких веснушках под скулами, он не сразу и в глаза ей смог посмотреть, они опять были неожиданными — добрыми и мягкими. — Эх ты, как мальчик! — засмеялась Лида и звонко поцеловала его в обе щеки. Ты вот, не оставляй нас, у тебя и своих дел много, да и беда своя, не зря же старый мужик по ночам к бабам ходит? — Да не такой ты, вижу. Все равно не забывай. А Танька, знаешь, как тебя любит! Я давно еще про тебя слышала — Лев Ильич да Лев Ильич! Чем уж ты ее взял сердечную, посмотреть бы хоть на этого Льва Ильича? Ну и посмотрела — ничего, в порядке! Я тебя не позабыла, у нас, у баб, своя память, крепкая, — она оторвалась от него и засмеялась. — Тут уж со мной, мое, не заберешь, не отнимешь. Не забывай и ты, храни тебя Бог!

Она повернулась к двери, светлые, в рыжину волосы плеснули по плечам и Лев Ильич вспомнил ее такой, как увидел ночью — в разорванной рубаше, босиком, с тем лысым уродом...

Лида посторонилась, пропуская Таню — уже одетую, причесанную, исподлобья глянувшую на сестру и на Льва Ильича.

— Чего напугалась? Да не заберу я его — побожился, даш теперь, на двоих, мол, коль охота. Как, сестренка, охота нам, нет? — она чмокнула Таню и выскочила в коридор.

— Шальная она какая-то, — Таня напряженно всматривалась в Льва Ильича. — Я там вам завтрак приготовила. Яичница, а не хотите, творог есть. Вы кофе или чай утром?

— Она тебя любит, Танюша, ты на нее надейся, — сказал Лев Ильич. — Я ж говорил, все будет хорошо.

— Да уж как будет, мне и так много.

На кухне шкворчала яичница, стол был накрыт для завтрака, Лида залетела, плеснула себе чая, так и выпила стоя, с куском колбасы.

— Вот он, мой князь, сейчас выйдут, — давайте вместе почай-пейте, да не пьянствуйте с утра, а то еще подеретесь. Князь, а князь! — крикнула она, оборотясь в коридор.

Показался Вася, заспанный, опухший, в маечке, здоровенные руки и грудь в наколках: змей, целующиеся голубки — у Льва Ильича даже в глазах зарило.

— Хорош гусь? — веселилась Лида. — Ой, Тань, побежали, тебе-то близко — опоздаю, выгонят, чем будем мужиков приваживать?..

Она поцеловала Васю, Льва Ильича, схватила Таню, та только успела прошелестеть:

— Вы тогда дверь захлопните. А то чаю напейтесь и поспите...

— Ну вот еще — мы тачку таскать, а они будут дрыгнуть? Пейте чай да выматывайтесь!..

Дверь за ними захлопнулась.

Льву Ильичу мучительно хотелось курить, но не привык натошак. Он налил себе чаю покрепче, взял кусок хлеба.

Вошел Вася — уже в рубашке, видно, и лицо сполоснул.

— Чай пьете? Гадость какая, — мутно глянул он на Льва Ильича, отправился в коридор и выругался. Жидовская морда! унес все-таки портфель. Так и знал, что унесет...

Он присел к столу, вздрагивающими пальцами вытащил сигарету и закурил.

— Что ты будешь с ним делать — убить его, что ли?

— Это вы про кого? — поинтересовался Лев Ильич.

— Да про дружка своего закадычного. Такая, понимаете... а вы-то — не из евреев ли будете? — глянул он более осмысленно на Льва Ильича.

— Из евреев, — Лев Ильич уже выпил чаю и тоже закурил.

— Ну да, заметно. Евреи тоже, между прочим, разные бывают. Я вот знал одного, моей двоюродной сестры муж — нормальный мужик, деньги одалживал и ничего такого не заметно.

— Какого такого?

— Жидовского. Вы человек интеллигентный, поймете, что я употребляю этот термин в смысле отрицательном, хотя он, как известно, всего лишь обозначает нацию... Ага, нашел, — он полез за плитку и вытащил бутылку. — Я ж помнил, что оставалось полбутылки. Живем! Ушлая баба, запрятала... Давно сюда ходите?

— Я работаю вместе с Таней.

— Ага, понятно, — он одобрительно глянул на Льва Ильича и взболтнул бутылку. — Вам куда?

— Не нужно. Я утром не пью.

— Утром? А когда ж — вечером? Беспринципная позиция, между прочим. Опасная. А знаете, почему опасно? — он налил себе в чашку, выпил и передернулся. — Хорошо пошла — душу чистит. Опасная, потому что отрывает от коллектива. Вся, как говорится, рота идет в ногу, и утром, и вечером, а вы шаг сбиваете. Затопчат, на кого тогда обижаться? Только на себя — оторвались... Да ну, что вы — утром да нельзя! — как тогда работать, где, как говорится, вдохновения набраться? Вы кто по специальности?

— Я в редакции работаю.

— Ну да, вроде бы, коллеги — редактор, корректор... Да вы ж тогда должны знать, с творческими людьми приходилось иметь дело?.. Как им не пить — тут полет нужен. Вот я вам и говорю... — он

налил еще и тут же выпил.

— Может, личницу? — спросил Лев Ильич с некой опаской глядя на него. — Вон, на плите.

— Да ну, ешьте, я с утра не могу — душа не принимает. Тоже, между прочим, национальная черта — еврею обязательно утром поесть надо. Яичко, кофею, какаву — вы меня, надеюсь, понимаете?

— Понимаю, — сказал Лев Ильич, ему тоже не хотелось есть, но тут уж он решил, что должен расправиться с яичницей. Да и Таня не зря ж старалась.

— Да не понимаете вы меня, потому что вижу, человек вы не творческий, хотя и интеллигентный. А это, между прочим, разные вещи. Согласны?

— Согласен, — яичница была на славу, и Льву Ильичу даже неловко стало, что он сразу не принялся за нее. "А может, на самом деле еврейская черта?" — весело подумал он.

— А почему согласны? Так просто, чтоб отвязаться, или такой умный? — не унимался Вася. Он порозовел, лицо разгладилось, стало поболагообразней.

— А чего тут хитрого? Я вот, как вы говорите, интеллигентный, а вы — творческий. Конечно, разные вещи.

— Так думаете? — сбился Вася. — Ну да, естественно. Тогда вы мне такую метаморфозу объясните. Я, к примеру, артист, имею высшее театральное. В академических театрах не играю по причине общеизвестной, хотя и мог бы лучше других прочих...

— Понятно, — сказал Лев Ильич, отодвигая тарелку и вытаскивая из пепельницы свою дымящуюся сигарету.

— Опять понятно? А что тут вам понятно? Ну откуда вам знать, почему я не играю в академическом театре?

— А тут уж совсем ничего хитрого, — улыбнулся Лев Ильич. — Евреи помешали, завистники — верно?

— Вот это мужик! — Вася даже руками всплеснул. — Эх, жалко выпить нету, я бы вас сейчас уговорил. Или сбегаете?

— Мне уходить надо. Да и магазины закрыты.

— Да ну! — крикнул Вася, срываясь с места. — Закрыты!..

— Садитесь, — сказал Лев Ильич. — Я правда не стану пить...

А приятель ваш вчерашний тоже актер?..

— Приятель мой — жид пархатый, как я вам уже доложил, но между прочим, без принципов — утром пьет и не закусывает.

— Ну вот видите, — засмеялся Лев Ильич, — какие евреи разные. Как тут обобщить!

— Зачем обобщать, все и так видно, кто соображает, — Вася присел к столу и слил из бутылки все, что там оставалось. — Еще вам загадка: он, к примеру, такой же, как я, прощальга, может, похуже, а почему ему хорошо, а мне плохо? Ну, раз вы такой умный, объясните — почему?

— Не могу объяснить, — сказал Лев Ильич, — данных нет. Кто вы такой, кто он — не знаю, чем ему хорошо, чем вам плохо — тоже не знаю. Как же тут объяснишь?

— Ага! Не знаете, а я бы вам сразу безо всяких данных объяснил... Глядите. Мы с ним оба артисты. Не из последних, между прочим, — он допил водку и взял с тарелки кусочек сыру. — Человек принципиальный может и нарушать свои принципы — верно?.. Итак, артисты — это раз. Но меня не взяли, а верней — взяли да прогнали, и не раз, можете мне поверить, и не два, а уж раз десять. Но ведь берут, стало быть, таланта за мной не признавать не могут?.. Следите за мыслью?..

— Стараюсь, хотя и трудно.

— Ничего, оно того стоит. И вот начинается ситуация: евреи кругом кричат, нас, мол, не берут, притесняют — в институты, на работу, на радио, в кино, в Центральный Комитет и т.д. Я, как вы поняли, человек искусства, не знаю чего в технике происходит, на производстве — про это судить не берусь. Чего не знаю — не знаю. Говорят, вон, и атомную бомбу русский Иван изобрел — по чести говоря, сомневаюсь, не русского это ума дело. Но про искусство — это уж вы меня, Васю Постникова, спрашивайте, тут мое дело. Хотите, побьемся с вами, хоть на бутылку пива, если вы по утрам чего стоющего не употребляете, да и человек благородный, на коньяк вас выставлять не стану? Идемте сейчас в госконцерт, идемте на радио, на телевидение, на студии — куда хотите! Если первый человек, которого вы встретите, ну, из творческих людей, я имею в виду, будет не еврей — угощаю. Но не связывайтесь — проиграете, честно вам говорю. Да уж пробовал — беспроигрышная лотерея. Может, вы скажете время не то, уважающий себя творческий человек, я имею в виду русских — спит или опохмеляется, а еврей по делам шныряет после сытного завтрака? Думаете, я время усек для своего промысла? Пожалуйста, идемте днем, вечером, когда хотите. А лучше прямо деньги вперед, подметки чтоб не бить, а я в магазин смотаюсь. Ну как?

— Да я вам верю, — улыбнулся Лев Ильич. — Только к чему вы это все?

— Ах, к чему? Еще не поняли? Я ж вам объясняю. Поскольку мы имеем казус: в институты не берут, на работу не принимают, а все дипломированное начальство — я имею в виду начальство, от которого карман зависит, а не то, которое речи произносит, те нашего брата не волнуют, пусть себе говорят! Я про тех, кто нам платит. Оказывается, это те самые евреи, которых ни в институты, ни на работу не взяли. Как это случилось? Одно из чудес света. Хотя по этому поводу шума нет и враждебное радио этот казус не разбирает. А может и разбирает, я ихнего радио не слушаю, мне и своего хватает — блевать тянет. Теперь понятно? Ну разве какой-нибудь уважающий себя еврей — меня, с такой рожей и с моей известностью возьмет ме-

ня на работу? В приличное место, на хорошую роль? Да нипочем не возьмет. Я им только коммерцию испорчу. Ну, не евреи ли виновать?

— Не убедительно, — сказал Лев Ильич. — Опыт не чистый. У вас кроме национальности есть и другие отрицательные показатели.

— Не убедительно? Хорошо, с иного бока подъедем... Ага! — закричал он, да так, что Лев Ильич вздрогнул: Вася вытащил с другой стороны плиты еще полбутылки водки. — Ну что я вам говорил? Ну не золотая ли баба? Под это-то дело я вам в два счета все объясню... Значит, непонятна моя мысль?.. Ладно, берем моего дружка Аркашу — видели вы его вчера. Артист. Бог кой-чего дал. Умеет. Мы с ним давно уже вдвоем работаем. Вместе нас берут — вместе и гонят, причем, его раньше, чем меня. Я имею в виду — гонят. А почему? Морда у него жидовская, а это раз. А эти евреи, которые до денег дорвались, у них главное что? своего не упустить. Они, конечно, родню, друзей-приятелей пристроят на теплые места, будьте спокойны. А такой Аркаша, у которого принципы есть — с утра не закусывает — он им еще хуже, чем я, общую картину портит: алкаша взяли да еще жида, а есть, мол, установка, евреев не брать, они-то, мол, сами — свои, полезные, а хорошего мужика — по шапке, дают. Что делает Вася, как человек благородный и верный дружбе? Вы что, говорю, жидовские морды, в кресла сели и антисемитизм будете здесь устраивать, в нашем, простите меня, социалистическом отечестве, ну и т.д., прямо по "Коммунистическому манифесту". Гонят да еще в книжку уж такого напишут, что к следующему еврею уж лучше не показываться. И что в результате?.. В результате мы с моим пархатым дружком докатились, можно сказать, до полного обнищания, взяли нас в общество по распространению, в антирелигиозную бригаду: мистическая интермедия — "Гавриилиада", он вчера говорил. Я, правда, на этом деле схватил Лидку — у них третьего дня на заводе в клубе была премьера. Аркаша тоже ее углядел, он на этот счет крепкий малый, но я-то первый заметил — все должно быть по чести. А дальше не мое дело. Верно?

— Печальная история, — сказал Лев Ильич. — Только мысль вашу все никак не пойму.

— Где уж вам понять. Может, в чаек плеснуть — сразу и поймете?.. Хорошо — нет так нет: водку пить уговаривать да баб — последнее дело. Значит, не поймете?.. Сыграли мы премьеру, чушь, конечно, собачья, но — нравится, смеются, стишки лихие у нашего гения — ничего не скажешь, не сегодняшним чета. Эта, вон, сестренка обиделась, верующая она, что ли?.. А так все шло нормально: получили деньги, два дня гуляем, а вчера — спектакль. Ну опоздали на полчаса, все законно, и народные опаздывают, но мы уж такие пришли, что на что наша "Матерь Божия" — лекторша по распространению — начальство, нас в разных видах повидала, привыкла, а тут не выдер-

жала. А между прочим, там была последняя наша ставка — куда теперь. Тут она и разгадка: мне, русскому дураку, как вон Лидка только что высказала, идти за тачкой, а пархатый Аркашка подает бумагу, ему шлепают визу и — гуляй: Париж, Ницца, далее везде! Опять нас сиволопых облапошили, так выходит? В институты не берут, черта оседлости? — нате вам, деревня, лакайте свое пиво, а мы будем в Лондоне сертификатную воблу жевать! Кому, выходит, лучше приобщих, так сказать, показателях?

— Подвели, — улыбнулся Лев Ильич, — диалектика называется. А я думал, вы пьяный — концы с концами не сведете.

Лицо у Васи перекошилось, Лев Ильич даже испугался — не случилось ли с ним чего, глаза налились кровью, он медленно поднялся.

— Эт-то ты — мне говоришь, что я пьяный?..

Лев Ильич вспомнил его вчерашний номер и тоже встал.

— Но, но, — сказал он, — аккуратненько, — и поднял табуретку.

— Ишь какой — напугался. Жид, а соображает. Деньги есть?

— Есть, — сказал Лев Ильич.

— Сколько?

— Не скажу.

— Три рубля дашь?

— Нет, — Лев Ильич уже сидел за столом. Почему-то он не хотел уходить отсюда, ему вдруг показалось, что вот сейчас, в этой похмельной бессмысленной болтовне он услышит что-то, что всегда от него ускользало.

— Как нет? — искренне удивился Вася.

— А почему я тебе должен давать деньги?

— Да потому, что у меня их нет, а у тебя они есть — это раз. Потому, что мне необходимо выпить, а тебе нет. Два.

— Резонно.

— И еще потому, что я русский, а ты — жид пархатый.

— А тут не получается. Так бы я, уж пожалуй, решил дать, коль так выпить охота, а теперь нет. Не получишь денег.

— Вон ты какой интересный, — Вася на него остро глянул, и Льву Ильичу вдруг подумалось, что никакой он не пьяный, а всего лишь ломает перед ним ваньку. — Я еще таких не встречал, хотя нагляделся, да и на Аркашке много опытов ставил.

— По-научному подходишь?

— Ты мне лучше такую вещь объясни, — Вася курил, сидел теперь легко, говорил свободно, вроде бы и правда протрезвел. — Почему вашего брата никто не любит? Ну никто и никогда! Ты ж не можешь сказать, что вот уж столько — тыщу, две тыщи лет все кругом мерзавцы, вроде меня? И заметь, разные люди, враги друг другу, а в этом сходятся: Гитлер жег, Сталин стрелял, царь утеснял,

коммунисты травят... Ну почему так? А это ведь близкая история, на нашей памяти, а ежели чуть дальше копнуть? Папа их давил и патриарх изгонял, а тоже друг дружке были готовы глаза повыцарапывать — может, неправда, но говорят, что так. Но тут я не специалист, сам видишь, не историк. Но возьми область мою — искусство. Тут уж я собаку съел! Шекспир — что?

— А что Шекспир?

— Как что? А Шейлок? Небось знаю, играл. Ну это ж надо — за свои поганые жидовские деньги предложить вырезать кусок мяса из живого человека! А Пушкин — "ко мне постучался презренный еврей"? А Гоголь — про жидовские ноги в Днепре? А Достоевский — тут уж не отдельные цитаты, а как бы сказать — философия антисемитизма? А Тургенев?..

— Ну а Тургенев? — удивился Лев Ильич.

— Ага, не знаешь — а повесть "Жид" не читал?

— Не читал.

— Эх, интеллигент!

— А ты, я гляжу, профессор по этом делу.

— Жизнь научит. Ну так как ты мне все это объяснишь? Или скажешь, что Шекспир был пьяница, актеришка, вроде меня, а Достоевский — в карты шулер? Но уж Тургенев-то чистый голубь, жены даже не имел? Ты ж сам еврей, откуда тебе знать, что про вас русские говорят — тебя или боятся или стесняются, это редко попадешь на откровенного, вроде меня, да и то, что ты мне симпатичный, и мы, вроде, тут породнились. Ты вот посидел бы под столом, когда русские ребята выпивают и про вас разговор зайдет, или под кровать заберись, когда мужик с бабой спит...

— Благодарю, я привык на кровати, — не удержался Лев Ильич.

— Да это все правильно, но ничего она тебе не скажет, тем более, если ты ее на кровать затащишь. А так бы такого услышал — от бабы, я имею в виду, другой раз самому противно. Тут что-то есть, чего и не поймешь. Знаю, ты сейчас скажешь — темнота, дикость, политика — нет, тут посерьезней, и с поллитром не разберешься... Ты еврейский язык знаешь, тот настоящий, старый?

— Нет.

— Видишь как. А говорят, в ихнем "Талмуде", который никто полностью не перевел, да и не прочтешь, там есть секретные главы, там и записано про этот закон, ну про то самое...

— Про что?

— Не понимаешь? Про кровь, которую из младенцев — не еврейских, конечно, надо на ихнюю Пасху, для мацы.

— Это у тебя юмор такой? — даже не обозлился Лев Ильич.

— Да какой юмор! Ты что думаешь, для чего это мне? Я, если хочешь, два раза морду бил за своего Аркашу — у меня не за-

ржавеет, но он-то, как и ты, ничего не читал — а может, все-таки есть такой закон? Пусть старый, пусть уж пятьсот лет его отменили, но, может, был? Тогда понятна эта вражда, ненависть, презрение, как к клопам, которых надо только давить. Ты, верно, бабу бы какую послушал — да нет, ты на еврея все-таки похож, не расколешь... Знаешь, что я тебе по-дружески, по-родственному скажу, ты малый хороший, вон и денег мне не дал — уважаю. Уезжай-ка ты отсюда пока цел.

— Куда 'уезжай'?

— Куда! Ну, не знаешь язык, не хочешь к евреям — дуй в Париж, в Африку — куда хошь, дорога накатана. Здесь плохо будет вашему брату. Большая злость. А наверху только рады. Ты знаешь, что было в 53 году?

— Врачи-убийцы, что ли?

— Что врачи! Правда, не знаешь? Ты сам москвич, где тогда был?

— Не было меня в Москве. На Сахалине работал.

— Тогда понятно. А я был комсомольцем, в клубной самодеятельности начинал — актив в райкоме. Ты знаешь, как была подготовлена та операция?.. Ну, что ты! По избирательным спискам — там нация есть, против всех галочки стояли. Вокруг Москвы, на окружной — теплушки на двух колеях. И уж день назначили. На заводе Ильича после смены рабочие хватают мастера-еврея за неверные расценки — убивают. Хватают других евреев — серьезная драка. Вызывают милицию — убивают одного громилу. Так? В тот же день — суд над врачами. В Колонном зале. На улице толпа. После заседания общественного защитника — уж не Эренбург ли был назначен, не помню — выволакивают на улицу и тоже кончают. И тут милиция на высоте — парочку патриотов шлепают. Ну, а дальше, чтоб прекратить справедливый гнев и безобразие, защитить и обезопасить, принимают мудрое решение: ночью в каждую квартиру — звонок, два часа на сборы, с ручной кладью по такому-то адресу, к такому-то пути — иначе никто ни за что не отвечает. А дальше — теплушки на проволок — и до Находки. Был, говоришь, на Дальнем Востоке? Половина бы доехала — не больше. Теплушки бы не открывали ни разу. А там, для оставшейся половины бараки без ничего. Мне один летчик рассказывал, он там тогда служил, летал, видел, одним словом, те бараки — тыщи и тыщи барачков.

— Врешь ты, — сказал Лев Ильич, он был потрясен.

— Как вру, когда сам в этом деле, можно сказать, замешан? Мы уже наготове был. Да вот, видишь как — сорвалось.

— Почему сорвалось? — спросил Лев Ильич с надеждой: "Вот она загадка!"

— Отдал концы вождь и учитель. В самый тот момент и отдал. Может, придавили его, там тоже свой Каганович сидел, хоть он-то ев-

рейской кровушки нахлебался и без "Талмуда", только за свою шкуру дрожал. Но кто знает — проснулась совестишка...

— А ты задумывался когда-нибудь, — спросил Лев Ильич, он уже увидел, поймал то, что хотел, чего ждал, от чего ему сразу весело стало, — нет ли какой закономерности в такого рода роковом конце каждого, кто всерьез замахивается на евреев? Вон ты про историю, про то-се говоришь. Ты бы почитал всерьез и подумал, раз уж ты научно к этому делу подходишь — какая у всех судьба, как она за евреев рассчитывается — с древних времен до этой войны, до немцев!.. Был такой в Библии царь Артаксеркс и у него, ну одним словом, первый визирь Аман, тоже задумал грандиозную акцию, и уже гонцы поскакали с приказом — всех тогдашних иудеев должны были поголовно вырезать. И что думаешь, чем кончилось? Визирь и вся его семья, весь его род — погибли страшной смертью. А с вождем и учителем — уж какой пример! Каганович ли его придавил, грузин ли помощничек или собственной блевотиной бедняга поперхнулся — разве в этом дело? То орудие было всего лишь. Неуж ты думаешь, Господь оставит свой народ, который Он воспитывал, выводил, к которому являлся, с пророками разговаривал — судьбу навсегда предсказал? Он евреев и мучает-то оттого что любит, отмечает. Но представь любой другой такой народ, чтоб две тысячи лет без земли, с постоянной ненавистью, как сам же говоришь, в преследовании — а остались, живут. Ты — русский Вася, у себя дома, а своему пархатому Аркашке завидуешь!.. Как только у нас дело всерьез пошло, керосином запахло, уж не знаю, верить в твои теплушки-бараки — не верить — так заметь, в тот самый момент, накануне акции невиданной! — он отдает Богу душу! Что скажешь?

— Так что, выходит, Бог, что ль, есть? — спросил Вася совсем трезвым голосом.

— А ты как думал? Кабы не было, и мы б с тобой сегодня не встретились. Это Он мне специально тебя послал, чтоб мозги прочистить. Давай-ка уберем со стола это свинство да идем отсюда.

— Ну что ж, — сказал Вася, взяв со стола бутылку, запихивая ее в карман пиджака, — в таком случае с вас причитается. Уж коль меня сам Бог вам послал, Он и три рубля велел отдать.

— Верно, — засмеялся Лев Ильич, — твои три рубля.

5

В квартире было сумрачно и тихо. Он сначала удивился, что никого нет: звонил-звонил, не хотел открывать своим ключом, только потом сообразил, что и не должно быть никого — Надя в школе, Лю-

ба на работе. Но почему-то он шел сюда, твердо зная, что разговор будет и состоится, так был уверен в этом, убежден, что продолжал топтаться перед дверью и догадавшись, что там никого нет.

Он разделся, оставил портфель под вешалкой, заглянул на кухню — чисто, будто ждали кого, в его-то время не бывало так, толкнул дверь в комнату Нади. Ну а здесь как всегда: убегала в школу, впопыхах искала учебники, тетради, едва кровать успела прибраться...

Он присел на краешек ее кровати: вон как прошлепал годы, все ничем да ничем была — червячком-игрушкой, заботой-тягостью, потом иной раз останавливался — ишь ты, что-то свое, и на кого похожа не поймешь, он бы так никогда не сказал-не сделал, откуда в ней? А пришел раз вечером, она не спала, стояла вот здесь, на стуле, и читала стихи:

— Жил на свете рыцарь бледный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой...

Ну как, папа?..

А он не знал "как", он видел перед собой девочку-подростка, в которой просыпалась девушка, и так ему померещилось, что вот, удостоился увидеть само чудо этого превращения. Как в лесу, в грибную пору, когда так и лезут и лезут они из пахнущей прелью земли, думаешь: встань-ка на колени, а еще лучше — ложись носом в землю и гляди, слушай — и увидишь, услышишь, как земля зашевелится, взбурится, шляпка поднимется... А ведь расцвела вдруг, безо всякого его участия, да какой-то странный, им невиданный, поразительный цветок. Он и заметил это все, дошло до него совсем недавно, помнил, как кинулся было к Любе рассказать — но поздно было, до нее уже не добежать...

Лев Ильич поднялся, сложил на столе книжки, тетради, поднял с пола ручку, колечко рублевое, закатившееся под стол, и тихо прикрыл дверь.

В большой — их комнате было совсем темно, плотные шторы, казалось, давно не раздергивались, накурено, да и сейчас чуть ли не дымилась сигарета.

Он постоял у дверей, хотел было зажечь свет, но передумал, пересек в темноте комнату, подошел к столу, стоящему близ тахты, спиной к окну, и тяжело опустился в него.

Вот он когда, наконец, пришел, добрался, вторая неделя идет, вторник сегодня, а приехал в понедельник — ну да, вторая. А он все "бутылки сдает" — вспомнилась ему утренняя, мелькнувшая в комнате у Тани мысль. Вон Вася — этот уж непременно сдал, свои проблемы решает... Надо ж, придумал, Бог его, видишь ли, ему послал. Ну конечно, дел у Господа Бога других нет, как алкаша ему подсо-

вывать, чтоб он в его похмельной околесице улавливал истину! Хорошо как устроился: во всем, что б с ним ни происходило, непременно Божие участие, Божия воля, Промысел — ну как же, нет ведь случайностей, все волосы сосчитаны!.. Какой-то безнадежностью пахло на Льва Ильича от этой, ставшей уже такой привычной мысли — отсюда и его, унижающее его же безделие, долго он еще будет заниматься устройением собственной души? И какое-то эгоистическое равнодушие к другим — у них тоже, небось, все сосчитали — а он тут при чем? И уж коль задано с самого начала, с той еще неисповедимой поры, когда твердь создавалась, когда Господь звезды к небу приколачивал молотком и море запирали воротами, чтоб по земле не растеклось, когда онаграм и орлам указывал их место и линию поведения — когда радовался тому, как все это прекрасно, коль с тех самых пор задана гармония и разлилась по свету, она с тех самых пор все равно и существует. Или усомниться в ней, поболтав со спившимся актером, послушав выжившего из ума от страха, покрытого перхотью большевика — усомниться в открывшемся тебе пути, ибо и в болтовне алкаша, и в декламации бывшего комиссара есть, никуда от того не денешься! — есть правда о тебе и об этом, так любимом тобой мире. Да что уж говорить, можно ли представить себе пессимиста более безнадежного, чем одного из самых бодрых литературных героев, утверждавшего, что живем мы в самом лучшем из миров! Человек в двадцатом веке, отчетливо представляющий себе э т о т мир, неужто может предположить что-то похуже, коль тут самый лучший? — оставаясь при этом рабски убежденным в гармонии и промыслительности каждого шага природы и человеческой истории, под каблуками которой раздавливалась и раздавливается все живое? А земля, которую, по словам поэта, Царь Небесный в рабском виде исходил, благословляя, — похуже этой можно ли хоть что-то вообразить себе в самом буйном и фантастическом варианте?.. "И так далее, — сказал сам себе Лев Ильич, — и тому подобное".

Он погрузился, утонул в кресле, вытянул ноги. Он не знал на это ответа, хотя и чувствовал, убежден был, что снова идет не туда, что кто-то — да не кто-то, нет никого, он сам! — тащит себя в безнадежность и пустоту. Он не знал ответа, не смог бы разобраться и что-то противопоставить простой, кричащей в нем логике, гневу, таким проросшим его представлениям о том, что хорошо, а что плохо, тому, что привык называть нравственным и справедливым. Он не знал ответа, но верил, чувствовал неправду жеста, душевного движения, того, что вот он, Лев Ильич, которого бросало целую неделю от порога к порогу, все дальше уводило от этого, его — его руками построенного дома, что он, падавший и поднявшийся, снова рухнувший в бездну и непостижимым образом уцелевший, словно бы опять спасшийся, знал твердо, что он делал что-то неверно, что и беда его и его слабость, и его победа, обретения и потери — невероятная ему самому полнота

его теперешней жизни — все это было за чужой счет, что вот, не зря же он проник в этот дом и ходит здесь, как вор, не зажигает света, боится отдернуть штору, что вот и сидит он как-то не так, праздно вытянув ноги, в комнате, в которой висело, проникая ее, затаенное глухое отчаяние, разлитая в темноте печаль, недоумение перед его предательством. За что, почему, как он мог перестать делиться отчаянием ли, взявшим его за горло, радостью, от которой так сладко дрогнуло сердце? Как случилось, что не здесь, а где-то там, что и сегодняшние сестры, Таня с Лидой, стали ему вдруг близки, и Маша открылась в эти несколько дней так, что теперь уж, кажется, он всею жизнью связан с ней, и отец Кирилл, с которым пока что никакого душевного контакта у него ведь и не было, да и Вера...

“Верой, что ли, надо было поделиться?” — усмехнулся он про себя, зачем искать далеко, вот и начало всему — шагнул за бабой и покатила жизнь. Нет, здесь другое было, он не хотел, не мог сейчас думать о Vere, он все эти дни, с тех пор, как расстался с ней там в коридоре, у дверей Машинной квартиры, не разрешал себе произносить ее имя, трусливо отодвигая от себя все, что поднималось в нем, стоило ему ее вспомнить. Это потом, дай только остановиться, опомниться, почувствовать землю под ногами. Может, дело было в легкомысленной безответственности, от того, что там — и у сестер, и у Маши, и у отца Кирилла от него ничего не требовали, только давали, что он всего лишь брал, обманывая себя тем, что и о н нужен, а на самом деле только пользовался чужой добротой и бескорыстной щедростью, и не подумав, что за все надо платить? Он был фарисеем, воображая себя мытарем — и попрощавшись с друзьями, и внутренне предав Веру, и сидя за поминальным столом в жалком доме покойного дяди, и развлекаясь болтовней с потерявшим себя алкашом. Он был лучше, умнее, чище, выше, шире, он прикоснулся, он знал Истину, а стало быть, заслужил все это, и даже сейчас, в эти мгновения, испытывая мучительное ощущение своей неправоты и вины, которую не смог бы, тем не менее, точно определить, был и в этом сознании на несомненной, разрешающей ему все высоте.

Он почувствовал себя чужим, действительно забравшимся в этот дом вором, и совсем не потому, что вчера так глупо попался: что Люба, наконец, поймала его на лжи в тот самый момент, как он, полный благости и раскаяния, намеревался одарить ее этим своим раскаянием и поделиться всем, что получил накануне. Это только ей стало неловко и скверно, потому она кричала, срываясь, не находя верного тона. Он и правда был здесь чужим, и в том была только его вина, а не ее надрыв, глупость и грубость. А вот почему надрыв, почему грубость? Может, разобравшись хотя бы в этом — а не начало ли тут всему, не в его ли эгоистической самоуглубленности первый шаг к тому, чтобы потом, проскочив десятки, а может, и тысячи звеньев, плакать о разрываемой гармонии мира и кровавых лужах,

в которых бесконечно оскальзывается каждый, всю свою жизнь топчущийся на благословенной земле его отечества?.. Упрощение? Подмена или попытка уйти от ответа, идеологизация и преувеличение собственного жалкого опыта?.. Лев Ильич не знал ответа и не умел бы возразить...

Почему ему вдруг вспомнилось то, что было, случилось шестнадцать лет назад?.. Как он любил тогда эту женщину! Они два года были женаты, он добился, она принадлежала ему столько, сколько он хотел, мог, и чего бы ни было у него потом, он никогда не способен был позабыть той полноты, того безграничного до ужаса и умирания счастья, той напряженности жизни в каждое мгновение, ибо каждое это мгновение было ожиданием встречи, свидания, близости, хотя даны и запрограммированы были и встречи, и свидания, и близость. Но он каждый раз не верил в то, что это произойдет, может произойти, придумывал тут десятки причин, могущих помешать этой встрече, свиданию, близости. Он внезапно, с усмешкой самому себе, вспомнил, с каким страхом и удивлением частенько припоминал знаменитую историю в одном французском романе о солдате, вырвавшемся из окопов, из грязи и смерти на побывку домой — реалистическом романе, в котором так внимательно и подробно было сказано и о любви этого простого крестьянина в грязной шинели, с винтовкой, и о том, как он добирался трое суток до своей деревни, как оставалось ему всего одна ночь, а на рассвете надо было уже уходить, чтобы поспеть к сроку обратно, и как случилось, что именно в эту мокрую, глухую — единственную ночь, с холодным, проливным дождем в их халупе дожидались утра еще трое таких же, как он, солдат, которым нельзя было указать на дверь. Он никогда не мог представить себя тем солдатом, оказавшимся способным на подвиг, выше которого он — Лев Ильич и вообразить бы себе тогда не мог.

Они встречались на улице, в условных местах или он заходил к ней на работу, дожидаясь, пока она закончит службу, слушая и не слыша ее смех, разговоры, ловя момент, когда он наконец возьмет ее за руку, увидит о д н у — летящие волосы, смеющиеся глаза, когда они пойдут рядом, вместе, когда останутся совсем одни — и он не знал, что для него больше — сумасшедшая близость или весь этот путь мокрыми улицами под редкими фонарями, ожидание в коридорах на ее работе, ничего не значащие или такие глубокие для него их бесконечные разговоры. Наверное, все вместе, потому что были ведь потом — и сколько! — и близость, и все ее сумасшествие, и мокрые улицы, и мало чего значащие и глубокомысленные разговоры. Не было единственного, того, что однажды открылось, откуда он черпал и разбрызгивал, не догадываясь о том, что все на этом свете конечно.

Так и было той весной, когда всего лишь помехой он понял ее

беременность, и уж совсем досадным, что вынужден был отвезти ее в родильный дом, где она осталась на лишнюю неделю из-за своего нездоровья, и они встречались в темном подвальном коридоре больницы: она в сером больничном халате и косынке, похожая на Катюшу Маслову, как он ей сказал, только без черных завитков, со счастливыми от его нетерпения и счастья глазами.

Так было и в тот солнечный день, когда он в неурочный час, вырвавшись от дел, ничего не стоящих рядом с тем, что его ожидало, подошел к больнице по хрустящему ледку и прокричал в открытую форточку ее палаты свое приветствие, а узнав от появившихся за стеклом окна веселых баб, что ее нет, кинулся в их коридор и увидел ее: она была в том же халате — Катюша Маслова, только без черных завитков под косынкой, а тот обнимал ее, и она прижалась так самозабвенно и счастливо, как, ему показалось, никогда не прижималась к нему.

Он тогда остановился, замер, уничтоженный, растоптанный, смятый. У него только хватило сил, задержав дыхание, двинуться назад, ступая след в след, по гремящему коридору, хотя он и понял, знал, что они все равно не заметят и не услышат его.

И вот тогда-то и случилось с ним то, что потом, уже спустя много лет, когда поднакопилось силенок осмыслить происшедшее и различить в нем себя, он и назвал "падением". Да не в том было дело, чему он стал свидетелем, он скоро узнал все это, выяснил в жалком и ничтожном разговоре, когда страсть расследователя тонет в ужасе перед возможностью обнаружения правды, он так уцепился за правдоподобное объяснение, продолжая одновременно не верить, подозрительно взвешивая факты, удовлетворенно и самолюбиво отмечая вздорность своих сомнений. Что может быть для женщины проще о б ъ я с н и т ь, коль она не глупа и на ее стороне его ни с чем не сравнимая жажда ошибиться даже в самоочевидном! Старая была история, он и совсем тут непричем, давняя, когда его и в приятелях не было, перешедшая в родственную дружбу, вопреки полнейшему расхождению и даже взаимному отталкиванию. Вот последнее-то и было подороже всего! Какой был бальзам его самолюбию — вертеть и с разных сторон рассматривать это взаимное отталкивание, убеждаясь — чего уж тут стоили факты, самые безумные подозрения и очевидности! — каждый раз в ничтожестве, пустоте, прямой глупости, корысти, наклонностях к карьеризму, приспособленчеству, да еще кой в каких уж совсем фантастических положениях. Да, для этого пришлось открыть двери дома, войти в дружество, проводить вместе время, обижаться отказом, участвовать в общих праздниках и юбилеях, совершать совместные путешествия... Какой открылся простор для самоутверждения, какие качели вздымали его в головокружительных взлетах, чтоб тут же швырнуть в затхлую тину и грязь вдруг мелькнувшего сомнения, приоткрывшего на

мгновение так ловко, самим же запрятанную уж несомненную правду — неосторожное слово, пустая ассоциация, перехваченный взгляд, часы на руке, отсчитывающие минуты внезапно показавшегося странным уединения. Но ведь слово-то объяснялось так просто и имело совсем не то значение, но ведь ассоциация всего лишь из подозрительности швырнула его не туда, и взгляд, коль уж был он перехвачен, предназначался ему, а грохочущие, разрывающие сердце минуты оборачивались анекдотом, веселым или грустным бытом — пустяком.

Странное, не сравнимое ни с чем рабство собственного эгоизма и самоутверждения затопило его, оно было еще страшней потому, что Лев Ильич не отдавал себе отчета в том, что никто ведь не принуждал его быть рабом, что он сам, изнутри стремился к этому состоянию, на него соглашался, по-рабски принимая действия порабощавшей непреодолимой силы. Страсть, сжигавшая его душу, принимала чаще всего формы чудовищные и жалкие, бунт тут же выливался в самое нелепое унижение, он был воистину во власти демонов, и они визжали, прячась в темных углах, и когда еще Лев Ильич стал догадываться о том, что углы те были всего лишь потемками его собственной души.

Думал ли он хоть когда-нибудь о том, каково приходится рядом с ним человеку, вынужденному уже самым бытом ежедневно наблюдать это раскачивание на свистящих качелях, постоянно защищаясь и защищая его, борясь за него, погружаясь следом за ним в омерзительную и визжащую бездну? Да конечно же нет! У него и времени не достало бы, чтоб остановиться и всмотреться в то, что происходило рядом, тут страшно было упустить мгновение, именно тогда и могло произойти то, что он не мог, чего так страшился, чего нельзя было бы упустить. Он и не заметил, как мир, такой полный, а благодаря его постоянной напряженности яркий и блестящий — безоглядный, стал тускнеть и вянуть, очерченный в неумолимо сужающихся рамках, обреченный на поражение борьбы. Он упрямо шел к победе, отсекая для себя даже мысль о самой возможности неудачи, ибо нельзя было и представить себе хоть чего-то способного противостоять такому напору — в нем были самоотверженность, напряженность всех душевных сил, самоотречение... Где было ему в горячке и безумии расходования себя, в попытках глушить себя якобы полнотой жизни на стороне, оправдываясь при этом правом на пробу и эксперимент, всегда только подтверждавший его верность единственному чувству — где там было углядеть, что на самом деле никогда и не было в его арсенале самоотверженности и самоотречения, что напряженность всех душевных сил была направлена всего лишь на самоутверждение. Что потому и ребенок был сначала лишь помехой, а потом деталью интерьера, что не могло быть и речи о полноте духовного соединения, о возможности которого он

и не подозревал, что то, чего он добивался, уничтожая себя, растрачивая, не догадываясь о высыхании источника, было лишь безумием, страстью, пекущейся только о бесконечном восполнении и обогащении за счет другого. Оказавшись в рабстве у собственных низших страстей, в чем он никогда бы и не смог себе признаться, он столкнулся с другой личностью, ничего не зная о борьбе, которую вела она и за себя и за него. Где там, в той визжащей черноте было ему разглядеть, что он стремится поразить и с чем сражается.

Он уже пригляделся, привык к темноте комнаты. Тусклый свет просачивался из коридора, куда он проникал из открытых дверей кухни, и он уже различал тахту с брошенным на нее одеялом или пальто, домашние туфли на коврике, какие-то вещи, тряпки на стуле. Комната жила своей, не имеющей к нему никакого отношения жизнью, и четкое понимание того, что так было всегда, пронзило его: так не могло не быть, потому что все, что было дано ему, дано было и женщине, в которой он тоже любил только себя.

О какой гармонии мира, разрываемого злом на протяжении всей человеческой истории и миллионы лет до нее, может идти речь, подумал Лев Ильич, когда человек — он сам, Лев Ильич — существо до такой степени дисгармоничное?.. "С меня, что ли, началось?" — сказал он себе, и не думая уже защищаться. Будто бы современный мир со всеми его достижениями — от победы над чумой, рабством или крепостничеством до расщепления атома и полетов на луну — сделал человека хоть чуть лучше и счастливее! Все изменилось вокруг — закинь янки во двор царя Соломона или кого-нибудь из двенадцати сыновей Иакова в Чикаго! — но человек при этом не изменился... Изменился, поправил себя Лев Ильич, это-то он знал: те братья еще беседовали с Господом, жили в Его присутствии, а теперь человек тут же умрет, уничтожится, ощутив на себе Его дыхание. Вон куда хватил, остановил он себя, это уж не моего ума дело. Но ведь и правда, еще Адам потерял свою целостность, допустив в свою жизнь черноту, которая сегодня грызет и его, Льва Ильича. Читал он, вспомнил слова Господа: "и вражду положу Я между тобой и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебе голову, а ты будешь поражать его пяту..." Разве не исполнилось то пророчество в его маленькой жизни? Как же можно надеяться жалкими внешними преобразованиями — социальными ли, техническими — хоть что-то изменить в самой природе человека, его страх перед истинной свободой, бросающий его в рабство, или, что то же самое, в стремление поработить другого? Значит вот где страшная тайна и причина всего — он был рабом, потому что и то главное, ради чего, как казалось ему, жил — свою любовь, выше которой не было у него ничего на свете, превращал всего лишь в орудие собственного эгоизма и самоутверждения, подавляя, стремясь во что бы то ни стало, даже теряя себя при этом, уничтожить эту свободу в другом.

эту свободу в другом.

И такая пронзительная, непобедимая жалость охватила его. Он представил себе ее — его Любу — здесь, в этой комнате, полжившую вчера телефонную трубку, узнавшую о том, что он солгал ей, представившую себе все и понявшую, что это конец. Он представил ее себе в продолжение этих долгих лет, врачующую его несуществовавшие (или существующие — разве в этом было дело!) раны, женщину, которую он наделял в своем воображении таким невероятным очарованием и в которой так легко видел, благодаря этой неистовой страсти, бесконечные слабости и не имеющие к ней отношения пороки. А была, меж тем, на самом деле, совсем другая женщина — реальная, без демонического очарования и чудовищных пороков. Она и сейчас здесь — в этих туфлях, которые только что скинула, в платье, которое стянула, переодеваясь, и не успела спрятать, под брошенным, не убраным одеялом. Он вдруг почувствовал, что теперь он готов ничего не требовать, ничего не просить для себя, что ему не нужна ее красота, которую он растратил. Ему ничего не нужно, он готов отдать все, что у него есть, ничего не прося взамен. Он увидел ее здесь, в этот момент, в темноте надвигающейся старости, быть может, болезни, не знающей Бога, а потому оставленной и обреченной страшной пустоте прячущегося в углах мира...

Нет, не было и не могло быть гармонии в мире, где один человек мучил и тратил другого, утверждая себя и добываясь себе счастья за его счет. Пусть он становится целым народом и сводит счеты с народом другим, задыхаясь и оскальзываясь в собственном подполье. Нет, и тут не может быть гармонии! Бог не для того пришел в этот мир, и прошел его не как луч Света, не на торжествующей колеснице, а в облике раба, принявшего все, вплоть до крестной муки. Он даже не просто сострадал — Он страдает вместе с человеком, борется вместе с ним, дает ему силы в этой борьбе, поддерживает, когда сил недостает и открывает единственный путь... Пусть отец Кирилл говорил как-то не так, а может и не понял его тогда Лев Ильич: потому нет случайностей, что не могут быть оправданы несчастья и страдания, зло мира, а не потому, что все от Бога — наша слабость и наш эгоизм, наше рабство и жажда устроиться за чужой счет. Мы свободны в своем выборе, а потому свобода и в преодолении собственной природы... Да, Лев Ильич уже знал, что ад существует реально, и уж конечно, он создан не Богом, — он сам, Лев Ильич, своими руками сооружал его для себя десятки лет...

Лев Ильич подобрал ноги, готовясь встать: он знал теперь, что заполнит отныне его дни, жалость захлестнувшая его, была выше всю жизнь сокрушавшей его страсти, он должен был найти Любу сейчас, немедленно — она не могла не услышать, не понять, не поверить ему, он знал о том главном, что было меж ними, от чего оба они отмахивались за недосугом, за жизнью, за миром, крадущим

человека от себя самого. Он не мог больше ждать, зная, что оставляет ее одну, не знающую того, что ему открылось...

"Он", "он", "он"!.. — перебил себя Лев Ильич. Все еще мало было ему указаний на то, что ничего-то он про людей не знает, что внешнее, то, что открывається, дано в самом тесном душевном контакте, ничего еще не стоит — да разве перестроишь за такой срок всю свою природу, привыкшую т а к верить, т а к считать и т а к жить, хотя бы даже и понял уже необходимость ее — этой самой своей мерзкой природы — преодоления. Ну уж ладно за себя понял, а вот зачем опять за другого решать, одаривать его — то страстью, а то, как не осталось ничего — растратил — жалостью... "А просили тебя об этом?.."

Услышал ли он этот тоненький голосок в себе?.. Зато треснула, зажигаясь рядом с ним, спичка, он резко обернулся и увидел Любу, лежавшую у самой стены под старенькой шубой. Она прикурила сигарету, отбросила спичку, глубоко затянулась и сказала, выдохнув дым.

— Уходи. Я не хочу больше тебя слушать. Мне надоело. Ты-то способен услышать? Хватит с меня.

6

Лев Ильич был так ошеломлен тем, что Люба, оказалось, была все это время в комнате, рядом с ним, что он, увлеченный своими рассуждениями, сделанным им открытием, перевернувшим теперь все его представления, собственную жизнь, своей к ней жалостью, которую она, как он самонадеянно считал, уж никак не могла с радостью не принять, тем, наконец, что он ее рядом с собой не услышал, а она, стало быть, все поняла и чуть ли не "слышала", но тем не менее, так четко указала ему на дверь — ото всего этого отказалась, он был так этим потрясен, что и не вздумал сопротивляться, объяснять что-то, он снова — в который уж раз за эту неделю? — топтавшись в темноте, выбрался в коридор, надел пальто, взял в руки очертеневший ему портфель — и оказался на улице.

Было совсем светло, а ему уж казалось — опять ночь на дворе. Он шел куда глаза глядят — ни одной мысли не было в голове.

Ну что ж, сказал он себе, остановившись вдруг, да так резко, что человек, шедший сзади, наскочил на него и что-то злобно пробурчал себе под нос, что из того, что она его не поняла, не захотела слышать — он же н е и щ е т у т с в о е г о, он ее и в этой тьме видит и любит, даже в том, что она не способна открыться ему навстречу? Но коль она не способна и не нужна ей его жалость, как не нуж-

на была и страсть, то опять оказывается, все это только для себя — нашел выход! — но не для нее, для себя же нашел? А ты попробуй, поправил он себя. Попробуй от размышлений и слов перейти к делу, медленному, изо дня в день, не боящемуся, но и не ищущему! — унижений, каждодневному делу ради нее. Если не ищешь своего, то и не ищи, и будь готов к тому, что только так вот и будет теперь...

Он, не глядя, обходил плотно стоящую на тротуаре толпу, оживленно о чем-то галдящую, вслушался было, ничего не понял, и тут, сойдя уже на мостовую, внезапно остановился.

Он стоял перед темным, с колоннами зданием, на тротуаре перед ним и под колоннами толпились люди в длиннополых пальто, в черных шляпах.

"Синагога!" — мелькнуло у Льва Ильича. Вот тебе и случай — уж не Господь ли его сюда привел? "Что ж, войти, что ли?.."

Какой-то человек пробился сквозь толпу и шагнул к нему на мостовую.

— О! Мой знакомый аид, который хочет стать гоем!..

Перед ним стоял вчерашний кладбищенский старик в ермолке со слуховым аппаратом. Он зорко всматривался, ощупывал Льва Ильича умными, темными глазами.

— Ну как, мой дорогой аид еще не передумал, он все еще хочет на этом свете ездить в автомобиле, а на том кушать пряники?..

На них оглядывались, прислушиваясь к театральному акценту старика.

— Я вам скажу по секрету, — еще громче пропел старик, — у меня был один знакомый Миша, — тоже аид и тоже хотел быть гоем. Так он купил себе машину. И что вы думаете? Он стал такой гой, что совсем забыл про то, что он еврей: напился пьяный, как последний биндюжник, сел в свой автомобиль и наехал на человека! Что же вы думаете, с ним стало? У него нет теперь автомобиля, а пряники в турма не берут и в передачи. Как вы думаете, дадут ему пряников на том свете, который пообещали гоям?..

Лев Ильич молчал: странное чувство удерживало его здесь, перед синагогой, старик был сейчас единственным человеком, с которым ему хотелось поговорить — куда ему еще деваться?

Тот, верно, что-то понял.

— Знаете, что я вам скажу? Поверьте старому Соломону — не гоже двум евреям стоять на улице и разговаривать, будто они какие-то бродяги. Здесь рядом живет один молодой человек, который прочитал все книги и все знает. Я хочу вас познакомить, потому что я знал вашего дедушку и нянчил вас на бульваре.

Они уже шли вниз по переулку, старик семенил подле, сбегал на мостовую, забегал перед Львом Ильичем, продолжая говорить и размахивать руками. Лев Ильич поймал себя на жалком, бросившем его в краску чувстве: ему стало неловко от того, что он идет рядом

стариком — не из страха, чего ему было бояться, но из какой-то инстинктивной потребности не выставлять напоказ свое еврейство, а вернее не привлекать к нему внимание. То есть, он почувствовал, насколько этот нелепый старик со своим слуховым аппаратом, прямо нарочито пародийным видом — свободней его, Льва Ильича, со всей его укорененностью в этой жизни. Этому старику, наверно, и в голову не могло прийти, что, может быть, умнее было бы в какой-то момент — а сколько было таких моментов в его жизни! — не выпячивать так откровенно свое еврейство, не привлекать внимания толпы или власть имущих, стусеваться и переждать, что он хоть и еврей, и не может им не быть, но на всякий случай сделать вид, что он как бы и не еврей. И это было у старика даже не из отваги, а уж тем более не от глупости и равнодушия к жизни, он понял уже этого человека, и сомневаться в его огромном, пусть и специфическом жизненном опыте, как и в способности в нем разобраться, едва ли стоило. Он был свободнее, потому что не должен был не только ничего прятать, но даже и думать об этом.

Лев Ильич сошел на мостовую и взял старика под руку. Тот замолчал и удивленно покосился на него. Потом усмешка скользнула по его лицу.

— Молодой человек беспокоится, что на меня наедет какой-нибудь пьяный аид? Нет, скажу я вам, тот, про которого я вам рассказывал, уже не наедет — у него отобрали автомобиль, а других нет. Еврей редко забывает о том, что он еврей и что ему не позволено вести себя, как биндюжнику. Хорошо это по-вашему или нет? Может быть, Господь и придумал еврейскую трусость для того, чтобы сохранить свой народ для великого подвига?..

Они свернули в темную подворотню, прошли двором и поднялись теперь по кривой и обшарпанной каменной лестнице на второй этаж. Старик толкнул незапертую дверь и крикнул в темный коридор.

— Пан философ, а пан философ!..

Открылась дверь ближней к входу комнаты, и на пороге ее показался человек. Он стоял спиной к свету, и Лев Ильич не мог его разглядеть.

— Я привел к вам еще одного еврея, — сказал старик. — Между прочим, он на опасном пути и, если вы с ним не поговорите, он станет совсем гой. Ви представьте себе, пан философ, я видел, как он перекрестился!..

“Пан философ” посторонился и Лев Ильич шагнул в комнату — маленькую, темную, в одно окошко. Всей мебели в ней было узенький диванчик и два стула, а столом, видно, служил широкий подоконник, на котором были навалены книги, рукописи, стояла пишущая машинка со вставленным в нее чистым листом, а рядом зажженная настольная лампа под зеленым казенным абажуром. Да еще

на полу у окна заметил Лев Ильич торчащую антенну транзистора.

— "Пан философ" перехватил его взгляд.

— Враждебные голоса, — улыбнулся он, — помогают ориентироваться в этом мире, чтоб не открывать велосипеды.

— Мы вам помешали? — кивнул Лев Ильич на машинку.

— Ничего, я всегда рад, — он протянул руку. — Володя.

Был он молоденький, а может, лет тридцати, в ковбеечке с завернутыми на крепких руках рукавами и в стареньких джинсах.

— О! Они уже познакомились, — всунулся в дверь старик. —

Но по всем — еврейским или русским законам так не знакомятся.

— Вы меня извините, — поднял плечи Володя, — у меня ничего нет.

Лев Ильич, стесняясь, полез в карман и вытащил пять рублей.

— Прекрасная мысль! — вскинулся старик. — Я же вам говорил, он еще может стать человеком... Ви еще не успеете пропеть "Отче наш"!.. — крикнул он уже из коридора.

— Вы, наверное, напрасно дали ему деньги, — с сожалением сказал Володя. — Ну да уж куда ни шло.

Лев Ильич не ответил. Он сидел на стуле, возле окна и с изумлением оглядывался. Он не мог понять, куда он попал, и если б не знал, что привели его, конечно, к еврею для какого-то еврейского разговора, он бы никогда не подумал так про этого светловолосого паренька с ясными глазами, чуть курносого, с широким, открытым лицом. Вдруг его осенило.

— Вы наверно уезжаете? — спросил он.

— Уезжаю?.. Да, в принципе, конечно. Но еще не сейчас. Много дела.

— А вы где работаете?

Володя улыбнулся.

— В булочной. Удобная работа: через два дня — сутки. Но я не это имел в виду.

Они помолчали. Володя поставил на подоконник пепельницу, вытащил нераспечатанную пачку "Примы".

— Хочу бросить курить — слабость, конечно. Когда один и работаю — уже не курю, а когда разговариваю — тянет.

Лев Ильич достал свои — с фильтром.

— Вы православный человек? — спросил Володя. Он как-то просто, хорошо спросил, без любопытства, а так — для начала разговора.

— Да, — ответил Лев Ильич, снова отметив про себя некую неловкость. — Православный.

— Я это не к тому спрашиваю, безо всяких — не подумайте. Тут без широты в этом вопросе нельзя. А вы знакомы с иудаизмом?

— Нет, — сказал Лев Ильич, внезапно раздражившись. — Но разве Истину, коль она открылась, нужно взвешивать и сравнивать

с другими... как на базаре?

— Разумеется, вы правы. Я вас не для того спросил, просто мне как человеку в принципе неверующему, но относящемуся с уважением ко всякой вере в нечто абсолютное, не совсем понятно... ну как бы вам сказать... Да вы не обижайтесь! — улыбнулся он так широко и открыто, что Льву Ильичу стало стыдно своего раздражения. — Я понимаю, какой это бывает болезненный вопрос, особенно у нефитов, но разговор должен быть откровенный, иначе зачем тратить время, — и он глянул на машинку.

Лев Ильич пошевелился на стуле.

— Я действительно не хочу вам мешать, поддался почему-то старику, да и честно говоря, деваться некуда.

— Ну вот, как с вами трудно — тяжелый случай иметь дело с русским интеллигентом да еще евреем. Сил нет, сколько всяких душевных переливов! Пришли — сидите, раз не противно. Так вы еврей или русский? То есть, я вас в принципе спрашиваю, а не по паспорту.

— Русский, — сказал твердо Лев Ильич. — А еврей я только когда мне жидовскую морду тычут в нос.

— Тоже, между прочим, не последнее дело, — Володя уже не улыбался, а приглядывался к Льву Ильичу. — Ну да, а раз русский и еще интеллигент, тогда конечно: Пушкин, Достоевский, Россия-мать, а советская власть — мачеха, а уж тут — православие, не марксизм же. Все понятно.

— А откуда вам это понятно?

— Да нагляделся, тут этих разговоров было! Если б записывали, давно б пленка кончилась, потому спокоен, что не записывают... Но тут вот какая странность, то есть в принципе...

“Экое у него словечко привязчивое...” — мелькнуло у Льва Ильича, ему все больше нравился этот паренек.

— ...Вот, вы считаете себя русским, хотя похожи на еврея и жидовскую морду время от времени получаете. А я знаю, что не похож и никогда такого про себя не слышал. Но я — еврей. И знаете, если в принципе, почему? Да потому хотя бы, что вас называют жидовской мордой — и не только сегодня, а еще полтора года назад, и Пушкин этот, и Достоевский, а уж про сейчас чего говорить — наслушались. Я совсем не хочу вам сказать, что вот, мол, какой я хо-роший, страдающий за других, а вы к чужой беде равнодушны. Вы мне ответите, что, мол, это надо на себе испытать. Верно. Но ведь согласитесь, странность, тем не менее? Так сказать, нравственная странность.

— Может быть, — сказал Лев Ильич, так он про это еще никогда не думал, — пусть странность, но коль я вам назвался русским, а не верить вы мне не можете, раз предложили откровенный разговор, то должны и понять, что мне — русскому, быть может, сил и

времени нет входить в такие тонкости еврейской психологии и проблематики. Вы не можете не согласиться с тем, как бы ни были погружены в еврейское горе и несчастье — вековые и сегодняшние — что существуют и другие проблемы, другое горе, невыносимые противоречия и тупики?

— Вот видите как. А потом мы жалуемся на человеческое равнодушие, на то, что человек только одним собой занимается, а рядом — жить себе, не наше. Уж если даже вам — еврею по паспорту, да еще с жидовской мордой, недосуг, чего ж от настоящих русских или там американцев, или от ООН дожидаться!..

— У нас как-то не туда пошел разговор, — огорчился Лев Ильич.

— А почему не туда? в самую точку. Дело не в том, что вы крестились и изменили вере отцов — у вас, наверно, и отец был атеистом, и в синагогу дорогу позабыл, хорошо, если евреев за бороды не таскал, небось, и был каким-нибудь комиссаром?

Лев Ильич кивнул.

— Вот видите! Какая ж тут измена. Дело в том, если в принципе, что вы изменили еврейству, а не себе. Бог с вами, ну считайте себя русским, любите Пушкина и какую-нибудь блондинку Марусю — на здоровье, жалко, что ли. Это раньше, в начале века, шла речь о "дезертирах", когда за крещение евреи получали образование и место под солнцем. Уж не знаю, известно вам или нет, но вы этим крестом себе такую двойную тяжесть повесили! Слава Богу, или уж не знаю, к несчастью может быть, но живем-то мы не в православном государстве, да и в недемократическом: еврей в паспорте, да еще с крестом на пузе завтра — сегодня нет, а завтра обязательно! — станет самым пугалом, тут уж одной жидовской мордой не отделаешься! Так что в вашей искренности и чистоте, принципиальности не сомневаюсь. А вот еврейству вы изменили, и никуда от этого не денетесь, и не знаю, будете ли вы тем мучиться или нет — наверно, будете, все у вас на лице написано, но еврейство вам этой измены не простит, не может простить.

— Ну а в чем эта измена, — удивился Лев Ильич, — если вы согласны и понимаете, что я могу считать себя русским, что у меня Пушкин, а не Шолом Алейхем, Маруся, а не Ревекка?

— А в том, что другим, у которых Ревекка, не Шолом Алейхем, конечно, с его униженным, жалким, слезливым юмором над своим же рабством, а Ветхий Завет с его пророчествами, в том, что этим другим — не вам! — им плохо, да так, что порой в глазах темнеет, в ком стучит кровь всех сожженных — на инквизиторских кострах, в немецких печах или здесь — в Кишиневе или на Лубянке. Всем, кто сегодня здесь уж и не знаю к чему должны быть готовы, может быть, и к более страшному, а там, на своей родине, вырванной обратно той же кровью, они каждый день могут ждать не фигу-

рального, а совершенно реального истребления. Сказал тут один добрый милиционер возле ОВИРа: соберетесь, мол, там все, а мы одну бомбочку на всех и испытаем... Что — преувеличение, Бог не допустит? Если евреи сейчас на Бога будут уповать да в синагоге окалачиваться, вместо того, чтобы работать для себя и себя вооружать — так оно и будет, слишком примеров было много такого рабского чудовищного непротивленчества — тоже, небось, на Бога рассчитывали, вспоминать тошно. Да ведь и сказано — надейся, да не плошай!.. И вот тут и есть измена, предательство, дезертирство, как уж хотите, выбирайте, что для вас лучше. Вы еще здоровый, крепкий человек — автомат не можете держать, лопату возьмете, а лопата тяжела — карандаш. Нас так мало и мы еще так рассеяны и разобщены — это в вашей России или в Китае привыкли на миллионы считать, а нам каждый человек — да еврей! — на вес золота.

— Значит, все должны уехать? — спросил Лев Ильич.

— Все. Я для того здесь и сижу — а давно мог бы там быть. Хоть еще десять человек отправлю, хоть одного лишнего солдата приведу в Израиль. Лишним он не будет. Не на французов, не на англичан каких-нибудь рассчитывать, которые не задумываясь — а пусть и думают, не все ли равно! — меняют еврейскую кровь на нефть, не на американцев с их золотом, не на пролетарскую солидарность или людей доброй воли — все это пока самого за штаны не взяли. Не верю я ни в какого благодетеля для евреев, никто не станет за нас умирать — история тому свидетель. В себя надо верить, свои силы считать — и обижаться будет не на кого, если что случится.

— Однако, — сказал Лев Ильич, ему этот паренек все больше и больше нравился, он и не видел таких, не думал, что бывают. — Все это у вас стройно, логично, страстно — и не опровергнуть. У меня даже холодок по спине прошел, когда почувствовал себя изменником, предателем или дезертиром — что ж выбирать из этого, все верно. Но верно, если только с одной, вашей позиции на это смотреть, а вы же сами начали разговор с понимания широты...

— Это там, в вопросах ваших религиозных пристрастий — пожалуйста, хоть буддизм исповедуйте! А тут не может быть широты — какая широта, когда ворота в лагерь распахнуты — куда уж шире, как раз на десять миллионов евреев лагерь. Да и новость что ли? О судьбе евреев в России что говорить — от кантонистов до сегодняшних унижений в университете или в магазине за колбасой.

— Погодите, — сказал Лев Ильич, — я про это и пытаюсь вам сказать, правда, может, и не сумею, вы верно сказали о моем неопитстве — мало знаю. Но чувствую твердо, знаю, что здесь, у меня, а не у вас решение проблемы. Это всего лишь оттяжка этого решения, попытка перевести его в другую плоскость. И справедливая, конечно, я потому и говорю, что если стоять на вашей позиции, против этой логики не возразишь. Нация должна иметь свое государ-

ство, укрепить его, людей мало, нужно дорожить каждым, чем бы они мог сражаться — кулаком или карандашом. Все верно. Но знаете, в чем ваша ошибка? Что несмотря на всю, простите, оголтелость вашего национализма...

— Да уж не извиняйтесь, — теперь Володя стал раздражаться, — мы, как говорится, в принципе привыкли к такому.

— Ну вот, видите как, я еще возразить не успел, а вы сердитесь...

— Да не сержусь! — закричал Володя. — У нас и сердиться нет времени. Земля горит под ногами.

— Ну да, — сказал с огорчением Лев Ильич, — так мы друг друга не поймем. Вы горите национальным пламенем и, ослепленный этим жаром, ничего вокруг не хотите замечать. Вы называете меня предателем и дезертиром, а как я сам себя назову, заметьте, я не про вас, про себя говорю, у каждого свой путь и совесть. Или, как верующие люди говорят: каждый перед своим Богом стоит и перед своим падает. Я в том смысле, что у каждого из нас есть Свидетель, а перед ним вы не солжете, какие там у вас соображения, корыстные или истинные. Так вот, как я себя назову, если соберу свой чемодан и уеду — и от матери, как вы верно сказали, и от мачехи. И мать, заметьте, наедине с мачехой оставлю. Наедине. Потому что хоть тут и на миллионы привыкли считать, но миллионы-то из миллионов людей складываются. И здесь я тоже нужен, со всем, что есть у меня — с карандашом ли, с лопатой. И не будем считать, чьей крови больше пролилось — я уж говорил про это с одним — только захлебнемся. Дело ведь не в том, что вам этот лишний солдат больше нужен, а тут и без моей лопаты обойдутся, а в том, что я — понимаете, я! — знаю, что я русский, что я связан с этой землей всей своей кровью, могилами, что я не могу без нее дышать. И ей нужен каждый любящий ее человек, ее несчастной, залитой кровью Церкви, ее культуре, которая прорастает сквозь асфальт. Как же я могу уехать сражаться за всего лишь экзотическое для меня государство? Повинуясь какому чувству? Голосу крови? Да не про то говорит мне этот голос. Мы с вами договорились не сомневаться в искренности друг друга, как же вы можете меня упрекать в равнодушии к тем, кого бьют и мучают — откуда вам знать — мучает меня это или нет?

— Не знаю я, — сказал Володя и безнадежно глянул на Льва Ильича. — Ну будем считать, что я сорвался и на одного солдата приведу меньше. Живите в своей России, я ж ничего против не имею — тоже, небось по-русски думаю, а иврит, вон, только изучаю. Но изучаю! Действительно, мудрено заставить человека считать себя евреем, если он им себя считать не хочет, а в корысти я вас, верно, не могу подозревать. Но неужели вас, думающего человека, никогда не пронзала гордость за свой — еврейский народ, неужели не почувствовали вы его величия — во всех этих унижениях и скитаниях; мо-

жет быть, вы себя и евреем не чувствуете только потому, что не знаете, что такое еврей, что для вас он всего лишь жалкий, убогий и презираемый всеми — это в лучшем случае, какой-то пария? Да почему, с какой стати, думаете вы, зачем я буду пария, когда я русский и у меня есть Достоевский и Иисус Христос? И если у вас, к счастью, не появляется злоба к самому имени "еврей", то уж внутреннее презрение или неловкость, что вас к ним могут причислить — несомненно...

"Какой парень, — с восхищением подумал Лев Ильич, — как он меня раскусил!..."

— ...Но ведь и среди русских не один только Достоевский, а Христос был, кстати, как известно, другой национальности? А сколько в России мерзавцев, палачей или просто жалких и ничтожных людишек — не по ним же вы судите о России? Почему-то по гениям, а не по тем же, кто выкалывал младенцам глаза в Кишиневе? Почему же еврей воспринимается только жалким ничтожеством или ростовщиком, а что если вы просто проглядели еврейскую гениальность, не знаете Ветхого Завета, иврита, на котором ведь не случайно он написан, царственного духа Израиля, его трагической истории? Я не хочу никого унижать, но согласитесь — не сравнить же с Россией? И вот, если б вы начали с азов, подошли бы к вопросу, как сейчас говорят, корректно, как элементарно добросовестный человек, желающий прикоснуться к другой культуре, начали с языка, на котором говорили пророки, проникли бы в историю этого — с любой точки зрения говорю — поразительного народа... Да обратитесь к истории: татары, пройдя по Руси огнем, затопив ее кровью, ушли — и двести лет держали эту огромную страну в рабстве и повиновении, а какой-нибудь Бар-Гиора, горсть иудеев сражалась и не сдалась великому Риму! Россия везла в Орду дань, а римлянам пришлось провестить плуг по Иерусалиму, истребить народ и тогда только они вздохнули спокойно. И все равно, после этого моря крови, чуть больше полвека спустя, поднялся Бар-Кохба. Вот что значит "народ жестоковыйный", который нельзя приручить или проучить.

— Я думаю, что это всего лишь полемический прием, разговор о татарах и о том, что было в России в те столетия, куда сложней, — вставил Лев Ильич.

— Пусть сложней. Но я намеренно просто все это говорю. Да и не я — давно все известно. Это та простота, которую должны кормиться чувство достоинства и гордость еврея, которая должна пробудить его интерес к его культуре. А то, что вы тут сказали про могилы и про асфальт, это все, простите, слова. Что ж мы будем говорить о могилах, когда живые кричат? Да и про асфальт, сквозь который культура прорастает... Не кажется ли вам, что не еврейское это дело заниматься русской культурой? Не хватит ли и для России, кстати, еврейского участия, хотя бы в революции, а то как бы

и этот счет нам не предъявили, да уж предъявляют, правда пока что всего лишь на жалком антисемитском уровне, а ведь мог бы пойти и всерьез разговор. Едва ли стоит, конечно, преувеличивать еврейское участие в русской революции, но и преуменьшать нельзя — от идеолога Троцкого, расстрелявшего тысячи людей, до исполнителя Юровского, убившего царя. Я знаю, как пошла эта молодежь из местечек в революцию, сколько здесь было чистоты и идеально-го служения — России, человечеству, но и тогда были умные люди, которые предупреждали, что нельзя этого делать: зачем давать антисемитизму и такой козырь? И ведь в любом случае — сначала при успехе революции, потом, когда приходит пора расплачиваться за Архипелаг. Да, наверное, еврейский энтузиазм и энергия, самоотверженность и дарования ускорили революцию — но стоило ли это ускорение крови, пролитой вокруг — и русской, и еврейской? Кому это принесло пользу — России, может быть, евреям? А культура, неужто вы всерьез думаете, что способны хоть что-то сделать в такой великой культуре, как русская, пред которой сами же преклоняетесь. Чем? Своими душевными переливами, комплексом неполноценности, своим перед ней подобострастием или своей изменой, своим рабством, проще говоря? Ну чего добились евреи — я имею в виду русских евреев — крещеные или нет, хлынувшие в двадцатом веке в русскую литературу? Не развенчали ли они всего лишь, как остроумно заметил один замечательный еврейский писатель, миф или вернее сказать предрассудок о поголовной талантливости евреев?..

Отброшенная дверь ударилась о стену. Лев Ильич вскопчил, громыхнув стулом. Володя тоже отпрянул на своем диванчике в недоумении, тут же, впрочем, и разъяснившемся. В дверях стоял приятель Льва Ильича. Лицо его в темноте было не различить, но сомнения не могло быть, он был совершенно и смертельно пьян.

Володя даже всплеснул руками.

— Соломон Менделевич! как вы могли...

Старик твердо шагнул в комнату. Костюм его был в явном беспорядке: из-под распахнутого длиннополого пальто выглядывал криво застегнутый не то жилет, не то сюртук, белела выпущенная поверх штанов рубашка. Он поднял палец, прицеливаясь в Льва Ильича.

— Мешумед! — крикнул он и подвинулся еще ближе к Льву Ильичу. — Скажи нам, сын дщери Сиона, как ты мог восстать против своей старой матери и пойти служить к ее врагам? Разве у нее было мало притеснителей и без того, разве ее мало мучили и пытали, что и ты решил увеличить число ее врагов и поднял против нее, вместе с ними, свой окровавленный нож, чтоб нанести еще один удар, еще одну рану на ее покрытое язвами и рубцами тело! Ты, может быть, забыл, что твой удар будет еще больнее, твоя рана еще глубже? Как ты мог навсегда бросить Ковчег Завета, который мы — евреи

носили через пустыни и смерть? Как ты мог позволить себе такой стыд, надругаться над могилами своих предков, своего деда, который подарил мне талес в своей домашней синагоге на Божедомке, своей матери, которую я — Соломон Шамес нянчил на своих старых руках?..

— Соломон Менделевич! — перебил его Володя. — Как вы-то могли? Он — мой гость, вы взяли у него деньги, чтоб нас угостить, и мало того, что напились, еще его ж и поносите!..

— Деньги! — в бешенстве крикнул старик и, швырнув полами пальто, выхватил из глубокого кармана порожнюю бутылку. — Пусть забирает свою поганую бутылку! — Он взмахнул ею, не удержался и повалился на диванчик. Но тут же вскочил и, размахивая бутылкой, закричал.

— Подивитесь сему небеса, и содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь! Меня, источника воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды! Разве Израиль раб? Что причинил ты себе тем, что оставил Господа Бога в то время, когда Он тебе путеводил? Не уйдешь, нет, накажет тебя твое нечестие и отступничество твое обличит тебя! Ты говоришь — "я не согрешил"? Зачем же ты меняешь путь твой — что не можешь ответить? Запомни, что говорил Господь, что будешь ты так же посрамлен Египтом, как и Ассирией...

Лев Ильич мельком взглянул на Володю и ему показалось, что тот усмехнулся.

— ... Ты как женщина, — кричал старик, — сестры Огола и Оголава, Самария и Иерусалим пристрастился к любовникам из Египта и Ассура — начальникам и градоправителям, пышно одетым и ездившим на конях — они нарушали субботу, расточали себя со всеми подряд — со всеми, кто хотел излить на них свою похоть! Они взяли их наготу, развратили их своей ослиной плотью и похотью жеребьячей. Но не забудь, говорит Господь, что Он обратит на тебя свою ревность — обрежет у тебя нос и уши, возьмет сыновей и дочерей, все у тебя заберет и положит конец твоему распутству. Вот когда ты опомнишься и отвратишь от них твои глаза и твою насытившуюся похоть. Но поздно будет — поздно! Господь предаст тебя в руки тех, кого ты уже возненавидишь. И поступит с тобой жестоко, оставит тебе только распутство твое и срамную наготу твою и твое блудодейство!.. Так говорит Господь и Бог наш! — прокричал старик и снова повалился на диванчик.

Володя ловко приподнял его, встряхнул и повел к двери, а старик сопротивлялся, попытался вырваться и крикнул из коридора уже что-то по-еврейски.

"Нахлебался? — сказал себе Лев Ильич. — Можешь уходить. Куда только?" — и он с тоской посмотрел в черное окно.

Вернулся Володя.

— Я его уложил — у меня тут кладовка есть, он там уж не в первый раз ночует. Хорошо, соседи смиренные, да их и нет почти никогда.

— А чего ж он не уезжает? — спросил Лев Ильич. — Или тоже вербовкой занят? Он — вам, а уж вы — идеологически обрабатываете?

— Зря вы рассердились, — глянул на него с сожалением Володя. — Хотя понятно, не хотел бы я быть на вашем месте.

— Да мы привыкли, — ответил его словами Лев Ильич, — чего церемониться.

— Он отсюда не уедет... — Володя не обратил внимания на его реплику. — Только не так, как вы. Не потому. И могилы у него тут есть, и старые, и новые. Я как-то спросил его, когда мы с ним только встретились, так он, вроде, как на вас кинулся: "Вы признаете родину там, где хорошо живется! Как ты далеко заблудился от Истины, Израиль!.." И пошел. А с ним ничего не сделаешь — видели его? Такого только убить можно.

— Пойду-ка я, — сказал Лев Ильич, — многовато для меня. Да и поздно. Не знаю, правда, куда идти... — растерянно подумал он опять, но неожиданно для себя вслух.

— А вы оставайтесь. Я больше к вам привязываться не буду. С вас, действительно, хватит. Сейчас я притащу раскладушку, чайку попьем, у меня и сыр какой-то есть...

Они лежали в темноте друг против друга. Володя попробовал было покругить приемник, но враждебные голоса с трудом пробивались сквозь оглушительный победный треск нового мира.

— Надоели и они, — сказал он, щелкнув приемником, — благодетели!

Лев Ильич разомлел от горячего чая, ему хорошо было. Вот, так и привыкну, усмешливо подумал он о себе, что ни ночь — на разных кроватях, милое дело! Один раз чайком да раскладушкой, другой — водкой с блинами, третий — дамочкой какой-нибудь побалуют — так и протянем, много ль осталось?..

— Не спите?.. — спросил в темноте Володя. — А в чем-то и вы правы. Какой уж я еврей, если разобраться и оставить надежду вас уговаривать? Думаете, мне легко отсюда уезжать — от этой гнилой весны, этого грязного двора, где мальчишкой гонял в футбол — от языка, на котором только и могу думать, да ведь и могилы — они у нас у всех. Да у меня не только еврейские, и русских наберется... А летом, в жару, когда выползешь из речки на траву, в осоку, глянешь в небо сквозь иву какую-нибудь... А что делать, куда мне деваться — я ничего не могу уже изменить...

"Какой парень!.." — все думал Лев Ильич. Чем-то он похож на тех, кто сто лет назад двинулись не в нигилисты и бездельники, а в деревню потащили свою копеечную правду: Беллинского да Спенсера какого-нибудь, а их там в холодную... Спенсер! Придумать

же такое для русского мужика, когда уже был Гоголь, не говоря про Серафима Саровского... Но они свое все талдычили, как свечки горели, столько лет понадобилось — да каких! — чтоб они стали в чувство приходиться, про речку, про иву вспомнили... А как у него, у этого вон, такое же похмелье т а м наступит? да не у него — у его внуков! Или другие будут внуки, про деда и не вспомнят?..

— Знаете, в чем ваша ошибка? — сказал Лев Ильич. — Вы прошлый раз не дали мне договорить, а я пытался, да и сейчас не знаю еще, смогу ли объяснить то, что чувствую, но чувствую верно, то есть, убежден в своей правоте. Все эти попытки национального решения этой проклятой проблемы — не решение. То есть, сегодня оно, может, и справедливо — нация должна пройти через соблазн такого вот своего государства, самоутверждения, как у всех, наконец, чтоб было. Две тысячи лет об этом мечталось, что ни происходило, не смогло ту мечту заглушить, и в этом, конечно, свидетельство необъяснимой силы и внутренней крепости народа. А потому это движение — кстати, оно во многом русское, русские евреи и внесли в него свою страсть, горение, оголтелость, перед которыми все пасуют. Да вы это лучше меня знаете. Чудо свершилось!.. И самое государство, невероятность нашей сегодняшней эмиграции... Но это только на время, оттяжка, это не решение никаких великих проблем...

Лев Ильич помолчал, прислушиваясь к тишине в квартире, во дворе, во всем мире. Володя не отвечал, но и не спал, слушал.

— Вы, когда говорили о своей гордости еврейством, которую нужно воспитывать — это все верно, но не о том вы говорили. Ну подумай, Бар-Кохба или Эйнштейн, Спиноза, кто там еще? Да у каждого народа есть свои гении, что вы докажете и кому, если будете подсчитывать и раскладывать на количество голов, переводить гениальность в проценты и гордиться тем, что у вас этот процент такой высокий. То есть, национальное чувство все это возбуждает, приниженность и жалоет способно уничтожить, а это для вас сегодня самое важное. То есть, конкретно сегодня, из соображений тактических, даже и не стратегических вовсе: Но есть нечто куда более серьезное, что могло б открыться в таком вашем безумном Соломоне Менделевиче, если б не был он таким вот... Да нет, пусть он такой, он таким и должен быть. Вот в нем и разгадка. Это подороже Эйнштейна и Бар-Кохбы. И знаете почему? — перевел дух Лев Ильич и опять увидел в темноте ту же картину: в розовом мареве толпу оборванных пастухов, бредущих в клубах пыли вслед за своим стадом, и седобородого старца впереди... Господь избрал евреев, сделав Своим народом, совсем не потому, что они мужественнее, умнее, талантливей других. Народ стал носителем мировой религии, потому ему открытой, что Господь знал за ним совсем другую, какую-то уникальную способность сохранить свой внутренний стержень вопреки любой очевидности, любым испытаниям. Лучшее из того, что было в

мире за тысячелетия до Христа — Вавилон, Египет, Греция — все через них прокатилось, все они впитали, ничего не изменив в себе, — поглядите на вашего Соломона! Вот в чём печать избранничества — в том, что всем своим мучительным и невероятным испытанием они, не зная и не понимая этого, потому что иначе ведь все было бы совсем по-другому! — они готовили, как христиане говорят, чистую обитель для воплощения Бога Живаго в человеке, пришедшего не к евреям, хотя Он и родился евреем, — а ко всем людям. И уж, конечно, призвание, то, что Господь их отметил, было великим, но мучительным даром. Это вот прежде всего. Попробуйте представить, что значит пронести через тысячелетия неискаженным Слово Божие? Вся их история, если вы в нее всерьез вдумаетесь — не Бар-Кохба, Бог с ним, у каждого народа есть свой Бар-Кохба — Жанна д'Арк, Салават Юлаев или какой-нибудь Броз Тито. Я нарочно снижаю, чтоб вы поняли, что идея национальная, как бы она ни была значительна, ничего не стоит рядом с таким избранничеством. Потому так мучительна их история, что это народ пророков и тех, кто их побивает камнями — и это ведь одновременно! Вы вслушались в то, что кричал здесь этот старик, чьи проклятья он повторил, адресуя их мне? Все те же проклятья, которые сколько уж тысяч лет, выкрикивались против тех, кто променял Единого Бога на корысть и сладкую жизнь, как бы она ни называлась — женщиной ли, Отечеством — вот где измена Богу. Разве против гоев клекотал гнев пророков, разве к антисемитам они обращались — неужто те достойны того гнева? Они к Израилю обращались, к евреям, не способным услышать и понять своего Бога. Бог заключил с ними Завет, договор, зная эту их духовную напряженность и способность остаться верными союзу, довести его через века и тысячелетия, благословил в них всех. Вот что важно знать и помнить — все племена. Вот где, может быть, самое поразительное пророчество, дошедшее до нас. Не замкнутость в своем национальном эгоизме, не гордость своей особостью, а мучительную роль, уж не знаю как сказать, передатчика, что ль, этой благодати всем. Понимаете, всем! А уж какая была вера — история Авраама, готового принести сына в жертву, одна стоит всего. Вот на чем бы строили свое самосознание!.. И верно, сколько невероятных характеров — не рабских, не приниженных — с Богом боролся Иаков, к Богу приступал, вызывая Его на единоборство, Иов, падая при этом перед Богом же в прахе и пепле. Как же случилось, что этот народ не узнал Бога, к нему пришедшего, почему он ждал Его только на сверкающей колеснице, с карающим мечом против всех, кроме него, хотя и помнил, хранил заповеди о любви к ближнему — это ведь не Христос, а еще Моисей заповедал? Вот в чем трагедия, космическая, мне непостижимая, вот про что гремели пророки, когда клекотал в них гнев против духовного ли, душевного ли, телесного прелюбодеяния изменивших Богу. Вот где страшная тайна —

в чем она? Ладно, пусть его, вашего старика, — в том и уникальность его, если хотите, что он так сохранился, такие и были две тысячи лет назад, им и предсказано было, что не поймут они своей Книги — ну точно как этот ваш Соломон Менделевич! Они ведь две тысячи лет назад и Христа распяли, не услышав своих же пророков, их о Нем предупреждавших! В чем тут дело, почему? С одной стороны, хранить тысячи лет Слово Божие, а с другой — ухитриться его не понять, не услышать, когда так все ясно!.. Ну ладно уж ваш старик — он реликт какой-то, но современные люди, такие как вы, не застеневшие, с широтой и непредвзятостью взгляда, почему вы не можете открытыми глазами прочесть свою великую, на еврейском языке написанную Книгу, не видите там так ясно начертанный путь, проложенный как тропа под звездами?! А там уж поедете ли вы на Ближний Восток или останетесь тут на вашем дворе, коль на этом уровне думать — велика ли разница? Ну считаете себя евреем — поезжайте. Но с чем поедете — вот что важно. Чтоб вооружиться против всего мира, доказать свое превосходство, есть пампушки с черной икрой, которую Россия повезет вам за доллары? В этом видится вам миссия избранного народа?

— А в чем тогда? — спросил Володя. — Умирать под ножом или в печи?

— Нет такой альтернативы, — ответил Лев Ильич. — Обетования Господни непреложны. А умирать нам всем все равно придется.

— Опять всем! то есть вам, — а вы не про себя, про других думайте, которые есть хотят и чтоб их за бороду в грязь не пихали.

— Да, уж тут не договориться, — Лев Ильич почувствовал полную свою несостоятельность, невозможно тут было никому ничего объяснить. — Опять про бороду да про поесть. Я вам лучше одну библейскую историю расскажу, может, не знаете, а когда-то задумаетесь, хоть и окажетесь в Иерусалиме, чем бы надо гордиться — не талантами и Бар-Кохбой. Меня она еще давно потрясла, когда о Боге и не думал. Это из Книги Царств, про Давида. Гений был, между прочим, гениальный поэт-псалмопевец, непобедимый воин, первый великий еврейский царь, которому пророк — его современник — прямо в лицо повторил услышанные им слова Бога о том, что он — Давид и его царство — устоит навеки. И вот, представьте, такое было человеку сказано, а он ведь был человек, хоть и гениальный... Гулял он как-то по кровле своего дворца, прохлаждался ли, загорал — уж не знаю. И увидел неподалеку купающуюся в собственном дворе красавицу. И воспылал к ней старстью. И привели Вирсавию к нему, и она спала с ним, а ее мужа — царского гвардейца хетта Урию, Давид отправил в сражение, да в такое, чтоб он живым не вернулся. Он и не вернулся. Обычное царское дело, да еще у такого царя, которому навеки обещан престол. Но этот пророк — Нафан — явился к Давиду и предложил ему притчу о том, как у одного богача было большое стадо, а у

бедняка одна овца, и приказал богач, когда к нему пришел гость-странник, зарезать эту единственную овцу бедняка, чтоб угостить гостя. "Смерти достоин такой человек!" — разгневался Давид. "Ты этот человек! — сказал Нафан. — Так говорит Ягве, Бог Израиля. Он сделал тебя царем и судьей над Израилем, а ты пренебрег Его словами и сделал злое пред очами Его..." Вот где нравственное величие, равенство всех перед Богом, невозможность преступить Завет.

— Красиво, ничего не скажешь, — подал голос Володя. — Только зачем вы на такую историю, ну как бы это помягче сказать?.. Ну пусть — красивую, зачем ей вешать непосильную нагрузку? Вы мне предлагали читать это современными глазами — ну я и читаю: для чего эта милая дама так уж обнажилась перед чужими очами, что, не зная разве, кто проживает с ней по соседству, что с крыши царской избушки открывается обзор? ну хоть купальником бы прикрылась, если у нее, конечно, иных соображений не было? Да и гений наш, поэт — что тут хитрого, психологически так это все ясно и мораль очевидна. Зачем уж сегодня мифы создавать, разве такой миф защитит нас от мира, давно распрощавшегося с теми мифами? По мне, Бар-Кохба надежнее...

— Да не психологизм! — разволновался Лев Ильич и приподнялся на заскрипевшей раскладушке. — Я про то и толкую вам, чтобы вы свою Книгу читать научились, коль уж язык для чего-то взяли изучать! Какой психологизм, когда на тысячах страниц Писания, где рассказывается о самом невероятном из того, что только может произойти с человеком — да нет сюжета, которого бы там не было! — вы не найдете и строки психологического объяснения поступка или состояния. Какой психологизм или морализм, когда Господь объясняет человеку смысл человеческого существования, или он вам притчи рассказывает, чтоб мораль, что ли, вывести?.. Вы хоть читали Евангелие когда-нибудь?

— Читал. Да не до того мне, я тоже сколько уже вам толкую, чем я занимаюсь и об чем у меня душа болит. Хорошо, не психологизм — мистика, только зачем, вдохновившись этим, в церковь-то идти?

— Да не нужно в церковь, никто вас туда не тащит! Вы хоть в синагогу загляните, как Соломон Менделевич, если уж национальным духом хотите дышать. Да и не хочу я с вами ссориться. Я так даже счастлив, что вас увидел. Есть и среди таких оголтелых евреев, значит, люди, а не наша интеллигентская слизь, которая все на свете давно распродала: и еврейство, и бережок с осокой, а уж про церковь несчастную и говорить нечего... А может, вы там, в святых местах и Голос услышите. Кто ж знает тот Промысел?

— Я тоже рад, — сказал Володя. — Я ведь тоже таких, как вы, не видел, никогда больше, наверное, и не встретимся. Никогда... Только знаете, в чем для вас опасность? Один еврейский писатель в на-

чале еще века в России повторил формулу, она где-то в Европе родилась: "Дед ассимилятор, отец крещеный, сын антисемит". Вот опасность в чем.

— У меня нет сына, — сказал Лев Ильич и закрыл глаза. — У меня дочь.

— Ну а дочь замуж за антисемита как раз и выскочит.

— Нет, — сказал Лев Ильич, — она моя, меня любит. Ничего у него не получится...

И засыпая, уже во сне, испугался, даже содрогнулся от липкого, взявшего за горло страха.

7

"Упорство" и "непрерывность", — вспомнил Лев Ильич, подходя к дому, кажется в том и была и д е я одного из героев Достоевского. Правда, тот хотел через это всего лишь стать Ротшильдом, а ему — Льву Ильичу нужно вернуть любовь, которую сам же и поразстрил. Одно дело собирать камни, а другое — разбрасывать... Вот и пришла его пора собирать. А как там дальше, что еще: время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять, время разрушать и время строить... Значит, теперь — искать и строить, а с объятиями как — обнимать или уклоняться? Да с ним ладно, с ним-то все нормально, а вот здесь, в доме — у Любы, у Нади... А что тебе — с собой разобрался? Может, у них плохо оттого, что у тебя не все ладно, а может, у них хорошо все и без тебя? А вот как у тебя, нормально, говоришь?

Лев Ильич поежился. Он поднимался уже по лестнице, неохота было в лифт забираться: может, оттянуть думал или, попросту говоря, сробел вдруг Лев Ильич? Одно дело иметь "идею", прикидывать ее применение к случаю конкретному или общему, спорить и отстаивать ее право на жизнь и жизненность ее права, но все это вдали от самой точки ее приложения, а другое — встретиться лицом к лицу с этой самой "точкой". А если к тому же опыт есть? Небольшой, правда, всего лишь вторая неделя идет, а сколько уж раз его приложили за эту неделю?.. Ну а как же тогда насчет "упорства" и "непрерывности"? Может, лучше ту же "идею", да на другое кинуть, на то, на что она и была придумана — попробуем-ка стать Ротшильдом? Милое дело, между прочим: денег полный карман, можешь заниматься благотворительностью, можешь все это Любе и отдать... Купить, стало быть, любовь за деньги. Но тогда ты, во-первых, уже не будешь Ротшильдом — какой же ты Ротшильд, когда все деньги отдал, Ротшильдом станет она — Люба, причем безо всякой на то "идеи": позвонят,

откроет дверь, а там перевод — да нет, какой перевод — посылка, ящик денег! От Ротшильда, который в связи с пересылкой денег перестал быть Ротшильдом, а стал просто Львом Ильичем...

— Лева, — сказал Лев Ильич вслух, — выйди из машины.

Он уже поднял руку к звонку, но вдруг передумал, полез за ключом.

"А что это со мной — маразм такой, что ли, о чем я?" Деньги, кстати, у него кончились, сегодня он перехватил до зарплаты десятку у Тани, видел ее мельком, да еще у него была встреча в редакции — не из лучших.

"Отписался?" — спросил замредактора, заглянув в его комнату. "Нет", — сказал Лев Ильич. Он пришел сегодня с утра — деваться ему было некуда, и так проспал, не видел, когда Володя ушел — к шести часам ему надо было в его булочную. Лев Ильич оделся, убрал раскладушку, сполоснул лицо и настучал на чистом листе, вставленном в машинку: "До встречи там — в горнем Иерусалиме!" Прошел тихонько мимо кладовки, где кряхтел и бормотал что-то, явно по-еврейски, старик — вот кого он не хотел бы встретить: ни сейчас, ни там — в горнем Иерусалиме. "Там тоже, значит, кого-то хочешь встретить, а кого-то нет?.." Теперь ему неловко стало за свою записку: парню тяжело, уезжает неведомо куда, неизвестно зачем... "А кто его тянет?" — вдруг обозлился Лев Ильич. Вот и будем всех жалеть — и тех, кто бежит отсюда, себя спасает, и тех, кто кого-то там собирает, защищает, и тех, наконец, кто нам оттуда наобещал помогать! Всех их жалко, потому как — ни себя от себя не спасешь, ни тамошним аборигенам не поможешь, дай им Бог под конец хоть жизни разобраться, что там и почему; а уж касаясь помощи оттуда нам, коль отсюда забоялись! — ну не смешно ли? Хотя оттуда, разумеется, не так страшно, можно и помочь, совершить свой подвиг, но ведь недосуг — хлопот сколько! Надо русскую культуру создавать — за тем и ехали! — доказывать явные преимущества третьей эмиграции перед второй и первой, да еще была классическая — из девятнадцатого века! Да и как-то требуется там размещать тех, кто олицетворяет "духовный исход" из России... Духовный-то он, конечно, духовный, но ведь пить-есть надо, да и жить где-то и какой-то повыше уровень должен быть по сравнению с Россией, иначе "духовность" оттуда и не двинется, не потечет... "А как же она, извиняюсь, потечет — снизу вверх, что ли?.." — усмехнулся он. Да ведь и тут, в этой совдепии, уровень той духовности — да не духовный ее уровень, жизненный! — не так уж был, словно бы, низок... "Чего им еще надо было? — недоумевает наш обыватель, прокручивая в уме причины отъезда иных из деятелей нашей культуры, — и квартира, и дача, и машина..." И верно — чего?.. Разве там мало хлопот, а какие еще специфические, тамошние, нам, по нашей дикости, неведомые — куда уж оставшимся помогать! "Вы нам своим существованием помогаете — за это спа-

сибо!..” Так что ж их всех жалеть — и за глупость, и за трусость, и за эгоизм? То есть, так заповедано — всех жалеть, да куды мне, жалелки не хватит. Может, Володя этот прав, хоть он и про другое, нас-то кто пожалеет — не американцы с англичанами, не ООН — и уж не эмиграция, прости Господи, третья! Разве что штаны-джинсы подошлют, вон и Валерий ему — Льву Ильичу — обещал прислать. Наденем-ка на сто миллионов русских мужиков джинсы — вот и решение всех проблем: и демократия сразу будет, и колхозы отменят, и лагеря ликвидируют. Ну какие колхозы, когда все мужики в джинсах, а ежели еще на наших баб те джинсы натянуть! И лагеря сами ликвидируются, и эки и вохра — все в джинсах! А уж демократия несомненно установится — если все в них вырядятся, советская власть сразу развалится...

“Чего это я сегодня веселюсь?” — подумал Лев Ильич. Да плакать надоело: “на погосте живучи — всех не оплачешь” — так вот в “Архипелаге” сказано.

Тут-то вот замредактор и сунулся в дверь с этим своим: “Отписался?” “А чего ты так торопишься?” — спросил Лев Ильич. Мог бы, конечно, и не хамить — тот прав, за неделю надо б написать, во всяком случае, извиниться, сослаться на болезнь, то-се; следовало бы так, конечно, деньги за что-то платят. Но не понравился ему этот Боря Крон — рожа не понравилась. Она ему, правда, никогда не нравилась, хотя нет, спервоначалу они даже дружить взялись. Крон был постарше года на три-на четыре, на войне побывал, намекал, что в контрразведке работал, пока наконец не рассказал... А чего намекать, долго не понимал Лев Ильич, теперь-то не работает? Да и работал бы, ну и валяй — лови! А потом однажды подумал: а куда они делись, контрразведка — тыщи людей да начальники, а под ними еще десятки тысяч, а тут еще Хрущев надумал, лагеря позакрывал, другая контрразведка освободилась, вовнутрь обращенная — где они, чем кормятся? Хорошо, кому пенсия выслужилась, но ведь тот достигнутый уровень той пенсией не поддержишь? Сколько ж их осталось без дела, а уж сколько нашли работу в других жанрах? А не по совместительству ли? Правда, все это Льва Ильича не слишком интересовало, так, к слову да разговору, у него страху почти не было, сам он совсем другим занимался: книги читал и с бабами все не мог разобраться. “И как это все сейчас ко мне возвращается?” — и за баб расплата, а книги, он думал, давно позабыл, но все откладывалось, копилось, разве он думал когда всерьез о евреях, о еврействе, и Библию читал, вроде как Тита Ливия или Плутарха, а вон как вспомнилась, уж неспроста это... “Смотри, остановил он себя, не загордись опять!..” Что тут хитрого — жизнь длинная была, чуть не полвека, ясно, всякого поднабрался. Правда, в связи с Кроном он никогда раньше о евреях не задумывался. “А почему?” — спросил он себя. Не нравится такая правда? А может, липкая пакость в нем, она

и объясняется его еврейством? "Ну вот еще, сказал себе Лев Ильич, так недолго и антисемитом заделаться..."

"Я бы вам, Гольцев, посоветовал не тянуть с материалом", — сказал Крон тихим голосом. "Вы? — удивился Лев Ильич. — Мне бы посоветовали? А что за совет такой? А ежели я твоим советом не воспользуюсь?.." "Вы меня много лет знаете, — так же тихо сказал Крон, и глаза у него стали нехорошими. — Я слов на ветер не бросаю." "А не пошел бы ты..." — всерьез обозлился Лев Ильич. Оделся да и хлопнул редакционной дверью, благо деньги успел взять у Тани.

"А чего ты так распетушился?" — одернул сам себя Лев Ильич, очутившись уже на улице. Не боишься, что выгонят? А за что выгонять — что я ему, задницу, что ли, должен лизать? Ага, значит, не потому, что не боишься, а силу свою чувствуешь, прочность? Тут есть ведь разница: готов к тому, что тебя прогонят, или убежден в безнаказанности? Да нет, тут все проще было — очень уж ему на Крона противно было смотреть. "В смысле носа!" — ухмыльнулся Лев Ильич.

Он вытащил ключ и открыл дверь.

Тишина была. "Нет еще Нади?" — мелькнуло у него. Но теперь он повнимательней был, да чего там внимательней — плескался кто-то, фыркал в ванной.

Он разделся, снова портфель сунул под вешалку. "Вот бы и мне помыться, носки хоть сменить..."

Он двинулся на кухню и остолбенел: дверь ванной открылась и выглянула физиономия в мыльной пене, как в маске, рубашка на жирной груди распахнута, свободненько так, по-домашнему...

— Ты чего здесь? — только и мог спросить Лев Ильич. ☛

— Я-то?.. А ежели тебе такой вопрос задать?

Лев Ильич не нашелся, двинулся на кухню и присел к столу. "Упорство" и "непрерывность"? — усмехнулся он. — Или еще "смирение" — это подороже тут будет. Как все оказывается просто, а он-то напридумывал и целые концепции разворачивал — до ада и Адама включительно. А тут вот оно что! "А уж не моей ли кисточкой и бритвой?" А чьей же, как не твоей...

Иван вышел на кухню, чисто выбритый, влажные волосы зачесал, застегнулся, галстук повязал свободно, шипром от него разило. Лев Ильич сразу ощутил свои грязные носки, к тому ж ботинки прохудились, там похлопывало. В парикмахерскую, правда, забежал утром, но какая там парикмахерская, когда десятый день по чужим постелям!..

Иван спокойненько прошествовал к плите, зажег газ, поставил чайник, подумал и шагнул к столу, уселся против Льва Ильича, распечатал пачку сигарет длинным желтым ногтем на мизинце. Руки у него были большие, белые, спокойные.

Лев Ильич вытащил свою мятую пачку, пальцы у него подрагивали. "Плохо дело", — отметил он.

— Ну что скажешь? — начал Иван.

— Ага, подумал Лев Ильич, первый удар его, стало быть, и инициатива его, как в боксе. Да нет, какой бокс, это в драке первый удар может все решить, а если в шахматы — ход черных дает название всей партии...”

— Я вот сейчас подумал, — сказал он, — мы с тобой шестнадцать лет знакомы, а ни разу не поговорили. Может, наконец, тот случай и выдался?

— А я всегда был готов — хоть шестнадцать лет назад, хоть сейчас.

— Ага, принял мою игру, повторил ход — разменялись...” Лев Ильич внимательно посмотрел на Ивана — он сидел прямо против света, хорошо было видно: и светлые, спокойные глаза, и твердое лицо с сильным подбородком, и крупные, плотно сжатые губы. “На пару лет, что ль, меня постарше?” А ведь хорошее какое лицо, волевое, — подумал он. — И никакой он не жирный — чуть располнел: ни спорта, ни физической работы, а мужик здоровый. Может, тут и чудовища никакого нет, а может, это я себя всегда в нем видел? Ну да, сейчас, как все эти шестнадцать лет, все чепухой и разъяснится, — мелькнуло у него. “А мне что от этого?..” И такой свист в ушах раздался — давненько он на тех качелях не развлекался.

— Ты что, живешь здесь? — спросил Лев Ильич.

Иван длинно посмотрел на него, затушил сигарету и поднялся к закипевшему чайнику.

— Чай будешь пить?

— Завари покрепче, — откинулся к стене Лев Ильич и глаза закрыл: стыдно ему стало. — Знобит меня, как бы опять не заболеть.

— Ну ты и заваривай — лучше меня знаешь, где-чего.

Лев Ильич перевел дух и открыл глаза. Иван опять сидел против него, Лев Ильич перехватил его взгляд — какое-то напряжение ему увиделось: беспокойство, тревога? А может, радость?

— Знаешь, Иван, — повторил свой ход Лев Ильич, только помягче это у него теперь получилось, — мы вдвоем, никого нет, давай первый раз поговорим, только чтоб все, чтоб ничего на душе не осталось...

Иван молчал.

— Ты знаешь, я за последние дни понял, что человек так внутренне и до конца испорчен, извращен, ложь или притворство настолько глубоко сидят в нем, что он и себе никогда не скажет правды, не то чтоб другому, от которого так или иначе, но зависит.

— Ты про какого человека говоришь? — поднял на него глаза Иван, они опять затянулись дымкой, вот, всегда такими были — ничего не прочтешь.

— Вообще про человека.

— А... — махнул рукой Иван.

— Нет, вообще-то, это само собой, — заспешил Лев Ильич, — но я, конечно, конкретно себя имею в виду. Я это точно понял, потому что в себя заглянул — первый раз без страха. Так ведь боишься самому себе сказать правду, а тем более другому.

— Ну и к чему ты это? Нашел бы священника — зачем ты у меня исповедуешься?

— Я к тому, что давай попробуем это в себе преодолеть — и поверх сидящей в нас, по тем или иным соображениям, застарелой лжи, которой уж шестнадцать лет возрасту, — скажем правду.

Иван опять промолчал.

Лев Ильич глубоко затынулся, глотнул дыма и голова у него легонько так закружилась.

— Все эти шестнадцать лет нашей с тобой дружбы я тебя ненавидел, да так, что порой в глазах темнело, когда встречал. Но и жить без тебя не мог. Ты ж помнишь, это ведь я тебя зазывал, уговаривал, придумывал поездки. Помнишь, одну ночь, мы в деревне жили, возле Тарусы — шашлык жарили в лесу, я еще у костра сидел, а вы с Любой ушли в деревню за одеялами, чтоб у костра ночевать? И не было вас часа два, наверное, а там — рядом. У хозяйки еще мальчонка заболел, вы его в больницу возили. Помнишь? Вы пришли, а я стоял за деревом. У меня тогда топор был в руках — ты помнишь, Иван?

— Зачем ты это все говоришь? — у Ивана в лице ничего не двинулось, только глаза вдруг прояснились искренним недоумением.

— Мы, видно, разоидемся с Любой, — сказал Лев Ильич, — или уже разошлись. Я хочу понять, ты что, здесь жить собираешься?..

— А ты подумал когда-нибудь — ну, когда "зазывал" или "уговаривал", когда за деревом стоял — время-то было, два часа, говоришь, размышлял, пока за топор схватился? Подумал, зачем я поддавался на твои зазывания, зачем давал себя уговорить — из любви к тебе, чтоб тебе приятное сделать?

— Мне это в голову не приходило.

— Ну да, тебе не до того было. Сначала надо было придумать, уговорить, а потом ненависть свою накормить досыта...

Теперь Лев Ильич удивился: "Вот ты, оказывается, какой?"

— А почему ты о том не подумал, что и у меня в глазах темнеет от одного твоего вида, от того, что твоя жалкая хитрость за версту видна — и вся твоя напускная веселость, лживое гостеприимство... Ты что, меня всерьез за дурака принимал?

— Зачем же ты... в таком случае?

— Зачем?.. Ты ведь, когда на тебя, как сам же говоришь, в эти дни нашло такое просветление, что всю свою пакость увидел, да не свою, не верю я тебе, не зря проговорился — вообще про человека опять рассуждаешь, да и не "вообще" — про меня, небось, ну про

Любу, кто там у тебя еще есть? Ты всего лишь свою ложь на других раскладываешь, говоришь, что сам лжешь, для того, чтоб другого обвинить и чтоб одновременно вышло это поинтеллигентней. Как же другому человеку такое сказать...

— Ну а ты это... к чему?

— Непонятно? Мыслитель... Ты что, вон ребята твои говорят, в церковь теперь ходишь, крестился, что ль?

— Какие ребята?

— Я тебя спрашиваю.

— Крестился.

— Значит, правда.

— Ну правда, дальше что?

— А что с Любой, с Надей из-за этого будет — ты подумал, ты вообще про них думаешь когда-то?

— Я не пойму, а они тут при чем?

— Да при том, что тебя завтра с работы попрут, а послезавтра в сумасшедший дом запрячут! — Иван даже покраснел от злости.

— Ну а ты-то что забеспокоился — запрячут и хорошо. Место освободил.

— Сволочь ты, между прочим. Я всегда знал, что ты сволочь, но думал, Люба меня уговаривала, что это все детство в тебе — перестарок такой. А теперь вижу — никакого не детство.

Иван встал, пошарил по полкам, нашел чай, заварил и налил себе.

Лев Ильич тоже встал и налил в чашку.

— Ты очень благородно реагируешь, — сказал он. — И вообще на большой высоте. А я — сволочь. Только ты мне все время загадки задаешь, а я надеялся, что мы, наконец, темнить перестанем. Я с тобой откровенно, а ты...

— А в чем твоя откровенность — что ты мне в любви признался? Так я без того про это знаю. Зачем я к тебе шестнадцать лет таскался? Да не к тебе я таскался, я тебя в упор все эти годы не видел и за человека не считал. Хватит с тебя такой откровенности?

— Это уж ближе к делу.

— Любит она тебя, а больше и нет тут ничего. А не было б того, я б с тобой еще давно рассчитался... — У Ивана из рук выскользнула чашка, кипяток плеснул по столу и, видно, ему на колени. Он матюгнулся, вскочил и в ярости крикнул, — ты ж погубил бабу, и такую бабу! И девчонку. Вот девчонку я тебе никогда не прошу!

"Ого! — подумал Лев Ильич, — а я любовался на его спокойные руки — опять, стало быть, осечка? И почему он так нервничает, а я так спокоен, может, он прав, во всем прав, а я, верно, просто сволочь?"

— Ну хорошо, — сказал он, — про Любу не будем говорить, такой откровенности у меня нет права требовать. Да мне такая отк-

венность и не нужна. Теперь не нужна. А вот о девчонке какая у тебя печаль-забота? Ты-то тут при чем?

Иван потух на глазах, съежился, сломался и сел к столу — прямо на мокрую табуретку.

— Хватит, — сказал он, — давай это прекратим. Да и не к чему. Наговорились.

— Нет уж постой! — Льву Ильичу отчего-то жарко стало, он вдруг вспомнил одну поразительную историю, никогда она ему до того не вспоминалась — а к чему бы? Наде тогда лет пять, что ли, было, у нее все живот болел, пришел врач и срочно вызвал машину — аппендицит. А у него — Льва Ильича, в тот вечер "встреча друзей" — "традиционный сбор" в университете. Они с Любой отвезли Надю, он и пошел на вечер. Пьянка была, как всегда, ночью вернулся, а утром вскинулся — что там у девочки? Ничего, Люба говорит, там Иван, он звонил уже поздно, после двенадцати, что еще ничего неизвестно. Лев Ильич бросился в больницу — еще не рассвело, темно, зима. И вот, вспомнил: в справочной, у окошка, как вошел с улицы, увидел Ивана — тот спал, сидел на стуле и спал, а шапка валялась у ног... — Погоди, — повторил Лев Ильич, — давай поговорим, второго такого разговора у нас не будет. Я его тоже не выдержу, да и верно, хватит. Какое тебе дело до Нади?

— Отстань от меня, сам выясняй с Любой свои отношения, а с меня, говорю, хватит.

— Нет, подожди, — начал распялаться Лев Ильич, — ты мне ответь... А впрочем, как знаете. Сниму квартиру, заберу девчонку — она-то уйдет со мной, а вы тут...

— С тобой?! — вскричал Иван. Он встал, вцепился в край стола. — Ты девчонку не трожь... Она моя... Надя.

— Как твоя? — почему-то шепотом спросил Лев Ильич и в глазах у него потемнело. — Твоя?

— Вот так. И не трожь ее.

— Ты что говоришь? — у него голос сорвался. — Ты о чем, Ваня?

— О том самом, — Иван теперь смотрел ему прямо в глаза и лицо у него горело, он выпрямился, будто какую тяжесть сбросил, наконец, с плеч. — Ну и хватит. Надоело мне.

— Ты... шутишь? Или так на меня обозлился? Ты прости меня, я ж ничего тебе никогда... Зачем ты так, Ваня...

— Прости и ты меня, Лева, только сам же меня вынудил. Не твоя она — Надя.

— Не моя?

— Ты помнишь подвал в больнице — когда я тебя впервые увидел? Ты думал, я не видел тебя, а только ты нас?... Да, в родильном доме...

— Врешь, — очнулся Лев Ильич. — Врешь ты все, неправда это.

Она моя.

— Да уж правда, Лева.

— А как... как ты докажешь?

— Математически. У нас у всех, у троих, одна группа — первая.

А у тебя вторая. Я знаю.

— Какая... группа?

— Крови, — сказал Иван. — Давай, хватит об этом.

Лев Ильич попытался зачем-то встать, но ноги его не держали.

И тут звонок ударил — он все время его ждал, знал, что вот-вот.

Ваня пошел открывать.

"Мама дома?.. Ой, дядя Ванечка, ты себе и представить не можешь, какой дурак этот твой 'претендент'!" — "Какой 'претендент'?".."

Лев Ильич со страхом ждал, что они сейчас войдут, но отсюда, из кухни, не было другого выхода. "Кабы в окно..." — мелькнуло у него.

"...Ну тот самый пижон из МИМО, — тараторила Надя, — сам же мне жениха приискал? Понимаешь, как он сказал, что будет дипломатом и поедет в Европу, Америку, я ему говорю: ой, говорю, давай фактивно поженимся, мне нужно за границу на недельку съездить, своего друга повидать. "А где он?" — спрашивает. А я говорю: "В Израиле". Ты что, говорит, я с еврейскими изменниками родины не хочу знаться, да меня и из дипломатов попрут. И тебе, говорит, советую, забудь про таких. "А с нееврейскими изменниками как?" — это я спрашиваю. А я, говорю, дружбе не изменяю. И с карьеристами знаться не хочу". "Ой, Надя, Надя, — вздохнул Иван, — и чего ты все несешь, уши вянут". "А что, неправда, что ли? Если ему главное карьера..."

— Ой, папа! Папа приехал! Из командировки!

— Нет, — сказал Лев Ильич, — я еще в командировке... То есть, нет, но мне нужно...

— Куда нужно? — Надя впиалась в него глазами, потом глянула на Ивана. — Что это у вас?

Иван взял тряпку и подтирал пол у стола. Надя забрала у него из рук тряпку.

— Что тут случилось?

— Да ничего не случилось, что ты пристала! — Иван в сердцах громыхнул чайником.

Лев Ильич пошел из кухни, надел пальто и взял портфель.

— Папа! — крикнула Надя.

Он был уже на площадке.

— Пап! — она вцепилась в его пальто. — Ты куда? Я не пушу тебя. Никуда не пушу.

— Мне, правда, нужно, Наденька. Я и так опоздал. Заговорились. — Он пытался оторвать ее руки.

Они прошли марш лестницы и остановились у окна.

— Я знаю, — зашептала Надя, — вы с мамой ссоритесь. Вы разойдетесь, да? Разойдетесь?

— Не знаю. Может быть. Но мы еще поговорим с тобой. Обязательно поговорим.

Он оторвался от нее и быстро, через ступеньку побежал вниз.

— Папа! — крикнула Надя, свесившись через перила. — Мне очень нужно с тобой поговорить! Прямо сегодня. Или завтра. Только обязательно!..

— Хорошо, — сказал Лев Ильич, гулко так было на лестнице. — Поговорим.

Он уже был внизу, и тут, открывая дверь в подъезде, вдруг замер.

— Но почему вторая? Это ведь у нее — у Любы вторая, а у меня-то всегда была первая группа!..”

— Господи, — сказал он вслух, — какой ужас...

Сзади хлопнула, закрываясь, дверь. Он опять был на улице.

8

Он шел, никуда не сворачивая, шел и шел.

— Если вот так идти все прямо, — подумалось ему, — только чтоб ни разу и никуда не свернуть...” И он уцепился за эту мысль и попытался развернуть перед собой карту города, в котором жил. И представил себя, как бы в карьере, и увидел обнажившиеся пласты ушедших вглубь, никогда уж не способных вернуться на поверхность пород — слежавшихся, уплотнившихся под тем, что тысячелетиями их давило. А здесь не тысячелетия, не века — десятилетия, вон, и его память услужливо подсказывает, выбрасывает ему облик улиц, которыми он сейчас шел — в пору его юности, детства, а что-то он еще читал и сейчас пытался вспомнить, что было тут до него и еще раньше того. И почему-то прежнее показалось ему куда ближе, душевней, будто раньше он мог бы звякнуть в колокольчик у ворот и ему б кинулись навстречу, провели б в дом, о нем доложили... ”Ну так преувеличивать едва ли стоит, куда уж со свиным рылом да в калашный ряд!..” Ну пусть — пусть не так: не отворили бы ворот, но какое-то необъяснимое душевное волнение или боль ощутил Лев Ильич, думая об этом городе — о том, каким он был. А тут — мертвые, бешеные улицы, бессмысленно разрезавшие живое тело города, брызжущие грязью машины, дико летящие прямо сквозь будочки и особняки, и не приостановившись, проскакивающие кладбища — прямо по могилам, не вздрагивающие перед храмами и монастырями... ”Сколько их тут было-то,

Господи!..” Зато легко идти прямо, — усмехнулся он, — попробовал бы раньше, так бы и закружился в тех улочках да тупиках. А так шлепай себе и шлепай... Так куда ж меня вынесет, если прямо? И он представил себе одну улицу, другую, двинулся в третью, переходящую прямо в шоссе, а по обеим его сторонам, как бы и не сменяя друг друга, возвышались — даже и не дома! — темная, мертвая стена, и глаза у нее вспыхивали мертво, казенно, не тем огоньком, что светит в пути, не дает заблудиться, где ждут и всегда рады. Страшное механическое чудовище цепью держало его, позволяя до поры так вот шагать между домами, обманывая, якобы самостоятельностью и свободой передвижения, оно твердо знало о том, что далеко он не уйдет, что ему и податься некуда. И так — версты и версты. И прямая эта дорога, не заметишь как закружит тебя, швырнет обратно, и ты так вот будешь топтаться на одном месте, глядя на вспыхивающие, гаснущие и снова моргающие желтые, механические, слепые и всевидящие глаза...

Такое отчаяние затопило его, безнадежность, он было усмехнулся, представив со стороны свою нелепую фигуру с портфелем, в чмокающих ботинках, который уж день шагающую по этим улицам, но что-то и сил не было усмехаться. И тут далеко-далеко услышал он, почувствовал, узнал начинающийся в нем хохот, знакомый визг, оставивший было его в последние дни запах сырости и тления. Они прошли стороной и исчезли тут же в нем, но Лев Ильич содрогнулся, все вспомнив. И тут что-то хихикнуло в нем — нет, совсем не так, как бывало всегда, не юмор, не ирония над собой, так всегда его встряхивавшая — в себя приводили и на место ставили, а чья-то злорадная усмешка услышалась ему, выскочила откуда-то, хохотнула в душе: “За что?.. А... занюнил! Не нравится?..” И уж это не он, твердо он это знал, что не он так себя спрашивал, не было у него сейчас сил на такую жестокость, хоть и верно все было. Но безо всякого сочувствия, безо всякого стремления помочь его спрашивали, со злорадством, издеваясь, подталкивали к яме, куда его несло — тут уж он это почувствовал, узнал — вон куда заведет его та прямая дорога!..

— Можно вас на минутку, гражданин?..

Лев Ильич дико посмотрел на стоявшего перед ним человека — невысокого, в солдатской шапке без звездочки, с опущенными ушами, в старенькой телогрейке, давно небритого и пьяноватого.

— Позвольте, я вас спрошу — а там путь свободный, не опоздаете...

Лев Ильич жадно всматривался в него. Они стояли возле двора, свет из залитой огнями витрины магазина освещал эту тоже ненужную здесь, лишнюю фигуру.

— У меня дело такое... Вчера вернулся... Четыре года — будь, будь. А домой — да не могу я домой! Не примут — зачем я им сдал-

ся? Найдется у вас... хоть рублик...

Лев Ильич все смотрел на него, не отрываясь.

— Ну нет, рубль много, конечно, перебрал. Копеек тридцать, десять... или сигаретку?..

Лев Ильич полез в карман, вытащил бумажки, все, что были у него: он разменял Танину десятку — пачку сигарет только и успел себе купить.

— Возьми... — но тут же устыдился, полез в другой карман, выгреб всю мелочь, которая оставалась. — Возьми, возьми, худо тебе, брат?

Они отошли под арку, от света, от бегущей, мчащейся мимо улицы.

— Вон как! — сорвался мужичонка. — Вот не думал, что и здесь люди есть. Ты... я второй день тут — ну пропил что было. Там волки, а тут — почище. Там не боялся, а тут — боюсь! Ну даже не знаю, чего тебе сказать...

— Ладно. О чем ты? Так вот я вернусь — может, тебя встречу.

— Ты что! — вскричал мужичонка. — Там!.. Да не дай тебе того попробовать...

— Да ладно, — спешил, летел Лев Ильич, — да ладно, от сумы да от...

— Ты брось, ты не думай — эдак и говорить нельзя! Я, может, чудом и живой еще — волки там, не люди.

— Ты знаешь, — все торопился Лев Ильич, — ты ступай домой, я задумал, поверил, тебя ждут дома. Ты мне поверь. Ты в магазин зайди, хочешь, вместе пойдем? Ты купи чего — дети-то у тебя есть?

— Дети? Да какие там дети. Были дети. Баба уж третий год кобеля себе нашла.

— Ну а мать — мать-то жива? — жадно спрашивал Лев Ильич.

— Мать больная, куда ей на меня глядеть...

— Вот-вот, ты увидишь! Давай зайдем, ей платок купим. Эх, денег у меня больше нет!

— Знаешь что, — сказал мужичонка, — возьми-ка ты свои деньги. А мне рублевочку оставь, — он разжал ладонь и стал разбирать скомканные бумажки. — Ты сам, я гляжу, плохой. Самому надо...

— Ты что? — вскинулся Лев Ильич и бросился от него по улице прямо в толпу. — Спасибо тебе! — крикнул он, оборотясь на темную фигуру под аркой, шагнул на мостовую и двинулся через дорогу, не глядя на мчавшиеся мимо машины: "А! Не заденут!" — мелькнуло у него. Он знал теперь, куда идти.

"Вот случай! — кричало в нем. — Знак!.." Рука, протянутая тебе, когда земля из-под ног уходит. Не забывай, помни, всегда знай, что твоя беда — три копейки цена, всегда есть люди, которым, верно, плохо, которым хоть в прорубь головой. А тебе-то что? Что у тебя?..

”Да ничего хорошего — даже и не знаю...” — не смог он себе ответить, поддержать того полета. Но уж какой-то в нем человеческий разговор начался, он и на себя со стороны поглядел, и длинноногой девчонке в брючках клеш, скользнувшей по нему глазами, подмигнул, так что она даже фыркнула у него за спиной... Отняли, что ли, у него чего? Ну и правильно, если можно отнять. А мы еще посмотрим — можно ли! Да уж, если всерьез разговаривать — не ему, не Льву Ильичу плохо, вот в Иванову шкуру он бы сейчас влезть не захотел. Вот кому худо. Он даже на мгновение подумал: не позвонить ли ему? — да рукой отмахнулся, он-то не в силах был помочь, с тем, что у того на душе, только самому разбираться. ”Да не самому!” — кричало в нем. Много ль ты сам нараспутываешь, коль тебе не помогут, когда протянутую руку не различишь — так и потонешь, сгинешь в этом мертвом городе, посреди камня, железа да мертвых, моргающих глаз. А увидишь, обопрешься на нее — шагай спокойненько, звони — и тебе откроют, а там люди, у них своя беда-печаль, а значит и тебя поймут, для тебя найдется доброе слово. А машины — Бог с ними, от них тоже польза есть. Вот были б у него сейчас деньги, остановил бы машину — вон подмигивает зеленым огоньком, в два счета б долетел. Да ну, деньги! он и так добежит. Жалко только позвонить нет мелочи — да ладно, там ему всегда рады. А не рады — все равно хорошо будет.

Ему и в голову не могло вскочить, что может прийти и не застать Сашу. Сколько он его не видел? лет пять уж наверно. Нет, как же, не так давно встретились, тот спешил, не поговорили, да ведь и он, Лев Ильич, торопился, но как-то, вроде бы, Саша ему в тот раз не понравился, чужим показался... А! это все ему что-то не так про других кажется. А может, у него — у Саши зубы болели или неудача какая, мог бы и позвонить потом, раз что-то показалось. Не позвонил ведь, все своими переживаниями был занят...

Это самый-самый первый его товарищ. Еще в детстве они вместе жили на даче, на Клязьме, ”Графа Монте-Кристо” читали, потом все не виделись, а встретились снова уже в университете, Саша — историк, они ровесники, а куда Льву Ильичу против него — тот и читал все на свете, и знал, хорошая у него всегда была голова, ясная, и такая эрудиция — не для показухи, знал человек много. Он и книги Льву Ильичу давал, записывал, правда, да в срок всегда просил уложиться, а срок любой — сам назначай. А библиотека у него была замечательная, еще отцовская, тоже был историк русский, да помер рано, вовремя помер, конечно, сидел бы, ясное дело. Саша рассказывал, они пришли за отцом через полгода, как его похоронили — накладочка вышла, бывало так-то — запутаешься! — не очень и засмутились: ”А мать, мол, где?...” Ну а матери, к счастью, не было, уехала мать к родне в Ленинград. А Саше тогда и было-то лет десять — тоже не поживишься. Так и библиотека сохранилась, и квартира хо-

рошая. И мать жива-здорова.

Что-то, правда, было промеж них последние годы, потому и не виделись, а не только из-за Льва Ильича и всегдашней его суеты. Как-то стало его обижать покровительственность Саши, постоянная усмешка. Ну да он привык, смирился, тот, и верно, все на свете знает, а он — Лев Ильич — ничего. А что знал, то, вроде бы, у Саши все было записано, и выходило не так уж много, да и как-то беспорядочно проходил Лев Ильич свой собственный университет: исторические книжки у него таскал, вот тогда и Библию взял и держал чуть ли не год, пока Саша не рассердился, строго напомнил, и литературу во-круг христианского рассеяния... "А зачем тебе? — спросил раз Саша. — Ты ж, вроде, далеко по своей жизни от этих проблем?" Он и с этим был согласен — далеко. Но и все меньше охоты было приходиться к нему. Других библиотек, что ль, нет? А хорошо там было: уютно, тихо, так мило, устойчиво; у него, у Льва Ильича, да и у всех его приятелей, которые сами кое-как выколачивали эти свои квартиры, дешевой ли, дорогой мебелью набивали, все равно чужой и случайной, никогда так прочно, укорененно ни у кого из них не было. Так, другой раз, сидишь, угреешься: настольная лампа — бронзовая, тяжелая, такой спокойный полумрак, золотые обрезки книг, мягкие кресла, а тут еще Ангелина Андревна пригласит к столу, у нее всегда домашнее печенье, серебряные ложечки, посуда... А жены у Саши не было, так и остался старым холостяком, всем на удивленье: "Наука — моя суженая", — отшучивался Саша, когда к нему приста-вали.

Да Господи! — вспомнил Лев Ильич. — Что я так долго думал, мне кто-то говорил, что он не зря занимается русской древностью — он же верующий человек! Да уж несомненно, не зря Феликс Борин и Вадик Козицкий его поносили, узнав про нашу дружбу, чего только на него не наговаривали — не потому ль и он, Лев Ильич, к нему ходить перестал? А наверно и потому.

Он уже входил в высокий подъезд, всего и осталось три, что ль, дома на Молчановке, окруженной, стиснутой, задавленной нелепыми коробками-небоскребами — тупыми и равнодушными, мертвыми.

Саша открыл дверь. И будто вчера расстались — ничего в лице не двинулось. "Ого, лысеет, — отметил Лев Ильич, — красиво как, благородно, со лба..." Лицо у Саши спокойное, брови темные над светлыми глазами, румянец, как у девушки, во всю щеку. Был он в белой рубашке, в галстукe, а сверху теплая вязаная куртка мягкие штаны, домашние туфли — крупный солидный человек.

— Здорово, профессор! — бросился к нему Лев Ильич. — Не ждал? Не рад?

— Заходи, заходи, Лева... Жалко, не позвонил...

— Ты что, уходишь?

— Да нет, не то чтоб ухожу, ко мне тут один человек должен заглянуть.

— Ну вот, я и есть тот человек.

Лев Ильич уже раздевался, руки довольно потирал, таким сдобным теплом его охватило: "Никак печенье дадут?.."

— Мама здорова?

— Да, слава Богу. Спасибо. А что ты такой встрепанный да... — не нашел слова Саша.

— Да не стесняйся — все так и еще похуже. Когда люди сто лет знакомы, а встречаются в десять лет раз — то уж, коль все хорошо, друг про дружку и не вспоминают...

Они прошли уже в кабинет, ботинки Льва Ильича утонули в мягком ковре, уже он сидел в кресле, и все так же лампа мягко освещала стены в книжных шкафах, портреты на стенах... "Икон что-то не видно?.." Ну да, ведь студенты — он, и правда, профессор, ну доцент, наверно...

Лев Ильич встал и протопал по коврику.

— Что-то, я гляжу, у тебя портреты новые... Флоренский! Я такого не видел — такой молодой... А это не знаю — кто?.. Раньше у тебя, словно, Соловьев был?..

— Был, — Саша неопределенно отмахнулся рукой. — Спасибо, Флоренского знаешь. А это — Розанов. Слышал? — привычно снисходительно обронил он.

— Я прочел недавно "Столп", — сказал Лев Ильич, рассматривая портрет: Флоренский был без очков, щурил близорукие глаза под тяжелыми веками, с длинными до плеч волосами, с большим крестом на груди.

— Ишь ты? Ну и как?

— У меня не было в моей жизни большего потрясения.

— Так что — понравился? — удивился Саша.

— Ты не то слово употребляешь. "Понравился!.." Меня спасла эта книга, если хочешь знать.

— От чего спасла?

— Долго рассказывать, поверь — и все. То есть, может, и наверное, есть книги и повыше, да у тебя хоть я читал кое-что. Но там все далеко, почти абстракция, а здесь — все мое, со мной разговор — попадание в самую точку. Да ведь мы с тобой его встретить могли — детьми, то есть...

— Странно, — буркнул Саша.

— Да, кстати! — вспомнил Лев Ильич. — У меня тут был смешной разговор — да не смешной, грустный скорей, ну, что делать, есть и такие люди. Что вот, мол, Россия под татарами враз сникла, не только всю ее военную мощь и потенциал смяли, но и душой завяла, не просто дрогнула — внутренне сдалась, хотя татары, пройдя ее мечом и кровью, ушли к себе, так сказать, автономию предоставили.

А князя в орде христорадничали, всю святую отдали, о сопротивлении — сколько уж, двести лет и не помышляли. Я чувствую, знаю, что не так, но ведь и факты...

— Детский разговор. Да и дети испорченные. Что хитрого, ясно кем и испорчены. Не знаю, какие тебе факты... А смерть князя Михаила Черниговского, не дрогнувшего пред Батыем, когда предложили идолу поклониться, не факт? А Роман Рязанский — перед Мангу-Тимуром, принявший смерть на костре, а великий князь Михаил Ярославич, убитый Узбеком, растерзанный татарами в этой самой орде?..

— Вот-вот, — обрадовался Лев Ильич. — Я знал, что так, вот темнота моя! А то, понимаешь, разговор, что, мол, евреи перед Римом не дрогнули, пока их не истребили и Иерусалим не перепахали, но все равно еще через семьдесят лет у них Бар-Кохба объявился, а ведь великий Рим — не кочевники. А русские, мол, князя потянулись за ярлыком к этим самым кочевникам...

— Вон оно что, — усмехнулся Саша. — Так бы и говорил, а я в таких дискуссиях не участвую, доказывать русское мужество перед еврейским хитроумием — не берусь. Уволь.

Лев Ильич уже сидел в кресле, Саша за письменным столом, поигрывая ножом слоновой костью.

— То есть, почему "хитроумие"? Бар-Кохба действительно был воин — ничего не скажешь.

— Да уж и поговорили. Если б не Россия и добрались татары до Рима, хоть и в пору его величия, то ж сказал — кочевники! Ну да, нелепо и говорить.

— Конечно! — все радовался Лев Ильич. — Да хоть Карамзина вспомнить, а ведь еще, кроме Батыя, — Тамерлан, страшная история, если б они до Европы добрались...

— Да уж надо бы кой-кому мозги вправить, — Саша опять усмехнулся.

— И все-таки что-то тут мне не ясно. Дело не в отдельных фактах мужества, пусть они и характерны — а если любишь, душу народа объясняют — но все-таки смириться внутренне, добровольно, ну не добровольно — из страха, забыв про реки крови и варварство, низость, идти за подачкой — а ведь не год, не десять, даже не сто лет. И ведь тысячи и тысячи людей. А какие пространства — где там Орда, за тридевять земель! А мы еще перед евреями недоумеваем — современными, я имею в виду, которые в немецкие печи шли, как стадо. Или это такое христианское смирение — не у евреев, а здесь, в России?..

— Я тебе сказал, — резко оборвал Саша. — Я про эти параллели рассуждать не намерен. А что до того, что государственная катастрофа и народное бедствие, не сравнимое ни с чем — "погибель земли русской", как современник выражался, что это народ сломило — тут

всего лишь твое невежество или, как сам же выразился, отсутствие любви — да откуда б она в тебе, любовь, я имею в виду? Для русской культуры татары не стали никаким переломом, никак ее не остановили, может быть, только переместилась к северу. Запустело то, что было уничтожено — из Киева на полудикий Северо-Восток, как историки говорили. Хотя какая там дикость, когда в самом страшном тринадцатом веке, кроме летописи, и Патерик Печерский начинался, Толковая Палая — вот, кстати, противоиудейская полемика. А литургические труды митрополита Киприана, а то, что в его время на Руси был установлен праздник Григория Паламы — это ль не свидетельство духовной мощи?.. Да тебе и не понять! А сколько рукописей, какой поток их хлынул, сколько переписывалось в монастырях, а творения Святых Отцов: аскетика Василия Великого, Исаак Сирий, "Лествица" Иоанна Лествичника, Максим Исповедник, отрывки творений Симеона Нового Божьего слова, творения об исихии... А ведь не токмо переписывалось — было кому читать! Да уж четырнадцатый-то век — век преподобного Сергия! А расцвет иконописи означает что-то? А спор между Москвой и Царьградом, а эсхатологические ожидания, апокалиптические настроения, первая идея о "Третьем Риме"? Какое ж духовное оскудение, когда такая — немислимая в ту пору в Европе — духовная высота, напряженность? Вот что характерно, что народ объединило и спасло... Правда, зачем это тебе? — опять оборвал себя Саша. — Если ты про Бар-Кохбу...

— А что Бар-Кохба? — обозлился вдруг Лев Ильич. "А сколько знает, подлец? Правда ведь знает! Хотя, может, и путает, врет, в Европе ведь и Данте был..." — Продемонстрировал, между прочим, наглядно этот самый Бар-Кохба, что есть народ, с которым при помощи палки не поговоришь и на колени его не поставишь. А тоже, кстати говоря, Пятикнижие существовало, Слово Божие в душе народа сохранялось, да и не двести каких-нибудь лет, а четыре тысячелетия! Да каких — и Вавилон, и Ассирия, и Египет, и филистимляне...

— Ну вот и договорились, — встал Саша, — очень люблю этот еврейский интерес к русской истории: что-нибудь вынюхать, а потом перевернуть исподтишка... Ты меня извини — ко мне там, слышу, пришли...

— Саша! Сашенька! к тебе гость... Батюшки, Левушка пожаловал? Что ж со старухой и поздороваться забыл? Не гоже так-то... — Ангелина Андревна, все такая же высокая, прямая, с семью локонами, румяная и чопорно одетая, как в концерт — даже туфли на высоких каблучках.

— Виноват, Ангелина Андревна, простите, профессор к себе зашел.

— Да уж на первый раз... Сколько ж лет-то и не вспоминал про нас?..

— Познакомьтесь — мой старый приятель...

— Костя! — вырвалось у Льва Ильича. Он содрогнулся: "Ну пло-

хо мое дело...”

— Да уж не знакомы ли вы? — удивленно смотрел Саша.

— Как же, имел удовольствие; — Костя был во всегдашнем своем пиджачке, в белой рубашке, при галстукe.

— Однако... — тянул Саша. — Ну что ж, прошу, садитесь.

— А у меня печенье к чаю, — улыбалась Ангелина Андревна. — Домашнее. Полчаса вам на все разговоры... Ладно, ладно, простите старуху, мешать не буду. Лева, а вы — коварный мужчина! — она кокетливо улыбнулась, даже погрозила пальчиком и вышла.

... Ну что я взъелся! — корил себя Лев Ильич. — А почему он должен меня с налету понимать — видимся мы с ним, что ли, что он про меня знает, кроме того, что в юности у него книжки читал? Сам же, небось, на Бар-Кохбу вчера еще обозлился! А может, он тех разговоров объелся, вон, и Володя, тот вчерашний, наговорился, а он и со студентами... Но чем-то не понравился ему Саша, впрочем, он сам себе еще пуще не нравился и главное что-то в себе понять не мог — себя он не мог з д е с ь понять.

— Я вам принес "Раскол старообрядчества". Благодарю вас, Александр Юрьевич. Хорошая книга. То есть, хорошего в ней ничего нет, все известно — жалкая никонианская идея, попытка оправдать то, против чего вопиют факты, здесь же собранные, но сам свод материала... И знаете, что мне пришлось в голову — в развитии, кстати, нашего с вами разговора? — Костя сидел на краешке дивана, выпрямившись, поглаживая усы. — Эта идея о безблагодатности сегодняшней православной церкви, иерархии — всего лишь чиновной, она объясняется не революционной пошлостью, но корнями уходит куда глубже. Именно, так сказать, характеристическое явление нашей церковной жизни. И дело не в слабостях, не в разврате и сребролюбии попов и епископов, испокон века у нас прославленных теми подвигами. Это лишь следствие — не причина. Ведь это уже в семнадцатом веке знали, что благодать взята и вовсе отнята, что даже вода живая осквернена, что только упованием и плачем можно спастись. А уж причастие и невозможно — раз несомненен перерыв священства у никониан, а отсюда и прекращение тайнодействия. "Вертепом разбойников" уже Аввакум называл ту церковь, а потому "суетно кадило и мерзко приношение". И что бы мы о расколе ни говорили — здесь истина, потому, коль "вертеп", какая ж благодать? И не в исправлении книг, конечно, дело, не в обряде, — в сути. Поэтому и стало все возможно — от Петра до Куроедова — велика ль разница, когда в истоке все замутнено и осквернено?..

— Вы... так сказать, несколько упрощаете... — тянул Саша. — Но впрочем, а почему б и не так? Пусть резко, пусть максимализм, но коль забрезжила истина... А ведь, пожалуй, вы и правы? А?.. А как же! Град рухнул, мечта о хилиазме сокрушена — Третий Рим кончился, а Четвертому не быть, ибо все скверна — и церковь — не цер-

ковь, и тайны божественные — не тайны, и крещение — не крещение, и учение — несправедливо. Нет Града — рухнул. А богоносность — она поверх всего, вот в чем фокус! Очень верно!

— Погодите, — встал Лев Ильич. — Как верно? А разве мечта о Граде, Третьем Риме — православная мечта? Разве Град — не в горнем Иерусалиме? А богоносность эта откуда, кем придумана — нет про это ни в Писании, ни у Святых Отцов. Или я ошибаюсь — есть? То есть, в каком-то метафизическом смысле, в каких-то мистических размышлениях о судьбе народа, чуде его церкви, но ты употребляешь как некий богословский термин...

— Вы подумайте! — всплеснул руками Саша. — Ну кто бы мог такое от такой... ожидать?

— Какой "такой"? — со вспыхнувшей вдруг в нем злостью спросил Лев Ильич. — Договаривай. От валаамовой ослицы, что ли?

— Лев Ильич очень живо реагирует, я уже заметил, что как только заходит разговор... — попытался смягчить Костя, но Лев Ильич ему не дал.

— Подождите! Шут с ней, с ослицей, у нас старые счета, еще посчитаемся. Я хотел бы понять... Эта книга... — он подошел к столу и раскрыл книгу, принесенную Костей. — Эту я не читал, или забыл, но про раскол кое-что помню — да у тебя ж и брал! Еще Костомаров заметил, что раскол, хоть и гонялся за стариной, но был явлением новой, а не древней жизни. И в этом парадокс раскола — это не я, а историк какой-то сказал. Это все от бессилия и упадка — не от силы веры, потому и за обряд так цеплялись, отсюда и кошмары все эти, и пресловутая странность русской души здесь берет начало — до изуверства включительно, и вся путаница, — поэтому и примстилось кому-то, что Третий Рим оказался царством дьяволовым. Это не старая Русь, а мечта о ней, погребальная грусть о несбывшейся мечте — отсюда надрыв и раздвоение раскола, отсюда — и романтизм какой-то — не зря декаденты так кинулись к расколу... Погодите! — крикнул он, когда Саша сделал движение заговорить. — И потому нет тут никакой почвы, а наоборот — да помню я, читал, очень точно ложится на мое православное понимание. Это исход из истории, из соборности — вот тут в чем дело. Не обряд, а антихрист — вот в чем тайна раскола, отсюда и вся апокалиптика... Мечта о Граде на земле? Да чем ты тогда лучше тех жалких иудеев, о которых с такой нежностью только что говорил, которые и споткнулись на мечте о тутошнем царстве Божиим? Третий Рим, второй, десятый — какой Рим, когда мир во грехе лежит и нужно заповеди соблюдать? Как ты их соблюдешь, коль станешь Рим сооружать?

— Лев Ильич, вы очень сбивчивы и уведите от темы, мной весьма скромно затронутой, — опять постарался успокоить его Костя, — хотя, может быть, моя мысль о благодати не так уж скромна и даже кажется максималистской, как Александр Юрьевич тут заме-

тил...

— Да что вы, Костя, все путаете меня! — отмахнулся Лев Ильич. — Как могла оскудеть благодать или даже быть отнятой, когда... — да ты, Саша, сам только что напомнил о веке преподобного Сергия! — Что ж, на нем она и почил! А не от него ли — отца этой земли — полетела она пряменько к преподобному Серафиму, да ведь и за пять веков меж ними было ей на кого снизойти? Да на церкви русской она от века — врата ада ее не одолели! Вы мне прошлый раз, Костя, что-то о крещении внушали, так у того ж Серафима сказано, мне отец Кирилл объяснил, что благодать, во крещении данная, отнята быть не может — так вот черным по белому и сказано преподобным. Ты можешь падать и совсем пропасть, но стоит тебе найти силы, руку увидеть и почувствовать — так ты и спасен! Да как вы мне могли внушать об отсутствии благодати на жалких священниках, когда тот же Серафим еженедельно исповедовался и причащался Святых Таин у батюшки, который ему всякие пакости строил! Это ли вам не факт! Или вы и преподобного в лицемерии заподозрите? — Лева Ильича трясло, но он уже не в силах был сдерживаться. "Ну что я, чего мне так тяжело все?.." — мелькнуло у него.

— Лева, да я тебя просто не узнаю? — Саша тоже стоял и разводил в недоумении руками. — Ты чем все эти годы занимался, откуда такие, так сказать, религиозные реакции?

— Лев Ильич крестился неделю назад, — вставил Костя. — Сильное потрясение для непосредственной природы. Мы уж с ним объяснялись на этот счет.

— Крестился?!.. Да не может того быть!.. Мама! — крикнул Саша, шагнув к двери и распахивая ее. — Мама! Ты слышишь? Иди-ка сюда!..

— Что случилось, Сашенька? Ты такой встревоженный? Чай на столе... Прошу.

— Ты слышишь, мама, Лева наш выкинул номер — крестился! Кстати — ну прямо в самый раз к нашему недавнему разговору...

Ангелина Андревна взглядывалась в Сашу, пытаясь понять его отношение.

— Лева?.. Да, это случается. Вот и у Юрия Владимировича, покойного твоего отца, был приятель, забыла фамилию... тоже выкрест. Еще до революции, он потом крупным нэпманом стал. Но ведь не помогло. Сгинул, как многие...

— Мамочка, ты прелесть! — расхохотался Саша. — Ну в самую точку! А? Костя, не правда ли?.. Ну идемте чай кушать, хотя по такому торжественному случаю можно и наливочку, мама, а? Ту, заветную?..

Они сидели в столовой, за большим овальным столом, накрытым белой хрустящей скатертью. Над столом люстра: "Паникадило восемнадцатого века, — вспомнил Лев Ильич, — музейная вещь".

Все то же серебро, посуда, рокфор, ветчина, сверкающее в вазочках варенье... Ангелина Андревна торжественно внесла графинчик с темно-алым напитком.

— Все как ты просил, Сашенька!..

— Ну и отлично, мама. Прошу, приступим...

Саша налил всем из графинчика и встал, высоко подняв рюмку, хрусталь вспыхнул алым пламенем.

— Я прошу выпить за моего старого приятеля, — звонко произнес Саша. — Я помню его кудрявым черномазым мальчишкой в красном галстуке...

“Чего врешь-то, — обозлился Лев Ильич, — мы и не виделись, когда я в школе учился...”

— ... Я вспоминаю его чернявым студентом, пусть он простит меня, но из песни слово не выкинешь, просиживающим штаны за конспектами по основам марксизма-ленинизма. И вот, он теперь перед нами, уже не такой чернявый, поседевший, в новом качестве, бесстрашно шагнувший в православие...

— Что уж ты, Саша, как на поминках? Тои такой... — брякнула Ангелина Андревна.

Лев Ильич посмотрел на нее с нежностью.

— Напрасно, мама! Лева как бы заново родился. Ты б послушала, сколько в нем пылу и жару, страсти, готовности ломать и преобразовывать по своему разумению нашу глупую старую церковь... За тебя, Лева!..

“Надолго ль меня хватит? — размышлял Лев Ильич. — Однако я тут отогрелся, ничего не скажешь. Почему это все у меня теперь не так выходит, все, что было прежде, стало быть, надо переоценивать?”

— Прекрасный напиток, — сказал он. — Вы мастерица, Ангелина Андревна.

— Еще бы, Лева, это наш старый семейный секрет... Что-то я не поняла Сашенькиной речи, что это ты, Левушка, затеял ломать и строить?

— Саша по обыкновению шутит, имея в виду, прежде всего, сделать дурака из своего собеседника — с ним ему тогда легче разговаривать.

— Юпитер! Ты сердисься... — погрозила пальчиком Ангелина Андревна. — Ветчину очень рекомендую. Свежая, от Елисеева.

— Я лучше рокфора, если позволите, ладно уж... — наливка была крепкая, Льву Ильичу ударило в голову, сегодня он совсем ничего не ел.

— Ну что ты, Лева, ты теперь русский... одним словом, как бы и не еврей, можешь смело наваливаться на ветчину, — ухмыльнулся Саша.

— Сейчас Великий пост, — подал голос Костя, туго намазывая ветчину горчицей.

Саша покраснел.

— Да? — подняла брови Ангелина Андревна. — Надо ж, какая незадача. А это разве так серьезно? А я-то обрадовалась — и ветчина свежая, и очередь небольшая, и сегодня продавец-душка, мой всегдашний поклонник и доброжелатель...

— Видишь ли, мама, как писал сто лет назад Достоевский, еврей без Бога как-то даже и немислим, его и представить себе нельзя без Бога. Это с одной стороны. А с другой, тот же наш великий писатель обронил, что мудрено и вообразить себе что-нибудь раздражительней и щепитильней образованного еврея. Вот, наш дорогой друг и представляет нам полную, так сказать, иллюстрацию неумирающей правды слов нашего классика. Как только совместить Христа с раздражительностью? Положим, Достоевский не Христа имел в виду, когда говорил о еврейском Боге — Иегову, так, пожалуй, надо понимать. А ты как думаешь, Лева?

— А я думаю про это примитивно, хотя и благодарю тебя за комплимент насчет моей образованности.

— В чем же твой примитив?

— А в том, что Христос был рожден от еврейской женщины, да и апостолы все были Ее единоплеменниками, не говоря о праотцах и пророках, вообще об избранном — Кем избранном? — народе.

— Да уж нельзя не согласиться, не слишком глубокая мысль, тем более едва ли свежая.

— А ты убежден, что здесь, я имею в виду в христианстве, свежая мысль ценнее, как, скажем, в случае ветчины?

Костя хмыкнул, попытался спрятать улыбку и закашлялся, даже слезы навернулись: "Может, это он горчицы хватил?" — вдруг развеселился Лев Ильич.

За столом никто, разумеется, не обратил на это внимания.

— Вы помните, Костя, мысль Василия Васильевича, — обратился к нему Саша, когда тот справился со своим кашлем, — что еврейская идея об их личной богоизбранности весьма преувеличена или, как он выразился: "чуть-чуть в отношении их лукава"? Дело в том, говорил Розанов, на которого ты сегодня в первый раз имел удовольствие посмотреть, хоть трудно представить себе человека, прикоснувшегося к русской культуре, а на Розанова взирающего недоуменно. Так вот, — он и обратил внимание на то, что у Соломона, кроме Суламифи, этих самых других Суламифей было великое множество, хоть той — первой — он о них и не сообщал. Израиль же настолько был самонадеян, так убежден, что у Господа он, конечно, один, что "одна девица", что Соломон, кроме как на нее, и глядеть ни на кого не захочет, что ту историческую объективность проглядел. А у Соломона, меж тем, было семьдесят царик, сотен жен и девиц без числа. Так что получается, что бедняжка Суламифь была всего лишь одной из девиц, а отнюдь не царица — а там и Персия бы-

ла, и Египет, несомненно, да уж и матушка Русь, надо думать. Так что стоит ли так уж преувеличивать эту единственность и мистическую судьбу этого народца? Пора, пора царице поставить несколько замешкавшуюся служанку на свое место. Давно, впрочем, пора.

Лев Ильич даже позабыл о своей злости, он был поражен: "Вот так номер — вот она образованность-то!"

— Ты это сам говоришь или Розанова цитируешь? — спросил он.

— Я его излагаю, — скромно ответил Саша. — Быть может, не совсем буквально, но за верность мысли ручаюсь.

— Какая память у Сашеньки! А?.. Ну что ж ты гостям не наливаешь, очень серьезный разговор за столом, хотя и красиво — Суламифь, Соломон, девицы без числа, цыгане...

Лев Ильич посмотрел на Ангелину Андревну: "Куда это я попал?" — мелькнуло у него.

— Неубедительно излагаешь, — сказал он. — Потому хоть у Соломона, и верно, девиц было без счета, но Суламифь-то была одна, первая. И Библия ее канонизировала. Если, разумеется, Библию полагать Священным Писанием, а не просто материалом для исторических спекуляций.

— Священное Писание, согласен, но кем и для кого написано? В том и дело, что и "Бытие", и "Исход", и "Законы", и увлекательная история племени — все замечательно, но нам, прости, какое дело? У нас свои печенег были, ну а у них филистимляне. А то, что она "единственная" или, ты сказал, "первая" — это ты откуда узнал? Это он ей на ушко прошептал: "Единственная моя!" Чего уж не шепчут в такие-то минуты. Всей любви у Суламифь — всему их роману, современным языком скажем, несколько дней, ну чуть больше — и году не было. А остальные годы? Где он — этот "избранный народ" — из Палестины куда? То в Испанию, то в Польшу, то к нам, то в Америку. Какой же "единственный", когда и передохнуть им Господь не давал? Да где их храм, где Иегова, по их же представлениям, только и обитает? Разрушен храм, уже две тысячи лет его нет — не на небесах же, в твоём горнем Иерусалиме — это у христиан там Храм, верно. Или, может быть, в современном Израиле — у Моше Даяна?

— Не понимаю, — сказал Лев Ильич, — ты в Бога веришь?

— Фи, Лева, что за вопросы? — Ангелина Андревна была явно шокирована.

— Простите, Ангелина Андревна, но я действительно не понимаю Сашу.

— Не понимаешь? Но почему-то все на свой счет воспринимаешь, извини уж за слабую рифму. Лишнее подтверждение мысли об обидчивости. А так ведь разговора не получится. Хотя тема серьезная, права мама, не для стола, и острая. Ну уж что делать. Ты отдаешь себе отчет в том, как опасно это сегодняшнее массовое — а я не

преувеличиваю, иначе б и не стоило разговора — массовое обращение евреев в православие?

— Действительно, не понимаю. Чем, кому опасно? Что здесь может быть, кроме радости, от того, что обетование сбывается?

— Да погоди ты со своим "обетованием" — тут не до мистики, когда к самому нашему сердцу подбираются!.. Мало нам растления политического, государственного, идеологического, научного, растления искусства, литературы, растления семьи, быта — что там еще осталось? Душа народа, несмотря на весь вековой ужас оставалась православной, то, что еще Иван Киреевский называл "народным началом", а здесь и верования, и народный быт, обычаи, понятия, та самая "неминуемая старина", заповедный круг мыслительности. То самое, что для Самарина всегда было сердцевиной — фокусом, из которого бьется народный русский ключ. Что старо, то свято, что старье, то правье, что истари ведется, то не минется, ветхое лучше есть! Вот так-то. А потому я с вами, Костя, тут не вполне согласен, церковное сознание народа вопреки всему сохранилось — и Петровская реформа ничего с ним не в состоянии была поделать, то лишь насилие было, напугали наше духовенство, сделали из него чиновное сословие, но это все отдельные люди, как болезнь, эпидемия — реформы, вольтерьянство, нигилизм. Но в том же восемнадцатом веке уже и очнулись: и в масонстве очнулись, и в святители Тихоне Задонском, и в Паисии Величковском — он уже в восемнадцатом веке перевел "Добротолюбие". Одним словом, чудом, но сохранилось, держалось, на ниточке, на волоске, а тут что?.. Да вот вам, кстати, исторический анекдот, да уж не смешной, простите — трагический. Проживал в Москве во времена Анны Иоанновны отставной морского флота капитан-поручик Александр Возницын, человек ищущий, но, по всей видимости, слабый. И вот, на беду свел его случай с неким откупщиком Борохом, еще в Смоленской губернии прославившимся тем, что пытался в одном селе устроить их молельню, уничтоженную, впрочем, по распоряжению синода, изгнавшего вслед за этим евреев из края. Но ведь как с ними: их гонят в дверь, они — в окно влезают! Тот Борох объявился в Москве и сблизился с беднягой капитан-поручиком...

— Да не может того быть! — охнула Ангелина Андревна.

— Тем не менее. Уж чем он его соблазнил, кто знает, подходов у них много, в девятнадцатом веке так считали, что им даже законом их предписано совращать в свою веру, да и процессы возникали один за другим... Одним словом, как история свидетельствует, Возницын был соблазнен. Они отправились вместе в Смоленск, откуда в Польшу, где несчастного Возницына подвергли милому и столь прославленному обряду, обрезания.

— Что же дальше-то, Сашенька? — любопытствовала Ангелина Андревна.

— А дальше, Возницын — за отпадение от христианской веры, а Борох за совращение в иудейство были преданы суду, во всем со-знались и по решению Государыни Анны Иоанновны, чтоб сие бого-противное дело не продолжалось, обоих немедленно казнить смер-тью, сжечь, чтобы другие, смотря на то невежды и богопротивные от христианского закона отступать не могли. Они и были сожжены в Петербурге в 1738 году, 15 июня.

— Какая у тебя память, ну просто феноменальная! Вы только послушайте? — восхищалась Ангелина Андревна. — Ну а моряк-то за что, офицер?

— Вот именно, — сказал Саша. — Моряк, офицер, вполне может быть и прекрасный человек. А ведь вокруг была православная страна, традиции, воспитание, страх Божий, наконец, Государыня Императрица, стоящая на страже чистоты веры... А сейчас, в этом мо-ре атеизма и совсем Бог знает что может произойти! Если сегодня евреи действительно хлынут в церковь, в православие, затопчут, за-пакосят больную, но все еще живую религиозную душу народа — как в нашей литературе или журналистике, как сто лет назад хлыну-ли к только что освободившемуся от крепостничества мужику, вос-пользовавшись его слабостью, простотой, пусть пороками, чтоб тут же и оплести его, закабалить, да так, что он, небось, и помещика-самодура, коль был такой, со слезами умиления вспоминал — что ж тут-то будет? Чем еще заполнится русское сердце — этим вечным брюзжанием, жалобами, мелочной злобой, суетливостью, ненави-стью? Чему они изнутри церкви нас научат — что все мы братья и все равны? Так мы еле-еле научились не слушать, когда нам про это на-ше радио с утра до ночи твердит. А уж здесь, если из церкви понесет-ся этот гнилой, жалкий гуманизм, чтоб нам же потом — "братьям" и усесться на шею... Это, между прочим, пострашнее, чем кровь исто-чать у младенцев. Там все на глазах — попробуй-ка! А тут испод-тишка, незаметно, под маркой братского единения, соборности — вон как наш-то православный друг только что заметил! Мы так и проснемся однажды все евреями.

— Это как же так? — испугалась Ангелина Андревна. — Это какой-то у тебя образ, Сашенька? Ну помилуй, почему я стану ни с того, ни с сего еврейкой?

— А вот от того, мама, что еврей искони, онтологично, как бо-гословы говорят, знает о своей избранности — что он один, видишь ли, у Бога — вон, как Лева единственность Суламифи защищал, что в связи с этим все остальные-прочие — рабы, которых смотря по обсто-ятельствам надо или эксплуатировать или истребить. Что ему, еврею, все равно будет дана победа над всем миром — потому как обещано. Что те обещания непреложны, как апостол Павел сказал, лучше б уж он Савлом оставался, да и остался, надо думать! Что пусть они своей земли лишились, потеряли храм, политическую личность, рассеялись

по всему свету — все равно, вопреки этой, ясной всем очевидности, они ждут своего часа — будет, будет! Мало чудес в Библии о том наворочено? Еще и сейчас подтверждения: государство еврейское — не чудо ль, наша эмиграция — не чудо? Вот оно — сбывается пророчество! Так пусть бы и уезжали, — Сашу уже явно несло. — Так нет же! Они и тут, в последнем нашем прибежище, источники хотят заму- тить, напакостить...

— Сашенька, голубчик! Ну что ты так нервничаешь, тебе и вредно даже. Ну какие там евреи — их и всего-то — раз, два и обчелся. Сколько нас — я уж плохо знаю нынешнюю арифметику, но сколько- то миллионов, а их — вот, Лева — раз, ну кто там еще?..

— Да оставь ты Леву в покое, не про него речь. Он, вон, погля- ди, побледнел, опять обидится. Я в принципе, в принципе! И очень ты заблуждаешься насчет их количества. Ведь евреи, с одной сторо- ны, соблюдают чистоту своей крови — это у них еще с библейских времен повелось, но лишь по мужской, заметь, только по мужской линии. А по женской — напротив, они с радостью, с азартом распро- страняют свое еврейство. Сколько мы знаем — а сколько не знаем! — смешанных браков до самых заядлых антисемитов включительно, и сейчас, а если в историю углубиться — никто от того не может убе- речься!..

— Саша, а как же ты, неужто и ты?..

— Да подожди, мама, Бог сохранит. Не обо мне, не о Левае речь. Но мы-то знаем, как сильна еврейская кровь, она все шире и шире захватывает чело-вечество, все его прорастает — вот где десок- то морской! Да в мире сегодня уже и нет народа — может, китайцы только, с чистой, незагрязненной кровью — здесь быстрота неимо- верная. Поэтому как бы мал, сравнительно, ни был процент чисто- кровных евреев в мире, процент еврейской крови в человечестве растет с космической скоростью. И скоро она заглушит всю иную кровь, сожрет ее, как кислота, тут и капли ее достаточно. Вы погля- дите на лица людей вокруг, на манеру писать, мыслить — не евреи ли все это? Вот они, пророчества и обетования — только о чем? Вот что значит: мир проснется однажды еврейским, и не образ это, мама, а страшная реальность. А что с ними поделаешь — это ж простая арифметика, средство-то одно могло б быть — поголовное оскпле- ние всех евреев...

— Ты что говоришь? — тихо спросил Лев Ильич.

— Да не говорю я, а излагаю, ну может, со своими современ- ными заключениями и развитием мысли. Слава тебе, Господи, опыта предостаточно. Не я — Флоренский эдак думал.

— Кто? — спросил Лев Ильич.

— Да, кстати, тот самый Флоренский, которого ты, говоришь, прочел и он тебя как-то там потряс или спас. Или ты теперь и его всего лишь к антисемитам зачислишь?

— Где он это говорил? — у Льва Ильича сердце ухнуло и круги пошли перед глазами.

— Что тебе, книгу, что ль, дать? Дам, пожалуйста, просвещайся, только здесь, у меня читай, а то и книги этой нигде нет, вон, говорят, евреи посжигали.

— Ну уж ты, Саша, их какими-то злодеями выставляешь, — заступилась Ангелина Андревна. — Есть и среди них вполне порядочные люди. Вот и тот, приятель Юрия Владимировича... ну надо ж, никак не могу вспомнить его фамилию!..

— Да что это я, верно, разошелся, — опомнился Саша. — Даже и неприлична такая горячность. Давайте-ка еще выпьем семейной нашей наливочки, ничем посторонним не испорченной, тут ручаюсь — чистый продукт, отечественный. Может, я правда, преувеличиваю, увлекся, нет такой страшной опасности? Ну какая от тебя, Лева, опасность, простодушный ты человек... Давайте за Россию, что ль, выпьем, как-то и забывают все про нее, а ей, может, хуже всех, да и сейчас еще столько предстоит...

Он выпил и посмотрел на Льва Ильича.

— Ну вот, не пьешь, обиделся. Я хоть и говорил все время, что к тебе это не относится, что мы решаем проблему в принципе, а ты не поверил, выходит. А я уж было хотел еще одной темы коснуться, близкой предыдущей, но с другой стороны освещающей то же самое. Не очень, правда... Но мы с тобой, мама, обсуждали недавно?.. Так что держись, Лева, докажи, что Достоевский неправ и устарел со своим замечанием про еврейскую обидчивость и раздражительность. Полегче тема, чтоб не забираться в дебри... Мысль о том, почему это не любят евреев — ну все и не любят...

Где-то Лев Ильич уже слышал недавно то же самое, но не мог вспомнить, кто это ему говорил, чуть ли не вчера...

— ...И плохие и хорошие, и русские и немцы, и большевики и католики... Ты чего улыбаешься?

— Вспомнил, — сказал Лев Ильич. — Мне вчера то же самое недоумение высказывал один алкаш, в тяжелом был похмеле. Он архангела Гавриила играет в мистерии. А товарищ его... простите, Ангелина Андревна, беса, одним словом.

— Как мило! — откликнулась Ангелина Андревна.

— Ну вот видишь, — продолжал Саша, — и спившийся актер и ученый трезвенник — все. Но "ведь что-нибудь значит же слово все!" — как восклицал Белинский, которого Достоевский по близкому случаю процитировал.

— Как ты поразительно цитируешь, — заметил Лев Ильич, он чувствовал, знал, что сейчас произойдет что-то ужасное, безобразное, но, может, еще он выдержит, защитится?.. — Об этом изуверстве — да ведь не средневековье, а в восемнадцатом просвещенном веке дело было! — якобы защитившем чистоту веры. Я твой исторический

анекдот имею в виду, а верней, комментарий к нему, об этом лучше промолчать — пусть все на твоей совести и останется. Ладно. Но как ты странно цитируешь, излагаешь, ну безо всякого понимания духа и мысли текста? Даже удивительно, вроде, наукой занимаешься. Я тоже, небось, читал Достоевского. Да и Киреевский с Самариним были прежде всего православными людьми, все их идеи, а одна, раньше всего, главная — метафизическая, мистическая мысль была о цельной личности, о том, чтоб определить, верно ты сказал, сердцевину, ядро, но в себе, найти свою цельность, осознать, организовать свое "я" — весь этот чувствований хаос, связать всю свою жизнь со своими убеждениями — православием конкретно: разум, волю, чувства, совесть — все, — и он не удержался, глянул на стол и на Сашину руку, в этот момент вонзившую вилку в кусок ветчины. Саша опять покраснел и в сердцах бросил вилку. — Я уж не знаю, может, в чем-то Киреевский и ошибался, но русское "народное начало" он выводил именно из своего представления о цельности духа, выработавшегося в народе под влиянием именно православия. Потому я и не пойму, для чего ты вспоминал только что факты и свидетельства высоты русской духовной культуры — здесь вот и там, у себя в кабинете — с четырнадцатого, что ль, века по восемнадцатый, с Сергия Радонежского до Паисия Величковского? Для тебя творения Святых Отцов, которые они переводили и читали — красивые слова, мертвый капитал — уж прости, Вавилонская башня — или свидетельство некой истинной жизни, стремления, прорыва к ней? Я тоже кое-что прочел, правда, мало, да и память похуже, но что-то и вспоминается. Что пользы в том, что ты будешь знать Библию и все изречения философов, а не приобретешь любви Божией и благодати? — это не я, это Фома Кемпийский говорил. Высшая мудрость в том, он же добавил, чтоб стремиться к Царству Небесному и не привязываться ни к чему земному. Ни к чему — вот оно что. А ты начал с какой-то мечты о земном Граде, а кончил уж и не знаю даже сказать чем... Может, ты и Флоренского так же процитировал... — и голос у него дрогнул.

— Ну извини, не достиг еще, чтоб тебе угодить. Уж прости, что цитирую не так, как тебе хочется.

— Саша недавно получил премию за свой последний труд — ЦК комсомола, — вставила Ангелина Андревна.

— Поздравляю, — сказал Лев Ильич. — А говоришь, не достиг.

— Благодарю, а юмор не принимаю — Саша уже явно и откровенно был раздражен. — Так вот, обо всех, чтоб закончить. Тоже, кстати, манера перебивать... Почему? — спрашиваю я риторически. Почему все-таки их так не любят? Ну не потому ж, что ростовщики, корыстники, есть ведь и поэты, бессребреники. Ну не от того, что чернявые — есть и блондины, да и чернявого почему б не полюбить? Да и не похожи бывают, ежели одна четверть — кварталы, или восьмая часть — ну как тут отличить? И однако сразу чувствуется —

вот ведь в чем дело.

— В чем же, Сашенька, прямо из головы вон — вот память-то! — любопытно смотрела Ангелина Андревна.

— А в том, извини, что запах есть. Да, да! Ну не примитивно, я б иначе не осмелился за столом, но и не слишком чтоб фигурально — реальность, одним словом. Есть. И нормальному человеку тот запах — я в принципе, в принципе говорю! — омерзителен.

— Ты что? — прохрипел Лев Ильич.

— А! Не нравится? Прав Достоевский!.. А чего злиться? когда речь о неграх заходит, о классическом запахе негра — не возражаешь, пошучиваешь? Да вся американская литература уж сто лет про это размышляет — и ничего! Кушаем, а здесь, вишь, не нравится. Выдал бы свою дочь за негра? А я, если б была, за еврея, значит, обязан?..

— Ах ты сволоочь кацапская!.. — прохрипел Лев Ильич и, поднявшись, через стол ухватил его за галстук, за рубашку, рванул вверх, на себя, что-то затрещало, вытащил его на стол...

Зазвенела посуда, упал стул, Ангелина Андревна страшно закричала.

9

— ...Вы уж меня извините, Костя, но рассуждать, рассуждать намерен. Теперь все мое спасение — в рассуждении, иначе... иначе лучше и не думать. Или вы со мной не согласны?.. Я все на вас смотрю и понять чего-то не могу, мысль ускользает, бьется, только-только ее схватишь — а нет ее, улетела. Что за странность такая? Вы как к нему взошли, я и вздрогнул весь, напугался. Не то чтоб я вас терпеть не мог, неправда это, разве вы мне чего плохого сделали? Хотя да, конечно, а как же! Я и не успел еще вам это признание сделать: вы меня чуть не погубили. То есть, вы ли? — вот вопрос. Вопрос вопросов, между прочим, не какой-нибудь детский — гамлетовский, про который тома сочинений написаны — а чего сочинять, там просто! То есть, может, и не проще, но спокойней — литература. Вполне можно в кабинете чаек пить и рассуждать на ту гамлетовскую тему — никуда от нее все равно не денешься! — а тут... Постойте, Костя! А хорошо мы с вами чайку попили с домашним печеньем!.. Ну, я вам скажу, много повидал, но такого... А если б вас не было? А я еще тут копаю против вас и вам нелюбезности говорю — что бы, кабы не вы? ну что бы я еще там натворил?.. А вы крепкий паренек, я и не ожидал, на вас глядячи — как вы меня удержали, оторвали, вывели оттуда, я уж и не помню ничего — такая черная кровь ударила в голову! Вот она еврейская кровь! Верно профессор

сказал — крепкая кровь, как кислота! Я ему хоть морду-то разбил? Как он, бедняжка, студентам покажется? А если студентки? Вот конфуз! А мама, голубушка, и фамилию никак вспомнить не может? А этот севрский фарфор? Это во Франции, что ли, город такой Севр? Вы были, Костя, во Франции?..

— Лев Ильич, может, лучше мы утром обсудим эти проблемы? Вы в какой-то горячке, больны?

— Спасибо, Костя. Я вижу, вы человек благоразумный и твердый — в принципах и в поступках. А это первое дело, если проверять верность принципов — так нас и марксизм учит, прав профессор, что я на нем штаны просидел. Теория, она практикой проверяется — критерий, одним словом. Но что мне от того пользы — купил другие штаны, подзаработал на марксизме, купил — а где он теперь, марксизм, я имею в виду? То есть, он-то, может, и на месте. Я за ним не слежу да и штаны есть, а вот я где? Где я, Костя?..

Лев Ильич огляделся, мысль его летела, он и на минуту не мог ни на чем сосредоточиться, остановиться, будто сорвался с ледяной горы и только фиксировать успевал, что перед ним мелькало: едва успеет заметить, а оно уж мимо просвистит.

— Это ваша комната?

— Снимаю. Да нет, даже не я снимаю, а мой товарищ снял и уехал на год, я полгода живу и платить не нужно.

— От жильцов, — сказал Лев Ильич. — Это вот то самое и есть — от жильцов, так, что ли, в художественной литературе? А то я все думал — от каких же жильцов? Или такое русское выражение, а нацмену не понять? Он — нацмен, все равно нацменом останется, даже если и языка родного не знает, и спит только с блондинками, да свиной закусувает, а?.. Ничего вы его с ветчиной приделали, православие, скотина, защищает, прости меня Господи! Я уж тоже хорош, пост называется соблюдаю. Или смысл такой — ветчину трескать нельзя, а морду бить можно? Это ж тоже в русле народного характера — по Киреевскому и Самарину: помолиться, а потом морду бить дружку, который тебя наливочкой потчует? Да, большое благочестие, ничего не скажешь: "пшеница чистого благочестия" — так, что ли, говаривал тишайший Алексей Михалыч? Небесный домовладыка насеял ниву нашего православия пшеницей чистого благочестия, а завистливый враг всеял куколь душевредный... Опять слово нацмену непостижимое — куколь! Ну что может сие означать? А я еще в споры пускаюсь — самонадеянность какова, несомненно жидовская — куколь еще не превзошел, а уже Сашуню и вас порицаю... Да какая там благодать!.. — сорвался он вдруг и замолк, как об стену лбом его хватило.

Он теперь, уже трезвея, огляделся вокруг. Комната была небольшая, уютная, хоть и не слишком жилая. Форма, что ли, приятная — квадратная такая комнатуха об одно широкое окошко. Он

сидел на пружинном матрасе, брошенном прямо на пол. У окна правый угол весь в иконах — с полу до потолка был устроен иконостас, а сверху, с крюка спускалась лампада на цепях. Теплился огонек. Другой угол завален книгами. А мебели словно бы никакой — маленький кухонный стол, да не новый — современный, под пластиком, — а старенький, такие теперь валяются по помойкам — и на нем книги, рукописи, и венский стул с обгрызанными ножками — вот и вся мебель.

— Богато живете, — сказал Лев Ильич.

Костя не ответил. Он все такой же был — застегнутый, чинный, сидел на своем венском стуле, сигаретку курил. "А как все-таки он меня скрутил лихо, вспомнил Лев Ильич, молодец какой! Что б я еще там натворил? Да уж и так достаточно — что еще, убил бы? Или они б милицию вызвали? Могли б вызвать..."

— А что, Костя, мой друг серьезный специалист — ну в своей области я имею в виду? Я-то и не читал его сочинений.

— Три копейки цена. Библиотека у него хорошая. Даже уникальная. И книжки легко дает... Вас, вроде, отпустило? А то я уж думал, что с вами делать?.. Специалист! Это такая странная советская порода — я их про себя называю клопами, промышляющими на русской культуре. Вы действительно думаете, что ваш ученый друг много знает? Что за знания — какой в них смысл? По мне так лучше ваша живая путаница, нежели его основательность — к чему она приложима? Он вроде бы все прочел и все знает-помнит. Причем, вишь, какой высокой культурой окармливается — да не в коня, выходит, корм. Он не хочет, да на деле и не способен признать христианскую истину — она все его мироощущение в корне отрицает. Но тем не менее все свои умствования и построения основывает именно на христианских идеях. Вот в чем фокус этой новой породы. Понятия вечности, смирения, отрицания мира — это все для него, верно вы сказали, Вавилонская башня, а отсюда и жалкий национализм, настоящий вроде бы на православии, но настолько ему чуждый, как и иудаизм, скажем. И тем не менее, заметьте, — токует, он и академиком станет, и авторитет будет — как же, защитник и глашатай русской духовной культуры! И вот тут интересно, если б я занимался социальными или общественными науками, непременно бы исследовал этот феномен — в чем тут дело? По сути ведь нет в мире силы, принципиально более враждебной этому режиму. Христианство в корне, бесповоротно изменяет не только внутреннюю — всю внешнюю жизнь человека, он неминуемо становится в оппозицию к любому политическому строю, потому что этот строй обязательно стесняет духовную свободу человека, хотя до внешних преобразований христианству, конечно, нет дела. Но это — если власть имеет дело с истинным христианином, с верностью идеалу. Но когда остается одна шелуха, слова, под которыми ничего нет — тут и происходит

сближение, причем на почве самой внешней — ненависть к интеллигенции, к инакомыслящим, к тем же евреям. И эта нищета мысли, эта внешность куда как удобна власти, выгодна, самое оголтелое человеконенавистничество прикрывается тут видимостью чуть ли не нравственных идеалов — патриотизм, народность, история, культура. И тут Бог знает до чего можно дойти — да уж было, слава те Господи — вплоть до сталинских развлечений. Что говорить, не сейчас это произошло — сто лет назад, больше, завязался этот страшный конфликт, вся русская культура им перепутана. А сегодня это, пожалуй, единственный случай, когда на культуре можно подзаработать, и неплохо, как видите. Стол-то какой? А что до ветчины — помните анекдот про Филарета Московского?.. Как он, тоже так вот, в Великий пост пришел в дом, а там курица на столе. Хозяева, естественно, чуть не в обмороке. А он спокойненько так прошествовал к столу, ножку отломил и с аппетитом, похваливает... А вы как-то странно развиваетесь — быстро, но... Я с любопытством наблюдаю за вами — от встречи к встрече — откуда такая ортодоксальность? — интеллигент, из гуманизма, да еще с еврейскими комплексами — правее папы?

— Это уж не вы ль — папа?

— Тяжко вам придется, Лев Ильич. Я раньше думал, обойдется, укрепитесь, укоренитесь, если, конечно, вас какой-нибудь отец Кирилл не собьет. Но теперь понял — чем дальше, тем все хуже будет.

— Куда уж хуже, — сказал Лев Ильич, — тут такая карусель... — его опять начинало трясти. И Костя как-то странно сидел, и что-то в голове у него путалось — зачем он попал сюда, почему вдруг именно Костя его спас? Да и спас ли, так ли это называется? От чего спас — он уже и позабыл. Да и говорит вроде разумно, не согласиться нельзя, или что-то не сообразил Лев Ильич, но ведь помнил он, помнил, что именно Костя завел его совсем не туда — неделя только прошла... — Значит, в пост курицу с ветчиной не возбраняется, особенно, если заел горчицей — или Филарет без горчицы сжевал, чтоб хозяев не огорчать, молчит про то анекдотец?.. Значит, на православии можно и в погроме подработать, и у атеистов, — если предложить им идейку в традиции? Стерилизовать евреев для предохранения от загрязнения крови — за это можно академика получить? А Филарет Московский, если мне память не изменяет, один из столпов нашего православия? Или... А Флоренский... скажите, а Флоренский? Вы скажите мне только это, Костя, правду скажите, не солгите, а, Костя?.. — Льву Ильичу показалось, он повис, одной рукой еще цепляется, чуть держится за проволочку. Он видел, как она посверкивает перед глазами: медная, что ль, слабенькая... — мелькнуло у него. А если оборвется — там уж внизу развеселая шла гульба, знал Лев Ильич, что его там ждет.

— Да что вы заклинились на Флоренском? "Столп" этот, который вас, вижу, в такой восторг привел, — это вы у отца Кирилла, что ль, прочли, то, что я принес? Декадентские измышления, юношеские во многом. Не зря он потом в ГОЭЛРО служил, в те самые годы, когда в русских церквах комиссары из поповских детей — вот она благодать-то наследственная! — православный народ причащали самогоном, а Матерь Божию привечали матюгом...

— А... то, что он... Саша там говорил, он действительно... Флоренского цитировал?.. — тоненько так звенела проволочка в душе Льва Ильича: а за что ему еще оставалось цепляться — пустой он был внутри, такая черная зияющая пустота.

— Это всего лишь смешной эпизод. Существует такая переписка Розанова с Флоренским. Ну они там друг перед другом изощряются в ерничестве. Флоренский-то поглубже будет, то есть, остается при этом верующим, а уж Розанов — тот спокойненько сигаает в ту яму, смелости ему не занимать. Знаете что, Лев Ильич, я сейчас как хозяин проявлюсь, ложитесь-ка, завтра поговорим — вы совсем не в себе.

Он вышел из комнаты, тут же вернулся, притащил коврик, шубу, бросил все это на пол, а Льву Ильичу положил на матрас одеяло и подушку.

— Ложитесь, а я здесь, мне удобней на полу. Да я и хозяин. Спите, а я сейчас свет потушу...

— Значит, это он е го цитировал? — спросил Лев Ильич. — Вы мне скажите, это е го слова?

— Какие слова? Про то, что еврейская кровь замутила весь мир и что средство одно — оскопление?

— Да! — вырвалось у Льва Ильича: ломалась и трещала у него в пальцах та проволочка.

— Но он же добавил при этом, Флоренский, что это средство годится лишь при условии нашего отречения от христианства.

— Добавил! — захохотал Лев Ильич. — Неужто добавил? Ах, душка какой, прелесть-то наша — Столп! Добавил! Во как жиды допекли! Чего ж еще от советского православия ждать?.. Да пропади они все пропадом!..

И он разжал пальцы, и ухнул вниз, и все закричало в нем, и вокруг него, и он поразился даже, какое это наслаждение — губить себя, гробить — ему и с женщиной так никогда самозабвенно-отчаянно не было. "Эх!.." — кричало в нем.

... Такой странный свет был в комнате, Лев Ильич все понять не мог, откуда он падает — не из окна, вроде бы. Лампадка чуть освещала иконы перед собой — лики не разобрать, а свет словно бы снизу, рассеивался из-под стула, на котором по-прежнему восседал Костя, а сам был в темноте. Странно как-то сидел, знакомо-странно: верхом на стуле, ноги выбросил вперед, переплел, а руки, видно, назад спрятал. Лицо Лев Ильич с трудом различал, но явно ухмылял-

ся, зубы скалил.

— Чего смеешься? Доволен? — спросил Лев Ильич.

— Да, много ты мне сегодня доставил удовольствия, я хоть и ожидал чего-то такого, но — спасибо, утешил!

— Ты мне такую штуку разъясни, — Лев Ильич рад был, что он его больше не гонит спать, какой сон, когда поговорить охота, — как ты вдруг оказался у Сашуни и как раз в тот момент, как я зашел — ну не специально ли, признайся?

— Да уж как не специально. За тобой и притащился.

— Так и думал, дрожь пробрала, как тебя увидел. А почему вдруг притащился? Что за надобность такая, забота обо мне? — Лев Ильич знал, что он ответит, но мучительно-сладко было, чтоб он подтвердил его ожидания.

— Фу, какой прилипчивый! Даже и недостойно тебя. Элементарный ход. Я притащился! Скажешь тоже. Это ты ко мне бежишь, вон, с самого того воскресенья, как с отцом Кириллом рассоплился. Прямо с того момента и кинулся ко мне бежать, и в ресторан, и на похоронах, на поминках, с Танюшей чуть было не позабылся, Лидочку пощупал — ну а дальше, когда в тебе еврей заговорил, а тут еще кровь...

— Какая кровь? — Лев Ильич даже глаза закрыл от сладкого ужаса.

— Да ладно уж со мной кокетничать — "какая"! С одной стороны, все человечество запакостили своей кровью, а с другой — квас-то как тебя ловко облапошил! Чья доченька — еврейка или русская?

— Она моя, — сказал Лев Ильич. — Пусть трижды его кровь, я не мальчик, ты уж так-то не забывайся. Это я бы раньше себе голову на этом разбил, а теперь, в пятьдесят лет, кое-что понимаю про жизнь. Да я про это и думать не хочу, не то чтоб с тобой разговаривать.

— Однако говоришь. Вот тебе и русский Иван. Ты его всегда за человека не считал, так, для некоего допинга возле себя придерживал, а оказалось — это он тебя, а не ты его. Вернее, он ее, а уж тебя и не знаю кто...

— Я ведь могу и морду набить, — сказал Лев Ильич, только лень ему было шевелиться.

— Да брось ты, морду! Чтоб ты драться начал, тебя долго надо заводить. Другой бы на твоём месте после первого же "здравствуй" — "прощай" сказал. А ты ждал, пока полную рожу не наплевали — за негров, вишь, обиделся. А чего за евреев не обижался? Ты кто будешь по нации?

— Православный я, — сказал Лев Ильич.

Костя расхохотался.

— Ну, уморил! Как ты сказал?.. Ну не уникальный ли ты экспонат, прямо в окна ТАСС тебя выставлять на всеобщее обозрение,

даже никакой подтекстовочки сочинять не нужно! Тому пареньку в ковбеечке внушал, что русский — Пушкин, бережок с осокой; старику, давно из ума выжившему, прямо для душегубки! — верно, православным представился, со смирением принимал поношения — да ведь и от трусости тоже! Перед поганым актеришкой эдаким мудрецом изгилялся, у Танюши в спальне все праотцев вспоминал; дома матадором прикинулся — настоящим мужчиной. А у своего профессора оказался нормальным жиденком — за русскую культуру все цеплялся, лучше бы Бар-Кохбой фигурял! Ну кто ты такой после всего этого?

— Я тебе сказал, — Лев Ильич начал сердиться. — Ты меня не собьешь второй раз!

— Во второй раз? Да тебя и сбивать не нужно. Ты сам давно сбился. У меня такой легкой командировки сроду не бывало, всегда мозгами приходилось шевелить, а тут день приезда — день отъезда — деньги на бочку.

— Много ль за меня получишь?

— Да знаешь, как ни странно, ты там — у нас ценишься: евреи, перекарасившиеся в православие, нынче в цене. Потому, если с тобой поработать, мозги тебе прочистить — а тут, как ты видишь, труда много не надо — ты такое в этой церкви натворишь, ну что ты, этому Саше и не снилось! Да ему плевать, это все словоблудие под ветчинку, что он, за православие, что ль, переживает? Ты много кой-чего можешь натворить.

— Скучно с тобой, — Льву Ильичу, и верно, стало вдруг скучно.

— Ничего. "Вся тварь разумная скучает", — как классик по близкому поводу заметил. И кто верит, и кто не верит, и кто наслаждался, и кто не успел, и всяк зевает да живет — всех вас гроб, зевая, ждет!

— Ну вот, я думал, ты что-нибудь новенькое скажешь, только мне от тебя стихов не доставало. Ты мне еще про запах повтори.

— А что? Признайся, тебя ж не Флоренский с ног сбил, не за негров ты вступился — тебя этот запах и сокрушил. Это, между прочим, закон художества — нелепость, она гораздо сильнее действует, ее и опровергнуть невозможно. Ну как ты опровергнешь? Нет, мол, ничем я не пахну — понюхайте! А он принюхается и скажет, извиняюсь, мол, не хочу вас огорчать, но — пахнет, и мне тот запах омерзителен. Вот ты и проиграл.

— Да я и говорить про это не хочу.

— Да все ты врешь — хочешь. Ну давай об заклад побьемся, что будешь разговаривать?

— Какой же заклад, когда мне и ставить нечего. Весь я перед тобой. Разве ботинки рваные.

— Так-то самоуничижаться едва ли уж и следует. Перебор.

А душа твоя бессмертная — она чего-то стоит, или ты и в этом усомнился по причине, так сказать, обонятельной? ”Нюхает — знакомый дух!”

— Это еще откуда?

— Здравсьте! Русский, бережок с осокой — ты уж вроде своего академика — всех перечисляешь, щеголяешь эрудицией, а сами тексты не читаешь, что ли? Пушкина не узнал?

— Ну ты еще Баркова вспомни.

— Фи! — как сказала бы мама Александра Юрьевича. Пушкин, он всегда Пушкин, хоть про царя Никиту, хоть про Матерь Божию...

— Так и знал, что кончишь ты пошлостью.

— Нет уж, извини. У нас разговор вполне серьезный, я не зря, готовясь к командировке, перелистал всего классика. Что, думаешь, так просто цитирую, эрудицией тебя намереваюсь подавить — я не твой профессор. Оставим-ка мы Александра Юрьевича в покое, там еще папенька несомненно подрабатывал на атеизме — что ж требовать от его несчастного отпрыска, когда ему главное поддержать тот уровень, чтоб маменька и не заметила, что папеньки давно нет — на ветчину от Елисеева надо заработать? Да и отца Павла великую тень не будем тревожить. Когда вокруг идет гульба и, говоря словами того же поэта, два яблока, что висят на ветке дивной, дверьми зажимают или могут невзначай наступить на них сапогом — тут уж не только в ГОЭЛРО кинешься! Судить нам не велено. Но вот наш гений, шалун, он-то уж с молодых ногтей ходил к причастию, на позлащенные оклады любовался, елеем да мирром его умащали. Он ведь и Святых Отцов почитывал, и в историю государства российского погружался — для него это никогда не было пустым звуком, в обморок не впадал, чтоб потом оживать, как некоторые его коллеги из выкрестов. Вот где фокус, или, говоря по-научней, православный феномен. Одной рукой, так сказать, ”Отцы пустынноики и жены непорочны”, а другой — ”меж милых ног супруги молодой” — вот чему удивляться! Ну представь себе, уж непременно по воскресеньям к обедне, в пост — говенье, высокие споры с Чаадаевым, Гоголем, тем же Киреевским, размышления, уж наверное, хоть и не нашел у него, про богоносность — ”спасенья верный путь и тесные врата”. Не Саше твоему, одним словом, чета — умнейший муж России. И прочее, и прочее, и прочее. И вдруг — да не мальчиком, не в лице — в расцвете: ”Иосифа печальная супруга”, ”ленивый муж своею старой лейкой”, ”легкий перст касается игриво до милых тайн”, ”невинности последний крик и стон”, ”от матери проказливая дочь берет урок стыдливости покорной и мнимых мук, и с робостью притворной играет роль в решительную ночь”, ”грешит — прелестна и томна”, мохнатый белокрылый голубок ”над розою садится и дрожит, клюет ее, колышется, вертится, и носиком, и ножками трудится”, и то как ”колени сжав, еврейка закричала”, и то, как досталася ”в один

и тот же день лукавому, архангелу и Богу"... Что, как дети говорят, умылся? Это все знаешь про кого стишки — напомнить? — про Матерь Божию!

— Я не пойму, хоть все это и омерзительно, ушел бы, да сил нет вставать и деваться некуда, не пойму, зачем ты меня этим травишь — пакостью этой?

— Ах, не понимаю! Ах, какие мы добродетельные да благочестивые, ну прямо Танюша — вот-вот из-за стола вспорхнешь!.. А затем, хотя бы, что твоя трагедия — чепуха! Подумаешь, страдания — твоя дочь или твоего друга, русская или еврейская у ней кровь — все равно она твоя, а прочее для тебя неважно, ты ж в душе интернационалист! А здесь: Всевышний-то "как водится, потом признал своим еврейской девы сына"!.. Что скажешь? А ведь не Евтушенко какой-нибудь сочинил, не из нынешних еврейчиков — героев-безбожников с русскими псевдонимами, или гордящихся своим еврейством, не скрывающихся — если, конечно, такие есть, я не большой специалист, Саша их сразу все равно разнюхает!.. Ладно, ладно, не сердись, не кидайся. Возвращаюсь к литературной теме. Не нынешние рифмоплеты — Пушкин это сочинил — солнце русской культуры, искони замешанной на православии!.. Все еще не понимаешь?.. Иль придуришься, хочешь, чтоб я тебе на пальцах разъяснил? Неужто, думаешь, я из одной пошлости повторяю тебе все эти непристойности о Божьей Матери, да я б даже и не осмелился, у нас, между прочим, тоже строгости, духовная цензура имеет место. За бессмысленное богохульство могут сурово наказать — лишат, к примеру, премиальных на весь год, будешь христорадничать или у серафимов-херувимов на побегушках... Ну что ты — здесь своя идея, весьма живая для тебя, как я понимаю — в самую точку... Ты чем сейчас сокрушен — если уж мы всерьез разговариваем?

— Чем, по-твоему? — Лев Ильич, и верно, не знал "чем", да какое там сокрушение, когда он давно, казалось ему, потерял человеческий облик, одна слизь здесь оставалась.

— То есть, может, это все вместе, накапливалось, тут и ботиночки прохудились, и деньжонок нет, и ночевать негде, и с дамой переспал, а поступаешь не по-джентльменски, — даже не позвонил, и жена, как выяснилось, одна, так сказать, в отсутствии супруга не скучает, и дочка — не то дочка, не то не поймешь кто тебе — в каком-то вы странном родстве... Все так, несомненно, влияет. Но тут другое дело. Ты уж такой идейный человек, для тебя идея — вот что дает крылья. Понял я — тебя даже не подмоченность православия сокрушает, это ты спокойненько глотаешь, одна мечта, говоришь, подумаешь, мол, недостаток благочестия, богохульство! Ну да, тут ты себя утешаешь: искусство, мол, имеет много гитик, у гения есть право на эксперимент, Бог поругаем не бывает — тут у тебя много лукавства в запасе, понимаю. Но есть и идея — вот ты чем горишь...

— Ну не тяни, — заинтересовался было Лев Ильич, даже глаза раскрыл пошире и в неверном том свете на Костиных брюках опять различил ту же клетку. "Вот пакость, подумал он, униформа, что ль, у них?"

— Злиться-то зачем? — явно издевался Костя. — То и говорить не хочешь, а то вдруг — "не тяни"? Я знал, что разговора не остановишь, надо было мне, конечно, у тебя заклад какой выудить — да не душу! — душа там, где ей и положено, а чего ни то поматериальной!

— Да я сейчас сморгну, — сказал Лев Ильич, — тебя и не станет. Это все чушь какая-то.

— Чего ж до сих пор не сморгнул?.. То-то что не чушь... Видишь ли в чем дело, — важно так сказал он, — здесь опять придется обратиться к нашему классику. Дело вот в чем...

— Что-то мне кажется, ты еще и не придумал, про что собираешься говорить?

— Эвона! Не придумал. Да я как только тебя увидел давеча в кабинете перед академиком, так все сразу про тебя понял, чего, разумеется, с самого начала не знал. Да здесь и хитрости никакой нет — у тебя это на личности написано. Ты вот все в любви России клянешься — и поэзия, и женщины, и земля — до православия включительно. Неужто, думаешь, эта твоя любовь дорогая? Да любить, между прочим, каждый может, даже тот, кто и не способен на это — вот в чем парадокс-то весь. Тебе и яблоки эти райские зажмут дверь, а ты все верещать будешь — люблю, дескать, хоть совсем мне оторвите, буду любить. Да я таких, прости уж за термин, вроде тебя жиденят навидался. А меня едва ли в антисемитизме заподозришь. Ну одним словом, чудеса. Почему, зачем, чего им приспичила эта любовь — тут и разбираться не пытайся, потому они все равно не объяснят — поговори с ними! Нам, мол, и снег дорог, и лагерь на Колыме, и что морда заплыванная, в крови — а другого рая не хотим. Тут даже и не интересно, потому глупость. Пусть себе любят! Но ты вон какой феномен объясни: почему они себе такого позволить не могут, чего Пушкин разрешал? Ты ж не усомнишься, как бы сейчас в своем раздражении ни был ослеплен, что уж Россию-то он знал и любил поболее, чем десять тысяч всяких еврейских братцев? А что такое для русского человека — самого темного и забитого — Божья Мать? Да и христианин он был. Это мы с тобой "Гавриилиаду" прочитали, концепцию строим для собственного потребления, ну если все им написанное прочитать — да не "Отцы пустынноики" или "Странника" — все подряд, там сама структура насквозь христианская, более того — православная. Но ведь позволил себе! Или Розанов, которого ты не знаешь, к своему стыду, а между прочим, гениальный писатель, это уж мнение не мое — общепринятое.

— Да знаю, — буркнул Лев Ильич. — Читал. Мало, но читал.

— Да? Вот скромник! Чего ж у Саши молчал? Ну тем проще. Уж такой был русский человек, и так весь углублен в православие и им просвечен, но — гулял над бездной, не только не боялся, но нарочно, другой раз, ниточку привяжет за ноги — подержите, мол, кому охота, а сам на самое дно опустится — не робел, что оборвется. Это что — то, что тебе твой профессор излагал, пустяки, там пострашней кое-что есть. Хорошо, коль знаешь. Или был такой Печерин, современный Пушкина, стал монахом в Европе: "как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья" — во как брякнул. Кто бы так из нацменов, как ты говоришь, осмелился сказать про Россию, пусть он тут десять поколений имеет? А Чаадаев?.. Вот в чем фокус-покус. И это, уж поверь, подороже той любви — в ней лишь бессмысленная экзальтация да пустота: скажи тыщу раз "люблю" — согрешь, что ль, кого?

— Что-то мудрено говоришь, — действительно не мог взять в толк Лев Ильич.

— Все не понимаешь? Или понять не хочешь? Ты давеча на "запах" обиделся — ну скажем, бестактность, да и не слишком прилично к столу. Но ведь и тут истина есть. Ты, вон, пытался несчастного Володу в ковбеечке убедить, что ты русский, он тебе, разумеется, не поверил, да рукой махнул — какой из тебя солдат, оставайся тут гнить, жалко, что ли. Но сможешь ли ты когда-нибудь, хоть вроде бы и во всем русский, чтоб о России, о православии рассуждать так, как Пушкин или Розанов могли себе позволить, чтоб в тебе не было и грамма подбострастия, жалкой, рабской той любви, которая в глубине — пусть далеко и уж так запрятана, что и сам не найдешь, да мне то видно! — в глубине этой самой лепечет: "да я такой же, такой!" Вот в чем тут дело. А потому тебя всегда будут считать чужим, хоть бы ты себе и рожу займел любую другую, хоть ты в лаптях ходи до самой смерти, зарабатывай тем, что плети лапти, хоть кроме кваса да лебеды и не лопай ничего. И нечего обижаться. Ты знаешь, почему обиделся? Да потому, что никакой ты не русский, и не еврей, а всего лишь интернационалист, вчерашний пионер. "Все люди братья!" — вот что в тебе с молодых ногтей гремит и покоя не дает. "Все люди братья!" — а они не хотят к тебе в братья — вот чудо-то. А ты уж навиваешься, хлопчешь, подлаживаешься, ловчишь, водку не закусываешь! — а что толку? Тот старик верно тебе сказал о евреях: один купил "жигули", но позабыл то, чего забывать не след, что нельзя еврею пьяному садиться за руль, не положено, еврейская трусость не зря придумана: что русскому здорово, то жидам смерть!

— Ах ты, сволочь, гниль! — Лев Ильич нашарил в темноте мокрый ботинок и запустил в него.

Грохнуло, зазвенело, он в темноте ничего не мог сообразить — все не утихало. Сбросил одеяло, жарко ему было, душно.

Щелкнул выключатель: Костя стоял перед ним в трусах, с

крестом на волосатой груди, моргал глазами, недоумевая.

— Да это сосед. Он в ночную смену работает. Возвращается и считает долгом возвещать о своем появлении. Как же — класс-гегемон! Ничего не сделаешь, да я тут и не прописан... Это вы, что ль, ботинком зафутболили?

Лев Ильич не ответил. Он увидел прямо перед собой стул, а на нем Костин пиджак и штаны, свисавшие на пол. "Господи, подумал он, какая во мне сидит пошлая литература, но однако ж литература, а больше и нет ничего..."

10

Лев Ильич боялся пошевелиться, чтоб не разбудить Костю. Так и лежал с открытыми глазами, прислушивался к себе. Уже рассвело, город за окном давно проснулся, идет там нормальная жизнь, а у него — Льва Ильича явно и жизнь, и мозги набекрень. Он с ужасом, с содроганием вспоминал вчерашний день: чудовищный разговор с Иваном, Надю, вцепившуюся ему в пальто, крик Ангелины Андревны и этот ночной кошмар. А ведь прав Иван — как бы до больницы не добраться. И так все сразу станет просто, все на своих местах: Феликс с Вадиком Козицким навестят, апельсинов притащут, новый анекдот приволокут, а он им потешную историю о своих однопалатниках, Таня — бутылку кефира, а может, цыпленочка-табака зажарит, да и Саша заглянет как-нибудь мимоходом, по дороге в университет на лекцию — передаст домашнее печенье Ангелины Андревны, о чернявой врачихе вместе пошутим... А может, оно и верно, может, в этом истина, чтоб жить как все — ну чего ты так уж выделиться захотел? Не зря ж, только выделился, сразу все и навалилось, а так жил себе — не хуже людей, ну были — как же! — свои недоразумения, но до такого-то свинства никогда не доходил. Не в той ли твоей попытке начать придуманную новую жизнь и заключена вся причина... "Причина чего? — спросил он себя. — Что, Иван только в эту неделю появился, а трагедия с Надей, коль она существует, а не просто бред какой-то, а с Любой вся катавасия, а Саша — что, он другим, что ль, раньше был?" Ну хорошо, все это и без того было, было, но жить-то не мешало? Существовал себе милый, тихонько стареющий человек — некий Лев Ильич, были у него добрые друзья-приятели, славный дом, уважение на службе, книги почитывал, водочку попивал, за дамами в свободное время ухаживал, откликался, когда кому плохо бывало, не жадничал...

— Ну что тебе надо-то от меня?! — выдохнул он неожиданно для себя вслух, так и не поняв, кому это "тебе" — к кому он

обращается.

Костя повернулся под шубой и глянул на Льва Ильича ясными, будто и не спал, глазами.

— Пробудились? Ну как?

— Перед вами стыдно. Да уж за вчерашнее ладно, вот, и ночью спать не давал.

— Покаяние — первое дело, только у вас оно, гляжу, прямо профессиональ становится: стыдно, совестно... Что ж мне, выгонять, что ль, на мороз, когда не в себе? Эх, Лев Ильич, отдались бы мне в руки, я б вас наставил на путь истинный... Впрочем, я зарок дал, хватит с меня, больше ни на кого не стану сил тратить — пустое все. Последний раз — вон, мы встретились в поезде — ездил к своему, прости меня Господи, ученичку. Хватит.

— А вы точно знаете этот "путь", может, и у вас не туда дорога?.. Или да, позабыл, у вас все несомненно. Тогда жалко, конечно, что разочаровались в человечестве.

Костя уже встал, натянул штаны, вытащил свою постель, вернулся.

— Давайте, пока гегемон спит — он теперь до полудня провалиется, если брюхо не заболит — жена и мальчонка ни свет ни заря ползком умотались, чтоб кормильца не потревожить. А мы сейчас кофеечку сварганим... Хотите побриться?..

Они сидели за столом посреди комнаты, Костя сдвинул к краю книги, рукописи, притащил табуретку, кофе в кастрюльке, аромат пошел по всей комнате. Хлеб да сахар поставил. Лев Ильич побрился, вроде полегче ему стало — день начался и слава Богу, что бы там ни было. За окном валил снег — вот тебе и весна, ну да только уютнее от того становилось...

"А почему он не может так жить? А как так?" Встал, помылся, кофею сварил и... То-то, что "и". Дел-то — встать да умыться, уют организовать, то-то и есть, что главное дальше, когда твоя свобода начинает действовать, первые эти движения, они и у кошки есть...

— А вы чем, Костя, занимаетесь?.. — благодушно спросил Лев Ильич, но вспомнил, что он так его однажды спрашивал, а тот рассердился. — Я просто вашей комнате позавидовал, — заспешил он, — и такой отрешенности: стол, книги и никого.

— А вы попробуйте, — ответил Костя, его ж собственную мысль сформулировав иначе. — Тем более, и комната чужая, и стол не мой. Тогда уж своему вчерашнему дружку завидуйте, там все свое да и качеством повыше — и комнатуха, и стол, и книги.

— Ну коли сердитесь, можете не отвечать. Простите.

— Да нету никакого секрета. Встаю, вот эдак, пока тишина, до полудня читаю, думаю, кое-что записываю. Потом приходится уходить — гегемон, проснувшись, первым делом включает радио на полную мощность, телевизор — все детские передачи смотрит, и еще, од-

новременно, магнитофон. Тут такое начинается — никакого смирения не хватит. И это не для того, чтоб мне досадить — для самоуслаждения. Ну а вечером опять: книги, размышляю.

— И давно вы так?

— Как?

— Такой образ жизни ведете?

— Да уж лет пять.

— Ну а... простите — кофе, хлеб?

— Ах, вот вы о чем? Ну этот мизер сегодня не проблема. Порой приятели из института, где я когда-то работал, реферирование подбросят — день, другой повожусь, месяц живу, а то еще что-то. Жалко, языков не знаю — тогда б и вовсе думать не о чем. Проблема ветчины существует только у нашей интеллигенции, отсюда все их высокие страдания: что можно продать за ветчину, а что, вроде считается, нет. То есть, продать-то все равно, конечно, продают, тут сомнений не существует, но по поводу чего надо покомплексовать, чтоб самому перед собой не так было совестно, да и ореол переживаний как-никак.

— Так вот... один и живете?

— Уж не откровенности ли вы от меня хотите услышать?

— Простите... А дальше?

— Куда дальше?

— То есть, вы так всю жизнь намереваетесь?..

— Вы имеете в виду, как я собираюсь реализовать свое такое вот существование? А я его уже реализовал. Вы знаете что-нибудь про живой опыт, умное делание, созерцание, тайные посещения Духа? — Костя допил кофе и закурил сигаретку.

— Что вы — куда мне до таких глубин.

— Ну вот так-то, — глянул на него Костя. — А когда такое с тобой происходит, неужто можно про что-нибудь иное думать, прикидывать или строить планы на будущее? Здесь все не от меня зависит.

“Кто из нас сумасшедший? — подумал Лев Ильич. — Впрочем, что я про это знаю...”

— И все-таки даже вы, с тем, что с вами происходит, не можете отрешиться от мира. Ну скажем, “гегемона” не замечать?

— Не могу, — ответил Костя и не улыбнулся. — Думаете, поймали меня, и я завяну от такой белиберды? Да нету, не может быть святого, которого бы не настигали испытания, а стало быть, сомнения, искушения. В том и дело, что они не напрасно посылаются — вразумляют и очищают. Мне это просто легче, чем другим, — скромно заметил он.

— “Гегемон”, положим, не такое уж испытание, тем более, вы нашли выход — взяли да ушли погулять. Бывают, конечно, пострашней...

— А что вы про это знаете — что со мной бывает?.. Ладно, — резко оборвал он. — Вы на своем еврействе споткнулись, кикнулись, как

нынешние молодые люди говорят, так думаете, это действительно серьезно?

Теперь Лев Ильич на него повнимательнее посмотрел: хорошее лицо, только глаза больно горячи — умные, пронзительные даже, но больно горячи, будто и не добрые, уж очень своей идеей одержим.

— По-вашему, пустяк, что ли?

— Да вы крещеный человек или нет? — вскинулся Костя. — В Господа Иисуса Христа, в смерть Его крестились, или чтоб, уж и не знаю, правда, зачем, православным прослыть? Ну карьеры тут быть не может, мода, вроде бы, тоже к вам отношения не имеет... Тогда зачем — для душевного комфорта?

— Не пойму вашей горячности, — смотрел на него Лев Ильич.

— Горячности? Это ж вы мне на благодать все указываете, которая и тут и там — а в церкви — ну хоть со щами ее хлебай! Какая благодать, когда стоило какому-то ученому приспособленцу перед вами перья распушить — какой-то винегрет из мелкотравчатых идей и рассуждений, — а вы тут же скисли, ну дали ему в морду, хорошо, а можно бы плюнуть да забыть. Но вы ж в альфе и омеге усомнились! А почему, знаете, почему?

— Почему? — спросил Лев Ильич.

— А потому, что не туда вы крестились, а про благодать в связи с этим и говорить нелепо. Теперь, вы, вон, со своей еврейской обидой нянчитесь, а накануне, да еще вчера, вас русская идея воодушевляла — прямо летели! Да какая идея? Что вы к России-то привязались? Этот краснобай вам вчера все русские подвиги перечислял: в семнадцатом веке "Добротолюбие" перевели, творения Святых Отцов, еще там что-то. Ну да он за это деньги получает — перечисляй. Великий подвиг! Семнадцатый век! А кто написал это "Добротолюбие", да ведь не в семнадцатом веке — поране, а кто были Святые Отцы — уж не русские ли? Небось, греки. А Киприан — не болгарин ли? Он бы еще вспомнил, какая хлопотня уж в девятнадцатом веке началась с переводом Библии на русский язык, какие споры-дискуссии, какая мышьяная возня — кому можно давать читать, кому нет, только ли духовенству, мирянам ли... Может, и Библию в России написали? Так чего вы расплакались, чем тут есть гордиться? Если уж вам непременно национальную гордость охота испытывать, так по мне лучше евреем быть, чем русским — тут стыда да сраму не оберешься...

"Батюшки! — вздрогнуло что-то у Льва Ильича. — Так он же ночью мне тоже самое толковал — про то, кто имеет право... Кто о н... — ужаснулся Лев Ильич. — Сейчас это ведь Костя!..."

— Погодите, Костя, — сказал он в недоумении, — откуда вы знаете подробности о нашем с Сашей разговоре — Киприан, творения Святых Отцов? Вас тогда еще не было, я помню, как вы пришли?

— Помните? — сощурился на него Костя. — А о чем по дороге

лепетали, когда я вас тащил — позабыли?.. Или чьи-то слова повторяете, извините, как на митинге: "Благодать от Сергия летит прямо через пять веков к Серафиму, а за пять веков на ком-то она почила..." Так, что ли, я вас цитирую — это сам слышал. "Почила!" Да уж, конечно, почила. Свет и в нашем жутком мире светит — в том и обетование Господне, но Россия тут причем, русские?

— А кто ж Сергей был или Серафим? — уже в страхе спросил Лев Ильич.

— В том-то и дело — кто? Рабы Божьи, христиане, святые люди, а не русские, мордва, черемисы. Вы уж тогда размышляйте не о проблемах христианства, отправляйтесь в какой-нибудь наркомнац — было такое, помнится, учреждение, где Сталин наркомом... О чем речь — я никак в толк не возьму? И вы еще это искушением называете?

— Что ж, по-вашему, проблемы национальные — не живые проблемы, разве случайно все на них спотыкаются, а сколько крови через ту кровь пролито...

— Да мне-то что до нее! — крикнул Костя, — мало ль за что люди друг другу глотки перегрызают? Вот я вас потому и спрашиваю — крещеный вы или так, время проводите?

— Крещеный, — сказал Лев Ильич. — Только я в православие крещен, и для меня церковь та, что вон, где-то за углом, быть может, в переулке стоит. Пусть ободранная. И священник в ней — не святой, а такой как я — грешный и несчастный человек, и те ж проблемы каждый день кидают его на землю, когда он молит Христа или Матерь Божию о заступничестве, о том, чтоб дали ему силы справиться с ними.

— Ну пошли-поехали! За углом, Христа он молит. А если ему Христос не даст о чем он Его просит — да уж наверное не даст! Куда он побежит? Что там еще за углом, приглядитесь-ка? А там дадут и много за это не попросят — тридцать все тех же серебряников — цена не изменилась!

— Так о том и благовест, — чуть успокоился Лев Ильич, это уж он понимал. — Все те же проблемы у людей и люди все те же.

— Нет, не о том благовест, — сказал Костя, — не для того Господь принял на Кресте муку, чтоб оправдывать эти ваши мерзости, и не для того дары существуют, чтоб эдак ими распорядиться. Вы за угол намерены бегать: как же, несчастная русская церковь — ее Троцкий расстреливал, Сталин сперва рассеял по лагерям, добивал, а потом кой-кого приголубил, растлевал, Хрущев опять навел шороху, да и теперь та же игра — за веревочки дергают. Несчастная церковь — святая, гонимая! Вы там, у своего ученого приятеля, что-то о расколе говорили, стало быть, знаете, читали, хотя слова у вас пустые, литературные: надрыв, раздвоенность, антихрист, апокалиптика... Этими, что ль, словами думаете, можно выразить тот ужас и па-

дение богоносного народа и его духовенства в том славном семнадцатом веке, когда этот "надрыв" и "апокалиптика" проявились? Может, мы вещи своими именами назовем, вспомним, что тогда происходило — без Троцкого и Сталина, без Петра и чудовища Феофана — само собой, в той самой церкви, на которой благодать, которая, по вашим словам, все летала над этой, прости Господи, территорией, на ней же и опочила? Ну давайте, вспомним...

— Вы о чем, Костя?

— О чем? Да о том, что не было мерзости, которая бы не расцвела в том богоносном народе — а вы это мило называете "надрыв" и "раздвоенность"? Бесчинства, пьянство, надругательство над святыней, кощунственные языческие игры по христианским праздникам, драки и самоубийства, брань, растление, самый безобразный блуд — крещеных с некрещеными, сестрами да кумами, а иные, как современник говорил, и "на матери своя крестная и на дочь блудом посягают". Жен отдавали в заклад, а коль не выкупят в срок, те с ними блуд творят беззорно, а там и дальше перепродают. Это, так сказать, в мирской жизни. А в церкви — в той самой, что за углом? Бога от иконы не отличали, верили любой нелепости, волхованиям — а ведь семнадцатый век — не десятый! Ко причастию не ходили годами, десятилетиями, духовных отцов не имели, в храмах ругались, а то и дрались, похищали церковную утварь из храмов, пастырей поносили, избивали, а то и умерщвляли. А само духовенство что творило, напомнить?.. И венчали не по христианскому обычаю — просто за деньги, в монастырях жили в блуде, в монашествующих кельях свободно бывали женщины, а в женских монастырях мужчины, да не в сектах, уж про то что говорить, — в православии! А уж образования-то в духовенстве! Один игумен у другого спрашивал, когда жил Илья-Пророк — до Рождества Христова или после, и прочее. А уж пьянство, которое на Руси всегда было, но ведь в среде духовенства — особо! В прославленных монастырях шло непробудное пьянство, а к чему это вело, догадаться не трудно, монахи уходили из монастырей, бродили по городам, бесчинствовали. А какое воровство процветало в монастырях, а сколь, мягко говоря, сребролюбивы были попы да высшие иереи... И так далее. И тому подобное. Что, забыли или не читали? А ведь это я вам сообщаю факты, собранные не заезжим злопыхателем, не каким-нибудь де Кюстином — отечественный свод, с самыми патристическими охранительными идеями собиралось, чтоб доказать, как, несмотря на отдельные безобразия — это и раньше эдак-то писали! — все де благочестиво в этом королевстве...

Лев Ильич молчал. Он далеко-далеко опять услышал тот смешок и боялся шевельнуться, чтоб не напомнить о себе.

— Странно как, Костя, — выговорил он наконец, — откуда в вас такая неприязнь, недоброжелательство, злорадство?

— Откуда?.. Может ли по-вашему древо злое плоды добрые

творити? Вот вам ваша Россия и ваше православие, вот вам и церковь за углом. Да что Россия, вы меня еще в русофобы запишите — а там, на Западе? Не зря ж все — от Боккаччио и Рабле до Анатоля Франса и, простите, Мопассана — все о том же, о том же все самом! Кто греховодник, пьяница и плут — не аббат, не кюре?

— Что вы всем этим... хотите?.. — такая тоска опять взяла Льва Ильича за горло: вот тебе и уютная комнатка, снег за окном, кофе на столе... — Что наше духовенство не на высоте, отстало? Так еще Пушкин об этом писал — что из того? Но разве он обвинял в этом кого-то, а не себя, не так называемое общество, не принимавшее священника за то, что он носит бороду, кинувшееся в Вольтеры, а потом и в Белинские?.. Разве не Россия такой страшной ценой действительно спасла Европу, христианство от монголов? Что ж, что факты говорят вам о страшном падении, есть и другие факты, да в то самое время, о котором вы говорите, — а святость, а религиозная идея монархии, а раскол? Тот же Пушкин заметил: а разве Христос не родился евреем, разве Иерусалим не был притчей во языцех? Но Евангелие от этого разве менее изумительно? Зачем же вы собираете, подбираете эти свидетельства, якобы правду — что она вам говорит?

— А то что правду забывать нельзя, смотреть ей в лицо, а не закачивать себя красивыми словами и поэтическими образами. Пушкин! — отмахнулся Костя. — Вспомнили! Священник с бородой... Все плохи! В этом, что ль, дело? Но вот когда вы глянете этой правде в глаза, первый испуг пройдет, и вы сможете спокойно думать и рассуждать — да не кухонными, житейскими иль поэтическими соображениями, а начнете серьезно мыслить, тогда перед вами и забрезжит тот путь, о котором я толкую. Да уж не толкую, нет, я больше ни с кем не говорю, это вы меня сегодня вынудили, потому что все, вроде бы, есть в вас, чтоб понять, но так вы сопротивляетесь, но так уж цепляетесь за то, что только и погубить вас может... Ну очухались, готовы?

Костя стоял спиной к окну — и так темно было, пасмурно, а тут и совсем лица не разглядеть, и это почему-то пугало Льва Ильича, но он все не мог решиться передвинуться со своей табуреткой, шевельнуться, чтоб не разбудить в себе того, что он уже чувствовал, просыпалось в нем.

— В человеке существует некое чувство, которое и делает его человеком по преимуществу в отличие от всякой другой твари, — начал Костя, как лектор. — Назовем это чувство космическим — так оно принято и я его так называю. Это чувство, которое дает человеку возможность ощутить его личную связь со всей вселенной, ощутить Божий Промысел в каждом событии, происходящем с ним. Есть в человеке и другое чувство, ему противостоящее — тоже в мире твари уникальное — чувство рассудочности, рационалистичности, ко-

торое в наше время стало преобладающим, хотя, казалось бы, наоборот, развитие науки должно обострить в представлении человека именно первое чувство — космическое, ибо превращение первобытного хаоса в стройную систему мироздания — до строения атомного ядра и молекулы живого вещества включительно, есть самое невероятное из чудес. Преобладание рационализма — аномалия, но именно ему средний человек и оказался подвержен. Средний, ибо genialность всегда видит здесь тайну. И вот я, в силу случайности или промыслительности — это уж как вам будет угодно, счастливо сочетаю в себе эти два чувства, могу не просто объединить их, но и объяснить их в себе. Мой разум, проникшись сознанием промыслительной необходимости, делает мое служение ей целостным и планомерным. Это можно познать только лично в себе, только определив свой собственный дух, поняв собственный нравственный долг, свое космическое назначение — тогда можно сосредоточить на нем и все свои душевные силы... Вам понятна моя мысль?

— Да-а... — с унынием произнес Лев Ильич.

— Как это произошло во мне? — продолжал Костя. — Да очень просто, невероятно просто, а потому и соблазнительно для каждого постороннего, как я уже заметил, потому и зарок дал, да уж сегодня не знаю почему нарушил его... Что же такое соблазн? о чем возможно соблазниться? Да всего лишь о том, что идет вразрез с общепринятым, с человеческим разумом, что невозможно доказать. Может ли быть что-нибудь пошлее всех этих околохристианских сочинений до якобы высокого богословия включительно, тщавшихся доказать то, что доказать принципиально невозможно? От истории Иисуса Христа начиная. Потрачены сотни человеческих жизней, таланта, крови — а что доказано? — это еще Киркегор так ставил вопрос. Что некий человек, рожденный жалкой еврейкой, женой плотника, был Богом, Тем Самым, что создал мир в шесть дней и всю эту вращающуюся вселенную со всем, что в ней открыто и что ждет предстоящих открытий, во всей ее чудесной стройности и миропорядке. Ну не смешно ли? Ну не нелепо ли доказывать, что Тот Самый Бог ходил по земле в образе последнего из людей и кончил так жалко и позорно? Может ли человеческий разум с этим хоть на мгновение согласиться? Да ни за что на свете! Чудеса, которые Он творил, даже если я допущу, что они действительно были, что это не обман и не образ, не метафора — то что из того? Разве Он совершил главное, что сделал бы каждый на Его месте, чтоб навеки привлечь к себе сердца и души, да и разум людей? Нет, гордо отказался, построил на этом всю свою философию — и потерпел поражение. Да и не тем, что Его за это распяли, это-то и привлекло к Нему, в конечном счете, внимание, но тем, что народ — не только жалкое племя иудеев, но все человечество не пошло за ним, даже став христианским, осталось все тем же жалким, запутавшимся, творящим мерзости стадом. Ну не соблазн

ли, не безумие называть Богом этого несчастного? Да где доказательства, что Он — Бог, кроме одного — Его собственных слов, которые Он твердил не то чтоб без скромности, но порой и безо всякого смысла и связи, хоть с чем-то? Да, в том, что Он говорил, а за Ним записывали, много пронзительного и поразительного, но еще больше банальностей и несуразицы. Да, конечно, за две тысячи лет изо всей этой несуразицы вышелушили некое обетование, назвали его Преданием — но разве это доказательство, а не все тот же соблазн и безумие?.. Тут-то я и подхожу к самому главному, ради чего отнимаю ваше время. Вы следите за моей мыслью?

— Конечно, — сказал Лев Ильич, — более того, я не могу ей не сочувствовать...

— Даже так? — вскричал Костя. — Ну что ж, благословляю тогда нашу встречу! Хотя тут пока что и ничего нового, я всего лишь "излагал", как говорит наш вчерашний друг, правда, по-своему... Ну ладно, а вот теперь, что же получается дальше? А то, что самое невероятное из того, что могло произойти и что в человеческую голову, в разум уложиться просто не в состоянии — непостижимость земной жизни Бога стала учением, Церковью, некоей соборностью... Какая соборность! — крикнул он. — Из кого она собирается? Ну не парадокс ли, что ученики Христа, которые вели себя с Ним на протяжении всего общения только так, как и могли себя вести люди — до сна в Гефсимании и предательства Христа, создали потом Церковь, отдав в руки людей то, к чему они и прикасаться не то чтобы не смеют, но и не способны? Потому что не способны понять и уразуметь, а всего лишь могут сердцем услышать ту непостижимость. Но если услышать только сердцем, то к чему ж вся эта чудовищная обрядность и волхования, тома сочинений и катехизисы, делание идола из Того, Кто никогда не способен стать идолом? Все эти математически-богословские доказательства истинности догматов, язычески-непреложные якобы свидетельства бытия Божия?.. Последний из людей, жалкий раб, протак, не сумевший даже разобраться в человеческой психологии, сделавший все, чтоб не только не завоевать, но отвлечь от сути богопознания! Потому сегодняшние христиане, верующие и благочестивые, не во Христа Иисуса верят, а в некоего великана-чудотворца, восседающего одесную Отца, вяжущего и разрешающего, но к Тому, Кто ходил среди нас — нас, не две тысячи лет назад в Иудее, а вот здесь, по этим самым улицам! — к Нему имеет ли хоть какое-то отношение тот их Христос?..

— Да откуда вы знаете, Костя, — очнулся вдруг Лев Ильич, — откуда вам известно про других, может, и они...

— Они! — засмеялся Костя. — Они! Они взяли Слово Божие, сделали его камнем института, в котором ложь и мерзость была уже изначально, ее и не могло там не быть. Что вы думаете, когда мы говорим тут о бесстыдстве и чудовищном падении священства — русс-

кого ли, западного — любого, — что это потому, что они священство? Да потому, что они люди!

— В этом-то и дело, — вставил Лев Ильич, — это и доказательство...

— Опять доказательство! Да потому, что люди не изменяются от того, что повесят крест на пузо, такими ж остаются — язычниками и развратниками. Просто в свете креста это все ясней и уж не скроешь. От этого так и бьет в глаза мерзость богоносного народа, а так-то ведь он ничуть не хуже других. Тут не доказательства, а реальность. Смелость нужна, и если мы через полвека настолько осмелели, что говорим о неудаче советского эксперимента, унесшего сто миллионов жизней, готовы начать с начала, будто бы того и не было, то нужна лишь тысячекратная смелость мысли, и тогда мы сможем сказать — что и два тысячелетия Церкви были всего лишь экспериментом, к несчастью — или к счастью, но не удавшимся.

— Это уже Лютеру пятьсот лет назад пришло в голову.

— Лютеру! Да что такое протестантизм — не та ли самая Церковь, только без оупляющего невежества? Не хватило у него смелости. И я знаю, почему не хватило.

”Вот они, русские мальчики! — мелькнуло у Льва Ильича. — Куда уж, действительно, мне...”

— Но нет ли тут у вас... противоречия? — осторожно сказал он. — Вы отрицаете не просто историческую Церковь со всем ее безобразием, даже не просто богословие со всеми его, ну все-таки достижениями, но и живой опыт Церкви, Предание — а ведь это опыт того же созерцания? Сами говорите, что христианство живо святыми, а ведь они Камень, Столп именно Церкви?

— Христианство живо Иисусом Христом, Который ходил по земле в простоте и униженности, а не в том выдуманном образе, облеченном в болтливо-языческие представления о Боге, не имеющем к Нему ну ровно никакого отношения. Вы отдаете себе отчет в том, что разговаривать с человеком имеет смысл только тогда, когда ему веришь, а иначе и время тратить не след?

— Да... разумеется, — кивнул головой Лев Ильич. ”Вот оно, сейчас и произойдет”, — подумал он.

— Я видел Его. Он приходил ко мне — Тот самый бедный Человек, рожденный еврейской женщиной...

— Конечно, — еще цеплялся Лев Ильич, хоть уж поблескивало перед глазами и знакомый визг нарастал в нем. — Конечно — в этом и есть основа веры, убежденность в том, что Он всегда с тобой, с нами, что стоит только протянуть руку, вздохнуть о Нем...

— Да не вздохнуть! — Костя даже топнул ногой в раздражении. — Вот здесь, на вашем месте сидел и говорил мне то, что я теперь — не сейчас еще, будет знак — скажу людям...

— Постойте! — вскинулся Лев Ильич, и от этого его движения,

которого он не остерегся, хотя знал ведь, знал, что нельзя шевелиться, что он уже разбудил в себе то, что и называть боялся! — Пойдите, но ведь вы снова себе противоречите? Если я вам поверю, то это и будет доказательством, тем самым, которого быть не должно. Зачем же вы добиваетесь этого — вы лишаете меня соблазна, на котором, по-вашему же слову, стоит вера.

— Да не для вас доказательство! Я вам сообщаю факт о моем избрании...

— Но я не здесь, не у вас чувствую присутствие Бога, а именно там, за углом, где Он, тем не менее, от века, где Его легкая поступь, гонимость и к этой жизни неприспособляемость — в самом облике этой несчастной церквушки, в ее оставленности, жалкости и невероятном сочетании падения и святости — в русском храме...

— Ну что мне с вами делать! — вскричал Костя, уже прямо в бешенстве. — Морду, что ль, вам набить? Так вы и тогда не поймете, а все за свою лакейскую любовь будете цепляться!..

И Лев Ильич снова сорвался. Он понял это ускользнувшим сознанием, хотя и не шевельнулся, не двинулся, но что-то в нем ухнуло и оборвалось.

Костя сидел теперь, покачиваясь, на венском стуле, выбросив перед собой переплетенные ноги, и хохотал — весело, искренне, но злобно-удовлетворенно; как бы припечатывая этим хохотом приговор Льву Ильичу.

— Ну уморил, — сказал Костя, отсмеявшись. — Уморил. Неужто думал всерьез достать меня своим драным ботинком? И что за манера женская? Это был у меня такой случай в жизни: одна дама, разгорячившись, сняла с ножки туфель на каблучке, как сейчас помню, и запустила. Ну и смеялся я тоже, враз помирились, но то — дама, да и доложу, к тому же прехорошенькая. А тут...

— Врешь ты все, — сказал Лев Ильич, — это со мной, а не с тобой был случай.

— Неужели? Надо ж, как в образ вошел! А ты б еще чернильницу нашарил, даром, что ль, весь в литературе — вот бы хорошо было! Тебе, я имею в виду, хорошо — всю б ночь и сегодня на день хватило, дверь бы оттирал. Даже жалко... Ладно, — оборвал он себя. — Хватит шутки шутить, у меня и времени нет больше. Сам понимаешь — день приезда-день отъезда, так что проживешься — расчету нет. Будем считать проблему исчерпанной. Так, что ли? Как тебя запишем? Да не по паспорту, не по паспорту, у нас, слава Тебе, свобода, в пределах разумного, конечно, без демократических безобразий... Надеюсь, не русским, или ты все еще себя к этому богоносному народу причисляешь — мало тебе жидовской морды, убежденности всех вокруг в твоей неполноценности до физиологии включительно? Ты ж теперь уразумел, от кого все это слышал — от языческой мерзости и растленного ничтожества! Или дальше будем лакействовать, пылин-

ки щеточкой счищать с барского плеча — да уж какие пылинки, пятна кровавые! Или в таком унижении для тебя самая сладость? Мы и про это говорили. Или другая идея — мечтаешь с русскими дамочками побаловаться — Суламифь для тебя не подходит, больно томная да вялая, тебе славяночку подавай — оторву, Лидку такую, чтоб море по колено, через то надеешься и в богоносность проникнуть? Как же, в бездне греха тебе и святость видится! Ну как в церквушке за углом, еще при Алексее Михайловиче благолепно сооруженной? Море народное разгулялось, вышло из берегов, блевотиной через край плеснуло, а там — на Западе и умилились: какой размах, какие глубины, какая загадка — шарман!

— Ну чего тебе от меня нужно? — с тоской озирался Лев Ильич, а глаза все к нему возвращались: тот свободненько так сидел, покачивался, ноги переплетены, будто и без костей они вовсе.

— Заплачь еще, так тебе Москва и поверила. Слушай, а может, я тебя недооцениваю, может, ты не из пустейшего простодушия, не от распутства, не из лакейского надрыва, а верно, идею имеешь? Может, хочешь свою миссию осуществить — позамутить кровушку, пока, так сказать, седина в бороду? Помнишь, про это и Саша тот, еврей оголтелый, внушал на проводах твоего дружка, а этот, вон, Саша, с другой стороны — что как тебя их призыв прониал? А милое дело, между прочим, вроде моей командировки — и дело делаешь, и тебе не без радости! А ведь кроме славяночек, тут еще один цимес есть. Кстати, великоросская традиция, из семнадцатого века идет, да по секрету тебе скажу, ране, гораздо ране. Я имею в виду, чтоб помимо, так сказать, плотских утех, они, конечно, грубые, примитивные, а ты у нас человек мистический, метафизику по утрам с кофеем вкушаешь — так вот, помимо плотских, чтоб и мистические удовольствия, а?

— Чего ты хочешь? — только и мог повторить Лев Ильич.

— Да не хочу я, чудак-человек, я тебе все пытаюсь тебя и объяснить. Да ты мне сам прошлый раз намекал, ты тогда был посмелей, это сейчас совсем раскис, правда, и в тот раз вроде бы не про себя, про других рассказывал, но уж не поскромничал, не свою ль ту грешную мечту выболтал? Ты ведь у нас неофит, еще зеленый, птенчик... Так вот, продолжаю излагать мою гипотезу о твоей, так сказать, апостольской командировке, прости уж, что плагиатничаю — не мое название, одного знаменитого романиста из нынешних, такой коммунист со страдающей совестью, ну разумеется, за эти страдания ему и денежки отваливают, правда, в бумажной валюте... Так вот, тебе и первое задание по командировке: ты еще никого не крестил?.. Нет? А-яй, давай-ка, нехорошо. Или может, просто с твоей маман и начнем?.. Что морщишься — не нравится, старовата? Но там однако своя бездна — не пожалеешь!.. Может, ты меня не понял, простоват — бабеночку ту я имею в виду, что за кассой в столовке углядел, блонди-

ночку, она твоей крестной матерью и обернулась, а? А тоже ведь, когда ее увидел в первый-то раз, ты разве ее за мать себе посчитал — небось, комнатку представил с канареечкой, ее в некоем милом беспорядке, себя рядом, а? Неужто позабыл?.. Ага, вспомнил! Ну вижу, вижу, вспомнил. А я тебе, как мужик мужику, скажу: такая баба русская, когда она в возраст входит, соком наливаются, то, что ядреностью-то зовут, ну такой уж извини, шарман — тут ты в такую метафизику окунешься!.. Ну хорошо, хорошо — не хочешь, давай доченьку тебе подыщем, девочку, с глазками быстренькими, раскосенькую, тоненькую. Вот ведь, и подружки у твоей Нади постеляют длинноножки, их крестим, а там... такая начнется очаровательная бездна, прямо из семнадцатого века да с горечью века двадцатого: инфантильность, слезы, лихорадка, бесстыдство — тут мы тебя враз и запишем русским, все будет в ажуре. И плоть, так сказать, не в обиде, и мистическое чувство улагодворено, и главная еврейская миссия выполнена — в смысле крови, я имею в виду.

— Ты можешь что-нибудь кроме мерзостей из себя выдавить, или все и будешь в этаким роде?

— Извини. Я пытаюсь в тебе хоть что-то значительное раскопать — не удается. Уровень действительно примитивный. Но ведь и тут традиция. Чего ты хочешь, если в христианстве такая путаница изначально пошла — с самого рождения Господа во образе человека? Помнишь, давеча стишки вспоминали, как надменный бес, которым архангел и Господь грешили, то есть не бес, а... ну понял, одним словом? А с кем грешил? То-то. Кем же мы Его после этого запишем, если не по паспорту, не по паспорту, а по сути? Прав твой Ученый друг, нечего первородством гордиться, это уж мне поскорей заважничать...

Лев Ильич не выдержал, рев, грохот раздался в нем, его швырнуло вверх и в сторону. Он закричал и кинулся на того, кто называл себя Костей...

— Вы что, Лев Ильич? — услышал он голос Кости, как об стену его опять хватало. — Я вас предупреждал, что тут никакого смирения не хватит: "гегемон" пробудился...

"Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трется спиной медведи о зем-ную ось..." — ревели за стеной.

Лев Ильич вытащил грязный платок, вытер лоб и лицо.

— Надо уходить, — сказал Костя, — не поговоришь, да и что толку, не напрасно зарок себе давал. Пустое все. Извините меня...

Лев Ильич шагнул из комнаты прямо в ревущий коридор — уж лучше там, в этой комнате он больше и минуты не мог бы пробыть.

На кухне, у окна, среднего роста мальч в нижней рубашке, выпущенной поверх штанов, босиком, повернулся ко Льву Ильичу, поморгал сонно, не ответил на вежливое: "Здравствуйте".

— Курить есть?

Лев Ильич достал сигареты: "Лакействуешь? — спросил он себя. — Ну и ладно, как могу..."

— Сигареты... А "Беломору" нет?.. И сука моя шляется. Давай сигареты, что делать.

— Не надоело? — спросил Лев Ильич.

— Чего? — вытаращился малый.

— Да песня эта — уж чего глупей.

— Самому тошно. А чего делать? — он глядел в окно на летящий снег. — Хорошо, кому с утра, а в ночь? И выпить нельзя. Я, вон, выпил — три месяца "Беломор" стрелял. У меня работенка хорошая, башли дает, а то б я давно другую нашел. Да вот понимаешь, нельзя с этим делом... — и он скребанул грязным ногтем по горлу. — А ты дружок, что ль, этого?

— Вроде того.

— Эх, ученые люди! Козла бы, что ли, забить, трое, да я б четвертого мигом нашел — милое дело. Ну что ты, разве этот, не знаю уж как его назвать... может, правда, другую поставить пластиночку — про крокодила Гену?.. — он зашлепал из кухни.

— Господи! — сказал вслух Лев Ильич. — Неужто это и есть очищение, изживание своей пакости? Но почему так мучительно, кровью, кусками сердца? Хватит ли меня, Господи...

11

Потом, хотя он и часто вспоминал об этом, важно ему это было, дорого, он все не мог в точности зафиксировать ощущение ли, мысль, которая его именно в ту сторону и направила. Он еще когда стоял у окна, на кухне, разговаривал с "гегемоном", сообразил, где находится и куда идти, чтоб отсюда выбраться, в темноте-то, когда Костя его тащил, он и вовсе ничего не мог понять-запомнить. А тут понял, сориентировался. Но когда шагнул из подъезда на мостовую, туда-сюда посмотрел и — вдруг свернул, но совсем не в ту сторону, знал же, что не туда, было б поближе.

Он "за угол" свернул, он понимал, и не мыслью, не чувством даже, но чем-то тайным, что всегда, знал он, жило в нем, что не решался лишний раз в себе потревожить, берег, как запасец на самый на черный день, и только уж тогда, ну совсем ногами от голода не мог двинуть, отщипывал корочку. Он и перед собой, бывало, стыдился этой своей скаредности, понимал жадностью, непостижимой ему, а другой раз успокаивался, чувствовал, что это всего лишь инстинкт самосохранения, уберегавший его от него же самого. Так

вот и в детстве бывало — ну совсем когда горечь, обида, потери — пустяковые, быть может, иль нет, это с чем их соразмерить-то? — но, кажется, весь мир от них застит, он и тогда уже знал, что у него всегда на тот случай хранится этот запасец — выход, который сам он никогда б не нашел, словечко, за которое враз и зацепится. Да и потом, когда стал постарше, вырос, повзрослел — всякое бывало, а запасец тот в целости. Он, может, потому и силы в себе нашел очнуться, посмотрел на себя и вокруг открытыми глазами — и оказалось, что несмотря на весь ужас, черноту, в которой барахтался, — и силы есть, и свет светит, а может, и дорогу найдет, не собьется.

Он и свернул за угол, не понимая, не задумываясь, подчиняясь тем не менее четкому, услышанному им в себе движению, а может, и всего лишь оттого, что ничего у него больше в ту минуту не оставалось, кроме надежды на то, что там...

Он даже не удивился, е е увидев, как только свернул за угол — так и должно было быть. Беленькая да трогательно-домашняя, она стояла наверху, на самом склоне когда-то бывшего здесь холма, один переулочек круто сбегал вниз, а другой шел криво, по самому взгорбку. И дома вокруг стояли крепкие, начала века, доходные. И сразу вспомнил, бывал здесь, сколько раз ходил мимо, знал город в пределах кольца; вспомнил, что и построена она в том самом семнадцатом веке, при Алексее Михайловиче, как раз когда проросла пшеница чистого благочестия куколом душевердным. И построили ее миряне — те, что жили вокруг, на этом самом холме, да не в доходных домах, а в собственных, что тут тогда стояли: "Какие ж дома тогда были?" — все не мог он сообразить. Построили как-то обыденной, вот с тех пор она и называется Обыденской — так за день и возвели, деревянную, конечно. Это потом перестроили, выложили камнем... Вспомнил, вспомнил Лев Ильич, хоть и не был в ней никогда.

"Зайти, что ль?.." Он уж вплоть подходил, она на него надвигалась — белая в этом летящем снегу, а на широкой паперти перед ней, а больше там, в притворе, стояли бабки, руки тянули... "Да у меня и нет ничего, ну как нарочно, ни копейки!.." — вспомнил вдруг Лев Ильич и остановился на всем ходу, стыдно, неловко ему стало — все-то он не о том, о другом все думал.

А тут из дверей легко так вышел юноша. Лев Ильич сразу и назвал его про себя: "юноша" — высокий, "хорошего баскетбольного роста", отметил почему-то Лев Ильич, светлый, да не от того, что пшеничные волосы падали ему на лоб, а такой изнутри весь светлый, ясный, но не веселый, без улыбки, напротив, сосредоточенный, в себя ушедший, в это свое погруженный. Он и с паперти так легко сбегал, снегом его враз облепило, мелочь раздавал...

"Ну вот, а как же мне?" — опять подумал Лев Ильич. А юноша обернулся назад, на Кирилла Сергенча, спускавшегося со ступе-

ней.

— Вот оно! — выдохнулось у Льва Ильича. — Вот почему свернул сюда...”

Он бросился к паперти, а Кирилл Сергеич уже увидел его, но следом за ним семенила женщина, не старая еще, в шляпке, что-то все ему нашептывала, он приостановился, прямо на паперти, под снегом благословил ее, она налету поцеловала ему руку, а он уже весело смотрел на Льва Ильича. “Что, опять не нравится?” — спросил себя Лев Ильич. Но уже подбежал вплотную, Кирилл Сергеич и его перекрестил, а он схватил его за руку обеими руками.

— Как хорошо, что вы... что вас встретил! Да я знал, я потому и шел сюда, чтоб вас увидеть...

Кирилл Сергеич внимательно на него смотрел.

— Ну и отлично. Очень рад. Снег-то какой — зима! — они стояли возле паперти. — Иди-ка сюда, Игорь, — кивнул он юноше. — Я тебя со Львом Ильичем познакомлю. Вот, рекомендую — Игорь Глебович, Машин сын...

— Здравствуйте, — сказал Игорь, — а мне мама много про вас рассказывала... Вы такой и есть, как я думал, — он улыбнулся широко, открыто, с интересом, и не скрывая глядел на Льва Ильича.

Лев Ильич засмутился — так хорошо ему стало, хоть плачь тут под снегом.

Они уже шли по переулку, Кирилл Сергеич посередине, Льву Ильичу все хотелось взять его за руку, но неудобно было, неловко. Снег таял на лице, чавкала грязь, а как-то сразу и не стало этой страшной его потерянности — все потерял, а вон сколько нашел!

Они вышли на улицу возле троллейбусной остановки. Игорь посмотрел на Кирилла Сергеича.

— Лев Ильич, не хочется расставаться с вами, а у нас дело. Мы должны навестить одного старика, больного. Совсем больного. Далеко ехать... Послушайте, а коль время есть, поедemте с нами, верно, Игорь?

— Я только рад буду. А потом к нам, мама вас потеряла... Да, вспомнил, вас кто-то разыскивает — не знаю, правда, кто, мама говорила.

— Я... конечно, — Льву Ильичу даже муторно стало, как подумалось, что они тут, на улице, и оставят его. — А я знаю, куда вы едете, — осенило его, — мне Маша рассказывала про того старика. Если удобно, к больному...

— Поехали. Я думаю, Игорь, мы сейчас в метро нырнем, так верней всего будет...

Народу как всегда было много, их втиснули в вагон, они пробрались к закрытым дверям. Игорь широкой спиной загораживал, сдерживал, только улыбался, да поймал его глаза Лев Ильич, в стекло на себя поглядывал. “Мальчишка!” — почему-то обрадовался Лев

Ильич. Он его сейчас рассмотрел получше, совсем близко: чистое, славное лицо, ямочки на щеках, а уже отвердевает к подбородку, и серые глаза — спокойные, без суеты, не навязчивые.

— Каких молодцев растим, — кивнул на него Кирилл Сергеич, — с таким не страшно, крепко стоит.

Он тоже другим сейчас был, непривычным, ближе, попроще, хотя нет, все-таки не свой брат — священник, видел Лев Ильич, как на него посматривали. А что в нем, что сразу его выдает? Шляпа? Так мало ли кто теперь еще в шляпах ходит. Скромное пальто, не дешевое, но москвошвеевское... Борода? Но кто ж нынче без бороды! Глаза зоркие, думающие, ни на минуту их мысль не оставляет, и о чем-то не о своем затаенном, а вот сейчас он явно Львом Ильичем был занят. Эта вот, что ли, всегдашняя готовность в любой миг вернуться к тебе всем существом, и не с грошовой помощью, а по самому для тебя существеннейшему, чего другой раз и сам еще в себе не успел отметить, чего еще не испугался, а он уже заметил, идет навстречу? Тут и опыт, конечно, — быстро так, но радостно, счастливо думал Лев Ильич, — профессионализм, верно, но никак не сумма приемов, не просто выработанное практикой умение так вот сходу раскусить человека, чаще всего в нем и нет ничего хитрого, а такое любовное, изнутри понимание, способность думать за другого, а потому и понять по-настоящему...

— ... А я сегодня свободен, — говорил Кирилл Сергеич, — нет службы. А тут Алексей Михалыч попросил отслужить панихиду. День у нас такой. Он обрадовался, что Игорь вернулся, очень его ждет. А панихиду именно там, в Обыденском храме, у него свои соображения... А вам Маша, значит, рассказывала?

— Алексей Михайлович? — переспросил Лев Ильич. — Я не знал, как его зовут. Только день этот, я понял, неделю назад был?

— А... то другой день. Она для него тогда и умерла. Да ее и расстреляли как раз через неделю.

— А что, очень плох? — спросил Игорь.

— Плохой. Я был там позавчера. Боюсь, он и поста не переживет. Он давно болен, а тут уж... Да и годов много... А как у вас, Лев Ильич, вы дома теперь?

— Скверно у меня. И не дома. Нигде я.

— Дочка здорова?

— Да и с дочкой... — хотел рукой махнуть Лев Ильич, да руку не вытащить, прижали. — Край у меня, отец Кирилл. А что там за краем...

— Видите, как хорошо, что встретились, поговорим. Поговорим обязательно. Мы там не долго будем, как ты, Игорь?

— А я долго не могу, у меня сегодня...

И тут Льва Ильича осенило, у него сразу ворохнулась даже не мысль, а предчувствие такое, как только увидел этого юношу на па-

перти. Да нет, тогда и не предчувствие это было, а такая мечта его коснулась: "а что бы, если..." Он ее и назвать про себя не успел, так все стремительно развернулось — да и зачем ее было называть, прошла б и все. А тут, вглядываясь в Игоря, не думая об этом, он слышал, как она в нем вырастает.

— Игорь, а вы сейчас очень заняты? — спросил Лев Ильич.

— Да нет, чем уж я занят, у меня, правда, этой весной, вот сейчас, должно решиться, может, в армию заберут. Я не хотел раньше, в артисты думал двинуть — это я в Одессу летал на кинопробы, похоже, берут, им и армия не помеха, вытасчат. Но мне не хочется сниматься, — он отвечал охотно, с какой-то откровенной готовностью. — Вот и отец Кирилл тоже...

— Какой там актер! — живо откликнулся Кирилл Сергеич. — Ты подумай, что будешь играть? Ну представьте эту актерскую ситуацию: тройная нагрузка на душу. Это кроме двойной жизни, которую все ведут, еще третья, уж совсем отношения ну ни к чему не имеющая. Я плохо знаю театр, но сама идея убивания себя в другом, стремление не в себе искать себя, не вычищать собственную личность, но в другом, через другого... Все душевные силы, талант, коль он есть, все направлено на то, чтоб кого-то разоблачить, осмеять, пусть даже оправдать, но кого-то! А про себя забыть. А когда придет пора вспомнить — где он, я?

— Лев Ильич, вы не подумайте, что отец Кирилл такой старорежимный ретроград, тут у них с мамой своя мысль, — улыбнулся Игорь.

— А вот и ретроград, и не пугай меня, пожалуйста, выдержку, — почему-то не принял шутку Кирилл Сергеич. ("Это у них свой давний разговор", — понял Лев Ильич.) — В том-то и дело, что коль театр — сила, а эта истина давно известная, как же, кафедра, трибуна, с которой ты во всю глотку призываешь чувства добрые. Но в том и дело, что добрые! А если нет, и с той же кафедры, и тоже во всю глотку, а она у тебя — даром, что ль, такой вымахал?..

— Так вы ж современный театр не знаете! Лев Ильич, ну будьте судьей, ну можно ли, да еще с таким жаром говорить о предмете, который не знаешь, да может, в современных пьесах...

Тут как раз двери раздвинулись, народ повалил, Игорь не удержал напора, их притиснуло к самому стеклу.

— Ага! — засмеялся Кирилл Сергеич. — Проврался! Вот у тебя руки и подломились. Еще мне современных пьес недоставало смотреть...

"Господи, ну как с ними хорошо! И разговор какой-то человеческий..." — смотрел на них Лев Ильич.

— При чем тут пьесы? — рассердился на свою оплошность Игорь. — Я уж тогда все скажу, раз Лев Ильич соглашается судьей... Не пьесы тут, и не театр, не кафедра, с которой надо призывать. Они

с мамой бояться, что я влюбился в одну актрису. А я и не думал, это она... — Игорь покраснел и совсем рассердился.

— Ну как кстати... — мелькнуло у Льва Ильича, хотя и не ясно было ему, что тут "кстати".

— Лев Ильич, коль вы действительно судья, ну можно ли на человека напраслину возводить? А презумпция невинности, уважаемый? — возвысил голос Кирилл Сергеич, так что на них обернулись.

— Предлагаю вам, Игорь, подтвердить обвинение фактами, — улыбнулся и Лев Ильич.

— Извольте. Факт первый — противоречия моего уважаемого оппонента. Отец Кирилл, принципиальный противник войны, благоговяет меня призываться в нашу доблестную армию. К чему бы это? Не для того ль, чтоб разлука...

— Ты что, это серьезно говоришь? — вдруг огорчился Кирилл Сергеич.

— Господин судья! Один ноль в мою пользу. Запомните. Факт второй...

— Погодите, Игорь, но ведь это не факт, а всего лишь еще одно обвинение, снова не учитывающее презумпцию...

— Почему? Явное противоречие принципам — раз, прямая связь...

— У обвиняемого может быть совсем другое, не столь прямое соображение...

— Понял, что значит неподкупность судьи? — строго глянул на Игоря Кирилл Сергеич.

— Понял, что пропасть между отцами и детьми непреодолима, — в тон ему ответил Игорь. — Ничего, мы воспитаем собственных судей.

— Да, да! Вот в связи с этим у меня к вам и просьба, — подхватил Лев Ильич. — В связи с непреодолимостью пропасти между детьми и отцами...

— Да нам выходить! — вскричал Кирилл Сергеич.

Они кой-как выбрались из вагона, Игорь успел придержать двери, поднялись наверх. Лев Ильич зажмурился от света, солнца, ударившего ему в глаза, будто оказались в другой стране — там метелица, теснотища, грязь, а тут открылась ширь, голубое небо в летящих облаках, да и какой-то город-не город: дома высоченные, а разбросаны, улицы-не улицы — поле, дороги в разные стороны, автобусов целое стадо — другая страна!

— А я здесь и не был никогда, — сказал Лев Ильич, — даром что в Москве всю жизнь прожил.

— Далекое, что говорить... Вон наш автобус! — и Кирилл Сергеич, смешно загребая ногами, побежал к остановке.

И опять они успели, втиснулись, и снова их прижали к заднему стеклу, только теперь свет был не мертвый — электрический, а

яркий, солнечный, и снова так радостно было Льву Ильичу смотреть на своих спутников.

— Простите, Лев Ильич, я вам все договорить не даю. А я с удовольствием, если чем могу вам помочь. А что за дело? — Игорь смотрел на него с живым любопытством.

— Даже не знаю как объяснить... Но я как вас увидел, еще на паперти, так подумал: вот бы мне такого парня, я б с ним то дело обделал...

— Да это у него вид такой, — вставил Кирилл Сергеич, — а так — ветер в голове.

— А мне это и нужно — и вид, и ветер... У меня, понимаете, Игорь, с дочерью беда. Такая история, боюсь ее потерять: дома я не живу, а там влияния совсем не те, какие-то странные мальчики из МИМО. Вы б с ней познакомились, домой бы привели, другой бы мир ей показали, с отцом Кириллом бы ее свести... В церковь... Ну, это мечта уж слишком большая. Я тут страшную вещь понял. Всю жизнь живу в Москве, а мимо иного проходил, мог бы и не узнать никогда. Здесь совсем разные страны, миры уживаются вместе, а порой меж ними нет никаких соединяющих мостков. А может и есть, так ведь и заметить нужно, а то всю жизнь проходишь и не увидишь. Но я не могу, здесь и начинается та самая непреодолимая пропасть, о которой вы говорите. А если б вы — вам бы она поверила.

— А сколько лет дочери? — спросил Игорь и покраснел.

— "Как он краснеет хорошо!" — опять с радостью отметил Лев Ильич.

— Шестнадцать лет, вот-вот. В девятом классе.

— Пожалуйста. Я познакомлю ее с хорошими ребятами. Артистов не боитесь?

— А я вам верю, — сказал Лев Ильич. — Тут уж вы сами бойтесь.

Кирилл Сергеич слушал с интересом.

— Слава Богу, — сказал он, — наконец, у тебя будет настоящее дело. Что может быть выше, чем быть ловцом человеков. Потому думаю и об армии для тебя, а ты меня вон как трактуешь...

Они приехали. Еще надо было пройти петляя меж одинаковыми скучными домами. Но такое здесь было солнце, свежий весенний ветер — как в море, вспомнилось Льву Ильичу, да не где-нибудь на юге, а в настоящем, Японском море, тоже вот, весной, когда снег еще в распадках и кой-где на бурых от прошлогодней травы сопках, а в проталинах, под горячим солнышком появляются уже цветы — белокопытник...

— Ну вот здесь...

Кирилл Сергеич посерьезнел, молчал всю дорогу от автобуса, да и Игорь больше не разговаривал...

Дверь открыла женщина — немолодая, высокая, строгая, кра-

сивая, такая надменность в лице, молча поклонилась им, прошла с Кириллом Сергеечем на кухню. "Лариса" — вспомнил Лев Ильич.

— Кто там? — хрипло раздалось в квартире.

— Это я, дед, — откликнулся Игорь, раздеваясь. — Мы с отцом Кириллом. Дай пальто сниму, — и он прошел в комнату.

Лев Ильич остался в коридоре, не жилком каком-то, пыльном, запущенном, холсты торчали из антесолей, из распахнутого старого шкафа...

Из кухни вышла Лариса.

— Извините меня, у нас видите что творится. Проходите в комнату.

Лев Ильич шагнул из коридора прямо в открытую дверь. Его опять солнце ударило в лицо, ослепило, он даже зажмурился от неожиданности.

Старик полулежал лицом к двери на широком диване, на белых высоких подушках резко выделялось темное лицо, заросшее, давно не бритое, в глубоких морщинах, лихорадочный взгляд неприятно ожег Льва Ильича. Но он не его сначала увидел, это на мгновение позже, и тут же опять оторвал от него глаза. Над диваном висело большое полотно, без рамы, без планочек — холст на подрамнике. Солнце било прямо в комнату, и может поэтому оно было здесь центром — да и не только в комнате! — вот что сразу как-то пронзило Льва Ильича.

Он увидел падающую церковь, часть ее, что ли, передней стены не было, только купол с крестом, горящим сейчас в солнечных лучах. Но она падала, падала и уже тот крен немислимым стал. И все падало, покосилось, клирос, алтарь с распахнутыми Царскими вратами, иконостас над ними, а еще выше, в темноте, под куполом угадываемое распятие, — все падало вместе с рушившимся храмом. Но он не был пустым. Лев Ильич сразу это понял, это уж он потом осознал детали. В храме был кто-то, кто непостижимым образом удерживал церковь, которая падала, никак не могла б не упасть. Он был большим, прямо в половину церковной стены, прозрачный — не человек, не птица, и крылья еще в полтора раза больше — живые, нежные, теплые, упершиися в стены. Льву Ильичу показалось, он слышит, как они хрустят, обдираясь о камень, обламываются. Он проник, прошел сквозь стены, но почему-то вдруг обозначился в сгустившемся воздухе — он обозначился только для художника, и уж конечно, никто б другой того не увидел, и было несомненно, что вот-вот он снова исчезнет в струящемся солнечном свете, растворится в нем, пройдет сквозь стену, но удержит церковь, выровняет тот немислимый крен. Художник с поразительной смелостью решил роостранство: и само здание — плоскость снятой стены, завершающейся куполом с крестом, и глубину открывшегося храма, и более дальнюю глубину, там, за Царскими вратами, и бестелесно-прозрачное те-

ло ангела, сквозь которое видны были и часть иконостаса, и распахнутые Царские врата — и все это в струящейся, плывущей золотистой дымке... Он смотрел в глаза ангела. Они-то и были центром картины, они и приковали его внимание, как только он шагнул в комнату. Такая в них боль полоснула Льва Ильича, немислимая печаль, такое страдание за него — Льва Ильича, что он так с прижатыми к груди руками и шагнул к стене.

— Что это? — спросил он, с недоумением глядя на старика.

Тот все так же не спускал с него лихорадочно горящих глаз.

— Увидел? Что, нравится?

— Что это такое? — повторил Лев Ильич, и тут заметил Игоря: он сидел на диване, у старика в ногах, и тоже смотрел на Льва Ильича.

— Это ваш отец, Игорь, да? Ну конечно, это... Глеб Фермор. Я видел одну картину там... у Маши. Как же так? Это то самое, чего я ждал, не надеясь, совсем и надежду потеряв...

— Слышите?! — закричал старик. — Слышали, что человек говорит? Лариска!.. Лариска, иди сюда... А, батюшка!.. Здравствуй, батюшка. Все пришли, все сбегались на старика смотреть. Помрет старик, долго не протянет. Помру, не плачьте, уж скоро... Но вы слышали, что человек говорит?..

Лариса стояла в дверях, освещенная солнцем — сухая, прямая, смотрела на старика, и Лев Ильич не смог бы прочесть на ее лице ничего, кроме раздражения и подстать старику неукротимости.

— Чего раскричался? Знаешь, что тебе кричать нельзя, назло, чтоб сейчас врачей вызвать, чтоб потом всю ночь плясать возле тебя?

— Не надо мне твоих врачей — никого не надо. Слышала, что говорит: Фермор здесь людям нужен! Посмотри, как человека перевернуло...

— А я вот и переверну ее сейчас, — она шагнула к стене, руку подняла, но вдруг взглянула на Льва Ильича и опустила руку. — Моя — не Фермора картина. Знаете, Кирилл Сергеич, как дело было? Я не рассказывала раньше, ну раз до того дошло... Он вообще-то быстро работал, а тут месяца два — больше бился, что-то у него не получалось, там свои идеи с пространством, что ли... Да и сомневался, есть ли право ангела писать — не было прав, что говорить! А раз я вхожу в комнату, он бледный, бешеный, редко таким видела, он ее уже с мольберта сбросил, с подрамника рвет — вон, шов-то заклеивала. Я было сунулась, он и меня отшвырнул. А тут звонок в дверь — телеграмма ему. Он вышел, а я ее за шкаф записнула, выскочила, заговорила его, он вроде забыл, а может вид сделал, что забыл, — но больше разговора о том не было... Чья, выходит, картина?

— Игоря, — сказал старик. — Хорошо, вы все здесь. Маши нет, но человек зато новый, понятным будем считать. При нашем разговоре чтобы был свидетель.

— Дед, может, мы отложим разговор до другого раза? — поднял на него глаза Игорь. — И ты поуспокойся...

— Не отложим. Не будет другого раза. Я помру не сегодня, так завтра. Мне главное было до сегодня дожить и панихиду чтоб отслужили. Отслужили ведь, как просил?

Кирилл Сергееч подошел к нему, благословил, старик поцеловал ему руку и затих.

Все молчали.

— Я думаю, Лариса Алексеевна, нам нужно поговорить, — сказал Кирилл Сергееч. — Алексей Михалыч нас пригласил, это его желание. А дни и сроки не нам ведомы.

— Говорите, ежели охота. А у меня дела, — она повернулась выйти.

— Лариса! — крикнул старик. — Ты... сядь. Ты пойми, что я помираю... Да не жалости я прошу, не жалости! Я сказать должен.

— Ты уж все сказал. И мне, и всем, кому слушать есть время... Ну что он меня изводит? — крикнула Лариса, на щеках у нее вспыхнули красные пятна, глаза зажглись, как у старика. — Ему только нянька нужна была — сначала Маша, а потом на мне помирился, не поморщился — ему все равно было, как у меня там... — голос у нее сорвался. — Ну что он к Фермору привязался, на что ему эти холсты сдались?! Ценитель какой! Да пропадет все — пропадет, ясно тебе? Сколько ты сидел-то, что ничего не понял? Мало, надо быть, не вбили тебе в башку, да надо б понять еще и до того, как посадили, когда деньги, все, что сделал, чем жил, — все забрали да поломали. Куда там! Ему и тюрьмы мало было, и надзирателем служить надо, и на того же Глеба мало нагляделся, да и сейчас... Ну хорошо, слушаю, слушаю, что еще, может чего новое скажешь?..

Она села, но вдруг затряслась вся и зарыдала в голос. Игорь кинулся было к ней, но она его оттолкнула и выбежала из комнаты.

— Я вам должен сказать... — начал старик, как бы ничего не заметив.

— Дед! — Игорь стоял перед ним. — Ты ведь и меня ставишь в дурацкое положение. Ну что мы тут о наследстве спор ведем, как в кино? Почему это я наследник? Как есть, так и есть: то, что тут — тут, а там у мамы — пусть там и остается.

— Сядь, — сказал Кирилл Сергееч, — и помолчи.

— Я вам должен сказать, — повторил старик, никак и на Игоря не прореагировав, — то, чего еще никому не говорил. Лариса, конечно, знает, но я хочу, чтоб она тут при вас услышала. И при гражданине, первый раз зашедшем в дом...

Он помолчал, к чему-то прислушиваясь.

— Она сейчас придет, — продолжал он. — Я уж полгода знаю, что должен помереть, но положил себе до этого дня дожить и чтоб панихиду отслужили в Обыденской, как она и просила. Она венча-

лась в той церкви — твоя мать, батюшка. Уж не помню, говорил ли я тебе про это.

Лев Ильич глянул на Кирилла Сергеевича. Тот сидел неподвижно на стуле возле старика. Льву Ильичу показалось, что он побледнел.

— Она мне завещала сына ее разыскать. И эту ее последнюю просьбу я выполнил. Да не я, у меня уж и сил тогда не было, а твоя мать, Игорь, за что я ей на всю жизнь благодарен и никогда и там о той ее милости не забуду. И не одна разыскала, а с твоим отцом, и он не только отыскал тебя, батюшка, но когда ты, вроде бы, из небытия воскрес и родился заново, он и к этому руку и сердце свое приложил. А потому они — Маша и Фермор — соединились, что им Бог послал любовь. Я и это почел знаком, и никакой обиды у меня на это не было. Я ее завещание исполнял. И если она теперь видит нас оттуда, то на тебя, батюшка, глядя, радуется. Может, она про это и не мечтала, а может, это она и вымолила, а за то, может, и обо мне оттуда вспомнит, а мне та ее молитва очень необходима, потому что когда ты, батюшка, придешь ко мне исповедовать да соборовать, а будет это в ближайшие дни, ты уж далеко не отъезжай, то и поймешь как мне ее молитва нужна. Очень во мне много злобы, а сил уж нет, да и никогда не было с той злобой справиться...

Вошла Лариса и тихо села у двери. Старик только поднял на нее глаза, не приостановился, голос у него уже был слабый, он задыхался.

— Это первое дело, которое мне на этом свете было положено сделать. А есть еще одно... — тут он замолчал, закрыл глаза, и Лев Ильич даже подумал, что он уснул. Но он открыл глаза и спокойно, уже без лихорадочности, обвел ими всех присутствующих. — Ко мне приходил Фермор, — сказал он так же тихо. — Не здесь, а на той квартире, за месяц до того, как исчез. Маша про это ничего не знает, да ей это было и ни к чему. Он пришел и сказал: "Я, Алексей Михайлыч, перед вами виноват, и ваше дело прощать меня или нет. Но у меня растет сын и про то говорить с вами не хочу. Меня скоро не будет, он сказал, а больше, как к вам, мне прийти не к кому. Маша сама еще девчонка, а Лариса мне свою обиду не забудет и не простит. Меня скоро не будет, повторил он, я это хорошо знаю. Так ли я жил, не так — плохо я жил, а вот сейчас и сына не успею вырастить — а кто из него получится, сказать сейчас нельзя. Я, сказал он, всю жизнь работал, а как — и про это сказать не могу, но была у меня мысль, своего отца и своего деда, и прадеда своего — связать их жизнь со своей и с жизнью своего сына. В живописи это сделать сложно и как мне удалось, про то не мне судить..."

Лев Ильич поднял голову на картину, висящую над говорившим. Солнце уже переместилось, косо скользило по стене, но тут вдруг на его глазах вспыхнули, трепыхнулись, как живые, крылья

у ангела, но, видно, облачко нашло, и вся картина враз потускнела — страшно ему стало на нее глядеть.

— "...Я не знаю, что со всем этим делать, сказал мне Фермор. Может, все это, конечно, заберут и в печку сунут — ну тогда, мол, так и быть должно, и думать не надо. А если нет? Я, мол, не знаю, сможете ли вы, Алексей Михалыч, про это понять, а уж сможет ли сын мой, того совсем не знаю. Но прошу вас за тем проследить, а не успеете, ему передайте, а если не ему, то на ваше усмотрение — кому решите. Мне, сказал он, видится, что страну эту, уж совсем пропащую, что-то держит — что? Есть ли у меня право это выразить? Наверное, нету. Но я и то о т с у т с т в и е п р а в а как мог написал. А может, и оно кому принесет пользу, потому что, если кому-нибудь я это помогу в себе увидеть — он уже и покался. А покался, значит спасется. Один человек, конечно, не вся еще Россия, но ведь и она из людей состоит — один да один, да еще один..."

Он опять замолчал и снова закрыл глаза. Все в комнате ждали. Даже Лариса подняла голову и смотрела на отца.

— И вот сегодня, — заговорил он снова, теперь уж явно было, что это давалось ему с трудом, — я дождался — не зря помирать не хотел, а сего дня все дожидался. Сегодня новый человек, первый раз этого гражданина вижу, сказал то, чего Глеб Фермор все хотел, да не услышал... И он при его сыне сказал — при Игоре. Игорь слышал — мне ему передавать те слова не надо. Значит, выходит, что я и это... второе, мне завещанное, исполнил. Я про то, Лариса, не знаю, уничтожат их здесь или нет — эти его картины... Что Марию застрелили здесь — это знаю. Что Фермора тут убили — тоже мне известно. И что то, ради чего они жили — и Фермор, и Мария — не пропало. Вот они три свидетеля — сидят, гляди. Ради них они и жили. Как же мы можем... самовольно решить то, что он... что ему в голову не приходило?.. Вы почему сегодня ко мне пришли — я вас, новый гражданин, спрашиваю? — обратился он вдруг ко Льву Ильичу.

— Мы встретились с ним случайно возле Обыденского храма, — сказал Кирилл Сергеич. — Лев Ильич наш добрый знакомый, очень хороший человек, крестник нашей Маши, а мой духовный сын.

— Вот!.. — старик хотел, видно, опять крикнуть, но не смог. — Вот... Лариска, как все сошлось. У Обыденской. Маши крестник и Марии сына — сын... — у него из глаза выкатилась мутная слезинка и затерялась в щетине.

— Я так вам благодарен... — сказал Лев Ильич, — так дорого мне, что вас услышал... я этого никогда не забуду.

— Хорошо, — поднялась Лариса. — Все зло во мне. Ты все красиво рассказал, да и Фермор мог говорить красиво. Только жизнь с вами для меня красивой не получилась...

"Вон на кого она похожа, — осенило вдруг Льва Ильича, — на Любу на мою! И слова похожи..."

— ...Все ты всем выполнил, — она уже взялась рукой за дверь, — и перед всеми чист, даже и для России постарался. Про меня только позабыл. Да ведь и Фермор забыл. Что ж я буду его живопись спасать — да пусть остается, пропадает! Все равно все пропало...

12

Они больше не разговаривали. Так вот молча вышли, забрались в автобус, а там и в метро. Долгая эта поездка, как за город.

— Ты не домой сейчас? — спросил вдруг Кирилл Сергееч у Игоря.

— Нет, мне тут... нужно, одним словом. Я попозже буду. А вы, Лев Ильич, может зайдете? Мама дома, она что-то, верно, вам должна передать. Может, дождетесь? А так, если нет, позвоните, я всегда буду рад вам помочь, если смогу, конечно. А как зовут вашу дочь?

— Надя...

Они опять замолчали. Да и народу набилась — не продохнешь. Игорь выскочил где-то на полдороге, они дальше ехали.

— Трудно как, — сказал Кирилл Сергееч, как бы себе самому, — как трудно других не судить. А ведь судят других, мы всего лишь напрасно трудимся — тут всего легче ошибиться и еще легче согрешить. В нас обязательно есть собственная тайная мысль, она и ведет в таком осуждении: как бы ты считаешь, должен тот человек поступить, то есть, опять мысль всего лишь о себе, не о нем.

— Это вы о Ларисе Алексеевне? — спросил Лев Ильич. — Я вот тоже все про нее думаю. Какая обида в человеке — неутоленная и уже не способная себя утолить.

— Да, только я скорей о себе. Со стариком уж все — он завершил свой жизненный круг. А у нее еще вся тягость впереди. Когда одна останется, без этого постоянного раздражителя, которым только и жила. С этими картинками... Вам действительно так понравилось? Мысль не показалась нарочитой, уж очень навязчивой?

— Не знаю, не успел подумать. Да мне это и не важно. Главное, в самую точку... Мне очень нужно с вами поговорить...

— А давайте... У меня, правда, со временем... Но часа полтора, а там видно будет.

И Лев Ильич начал рассказывать. Прямо здесь, в метро, в толпе и толкучке, стиснутый сменяющимися одно другими лицами вокруг. Сначала они сидели, потом встали, уступив место женщине с ребенком, их двигало и перекручивало. Потом они вышли и двинулись куда-то, а Лев Ильич и не смотрел по сторонам. Потом он осоз-

нал себя на скамейке: какой-то бульвар, еще светло было, людей не так много. Он рассказал все, с самого начала, с того момента, как расстался с отцом Кириллом, поцеловав крест, — про ресторан, про Таню, Любин звонок, похороны и старика-еврея, про поминки и ЖЭКа, про дикарей-актеров и Володю в ковбеечке, про Любу и Ивана, про Надю, про Сашу, Костю, и то страшное, что было с ним этой ночью, а потом утром. Все вплоть до того момента, как стоя у окна на Костиной кухне, подумал о том, хватит ли у него сил на все это... И как он увидел Игоря и его — отца Кирилла возле храма, и чем это было для него в тот момент... Он ничего не пропустил, да и не мог бы, потому что уж так он слушал его, не перебивал, хотя просил иной раз на чем-то остановиться, да и сам угадывал с полуслова, чуть ли не подсказывал, будто бы знал, все наперед знал, что с ним было. Лев Ильич даже поражался порой его пониманию того, чего никогда в нем не мог предположить, и главное, он и тени любопытства не почувствовал, а только сострадание, не жалость, а живую боль, и Льву Ильичу ни разу неловко, стыдно не было за то, что перекладывает такое на чужие плечи, хотя он и сам с собой никогда бы не смог так говорить, тут другой нужен был, но такой, чтоб умел о себе позабыть.

Он кончил. Кирилл Сергеич молчал.

— Мне это Костя сказал, — повторил Лев Ильич, — что искушения бывают полезны, что они очищают. Он про себя говорил: нет человека, которого бы они не посещали, но у меня, у меня самого — без помощи нет на это сил. Я вам откровенно, не жалею, как факт говорю.

— Не будем сейчас про Костю, — сказал Кирилл Сергеич, — это тяжкая история. Еще Паскаль, кажется, говорил, что одинаково опасно знать Бога, не сознавая своего ничтожества, и сознавать свое ничтожество, не зная Бога. Если второе ведет к отчаянию, то первое непременно к гордости. А тут человек открыт дьяволу. Да, когда человек так истово, сам непременно стремится к мистическим переживаниям — тут все возможно. В отечнике сказано: "Такой-то видит ангелов..." Старец ответил: "Это не удивительно, что он видит ангелов, но удивился бы я тому, кто видит свои грехи". Вот так-то. А тут, к тому же, я думаю, есть какая-нибудь скверная или нелепая история. А может и ошибаюсь. Только молиться за него. Как сможешь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали?.. Давайте о вас лучше. По слову апостола, Бог не только не допускает искушений сверх силы, но дает и силу их перенести. Вот вы что помните. Я очень понимаю вас и, наверное, моя вина, должен был предвидеть, что вы об это расшибетесь. Здесь есть нечто, в чем я не смогу вам помочь. Это удивительная, единственная в своем роде сложность. Необъяснимая. Есть проблемы — еврейские, о которых не еврей, даже я, православный священник, но русский человек, не могу, права не имею гово-

рять. И даже не только потому, что меня могут понять не так, но и внутренне, для себя. А только вы — еврей по крови. Это я очень понимаю. И сейчас скажу вам, как это понял. В любых других случаях мог бы — будь вы калмыком, французом или арабом. Даже негром, как бы ни сближали эти проблемы негритянские комплексы. Здесь нечто другое, единственное...

Лев Ильич был поражен. То есть, он уже давно, с первой встречи видел в этом человеке удивительную для него не только проницательность, но и глубину понимания, но такой широты, душевной тонкости, такого знания того, чем болен он был сейчас — это его изумило.

— Вы знаете, — продолжал Кирилл Сергеич, — есть вещи, которые не любовью не поймешь, — как бы услышал Кирилл Сергеич его, — которые объяснить, до к а з а т ь невозможно. Ну попробуй-те объяснить, почему вы любите того или иного человека, женщину? Ну знаете, твердо знаете о ее слабостях, пороках, непорядочности, пусть развратна — любите! И здесь дело совсем не только во влечении, то есть в вашей слабости. Или, что такое материнская любовь? Ну явный же мерзавец сын, ничтожество, самовлюбленный эгоист. И не какой-нибудь пропащий — там жалость, это другое, а пусть преуспевающий по жизни, внешне благополучный, за него житейски бояться нечего — но скверный человек. И она это знает, отдает себе отчет — но любит! Инстинкт? Пусть она мыслящий человек, умница, способна саму себя, свои душевные движения анализировать, контролировать, слышать — не сможет объяснить. Здесь нет и не может быть доказательств, ибо это вопреки разуму, рассудку — это высшее, дано человеку, то, в конечном счете, чем он отличается от всякой иной твари. Не зря ж и любовь к Богу, ко Христу, недоказуема и не нуждается в доказательствах, это вам так, что ль, Костя говорил? Только у него все противоречиво, не сходится, это и есть первый признак внутреннего распада, падения. Дьявол и есть противоречие... — сказал он с горечью и махнул рукой. — А здесь не объяснишь, потому Бог — это и есть любовь. Как ты ее объяснишь?.. Это я о России, потому что так дорого в нас это вот главное ваше чувство, и ведь оно подвергает себя такому страшному искушению! Но у вас именно голова работает, вы все время пытаетесь объяснить свои чувства, страдания, комплексы, хоть и тут, надо думать, не так все просто, но вы все равно рассуждаете, бьетесь, доказываете... А здесь нет и не будет доказательств. Ибо все факты, а я бы мог вам еще в тыщу раз более страшного рассказать — ну как против них устоит любовь, самая на свете хрупкая вещь! Но ведь только она истинна?.. Знаете что, Лев Ильич, вы не замерзли?.. Здесь хорошо разговаривать, а мне уходить надо. У меня сегодня нет службы, у нас, кроме меня, два священника, но я сегодня должен быть в одном доме, люди соберутся — такая беседа о христианстве. Интеллигенты — сомневающиеся, негодующие

и просто любители поболтать, всякие бывают. Но польза несомненно есть... Я сейчас позвоню, что не могу быть, или, мол, буду попозже, а то они ждут...

— Что вы, как же, раз ждут. Может, у вас еще когда будет время...

— Нет, нет, — перебил Кирилл Сергеич. — И разговору про это нет... Вон, кстаети, автоматы...

Они пересекли бульвар, перешли улицу, остановились возле телефонных будок. Кирилл Сергеич вытащил записную книжку.

— У вас нет монеток? — спросил Лев Ильич. — Я без гроша остался, на работу бы позвонил и Маше — кто меня там разыскивает?..

Он набрал редакцию, машбюро.

"Ой, как хорошо! — откликнулась Таня. — А к вам через час зайдет товарищ. Он уже второй раз звонит, я сказала, чтоб к концу дня."

— Какой товарищ?

"Говорит, Федя..."

— Федя? Какой еще Федя?.. А? Фамилии не сказал?.. Ну пусть завтра, что ль, позвонит, а может я и сегодня успею, к самому концу или чуть попозже. Ты не удержишься?

"Наверно. Не знаю еще. И Крон про вас спрашивал."

— Ну и ладно. Пусть спрашивает. Скажи, звонил, что, мол, пишет. Да что хочешь, то и скажи. Как у тебя?

"Ничего. Все так же. Опять вдвоем с Лидой. Ушел тот артист, как вы и сказали. А вы-то как, где?"

— А нигде... Да, — вспомнил он, — я с отцом Кириллом сейчас, хочешь поговорю про тебя?

"Ой! — испугалась Таня. — Даже не знаю... Спросите, можно к нему прийти? Хорошо?.."

Он набрал номер Маши.

"... Слава Тебе, Господи, объявился. Что с тобой? Позвонил бы хоть. А тебя Вера разыскивает."

— Вера?

"Очень нужен. И телефон оставила. Запиши."

— Я запомню.

"Ну как ты, что?.."

— А знаешь, Маша, я с Игорем познакомился. С твоим Игорем. Я и подумать не мог, что у тебя такой парень...

"Ну конечно, ты про меня чего только не думал. Парень как парень. Дурачок еще."

— Я приду, Маша, обязательно. Я тут с отцом Кириллом.

"А!.. Ну, слава Богу. Вы не у наших ли были? Как там?"

— Плохо. Хоть мне-то и хорошо было. Но я все про себя...

Кирилл Сергеич рядом все еще разговаривал. Лев Ильич поду-

мал и набрал третий номер.

— Алло? — услышал он. — Веру?.. Сейчас, будет вам Вера...”

— Лев Ильич! Господи, как хорошо!.. — Странно как, мелькнуло у Льва Ильича, ну все мне рады, надо ж! — Ты мне очень, очень нужен...”

— Прости меня... — начал было Лев Ильич. — Впрочем, это не оправдание, но я...

— Перестань, какое прости! Я, понимаешь, я хочу тебя видеть. И хочу, и нужно, — повторила она. — Приходи сейчас.”

— Сейчас не могу.

— А когда можешь?”

— Попозже.

— Записывай адрес... Я у подруги. И ночевать здесь буду. Приходи в любое время, хоть в двенадцать часов... Записал? Придешь?”

— Приду, — сказал Лев Ильич и повесил трубку...

— Поговорили? — смотрел на него Кирилл Сергеич.

— Чудеса какие-то — всем я вдруг нужен оказался, все мне рады... А вам... надо идти?

— Надо, — сказал Кирилл Сергеич. — Только я не пойду, или... видно будет. Двинулись?

Они опять вышли на бульвары. Начинало смеркаться, чуть подмерзло, темнели следы на свежем снегу, Кирилл Сергеич так свободно шел — ну просто милый, добрый, такой близкий человек.

— Я так и знал, что вы на этом споткнетесь, а ведь надо же, и не смог вас ничем предупредить! Моя, моя в том вина... — повторил он. — Ну да уж чему положено случиться... Не велика, говорят, заслуга остаться в благочестии, когда ничто тебя от него не отвращает. А великие это искушения или малые — не нам судить, а малые еще по-серьезней, это для того, быть может, чтоб учились не переоценивать себя, на себя не полагаться.

— А на кого ж тогда, к вам каждый раз бежать?

— На Бога. А больше у нас с вами никого нет... Ну, я вам про себя сейчас расскажу, почему я осмеливаюсь про это говорить, хотя бы так, как вам намереваюсь сказать. А то б и совсем права не было... Вы Федора Иваныча помните? А это как раз и случилось, вы только год-два как исчезли, тогда, одним словом, как меня Маша с Фермором разыскали. Это он верно сказал — Алексей Михалыч, если б не Фермор, неизвестно, что б со мной и было — кто б меня взял в семинарию?.. Ну а время помните какое — еврейские дела начались, таким пахнуло ветерком... Вы в Москве были?

— На Дальнем Востоке.

— Да? — глянул на него Кирилл Сергеич. — Ну знаете, наверно, все равно. Но мне-то это что было, я уж потом все припомнил, оценил. А у Федора Иваныча всегда свои дела на кладбище, тоже фабрика, я вам скажу, а тут еще знаменитое кладбище, и не как Новоде-

вичье — музей, там высшие сферы, а тут — самая коммерция. Все время какие-то дела с могилками, он хоть и последний человек по чиновной линии, а по сути, может, и первый — многое от него зависело. Тем более, он там всю жизнь, все на свете знал. Мрачный он был человек, никому, мне кажется, не открывался, мне иной раз думалось, большой грех у него на душе, страшный... И вот, раз приходит к нам, в ту самую комнатуху, женщина. Еврейка. Старая, жалкая, таких уж и нельзя не обидеть, особенно если кто к тому имеет пристрастие или склонность. Она знала Федора Иваныча, он много лет присматривал за ее могилкой. Прямо с порога начала плакать: что ж, мол, такое, прихожу, а там у меня люди, копать будут. Где, какие люди? — это Федор Иваныч, забыл он ее, что ли. Она объясняет. Я, говорит он, ничего не знаю и к этому участку отношения не имею. Да как же, когда всегда, мол, к вам приходила. Ну было ко мне, а теперь не так. Но вы ж человек, вы должны понять, там муж и сын похоронены. А фамилия? Эппель, Абрам и Михаил. Вот что, гражданин Абрам, это он говорит — Федор Иваныч, идите-ка отсюда, зачем ко мне домой пришли? Как зачем? — она все не понимает. — Я всегда к вам приходила. То, мол, всегда было, а теперь идите, пока я с вами по-доброму говорю... А я тут, как на грех, и оказался. Федор, мол, Иваныч, так это не те, что вчера приходили, место у вас просили и вы нашли забытую могилку? Наверно, ошиблись, какая ж забытая, когда вот она — живой человек... Он на меня выверился: а ты чего лезешь? Тогда я ей говорю: идемте-ка, гражданка, в контору, мы все это выясним. Не смей, говорит, не лезь не в свое дело. Но я уж чувствую, не могу стерпеть. Я всегда перед ним робел и благодарность чувствовал, знал, что он не отец, подобрал меня, вырастил... Пошли мы с ней. Она совсем потерянная, плачет, все в толк не возьмет, что с Федором Иванычем случилось. А в конторе тоже концов не найти, да потом, чувствую, есть концы, но их специально прячут. Какое-то начальство надо было ублажить. Родственника чьего-то. Вижу, лгут ей в глаза. Идемте к могилке, говорю. Приходим. Действительно, люди, могильщика ждут — да не могильщика, а Федора Иваныча, кого ж, его участок. А могилка — верно — без оградки, без памятника, летом там, может, и цветочки, а тут весна — уж такая бедность, одна ржавая табличка, да и та валяется рядом. Она как увидела, схватила табличку, в голос зарыдала. Я им объясняю, так, мол, и так — ее могилка. А ты кто такой? — важные, в шляпах, из тех, что тогда в машинах ездили. Да и сейчас пешком не ходят. А тут Федор Иваныч идет, они к нему, резко, видно, сказали, как припечатали. Он кровью налился. Подошел к ней, вырвал табличку и сказал что-то. Что — я не слышал, но что-то, видно, страшное сказал — она как в столбняк впадала. А вокруг пусто — ни души, это в дальнем углу кладбища, лес, черные деревья, да и дело под вечер. Потом он ко мне подошел, вплоть, я его лица тогдашнего вовек не забуду. И ударил меня... Я не

сразу в себя пришел. А очутился — никого. Ни тех — в шляпах, ни Федора Иваныча, ни женщины. И таблички той нигде нет...

Они остановились на перекрестке, впереди была площадь в развороченной грязи, пустая, но тут открылось движение и лавина машин, разбрызгивая жидкую кашу, хлынула мимо. Они переждали и перешли на следующий бульвар.

— ...Больше я не был дома, — сказал Кирилл Сергеич, — а потом меня Маша нашла.

— Страшно как... Как здесь жить страшно... — думал вслух Лев Ильич. — Вы говорите, любовь? Ведь и ее чем-то кормить нужно. Иначе она будет абстракцией, риторикой или... как вон я услышал, лакейством.

— Страшно, — согласился Кирилл Сергеич. — Не знаю, правда, нужно ли кормить любовь. Чем? Доказательствами, объяснениями? Я с этого и начал наш разговор, что они ей — любви — не только не нужны, они не способны ее вместить. Или она есть, или ее нету, и ничего тут не поделаешь. Простите уж за резкость... Вот так... Хотите присесть? Не замерзли?..

Они сели на скамейку, мимо шли люди, фонари уже зажглись. "Неужто и у каждого что-то такое? — подумал Лев Ильич. — Не у меня ж одного? Как они все живут с этим?.."

— Серьезная жизнь, — сказал Кирилл Сергеич. — Или страшная. Это как вам угодно. Только ведь и обманывать себя нельзя. Но если сможешь преодолеть — тогда свет увидишь, тот самый, который и во тьме светит... Какая луна сегодня, глядите!..

Лев Ильич глянул: оказывается, и небо здесь было, и луна, действительно, полная взошла, и нужно было — куда денешься? — как-то со всем этим жить.

— Я к тому это вам рассказал... А знаете, — перебил себя Кирилл Сергеич, — я вам первому это рассказал. Сколько лет прошло, никогда не рассказывал. Даже Дусе. Самому страшно вспомнить... Чтоб вы поняли, что я могу, что у меня есть право про это думать... Ну хотите узнать, что и как я думаю?..

Он помолчал. Лев Ильич закурил и вдруг успокоился. "Нужно ведь как-то со всем этим жить", — повторил он про себя.

— Я священник, — начал Кирилл Сергеич, — мне приходится ежедневно говорить с десятками людей — и на исповеди, и так, по самым разным случаям. Чаще всего люди жалуются — то у них плохо, это не хорошо: и болезни, и обиды, и горести, и страсти, и падения — с радостью редко кто приходит в церковь. И о евреях, конечно, много разговоров. Живет, представьте, человек в коммунальной квартире, в комнатухе пять, а то и семь человек. Дети, родители, старики. А сосед — вдвоем с женой, в двух комнатах, — еврей. Приходит женщина в магазин, стоит в очереди — устала, раздражена, а тут из-под прилавка продавщица-еврейка "своему" что-то такое от-

пускает. А еще на работе — мастер-еврей прогрессивку не так вывел. А ведь вся жизнь из этого и складывается: дома, в магазине, на работе. Везде евреи! Они нас давят, они всюду продвигаются, от них житья нет — мало их Гитлер поубивал!.. Вот вам самый элементарный и, заметьте, самый распространенный антисемитизм. Что тут объяснишь: что в соседней квартире, уж наверно, наоборот — русский живет в двух комнатах, что в соседнем магазине русская продавщица тоже самое выделывает, а к тому, что нашу жизнь сегодня пакостит, к власти, евреям и близко не подпускают? Разве объяснишь человеку, если весь его мир ограничен кухней, если все проблемы этим кончаются, если он голоден, живет в тесноте, болен, сын пьет — и он на весь свет раздражен? Что тут объяснишь человеку, когда корень этого всего — до омерзения к евреям включительно — даже не в социальном уродстве, а в том, что человек не утверджен в любви Божией, не знает, что все мы создания Божии — евреи ли, язычники, эллины, что тот, кто истинно верит, находится в такой радости, что и не способен не то чтоб кого-то осудить в своей беде, но всем желает одинаково добра, ибо знает, что все — язычники и евреи — так же точно Бога славят. Или, как говорил один замечательно духовный человек — Макарий Глухарев, современник Филарета Московского: нет народа, говорил он, в котором бы Господь не знал своих, нет той глубины невежества и омрачения, до которой Он бы не снизошел. Да кто, мол, он такой, чтоб судить о незрелости какого-то народа к вере во Христа, Который за всех человеков пролил Кровь Свою на Кресте... Это вот единственный уровень для такой темы, а на уровне кухонном мы эту проблему не разрешим, и тут даже говорить не интересно. То есть, говоря проще, антисемитизм непременно в неверии, а все остальные объяснения — исторические, социологические, до физиологии — это все лукавство, чтоб не сказать больше. А уж мне вам, тем более, незачем про это говорить, вы больше меня знаете. Но есть тут другая сторона — высшая, о которой мыслить важно, потому что в ней тайна, существенная для каждого христианина...

Он опять замолчал, а Лев Ильич сейчас думал о том, какое ему счастье выпало встретиться с этим человеком и как ему повезло все-таки в жизни... Тут он портфель ощутил под боком и усмехнулся горько: "Действительно, везет, ничего не скажешь!"

— Прежде всего, это правда, реальность, а потому и следует знать ее, не пугаясь здесь самых тяжелых и соблазнительных антиномий, — сказал Кирилл Сергенч. — Я так думаю, что и русский шовинизм, и отвратительная еврейская исключительность здесь и коренятся — в робости мысли, чтоб не сказать трусости, в неспособности сказать самому себе правду... Это удивительная тайна, а меня всегда поражает в ней стройность, законченность замысла — ну как чуда какого-нибудь из постигнутых человеком законов природы — о движении звезд, о сохранении энергии или система элементов. Если говорить

догматически, евреи внеисторический народ — это основной ствол человечества, его онтология — Евангелие от Луки в обратной генеалогии возводит евреев к Адаму. Разумеется, если речь идет о родословии веры — не просто о крови, о тех, в ком сказался Промысел... Но если взять и историческую точку зрения — с Авраама, то и тут нет никакого противоречия, ибо нам дано Откровение о Боговоплощении Христа — по человечеству иудея, Сына Давидова. История не знает другого народа, произошедшего от одного человека, от братьев, от одной плоти. Этот народ существует уже тысячью и тысячами лет, а где другие — греки, римляне или вавилоняне? Этот народ поклоняется Одному Богу, из рук Которого он получил Закон, сохранил Книгу, заключающую в себе этот Закон, во всех превратностях своей истории. Как это произошло и стало возможным? Вам скажут: очень просто, Бог избрал народ, назвал Своим, спас, охранял, а потому сохранилось Слово. Но почему именно э т о т, не другой — всего лишь по произволу, прихоти, или потому что он лучше прочих?.. Да вы сами говорили мне о том, что задавались этим вопросом, и отвечаете: нет, не потому, а так — избранный, значит тот, который и з б р а н — и все. Но все-таки, что это такое, и можем ли мы в это проникнуть?.. Если вы будете внимательно читать Библию, то увидите одну странность — эта Книга, тысячелетиями сохраняемая с таким трудом и тщанием, которую евреи заключили в Ковчег Завета и так берегли, их же самих бесконечно обличает, причем с такой огненной яростью, что никакому антисемиту и не приснится. Да вы это сами заметили, только что мне рассказывали о своих разговорах? Им предсказаны в этой Книге самые страшные беды и испытания — и плен у вавилонян, и разрушение храма, и рассеяние, даже их духовная нищета и ослепление — и не просто как результат стихийных бедствий, но за их собственные пороки и преступления перед им же данным Законом. Об этом говорится беспощадно, страстно и подробно. Зачем же они хранили эту Книгу, выставившую их, мягко говоря, в таком явно неприглядном свете? А потому, что кроме проклятий и разоблачений там есть и другое, а именно непрерываемое свидетельство избранничества, о чудесах, сопровождавших их историю, об обещаниях неизменно выполняемых. Кроме того, Книга написана не просто, а вернее будет сказать, ее простота не всем доступна, так что желающий может прочитывать ее так, как он хочет, и коль он представил себе, что раз Господь избрал его народ и подтвердил это избрание бесчисленное число раз, рассеивая полчища врагов, осушая моря, осыпая их манной, то сбудется и все остальное. И в конце концов нет нужды соблюдать Закон — зачем? — ибо все равно сбудется, слово уж и не Бог их избрал для Своего Замысла, а они сами стали народом избранным, что только Бога связывают Его обязательства, народу же остается лишь дожидаться обещанного. Потому все страшные пророчества и сбылись, что народ не мог их услышать, ими пре-

небрег, Библия, как и было предсказано, осталась для евреев Книгой запечатанной. Но именно поэтому — слышите, поэтому! — они Ее и сохранили, потому как не смогли понять, а увидели в ней всего лишь Обетование о своей исключительности и понятое примитивно-земно предсказание о своем могуществе. И Господь, конечно, знал, что так именно и будет, что в силу своей чувственности, плотскости, страстей, мечты всего лишь об удовлетворении своей похоти они ничего другого и в чудесах, сопровождавших их историю, не увидят. Они так были в этом уверены, убеждены до сих пор, что не заметили Мессию, о Котором Господь через пророков их бесконечно предупреждал. Библия и сегодня для них запечатанная Книга, Бог потому их и избрал, что все про них Ему было известно, что это их непонимание главного и сохранит Завет, что и в рассеянии они останутся Ему верными, понесут Его всему человечеству, ожидая при этом для себя чуда только здесь — на земле...

— То есть, обманул их? — с недоумением спросил Лев Ильич.

— Почему обманул! Разве им не дан был Закон, который следовало всего лишь соблюдать, и разве не явлены чудеса, свидетельствующие о непреложности обещанного в случае исполнения этого Закона? Разве они избрали себе Бога, а не Он их? Я проходил мимо, говорит Господь через Иезекииля, и увидел тебя, дочь Иерусалима, при рождении выброшенной на поле по презрению к жизни твоей, и не омытую водой для очищения, брошенную на поправление в кровях, и сказал тебе: "в кровях твоих живи!" Умножил тебя, ты выросла, а увидев наготу твою, простер воскрилия риз Моих и покрыл наготу и вступил в союз с тобой, и ты стала Моею, дал платья, украшения, золото и серебро, и ты достигла царственного величия, и слава о твоей красоте пронеслась по всем народам. Но ты понадеялась на красоту свою, воспользовавшись славой, стала блудить и расточала блудодейством и хлеб Мой, и сыновей, которых ты родила для Меня... Так говорил Господь через своего пророка: "вы будете Моим народом, а Я буду вашим Богом", — вот что сказал Господь. А потому следовало не требовать и ждать, а всего лишь исполнять Закон... Какой же обман — разве вы не видите здесь — н а д е ж д у? Какой же обман, когда Он послал Сына Своего Единородного, о Котором предупреждал и в этой Книге бесконечно — и о месте рождения, и о Его проповеди, и о том, как Он будет предан, оклеветан, замучен, даже о том, что Ему дадут желчь и уксус, проколят копьем, что Он воскреснет в третий день, сядет одесную Отца и все народы Ему поклоняться. Разве это обман, а не Замысел, не пророчество, внутренний смысл которого они не могли или не захотели понять? Мессия, Которого они со всей своей невообразимой страстью ждали, был для них всего лишь тем, кто явится их наградить и распределить для них же блага, а не Тем, Кто возвестит через них Новый Завет в с е м, призвав сначала к покаянию и очищению. Но кроме того Замысел и в том, что если б столь страшный для

них, а вернее — для их страстей и похоти — смысл им открылся, они б не хранили Слова, если б они поняли и полюбили Мессию, их свидетельство не было б столь ценным, абсолютным. А то, что они распяли Спасителя и по сю пору Его не признают, именно это и делает их свидетелями истинными, а пророчество безупречным.

Лев Ильич был потрясен.

— Но не кажется ли вам, — спросил он, — что такое толкование делает Израиль всего лишь каким-то... инструментом, что ли, средством, но не целью?

— Не Израиль, — сказал Кирилл Сергеевич, он как-то это устало сказал и потух даже. — Я, может быть, излишне горячо говорил, простите. Не Израиль, а евреев, не сумевших проникнуться духовным смыслом Обетования, стремящихся извлечь только выгоду из своей веры. Я бы гордился, будь я евреем, тем, что принадлежу народу, среди которого явился Спаситель, рожденный еврейкой. В этом и есть трагическая антиномия истории избранного народа, не похожая ни на одну другую — единственная в своем роде. В том, что в нем всегда были отпавшие и истинно верующие, праведники, те, кто сумел прочесть, услышал пророчества, не только обличавшие павших, но говорившие о необходимости шага дальше. "Вот наступают дни, когда Я заключу с Израилем Новый Завет, говорит Господь через Иеремию, не тот, что с отцами, когда выводил их из Египта, тот они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, когда Я вложу Закон Мой в их внутренности и на сердцах напишу его". Следующий шаг, ставший возможным только благодаря Искуплению. Да, среди этого народа родились апостолы, понесшие благовестие всем языкам, но трагедия в том, что среди них всегда были гонимые, вплоть до погромов и газовых камер, и гонители — вплоть до воинствующего, ставшего властью, атеизма... Вы говорите средство не цель? Чем же была Смерть на Кресте — разве не средством спасти человечество, всех людей, человека, павшего еще в доисторические времена?.. Средство? Но разве Господь не дал избранному народу свободу в выборе меж добром и злом — дал им Закон, но они им пренебрегли, дал им пророчества о Сыне Человеческом, но они Его распяли! Сам образ, облик Того, Кто был Богом, Его жалкая жизнь и позорная смерть, путь, к которому Он звал, требующий оставить все, ради чего они жили и страдали — все это настолько противоречило тому, что им, как они полагали, было обещано, что тут и сомнений не оставалось: "Распи! Распи Его!.." Вы говорите, мое толкование? Это скорее весьма традиционное для христианина прочтение Откровения — и для католиков, и для современного православия...

— В чем же тайна? — спросил Лев Ильич, ему и страшен и поразительно ясен становился путь, которым ему предстояло теперь идти.

— А в том, что Обетование, данное Аврааму, сохраняет свою

силу и по сей день, ибо родство евреев с Христом и Его Матерью, связь к р о в и не может быть прервана — по слову апостола, если корень свят, то и ветви: "Неужели Бог отверг народ свой? Никак... Не отверг Бог народа своего, который Он наперед знал... Ожесточение произошло в Израиле о т ч а с т и, до времени..." Здесь самое важное н е п р е р ы в а е м о с т ь избранничества, Израиль не только спасется, но спасется, потому что постоянно приходят евреи ко Христу. Это и есть тот с в я т о й о с т а т о к, те, кто несут на себе тяжесть двойного креста — распинаемые за Христа и со Христом. Израиль спасется, и это невероятный процесс, с которым связаны пророчества о конце времени. Это, конечно, долгий процесс, ибо он будет зрелым плодом, таинственно созревающим на корне маслины природной. Только "пока войдет полное число язычников", как говорит апостол, когда Израиль воскликнет: "Благословен Грядый во имя Господне!" Здесь тайна и здесь трагедия — помните Евангелие от Иоанна? "Бе Свет истинный, иже просвещает всякого человека грядущего в мир. В мире бе, и мир тем бысть, и мир Его не позна. Во своя прииде, и свои Его не прияша. Елице же прияша Его, даде им область чадом Божиим быти, верующим во имя Его: иже не от крови, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но от Бога родившася..."

Лев Ильич поднял голову — это было поразительно: они сидели на бульваре, в центре города, страшную историю которого, как ему казалось, он теперь понимал, мимо торопливо шли по своим делам люди, над ними сияла луна, а в ушах звенели слова апостола: "В мире бе, и мир тем бысть, и мир Его не позна..."

Он схватил руку Кирилла Сергеича и крепко, благодарно сжал ее.

— Был такой в прошлом веке у нас в России человек, — сказал Кирилл Сергеич, мягко ответив на его движение, — Дрейзин. В самом конце века умер. Служил казенным раввином чуть ли не в Бердичеве, а потом, за три года до смерти, крестился и стал епархиальным миссионером. У него была молитва — я ее запомнил: "Господи! сними с моего народа проклятье гордости, высокомерия и самознания, проклятия слепоты и ожесточения, чтобы они сделались способными постигнуть святость Твою и истину о Тебе! Открой мои уста, о Господи, чтобы слова, которые я им говорю, были бы Твоими, чтобы они вошли в их сердца, как огненные стрелы и как жало скорпиона в их совесть, чтобы Израиль одумался бы, наконец, и нашел бы спасение в Тебе..." Вот какое сердце, какая боль и какая вера. А что до Флоренского, вам, как я понял, приводили вырванные цитаты, намеренно вне контекста. Мысль, конечно, искажена. Но, как я понимаю, эти его заметки результат какого-то трагически-безрадостного прочтения Писания. А ведь Благая весть — весть о спасении, прежде всего. Почему ж надрыв в этой мысли о неотвратимости

подчинения Израиллю?.. Но что делать, и у такого человека могли быть заблуждения, или минута такая?..

— Что ж мне, как быть? — задохнулся Лев Ильич, мысль и решение готовы были уже сказаться в нем.

— Есть тут одна страшная сторона, коль мы о нашей сегодняшней жизни думаем, ее и произнести-то боязно... Не было обетования о создании еврейского государства — было только о рассеянии. Эта осуществившаяся сегодня вековая мечта дело рук не Божьих, а человека, а потому и сохраниться оно может только человеческими руками. Можно ли тут на чудеса рассчитывать? И потому, знаете, я вам сейчас странную вещь скажу, а вы ее сразу забудьте. Но когда я про это думаю, то был бы евреем, а не священником — уехал бы туда и взял в руки автомат. А ведь я русский — из русских русский... Вот вам еще одна маленькая антиномия. Но разумеется, слабость моя, несовершенство. И за эту мысль мне каяться и каяться, — и он первый раз за весь разговор как-то прямо по-мальчишески широко, хоть и невесело, улыбнулся.

Лев Ильич остолбенел: "И это после всего, что он мне только что говорил? Нет, такая широта не для меня..."

— Тут уж я... — начал он. — Я сначала все никак не мог понять, когда вы о праве сказали, что, мол, нет его здесь у вас. Я даже поразились — что ж, у вас того права, нет, а у меня — другого?.. А теперь знаю, верно, нет. Потому что есть вещи, которые вы не можете понять, а если сможете, то сказать не решитесь. А я могу и знаю... Да, право у меня есть. А потому высшая правда — для меня, понимаете, не вообще! — не в том, чтоб уехать и взять автомат, а в том, чтобы остаться здесь, в России. И умереть здесь. Для меня это и русская, и еврейская правда. Это Слово Божие, нам заповеданное. Так, как я его сердцем услышал.

13

Лев Ильич летел по улице. Он именно летел, торопился, а на часы глядеть не хотел. Он и так знал, что поздно, что конечно Тани нет, едва ли она так задерживается, но почему-то и звонить не стал, хотя что проще было б проверить, и монетка еще оставалась, зажатая в горячих пальцах. А зачем так уж нужна была ему Таня? Но это все сложно было объяснить, да и едва ли он смог бы. Он так решил: увидится с Таней, а потом... А уж потом все совсем было несомненным. У Тани ему надо было еще денег попросить до завтра — до зарплаты. Ему и Кирилл Сергееч, прощаясь, предложил: "У вас же совсем нет? Сами сказали..." Но он отказался, не захотел у него взять :

”Да я тут должен... застать, там есть, а завтра получу в редакции...”
Ну зачем ему брать у него — тут другое, а там протоптанная дорожка, всю жизнь все и стреляли перед зарплатой друг у друга...

Но Таня ему, конечно, не только для денег была нужна, в конце концов, можно б и домой ей позвонить, хотя этого ему и не хотелось. Он хотел ее видеть — и потому что она ему рада, и он ей нужен, значит жизнь его продолжается — новые связи, отношения, душевная близость, — не один он в этом городе! Он так переполнен был именно этим ощущением невероятного разнообразия жизни вокруг него: как это выходит, что одновременно, сразу существует в тебе — и отец Кирилл, и то, что он рассказал о себе, и то таинственно-прекрасное, что сейчас бурлило и переливалось в нем, о чем он не решался сразу начать думать, пусть уложится, и уже знал даже путь, по которому пойдет, чтоб осмыслить все это; и Иван, и Надя с Любой, и этот милый юноша, так ему приглянувшийся, и поразившая его картина вместе с людьми, живущими с ней рядом. А еще был Костя и ужас вокруг него. А еще был город, который летел ему навстречу, Россия, в которой теперь он о с т а л с я — не просто оттого, что никогда б и подумать не мог, что придется вдруг собирать чемоданы, не бездумно-наивно, а осмысленно-счастливо!

А может, главным в том его полете было нечто другое? Странный телефонный разговор, то, что он нужен и его х о т я т видеть?.. Он только на мгновение смутился, задавшись этим вопросом — ну и что ж, и это тоже! А совместить с тем путем — счастливой и страшной дорогой, что открылась ему столь ясной под луной?.. В том и дело, что все вместе, — торопил он себя, — да, и Вера, и та невообразимая Полнота жизни, открывшаяся ему в ней... Нет, нет, не так, не так все примитивно, он хорошо, твердо помнил все, чем это ему обошлось... Но ведь с чего-то и началось все для него десять дней назад, началось, но никак в нем не кончилось, длится, и он только по трусости, своей всегдашней страусиности не позволял себе про это думать? Вот и Таня потому была нужна, что не мог он так сразу, что надо было ему задержаться на чем-то более понятном и несомненном, передохнуть, прийти в себя...

Но ему хорошо было. Он уж не был потерянным, заблудившейся в этом нелепом городе нелепой фигурой с портфелем. Хотя и портфель все тот же в руке, и все так же некуда ему деться, но столько самых невероятных планов и предчувствий теснилось в голове!.. И неправда, что тут коренное различие, противоречие, что нет соответствия!.. Вся полнота жизни была ему дана и открыта — а тут уж выбери, не споткнись снова.

Дверь редакции оказалась запертой, он позвонил и не удивился, когда Таня ему открыла.

— Я так и знала, что вы придете! — у нее горели щеки, блестели глаза, она была несомненно рада.

— Все работаешь, бедняга?
— Работаю... Но здесь вас товарищ ждет. Я его совсем заговорила.

— Какой товарищ?

— Федя, я ж вам сказала, что он зайдет?

— Федя?... — Лев Ильич увидел, что она мгновенно огорчилась, оттого что он не может вспомнить. — Ну да, конечно...

В машбюро ярко горела лампа, было накурено, возле столика с машинкой сидел паренек — краснощекий, тонкошей, со смешным хохолком на макушке.

— Здравствуйте, Федя! — обрадовался Лев Ильич. ("Как же он забыл его? Так хорошо тогда поговорили...") — Вы меня извините, я никак не мог раньше. Мы тут с отцом Кириллом...

— Это вы меня извините, я решил больше не звонить, Таня мне объяснила, где редакция, подумал, вдруг все-таки зайдете... А мне очень хотелось...

— Ну и отлично, — перебил его Лев Ильич. — Таня не сердится, что мы ей мешаем?

— Сержусь! Знаете, как надоела эта проклятая машинка? Хотя, слава Богу, что работа... А ваш Федя такой чудак, представляете...

— Да, Танюш, — опять перебил Лев Ильич, — ты мне можешь еще одолжить денег — до завтра? Завтра дадут зарплату?

— Сколько хотите, мне сегодня как раз за работу принесли. Сколько вам?

Лев Ильич не знал сколько.

— Да все равно — у меня ни копейки. Звонить не на что было.

— Хотите пятьдесят рублей? Вот мне принесли...

— Куда мне столько... — "А пусть много, мелькнуло у него, мало ли что... А что?" — испугался он. — Хорошо, возьму сорок, будет всего пятьдесят.

Они сидели втроем под яркой лампой. Таня за своей машинкой перекладывала бумажки, и Лев Ильич вдруг заметил, что она их складывает, раскладывает, а потом снова... "Что за нервность такая?" — удивился он.

— Ты знаешь, Танюш, я спросил отца Кирилла о тебе...

— Ой! — вскрикнула Таня, как тогда по телефону, и глянула на Федю.

Тут тоже раскрыл глаза, ресницы у него были густые и темные, как у девушки, а в них светлые глаза, сейчас удивленные.

— Я просто сказал, что ты хотела бы с ним поговорить, и что у тебя нет духовного отца, а так ты не решаешься...

— Неудобно как!.. — опять ахнула Таня.

— Ты зря беспокоишься, он человек умный, тонкий, и лучше нас все понимает. Он только спросил, где ты хочешь поговорить — в

церкви или у него дома? А я и не знал.

— В церкви, наверно, ну что ж я домой к нему пойду?

— Как хочешь. Ты тогда напомни, что я с ним говорил, а может, и не обязательно. Он тебе понравится, правда, Федя?

— Федя знает отца Кирилла? — поразилась Таня.

— А что тут удивительного, — сказал Лев Ильич, — город у нас небольшой, все друг друга знают.

— Стыд какой, — брякнул Федя. — Я тут такую околесицу нес, а Таня оказывается в церкви... бывает.

— Ой! — засмеялась Таня. — Такой чудак! Раз, говорит, у вас журнал по вопросам природы, должен быть аквариум, птички, а уж белые мыши обязательно. Пристал, чтоб я ему мышей показала.

— Это он тебя клеил — так, что ль, у вас, у молодых это называется? — сказал Лев Ильич, почувствовав себя вдруг патриархом.

— Это вы напрасно, Лев Ильич, — надулся Федя, как у отца Кирилла, когда набил рот блинами.

— Что? Я б на вашем месте пригляделся к этому созданию. Впрочем, я тут пристрастен, у нас с Таней давняя любовь.

— Я к вам, Лев Ильич, собственно, по делу, — хмурился Федя. — Помните, мы говорили о моем знакомом, едва ли у меня есть право назвать его другом, человек он замечательный, вы тогда согласились с ним встретиться?

— С Костей, что ли? Так я с ним так навстречался...

— Почему с Костей? С Марком... Потрясающий человек. С обостренными гражданскими реакциями, мужества настоящего, обнаженная совесть — общественная, то есть... Ну деятель, одним словом.

— Помню, — действительно вспомнил их разговор Лев Ильич.

— А он примерно ваш ровесник и вообще что-то есть общее, в смысле искренности, но... полнейшая непробиваемость. Он, понимаете, хотя и не бессмысленный атеист, но из тех, кто, как говорят, признают существование материи, но совершенно не знают, материальна ли сама материя.

— Ну и какую роль вы мне отводите?

— Поговорите с ним! Это страшно важно, потому что если сдвинуть такого человека, то могут быть невероятные последствия.

— Ну а... имеет смысл торопить эти последствия?

— Я не шучу, Лев Ильич, я бы вас иначе не разыскивал и не дожидался так долго.

— Простите меня, я и правда подумал, что вы не меня дожидались, а с Танечкой кокетничали — зачем вам белые мыши так уж сдались?

— Да оставьте вы меня, Лев Ильич, в покое, что это с вами?.. Я вчера нарочно зеркало разбил.

— Как зеркало? — вздрогнул Лев Ильич.

— А так. Решил доказать себе самому бессмысленность языческих суеверий.

— Доказали? — тихонько спросила Таня.

— Чушь какая-то! — расхохотался Лев Ильич, но тут же оборвал смех, такая неловкость, боль и печаль его охватили — он-то молчал бы!

— Почему же чушь? — уже всерьез обиделся Федя. — Я так полагаю, что в принципе следует не только декларировать, но и на себе проверять.

— А зеркала не жалко? — улыбнулась Таня.

— Как обидно бывает, — поднял на нее глаза Федя, — стоит человеку сказать что-нибудь искреннее, ну то, что не принято обычно говорить, потому что люди стесняются своих чувств, про себя таят, так уж обязательно тебя за это обсмеют. Даже странно, будто ложь и лицемерие для человека куда ближе и привычнее. Неужели так оно и есть, ну не в обычной жизни, тут понятно, но и в природе человека?

— Не знаю про природу, — сказал Лев Ильич, — но в жизни так именно и есть. Да и в природе человека. Это только Руссо и марксизм утверждают, что человек создание совершенное, а мол, условия все у него плохие. В чем бы тогда был смысл грехопадения, если б человеческая природа не сокрушилась?

Федя встрепенулся, как боевой конь.

— Ага! Значит в принципе, в принципе — человек совершенен, ну если б не было... грехопадения?

— Где он слышал это словечко 'в принципе'?.. Володя!" — вспомнил Лев Ильич. Да, конечно Володя — заядлый сионист! А ведь похожи, вот они молодые, не нам чета...

— В принципе, — сказал он, — человек создан по образу и подобию Божьему. Так что сомнения в его совершенстве быть не может. Это в принципе. Но нам с вами приходится довольствоваться тем, что есть, тем более, сами мы уж так далеки от того подобия. В связи с этим я и думаю, что едва ли способен разговаривать с человеком, которого вы столь превосходно аттестуете.

— Почему? Я ему рассказал про вас и что с вами познакомлю...

— Скажите, Федя, ну что я смогу рассказать хорошему, доброму, как вы говорите, мужественному человеку о Христе? О том, абсолютно ли материя материальна — так он сам в этом сомневается? Приведу доказательства бытия Божия? Он их не хуже моего знает. У каждого только свой путь. Как рассказать о том, что я чувствую сердцем, как это перевести в слова, когда каждое мое слово ложь? Вы только что очень хорошо сказали: стоит произнести искреннее признание, как непременно обсмеют. Вот мы и лжем на каждом шагу, это уж точно стало нашей природой. Да что за примерами ходить, я вот, здесь, сейчас, сколько раз солгал? Два, три? И то, что узнал вас сразу, а сам позабыл про вас, и то, что о Тане беспокоился, а сам за

деньгами прибежал — деньги мне нужны позарез. А зачем? Зачем они мне, когда уже вечер, поздно, а завтра у нас зарплата? Затем, что я и сейчас лгу, хотя знаю точно, что сделаю сегодня то, что не только нельзя делать, но чего я и не хочу... Да и тут солгал, вот-вот — в каждом слове! Что не хочу, солгал, — не хотел бы, не бежал сюда сломя голову...

— Лев Ильич, милый, ну что с вами? — Таня прижала руки к груди. — Ну какие деньги, вы о чем?

— О чем?..

А действительно "о чем" он? О чем он все это время думал, когда шел с отцом Кириллом по бульварам, когда потрясенно слушал его на скамейке, когда луну над собой увидел и путь под ней, которым ему теперь предстояло идти?.. Неужто он слушать-то слушал, но в нем все это время тот голос звучал: "Значит, придешь?.."

— Знаете что, — сказал он, — у меня сегодня так вышло, я ничего с утра не ел — чашку кофе выпил в одном хорошем месте, не к ночи будь помянуто. Может, мы что-нибудь такое сообразим?

— Давайте чай, у меня баранки есть! — обрадовалась Таня.

— Да ну, какой чай-баранки! Вы сидите, я мигом... Дверь не буду закрывать!.. — крикнул он уже из коридора.

Он только не понимал, почему он оттягивает, если уж знал, твердо знал, с того самого мгновения, как услышал ее голос в трубке, да нет — какой там голос! — он раньше знал, и даже не когда Маша давала ему телефон, а как только Игорь сказал, что кто-то его разыскивает. Вот с того самого момента он все знал, как это с ним будет... "Из трусости, из лицемерия перед самим собой — потому и тянул?.."

Портфель он забыл в редакции, по дороге у него все валилось из рук, он открыл дверь ногой: Таня уже убрала машинку, чайник стоял на столе, стаканы, баранки... Он вывалил на стол две банки рыбных консервов, копченую треску, яблоки, хлеб, вытащил из кармана бутылку водки.

— А это для тебя, — и он положил перед Таней кулек с трюфелями. — Страшное дело, как проголодался.

Они выдвинули столик на середину комнаты, сидели под яркой лампой, Лев Ильич давно не был таким возбужденным, почему-то все время острил, сам же над своими остротами смеялся, так что Федя несколько раз на него удивленно взглядывал.

— Сидим? — поднял стаканы Лев Ильич. — Я хочу странный тост произнести, серьезный. Не за женщину, сидящую среди нас, хотя это б и следовало — не только в традиции, но и по делу. Эх, Федя, рассказать бы вам, что мне открылось в Тане, какая душа из этих современных глаз глядит, ежели туда посмотреть. Да не так, как мы женщине в глаза смотрим, а как на человека положено глядеть — как мы на икону смотрим, потому как ведь человек есть храм Бо-

жий... Только где уж нам вынести такой подвиг? Это однажды, если и удастся за всю жизнь, то и будешь потом — да не гордиться, а раскисаться в той собственной высоте. Человек редко гордится своей высотой... То есть, я несколько зарাপортовался, какая она высота, если ты ею гордишься — это уж непременно низость? Я про другое, в том и низость человека — сделает он что-нибудь человеческое и тут же пожалеет: зачем, дескать, лучше б я скотиной остался...

Они оба непонимающе смотрели на него.

— Я о другом хотел вам сказать, — перебил он себя. — Помните, Федя, разговор у отца Кирилла, который вы затеяли? А я помню, так что не то чтоб я все позабыл. Я вас хорошо запомнил, вечный, проклятый, карамазовский вопрос, на чем русские мальчики себя потеряли, а теперь, через сто лет, на нем снова себя нашли. Как бы, однако, снова не потерять? Это какой-то круг получается нелепый: сначала вопрос, чистота и горение, потом подвиг и жертвенность, потом награда за чистоту, потом эту награду на рынок, проценты с нее, самому незаметно, а она уж не чистота вовсе, а пакость, кровью пропитанная, а чужая кровь непременно со своей смешается, такая идет мясорубка — и не вспомнишь, с чего началось! По лагерям не найдешь могилки — и все там вместе — и чистота, и спекуляция, и марадеры, и насильники. И это в каждом — и то, и другое, и третье... И что, скажут, может на этой земле — не паханной, только кровью политой, — вырасти? А выросло! И вот снова мальчики — те же самые вопросы задают себе... — теперь он недоуменно посмотрел на них.

— Лев Ильич, давайте мы за вас выпьем, — сказала вдруг Та-на. — Я вижу, вам плохо, вы какой-то потерянный. А вы очень хороший человек...

Лев Ильич как споткнулся на всем бегу, замолк и к себе прислушался — тихонько так в нем что-то позвякивало.

— Что ты, Танюш, какой уж я там человек. Раз у нас такая разногласица, а я никак ничего выразить не могу, все сбиваюсь, мы просто за Федю выпьем. Я очень рад, что вы познакомились и что со мной согласились выпить. За вас, Федя, чтоб вам найти путь из того круга. У меня едва ли получится — поздно, — и он с жадностью проглотил водку.

Оба они были явно смущены его горячностью, но тоже выпили.

— Вы меня странно трактуете, — сказал Федя. — Как-то социально, хоть и размыто. Вы бы об этом с Марком поговорили, хотя бы для затравки. То есть, то что я тогда о себе конкретно говорил, вы перевели в общий план — исторический, что ли? А я совсем о другом тогда думал. С бабушкой-то как? Вот какой я вопрос тогда ставил перед отцом Кириллом: как мне бабушкины страдания понять? И много над его словами думал. И знаете, что получается? На этот

вопрос не нужно отвечать, потому что, если ответить, то и христианства нет никакого, если, конечно, христианство воспринимать всерьез, не как умственную гимнастику или ощущение после сытного обеда...

— Ну, — спросил себя Лев Ильич, — кто из нас мальчик, а кто патриарх? Как бы мне так в его нежном возрасте...”

— Может быть, я и заблуждаюсь, — продолжал Федя, — потому что я это сам, абстрактно понимаю, а в церковь идти у меня все духу нет, но я понял, что здесь не может быть благополучия не только в жизни — его ж христианство отрицает, но и в душе не может быть никакого комфорта. Все равно кругом страдания — их не отнимешь, их надо на себя брать. И так вот идти через эти страдания, а веру они все равно не отрицают, и не способны отрицать, только раскрывают ее глубже. Карамазовский знаменитый вопрос — он скорее атеистический, чем религиозный, он потому так оглушительно прогремел сто лет назад, что Достоевский услышал его в воздухе — в самом начале чудовищной грозы атеизма, а в наше время она уж, верно, пролилась кровавым градом. Потому я и хочу, чтоб вы поговорили с Марком, я ему это никак не могу объяснить, он считает, что нужно освободить человека от страданий, а ведь это невозможно? Вы согласны со мной?

Лев Ильич почему-то рассердился — позавидовал, что ли? Ну что он, мальчишка, может тут понять! Как это при таком румянце, когда он — Лев Ильич, уже и зубы все съел, но почему ему все достается такой кровью, а этому желторотому само идет в руки? Вон и Таня, пожалуйста, краснеет, бледнеет... Если б еще сразу этот разговор, когда он умилился, увидев их вдвоем, а теперь он все в себе разворошил, пока в магазин бегал, да и водка его развязала — вернуться в то счастливое состояние окрыленности было не по силам, хотя и нравился ему парень, поразил даже.

— Через чужие страдания, конечно, почему б не шагать, — сказал он, — а вот в себя их — это уж не поэзия ли? Красиво говорите, Федя, но я, простите, не девушка. Это как же вы чужие страдания возьмете на себя, ну ее, скажем, замуж, что ли, предложите? А ну как потом, когда азарт пройдет, страданием-то и попрекнете? Это все когда за столом — не дорого стоит, тут надо жизнью право зарабатывать.

— Что-то немного все вы заработали, я ваше поколение имею в виду, — разозлился Федя. — Десятки стреляете. Я не про деньги, разумеется, в принципе. По мне лучше право юности, оно пусть, бывает конечно, потом и слабоватым окажется, но чистым, а можно через всю жизнь понести ту высоту. Все лучше, чем сомнительное право житейской мудрости, на лжи замешанное, которое почему-то называют опытом, а потом сами расписываются в своей несостоятельности, плачутся на седину, сожалеют.

— Крепко, — сказал Лев Ильич, — наверно поделом, хотя мог бы с вами и поспорить — что лучше и дороже. Но тут рассуждения никого не убедят, пока сам лоб не расшибешь, — ему стыдно стало: хорош, ничего не скажешь, собственно, как он говорит, несостоятельность на других срывать, последнее это дело. — Я лучше с другого конца к вам подъеду, — он налил водку себе, а потом Феде и Тане. — Я так и не смог сформулировать свой гост, верно вы сказали, сам себя пожалел, а чего жалеть, когда правда? Не в страданиях тут дело, а что скотина в каждом из нас живет, что уж там возвращать карамазовский билет, нам его и без того завернут, нас не спросят. Какая самонадеянность — билет возвращаю! — а мне разве дали билет, что я им так вольно распоряжаюсь? Вот что заработать бы надо — деньжонка на билет. А так, если в юности уже убежден, что мне за мои высокие побуждения тот билет положен — избранничество, что ли? Ты эту убежденность кровью оплати, да не чужими страданиями, своими собственными...

— Так я ж не про это...

— Про это, да не с того боку. В человеке тайна есть, никакая, конечно, не материльная, а тайна, которой я названия не знаю. Но есть, на себе проверил. Та самая, из-за которой я все время лгу, да не другим, это пустяки, конечно, это распушенность, о чем тут говорить — выгони лгуна за порог или пожалей, как Таня, вот и все дела. А себе — вот почему себе человек лжет? И уж так он все понимает, а лжет — и не раз, не два, и все ему разъяснено, знает, что плохо будет, а все равно соврет, причем самым подлым образом. Дьявол это, что ли...

У Тани слезы стояли в глазах, но Лев Ильич не остановился: ничего, полезно, пусть задумается, а то еще вон разок обожжется на этом умнике... "А ты что, ее остановить, что ли, хочешь, предостеречь?..."

— Такая вот история про тайну, может и не объясняющая ничего, но уж о ней несомненно свидетельствующая. Да не старая, не из какого-нибудь семнадцатого века, а наша, современная. Был такой человек, жил во Франции: огромной учености, таланта, обаяния, прямой праведности. Один из крупнейших современных католических богословов. Целую школу основал. Трижды монах: потому как католический священник, монах, член ордена Иисуса и иезуит. Кардинал К. Ему дали кардинальскую шапку гонорис кауза, нарушены были даже какие-то правила в силу его особенного благочестия и заслуг. Или как-то там, уж не знаю. Он, и став кардиналом, не изменил образ жизни: никакой кафедры не занял, молился, работал, жил один. Замечательный человек, блестящий писатель. И вот сенсационное сообщение о его смерти — он уже глубокий старик, желтая и красная пресса безумствуют: кардинал К. завершил свой жизненный путь где-то на чердаке, или в монсарде по-ихнему, — в постели проститутки.

— Господи, что ж он с собой сделал, зачем? — вскричала Таня.

— Ага! — подхватил Лев Ильич. — Вот она, православная реакция! Дай, Таня, я тебе ручку поцелую... Но и я спрашиваю, зачем? В том-то и дело — зачем?.. Может, конечно, вранье, желтая клевета, хотя Ватикан не опроверг сообщения. Но если вообразить, что правда? Что ж он всю жизнь про это думал, вынашивал, об этом страдал — и когда молился, и когда сочинял свое богословие, и когда служил в храме? А может и не знал, что в нем эта мысль живет, тихонько зреет, прорастает? А может, дьявол его еще на чем-то поймал?.. Вот где тайна жизни, недоступная никаким рассуждениям. А вы говорите — через чужие страдания, их на себя брать... Человек так способен вдруг повернуться, что и во сне не приснится.

— Я никак за вашей мыслью не услежу, — с недоумением сказал Федя. — Что ж, выходит, христианство — это всего лишь такое, ну не оправдание, так объяснение всякой пакостью, живущей в нас?..

Лев Ильич не успел ему ответить, отворилась дверь, всунулась старушонка в платочке, с желтым лицом, узкие щелочки глаз шарили по комнате.

— Дверь внизу нараспашку, а тут вон оно что... — сказала она, поджав губы.

— Ксения Федоровна, присоединяйтесь, вас-то нам и не хватало! — крикнул Лев Ильич.

— Мне-то к вам словно бы незачем. Я на своем посту. А вот Таня-то зачем?

— А я ей свой материал диктую, — сказал Лев Ильич, — уморил бедняжку, затеяли перекусить.

— Вижу, чего ты затеял, я за тобой давно наблюдаю, — она остро глянула на стол сквозь свои щелочки, за которые редакционный курьер — веселый, залопытный мальчик, прозвал ее "совой", и прикрыла дверь.

— Ой! Лев Ильич, будут неприятности, — охнула Таня. — Она завтра же Крому доложит, а он и так на вас...

— Ну и пес с ним, с Кроном, — сказал Лев Ильич, — чего ж я, на свои или на твои деньги не имею права...

Ему так спокойно, уверенно — просто все вдруг стало, какое-то освобождение он почувствовал и почему-то вспомнил Ивана, когда тот стоял против него, упершись в стол, и глядел в глаза, сняв с себя камень, который таскал шестнадцать лет. То позвякивание, что он ощутил в себе, налилось звоном — это кремнистая дорога позванивала под ногами или, может быть, это звезды звенели, что высыпали — освещали ему путь? И такую он уверенность почувствовал в той немислимой тяжести, что ему предстояла... Он увидел себя бредущим этой дорогой со всем, что в нем было, что он теперь с такой беспощадной ясностью называл в себе. Но он не ужаснулся, он понял неизбежность именно такого пути.

Он встал и посмотрел на них радостно и счастливо, он должен был им все это сказать, поделиться, ему слишком хорошо стало.

— Оно совсем не в том, Федя, христианство, оно не в объяснении, и уж конечно, не в оправдании пако́сти человека. А в том, что человек выходит в свой путь с невыразимым грузом грехов и слабостей. Он их раньше не знал и не видел, не понимал в себе, а здесь, под этими звездами, на этой неисповедимой дороге — все обнажается. Это и есть мой крест, как я его понимаю — чудовищный груз, накопленный чуть не за полвека, да еще и до меня. Я бы и не мог переродиться мгновенно, это долгий путь, в котором, коль выдержу, буду сбрасывать и сбрасывать со своих плеч всю эту мерзость. И оставленная, брошенная на обочине, она станет свидетельством подлинности, несомненности этого пути, свидетельством для одних и, уж конечно, соблазном для других. Но только так и должно быть: кто верит — поймет, а кто не верит — все равно не поймет. Ты только сам верь и тогда увидишь, что каждое испытание на благо. И не собьешься. И ничего не надо бояться — иди себе, и от радости не отказывайся...

— Какой вы неожиданный человек, — сказал Федя. — Мне уж совсем трудно вас понять.

14

Ему открыла дверь высокая женщина в алой кофте, жгучая брюнетка с намазанными яркими губами и большими, как бусины на ее обнаженной груди, чуть навывкате, темными, мерцающими в полутьме коридора глазами. Конечно, он где-то видел ее, но вспомнить не мог, вроде бы не был знаком, но где-то непременно встречались ему и эти глаза, и губы, и бусы на высокой груди — уж как не запомнить. Звонко затявкала собачонка — длинноухий спаниель, белый, в рыжих пятнах, с весело дрожавшим обрубком хвоста.

— А вы Лев Ильич, — сказала женщина. — А я вас знаю. Марфа, нельзя! Не съешь мужчину...

— А вы... — начал Лев Ильич и замолчал, попался.

— Слышишь, Веруш, какие пошли мужчины? Приходит в дом к женщине, когда добрые люди давно спят, а имя ее позабыл, а то и не спрашивал — подумаешь, имя! — им разве имя от нас нужно? — Она легко повернулась, подняла руку, от чего широкий рукав кофты упал прямо до плеча, и щелкнула выключателем.

Коридор наполнился мягким светом, вспыхнули бусы, глаза и серьги в маленьких розовых ушах женщины, иконы, занимавшие весь простенок меж дверьми от пола до потолка — отлично отрестав-

рированные, как в музее, ослепительно красивые, подле них небрежно брошенные на инкрустированный перламутром столик меховое пальто, шапки... В дверях комнаты стояла Вера — худенькая рядом с этой женщиной, в джинсах, черном свитере под горло, бледное скуластое лицо, гладко зачесанные волосы, открытый ясный лоб, грустные глаза, морщинка меж светлых бровей косо рассекла переносицу — Лев Ильич прежде не видел эту морщинку. Он смотрел на нее словно впервые, она была совсем не такой, какую он думал сейчас встретить, к которой бежал вот уже с самого утра, придумывая себе новые и новые препятствия по дороге. Он тут же подумал, что, может быть, она кажется другой, потому что и дом, в который он попал, оказался совсем не тем, и встреча их виделась ему не такой, и что он, в сущности, ничего про нее не знает, что его знание этой женщины, так перевернувшей его жизнь за эти десять дней, было скорей узнаванием себя, что сначала в своем эгоизме, а потом в трусости, он не сделал и попытки понять ее, потому что и рассказ ее о себе стал для него всего лишь еще одним подтверждением знаменательности и неслучайности их встречи, свидетельством даже некой провиденциальной ее важности для него, ибо открыл ему нечто чрезвычайное в его понимании себя и жизни, которая вокруг него совершалась. Она была и в этом своем рассказе только необходимой деталью картины, без нее лишившейся бы конкретности, это сделало всю историю жгуче-реальной и пронзительной. Но не могло быть, чтоб все, с чем он сталкивался, происходило лишь для него, наверно, и он что-то значил для нее, чего-то и она ждала от него и на что-то надеялась, так просто и ни о чем не спрашивая, пойдя ему навстречу? Если и мог быть там расчет — а какой прок от него? — то не следовало ли раньше всего понять, чтоб рассчитаться — сейчас ли, потом, вместо того, чтоб бездумно-легкомысленно воспользоваться всем только для себя?

— Здравствуй, Верочка, — сказал Лев Ильич, стянул с головы кепку и шагнул к ней, пытаясь выделить ее, отстранить от этого совершенно не нужного ему дома и женщины в алой кофте.

— Спасибо, что пришел, — сказала Вера и поцеловала его, едва коснувшись нежными губами его губ. — А я на тебе выиграла бутылку джина: Юдифь сказала, что ты ни за что не придешь, а я знала, что тебя увижу.

— Неравный спор, — засмеялась Юдифь, — я вас видела только издали, а Веруше больше повезло. Но поскольку я и не надеялась выиграть, то все в выигрыше.

— Особенно я, — светски поклонился Лев Ильич, — хотя у меня странное ощущение лошади, на которую делают ставки.

Вера покраснела.

— Чудак-человек, я загадала, надеясь хоть таким образом тебя увидеть.

— Прекрасный разговор! — смеялась Юдифь. — Только что ж мы все в передней? Раздевайтесь, Лев Ильич, проходите в комнату, а я вам сейчас овса подсыплю... Или больше чем на сено вы не рассчитывали?

— Совсем на другое рассчитывал, — искренне сказал Лев Ильич. — Но овса уж я точно не стою.

Он двинулся вслед за Верой в комнату, подстать передней: картины в золоченых рамах, тяжелая, из серого бархата с кистями, штора на окне, вокруг изящного, тоже инкрустированного столика изогнули спинки и ножки обитые серым бархатом кресла, такой же диванчик, изукрашенный комод с роскошными бронзовыми часами на нем... Собачонка прыгнула на диванчик и, покрутившись, улеглась на сером бархате, свесив рыжие уши.

— Кто это? — спросил Лев Ильич.

— Моя приятельница — хорошая, своя баба. Да она из твоего профсоюза — в журналах печатается, по искусству — Юдифь Эпфель.

— Эпфель? — вздрогнул Лев Ильич.

— Ну да, ты должен ее знать, у вас общие друзья, еще она в университете преподает, профессор...

— Не знаю. Просто я слышал сегодня эту фамилию. Только там была не та... Эпфель. И профсоюз не тот. И история другая — страшная.

— А тут и нет никакой истории. Ее муж работает вместе с Лепендиным, а сейчас он за границей — на конгрессе, куда Лепендина, если б он и захотел, не пустили. Теперь-то что... А с этим все нормально.

— Да уж несомненно нормально.

— Ах ты про это? — она кивнула на мебель. — Они такие сумасшедшие любители — всю жизнь собирают, меняют, продают, а это вот совсем свежая. Есть какой-то закрытый магазин, не то склад, куда попадают вещи уехавших евреев — с таможни, еще каким-то путем. Там уж не до чего — если какие придирки, люди все бросают. А у нее связи...

Лев Ильич смотрел на Веру во все глаза: она говорила спокойно, просто информировала Льва Ильича о хобби своей милой приятельницы, и Лев Ильич подумал, что тут все дело, наверно, даже не в точке отсчета, а, быть может, в каком-то ином знании, которое ему не открыто, поэтому есть ли у него право начинать возмущаться и становиться в позу фарисея, мгновенно произносящего свой суд и приговор? За эти дни он достаточно получил уроков, перестал верить своему пониманию людей, оказывавшемуся всякий раз всего лишь самым поверхностным, каким, впрочем, и был весь его предыдущий опыт. "Что тебе за дело до этого дома и его хозяйки, ты бежал к Вере — вот она перед тобой. А кого ты хочешь видеть, — спросил он себя, — ее или ту, что придумал, тогда можно

было б и не торопиться, она ж была с тобой и все эти дни без нее, а раз того тебе недостаточно..." Все это было так, только садиться в эти кресла ему почему-то не хотелось...

Вошла Юдифь, толкая перед собой стеклянный столик на колесиках, а на нем бутылки, закуски, фрукты...

— Вот вам и овес, — ослепительно улыбнулась она: поверх кофты на ней теперь был кокетливый фартучек, туго облегавший ее крутые бедра, затянутые в черные брюки. — А как вам мое стойло?.. Между прочим, "Людовик ХУ" — рококо. Поглядите, какое удобство в соединении с необыкновенным изяществом и уютом. Нет уж той пышности предшествующей эпохи — барокко Людовика XIV, нет этой тяжеловесности стиля "буль", смотрите какая вычурность и грациозность?

— Действительно прекрасно, — бормотнул Лев Ильич.

— И что особенно характерно, — продолжала Юдифь, — почти полное отсутствие прямых линий, все углы округлы, все ножки изогнуты... А диван? Каково золоченое дерево? Может быть, это даже не просто соединение трех кресел, а двухместная козетка, а по бокам два кресла. А как удобно, какие подлокотники в креслах — чувствуете?.. Приглядитесь к комоду — часы на нем настоящие, хоть они и не работают, не идут, все руки не доходят — того же времени, по случаю достались. А китайский лак — тоже настоящий, а пейзаж с пагодами, как вам?.. Ящички выдвигаются — смотрите, как неожиданно разрезается композиция! Столик, может, он и декоративный по идее — видите, как инкрустирована доска? — но вполне может служить для дела, как, впрочем, и диванчик. А бронзовые завитки на ножках?.. Правда, обивку пришлось сменить, а гобелен был великолепный — гирлянды цветов в корзинах, пастушки, но уж так их высидели! Но серый бархат, по-моему, очень удачно? Только-только после реставрации — знаете, как днем красиво!

— Представляю себе, — чуть успокоился Лев Ильич. "Все-таки после реставрации, это полегче." — Очаровательно. А сесть можно?

— Даже лечь, уже испробовано, — тонко улыбнулась Юдифь. — Вы не в музее, я к вещам отношусь вполне утилитарно, хоть, как вы видите, и с известной долей эстетизма. Во всяком случае, больше смысла, чем коллекционировать этикетки от бутылок или денежные купюры — кстати, не намного дороже... Вы обычно — с "тонином"?.. А может, вы есть хотите, сознавайтесь? Давайте я вам шей, а? Такой мужчина, как вы, в любое время готов съесть тарелку шей?

— Спасибо. Не будем нарушать стиля — ну какие же щи на мебели Людовика ХУ? Я против эклектики.

— Bravo! А вы мне нравитесь! Жаль, что я на вас смотрела издалека, пока Веруши не было в поле зрения... Ну да еще не все потеряно, вот она скоро...

— Перестань, Юди, — резко оборвала ее Вера, — не надо об

этом.

Лев Ильич удивленно взглянул на нее: у Веры потемнели глаза, резко обозначилась морщинка на переносице.

— Пардон. Мужчина, прошу вас, поухаживайте за несчастными дамами... Рекомендую с "тоником".

— Спасибо. Что до меня, то я по рабоче-крестьянски, — Лев Ильич налил себе большой хрустальный бокал джина — что ему здесь оставалось, как не пить. Эх, не так, не так все у него выходило!

— Ну какова выдержка! Или воспитание? — болтала Юдифь, и явно для того, чтоб продемонстрировать гибкое, сильное тело, растегнула фартучек, изогнулась, швырнула его на диванчик. — Ну хоть бы удивился человек — пьет джин, предлагают "тоник" — и ни единого вопроса: откуда, почему? Или вы ежедневно джин?

— А действительно, — спросил Лев Ильич, — почему и откуда?

— Ну вот, благодарю, напросилась. Знали такого кинорежиссера-документалиста X?

— Нет, простите, не знал, — Лев Ильич налил себе еще и долил дамам. — А джин, верно, замечательный. Особенно после водки, которую я только что позволил себе.

— Благодарю за сравнение — еще бы! Представляю, какую вы пили водку... Так вот, очаровательный человек, умница — ну конечно, ходу ему тут настоящего не было, пришлось уехать...

— Он в Израиле? — спросил Лев Ильич.

— Вот еще, с какой стати! Ему это никогда б и в голову не пришло. В Лондоне он, пока еще не устроен, но уже масса предложений, покупает дом в каком-то чудном месте — кое-что откуда вывез, пишет очаровательные письма — веселые, блестящие. Я так думаю, что цензура только оттачивает остроумие таких людей, верно, Веруш?.. Правда, Георгий едва ли заедет к нему — мой муж сейчас тоже в Англии, на конгрессе, он человек осторожный, да и верно, ни к чему, раз мы никуда не едем, хотя обидно невероятно! Представляете, двадцатилетние друзья, еще со школы — быть в одном городе и не увидеться! Впрочем, мы с Георгием говорили об этом, я ему сказала: а если ночью, в матросском кабачке, в таверне, за бутылкой рома — случайная встреча? Он мне ответил, что там в каждой таверне кабатчик — лейтенант ГБ. Может это быть?

— Едва ли, — сказал Лев Ильич, — я б скорей поверил про спикера палаты лордов, чем про кабатчика — джин уж больно хорош для этого. А впрочем...

— То-то, что "впрочем". Я считаю, что мы должны быть ответственны, потому что полоса умеренного либерализма, которую мы переживаем, требует с нашей стороны поддержки — зачем дразнить гусей и проявлять неблагодарность? Ну могли б вы представить себе такой вечер в нашей юности — у меня память крепкая — самого себя боюсь, а сейчас говорите, что в голову взбредет. И есть чем гостя, хоть

и позднего, встретить и на что усадить.

— Убедительно, — сказал Лев Ильич. — А называется это "умеренный либерализм"?"

— Мое определение, — скромно сказала Юдифь. — Так вот, продолжим про джин. Чтоб очаровательное письмо не показалось ностальгическим смехом сквозь невидимые миру слезы, наш приятель и сдобрил его не менее очаровательной посылкой, причем и письмо по почте, и посылка, оказией, прибыли почти одновременно. А это, между прочим, любопытно с психологической точки зрения. Да и не только с психологической, — Юдифь раскраснелась, ее глаза сверкали. — Вы способны, Лев Ильич, к серьезному разговору?

— Сделаю попытку, — учтиво поклонился Лев Ильич.

— Тогда попытайтесь объяснить такой парадокс. Эмигрантка Цветаева пропадала в Париже от голода и ностальгии, ее письма — вы читали, конечно, — те, что изданы в Праге? — печальное свидетельство. Но вот не прошло и полвека, а новая эмиграция посылает нам джин и блещет остроумием! Чем вы это объясните?

— Я думаю, прежде всего разницей между Цветаевой и новой эмиграцией. Или, уж коль быть совсем точным — между Цветаевой и вашим корреспондентом.

— Ну да, если не хотите задуматься, если вы способны рассуждать, только скользя по поверхности. А не кажется ли вам, что изменилась, принципиально изменилась вся ситуация — и здесь, и там, что мир стал другим и мы уже не те? Что нет России, по которой так красиво убивалась Цветаева, что наш образ жизни, — она со спокойной гордостью окинула своими прекрасными глазами комнату, — стремительно сближается с западным? Корни ностальгии вырваны, из чего ей возникать — о чем плакать и на что жаловаться?

— Это ваша точка зрения или вы трактуете своего корреспондента?

— Я объясняю вам новую ситуацию — принципиально новую. Только не начинайте мне возражать насчет того, что еще кто-то живет в коммунальной квартире, а кого-то посадили или не взяли на работу. Не все ведь живут в коммунальной квартире?

— Не все, — согласился Лев Ильич. — И не всех посадили.

— Вы напрасно иронизируете, — теперь Юдифь сама налила себе джинку, позабыв про "тоник". — Как быстро все уходит — только два десятилетия прошло, а ведь тогда действительно все жили в коммуналах и все сидели, а кто не сидел, того могли взять в любую минуту — вы это прекрасно помните? А давайте говорить по чести, сегодня-то берут за дело — не просто за анекдот или по анонимкам, чтоб занять хорошую квартиру или для увеличения процента — этого нет? Вы что ж, хотите, чтоб за два десятилетия у нас тут Гайд-парк был, да и нужен ли он в этой стране, тоже еще вопрос?

— Юди, с кем ты споришь? — спросила Вера. — Тебе никто не воз-

ражает?

— Вижу я твоего приятеля насквозь. Вы, наверно, из тех критиканов, которым все плохо: не выпускают евреев — антисемитизм, и выпускают — антисемитизм. И сажают — произвол, и не сажают — произвол. Кого-то, мол, все-таки посадили! И машин ни у кого не было — плохо, а теперь у каждого третьего "жигули" — все равно плохо, потому "жигули" не "мерседес". И...

— Нет, — перебил Лев Ильич, — я не из тех. Я другой.

— Ну тогда уж из тех евреев, которые хотят хлебнуть того рая, где у всех доллары и можно не работать?

— Нет, я из других евреев, — кротко ответил Лев Ильич.

— Ну что ты к нему пристала, Юди? — повторила Вера. — В конце концов он ко мне пришел.

— Пардон. Сейчас я вас оставлю, воркуйте. Не обращайтесь на меня внимания, Лев Ильич, я действительно не с вами полемицирую. У меня много оппонентов, тех хамов, о которых я говорю — ну до чего ж надоело их нытье! Вы были на Западе?

— Нет, — ответил Лев Ильич, — Таллин моя крайняя западная точка.

— Таллин! Очаровательный город. Как сказал один остроумный человек: граница — только деньги наши. А я была в Париже, в Италии, в круизе. Это мило и красиво. Но вы представить себе не можете, какая там грязь — в аэровокзалах курят и бросают сигареты на пол — сама видела! А эти омерзительные эмигрантские листки, в которых сейчас печатаются наши сбежавшие гении? Да это, если хотите, просто безнравственно — сыпать соль на наши только-только зажившие раны. Вы понимаете, о ком я говорю?

— Догадываюсь.

— А в смысле жизни, я думаю, мы кой-кому на Западе сто очков вперед дадим. У них жить по-человечески кто только не сможет, а вот в нашей мерзости устроить себе сносное существование, — она опять взглянула на свою мебель, — и остаться при этом человеком — пусть они попробуют!.. Народ только у нас омерзительный, что говорить — быдло. Да и вся страна ему подстать...

— Своеобразный у вас патриотизм, — сказал Лев Ильич, у него уже кончались силы это выносить. — Впрочем, это скорее не патриотизм — мировоззрение.

— Какое ж, по-вашему, у меня мировоззрение?

— "Людовик ХУ", — сказал Лев Ильич и налил себе полный бокал джина.

Юдифь встала.

— Вострый у тебя мужичок, Веруш, как надоеет или куда уедешь, мне его адрес оставь. Я его чуть причешу — все бабы от зависти поумирают... Ладно, пошла, желаю приятных мгновений... Меня завтра не буди — я до одиннадцати буду спать.

Она вышла, блеснув глазами на Льва Ильича. Но тут же снова распахнула дверь.

— Лев Ильич, вы завтра свободны?

— Завтра?..

— Завтра, в пятницу вечером?

— Н-не знаю, как будто...

— Делаю вам официальное заявление. Прошу завтра вечером ко мне. Можете без смокинга. Имеет быть небольшое суаре. Увидите своих приятелей. Только пораньше. Отказов не принимаю.

Она вышла, на этот раз совсем.

Лев Ильич молча смотрел на Веру. Она сидела на диванчике, черный свитер резко выделялся на сером бархате обивки, курила глубоко затягиваясь, и Льва Ильича остановило странное несоответствие живших в ней одновременно двух, нет скорее трех, видевишихся ему состояний. Она сидела так спокойно, легко, так привычно откинувшись на серую спинку, как будто была здесь не случайно, а в силу целого ряда неведомых ему обстоятельств залетевшей сюда птицей, но вся эта комната с ее идеологизированным мародерством могла быть и ее — а может, и у нее такая же, ну не "Людовик ХУ", так "чаппендейль"? "А что, разве красивая мебель — это плохо?" — спросил себя Лев Ильич и ответил себе: "Конечно нет, но ведь это не мебель, а мировоззрение". И ему показалось такой нелепостью все, с чем он прибежал сюда, что прятал в себе все эти дни, зная, что оно все равно живет в нем, растет, не открывая себя до времени. Здесь не было никакой возможности подтвердить хоть чем-то реальность его чувства, а потому и поверить в него, в то чувство, которым он жил еще час назад, поднимаясь в лифте на этот этаж, оно оказалось всего лишь придуманным, существовавшим только в его сознании, к которому эта реальная женщина, ну конечно же, не имела никакого отношения. И в то же время ему было так мучительно сладостно воспоминание об этом вот ее жесте, о том, как она подносит сигарету ко рту, откидывает руку, затягивается, его память подсказывала ему ту правду, которую он знал и которая не могла не быть истинной правдой об этой женщине, как бы кратки ни были их несколько встреч, тогда как все, что ее сейчас окружало, было всего лишь оболочкой, чужой липкой одеждой, от которой он, ну конечно же, он должен был помочь ей избавиться. Он увидел, что ей несомненно неловко за то, что здесь сейчас произошло, что и она ждала его и хотела встретить не так, а по-другому, а стало быть, какое ж у него право отождествлять ее с этой мебелью, вешать на нее "чаппендейль", придумывать, исходя снова из своего, из собственной тайной мысли, которая, как сказал ему отец Кирилл, свидетельствует только о нем, а никак не о том, кого мы пытаемся так или иначе, но судить.

— Она очень хорошая баба, — сказала Вера, — верный товарищ, с ней всегда легко и просто. А я теперь ценю людей, прежде всего, по то-

му, насколько они легко идут тебе навстречу — сами предлагают деньги, комнату пожить, и все это безо всякого любопытства и лживого сочувствия...

Лев Ильич молчал. Он был уже несказанно благодарен ей и за то, что она поняла его, защищает себя от него, а значит, и верно, права была его память, а не то, что ему здесь увиделось. Он подумал, что может быть, осведомленность о ее жизни, которую он представлял себе так приблизительно, ему на самом деле совсем не нужна — что она способна прибавить к его знанию, которое ему дороже всего, она всего лишь заставит его усомниться в истинности того, что ему так дорого. Когда встречаешься с женщиной, прожившей без тебя целую жизнь, следует верить ей или нет, всякая попытка узнать правду, помимо той, что она тебе сочла нужным открыть, непременно разрушит с таким трудом сооруженное или вдруг возникшее перед тобой здание, любопытство здесь всего лишь безрассудно и безответственно, если уж оно не мальчишество или пошлость...

— Но я хотела тебя видеть совсем не для того, чтоб знакомить со своей подругой, а потом ее тебе объяснять... Ты где жил все это время — я и домой тебе звонила, и на работу?

— Нигде, — уж в который раз за сегодня ответил так Лев Ильич. — У меня столько было за эти дни — каждый день, как десять лет. И еще я надеялся что-то совершить, чтоб было право прийти к тебе, а вместо этого... Как твой мальчик, выздоровел?

Ему показалось, что Вера посмотрела на него с благодарностью.

— Да, все хорошо.

Лев Ильич чувствовал, что она все никак не решится начать разговор, ради которого, по всей вероятности, и правда, он был ей нужен, но поскольку он и представить себе не мог, о чем она собиралась с ним говорить, то и не знал, как ей помочь. Он понял — и не разумом даже, не чувством, а особым знанием, дающимся опытом, еще в тот самый момент, как вошел в эту квартиру и раздевался, что случилось что-то исключавшее уже самую возможность того, что вело его сегодня с самого утра. И не в роскошной мебели здесь было дело, и не в самонадеянно-пошлой болтовне хозяйки, он понял это уже когда Вера поцеловала его — ее нежность исключала страсть. Да и не нежность это была, а поглощенность какой-то затаенной мыслью, которую она и сейчас не решалась ему высказать.

— Я могу тебе чем-то помочь? — спросил он,

Вера вздрогнула и посмотрела ему прямо в глаза. И тут он впервые за этот вечер увидел ту самую женщину, которую встретил в поезде, к которой бросился, позабыв обо всем после своего ночного кошмара, и не ошибся, потому что именно она взяла его тогда за руку и привела к тому, что и перевернуло всю его жизнь.

— Н-не знаю... Я ведь затем и хотела тебя видеть. Кроме того, что хотела... — сказала она, все так же напряженно в него глядява-

ясь. — Не знаю. Мне ведь нужны не деньги, не комната — это я и у Юдифи могу всегда получить. Да у меня все это и без того есть. И деньги я зарабатываю, и квартира у меня есть.

— Может, она поэтому так легко тебе помогает?

— Потому что у меня это и без того есть?.. Может быть... Да нет, перестань про нее — она хорошая баба, я ж тебе сказала... Спаси меня, Лев Ильич...

Она просила его об этом с такой безнадежностью, очевидно настолько убежденная в том, что сделать уже ничего нельзя, и даже не вопрос и не то, как это было произнесено, а сама она, глянувшая на него вдруг с такой откровенной безысходностью, настолько несоответствовали этой комнате, еще звучавшему в ней нелепому разговору с хозяйкой, всем его размышлениям об этой женщине, что Лев Ильич вздрогнул, поднялся, сел подле нее на диванчик, сбросил собачонку на пол и обнял ее.

— Что с тобой, Верочка, я ведь ничего про тебя не знаю, кроме того, что ты мне говорила — от чего тебя спасти? Ну конечно, рассчитывай на меня во всем и до конца...

Он тут же пожалел о последних словах, потому что они были неправдой, а лгать ей было нельзя — но было ли ей хоть какое-то место в том, что открылось ему сегодня, или он будет готов отказаться ради нее от той единственной для него дороги под звездами? "А для чего ты тогда сюда прибежал, зачем так торопился под этими звездами — уж не для того ль, чтоб уговорить и ее сложить котомку и пойти за тобой?.."

Ему показалось, что она его поняла, почувствовала фальшь и неуверенность. Она мягко отстранилась и закурила еще одну сигарету.

— А я совсем про тебя ничего не знаю. Ты мне и того, что я тебе, не сказал. А я должна решиться. Завтра все решать. В понедельник у меня последний срок.

— Что решать, Верочка? Какой срок? Я ничего не знаю, — с недоумением смотрел на нее Лев Ильич.

— У меня сейчас такое чувство, — странно поглядела на него Вера, — как, наверно, было у Раскольникова, когда он пошел к Алене Ивановне... Да нет, не за тем, чтоб ее убить — когда он "пробу" делал. Помнишь? Я так думаю, что он и не убил на самом-то деле — это и не важно. Вот "пробу" он сделал, и хватит с него. А все остальное — топор, кровь, колокольчик, заклады, признание — это все безумие, не зря никаких прямых улик его преступления никто так и не смог обнаружить. Нашли б! Все убийцы, тем более такие... любители — не профессионалы, непременно попадают. Здесь не в этом дело...

Лев Ильич все больше недоумевал.

— Так это я, что ль — Алена Ивановна?

— Алена Ивановна? — растерянно переспросила Вера и как-то съезжилась, увяла, будто последнюю надежду потеряла на что-то, что и

впрямь могло ее спасти. — А я разве похожа на Раскольников? Я и того не смогу, на что он решился...

"Она просто больна", — подумал Лев Ильич.

— Я тоже последнее время много думаю про Достоевского, — сказал он, чтоб увести в сторону этот разговор. — То, что в последние годы — ну в эти два либеральных десятилетия, о которых тут говорила твоя Юдифь, его начали издавать — нелепость, потому что Достоевский к такого рода событиям, как смерть Сталина или некое изменение режима, никакого отношения не может иметь. То есть не может по сути, а практически словно бы не так — хоть книжки, даже собрания сочинений выходят. Но это все относится к числу наших нелепостей, мы и живем только благодаря им, а было б тут все последовательно, давно б все загнулись. То есть, этот режим в принципе, — "В принципе..." — усмехнулся он про себя, — должен ненавидеть Достоевского и даже не помышлять о том, чтоб его издавать, потому что он полностью режим отрицает. И совсем не из-за его политических установок, отношения к революции вообще, к ее бесовству, даже не из-за его христианства. Это уже история, или можно воспринимать как историю. И это легко "поправить" в предисловии, в комментариях, объяснить "заблуждениями", "больной совестью", "противоречивыми влияниями", "воспитанием" и прочим. Так у нас и делают. Он, мол, и атеист, и разоблачитель, и чуть ли не зеркало всяких социальных и душевных уродств. А тут дело совсем в другом. Такой режим, как у нас, отрицает всякую свободу в человеке — добрую ли, злую — всякую. Отрицает неожиданность и незапрограммированность проявлений человека. Лучше иметь дело с явным врагом — тут все ясно, его можно если не убить и не бросить в лагерь, не купить, то во всяком случае, объяснить, понять его логику. Здесь же — у Достоевского — нет никакой видимой логики — социальной, психологической, физиологической, душевной — здесь онтология, а потому все неожиданно. Здесь потрясающее царство свобод, с которой ничего невозможно поделаться. Поэтому я и понять не могу, как читают у нас Достоевского те самые люди, вся жизнь которых наперед, до самого гроба расчислена — в ЖЭКе, в милиции, в райкоме, в отделе кадров, в школе, дома, с мужем-женой — все несомненно. Всякая неожиданность не то чтоб тут же квалифицировалась определенной статьей уголовного кодекса или осуждалась общественной моралью, она исключена уже самим конформизмом мышления. А там — у Достоевского все наоборот...

— Это ты к тому, что я тебя сюда зазвала? — спросила Вера. — Что я до "пробы" докатилась?

— Я к тому, что мы сами себя не знаем... Но ведь я правда хочу тебе помочь, — перебил вдруг себя Лев Ильич, теперь уже зная твердо, что он не сможет ей помочь, потому что то, что происходило между ними, что бросило его к ней раз, а теперь второй — никакого

отношения не имеет к тому, что сам он называл онтологией.

— Скажи мне, Лев Ильич, — спросила Вера, как бы для того, чтоб подтвердить верность его ощущения, — как ты думаешь, Цветаева, окажись она сегодня в Париже или в Лондоне, какие бы она писала письма — те же, что и в тридцатых годах, или такие, как приятель моей Юди?..

Как же так, думал Лев Ильич, взглядываясь в ее побледневшее лицо и полные чужой ему заботы глаза, разделенные резкой морщиной, как же могло получиться, что именно эта женщина привела его ко Христу, или он опять начинает судить, полагая свою тайную мысль о другом способной этого другого объяснить, свидетельствуя и здесь только о себе?..

— Ну о чем ты спрашиваешь, — сказал он, — разве ты не слышишь ответа уже в самом этом вопросе?

Она взглянула на него еще раз и ему показалось, что он видит уходящую, исчезающую из ее глаз надежду на что-то, чего он так и не смог — или не захотел? — понять.

— Налей мне этой гадости, — попросила Вера.

— Батюшки! — глянул он на часы. — Ты знаешь, сколько времени, мне наверно уходить нужно?

— Как хочешь, — безразлично сказала Вера. Можешь остаться. Если ты про Юдифь, то она в этом не сомневалась.

— Юдифь? — переспросил он, как бы впервые услышав это имя, пробуя его на вкус. — Какое странное имя — Юдифь...

И он внезапно понял, что оно-то и мучило его с самого начала, как только он его услышал, войдя в переднюю, когда вокруг него еще крутилась собачонка с рыжими ушами, в золотых пятнах, как с картины Веласкеса, и он вешал пальто возле неправдоподобно красивых, прямо из какого-то собора, икон, шагнул в комнату с обитой серым бархатом парижской мебелью, смотрел на потухшую Веру, не решавшуюся его о чем-то спросить, хотя это было так для нее важно... И тут по какой-то дальней, непостижимой ему сразу ассоциации он вспомнил ее рассказ об отце, залитом кровью только что застреленного ее деда...

Все, что случилось с ним за эти дни, начиная с похорон дяди Яши, вдруг ожило перед его глазами, завязалось узлом, труба зазвенела в ушах, кони зацокали копытами по булыжнику мостовой — вот оно где его начало, подумал было Лев Ильич с печалью и тихим восторгом. "Э, нет..." — усмехнулось в нем что-то, это тебе так хочется, чтоб оно было там, поници-ка в другом месте, а уж оттуда и услышишь трубу, коль еще будет охота, если ее не заглушит... "А что — что может ее заглушить?.." — спрашивал он себя с напряжением, и тут услышал, как сначала тихо-тихо, а потом все громче забренчал в нем старенький, явно разбитый рояль. "Что это? — подумал он со страхом. — Узнал? — спросил его все то же смешок. — То-то ж..." За-

глушишь в себе, пройдешь мимо — никогда не доберешься до истины.

Но он не испугался, не сделал вида, что не понял этого в себе, он уже готов был для того, чтоб распутать тот узел до конца.

— Слушай, Верочка, хочешь я тебе расскажу про себя, так, как ты тогда, помнишь? Может, ты увидишь, смогу ли я тебе помочь и есть ли у меня на это право?.. Ну что с тобой?!

— Валяй, — кивнула Вера. — Прекрасная будет ночь, уж во всяком случае для Юдифи неожиданная. Сварить кофе?

— Хорошо бы. Джин меня все равно не берет, наверно от того, что выпил перед тем.

Уехал стеклянный столик на колесах с закусками и бутылками, Вера принесла кофейник, красивые чашки.

— А может, все-таки еще джинку — там осталось? — спросила она.

— Постой! — вспомнил Лев Ильич. — Я водку притащил, конфет для тебя — прямо из головы вон! — я б никак не мог подумать куда попаду...

— Давай водку, — сказала Вера, — я тоже эту гадость не хочу пить.

Он расстелил газетку на столике Людовика ХУ, выставил бутылку водки, развернул копченую треску и высыпал большой пакет с трюфелями.

Вера подняла на него глаза, полные слез.

— Все пропало, — повторила она, — все-все пропало...

— Да о чем ты, Верочка? Это у тебя минута такая. Смотри как хорошо! Да Бог с ними, с этими креслами — вот если б на них нельзя было сидеть — а то не все ль равно?

Но было не "все равно", и он это прекрасно понимал.

— Как красиво, — сказал он, глядя на странные фигуры, пытаясь понять сюжет висевшей над диванчиком картины в глубокой золотой раме. — Уж не Ватто ли — чтоб стиль соблюдать?

— Ну едва ли, — не глядя, ответила Вера, — на Ватто даже у нее не хватило бы пороку. Но здесь все подлинное.

— Как это поразительно не имеет ни к чему отношения, — подумал вслух Лев Ильич, — хоть в этих креслах разрешают сидеть, а на картины глядеть. И сидеть удобно, и глядеть приятно, а пить вкусно — неправда, что джин гадость — отличный напиток. Только зачем? — вот чего я никак не могу понять.

— А ты и не поймешь, тут другие мозги нужны. Но когда это уже есть, от него не откажешься и хочется еще лучше.

— Как лучше? — не понял Лев Ильич.

— Налей мне водки, — сказала Вера. — Ты разве не находишь, что этот, ну скажем, Ватто и бархат придает особый эффект твоей копченой треске на газете, а если бы это был наш нормальный ужин, мы б затосковали, а я б вспомнила, что ты загубил мне жизнь...

— Эффект? — вздрогнул Лев Ильич. — Не нахожу. Я люблю треску. А газету я подстелил, чтоб не испачкать стол. Ты что, издеваешься надо мной?

— Я над собой... плачу, — опять непонятно сказала Вера и легко выпила. — Вот водку я люблю, даже такую — теплую. И на газете, и под Ватто. Валяй, рассказывай, что там у тебя было, а то мы сейчас поругаемся. Это уж совсем будет глупо.

— Да... Я это должен, обязательно должен самому себе рассказать — подперло. Спасибо твоей подруге. Не знаю... смогу ль уложить — тут такая несоединимость... Или я все еще на что-то надеюсь, страшно так вот — навсегда все рвать смелости не хватает, от себя отказать — ты вон говоришь, что хочется лучше.

— Это не я говорю, это мудрость народная: про рыбу, которая ищет поглубже, и человека, которому надо получше.

Вера улеглась на диванчике — милая, домашняя, очень на месте здесь в своих джинсах — уж что говорить.

”Это, может, только я не имею отношения?.. А к чему ты имеешь?” — спросил он себя.

— У меня совсем другая история, и чтоб понять, почему мы, тем не менее, встретились, у меня, конечно, мозгов не хватит. Но ведь главное, что мы встретились? Может, этого и понимать не нужно?

— ”Встретились, встретились, встретились...” — пропела Вера, перевернувшись на спину. — Какой печальный глагол, почти как — ”расстались”. Да нет, этот получше — здесь все ясно и нечего додумывать, а там — такая тоска от неизбежности.

— Ты сегодня совсем другая, — сказал Лев Ильич, — я тебя понять не могу.

— Так ведь и ты уже не такой... Ну что ж, будешь рассказывать или давай водку пить?

— Ты знаешь, впервые я задумался обо всем об этом, когда тебя услышал — про деда, про то, как его убили, про придуманную твоим отцом вину перед убийцами. Это только в голове вконец растерянного, потерявшегося человека могла возникнуть такая мысль. То есть, я понимаю, всякое может быть покаяние и такое тоже, что говорить — каждый за всех, во всем и перед всеми виноват. Только придуманная твоим отцом вина — неправда, а уж правду о том, что произошло, никак выразить не в состоянии. Это я тебе говорю, а у меня есть на это право, потому что во мне так уж перемешалась еврейская кровь — безо всяких иных примесей: кровь благочестивых и тихих местечковых евреев, возводящих свой род к знаменитым, еще на памяти матери, раввинам, цадикам и книгочеям-талмудистам, с кровью барышников, конокрадов, торговцев живым товаром, комиссаров — да, тех самых, о которых тебе рассказывал отец, первых советских партийных интеллигентов, взявшихся заново откры-

вать и переделывать мир, после того, как они сбросили с плеч кожанки и кинули наганы в ящики письменных столов... Я никогда про это не говорил, даже, видишь, не думал, но моя пора пришла — мне необходимо себе самому все это сказать.

Лев Ильич налил себе водки, поднял было бокал, но передумал, не стал пить, прислушиваясь к тому, как пошленький мотивчик вырастал в нем, заглушая цокот копыт и звон трубы — дребезжащий старенький роуль гремел все громче, он ощутил даже запах пыли, которую подняли танцевавшие пары, запах дешевой пудры, духов, пота... Какой уж там Ватто и Людовик ХУ!

— Здесь поразительный феномен, очень многое способный объяснить в том, что у нас произошло за эти полвека, — сказал он, усилием воли отогнав это наваждение. — Ну как объяснить огромный, никак не преувеличенный современным антисемитизмом процент евреев в русской революции? Начиная еще с народовольчества, они там объявились, но тогда единицы были, вон и Достоевский заметил одного бесенка, а дальше — в начале века, а после первой революции, а в семнадцатом, в двадцатых годах — с самого низа, а больше наверху, на первых ролях? Тут самое простое социально-психологическое объяснение: развитие капитализма, бурная демократизация страны, разрушение национальных перегородок, черты оседлости — как пар в пробитом пулей паровозном котле, ну и конечно, присущая энергия, темперамент, все слабости и пороки вместе — честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, комплекс униженности, неполноценности... И это на фоне русской неповоротливости, добродушного к собственной жизни пренебрежения, лености мысли и поступков — ну как не проиграть такой марафон!

— А не заносит тебя? — повернулась к нему всем телом Вера. — Не кажется тебе, что твои обобщения дурно пахнут?

— Не кажется, — отрубил Лев Ильич. — Нанюхался я, не боюсь. Ты представь себе этих кучерявых мальчиков, вырвавшихся из пропахших селедкой и нищетою местечек, сбривших пейсы, оплеванных, еще в перьях после недавних погромов или рассказов о них, ты представь их перепоясанными пулеметными лентами, в коже, с алыми бантами, с маузером или шашкой в руке? Кто был ничем — тот стал всем! Это ли не питательная среда и ситуация для любого честолюбия? А ведь не на разбой они выходили — за униженных и оскорбленных, за обездоленных — романтика бандитизма, напоенная самым слезливым человеколюбием! Это редко, это только патологический убийца не придумывает себе благородных целей, а так все — от Раскольникова до какого-нибудь чмура, выдергивающего серьги вместе с ушами, но для своей же марухи! И опять преимущество в марафоне: у этих мальчиков не было никакой укорененности, им ничего не стоило ломать все подряд — "до основания, а затем!" — они, что ли, строили или их деды?... Да знаю, знаю, что и укорененные тут по-

старались, да разве я хочу сказать, что русская революция со всем ее ужасом до массового святотатства включительно — еврейское дело? Я тебе, а верней себе, пытаюсь объяснить еврейское участие в ней, твоего родителя хочу освободить от его несуществующей вины. Для русского человека революция была сродни оккупации — и чужие песни, и чужой флаг, и чужая философия, и уничтожение святых, и латышские штыки. Да, русскими руками те храмы корежили да поганили, но разве был тут какой референдум — как ты определишь эту массовость? Да уж пример с Учредительным собранием такой показательный. Большевикам массовость изначально была противопоставлена, они б тут же все и проиграли. Я уж не говорю о том, на чьи деньги сделана была революция — то, что не на русские, несомненно... Своей кровью платила Россия за чужие страсти и идеи. Для русского человека, если уж о массовости говорить, скорее характерно тут было некое оцепенение, пассивность — отдал Россию русский человек, вот что будет верней и справедливей — ну да то другой разговор. Не с евреями же, не с нашими интеллигентами говорить о русском юродстве во Христе, о смирении, о неисповедимости русских судеб, о земле, взыскующей любви и в своем падении, о том, что при всем добродушии русского человека и невероятном терпении — да не было более кровавой и страшной революции, при всей высоте веры преподобного Сергия и чистоте молитв преподобного Серафима — никто и никогда так чудовищно, как здесь, не кощунствовал и не надругался над своими святынями. Да, при том, что в России родился Пушкин и Владимир Соловьев, в русском человеке сидит и порой ведет его Смердяков. Но за все — за тот грех Иудин Россия сама ответит, если считать, что еще не ответила, что еще мало. Но для еврейских мальчиков тут никакой святости и быть не могло, а потому не было и надрыва, боли, отчаяния. Пока те цепенели, эти уже все портфельчики порасхватали. И заметь, самые мерзкие крепла занимали те юноши из благочестивых еврейских семейств. Ну попробуй возрази, когда тебе скажут, что в ЧК, ГПУ до НКВД включительно, ну рябит от еврейских фамилий? Это сейчас им повезло, а то я бы поглядел, как наши либеральные интеллигенты выкручивались бы, объясняя энтузиазм евреев, штурмующих иерархическую лестницу ГБ — может быть и про ОВИР бы позабыли? Повезло им в наше время, ну что ж, хватит, проявились... Но это все констатация всем известная, как я уже сказал, социально-психологическое объяснение. А ты задумывалась когда-нибудь о том, почему все-таки так легко еврейская молодежь кинулась в революцию, ну помимо комплекса мальчиков из местечек? Почему патриархальные евреи, курицу сами не способные зарезать — резника приглашавшие, так легко смирились с тем, что их сыновья — гордость и надежда — становились кровавыми убийцами?.. Да потому, что социализм со всем им обещанным раем на земле, поразительно иудаизму близок — здесь, при на-

шей жизни, для нас, не для всех, а только, заметь, т о л ь к о для нас. А уж там, не все ли равно, как мы себя назовем — пролетариями, большевиками или советскими гражданами? А остальные — подошните, коль мы вас не уничтожим! Потому большевики, навсегда ушедшие из еврейского дома с его субботой и действительным благочестием, никогда отступниками не почитались. Это крестившегося называли мешумедом — это уж я по своему опыту знаю. Пусть он курицу так и не научился убивать — все равно он мешумед, а чекист, палач-изувер или преуспевающий в столице бонза — свой, родной сын, пусть он по субботникам играет — камушки или бревна с места на место перетаскивает. А ведь кроме того, у этих вчерашних учеников хедера еще атеизм оголтелый, невежественный, злобный, до издевательства над Писанием, которое их предки таскали в Ковчеге Завета, тщательно хранили, которое родители до сих пор перелистывают старыми руками, то самое Писание, которое и для выкреста Книга из книг. Но все равно, тем изуверам-невеждам приберегали кусочек пожирней: "Вы слышали, кем стал наш мальчик?" А выкресту... Э, ладно! И потому так понятно, что русский сионизм, давший мировому еврейству в начале века столько рыцарей и идеологов, заложивший фундамент сегодняшнего невероятного государства — там, в Палестине — захлебнулся, полвека его как не бывало. Какая там Палестина, Иерусалим — синица в небе! — когда рядом, рукой подать — Петроград и Москва, уж совсем реальный рай на земле, своими руками вдребезги разбитое, для себя приспособленное царство справедливости. Абстрактная еврейская мечта обрела здесь плоть и вкус — кровь была реальностью... Ты говоришь, дурно пахнет, а какой еще может быть запах? Я сейчас только один факт тебе напомню, о котором почему-то все стыдливо умалчивают — лес, мол, щепки, издержки революции, но уж такая в нем характерность, такое для всего последующего пророчество — такая слезинка, что ничего б другого и не надо — все в первый же год революции стало очевидным...

Лев Ильич проглотил водку, передернулся и залпом выпил остывший кофе.

— Мне налей, — попросила Вера. — Жалко, Юдифь спит. Ты б ее потешил своими рассуждениями.

— А что, ты же говорила, она разумная, своя баба?

— Сомневаюсь, что вы с ней своими окажетесь, да что-то трудно мне для тебя хоть кого-то своего подыскать. Разве родня...

— Погоди, сейчас я и до родни доберусь. Один факт из сотен, тысяч, миллионов фактов: убийство Государя Императора — обычный, естественный для революции акт — монарх-изменник, надежда и знамя реставрации, интервенции и прочего. Англичане казнили короля, во Франции Конвент поименным голосованием решал судьбу Капета. Но ведь у нас не было казни, а было гнусное, трусливое убийство, с предварительно продуманным издевательством, убийство всей

семьи — жены, девочек, больного малолетнего сына, прислуги. Омерзительное сокрытие следов преступления, сжигание трупов... Кто проводил эту акцию, кто ею руководил на месте, в Екатеринбурге, кто всем этим дирижировал из центра, который якобы был поставлен перед фактом? Почему наши интеллигенты, еврей-гуманисты предпочитают молчать об этом, оскорбленно машут руками, называют антисемитизмом всякое стремление раскрыть и проанализировать всего лишь историческую правду? Все-таки почему это сделал недоучившийся студент Яков Юровский, лично застреливший Государя, а не кто-нибудь другой? Почему все-таки общее руководство Екатеринбургской акцией осуществлял председатель губкома, старый большевик Шая Голощеков, точно, вместе с Юровским выполнивший разработанную Яковым Свердловым директиву, да и Екатеринбург назван Свердловском не в награду ли за этот подвиг? Случайность, совпадение? А может потому, что здесь, как в фокусе, сошлось все, о чем я только что, как ты говоришь, рассуждал, что такого рода акции, а я убежден, что она стала пророчеством для всей нашей жизни, и делаются чужими руками, руками самых грязных наемников, для которых страна, по которой они гуляют, всего лишь территория и идеальное место для реализации своего честолюбия? Или мы станем говорить о чистом горении такого человека, как Юровский, одержимого социалистическими идеями, ради них готового на любой подвиг или преступление? Думаю, можно и не зная фактов утверждать, что за трусливое убийство детей в подвале с Юровским расплачивались не цитатами из "Капитала". Что было обещано этому человеку, кем обещано?

— Я не понимаю тебя, — с недоумением проговорила Вера. — Что ты хочешь сказать, что этот Юровский был тем, кем он был, потому что... был евреем?

— Я хочу сказать только то, что говорю, я пока факт констатирую. Да, в том подвале были и русские солдаты, и латыши, и венгры — все их имена, как ни старались это скрыть, остались для истории. Они и стреляли, и штыками докалывали, потому что пули к их ужасу отскакивали от девочек, у которых на груди были защиты их драгоценности. Эти солдаты гоготали над ними, пока жили в одном доме, издевательски водили до ветру, а потом они — не Юровский замывали кровь в том подвале. Но именно он разрабатывал эту дьявольскую операцию, докладывал о каждом своем шаге в губком и в Петроград, получая оттуда директивы и добро. Он выстрелил первый и убил Императора, державшего на руках сына. И когда мне говорят о том, что про это не надо писать и говорить, что в такой стране, как Россия, с исконным, якобы в крови, антисемитизмом, это вызовет его новую вспышку — я этого понять не могу. Вот я про что говорю. Скрыть правду, запретить исследователю ее обнародовать — не сыпать соль на раны, как твоя подруга говорит? Но разве правда

от этого — от того, что ты ее скроешь, перестанет этой правдой быть, жить в тебе — значит тебе самому она безразлична, тебе лишь бы про нее другой не знал, и тогда как бы ее и нет, и ты можешь спокойно сидеть на своем стуле, обитом серым бархатом, попивать джин с "тоником"? Вот тебе, кстати, еще один психологический парадокс. Русский человек не боится правды о себе, не бинтует ран, сам сыплет на них соль; он может впасть от этого в отчаяние, в ничтожество, будет размазывать сопли и пьяные слезы, это станет надрывом, путь даже поведет его к новым преступлениям — все равно, мол, все пропало! — если конечно не будет истинным покаянием, его как Лазаря воскресившим. А еврей ее — эту правду во что бы то ни стало хочет скрыть, спрятать, скрыть от чужих глаз, потому что больше всего боится, чтоб ему за нее плохо не было. Чтоб не отняли кусок хлеба с маслом, а главное, не закрыли бы доступа к черной икре. Вот что главная потеря, вот о чем все наши интеллигенты сегодня рыдают — им икру не дают, она только жлобам достается, тем, что в черных машинах ездят, а еврея к тому пирогу не допускают. А уж сам бы с собой он договорился — подумаешь, Юровский царя застрелил, а сколько царь поубивал? — вот и все интеллигентско-еврейское раскаяние...

— Это ты про себя, что ли, все рассказываешь? — перебила его Вера.

— Прости, я, верно, на другое сорвался. Больше не буду. Зато теперь тебе все про меня станет ясно. Здесь главное не бояться и себя не жалеть...

И Лев Ильич начал свою историю.

— Представь Москву, еще с булыжником, с извозчиками, первый этаж особнячка где-то в районе Садового кольца, маленькие комнатушки, раскаленные белые изразцы голландских печей, шкафы, набитые книгами. Представь мальчика, каждое утро которого начиналось с того, что мама целовала его и брала к себе в постель, и там, в ее комнатушке, на широкой тахте, под полкой с таинственно мерцавшими золотом корешками "Брокгауза и Ефрона" с иллюстрациями, переложенными папиросной бумагой, он чувствовал себя в особом мире, защищенном тихой любовью от всего на свете. Он помнит, как однажды, когда заболел и было ему совсем плохо, мама взяла его к себе ночью, а утром он проснулся здоровым, не понимая, как он сюда попал, и вдруг ощутил на груди иконку на цепочке... Только там, в маминой комнате, он чувствовал себя защищенным. Потому что за стеной, в кабинете отца, шла совсем другая жизнь: отец боролся с духами, они наполняли свистом и визгом его забитый книгами кабинет, с заваленным рукописями столом, за которым он работал, бегал по комнате, диктовал машинистке. Иногда духи материализовывались телефонным звонком, отец резко отвечал, срывался в крик, или говорил приглушенно, а то и нежно. Мальчик ничего не понимал, только чувствовал, как сжимается, тухнет рядом мать,

прижимался к ней, ища защиты, еще не понимая от чего. Порой духи материализовывались в гостей, приходивших вечером, и тогда все сидели в столовой, под абажуром, пили чай или вино — не водку, это он почему-то запомнил, а потом нестройно пели, и тогда ему слышалось, как тоненько звенит труба. Он долго не засыпал, и до глубокой ночи цокали копыта извозчичьих лошадей, позванивал трамвай, пробегавший мимо окон; он, наконец, засыпал под это цоканье и дребезжанье, глядя на догонявшие друг друга пятна света на потолке — они тоже соединялись в его представлении со звоном трубы: это не трамвай, а труба блестела в чьих-то руках, а он только никак не мог увидеть, кто ее держит... А другой раз духи принимали облик огромного старика с большой черной бородой — провинциала в высоких сапогах со старым саквояжем. Он входил в дом с усмешкой, иронически поглядывал на отца, нежно целовал мать и вытаскивал из кармана обязательного сахарного петушка для мальчика. И в доме все сразу менялось: отец говорил по телефону тихо, уже не кричал, рано исчезал из дому, гости не приходили, а старик пошучивал, за обедом ставил перед собой неприменную бутылку водки, сам ее выпивал, а уезжал после скандала с отцом, который происходил за закрытыми дверьми в его кабинете, и мальчику всегда казалось, что кто-то из них останется там с проломленным черепом — там что-то гремело, падали стулья, наконец, старик с грохотом швырял дверь, сыпал проклятьями, бранился, как извозчик, по-русски, кричал что-то по-еврейски, стоя допивал в столовой свою водку и, набив саквояж, даже не застегнув его, напяливал шапку и уходил, но прежде еще раз уже в пальто ногой распахивал дверь в отцовский кабинет, чтобы крикнуть что-нибудь язвительное и громовое...

И в доме все затихало, боялись даже смотреть на отца, мама дрожавшей рукой гладила мальчика по голове, целовала его, а на утро начиналась обычная жизнь: опять гремел в кабинете отцовский голос, он выходил оттуда напряженный, звонкий, дергал мальчика за ухо, делал ему "козу", но мальчик уже знал, что и на него есть свой с т р а х, а значит, за пределами дома идет какая-то еще, совсем другая жизнь.

У мальчика был еще один дед, но он никогда не бывал в их доме. Они с мамой сами ходили к нему, пешком, улочками, переулками, входили в темную квартиру, дед — беленький, тихий, всегда сидел за большим столом, покрытым белой скатертью, вокруг, как серые мыши, суетились тетки мальчика, а дед снимал очки, закладывал их в большую толстую книгу, расправлял седую бороду и отрезал мальчику кусок бисквита, всегда стоявшего перед ним.

Это был совсем другой дом — робкий, тихий, но мальчику в нем почему-то казалось спокойней, здесь, уж конечно, не было духов, выползавших из всех углов его дома, чье присутствие он постоянно ощущал, даже по утрам, когда бывал надежно защищен мамин-

ной любовью. Но у беленького дедушки ему быстро становилось скучно, к тому же в глазах теток, в их поджатых губах он читал молчаливое осуждение — мамино платье, ее пышных каштановых волос, ее румянца, даже нежность к мальчику вызывала их раздражение: "Ну что ты барчонка растишь, что он все трется возле твоей юбки, почему он так странно сидит на стуле, громко мешает ложечкой чай в стакане, почему не благодарит дедушку за бисквит — кто из него вырастет?.." Потому мальчик всегда радовался, когда они наконец уходили, крепко держал маму за руку, обязательно, подпрыгнув, целовал ее в нежную щеку и без слов понимал, что дома про эти их визиты лучше молчать.

Однажды духи приняли обличье уж не только совсем реальное, но одновременно примитивно-зловещее и грозно-заманчивое. Он забрался по своим делам в дровяной сарай, и там в куче старого хлама среди поломанных стульев и ободранных чемоданов нашел наган — настоящий, ржавый, с вращающимся барабаном. Он принес его отцу и молча стоял перед ним — маленький, вровень с его столом, заваленным бумагами, и со сладким ужасом думал о том, что отец сейчас расскажет ему, сколько он поубивал людей из этого нагана. Отец удивленно поднял брови, дунул в ствол, от чего над столом поднялось облачко рыжей пыли, коротко рассмеялся и так, держа наган за ствол, протянул обратно.

"— Держи. Только не выноси из дому."

Наган так и остался среди его игрушек, стал среди них самой ценной, пока его не нашли при обыске, и отец тогда тоже, шевельнув бровями, усмехнулся, правда, невесело. Мальчик так и не узнал, стрелял ли отец из своего нагана, хотя одна мамина история, которую он почему-то запомнил, почти убедила его в том, что едва ли этот наган и заряжали когда-то.

Мама с отцом ехали от деда в Москву. Они были счастливы, счастья своего не скрывали, а мама к тому же радовалась, что они долго в том доме не задержались. Отец уже женой привез ее к деду показывать, оставил в залог извозчику и побежал за деньгами — расплатиться у него не было. Дед вышел из дома — огромный, хмельной, моргнув низко поклонившемуся извозчику, взял маму, как ребенка, на руки и внес в дом. А уже вечером был скандал, но без крика, а потому особенно маму напугавший. Дед по случаю женитьбы старшего сына пил целый день. К вечеру сильно нагрузился и, уж не знаю, сказал ли он чего или посмотрел на маму не так, но отец поднял с полу пудовую гирию, и дед мрачно, враз протрезвел, совсем ушел из дома и два дня не являлся. Они сидели в вагоне, мама в шуршавшем новом платье, с золотым медальоном — подарок деда — на груди, раскрыла корзину с припасами, уложенными бабушкой, расстелила салфетку — она всегда старалась красиво сервировать стол, даже когда на салфетке был ломоть хлеба с селедкой, даже в лагере, куда он, Лев Ильич, при-

езжал к ней на свиданье: "Видел и уж никогда не забуду, как она там ела, но все равно на чистенькой тряпочке..."

Они нежно ворковали за своим завтраком, а мимо раз и второй прошли матросы — здоровенные, перепоясанные оружием, гранатами, брякавшими о вагонные двери. Когда они прошли мимо в третий раз, а один — широколицый, скуластый, в сдвинутой на затылок бескозырке, в распахнутой рубашке, под которой на заросшей рыжими волосами груди резвилась татуировка, глянул на маму мутными пьяными глазами, отец отодвинул корзинку, вытащил из-под скамейки чемодан, долго чертыхаясь, шарил в наложенном бабушкой белье, вытащил этот самый наган, натянул студенческую фуражку и шагнул в коридор. Мама в ужасе ждала, а минут через пятнадцать, не выдержав, отправилась его искать. Он стоял с тремя матросами на тормозной площадке, все они весело хохотали и хлопали друг друга по плечам. Наган был в руке у скуластого с татуировкой.

"Простудитесь, дамочка, — сказал он маме, — а вам теперь жить долго. Мы было решили вас шлепнуть — за этих приняли, — и он махнул наганом куда-то за спину, где летели перелески. — Хорошо, успели разговориться с товарищем, выяснили личность..."

Они вернулись в вагон, и отец, подрагивавшими руками пряча наган обратно в чемодан, рассказал маме, что прежде чем они на него среагировали, он вытащил наган, попросил патронов к нему и рассказал, что это ему подарок от красных матросов балтфлота. Патронов для нагана у них не нашлось.

"Они сейчас на ком-то другом отыграются, — сказал отец. — В соседнем вагоне батюшку углядели — попа с попадней..."

И уж конечно, отыгрались, конечно, тут же и шлепнули — вот что самое-то здесь, пожалуй, существенное. Поп подвернулся, уж несомненно классово чуждый. Да ему и потрудней было бы, не в пример отцу сориентироваться и доказать свою принадлежность. Когда оружие заряжено, оно непременно должно выстрелить — и это не литературный закон. Но тут весь фокус был в том, что этот наган и не заряженный, без патронов, но ведь выстрелил! Понял ли отец в тот раз или потом, коль вспоминал про это, что из его, ставшего моей игрушкой, нагана, шлепнули тогда классового чуждого попа с попадней, что он только от себя отвел руку — или утешал себя тем, что у него нет и никогда не было патронов? Но ведь тогда в поезде он не просто проявил находчивость, он тем матросам рассказал правду, ему на самом деле подарили наган в Кронштадте, он и верно был к тому времени — дело было в восемнадцатом году — уже большевиком и даже 25 октября оказался в Смольном и возле Зимнего побывал... Не знаю, как он вспоминал эту историю, но я только счастлив был, что наган у меня не задержался, хотя уж и такой дорогой, страшной для меня ценой...

Разумеется, я ничего не понимал тогда про отца и про то, с

кем он сражался в своем кабинете. Я даже не знаю, знал ли он в себе этих духов, демонов, или они, войдя в него, не оставили в нем и места для сопротивления себе. Я и духами их, конечно, не называл, но отчетливо чувствовал, что дом населен чудовищами, сказочными злыми существами, которым однажды открыли дверь, а уж на то, чтоб выставить их, силы не было.

Я понял про них и тогда про себя их назвал значительно позже, когда отца уже посмертно реабилитировали, вернулась из лагеря мама, мой дядя — я его три дня назад похоронил... Да. Тогда я и получил в университетском хранилище книги отца — он был историком, много писал о Франции. Любопытное это было чтение: два десятилетия спустя разговор с отцом, который уже не мог состояться. Я листал исследования чисто классического, лабораторного опыта якобинского террора — от анализа самой природы характера вождей революции. Автор утверждал необходимость для ее героев авантюризма, цинизма, явно сомнительной нравственности до продажности включительно. Именно в этих их качествах для осуществления своих планов и надежд и нуждалась революция, вознесшая, скажем, мирного буржуа, преуспевающего адвоката Дантона на свой гребень — гениальный оратор доказал способность к лжи и преступлениям, а потому и остался в пантеоне истории. В связи с этим такой явственной была мысль отца о неизбежности термидорианского перерождения этих самых вождей революции — тех, кого в конце концов сожрала толпа, так легко становящаяся игрищем страстей и честолюбий. Так утверждал автор... Все очень академично, хотя и слишком страстно для историка, размышляющего над событиями полуторавековой давности. Но почувствовал ли я в этих книгах его личность — то, что и было мне важно? Страха, предчувствия конца, во всяком случае, понимания его неизбежности — там было сколько угодно. "Они хотят сломать эшафоты, потому что боятся, что им самим придется взойти на них", — цитировал отец Сен-Жюста. Им с а м и м — вот что здесь самое важное, вот в чем был страх, пафос, вот о чем шептали и визжали демоны, выползавшие из углов нашего дома. А то, что шлепнули кого-то — да не кого-то! — с первых же дней нашей революции считали их тысячами, а там сотнями тысяч, да еще при отце пошел счет на миллионы — кто их там считал! Шлепали, ставили к стенке, брали на мушку, списывали в расход, отправляли к Духонину, разменивали, ликвидировали... А что миллионы людей изгонялись из построенных их дедами домов, что весной подснежники и ландыши пахли тлением и казалось оскорбительным, что земля зеленеет, когда она должна быть только красная от крови? Думал он об этом, касалось это его? Нет, должен был я себе сказать, потому что не смог найти в тех книгах и намек на покаяние, а только громогласные, всего лишь его — только и х! — предупреждавшие цитации: "Великий народ революции подобен металлу, кипящему в горниле. Статуя свободы еще не отлита. Металл еще только плавится. Если вы

не умеете обращаться с печью — вы все погибнете в пламени...” Это Дантона он цитировал. А они, разумеется, не умели обращаться с печью — а кто умел-то, такого умельца и не было в истории, Сталин разве? Ей — этой дьявольской печи — было мало миллионов жертв, которых они не спрашивали, нужна ли им была статуя. Достаточно было собственной в том уверенности. И страх был только от того, что топить эту печь было уже нечем. Приходила их пора...

— Не было покаяния, — повторил Лев Ильич и налил себе водки. — Иначе он бы не почувствовал себя хозяином в городе, по которому иной раз гулял со мной — так свободно и широко он всегда шагал, шутил с девочками, задирал мальчишек, раскланивался с десятком прохожих — всех-то он знал и его все знали. А ведь это был тот самый город, что уж давно пошвырял своих сыновей в ту печь на невиданную переплавку, порой разбавляя тот живой хворост медью колоколов, сброшенных с колоколен взорванных соборов — но ей всего было мало, она жаждала крови.

Но однажды я узнал, чего еще он боялся, и тогда демоны, романтически звеневшие для меня трубами, позвякивавшие уздечками, гремевшие копытами разгоряченных бешеной скачкой лошадей, обернулись жалкими бесенятами, фальшиво наигрывавшими пошленький вальс на разбитом рояле. Мне помог случай... Ты еще не спишь?

— Нет, что ты, — сказала Вера и посмотрела на него подавленно и безнадежно, — ты очень художественно все изображаешь, я только пока что не могу понять твоего азарта...

— Мне помог случай, — повторил Лев Ильич. — Как-то, уже после реабилитации отца я разговорился с теткой — его двоюродной сестрой, тоже отбухавшей свои восемь лет. Я хотел поехать в Витебск, откуда отец был родом, чтоб там навести кой-какие справки, просил ее совета — кого б там поискать, сказал, что помню такой разговор, будто бы когда-то в тамошнем музее революции была целая экспозиция про отца, дядю и даже про деда. Дед, мол, из простых рабочих, кузнец, но потом стал привилегированным рабочим — такой классический персонаж рабочей аристократии, боролся с предпринимателем за копейку, а дети пошли в большевики. И вот, в той экспозиции целый исторический роман об этой пролетарской семье. Во мне еще тогда нет-нет, да тоненько так труба позванивала. И потому я был несколько обескуражен реакцией тетки — она, всегда сумрачная и замкнутая, хохотала как безумная. "Ты что?" — спросил я. "Ну насмешил — пролетарская семья, кузнец, боролся за копейку?.." И рассказала. Дед не зря так редко бывал у нас в Москве, его не случайно так странно встречали, никому не показывали, а потому всякий его приезд и кончался скандалом. Была пора чисток, когда все эти коммунисты выворачивали перед ячейками свое белье, а оно редко у кого оказывалось чистым, а уж у отца-то как было замарано! У деда имелся большой собственный дом в центре Витебска, а кроме того публичный дом в

слободе и еще такой же где-то, чуть ли не в Минске. Вел он жизнь широкую и разгульную, швырял деньги, покупал, менял и перепродавал живой товар, да и сам всегда снимал пробу. Знаменитый был человек в Витебске — Исаак Гольцев. И была у него дама — Юдифь ее звали, вот потому и вспомнилось мне, завязалась тут вся эта история. Женщина явно незаурядная, экзотической внешности и поразительно разнообразная способностей — может, и правда, на твою Юдифь похожа? Там уж такая драма через это была, удивительно, как дед бабушку совсем не прибил — все у нее на глазах, а она сначала характер проявила. Юдифь, видно, тоже сначала была в том веселом доме, потом тапершей — на рояле брэнчала, потом экономкой, а потом дед ее еще возвысил. Или, уж не знаю, может и она его к рукам прибрала, только к самой революции все те дома оказались записанными на ее имя. Может быть, и фиктивно, потому как по уставу мужчина не мог быть содержанием публичного дома. Так ли, нет ли, но и дед, и отец с дядей только тем и спаслись. Потому отец так боялся деда и упоминания о нем, потому, когда там в музее открыли экспозицию, он тут же туда помчался, чтоб прикрыть ее — "из скромности", а на самом деле, чтоб лишний раз не напоминать о себе. "Если тебе так приспичило что-то узнать про деда, — сказала мне тетка, — разыщи Юдифь, она тебе кое-что порасскажет, показать уж едва ли сможет..."

Лев Ильич замолчал, выпил водку и отломил кусок копченой рыбы.

— Бедный Лев Ильич, — сказала Вера. Она опять лежала на спине с закрытыми глазами. — Бедный, бедный человек... Ты все это на себя хочешь повесить?

— А на кого ж, я один был у отца, а у дяди Яши две дочери.

— Не получится из меня Раскольникова, — сказала Вера, все так же не открывая глаз, — прокололась с первой же "пробой"...

И опять такая безутешность ему послышалась, что он сел к ней, наклонился и увидел широко раскрытые, ясные, холодные глаза.

— Ты что? — спросил он, вздрогнув от неожиданности.

— Ничего. Скверная я баба, подлая. А ты хороший. Хоть раз в жизни встретила такого человека. И на том спасибо.

— Ты о чем, Верочка? — с тоской спросил Лев Ильич, никак он тут ничего не понимал.

— Давай еще кофейку поьем, а то уж и утро скоро, а мне сегодня рано на работу, да ехать отсюда, и еще дела...

Они пили кофе, допили водку. Лев Ильич раздвинул шторы: чуть брезжил рассвет — крыши, крыши в снегу открылись его глазам.

На подоконнике лежала книга в мягком кожаном переплете. Он раскрыл ее.

— Батюшки! Вот это книга! — охнул он восхищенно.

— А у тебя нет?.. Хочешь я подарю тебе? Это моя... Да, да, обязательно, а то что ж тебе подарить...

— Что ты, Верочка, я, правда, мечтал о Евангелии, хоть о любом, а тут со всеми приложениями, — листал он Книгу, — толкования, карты — вот издадут!.. Ну что ты, такой подарок...

— Дай-ка ее мне. Я тебе надпишу. Есть ручка?

Вера раскрыла Книгу и прямо на форзаце быстро, не думая, стала писать.

Лев Ильич взволнованно смотрел на нее. Он опять всю эту ночь был занят только собой, а с ней что-то происходило, произошло, он не мог взять в толк, о чем она ему все время говорила, не договаривая, чего-то от него ждала, но так и не дождалась...

— Возьми, — сказала Вера. — Дай я тебя поцелую.

И сразу выскользнула из его рук, завернула в бумагу остатки рыбы и вышла из комнаты.

Он раскрыл Евангелие. Поперек форзаца четким, летящим почерком было написано:

”Владыко дней моих! дух праздности уньлой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей —
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

На память о нашей встрече — во дни печальные Великого поста.

Храни тебя Бог!

Вера.”

...Она вошла уже в пальто.

— Пойдем отсюда. Только бутылку забери, а то неловко.

Они тихонько вышли, дверь щелкнула. Неожиданной эта ночь оказалась для Льва Ильича.

Молча прошли квартал, остановились у троллейбусной остановки. Где-то он и вчера здесь же был, рядом... Вера вдруг взяла его за руку.

— Лев Ильич, сделай мне... доставь мне одну радость. Напоследок... Я знаю, тебе будет трудно, не захочется, но сделай — вдруг я еще...

— О чем ты все, Верочка, мне так стыдно, что я всю ночь говорил о себе...

Она не слушала его.

— Я знаю, что тебе не хочется, но постарайся для меня, приходи сегодня вечером, как она просила...

Лев Ильич не успел ответить, Вера схватила его второй рукой за рукав пальто, потом оттолкнула...

— Саша!

— Какой Саша? — вздрогнул Лев Ильич и обернулся.

Прямо на них шел высокий, в расстегнутом пальто, без шапки чернокудрый красавец с бараньими глазами, весело улыбался, но тут он, видно, разглядел Льва Ильича, узнал, и того обожгло, он даже почувствовал, как его ударила злоба, ненависть. И Лев Ильич тоже его узнал — он и тогда, там, когда провожали Валерия, так же вот глянул на него.

Саша чуть поклонился Вере и круто свернул в сторону.

— Как неприятно! — Вера закусила губу. — Как это скверно...

— А в чем дело? Я его знаю.

— Это близкий друг Лепендина, он сейчас живет у нас, мы здесь рядом — вон, в переулке... В такую рань, мы вместе, и меня не было дома...

— Может, мне догнать его, что-то сказать?

— Ну что ты! В конце концов, мы могли с тобой встретиться случайно, как и с ним...

15

Лев Ильич понимал, что делает глупость, неловкость, что это никому не доставит радости, что сегодняшний вечер несомненно кончится печально. Или он устал, а потому не мог принимать каких бы то ни было решений, делать выбор — от чего-то и во имя чего-то отказаться, или отдаться течению несших его событий и случайностей, бездумно уверовав в то, что, стало быть, так и быть должно; или дело было в том, что в нем гремели, перекатывались, нарастая и проникая его, слова, рядом с которыми все остальное воспринималось уж такой чепухой...

Он просидел целый день в редакции, в "тихой комнате", где обычно уединялись сотрудники для спешной работы. Поначалу он действительно решил было писать — надо было заткнуть рот Крону, да и хотелось отделаться от висящего на нем, заранее надоевшего, совсем не нужного ему очерка. Он положил перед собой бумагу, повозился с ручкой — промыв ее, наполнил чернилами, долго сидел над чистым листом, вывел название, потом подумал и зачеркнул его, написал снова, опять перечеркнул, скомкал лист, да и забыл об очерке... Он достал из кармана Евангелие, еще раз прочел строки, написанные Верой: "...Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, Да брат мой от меня не примет осужденья, И дух смирения, терпения, любви И целомудрия мне в сердце оживи..." Раскрыл Евангелие — книгу было приятно держать в руках, раскрывать, переворачивать страницы — и все для него исчезло.

Он читал послания апостола Павла — так открылась ему Книга

— подряд, одно за другим. Он давно не перечитывал Евангелия, но, как выяснилось, к его изумлению, хорошо его помнил. И тем не менее он читал его заново, как в первый раз, испытывая ни с чем не сравнимое ощущение счастья прикосновения к чуду. А между тем, все вокруг него было грубой прозаической реальностью — и уютная жилая комнатка с продавленным диваном, голым столом, накрытым заляпанной чернилами ядовито-зеленой бумагой, глухая ободранная стена против мутного окна, брошенная на подоконник, забытая кем-то старая хозяйственная сумка, он сам — не спавший ночь, уставший и надорванный. Но все это только живее и поразительнее делало горевшие перед ним строки, открывавшие такую россыпь драгоценностей: сокровища поэзии, красноречия, мудрости и духовного утешения. Его потрясал ясный взгляд, бесстрашие и широта мысли, при невероятной глубине прикосновения к самому таинственному из того, что было в открывавшейся духовному зрению Истине. И при этом, кстати, еврей из евреев, сын фарисея и сам фарисей, выросший в языческом городе, с детства впитавший языческую философию — "первый из грешников"...

Он обернулся, когда его больно дернули за плечо — над ним стояла Ксения Федоровна, ее рысьи глазки-щелочки шарили по столу.

— Ты уж не оглох ли, милоч?

Лев Ильич захлопнул книжку.

— Кричу, стучу, заснул, что ли?.. Там тебя опять девочка спрашивает.

— Какая девочка?

— Вот еще, буду я всех твоих по именам помнить... Да не туда — в телефоне она тебя ждет...

Лев Ильич не сразу узнал Надин голосок.

"Папочка! Я тебя хочу видеть... Можно сегодня? Ты когда освободишься?.."

Лев Ильич вернулся в комнату, сел к столу, снова раскрыл Евангелие, но читать уже не смог. Он что-то должен был сделать, а вот что, никак не вспоминалось. "Поспать бы..." — поглядел он на диван. Он было прилег, закрыл глаза, но мысль о том, что ему что-то необходимо, а если он не вспомнит, что-то произойдет, что ни в коем случае произойти не должно, не давала уснуть. Он вскочил, прошелся по редакции, стрельнул сигарету у мчавшегося по коридору курьера — студента-заочника, всегда терявшего все, что ему поручали отнести, путавшего адреса и обычно приводившего Крона в неистовство.

— Ты куда? — спросил Лев Ильич, глядя на него с удовольствием.

Курьер улыбнулся, показав два ряда веселых звонких зубов, и подмигнул Льву Ильичу.

— Забыл. Ну никак не могу вспомнить, куда он меня послал.

А он час назад послал. Срочно. Я час и бегаю вокруг редакции. Что делать?

— Кто послал?

— Да Крон, будь он неладен. Ведь сожрет, а? — неизвестно чему радовался курьер.

— Давай, я узнаю, — нашел себе дело Лев Ильич, и тут вспомнил, ухватил мысль, которая его так мучила. — Спасибо тебе.

— Мне? — захохотал курьер. — Ну, даете...

Лев Ильич толкнул дверь в кабинет Крона. Тот говорил по телефону, был бледен от злости, кого-то о чем-то просил.

— Послушай, Борь, — сказал добродушно Лев Ильич, когда тот бросил трубку, — куда наш курьер делся?

— Что? — закричал Крон. — Куда делся!.. А тебе что? — спросил он вдруг подозрительно.

— Чего ты орешь? — по-прежнему добродушно спросил Лев Ильич. — Мне его нужно в Общество послать.

— Какое еще "общество"? — Крон схватился руками за голову. — Ну можно ли работать в этом сумасшедшем доме? И машинистка куда-то исчезла...

"Правда, куда это Таня делась?" — с тревогой подумал Лев Ильич, он уж раза два к ней заглядывал.

— В Общество по распространению, — с идиотской улыбкой ответил Лев Ильич. — А у тебя головка болит, перебрал вчера что ли?

— Курьер в Президиуме Академии, мне, вон, только что звонили, что его до сих пор там нет, а мне нужно срочно завизировать материал — человек уезжает на полгода за границу — и все летит! А этот кретин где-то шляется... Есть приказ, между прочим, запрещающий без моего ведома посылать его куда бы то ни было. В Обществе вы самостоятельно можете сходить. Вы, кажется мне, только и делаете, что куда-то ходите... Материал готов?

— Ну что ты, Боря, это сложная работа. Я думаю книгу про это написать.

Крон даже застыл от такой наглости.

— К-книгу?.. В понедельник я ставлю вопрос на редколлегии о том, что вы не выполнили задания по командировке. У меня еще кое-что есть на...

— У тебя есть на меня материал? — невинно спросил Лев Ильич. — Оперативный? Так он для суда не годится — это косвенные улики, — и не давая ему ответить, повернулся к двери. — Выпей пива, Боренька, проверенное средство, враз полегчает, — он плотно прикрыл дверь...

— Жми в Президиум Академии, — шепнул он дождавшемуся его в "тихой комнате" курьеру. — Крон только что стол не грызет от бешенства, и "сове" на глаза не попадайся. Плохо твое дело.

— Да я знаю! Обязательно выгонят! — хохотал курьер. — Ну точно же выгонят, а?

— Не перепутай — в Президиум, на Ленинском... — бросил ему вслед Лев Ильич.

— Послушайте, Лев Ильич, — вернулся курьер, — идемте пива выпьем. Я вам две бутылки поставлю за блестяще проведенную операцию!

— В другой раз. Сейчас ты там на Крона нарвешься, я ему тоже посоветовал пива, чтоб головка не болела.

— Да? — сверкнул зубами курьер. — Ну, даете...

Лев Ильич подошел к телефону и набрал номер Маши. Подошел Игорь, и они сразу договорились, что тот зайдет к нему в конце дня.

“Форма одежды парадная?” — улыбнулся в трубку Игорь.

— Форма одежды? — переспросил Лев Ильич, и тут вот он и вспомнил, что ему ж сегодня надо снова идти к Юдифи, Вера так настойчиво его об этом просила... — Белый верх, темный низ. Или наоборот. Только приходи.

С Таней он встретился, когда им привезли зарплату. Лев Ильич отдал ей деньги.

— Пойдем пообедаем?

— Спасибо, я уже, — почему-то покраснела Таня.

— На тебя Крон зубы точит, что где-то ходишь.

— Ну и пес с ним, — небрежно отмахнулась Таня.

Лев Ильич с изумлением уставился на нее.

— Однако успехи... — сказал он и опять, как вчера, огорчился.

Надя пришла к нему в “тихую комнату” за полчаса до конца рабочего дня. Он снова читал Евангелие, и ему казалось, слышит глуховатый, проникающий, только ему, изнутри говоривший голос — “Как в обратной перспективе!” — мелькнула счастливая мысль: “Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного: потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства...”

Она словно еще выросла за эти дни — в цветастом платочке, в дешевом, под кожу, пальто, темные, прямо нарисованные брови блестели от таявшего на них снега, а глаза живые, сначала смущенные, затаенно-веселые, тут же сверкнули тревогой.

— Ты не болеешь — ты такой бледный, худой?

Как у нее все на лице написано, — думал Лев Ильич, — тяжело придется, или это быстро уходит?..

— Какая ты красивая, Наденька, и совсем большая...

— А я на каблуках, мамины туфли надела, она разрешила. Так ты, правда, не болеешь?

— Что я барышня, что ли, болеть. Как у тебя?

— Пап, ты что решил? Я говорила с мамой, она не хочет со мной разговаривать — не мое, говорит, дело. Ты в кого-то влюбился, пап?

В дверь всунулась Ксения Федоровна, ощупала Надю глазками-щелочками.

— К тебе посетитель. Через десять минут, учти, буду закрывать редакцию. Приказ Крона.

— Перестань, Ксения Федоровна, что за детский сад, — разозлился Лев Ильич.

— Иди сам и объясняй ему какой сад, а я человек маленький. Пусть сюда, что ль, придет — посетитель?..

— На сову похожа, — Надя прыснула в кулак.

— А ты откуда знаешь? — удивился Лев Ильич. — Это ее так один наш паренек прозвал.

— А я и не знаю увидела — ну сова!

Вошел Игорь, тоже запорошенный таявшим на нем снегом, такой, как накануне на паперти.

— Как хорошо, — сказал Лев Ильич, — а то нас отсюда гонят. Познакомьтесь, Игорь, это Надя, моя дочь.

— А я Игорь.

— Какой вы длинный, — открыла глаза Надя, — наверно, в баскетбол играете?

— Нет, — серьезно ответил Игорь, — я мечтаю играть Шекспира, а мне предлагают роль бранд-майора, влюбленного в водителя троллейбуса.

— Вы киноартист! — ахнула Надя.

— Может быть, если ваш папа изменит свое отношение к профессии актера.

— Нечестно играете, Игорь, — сказал Лев Ильич, — я до сих пор молчал о своем отношении...

— А я думал, вы сейчас попадетесь, — широко улыбнулся Игорь. — Тогда б я мог вас уличить в необъективности.

Надя переводила удивленные глаза с одного на другого.

— Папа, ты ж всегда любил театр?

— Откуда ты взяла? Во-первых, не любил, во-вторых, мы с тобой про это никогда не говорили, а в-третьих...

— А в-третьих, вы все-таки попались! — расхохотался Игорь. — Значит, не любите? Почему тогда согласились быть судьей в таком принципиальном разговоре? Даю вам отвод!..

— Пап, а если я стану актрисой?

— Это будет ужасно, — серьезно сказал Лев Ильич.

— Хотите, Надя, я вас с настоящей актрисой познакомлю? — спросил Игорь.

Льву Ильичу показалось, что он смотрит на нее с восхищением. "А я просто старый сводник, — подумал он, вспомнив еще Федю

с Таней. — Могу уходить, что ли?”

— Зачем мне актриса? Я лучше б с вами познакомилась, — Надя покраснела. — В том смысле, что мне не знакомства нужны, а профессиональная школа, — она совсем запнулась.

— Знаете что, ребята, — вмешался Лев Ильич, — я виноват перед вами. Пригласил для разговора, а у меня сегодня... есть, одним словом, дом, который ко мне не имеет ну никакого отношения. Но меня там очень ждут. Две женщины. И мне неловко... Знаете что, — осенило его, — пойдете вместе! Во-первых, может вам будет забавно, во-вторых, как вы, Игорь, насчет иностранных напитков — ну джин, например?

— Положительно, — сказал Игорь.

— А в-третьих, мы там часок посидим и смоемся.

Он позвонил Юдифи.

”Где ж вы? — кокетливо спросила она. — Я вам очень благодарна за трюфеля — вы галантный и очаровательный человек.”

Он извинился, объяснил ситуацию, сказал, что никак не может расстаться с дочерью.

”Сколько лет вашим детям?.. Прекрасно, у меня не будет ничего, что не показывают даже и до шестнадцати лет. Остальное от вас зависит — как вы выйдете из положения. Я имею в виду некую игривость этого положения... — хмыкнула она. — Но с другой стороны, известная острота...”

Так мне и надо! — обозлился Лев Ильич.

Конечно, это было глупостью, даже бестактностью. Как еще Вера к этому отнесется? ”Ну уж как хочет”, — подумал он и усмехнулся — выбор был сделан. Да и отступать поздно, неловко перед ребятами, весело, хоть и смущенно вошедшими вслед за ним в подъезд.

Им открыла Вера, стряхивавшая снег с шапочки, видно, только вошла. Она недоуменно посмотрела на Льва Ильича, но выскочила с визгом собачонка, появилась Юдифь в каком-то немислимо-ярком сарафане, в кокошнике, в ушах позвякивали, отражая свет, длинные серьги — она была приветлива, шумно выразила свой восторг Наденькой, церемонно познакомилась с Игорем, который, уж конечно, ей понравился. Вера молчала, и Лев Ильич перехватил ее взгляд, такой же, как ночью, затравленный и обреченный.

Игорь, раздеваясь, увидел иконостас у вешалки, вздрогнул, глянул на Льва Ильича.

”Поделом вору и мука, — со злорадством подумал Лев Ильич, — мало еще мне, ну да ничего, сегодня нахлебаюсь...”

— Прошу, проходите, — пригласила Юдифь. — Нет, не сюда, вот в эту дверь пожалуйста, — она прикрыла Людовика ХУ, распахнула другую дверь, вчера Лев Ильич ее и не заметил.

Он шагнул в комнату и остолбенел.

Это была большая столовая, с мебелью, выдержанной в темных

тонах: стены обиты деревянными панелями, посреди комнаты темный, по всей вероятности дубовый, без скатерти стол, вокруг него широкие лавки, блестящие темным лаком, ярким пятном выделялась занавес на окне, красочная, как панева, похожая на сарафан Юдифи, а может, и из того же материала, вдоль стен висели крепкие громоздкие резные полки, уставленные хохломой, каслинским литьем, яркими дымковскими игрушками, на стенах прялки, расписные тарелки, большая полка с самоварами — от огромного, ведерного, сиявшего красной медью, до маленького, диковинной формы, с заварной чайник величинной; в углу комнаты гигантская ступка, а рядом, подстать ей, сундук, похожий на гроб. Над столом ярко сияла люстра — паникадило, сверкавшее хрусталем, а под ним на салфетках с орнаментом деревянные тарелки, такие же ложки, посреди стола граненая хрустальная бутылка с зеленоватой жидкостью, красная икра в широкой миске, огромная братина с янтарным напитком, с висцим на ее борту ковшом...

— Ну как? — вошла следом Юдифь. — А вы еще раздумывали, принять ли мое приглашение, заставили себя уговаривать...

Лев Ильич, с трудом опоминаясь, посмотрел на Игоря. Тот едва заметно ему мигнул, и Лев Ильич вдруг успокоился: "Слава Богу, не один здесь!.."

— Потрясающе, — сказал он именно то, чего от него ждали. — Такого я не видел.

— И не увидишь, — обернулся к нему от полки с самоварами Феликс Борин.

Это было неожиданностью для Льва Ильича: "Феликс здесь, у Юдифи?.. А почему б и нет, где ж ему еще быть — у отца Кирилла, что ли?" — подумал он с мгновенно вскипевшим в нем раздражением.

Феликс, разумеется, был не один. Комната, приведшая Льва Ильича в столбняк, как-то вдруг ожила — он просто не обратил сначала внимания на людей, потерявшихся в ней, незаметных среди обилия предметов, которые он тоже, так вот, все сразу не мог охватить. Он увидел Вадика Козицкого, поклонившегося ему издали, застывшую на скамейке у стены пару — миловидная, пышная блондинка в строгом костюме партработника и унылого вида мужчина в очках на длинном, заглядывающем за красные губы носу. Еще в комнате суетилась раскрасневшаяся стройная совсем молоденькая девушка, как лошадка поминутно откидывавшая взмахом головы падавшие ей на лицо, блестящие в свете люстры русые волосы, и тогда открывалась славная мордашка, выпуклый лоб с широко расставленными под ним небольшими глазами. Она раскладывала деревянные приборы, что-то передвигала, переставляла на стол с уже знакомого Льву Ильичу стеклянного столика на колесах. Последним он заметил еще одного человека: в углу на стоявшей там лавке под картиной, изображавшей сельский погост с часовенкой на заднем плане, сидел небольшого роста, совершенно лысый человек в отлично сшитом костюме, в галстук, в ослепительно бе-

лых манжетах поблескивали яркие запонки.

В комнату скользнула Вера — бледная, в том же черном свитере и джинсах, отрешенная, ничего вокруг не замечающая.

— ...Такого не увидишь, — повторил Феликс Борин, — потому что только евреи в нашем благородном отечестве способны хранить традиции православия и народности. А ты оторвался...

— Bravo! — тут же откликнулся Вадик Козицкий ("Они тут, конечно, затейники, не скоморохи же..." — подумал Лев Ильич.) — Bravo, Феликс, народность привезли в этот удивительный край варяги, потом греки внесли чуток своеобразия, затем слегка поддревставрировали монголы, одобрили немцы, облагородили французы, и наконец, пришла пора евреев — эти оказались самыми оголтелыми — им только лапти да квас.

— Ну положим, — подал голос из угла лысый фронт, — нашей хозяйке не откажешь в разнообразии ассортимента — помимо лаптей и кваса, надо думать, нас еще чем-то собираются потчевать?

— Это детали, — бросился на защиту товарища Феликс Борин. — Я не вижу принципиального, так сказать, качественного различия между квасом, блинами, православной церковной архитектурой или, скажем, еще более православным самогонном-первачом. Источник, первоначально всего этого — квас, и я готов с помощью самоновейших методов какого-нибудь спектрального анализа обнаружить его присутствие в живописи Рублева и в прозе Гоголя...

Лев Ильич затравленно озирался. Ну знал же он, чувствовал, что все это кончится печально, ну зачем он сюда пришел, да еще ребят притащил, встречу которых так для себя вымечтал!..

— Блестяще! — откликнулся Вадик Козицкий. — Исчерпывающе. Думаю, можно принять как рабочий вариант заявки на докторскую диссертацию — "К вопросу о квасе и его изначальной роли в формировании русской культуры"... Наденька! — перебил он себя. — Что ты не говоришь дяде "здравствуй"?

— Здравствуйте, дядя Вадик, — на Наде была короткая, из ярких лоскутков сшитая юбка, открывавшая длинные стройные ноги. "Уже без меня сшили", — подумал Лев Ильич.

— Конечно, меня не заметила. Зачем я такой длинноножке! — проявил свою способность разговаривать с детьми Вадик Козицкий. — Интересно, на что ты тут смотришь?

— На самовары, — серьезно ответила Надя. — Я таких никогда не видела. И не знала, что бывают.

Главное, спокойствие, — уговаривал себя Лев Ильич, — сегодня ведь читал о том, что следует удаляться пустых споров с людьми поврежденного ума, чуждых истине, ибо такие споры бесполезны и суетны...

В комнату влетела, шурша сарафаном, Юдифь.

— Или мне показалось, но я слышала слово "блины"?

— Вам не показалось, — сказал Вадик. — Я употребил это древнерусское речение в полемике с моим уважаемым оппонентом, для которого оно только некий символ, знак, в лучшем случае деталь интерьера, свидетельствующая лишь о мирозозерцании хозяйки. Безо всякой надежды на какое бы то ни было иное его применение.

— Толик, не может быть? — воскликнула Юдифь, всплеснув полными обнаженными руками. — Вы, который знает меня тысячу лет, могли подумать, что я буду угощать вас знаками, символами и деталями интерьера?

— Но позвольте, — сказал Франт. — Как раз наоборот! Этот незнакомый мне господин просто, извините, шулер, это как раз я утверждал разнообразие ваших, и не только эстетических, пристрастий — до живых и теплых блинов включительно!

— Кто-нибудь скажет мне все-таки правду?..

Юдифь так искренне была рада своему удавшемуся суаре, тому, что у нее всем так весело, что Льву Ильичу стало даже неловко: мало что пришел, привел с собой детей, а ему еще все тут не нравится!

— Ну хорошо, — продолжала Юдифь, — никаких оправданий, пусть скептику будет стыдно. Весной, как всем известно, у нас в России масленица, а потому прошу к столу...

В дверь торжественно вошла понравившаяся Льву Ильичу де-вушка-хлопотунья с деревянным блюдом, а на нем горка бледных блинов.

Лев Ильич поймал быстрый взгляд Веры, тут же отвернувшейся. В комнате начался веселый гвалт, говорили все разом, перешагивая через лавки и усаживаясь вокруг стола.

Лев Ильич разыскал глазами Игоря — и снова успокоился: тот откровенно и не скрывая этого, широко, весело улыбался. Потом он шепнул что-то Наде и они уселись рядом у края стола.

— Да! — вскочила усевшаяся уже было Юдифь. Я вам еще не представила моего нового друга, хотя многие его и знают — Льва Ильича и его очаровательных детей. Впрочем, нуждается ли такой милый человек в том, чтоб его представлять?..

Лев Ильич церемонно поклонился.

Это было, конечно, удивительное застолье, а может, Лев Ильич просто отвык, забыл, что нечто подобное и бывало всю его жизнь — менялся интерьер, закуска, напитки, имена людей, а все остальное таким именно и было: кто-то щеголял остроумием, кто-то пытался удивить мудреным замечанием, кто-то поражал смелостью или двусмысленностью наблюдений. И вечер всегда проходил мило, и все расходились довольные, уже на лестнице начиная потешаться над глупостью хозяев, а не успев добраться до дому, напрочь позабывали все, о чем только что целый вечер говорили.

Может, и сегодня все кончится мирно, — успокаивал себя Лев

Ильич, — переживем блины да и смоемся потихоньку...

Отказаться от блинов было невозможным: "Бог с ними", — подумал Лев Ильич, вспомнив Филарета Московского, и с неожиданным в себе злорадством отметил, что блины были сухие, безвкусные, что вся закуска из магазина, хоть и дорогая — шпроты, ветчина, красная рыба, да и икра, которую Лев Ильич никогда не ел, полагая муляжом. "Да и паникадило похуже будет, чем у Саши", — совсем уж неожиданно отметил он. А может, и не хуже, но там оно было на месте, а здесь словно утром взяли напрокат на один вечер...

Он так увлекся этими разоблачениями, что даже вздрогнул, услышав свое имя. Юдифь сидела прямо против него, рядом с франтом с одной стороны и Вадиком Козицким с другой, дальше помещалась Вера с Феликсом Бориным, ребят своих он не видел — они сидели на той же лавке, что и он, на другом конце стола, а подле него хорошенькая девушка и миловидная блондинка рядом со своим унылым спутником. Торцы стола были свободны...

— Лев Ильич, почему вы молчите о моих блинах и напитке? — спрашивала Юдифь.

— Да конечно, — промямлил Лев Ильич, — но я больше по части рыбы, — и он уцепил вилкой кусок семги. — А про напиток что говорить, я всегда за водку, тем более такую, на лимончике... Хотя знаете, Юдифь, — осмелел он, вспомнив свое обещание Игорю, — вчерашний джин забыть невозможно...

— Может быть, правда, кто-нибудь хочет джину?.. Хотя это нарушит стиль...

— Переживем, — нагло сказал Лев Ильич. — Я даже думаю, он оттенит цельность общего впечатления.

Девушка рядом с ним вспорхнула и тут же вернулась с непочатой бутылкой джина. Это вызвало новый взрыв долго не утихавшего оживления. Даже унылый господин что-то сморозил, за что, как показалось Льву Ильичу, блондинка пырнула его локтем в бок, во всяком случае, он закашлялся и засморкался, вытащив огромный носовой платок.

— Передайте джин на тот конец стола, — шепнул Лев Ильич хорошенькой соседке, — моим ребятам.

Она понимающе глянула на него. Все шло хорошо, и Лев Ильич начал подумывать о том, как он проведет остаток вечера со своими ребятами. Но тут поднялся Феликс Борин.

— Я думаю, следует ввести наше словонизвержение в какой-то сюжет, — сказал он. — Обстановка требует, как верно заметил уважаемый Лев Ильич, цельности, стиль уничтожает хаос и заставляет мысль течь по определенному, заданному нам руслу. Я считаю необходимым напомнить вам об одной из вечных проблем, оживляющих нашу гнусную действительность уже более столетия, о проклятом вопросе, на котором скрещиваются и кипят страсти, и люди мгновенно

проявляются — о еврейском бродиле в этом перестоявшемся, пошедшем плесенью тесте... Где была б эта чудовищная, неповоротливая расейская баржа без того ультрасовременного оснащения, которым снабдил ее еврейский гений? — спрашиваю я и отвечаю: бултыхнулась бы, не в силах выбраться из воспетых нашими поэтами льдов. А чем была б эта страна, коль еврейский гений мог бы свободно вернуться? уж наверно той тройкой, что восхищала бы, заставляя сторониться народы и материки. А что мы имеем? Россия, как чудовищный минотавр, пожирает своих лучших сынов, земля полита еврейской кровью — и это в благодарность за то, что ее вывели в открытое море, что хотя бы снаружи можно не стыдиться, называя себя ее гражданами. Я предлагаю выпить за этот дом и его очаровательную хозяйку, зримо и ощутимо доказавшую нам, кто является истинным хранителем народности и православия!

— Очень мило! — засмеялась Юдифь и чмокнула подошедшего к ней и наклонившегося за наградой Феликса. — Только уж православие зачем? Я его не зря под вешалку устроила.

Лев Ильич снова поймал брошенный на него взгляд Веры, на этот раз ему почудилась в нем усмешка, и он совсем успокоился, но теперь потому, что знал, твердо знал, чем это все сегодня кончится: "Ну и ладно", — сказал он себе.

— По части православия я не специалист, — сказал усаживаясь Феликс Борин, — где ему место, не мне определять. По мне, так оно и к квасу имеет только чисто условное отношение. Завезли да чуть принарядили языческую стихию, будто море этого свинства можно хоть бетонными берегами укрепить.

— Да, про квас-то забыла! — всплеснула руками Юдифь. — Тоник, прошу вас, разлейте — братина требует мужской руки.

Лысый франт подтянул рукава и, поблескивая запонками на манжетах, принялся разливать квас, черпая из братины ковшом.

"Квас-то из концентрата!.." — успел с новым облегчением подумать Лев Ильич, хлебнув из кружки.

— Так у нас же свой специалист есть, — без улыбки сказал Вадик Козицкий. — Что ты таким скромником сидишь, Лев Ильич, тебе и карты в руки?

— Вы — специалист? — удивленно подняла брови Юдифь. — Вот бы не подумала, вы ведь живой природой — кажется, рыбой — занимаетесь?

— Рыба — это его хобби, — не унимался Вадик. — А православие, как он же недавно утверждал, экзистенция.

— Ой, как интересно! — глядела на него своими прекрасными глазами Юдифь. — Ну не молчите же!.. Да вы и не выпили за меня?..

— Перестаньте, что за тема за столом! — вмешался франт, у него неожиданно оказались умные, острые глаза и широкие жесты уверенного в себе человека.

”Эко он ловко с квасом обошелся и не пролил ни капли”, — с симпатией отметил Лев Ильич.

— А чем не тема, — вмешался Феликс, — что, запашок не нравится?

— Запах еврея, — брякнул вдруг унылый господин. — Эпиграмма Марциала, посвященная его другу Бассу, у которого дурно пахло изо рта, — и в наступившей вдруг за столом тишине продекламировал:

— То, чем от сохнувшей лужи часто пахнет...

Чем натошак от всех шабашу верных...

Лучше мне нюхать, чем, Басс, твое дыханье.

Да и Аммиан Марцеллин рассказывал, — продолжал он безо всякого выражения, — что когда император Марк Аврелий проезжал по Палестине, в нем часто вызывали омерзение встречавшиеся ему ”воношние, суетливые евреи”... Это к вопросу об истоках древнего антисемитизма, которым, разумеется, проникнуто правосла...

Льву Ильичу показалось, он даже почувствовал, как соседка опять всадила эрудиту в бок локоть: ”Спасибо, она такая пышная и локоток, наверное... Неужто бедный Сашенька этого не знает — ему б такой фактик!..”

Но каких только людей нет у нашего царя!.. — развеселился Лев Ильич.

За столом смущенно захихикали. Несколько, видно, оторопели.

— А я тебя все-таки заставлю открыть рот, — сказал без улыбки Вадик Козицкий, — уж очень ты в прошлую нашу встречу был разговорчив. Что ж ты теперь отмалчиваешься?

— Насчет чего? — лениво спросил Лев Ильич, он себе удивлялся и радовался своему спокойствию, — про евреев или о православии? А может, о России?

— Так в тебе это все вместе — или ты теперь не еврей? — Вадик говорил спокойно, расчетливо, жестко.

— В чем дело, что за разговор, непонятный непосвященному? Вадик, вы себя ведете просто неприлично... — рассердилась Юдифь.

— Почему ж я должен вас посвящать, когда Лев Ильич тут сам живой персоной? Ныне крестившийся раб Божий — Лев Ильич Гольцев.

— Крестившийся? — открыла и без того распахнутые глаза Юдифь. — Да не может того быть? Вера, ты слышишь?

Вера ей не ответила и не глядела на него, Льву Ильичу показалось, что она смотрит на Надю, и он порадовался тому, что сам он Надя не видит — совсем было тихо на том конце стола. ”Ну-ка, как ты с этим испытанием справишься?” — с любопытством спросил он себя.

— Вы могли принять православие в этой стране сейчас, когда

еврейских детей не берут в институты, на работу, не выпускают за границу?..

— Ну так уж не выпускают, — сказал с облегчением Лев Ильич, — вы сами мне вчера сообщили, что ваш муж в Лондоне.

— Мой муж русский.

— Прошу прощения... Ну а... разве среди присутствующих есть безработные? Из тех, кого я знаю, все получают приличную зарплату, у всех высшее образование, а кое-кто защитил диссертации, — и он подмигнул Феликсу Борину, вспомнив, как на банкете по поводу его защиты диссертанта вынесли замятое.

— А что ты запоешь через год, когда твою Надю не возьмут в институт? — тут же среагировал Феликс.

— Это она запоет, ты ее и спрашивай. Она, кстати, петь собирается. Или декламировать. К тому ж я не нахожу, что высшее образование, как, кстати, и красная икра, делает людей счастливыми и добрыми, а ежели мою дочь не возьмут в какое-нибудь МИМО или на факультет журналистики, откуда она могла б попасть, скажем, в "Литературную газету", то только порадуюсь, да еще Бога, в которого верую, буду молить, чтоб туда ее не взяли. Думаю, что каждый еврейский родитель должен молить своего Бога о том же: чтоб Господь уберег его детеныша, прежде всего, от лжи, а все остальное придет своим чередом. Как ты на это смотришь, доченька? — спросил он, не видя Надю.

— Я тебя люблю, папочка! — откликнулась Надя таким звонким голоском, что у Льва Ильича чуть слезы на глазах не выступили.

— Нет, я все-таки не понимаю, — горячилась Юдифь, — мне все время рассказывают... да вот Светочка, моя аспирантка, ваша соседка, рассказывала о безобразной антисемитской сцене на днях в магазине, потом, что вытворяет у них на кухне взбесившаяся баба с несчастными стариками-евреями, которые так к Светочке добры — ведь правда же?

Бедная Светочка запунцовела и ничего не ответила.

— Ну что ж, мы и будем об этом на таком кухонном уровне вести разговор, — все так же спокойно ответил Лев Ильич. — Разве это факт, разве случай в коммунальной квартире вам что-то объяснит? Чего там только не происходит.

— А мы все живем в этой коммунальной квартире, — сказал Вадик Козицкий, — Россия...

— Ну уж, не все, — перебил его Лев Ильич, улыбаясь и глядя на Юдифь.

— Россия и есть такая большая кухня, — Вадик не обратил внимания на его реплику, — омерзительная, загаженная, провонявшая примусами помойка.

— В таком случае тебе здесь нечего делать — уезжай, — сказал Лев Ильич. — У тебя есть выход — найди еврейскую тетушку

в Израиле.

— Но почему я должна уезжать — зачем мне Израиль? — вскричала Юдифь. — Я всю жизнь здесь работаю, у меня вышли книги, я собираю здешнее искусство, я, наконец, здоровье здесь потеряла! Я хочу жить как все...

— Что значит "все"? — спросил Лев Ильич по-прежнему тихим голосом. — Как все в Соловках, на Беломорканале, в северных закрытках, с блатными на Колыме и Джекказгане? Или как "все" — в Коктебеле, в Барвихе и Пищунде?

— Но разве евреи не сидели в тех лагерях? Почему же... — начал Франт.

— Да подождите вы, знаем, знаем — все сидели в лагерях, надоело, — оборвала его Юдифь, — я хочу этого человека понять. Я действительно здесь потеряла здоровье, я имею право...

— Ну а кроме прав, разве у вас нет обязанностей? — так же тихо спросил Лев Ильич. — Почему ж вы все только о своих правах помните? К тому ж собиранием искусства можно и там заниматься — тем более Людовиком ХУ, которым вы меня вчера порадовали.

— Какие еще обязанности? — с искренним недоумением спросила Юдифь.

— Обязанности перед этой землей, политой русской кровью — океаном ее. Страшно сказать, но я бы никогда не решился вспомнить о ручейке еврейской крови, едва ли в том океане заметном, да ведь странно было бы кровью меряться. Каждый захлебнется. Обязанности перед расстрелянной русской культурой — ее разрушенными и загаженными церквями, к которым Феликс только что вбискал отношение, даже меня, его хорошо знакомого, поразившее цинизмом и невежеством. Ну да это свидетельство всего лишь о нем, а разумеется, не о русской архитектуре. Но главное не в этом — вот что меня заставило рот раскрыть. Что тут спорить, мы все только о себе можем свидетельствовать... Да, — посмотрел он на Франта, — были и евреи на Колыме и Беломорканале. А кто были начальниками этого самого знаменитого канала — не Френкель, Раппопорт, Коган и Берман?.. Что ж вы все своими ранами да заслугами хвастаетесь? Как же здесь до покаяния дойти, а иначе пропадешь. Почему б не вспомнить, кем была пролита кровь...

— Вот ты и вспомни о погромах да о сорок девятом годе, — вставил Вадик Козицкий.

— Да я ж и говорю о том! — крикнул Лев Ильич, с огорчением отметив, что спокойствие его кончилось, а значит, он уже не может собой владеть. — Не на других надо указывать и пальцем в них тыкать с радостью — это только тебя и погубит, а о себе, себя и только себя судить. Свою вину постараться увидеть и понять. Тогда ты ее и оплатить сможешь. А что ж иначе?

— Вы о какой вине говорите? — спросил Франт и опять Льву

Ильичу понравились его глаза, в них хоть мысль была, а не злоба, как у Вадика.

— Да о том, что Россия и без евреев так же бы в море выплыла — ну не нелепо ли что-то там лепетать о какой-то оснастке, будто бы сооруженной здесь еврейским гением? Какая оснастка, о чем вы тут говорите? В чем она — эта еврейская заслуга? Это в худшем бы случае Россия без евреев той же баржей осталась — и слава бы Богу, было чем действительно гордиться, и не заметили бы ничего, что тут еврейские руки соорудили. А в лучшем, действительно, была б оснастка, потому что не было б Троцкого, Ягоды и Кагановича, не было бы продажных писателей с еврейскими ли фамилиями или с русскими псевдонимами, продажного кино, философов, готовых диалектически оправдать любую мерзость. Что ж до того, что действительно сделали евреи в русской науке или инженерии — в этой самой оснастке, было, как же, разумеется, и было, и сделали — но право же, постыдно об этом и вспоминать, зная зло, ими причиненное. Едва ли стоит мерять — только к стыду и неловкости.

— Ну знаете, — сказала Юдифь, с брезгливостью глядя на Льва Ильича, — такого я в своем доме никак не ожидала. Впрочем, когда человек изменяет голосу крови...

— Какой крови? — спросил Лев Ильич.

— А что, по-вашему, православие не измена? Не была, что ли, эта церковь и создана для того, чтоб унижать и уничтожать евреев — да и не только теоретически? Только руки короткие.

— Нет, она для другого была создана, а верней, всегда существовала. Разве апостолы, евангелисты не были евреями? А Матерь Божия...

— Ну эти сюжеты мне хорошо известны.

— Вы знаете еврейский язык?

— Нет. Мне он ни к чему. Я в России живу.

— Ну как же вы тогда ходите в синагогу — там же на еврейском идет служба?

— Это еще зачем? Почему я должна ходить в синагогу? Вы еще меня заставят какие-нибудь грязные пейсы носить, или в чем там еврейки ходят? Для того, чтобы чувствовать себя еврейкой и всегда об этом помнить, мне не нужна синагога — мне достаточно знать, что в этой стране, в которой живет быдло, всегда гнали и уничтожали евреев. В отличие от вас, я никогда не смогу отмахнуться от разговоров на кухне, хоть на своей их не допущу и, надеюсь, этот будет последним...

— Юдифь, да что с вами? — попробовал урезонить ее фронт. Юдифь отмахнулась от него.

— Юдифь? Да меня, если хотите, и Юдифью назвали не случайно. Пусть меня топчут, но я горжусь тем, что я Юдифь...

Лев Ильич позволил себе маленькое удовольствие — глянул

на Веру, но не увидел того, чего ждал, он не смог бы понять, как она на него смотрит, наверное, это было только безразличием или усталостью.

— Да кто ж ты все-таки теперь? — повторил свой вопрос Вадик, — русский, что ли?

И Лев Ильич сорвался. Он давно знал, что не удержится, что спокойствия его хватит не надолго, что не ему вести все эти разговоры, что-то объяснять и миссионерствовать... "Да брат мой от меня не примет осуждения..." — мелькнула перед его глазами пушкинская строка, набросанная легким, летящим почерком.

— Я-то еврей, — сказал он. — Меня зовут Лев Ильич Гольцев. Мой отец, мать, деды, прадеды — и так до десятого колена были евреи: цадики, раввины, барышники, спекулянты, торговцы живым товаром. А я — православный христианин. А вот кто ты — Вадик?

— Я? — растерялся Вадик. — Ну, конечно, еврей.

— Может, покажешь паспорт и мы прочитаем, что там у тебя написано?.. — это был запрещенный удар, ниже пояса, потому что кому, как не Льву Ильичу было знать, что Вадик мучался этим, а потому и так нервно реагировал всегда, но и отказаться от такого удара у Льва Ильича сил нехватило, не мог он себя больше сдерживать. — И ты, полужидок, будешь мне что-то объяснять про евреев, о том, сколько и кто пролил их крови? Вы будете мне говорить о голосе крови и о том, как я его должен слышать? — он увидел краем глаза, потому что смотрел Вадику прямо в лицо, что на том конце стола встал во весь свой прекрасный баскетбольный рост Игорь, и снова поразился, что взял ребят с собой. — Да вы люди без наций — не евреи, не русские — советские, страдающие только от того, что у вас нет черной икры, ненавидящие Россию, не знающие ее, стыдящиеся своего еврейства. Какой тут голос крови, когда это всего лишь элементарное национальное чванство, гордящееся своей гонимостью: мы — гонимые, значит — избранные, нам все должны помогать, мы обиженные — значит лучше! Хоть стол ломится, все равно гонимы, растоптаны! Все равно ущемлены. Еще о том любите вспоминать, что сто лет назад евреям нельзя было в Петербурге и Москве селиться, не было, мол, права жительство, а небось о том, что в этой стране, где верно, черта оседлости существовала, миллионы русских людей были в то же самое время крепостными — об этом и думать позабыли? Ну уж коль сравнивать да меряться? А о том, что сегодня, не сто лет назад — сегодня миллионы русских крестьян паспортов не имеют — что ж вы, гуманисты, про это не думаете, вы ж в России живете! Даже сейчас, когда проблема решена — да не вами, а настоящими евреями, которые пейсов не стыдятся и язык учат — сионистами, если не Промыслом Божиим. Ну неважно, ну ненавидите, ну не мать она вам, мачеха, получайте визу да уезжайте — скатертью дорога! Трудно? Но ведь возможно, а русскому человеку и того нельзя.

— Да он просто погромщик! — охнула Юдифь. — Что ж вы, мужчины!..

— Апостол Павел не слышал голоса крови — это сюжет, — Льва Ильича ни что б сейчас не остановило, — Мать Божия не слышала — это миф, Пастернак не слышал — у него еще отец был выкрест, дань традиции, я не слышу — это уж совсем все ясно — корысть, ложь или трусость! Только вы слышите! Но это в вас не — голос крови, а только мещанское чванство кричит — голос желудка! Если б голос крови, что ж вы еврейского языка не знаете, в синагогу не ходите — пейсы там! Не знаете Ветхого Завета, культуры? Да, вот я слышу голос крови, и потому я православный христианин. Более того, я потому православный христианин, что слышу голос крови. Только тот еврей слышит голос крови, который становится христианином, услышать голос крови для еврея, родившегося в России, и значит стать православным, потому что только тогда откроется перед тобой возможность хоть начать оплачивать неоплаченный счет за пролитую кровь. Для вас же все вокруг быдло — наслушался я этого! Только одни евреи неизвестно почему избраны, чистая раса. Вы даже не гуманисты — это... это... Только брукливой корове Бог рогов не дает, а то б... — Лев Ильич чувствовал, понимал, что говорит, верно, совсем не то, не так, что они не поймут, только озлобятся: "Пусть не то, не туда, пусть неправ — чтоб знали!" — Да, мой Бог — это Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Моисея, Сына Давидова — Сына Человеческого, Господа нашего Иисуса Христа, говоривший в пророках и апостолах, живущий от века в русской православной Церкви. И я слышу Его — это голос крови. Это избранничество, а не жалкое мещанское чванство, напыщенность, гордящаяся своей ущемленностью и считающая, что все обязаны им чем-то и за что-то, думать позабывшая о своих обязательствах и вине...

Лев Ильич и не заметил, что стоял, перешагнув лакированную лавку. Юдифь тоже выпрыгнула из-за стола.

— Вон из моего дома! — крикнула она в бешенстве, шаря руками по столу.

— Да мы уходим, верно, ребята? — очнулся Лев Ильич. И только тут ему стало не по себе: "Ну куда ты годишься после этого?" — подумал он.

Надя тоже стояла возле Игоря и держала его за рукав свитера.

Они выбрались в коридор, взяли свои пальто, Лев Ильич бегло глянул последний раз на потрясающе красивые иконы и открыл дверь, слушая мертвую тишину в большой комнате, взорвавшуюся вдруг разноголосым криком. Дверь за ними захлопнулась.

"Куда уж мне, — повторил он про себя, — что будет со мной, когда и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного..."

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Льва Ильича сначала поразил почему-то свет: он был розовый, как бывает ранним утром, зимой, когда только-только выкатившееся, блеснувшее из-за бугра солнце, розовыми полосами ложится на нахлобученную по самую стреху, заваленную снегом крышу, полосы медленно перемещаются вместе с легкими, в фиолетовых тонах, тенями деревьев, и весь такой знакомый до каждого венца дом вдруг покажется сказочным, сверкающим, как драгоценный камень, посреди белых деревьев, сугробов, старенькой изгороди...

Только тут не было никакого снега: розовый свет дрожал от зноя, бившего в узкие окна — рассвет ли то был, почему такой зной — где это все?..

Да и при чем здесь свет? — перебил себя Лев Ильич. Разве в нем тут было дело? Почему не удивляло его остальное, и прежде всего то, на что он падал, что дрожало, все более четко определяясь в этом розовом знойном мареве? Да и то, что так вот, вдруг, за столом, посреди разговора привиделась ему эта картина ли, сцена...

Они, и верно, сидели за столом: он, Лев Ильич, на диване, как в тот раз, когда Маша читала Евангелие. И так же Маша поместилась против него, а рядом с ней...

Почему его это не удивляло, не радовало, не делало, наконец, счастливым, коль получилось, как по писанному, то, о чем он и мечтать-то не смел?

Эх, все дальше, дальше уходил Лев Ильич, и уж наверно никогда ему теперь не быть счастливым.

Они проводили тогда Надю домой. Возбуждение, азарт, гнев и ясность уже внизу, как только хлопнула за ними дверь подъезда, сменились у Льва Ильича стыдом и удрученностью: и перед ребятами ему было неловко, и перед теми, оставшимися там, в этой нелепой,

постыдной квартире... Что ж, что постыдной, что ж, что нелепой, откуда в нем право судить, а уж кричать о покаянии следует ли, и ведь не поняли его, озлобились, а значит, только вред он принес людям, а среди них и тем, с кем прожил рядом и вместе чуть не целую жизнь. И знает ли он правду про них, вымерил их уязвленность, только ли это корысть, что ж, так вот просто, легко отмахиваться от кухонного или пусть салонного уровня?.. А когда нет ничего другого, когда ты болен, голоден и раздражен, и весь свет застит наглое благополучие соседа-еврея, а ему дела нет до тебя, потому что весь свет для него в том, до чего теперь ему не дотянуться?

"Бр-р!.." — только и мог он сказать себе. Можно ль выпрыгнуть из этого круга, если в нем оставшись, захочешь постигнуть чью-то правду? Да уж Вася-актер со всей его дикостью симпатичней, чем Юдифь или дружок его Вадик с их интеллигентностью...

Надя прижалась к нему, прощаясь. Он почувствовал, как она дрожит под своим кожаным пальтишком, а они уже шагали дальше, Игорь открыл ключом дверь, шепнул что-то матери, Льва Ильича ни о чем не спрашивали, Маша постелила ему в комнате Игоря, и он сразу провалился в тяжелый, липкий сон.

Он проснулся, видно, поздно — часы вчера не завел, на стуле возле него лежало выстиранное выглаженное его белье, носки, записка о том, где ключи, завтрак. Он долго стоял под душем, приходя в себя, с ужасом думая о последних днях.

Он вспомнил, что сегодня суббота, уже собравшись идти в редакцию, тут же снял пальто, сел к столу, вытащил Евангелие, да и очнулся, когда пришла Маша, следом за ней Игорь, а потом тренькнул звонок, и Игорь ввел в комнату смущенную, даже чуть напуганную Надю.

Она пришла прямо из школы, с портфелем, в коричневой форме, с фартучком, перепачканным мелом, худенькая, бледная, с тревожно блестящими глазами.

Лев Ильич подумал было о том, что пришла она, наверно, не к нему, а к Игорю, но ему сразу стало стыдно — с такой нежностью она его поцеловала, так обрадовалась ей Маша, усадила их всех обедать. И вот тут, за столом, под абажуром, в комнате с ботаническим садом на окне, отвечая на какие-то вопросы и пытаясь услышать о чем это болтает с Игорем и смеется быстро освоившаяся здесь Надя, он и увидел внезапно тот розовый, дрожащий свет, а в нем человека в полукружье сидящих перед ним невидимых в полутьме людей.

Свет падал так странно из-за спин сидящих, что освещал только того, кто стоял перед ними, а Льву Ильичу важно было разглядеть их, потому что он знал, что для него именно там, в них была разгадка, но поскольку для них она была в этом ю н о ш е, а к тому ж разглядеть их он был не в состоянии, Лев Ильич тоже вгля-

делся в него.

Он был поразительно красив, Лев Ильич внезапно понял, на кого он похож, он узнал его глаза — только не было крыльев у него за спиной, и мрачное это судилище ничем не напоминало рушащуюся и все равно прекрасную, остановленную в своем падении этими нежными теплыми крыльями, несчастную русскую церковь. Лев Ильич понял, что и свет этот был не случаен, как не случайно падал он только на юношу, проходя сквозь тех, что сидели полукругом, их не освещая. Но и они не могли не видеть того, что уже нельзя было не видеть, ибо лице его было, как лице Ангела.

— “Так ли это?..” — услышал Лев Ильич и вздрогнул, очнулся от тишины, грянувшей за столом.

— Пап, что с тобой?! — воскликнула Надя.

Лев Ильич поднял голову. “Ну вот, подумал он, я совсем сбрендил...”

— Что ты сказал, кому? — тревожно спрашивала Надя.

— Так странно... — медленно сказал Лев Ильич, всматриваясь в троих, сидящих за столом, так по-разному близких ему людей. — Так странно... то, что я сейчас видел... Или представил себе. Даже не знаю, но уж очень отчетливо. Это одна из самых потрясающих историй, когда-либо случавшихся в мире...

— Может, ты, и верно, плохо себя чувствуешь, не выспался? — глядела на него Маша.

— Давайте, Лев Ильич, я вас уложу, — сказал Игорь, — а мы с Надей еще ряд проблем обсудим?..

— Что уж вы со мной... эдак-то, — даже обиделся Лев Ильич, — или у меня вид такой?

— Вид такой, что краше в гроб кладут, — сердито сказала Маша. — Я не знаю, какие там... — она глянула на Надю, осеклась и принялась убирать посуду.

— Но я правда видел сейчас... да погодите, вот я вам постараюсь рассказать... Подожди, Маша, сядь, тебе Надя потом поможет, верно, доченька?

— Конечно, — сказала Надя, — я все хочу понять, с кем ты так странно разговаривал, я даже напугалась.

— Да, — начал Лев Ильич, — это поразительная история... Представьте себе этот страшный, гибельный город — золото, башни и мосты, галдящую разноязычную, готовую в любую минуту взорваться толпу. Это немыслимое синее небо, сумасшедшее солнце... А ведь прошло только три-четыре года, как по этим камням ходил Тот, Кого они не узнали, да и не помнят ничего из того, что было, чему были свидетелями и участниками, чего мир им никогда уже не забудет. Но что-то неуловимо изменилось в этом городе, как и во всем мире, хотя он об этом не знает. Но те, что сидят полукругом в своем мрачном судилище, чувствуют это изменение, и не только чувствуют —

боятся. Они не испугались, когда предали на смерть Того, Кто пришел их спасти, но когда прошел год, два и три, а слухи о каком-то невероятном Воскресении продолжали множиться, когда на их глазах руками людей, которых они не могли не презирать, делались чудеса, и вызванные сюда, в судилище, эти безумцы и здесь продолжали твердить нечто несусветное, но их отпустили, вняв совету законоучителей, в чем, впрочем, тут же раскаялись, тем более, что то, что им услышалось в их словах, не свершилось: те и не погибли, и не рассеялись, дело их не разрушилось... Но было и еще нечто, что приводило их всех и каждого, из сидящих в этом судилище, в особенное смятение. Те, которые называли себя учениками и апостолами, при всем их безумии, как-то вписывались в существующую в пределах храма гармонию: они не отрицали Закона и не замыслили против храма, ибо они и знали отчасти, и отчасти пророчествовали. Они были людьми, и в силу жизни и воспитания, несмотря на все невероятное, что с ними произошло и чему они стали свидетелями, были не в состоянии постигнуть открывшуюся им Истину во всей Ее полноте. Они приближались к Ней только иногда, в минуты озарения, благодать, сошедшая на них, давшая им возможность говорить языками, которых они до того не знали, не посягала на их личный характер и душевные возможности, и дары у них были различны, и служенье неодинаковое. Что уж так было их пугаться, если их можно было увидеть коленапреклоненными в синагогах, соблюдавшими праздники, посты и бесчисленные правила! Могли ли эти темные и благочестивые иудеи сказать им, сидящим в судилище: "Кровь Его на вас!" Сколько самых невероятных сект возникало и рассеивалось в этом городе, и, если даже законоучитель ошибся и эта секта окажется посылней — что ж, в конце концов, не было в ней ничего угрожающего...

— Это так понятно, — посмотрел Лев Ильич на Игоря, — то, что для вас, скажем, просто и само собой разумеется, для меня катастрофа, а многое я так и не смогу постичь. Правда ведь, Маша, сколько мы знаем людей, для которых смерть Сталина, пятьдесят шестой год были пределом, дальше которого они уже не шагнули, а казалось бы, стоит всего лишь быть логичным, да и что там — сорок лет опыта! а тут опыт тысячелетий, не история, совершавшаяся на глазах, а мистическое предание о судьбе избранного — своего народа... Может, поэтому Апостольская церковь и перестала существовать еще через три века, а уверовавшие иудеи вошли в Церковь вместе с язычниками — умерла, как пшеничная зерно, чтоб дать много плода? Я понятно говорю?

— Я не понимаю ни одного слова, — сказала Надя, — но я так по тебе соскучилась, что мне все равно.

— Нет, — улыбнулся Игорь, — тут другое. К чему вы это вспомнили?

— А вот погоди... — зашепшил Лев Ильич. — Закон мертвел, оставаясь буквой, они потому и Спасителя проглядели, что не способны были проникнуться духом Закона, а где уж было понять то, чего не было в том Законе, а именно, что нравственные обязанности выше обряда — как и человек выше субботы. Ну и так далее. Это, конечно, все не к апостолам приложимо, а к душевной структуре человека, погрязшего в традиции, у которого уже нет сил выбраться, переступить что-то в себе — зачеркнуть свою жизнь, себя и от себя отказаться. И вот появились новые люди, следующее поколение. Пока что их было только семеро. Помните, как избрали семерых дьяконов?.. И один из них — страшно сказать! — язычник. И это уже катастрофа, за этим — отрицание Закона, богохульство, ибо признание язычника равным иудею есть уже отрицание избранничества — посадить язычника рядом, что ж и в храм его пустить? Ведь это их Господь избрал, им дал Закон, Обетования, с ними заключил Союз, являл чудеса, спасал, выводил, обещал могущество, власть над всем миром, над всеми народами... Все так, коль читать букву и за нее быть готовым умереть или убить. Как тут понять загадочные слова Спасителя о том, что он пришел исполнить Закон, а не нарушить — это и апостолы не всегда и не во всем понимали, иначе бы не пытались ставить новые заплатки на старом вретце?

И вот, понимаете, почему этот день и эта минута показалась мне вдруг невероятной, а для меня сейчас она непостижимо важна? Потому что именно в тот день Израиль перестал быть закостеневшим и погрязшим в своей субботе народом, замкнутым и обреченным только на безысходность — в благополучии ли, в гонении — все равно на безысходность внутреннего духовного вырождения? В тот день он определился, стал зерном человечества, которому теперь оставалось только прорасти, обозначением действительно и з б р а н н о г о народа, который выше племенной — по крови и прапамяти — данности. Поразительно здесь, что именно тогда, когда двенадцать подобных пламени, трепещущих языков, сошедших на апостолов в Пятидесятницу, обозначили и словно бы онтологически укрепили, как считают сегодня, существование целой семьи народов, именно тогда — ну через три года, не важно — открылась высшая истина в соборности человечества, в горнем Израиле, который, уж конечно, не евреи, а просто люди, человеки — тварь, созданная по образу и подобию...

Лев Ильич торопился, пытался и не мог уложить рождавшиеся, бившиеся в нем мысли и обращался теперь только к Игорю, ему казалось, что он — почему-то он! — неизвестно откуда свалившийся ему два дня назад еще неведомый паренек и должен стать его оправданием, целью и смыслом его жизни.

— Погодите, Лев Ильич, я за вами не поспеваю, — откликнулся Игорь. — Что ж, вы считаете, что происшедшее через три года после Пятидесятницы, я догадываюсь, о каком событии вы говорите —

о первоученике Стефане? — оно ее отменяет, что ли?

— Да нет! Ну как же! Не отменяет, а выводит для меня, да и для современников, как бы на новую высоту, оно ее логический вывод, одновременно и более конкретный, понятный, а потому и открывающий истинную высоту. Потому что "имеющий уши слышать да слышит", а кто мог у с л ы ш а т ь чудо Пятидесятницы — апостолы, заговорившие на никому не ведомых и каждому словно бы понятном языках? Так они, наверно, сами себя не могли услышать — это было невероятное, единственное на земле событие, когда все они исполнились Духа Святаго, когда шум, как бы от несущегося сильного ветра наполнил дом и явились им разделяющиеся, как бы огненные языки, когда сбжавшиеся к тому месту люди стали свидетелями этого массового богообщения — ясно же, что им казалось, они слышат собственное наречие, достаточно было уловить хоть одно близкое слово. Скорей, все-таки было похоже, что они, как и сказано в Писании, "напились сладкого вина" — вот что вполне реалистично выражает, пусть со стороны, но именно то состояние экстаза, вдохновения и радости, в котором они находились...

Лев Ильич оборвал себя, глянул на Машу и поразился: такая нежность и грусть читались в ее обращенных на него глазах, такая печаль о нем, что на мгновение жалость к себе пронзила его сердце.

— Все хорошо, Маша, ты не заботься обо мне, — сказал он с благодарностью. — Смотри, как хорошо, что мы сидим все вместе. Верно, Наденька?.. Я очень хочу, чтоб ты попросила как-нибудь Игоря показать тебе картины его отца — и ту, что я видел у деда — у Алексея Михайловича, и вот здесь...

Он приподнялся, повернул абажур и увидел, как розовый крест вспыхнул на серой стене храма, выступил из нее живым теплом.

— Эт-то ваш отец?.. — спросила Надя, переводя глаза с картины на Игоря.

И Лев Ильич снова увидел ту же, так ясно представившуюся ему сцену. Только теперь, может из-за того, что свет сдвинулся, переместился, будто и там кто-то приподнял абажур, он различил лица сидевших полукругом, вперивших глаза в стоявшего перед ними юношу. Наверно им было страшно то, что вот уже две тысячи лет вселяет надежду в сердца миллионов и миллионов людей, потому что то, что для одних свет — для других огонь, который жжет и изобличает.

— Это были страшные люди, — сказал Лев Ильич, уже не думая и не заботясь о том, понятны ли его слова. — Начиная с главы той семьи — старого Анны и его зятя Канафы, руки которых были в крови Спасителя, и сыновья Анны — тоже первосвященники один за другим: Феофил, который, вот уж скоро, пошлет Савла со страшным поручением в Дамаск, Максим, на совести которого убийство Иакова

сына Заведеева, младший сын Ханан — порождение ехиднино, совершивший убийство Иакова, брата Господня. А в тот раз председательствовал старший сын Анны — Ионафан. Все ли они были тут, живы ли были Анна и Каиафа? Пусть не все, достаточно того, что они могли быть здесь! И вот тогда Ионафан произнес эти слова: "Так ли это?"

Да, это было так, потому что чудеса и знамения, совершаемые Стефаном в Иерусалиме, его речи и проповеди в синагогах и храме отвергали тупое идолослужение мертвой букве. Но это было и "не так", потому что на самом деле не было богохульством, ибо всем своим, исполненным Духа гением, он утверждал верность Истине. Но синедрион уже выслушал лжесвидетелей, обвинявших Стефана в хульных словах на сие место и Закон, что он утверждал, что и место будет разрушено, и Закон изменен. Это была полуправда и полужошь, как в каждом лжесвидетельстве. И тогда в ответ на вопрос первосвященника Стефан произнес речь, которая была, конечно же, чудом и свидетельством того, что Свет несомненно озарил его и ц е. Это была импровизация, одновременно самозащита, обличение и, что самое важное, утверждение Истины... Перечтите ее, Игорь! Внешне благочестивый и патриотичный пересказ истории избранного народа, свидетельствующий, что человек, говорящий такое, не может быть богохульником, с неопровержимостью утверждал, что евреи во все периоды своей жизни были неверны не только Моисею, но и своему Богу — что ж удивляться, что они, оставаясь верными субботе и обрезанию, побивали камнями пророков и предали смерти Того, о Ком Господь говорил им бесконечное число раз!

Они смотрели на него и слушали с тупым самодовольством, понимая эту речь оправданием и успокаиваясь тем, что значит ничего не случилось, а он смотрел на них и видел — и эту тупость, и самодовольное чванство, и невозможность пробиться к их сердцам и заставить уши услышать!.. Что это было — слабость, когда он, наконец, не выдержал, что поразило его, заставило так резко прервать плавное течение своего рассказа об Истине на цитации пророка, которому они не хотели внимать и несмотря на всю глубину его избличения, даже эти слова не могли потревожить их мертвого благочестия? Что увиделось ему в первых лицах, к о г о он там увидел?..

Лев Ильич перевел дух и посмотрел на сидевших за столом: они слушали со вниманием, даже Надя, сказавшая только что, что не понимает ни слова.

— Среди тех, что окружали его полукругом и на кого падал теперь свет, бивший в окна, уж несомненно был тот, кто появится, чтоб навсегда остаться в памяти человечества, мгновенье спустя, когда обезумевшие от ярости судьи, позабыв про Закон, чистоту которого они охраняют, вытащив Стефана во внутренний двор храма, проволокут по раскаленным камням, чудом не разорвав по дороге,

через те же ворота, которыми шел, сгибаясь под Крестом, Спаситель, и бросят к ногам этого с в и д е т е л я свои окровавленные, обгоренные кровью первомученика одежды. Про это ничего не сказано в Писании, но наверно он был там, не зря стал столь важным свидетелем, вслед за этим проявил такое рвение, влияние, был послан с т а к и м поручением в Дамаск. Как он слушал, что слышал и чем стала для него речь Стефана и расправа над ним? Наверно, тот выделил его лицо из личин и масок, его окружавших. Я думаю, он был ровесником Стефана, и было им, наверно, лет по тридцать — в ту пору их и могли называть "юношами". Такой же эллинист, со столь же широким образованием и живым умом, и уж, конечно, понял говорившего задолго до того, как тот, не выдержав, взорвался. Да и не мог он не понять жгучего обличения, которое содержал в себе внешне спокойный обзор истории избранного народа, не мог не услышать горечи утверждения Истины, которую надо было не хотеть услышать, чтоб не обратить на нее внимания.

О чем думал Савл, глядя на озаренное ровным светом л и ц е стоящего перед ним его ровесника, слушая речь, которая не могла не потрясти его? О том, что мертвая обрядность, которой он был так фанатично верен, стараясь только превзойти всех ученостью и тщательностью исполнения правил, не давала и не могла дать радости и успокоения, что в глубине души он не мог представить себе Бога скупцом, высчитывающим за ним соблюдение каждого из трехсот шестидесяти правил? Или он вспомнил своего либерального законоучителя Гамалиила, чей мудрый совет недавно остановил синедрион и спас апостолов, позволявшего своим ученикам чуть шире, свободней, гуманней и рассудительней смотреть на мир и на Закон? Или сам уже понимал, своим тайным, не способным солгать душевным опытом, что все они нарушают существо того, что исполняют в мелочах? Что происходило в его душе и в сердце, которое и являлось полем истинного сражения, а там не было места мелочному и формальному благочестию... Не всколыхнула ли речь Стефана в нем разрывавшие душу вопросы, которые он заглашал в себе ревностным исполнением Закона и кровавым служением его мертвой букве? Но если так, то он не мог не воспылать яростью к тому, кто здесь, в этом святилище столь просто и откровенно говорит о том, в чем он — Савл — не решался признаться и себе самому. Но тогда, может быть, Стефан круто оборвал свою речь не только потому, что понял бесполезность разговора с теми, кто не хочет слышать, но и потому, что увидел эти живые, горящие яростью глаза, и к ним обратился с последними словами, потому что для такого человека, как Стефан, и одна овца стоила собственной жизни. А этот, яростно взиравший на него ю н о ш а, был не из тех, о которых сказано: "ни холоден, ни горяч" — что этот человек не т е п л, сомнений быть не могло.

"Жестоковѣйные! — крикнул им в лицо Стефан. — Люди с не-

обрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделали ныне вы, вы, которые приняли Закон при служении Ангелов и не сохранили..." Наверно, сильнее и нельзя было закончить такую речь. Но только ли ярость она могла вызвать? Может быть, потом, когда они затопили это свое бешенство праведной кровью первомученика, кому-то из них вспомнились его слова, обращенные прямо к ним — людям с необрезанным сердцем и ушами, успокоившимся на том, что пустой обряд способен защитить и избавить от гнева Божия? Не зря он начал свою речь словами: "мужи, братья и отцы!" — он еще надеялся на то, что сможет пробиться к их сердцам, что они услышат слово Истины. Но тут все было кончено — не диспут же это, судилище, и от каждого его слова зависела его жизнь. Но стало быть, существовало еще нечто и значило оно для Стефана больше жизни, да он уже и не думал о себе, когда они заскрежетали зубами. Он поднял голову и сказал им о том, что увидел: "Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога". Могли ли они вынести это безумие и юродство, понять возвышенность чувств человека, сказавшего о том, что ему открылось, быть может, и в этот, последний миг надеявшегося, что они его услышат?.. И тогда они закричали и, затыкая уши, бросились на него.

— И вот, представьте себе, что было дальше, — тихо сказал Лев Ильич, обводя их в всех троих глазами. — Представьте, как вытащили его за ворота, как их окружила распаленная, подготовленная к такому финалу толпа, представьте этот залитый солнцем город, но главное, не забудьте того, кто был там с самого начала, кто шел, бежал, влачился с этой толпой до самого конца, а уж коль не был соблюден даже формальный закон, то можно представить себе, какой была эта казнь. И он шел за ними, не отставая ни на шаг, видел, как тело и лицо юноши превращалось в кровавое месиво еще здесь, на улицах, пока они тащили его по городу. Что из того, что он, быть может, не поднял камня, обезумевшие убийцы бросали одежды к его ногам, а стало быть, его роль здесь была явно начальствующей. Он стоял подле, у огромного, в рост городской стены, векового кедра и слышал последний крик Стефана, невероятным усилием вставшего на колени: "Господи! не вмени им греха сего..."

Может ли быть покаяние более страшное, чем то, что предостояло Савлу, может ли быть более чудовищный ад, чем тот, что разверзся в этот миг в его душе?..

Лев Ильич замолчал и почувствовал вдруг нестерпимый стыд: как можно так увлекаться собой и тем, что в тебе происходит? Девочка верно сказала, что не понимает ни одного слова, а она пришла к тебе, совершила свой маленький подвиг, наверно, и матери это будет неприятно, значит любит тебя, дорожит тобой, за тебя тревожится — бледная, смешная, живой человечек. "А ведь я и не спросил ее ни о чем..." А у нее своя жизнь — мне неизвестная, свой характер — мне непостижимый, своя судьба — за которую я отвечаю...

— Вы простите меня, — сказал он. — И ты, Наденька, особенно прости, что я не думая о тебе, говорю, я больше не стану...

— Да нет, папа, я все равно слушаю. Я и правда мало поняла — это ты, ну... как бы сказать, про... Христа рассказывал — не про него, но из этой книжки?.. Я ничего не знаю про Него, но... то, что ты говорил, у нас в школе очень похожее случилось. Да вот когда ты уехал в командировку — две недели назад...

Лев Ильич смотрел на Надю, все больше удивляясь — ничего-то он ни про кого не знал, только собой все занимался!

— ...У нас одну девочку исключили из комсомола, из десятого класса. Я ее не знала, ну то есть, видела, конечно, но я ни с кем не дружу из десятого — они всегда нас задирают... Нет, вру, я с ней один раз разговаривала. Мы ходили на лыжах — общее занятие с десятками классами, кросс. А я плохо на лыжах, отстала, вдруг вижу, она стоит под деревом, с лыж сошла, провалилась по колено в снег, стянула шапку, волосы у нее... ну, не как у Игоря, но светлые, в снегу. Я подъехала, смотрю, она смотрит в небо и слезы текут. Я думала, она упала или еще чего с ней. А она говорит: "Я сейчас белку видела и дятла..." "Ну и что, чего ты плачешь-то?" — это я спрашиваю. И еще, говорит, ягоду, рябину, она как живая, как летом... Я так и подумала про нее, что она, как говорят, с приветом. Ну и что ж, что рябина, говорю, значит так и должно быть. И тогда она говорит: "Все это Божье, как и мы, не только мы создания Божии, но и они такие же!.." Кто, спрашиваю, мне даже интересно стало, белка, мол, или рябина? Все, говорит, и дятел, и рябина — все-все... Это вроде того, что только формы разные, и мы друг друга не понимаем, а там — ну, в том смысле, что когда умрем, на том свете — мы все будем вместе и сможем разговаривать — с белкой, с рябиной... А чего ж плакать, я ее спрашиваю, ну и хорошо — встретимся, поговорим. "А это я с радости..." — и слезы бегут. Я от нее тогда поехала, потому что мне все это непонятно...

— Как зовут девочку? — спросил Лев Ильич.

— Зовут?.. Люся Васильева. Она хорошая девочка, некрасивая, тихая такая... Ну вот, ее и исключали на общем собрании: за то, что в Бога верит и в церковь ходит. Все ее подруги выступали, они и рассказали: и в церкви ее видели, и иконы дома, и поп к ним приходил. А мать отказалась идти в школу: исключайте, говорит, ваше дело, а нам, говорит, все равно. Прямо так и сказала — это наша директриса сообщила. Ее и исключили — пока не из школы, из комсомола. Она ни от чего и не отказывалась: верно — хожу, молюсь, ну и еще разное. Но я это потому вспомнила, что она тут сказала, похоже, как ты рассказывал. Когда уж перед тем, как голосовать, она стала говорить, вот мне тогда ее слова и влетели в голову, как она про рябину и про белку. Мне, говорит, жалко вас — она к своим подругам обращалась, все-таки десять лет вместе, а может и ко всем нам, не знаю. Вы, говорит, думаете, что все на этом свете относительно — любовь, дружба. А это не так. Совесть у вас абсолютная, она только спит. А вот когда проснется, так вам тогда станет стыдно и больно — очень мне вас жалко, уж так вам будет плохо, так станете убиваться... Ну, конечно, исключили.

— А ты, — спросила Маша, — тоже голосовала?

— Нет, не голосовала. Только я не из храбрости — какая ж храбрость, когда я в Бога не верю и ничего про это не понимаю. Мне очень понравилось, как она тогда про белку и про рябину, и что мы будем вместе, и что все это не кончится. То есть, это кончится, а будут еще лучше.

— Как же ты, — почему-то не отставала от нее Маша, — как же объяснила, почему не голосуешь? Или тоже им про рябину и про белку?..

— Ну что вы! Это я только папе и вам, потому что вы папу любите. А там просто сказала, что Люся мне нравится, а ее подруги нет, что в Бога я не верю, но и подругам этим не верю, а Люсю лучше бы оставили в покое. Они, правда, еще ко мне приставали, а мне, знаешь, пап, очень это все стало без разницы. Я им говорю: а вы меня тоже исключайте — ее за то, что верит в Бога, а меня за то, что не верю. Ну вот и все, они тебя в школу вызывали, а ты был в командировке, а мама не пошла, может, еще вызовут — ты на меня не рассердишься?..

— Что ж ты мне об этом ничего не говорила? — спросил Лев Ильич.

— А когда? Тебя не было. А когда приходил — все не получалось. Да и чего тут говорить, я только боялась, что тебе на работу позвонят, а ты испугаешься.

— Наверно, надо пойти в школу, — подумал вслух Лев Ильич. — А может, мать этой Люси права — зачем к ним ходить, это их проблемы, пусть исключают?.. Хотя это не меня исключат, а тебя...

— Да не исключат, — рассудительно сказала Надя. — За что? Так, поговорят для виду. Им самим невыгодно: что ж, скажут, у вас в школе творится?

Маша поднялась и поцеловала Надю в голову.

— Ну что вы, тетя Маша! — вскрикнула Надя. — Я всех обманываю, вот и вас... сейчас обманула...

Лев Ильич вздрогнул: "Господи, что ж, и ей такой же путь, как и мне?.."

— Ну то есть не обманываю, а хочу казаться лучше. Думаете, я не понимаю, что Люся — человек, а я кто? Так, время провою. Поэтому что я могла там выступить и сказать им...

— Ты же сказала? — не отходила от нее Маша.

— Да не сказала, а промямлила, когда меня спросили. И получилось, что опять я хорошая, а какая ж хорошая, если мне за то ничего не было? А Люся одна стояла против всех. У нас такой большой зал есть, и общее собрание, все классы. И учителя. И еще какой-то приехал из райкома. А она одна. Такая тихая. Только в лесу она плакала, потому что ей хорошо было, а здесь — ни слезинки не пролила. А я все боялась, что она заплачет.

— Надо с ней познакомиться, — вставил Игорь. — Хочешь, вместе к ней сходим?

— Не знаю, — сказала Надя, — мне не очень интересно. Конечно, если ей легче будет... Вот когда я тебя увидела, мне захотелось с тобой познакомиться, а с ней... Вот тоже, наверно, потому что она тихая и некрасивая, а ты...

— Ну и семья у вас! — засмеялся Игорь. — Надо ж, такая, как бы сказать, структура — покаятельная, а, Лев Ильич? Правда, мама?

— Да, сынок, тебе у них учиться и учиться.

— Да что ты! — прижала Надя руки к груди. — Что вы меня никак не поймете — я ж сейчас вам не вру! Вот, у меня всегда так: я сначала сказала, что ничего не понимаю из того, что папа тут рассказывал, и сразу подумала, что Игорь про меня решит — ну, дурадугой. И тогда про Люсю рассказала, вроде бы, к слову, а на деле, чтоб себя выставить.

— А потом? — спросила Маша. — Потом тоже чтоб выставить?

— Не знаю. Это уж к слову...

— Надо отца Кирилла спросить, — сказал Игорь, — что такое покаяние? Это не то, чтоб свои поступки вспоминать: соврал, украл, ну... — он посмотрел на Надю и покраснел. — Не только, что заповеди нарушил. Конечно, и это, но то только внешне — да вы про это самое и говорили, так, что ль, Лев Ильич?.. А вот чтоб сам себе перестал нравиться, чтоб себя не любить... Вот оно то самое, когда себя любишь, вот в чем самый большой грех. Верно?

— Чем же ты, сыночек, станешь тогда заниматься, — жалостливо посмотрела на него Маша, — когда себя перестанешь любить? Это

первая твоя забота...

— Конечно! — сказал Игорь, он к Наде обращался, ей говорил, и Лев Ильич подумал, как странно они сошлись — такие разные ребята, а уж какой-то свой разговор, будто их с Машей и не было тут. — Конечно, я потому и актером не хочу — не потому, что мне мама с отцом Кириллом наговорили — это от непонимания, я сам на актеров нагляделся на съемках. Не то, что они пьют, что пустые, что зачем живут, про это им и думать времени нет — кто из нас не пустой или не пьяница! Но я посмотрел, как они стоят перед зеркалом, как на себя смотрят — загорел не так, или прыщ на носу, или с похмелья глаза опухли — драма, трагедия! Как тут себя не любить, когда все время перед зеркалом, когда все мысли про то — кто да как на тебя поглядит и что при этом подумает. Он и сам — и как бы не он, он все время на себя со стороны смотрит, чтоб упаси Бог, как-то не так показаться... Это не то, что вы, Лев Ильич, рассказывали про лице Стефана — оно было Светом озарено, а сам он, может, как та Надина девочка, был тихий и незаметный, это не его красота — Божья. А тут, — он вдруг смешно, по-детски дернул себя за волосы, — думаете, я не вижу, как на меня женщины смотрят — зачем мне это?

— Дурачок ты мой, дурачок, — все так же жалостливо вздохнула Маша.

— Как это вы... как ты верно говоришь! — воскликнула Надя. — У меня тоже, мне недавно про это даже сон приснился...

— Прямо какая-то цепная реакция, — с изумлением думал Лев Ильич, — я, что ль, их на это толкнул своими размышлениями? да нет, куда мне..."

— ...Я редко sny запоминаю — проснусь и ничего нет. А тут так ясно! Будто я иду по улице — по Москве, народу много, машины, и вдруг меня кто-то берет за руку. Я оборачиваюсь, а передо мной человек, такой, как я, не выше, а может, и поменьше, а голова у него огромная, ну раза в три больше, чем обычно у людей. Я раз такого видела — щелкунчика, это болезнь, наверно, уродство. И этот тоже. И все у него такое огромное — нос, губы, ротище, уши, глаза. Он на меня смотрит, а я на него боюсь... И не потому боюсь, что страшно — вроде я сначала не испугалась: улица, народу много, но мне стыдно, неловко на него смотреть! Я-то знаю, что я — ну, это во сне, конечно, что я красивая, а он — урод. Так вот мы стоим, а я все в сторону гляжу — стыдно. И тут вдруг смотрю, ни улицы нет, ни города — поле, и мы вдвоем на дороге — и никого. Он вроде улыбнулся, зубы у него желтые, большущие, и говорит: "Выходи за меня замуж". А мне опять не страшно, а стыдно — я не хочу за него замуж, а неловко сказать, вроде я им брезгую. Я говорю: мне еще учиться, школу кончать. А он говорит: "Это ничего, потом догонишь". Я тогда говорю, чтоб его не обидеть: "Ну я подумаю", поворачиваюсь идти, а ноги не поднимаются. И тут слышу, а он как захохочет мне в спину, я оборачиваюсь снова, а он смеется — не

потому что ему весело, а надо мной. И тут снова улица, народ — и все надо мной смеются. И я как бы со стороны себя вижу, вроде бы и я и не я — вышла из себя. И вот, смотрю, такая я красивая, в новой юбке — папа с Игорем видели, я сама ее сшила, яркая, короткая — меня в школу на вечер в ней не пустили, такая я нарядная, а он — урод. Но все надо мной смеются! Тогда я громко так говорю: у нас, говорю, равноправие, за кого хочу — за того пойду. А все еще больше смеются, и я вижу, я, правда, жалкая, смешная, еще зачем-то речь произнесла, руками размахиваю, но мне не жалко себя, а над собой смешно — какая-то я, ну, как бы сказать — ничтожная. Вроде бы, сейчас пойду и поскользнусь, растянусь — носом в лужу...

— Господи, думал Лев Ильич, ну как она на меня похожа — даже и сны, а я еще усомнился... Что с ней дальше-то будет, такой..."

— Ну и что, — улыбнулась Маша, — не растянулась?

— Проснулась я, и тут только испугалась.

— Как ты хорошо рассказывала... — сказал Игорь. — Это так редко, чтоб человек мог над собой смеяться... Я вот тут как-то спорил с одной... с одним товарищем о том, что такое юмор, ирония. Долго ругались. А что тут спорить, сказала она мне, главное, чтоб было смешно. А я не пойму — как главное, для чего? А все, мол, равно, как в цирке: споткнется клоун, носом в барьер — смешно. Да, если в цирке, отвечаю, а если на улице человек упадет? Смешно, говорит. Да, конечно, как не смешно, если упадет, тут же встанет и сам, первый, над своей неловкостью засмеется — смешно. А если разобьется, ногу сломал? Это, говорит, другое, а мы про юмор. Ну а как, говорю, ты расскажешь о чем-то смешном, что видел, как опишешь, что случилось и чтоб это было смешно?.. И вот, я заметил, есть люди — умные, образованные, талантливые, а шутить или рассказывать что-нибудь смешное не могут, хотя и шутку, другой раз, понимают, смеются охотно. А сами не могут. И я понял почему.

— Почему? — тихо спросила Надя. Она слушала его так внимательно, с такой радостью, что Лев Ильич только диву давался.

— Здесь дело даже не в особом даровании, — говорил Игорь, — а в том, что не всякий может на себя, вот так, как Надя, посмотреть со стороны. Потому что если ты рассказываешь что-нибудь нелепое, смешное — ну, про кого-то, а сам ты при этом где? Просто зритель? Вот, как с Надей. Если б я пересказал этот ее сон, и сам бы над ней, как те, засмеялся — получилось бы злобно, как бы я над ней издеваюсь. То есть я получаюсь герой и разоблачитель со стороны, а другой — нелепый, жалкий. Тут самое главное — способность себя увидеть смешным и не бояться об этом сказать — как я шлепнулся в лужу, а не кто-то. Ну а блестящие остроумцы — это другое, это профессионализм.

— А в искусстве, — спросил Лев Ильич, поразил его Игорь, — писатель тоже над собой, что ли, смеется?

— Конечно! Мне говорили, что и Гоголь себя изображал, то есть свои пороки, в мертвых душах. Тут обязательно нужна доброта, ну может, готовность засмеяться над собой, она все равно чувствуется, а иначе только злобство и будет...

— С кем же ты спорил, — спросила Маша, — с каким товарищем?

— Знаешь с кем — зачем спрашиваешь? С Н. мы разговаривали.

— То-то я смотрю, "товарищ"...

— Вы с ней знакомы? — тихонько спросила Надя. — Она сейчас снимается? Какая она красивая...

— Знаком.

— Ты... в нее влюбился? То есть у нас роман?..

— Я в тебя влюбился, у нас теперь с тобой роман, если, конечно, захочешь, потому у нас равноправие.

— Ну вот и сосватали, — расхохоталась Маша. — Начали с покалания, а кончим венчанием!.. А со школой как же?..

— А это как папа скажет, тем более, если меня исключат за религию.

— Какая религия, если ты в Бога не веруешь? — все смеялась Маша.

— А это мне как муж велит — скажет есть Бог, значит есть.

— Ну повезло тебе, сынок, таких жен теперь и не сыщешь.

— А как же Н.?.. — упавшим голосом спросила вдруг Надя. — Что ж ты, вчера в нее влюбился, сегодня в меня, а завтра?..

— Вот это по существу, так ему, Наденька, а то — велит-не велит! Пусть знает нас, женщин!

— Подожди, мама. Я тебе, Наденька, объяснил про актеров — они люди перед зеркалом. Это актеры, а актрисы еще хуже. Не зря ведь мы с ней поругались из-за иронии, она это никак не может понять, что саму себя, как ты говоришь, может быть стыдно...

— Значит, ты ее... бросил? — спросила Надя. — А я, значит, на чужом несчастье буду свое счастье строить?

Маша даже всплеснула руками:

— Батюшки, ну надо же!

Игорь встал и взял Надю за руку.

— Лев Ильич, мама!.. — сказал он звонко. — Благословите нас с Надей, вон, и икона у нас...

Надя тоже поднялась и с восторгом и ужасом смотрела на Игоря.

Лев Ильич растерялся.

— погоди, Игорь, — первой опомнилась Маша, — так не делают... Как-то ты уж вдруг...

— Лев Ильич, — сказал Игорь, — перед матерью своей и святой иконой, — он перекрестился, — клянусь вам, что всю жизнь до самой

смерти буду любить Надю, что никогда ее не обижу, всегда и во всем ото всего на свете буду защищать...

— Спасибо, Игорь, — сказал Лев Ильич опоминаясь, — но у нее ведь и мать есть. И как-то, верно, неожиданно... Она в девятом классе...

— А я буду ждать — сколько она скажет, хоть сто лет!

— Ой! — вскрикнула Надя. — Ты что? Ты тогда на моей правнучке, что ли, женишься?..

3

Лев Ильич был взволнован и никак не мог найти верного тона. Маша тоже казалась как бы растерянной, растроганной, да и сам герой этого происшествия был, видимо, ошеломлен своим поступком. Одна Надя не скрывала откровенной радости — она так веселилась, болтала, что скоро расшевелила и всех остальных.

Маша поставила на стол бутылку вина: "Чтоб все было по-людски". Они сидели за столом, пока Лев Ильич случайно не глянул на часы и не ужаснулся.

— Наденька! Времени-то знаешь сколько? Мама там с ума сошла...

Игорь взялся было ее проводить, но Лев Ильич остановил его: он должен сначала сам позвонить, иначе это, и верно, не хорошо.

— Послушай, Лев Ильич, — сказала Маша, — а может, мы ее у нас оставим? Я ее с собой положу. Тебе не нужно завтра в школу?

— Папочка! — умоляюще посмотрела на него Надя.

Люба была раздражена, разговаривала отрывисто, резко: "Мог позвонить раньше", "Не нравится мне это", "Впрочем, ты ж всегда ставишь перед фактом..." — и бросила трубку.

Лев Ильич вернулся к столу, и тут Надя сказала:

— Пап, а может, ты, если, конечно, тетя Маша и Игорь не возражают, дорасскажешь про этого, который стоял там до конца и смотрел, хотя и не взял камень...

— Про этого?.. — переспросил Лев Ильич. — Это печальная история, а вам сейчас так хорошо...

— Так ведь и та была не веселой, а смотрите, чем кончилась, — улыбнулся Игорь.

И Лев Ильич начал рассказывать.

— Как видите, меня не надо долго уговаривать, — сказал он. — Я хоть все время и сокрушаюсь, что отнимаю у вас время, тем более, Надя призналась, что ничего не понимает, но мне самому так важно об этом выговориться, что еще раз заранее простите меня — и хватит

про это. Вы, Игорь, должны меня понять лучше всех, слышали, какого я вчера дал петуха. Но это ведь не вчера произошло, меня всю неделю возят мордой об это дело, да и раньше, что уж тут говорить! Я тут такого наглotalся, до такой стенки дошел, в такую яму глянул, что кабы тогда с вами не встретился, да не отец Кирилл... Здесь нет никакого другого пути и нет другой двери, — он вытащил из кармана Евангелие, положил перед собой на стол, открыл было и замолчал...

— Может... не нужно? — осторожно спросила Маша, и опять Льва Ильича поразили нежность и сострадание в ее глазах.

— Нужно, Маша. Мне это очень нужно, не сердись на меня. Я... не могу и шагу ступить, раньше чем пойму... Ты спрашиваешь, Наденька, про того, кто стоял там до конца? Вот про него я и думаю теперь непрерывно, в нем и нашел разгадку, потому что все остальное, до самых научных корректных объяснений, они всего лишь следствие — не причину анализируют. Как, скажем, одно из весьма убедительных, для меня во всяком случае, даже всеобъемлющее объяснение, видящее коренную причину антисемитизма в невероятной способности евреев к ассимиляции, при том, что идет она только до известного предела, а там останавливается — и уж дальше ни шагу. То есть ассимилировавшись и получив благодаря своему проникновению в чуждую и иноязычную культуру в ней гражданство, став с о и м до такой степени, что он уже практически может пользоваться всеми правами и преимуществами коренного населения, еврей останавливается, остается евреем, не хочет — или не может? — в то же время перестать им быть, тогда как, скажем, варвары в древнем Риме вполне смирились с существованием в качестве людей второго сорта, удовлетворившись фактической стороной своего гражданства. И вот такое выпячивание себя, чванство своей особостью и одновременно требование общих прав, которые якобы положены по конкретному историческому закону или конституции — любому общественному договору, и вызывало всегда — и до сего дня, такое раздражение и ненависть — это уж смотря по темпераменту и обстоятельствам. Причем, эти, разумеется, не слишком высокие, но такие понятные чувства возникали во всех слоях — от самого низу до верху, от черни до элиты... Но это все другое, — отмахнулся сам от себя Лев Ильич, — вторичное, про это можно говорить без конца и спорить, есть и еще добрый десяток столь же достаточных объяснений — а выхода нет. Выход только здесь, — и он легко, как-то уверенно-спокойно положил руку на лежавшую перед ним Книгу.

— Тот человек, о котором ты, Надя, спрашиваешь, тогда, ну еще через сколько-то месяцев, вышел из этого страшного города. Вышел, чтоб вернуться через двадцать лет... Нет, он был там еще однажды, но то иное возвращение, благополучное, хотя и тогда судьба христианства целиком была связана с его миссией и тем, как

она была принята. Но его последнее появление в этом городе, ставшее роковым в его собственной судьбе, окрашено для меня только кровавым светом.

Страшный круг, который ему предстояло пройти, не кончился в тот день, когда на его глазах растерзали, забили камнями юношу, этого еще мало было для его покаяния, его ярости недоставало крови. Он стал в те месяцы чудовищем, "терзал" и "опустошал" только-только созданную церковь. А ведь эти слова написаны человеком, который так нежно и преданно его любил — им нельзя не верить, и наверно, он выбрал не самые страшные. Ему мало было синагог, где он чинил розыски и следствия, он врывается в частные дома, гнал "до смерти" и, доведя этот город до полного очищения, сам предложил первосвященнику отправить его в Дамаск, чтобы привести оттуда в цепях всех, кого там найдет — мужчин и женщин... И вот тогда Господь счел, что теперь этому человеку достаточно, и все страшное и позорное, что он совершил, сошлось в нем в словах, никогда, верно, уже не замолкавших в его сердце: "Савл, Савл! что ты гонишь Меня?.." Он и ослеп тогда, пав на землю, сраженный этим взрывом сошедшегося в этих словах покаяния — вся чудовищность содеянного им предстала его взору в одно мгновение, и глаза человеческие, увидев себя во Христе Иисусе, не смогли выдержать такого... Тогда с ним произошло это невероятное чудо, в котором для меня чудесна с невероятностью превращения чудовища Савла в апостола языков, а, напротив, то, что Господь избрал именно того человека, который был Ему необходим. Меня потрясает здесь, как и во всем, на чем так ясен Божий знак, глубина и точность Замысла. Кто еще мог сделать то, что предстояло этому человеку? С его гением, образованием, темпераментом, неистовством, способностью идти до конца, и с его готовой к покаянию, перенасытившейся злодейством душой? Господь просто у с л ы ш а л этого человека, а это значит, что Он слушает всех и каждого из нас, никогда не делает за нас того, что мы можем сделать сами, не потакает нашей душевной лени, а всего лишь, узнав о нашей свободе, дает ей выход.

Уж конечно, Он не случайно избрал этого человека, а не кого-то еще из тех, кто был с Ним рядом в годы Его жизни на земле. У тех было свое служение, а то, что они избегли гонения Савла в месяцы, когда он уничтожил всю Иерусалимскую церковь, говорит о том, что они не представляли такой опасности для храма. Да я уж говорил вам об этом.

Он вышел из города с невероятной миссией, и сегодня, думая о том, что ему предстояло, и о том, что им было сделано за эти двадцать лет, содрогаетесь от непосильности того, что было возложено на его плечи. Безвестный, никому не ведомый человек, со страшным грузом двойной, тройной отверженности: его ненавидели иудеи как отступника, его презирали язычники как жалкого еврея, его не при-

нимали обратившиеся, как человека, пошедшего к язычникам, нарушившего Закон, главным в котором для них оставалось их избрничество. Но кроме того, а это уж четвертый груз, способный переломить любые плечи, он был Савлом — и его страшная слава делала его имя для всех них — первых, вторых и третьих — сомнительным и поносимым. А если представить себе мир, в который он шел — страшный мир последних веков Рима, с его чудовищным падением, изощренностью задыхающейся в самой себе культуры, и духовным высокомерием вырождения! Один человек — без сегодняшних средств передвижения и распространения своего слова, жалкий и всеми презираемый иудей, твердящий о каком-то неведомом Боге, который, якобы, ходил по земле с кучкой таких же, как он, безумцев и где-то в глухой презренной провинции умер позорной смертью раба рядом с разбойниками! И он шел по дорогам, плыл на кораблях, ходил по сверкающим невероятными чудесами городам, среди тех, кто читали и писали, строили и ваяли то, что и сегодня потрясает нас непревзойденной мощью человеческого гения. Что мог противопоставить иудей — миру, блистающему гением, роскошью и мощью, неслышанным развратом и звериной жестокостью цирка, кошмаром деспотизма и омерзительностью самых диких и фантастических суеверий? Только одно, то, что Бог избрал немудрое мира, чтоб посрамить мудрых, и немощное мира, и незнатное, и униженное, и ничего не значащее, чтобы посрамить и упразднить мудрое, сильное и значащее — чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом.

Но это было не все, а как мне думается, и не самое главное из того, что ему предстояло. В конце концов, надо ли было изобличать в его пороках и вырождении мир, который и без того агонизировал и был обречен, а жалкий и беззащитный, страдающий раб, уже внешне, для каждого мыслящего и духовного существа всегда будет предпочтительнее самого изощренного и прекрасного бронзового ли, золотого колосса. Да и душевная структура покаяния, о которой вы только что говорили, настолько естественна для человека, проникает его, что и становится единственным прибежищем, когда он доходит до края. А тут весь мир стоял на краю и заглядывал в кишащую миазмами бездну. Что ж удивительного было в том, что он в ужасе отшатнулся от этой бездны, услышав обращенное к нему Слово о в о з м о ж н о с т и с п а с е н и я? Хотя, как видите, и это здесь поразительно, коль мы представим себе бредущего по дорогам человека и рядом с ним целый мир, задыхающийся в роскоши, пороках и порожденной им культуре? А кроме того, Павел был человеком — не Богом, грешным, кающимся, подверженным слабостям и болезням, испытывающим боль и усталость...

Но я все хочу о главном. А оно было в исполнении пророчества о том,* чтобы возвестить Слово Божие всем прочим человекам и

всем народам. И вот здесь Павел должен был столкнуться не с внешним миром, а с тем, что было внутри, преодолеть себя, а в себе всех, кого он оставил ради других в том страшном городе. И тех, кто восседал вместе с ним в том мрачном судилище, глядя на лице Стефана, и тех — что было еще невероятнее — кто вместе с ним, казалось бы, узрел Истину, не осмеливаясь, однако, глядеть Ей в лицо. И вот, когда читаешь им написанное, одно Послание за другим, видишь, какую непостижимую и, наверно, единственную работу он проделал, а потому его Послания стоят всего созданного за две тысячи лет после — и гениальные системы, и мгновенные озарения, и пронзительные поэмы, и разрывающие душу трагедии. Там — в этих строках, на этих дышащих, пламенеющих страницах, есть все, там каждое слово и каждая мысль окроплены живой водой собственного опыта и страдания, и не знаешь, чему поражаться — мудрости ли, бесстрашию, ревности об Истине или любви к каждой твари. Он утверждал, что сущность религии в вере, а не во внешнем обряде, что Обетование, полученное от Бога, выше Закона, ибо Обетование одушевлено Духом, а Закон — мертвая буква; что Закон был всего лишь осудительным, а потому имеет временный характер, что он только обозначил грех, назвал его, что Закон может только наказывать, а не спасать, более того, он способен породить зло, потому что вызывает непослушание, сознание греха, любопытство, а кроме того, демонстрирует человеку неспособность это уже названное и записанное зло в себе преодолеть — приводит к отчаянию и отпадению от Бога. Закон уже сделал свое дело, привел человека к возможности покаяния, а после искупительной жертвы на Кресте стал и вообще не нужен. Он утверждал, что в обладании Законом нет никакого преимущества, ибо у Бога нет лицепрятия, и те, кто согрешат вне Закона — язычники, вне закона и погибнут, потому что преступили записанное у них в сердце, а те, кто под Законом — законом же и осудятся, ибо чем гордиться, если ты все равно нарушил Закон, соблюдаешь посты и обряды, но крадешь или убиваешь, хулишь Бога — все совратились с пути, как сказано в Писании. А потому скорбь и теснота всякому, делающему злое — во-первых, иудею, а потом эллину, и напротив, слава, честь и мир всякому, делающему доброе — во-первых, иудею, потом и эллину. Весь Закон в словах: любви ближнего, как самого себя. Как верно сказала твоя девочка, Наденька, о том, что т а м мы все — даже и с рябиной и белкой будем разговаривать, потому что вся тварь живет надеждой освобождения Духом, нашей свободой от жалкого рабства у собственных страстей, надеждой на то, чего не видит, — "ибо если кто видит, то чего ему и надеяться?" И если мы будем жить в любви, которая превышает всего, то чего нам бояться, никакие демоны не в силах будут нанести нам вреда!

Могли ли иудеи, хоть на мгновение, согласиться со всеми

этими и подобными им мыслями? Можно представить себе, какую они вызвали ярость, бешенство у всех — и у правоверных, только смеющихся над тем, что распятый вместе с разбойниками раб был Мессией, и у тех, кто признав это, не в силах были перечеркнуть не просто ведь собственную жизнь, а жизнь всего народа, в которой без убежденности в его исключительности для них не было смысла. Согласиться с тем, что Закон, данный им Моисеем — мертвая буква, а Мессия, которого они столько столетий ждали и наконец дождались, был одновременно Мессией язычников — поставить себя и свое избрничество рядом с необрезанными собаками, признать себя столь же и более грешными, согласиться с тем, что их будут судить одним и тем же судом т а м, а здесь сесть за один стол, преломить с ними хлеб?!..

Что им было до того, что человек, сказавший все это, был иудей из иудеев, фарисей и сын фарисея, чья трагическая судьба со всей бездной ее падения и невероятностью взлета с неопровержимо-стью свидетельствовала о единственном пути для человека, ищущего Истину и живущего в Ней; что им было до того, с какой нежностью и страданием за погибающий в своем чванливом упорстве народ он к ним обращался, убеждая их в том, что Бог не отверг свой народ, который Он знал наперед, что от их падения спасение язычников, а раз это их падение и оскудение — богатство миру, то тем более их полнота, а раз она даже в падении, что же будет в принятии Истины! Что все ужасное, что с ними произошло, их духовная слепота — отчасти и до времени, а когда войдет полное число язычников, то весь Израиль спасется. Что им было до того, что гонимый и презираемый ими человек сказал о своей любви к ним уж совсем невозможное: что сам желал бы быть отлученным от Христа за братьев своих, родных ему по плоти... Нет, все это ни на мгновение не примирило их с ним, не прекратило и не утишило их ненависти: Закон дан был только им, в посрамление всем прочим, у которых его не было. Их Бог может быть милосерд только к избранному Им народу, и лишь смеется над остальными. В одном древнем еврейском манускрипте так и говорится, что когда другие народы придут к Господу просить и для себя Закона, Он только посмеется — единственный случай, когда Он смеется и а д своей тварю, хотя Он смеется каждый день со своими тварями, особенно с Левиафаном...

— Это ужасно, — сказала Маша.

— Это правда, — ответил Лев Ильич. — Это потому и ужасно, что правда... Но я уж закончу.

Он вернулся, вошел в этот страшный гибельный город спустя двадцать лет в праздник Пятидесятницы. Сначала он хотел поспеть к Пасхе, но его задержал мятеж в Эфесе, потом не было корабля. Это и спасло его тогда, потому что постоянные волнения, бесконечно сотрясавшие город, разразились в ту пору невероятным кровопролити-

ем и, окажись он тогда там, ему б никак не уцелеть. Он и сейчас шел на явную погибель, и знамения и пророчества много раз ему ее предрекали. Во время его последней остановки в Кесарии некто Агав, взяв его пояс и связав себе руки и ноги, сказал: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут язычникам. Близкие умоляли его не идти дальше, он же сказал, что хочет и готов умереть за имя Господа Иисуса.

Можно представить, с каким волнением он вступил в город, после стольких лет разлуки узнавая камни, улицы и дома, вспоминая то, что всегда живет в памяти человека — любовь, ведомые только ему, и значащие что-то лишь для него одного, с чем-то связанные радости и печали. Только, наверно, мало было радости в этом его последнем свидании с городом, ибо первое, что встретилось на его пути еще за воротами, за городской стеной — был гигантский вековой кедр, под которым он стоял, когда терзали Стефана... Он смешался с толпой, спутники, а среди них один из его последних учеников необрезанный язычник Трофим, старались загородить его, потому что несмотря на то, что юношу Савла трудно было бы узнать в этом согбенном лысом старике, но стоило прозвучать хотя бы одному неосторожному слову, и оно стало бы искрой, мгновенно взорвавшей бы эту постоянно клокочущую толпу, как гигантскую бочку с порохом.

Он и не ждал радостной и теплой встречи с теми, кому принес известия о тысячах им обращенных, о новых церквах, воздвигнутых Богом его служением чуть ли не по всему ведомому им миру, ему предшествовали его послания церквам, уж несомненно дошедшие и сюда, разве одни только эти пламенные страницы не должны были вызвать хотя бы уважение и благодарность за его невероятный подвиг? Он принес, кроме того, Иерусалимской церкви милостыню, собираемую им у язычников — и размеры этого приношения несомненно превзошли ожидаемое.

Апостолов Петра и Иоанна не было тогда в Иерусалиме. Его принял Иаков — величественный, как ветхозаветный пророк, значительный, как первосвященник, и речь, услышанная Павлом в ответ на все его сообщения, не могла не поразить его, хотя ему и не нужна была благодарность. Ему было сказано, что здесь, в этом великом городе, много тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители Закона, а о нем слышаны как о человеке, решившемся учить отступление от Моисея и несоблюдению обычаев. Ему было предложено совершить один из мертвых иудейских обрядов очищения, взяв с собой по обычаю четырех бедняков, имеющих на себе обет, заплатить за них — за приносимых в жертву животных, провести вместе с этими назорейми семь дней в храме, глядя на обряд жертвы всесожжения, на то, как будут варить убитых баранов, как назорейм будут стричь головы, сжигать волосы над кипящим котлом, стоять с опресночными лепешками, возносимыми в качестве жертвы перед Госпо-

дом... Это было невозможно для Павла: братья, к которым он пришел, вынуждали его сделать то, что он считал пустым и бессмысленным, его отправляли в храм, где уж конечно и не могли не узнать, и трудно было бы предположить, что предлагавшие не понимали, к чему это приведет.

Почему он на это согласился? чтоб сохранить мир в церкви? потому что, будучи иудеем, не хотел отказом оскорбить народное чувство? или потому, что понимал и этот, как и все прочие пустые обряды, никчемной формальностью, не придавал ему значения — мертвая буква не затрагивала Истины, коль при этом не нарушалась его свобода.

Так ли, эдак, но он выполнил то, что ему предложили и, когда семь дней оканчивались, кто-то в храме узнал его.

Это не могло не случиться, но быть может здесь не было случайности? Мы никогда не узнаем об этом. Дикий крик, раздавшийся в храме, был подхвачен толпой во дворе. Его схватили и он был бы тут же разорван в куски, если бы это произошло вне храма — святое место нельзя было осквернять кровью. Его потащили во двор, где и кончили бы, но римляне, размещавшиеся в северо-западной части храма, в башне Антония, и бывшие всегда наготове, ибо волнения в городе не прекращались, услышав вопль, бросились в толпу, обнажив мечи.

Мгновенно весь город охватило безумие, тысячи людей кинулись к храму, в толпе кричали, что тот, кто учит против Закона, ввел в святилище необрезанного язычника. Решали минуты, но римляне успели раньше, вырвали его, уже в беспамятстве, из рук озверевших людей, сковали его цепями, и так и не поняв, что же произошло, стали пробиваться к крепости. Все увеличивавшаяся толпа сомкнулась вокруг, воины прокладывали себе дорогу рукоятками мечей, а потом, подняв Павла над головами, понесли, потому что тысячи рук рвали его, над толпой стоял, не прекращаясь ни на минуту, дикий крик: "Смерть ему!!"

Они пробились к башне, уже поднялись на несколько ступеней, прохладный ветер освежил разбитое лицо Павла, он открыл глаза и обратился по-гречески к оказавшемуся подле коменданту крепости: "Позволь мне говорить к народу..."

Тот был поражен и греческим языком этого жалкого, окровавленного иудея, и его спокойствием.

Ему расковали одну руку, он поднял ее, и отсюда со ступеней страшной башни Антония заговорил перед смолкшей толпой по-еврейски. Над ним было немыслимо синее небо, сумасшедшее солнце, а перед ним башня, стены и вдруг смолкшая, ждущая своего часа толпа. Во внезапно упавшей тишине он услышал даже, как за стеной храма закричал, заплакал от какой-то обиды ребенок. Он был дома, и это было его небо, его солнце, его город, плач его ребенка, и люди, ради

которых он совершал свой подвиг. Поэтому он заговорил так просто и доверчиво, как может говорить только странник, вернувшийся после долгих лет наконец домой, рассказывающий близким, но уже забывшим о нем людям, о том, что с ним и как случилось. Он сказал кто он, где родился и вырос, не забыл о страшном, чем была отмечена его юность, и о тех преступлениях, которые он совершал во имя мертвой буквы закона, и о том, как на пути к новым, быть может еще большим злодеяниям, прямо на дороге его осыпал Свет с неба, ослепил его и он услышал Голос, воззвавший его к новой жизни. Как он, прозрев, стал после этого свидетелем перед людьми в том, что он видел и слышал. Он сказал, как тот же Голос, здесь в храме, когда он молился, послал его в иные земли, потому что здесь не могли его услышать, и как он не сразу решился на это, потому что знал на себе грех пролитой крови...

Они слушали его со вниманием, быть может, покоренные вдохновенной и ясной речью, родным языком, на котором он так счастлив был говорить с ними. Но когда он сказал, что в ответ на его сомнения Господь ответил: "Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам", — все было кончено. Они ждали этого слова, которое не могло не быть произнесено. И сдерживаемое ими молчание, за которым было недоумение перед самими собой и тем, что они дают говорить и слушают человека, чье дыхание оскверняет храм, возле которого он стоит, взорвалось еще более диким, чем прежде воем: "Истреби от земли такого!.." Где же были многие тысячи христиан, соблюдавших закон, о которых с такой важностью сообщил Павлу Иаков, почему ни одного голоса не раздалось там в защиту Апостола языков?.. Как бесноватые, они рвали на себе волосы и разноцветные одежды, бросали в воздух пригоршни пыли, кидались грудью на выставленные у башни широкие римские мечи, и комендант Ливий Клавдий понял, что еще мгновение — и горстка его воинов будет сметена и растоптана вместе с этим человеком, сказавшим, видно, что-то невероятное на этом чудовищном наречии, раз оно вызвало такую бешеную ярость. Римляне втащили его в крепость и комендант принял единственно разумное для него решение: "Кнута ему, и пусть объяснит, что происходит!.."

С Павла сорвали одежду, растянули ремнями и ему, которого уже трижды били палками римские ликторы и пять раз бичевали иудеи по сорока ударов без одного, теперь предстояло испытать страшную пытку — ту же, что за тридцать лет до того, здесь же, перенес Спаситель. И тогда с трудом повернув голову, он сказал по-гречески стоявшему рядом, наблюдавшему за исполнением пытки сотнику: "Разве вам позволено бичевать римского гражданина и без суда?" Пораженный сотник кинулся к коменданту — едва ли этот человек решился его обмануть — за такой обман полагалась смерть, но и заковывать римского гражданина в цепи, начинать следствие пыткой

— тоже было страшным нарушением указа кесаря. Лизий изумленно спросил его: "Ты римский гражданин? — и добавил, с сомнением глядя на валявшуюся возле него жалкую одежду. — Я приобрел это гражданство за большие деньги." "А я родился в нем", — все так же спокойно ответил Павел.

И тут Лизий испугался: чего только не происходило в этом проклятом городе. Павла развязали, заперли до утра, Лизий повелел первосвященнику собрать синедрион и утром ввел к ним своего узника.

Это было не то зловещее помещение с мозаичным полом и узкими окнами, через которые бил розовый свет, освещавший лице Стефана. Туда, в святая святых храма, не мог бы войти необрезанный язычник — он был бы тут же убит, а Лизий сам ввел своего узника к мужам Закона. Может, поэтому Павел и не понял, что перед ним первосвященник, которого он мог не знать, хотя и узнал других членов синедриона. "Мужи, братья! — сказал он. Он тоже был когда-то членом синедриона и считал себя вправе так к ним обратиться. — Я всю добрую совестью жил перед Богом до сего дня..." Тут первосвященник Анания — закутанная в белые одежды, едва различимая в полутьме фигура — прервал его и приказал приставу бить его по устам. И тогда Павел взорвался, не выдержал оскорбления: "Бог будет бить тебя, стена побеленная! — крикнул он, оправившись от удара. — Ты сидишь, чтобы судить по Закону и вопреки Закону велишь бить меня..." Он сразу опомнился, взял себя в руки, когда они закричали: "Ты поносишь первосвященника!", извинившись в том — он не знал, кто перед ним, ибо написано: "начальствующего в народе твоём не злословь". Но как открылся он здесь и в своей слабости — не Бог, живой человек, у которого был предел терпения и ярость могла затопить ему глаза!..

Он сказал всего несколько слов, но снова поднялся крик и мужи Закона, кинувшись сначала друг на друга, вот-вот готовы были броситься и на него. И тогда Лизий, ничего не понимая в поднявшемся гвалте, боясь, что разорвут узника, за которого теперь отвечал, дал знак войнам. Они, звеня оружием, вошли в судилище, взяли Павла и отвели обратно в крепость.

Ночью, когда тишина и покой пали на город, Господь, явившись ему в крепости, сказал: "Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме."

А уже утром в синедрион пришли сорок человек, горящих неутоленным мщением, и сказали, что поклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Они предложили старейшинам и первосвященнику еще раз призвать его будто бы для рассмотрения дела, они же бросятся на конвой и совершат то, в чем поклялись. И мужи Закона сочли этот план достойным.

Проклятый город, в котором убивали того, кто отказывался соблюдать мертвый закон и где никого не смущало принести ему живую жертву обманом и злодейством!

Как узнал о чудовищном плане некий юноша-подросток, имени которого история нам не сохранила, сын замужней сестры Павла: сам ли он услышал неосторожный намек, или его товарищ или подруга шепнули ему о том, что слышали дома от отца-фанатика? Но он проник в крепость и рассказал Павлу о заговоре, а тот направил его к Лизию, который сразу же решил развязать узел — ему это все надоело. Он снарядил четыреста пеших воинов и семьдесят конных, написал прокуратору Феликсу письмо и ночью узника вывели из крепости, посадили на осла и через день, на рассвете, ждавшие известия о своем учителе увидели его на улицах Кесарии, прикованным правой рукой к руке всадника, среди отряда воинов из башни Антония.

Два года будет ждать в узах Павел, которого римляне готовы были и отпустить, ибо так и не поняли, в чем его вина и преступление перед иудеями, но он потребует суда кесаря, взойдет на корабль, прибудет в Рим, исполнит возложенное на него и умрет страшной смертью, став жертвой безумца, запалившего и без того агонизирующий, растленный, захлебывающийся в своем богатстве великий город.

Что ж, и в этой смерти, как и в смерти Того, Кто его послал, виноваты римляне, а не мы — не евреи?

4

Был ясный, солнечный день, и так, казалось бы, хорошо должно было бы ему быть. Он провел столько времени с Надеей, она любила его, теперь он знал это твердо, они шли рядом, она держала его за палец, как в детстве, навстречу плыла воскресная праздная толпа, но такая пронзительная печаль сжала и теперь уже не отпускала его сердце. Или знал он, что сейчас наконец состоится объяснение, от которого столько времени он все как-то ускользал, или вчерашний ночной разговор с Игорем так его еще взбудоражил после всего им рассказанного...

Они уже лежали, приготовившись спать, Игорь потушил свет и вдруг, так вот, в темноте спросил.

— Получается, что вы обвиняете евреев и в убийстве Павла, по сути оправдывая, хоть и не прямо, живущий сегодня антисемитизм?

— Да не обвиняю я! — крикнул Лев Ильич и сел на постели, свесив голые ноги. — Не обвиняю, хоть ты-то меня пойми! Пусть и хотел бы, по какому праву смогу обвинить Ананию, а не Нерона, убившего

Павла, если не самого Павла — он же добровольно отправился в Рим исполнять волю Господню? Все он сам знал — и что с ним будет в Иерусалиме, и что его ждет в Риме. Разве я обвинять хочу? Да и какой толк от всяких обвинений: "А ты сам?" — скажут тебе — русский ли ты, еврей или англичанин, столько у каждого на совести — на исторической я имею в виду — столько чудовищных преступлений! Я говорю о национальном самосознании, о национальном покаянии, в нем только и есть единственное спасение и выход, единственный путь — а иначе гибель. Гибель — по эту ли сторону колючей проволоки, или по ту, тебя ли туда засадят на распыл или ты сам будешь с собакой охранять тот лагерь. Ну а у евреев, конечно, особый путь, да и суд тоже... Да и у каждого он особый. Свой собственный суд!.. — он снова крикнул, закашлялся и лег. — Прости меня, это, конечно, свинство, так распускаться.

Игорь не ответил.

... Все было вместе, но главное, конечно, теперь в том, повторил он про себя вчерашнюю, так резанувшую его мысль, что никогда не быть ему больше счастливым. Да не счастливым — об этом он теперь и не мечтал, покоя ему хотелось, тишины в себе, но откуда ему было того ждать, когда все поднятое из глубины сознания, памяти, услышанное и наформулированное за эти дни, ворочалось в нем и требовало выхода, и что ж, разве покаяние в том, чтоб кому-то выбросить его в лицо, освободившись таким образом, заставить другого корчиться от муки, злобы ли, стыда? Не разоблачать же он намеревался, нужно было жить со всем этим, не кому-то, а ему самому, а уж коль теперь оно было названо и стало крестом, взваленным на собственные плечи, если сам он поднял эту ношу, — оставалось идти, согнувшись, еле волоча ноги, но идти до своего конца.

— Пап, а ты что ж, ты... теперь в Бога веришь? — услышал он Надю.

Он давно ждал этого ее вопроса, понимал, что он неизбежен, и начать разговор следовало ему, а не ей. Но не готов он был, даже не к разговору с ней, а к тому, чтоб решиться предложить этой девочке, за которую только и мог теперь уцепиться, кому-то еще то же, что случилось с ним. Ему казалось таким неимоверно тяжким то, что он уже прошел, и то, что ему предстояло, что толкнуть на это же самое кого-то еще... Он словно бы и забыл все, что ему открылось, чем бывал так счастлив, и как ни кратки были те мгновения, он горделиво называл их в себе н о в о й ж и з н ь ю, разом, как казалось ему, перечеркнув все, что было прежде. Но наверно это только казалось, наверно, были самые первые робкие шаги, а сам он, уже заостеневший и едва ли способный так перетряхнуть себя старый человек, остался тем же, иначе почему б он чувствовал сейчас столько тяжести, от которой задыхался, почему первым движением, когда он представил себе ее худенькие плечи, было загородить ее,

защитить от того, с чем, наверно, ей уж никак не справиться. Легкомыслие ли это было, или веры ему не доставало, потому что одно дело обрадоваться истине, с восторгом броситься к ней, отшатнувшись от пустоты и бессмысленности всего, в чем ты существовал, а другое — жить в истине, даже не только отказавшись от себя, но все кроме нее посчитать призрачным и нереальным. Значит, не было в нем этого, иначе почему ж, разрешив все с собой, он продолжал видеть эту девочку и ее жизнь все такой же, радующей его такими привычными представлениями о том, как следовало и быть должно — с примитивно-благополучными житейскими радостями и успехами? значит, какая-то ложь была в его пафосе и отрицании того, что он уже с азартом и запальчивостью полагал столь ничтожным, а на самом деле, внутренне ничуть не изменившись, лицемерил и оглушал самого себя... Может, в том и была печаль, боль, заставлявшая так сжиматься сердце? Это так отчаянно-красиво — разорвать с друзьями-приятелями, забыть всю прошлую жизнь... — он-то остался прежним, а значит всем — обиженным им и оскорбленным, всего лишь солгал...

— Нет, пап, ты мне не отвечай, про это не нужно спрашивать, а я даже боюсь, чтоб ты мне ответил. Потому что, как ты скажешь, так для меня и будет... А я не хочу так. Ты знаешь, — она держала его за палец, остановившись перед ним посреди тротуара, толпа двинулась навстречу, сзади, обтекая их, иные заглядывали с любопытством, — я ведь поверила Игорю, когда он вчера... сделал мне предложение. Как в кино! То есть если б это у нас дома или, ну где мы были позавчера, у твоей знакомой — там бы я не поверила, там это такая игра, все время игра. А если б не игра, то это смешно и даже обидно. Потому что, правда ж, папа, там нельзя такое всерьез говорить. Или перекреститься. А тут — я поверила. Потому что и ты так волновался, когда рассказывал свой рассказ, и тетя Маша так на тебя смотрела, я сначала подумала, что она в тебя влюблена, и еще этот крест на стене, ну картина Игорева отца. И сам он — такой длинный, как баскетболист, а говорит, как мальчик — чего никто не говорит, даже если так думает. Это все так непохоже на то, что я видела, что здесь... Можно верить... Правда, папа? Это все вместе. Это как Люся Васильева, когда мне говорила про рябину и плакала, я ей поверила, хотя и не поняла, а если б она стала про это рассказывать на собрании, то все б только смеялись. Может, и я бы засмеялась. И ты знаешь... — она все так же стояла перед ним, заглядывая ему в глаза, — он мне не мог соврать. Так не врут. И я ему поверила. Мне кажется, я когда-нибудь в себе... Бога услышу. И мне тогда не нужно будет у тебя ничего спрашивать. Разве про это спрашивают?..

Такая удивительная мысль коснулась и прошла сквозь Льва Ильича. Он не успел ее остановить, да и страшно ему показалось ее принять и додумать. Но уж так все само за него происходило, словно берег его кто-то от самого трудного из того, что вставало на его пу-

ти, все само за него делалось. Только воздвигается перед ним препятствие, которое ему преодолеть не по силам, так что-то его и перенесет, освобождает. За что ему так, а он еще на тяжесть креста пожаловался?..

—...А как же Боря? — услышал он вдруг Надю. — Я должна рассказать о нем Игорю, как ты считаешь, а, пап? Правда, у нас была не любовь — дружба, но мне иногда казалось, мы всегда будем вместе. Правда, он ведь уехал, оставил меня. А я б никогда от тебя... А ты не мог бы, а, папа, ты б не уехал отсюда?..

Люба открыла им дверь, сразу прошла на кухню, Лев Ильич разделся, топтался в коридоре, думая о том, что надо было прийти, конечно, пораньше, с утра, а то она их прождала целый день. Надя кинулась за матерью.

— Мам, ты не ругай папу — это из-за меня, мне было так хорошо вчера, я тебе расскажу, если ты захочешь. Я познакомилась...

— Я не хочу, — оборвала ее Люба, — мне не интересно с кем ты познакомилась. Ты ела, обедала сегодня?.. Тогда не мешай, мне нужно поговорить с твоим отцом.

— Мама! — крикнула Надя. — Но это правда, что я во всем виновата — я сама пришла к нему и сама не хотела домой...

— Уходи, — сказала Люба, — уходи сейчас же. Слышишь?.. И закрой дверь.

Она поразила Льва Ильича, как только он сел против нее за стол, на кухне. Она, видимо, плохо спала, на бледном лице лихорадочно блестели глаза, она пыталась справиться с собой, успокоиться, у нее ничего не получалось, она все время сама себя перебивала, потом вдруг стиснула ладонями лицо и сказала, не разжимая рук.

— Я знаю, что никто кроме меня не виноват, потому что этот разговор должен был состояться шестнадцать, ну десять лет назад. А теперь... теперь ты и девчонку хочешь у меня забрать?..

Лев Ильич сделал было движение заговорить, но она прервала его.

— Ты думаешь, я не понимаю, зачем ты вынудил меня согласиться на то, чтоб Иван все эти годы был тут, с нами, что мы все годы вели эту чудовищную и мне непосильную жизнь? Я-то понимаю, а вот ты никогда не знал, почему я на это согласилась...

Лев Ильич даже не знал, чего он больше испугался: того, что она скажет сейчас правду — а она для него невозможна, или солжет — а ей сейчас, в этом разговоре, никак нельзя лгать.

— Постой, Люба, не нужно, я.. говорил с Иваном. Мы с тобой не будем об этом. Прошу тебя...

— Говорил? — остановилась на всем бегу Люба, краска медленно заливала ей лицо, лоб. Что, когда он тебе мог сказать?

— Это все болезнь какая-то. Я прошу тебя...

— Мне нет дела до того, что он там тебе говорил. А если ты

подумать обо мне?.. Ты подумал обо мне — нет, ты подумал?..

Она теперь вдруг как-то пятнами начала бледнеть, и у Льва Ильича ухнуло сердце: чего стоили все его высокие переживания, если ей сейчас так плохо — просто тяжело, невыносимо больно, до этих пятен на лице?!

— Ничего я не подумал, — твердо сказал он. — Мне было тяжело, но я справился.

— Т-тебе было тяжело? — свистящим шепотом спросила Люба. — Т-тебе?.. А ты знаешь, как мне, да не сейчас, когда тебе что-то сказал человек, которого ты и ноги не стоишь, а все эти проклятые годы, из которых вся моя жизнь сложилась и канула, как в сточную яму выброшенная, потому что я себя потеряла? Ты знаешь, что такое потерять себя?.. Откуда тебе про это знать, если ты только брал, приобретал, наращивал проценты, брал процент на проценты — проклятый ростовщик, душевный жид, Шейлок из жалкого двухкопеечного водовила!..

— Люба!.. — отшатнулся Лев Ильич.

— Не нравится? Да если ты хоть на мгновение догадался, а где уж было тебе не догадаться, когда все эти годы, как паук вязал и вязал свою ничтожную липкую паутину, в которой я задыхалась, если ты хоть на мгновение догадался о чем-то, как ты мог не разорвать, не освободить меня, не помочь ему, нам — кто ты тогда?

— Я тебя не понимаю, Люба, — сказал Лев Ильич, чувствуя, как пот выступает у него на лбу.

— Ты мог подумать, хоть на мгновение! О, ты справился — как благородно с твоей стороны! — Ты справился, проявился как мужчина. Справился? То есть поверил, мог поверить, что женщина, которая спала с тобой столько лет, которая отдала тебе все, что у нее было, и себя на том потеряла, что она тебя обманывала в таком... Ты с этим справился?

— Да нет же, Люба, ты не слышишь меня. Я же тебе говорю...

— Что ты мне говоришь? Что б^т теперь ты не сказал, если хоть на одну сотую, тысячную мгновения могла промелькнуть у тебя такая подлая мысль...

— Но... Ведь Иван тоже человек и... близкий тебе человек. За чем же ты с ним...

— Затем, что он от всего отказался ради меня. Затем, что он мне все отдал, а себе ничего не оставил. Затем, что он любит меня, а я только тебя... что меня уже не было и не было бы совсем, кабы не он. Но с ним я могла быть откровенной, не играть, как ты со мной, потому что он знал, что у него ничего нет и никогда не будет, и ему ничего не надо было для себя.

— Поэтому ты его... обманула?

— Да, поэтому. Я обманула его, тебя, себя, я всех обманула и перед всеми виновата. Успокоился? Я, а не ты!.. Я все не пойму, —

оборвала она себя и посмотрела на него с недоумением, — почему я тебя тогда перекрестила? Вырвалось как-то... Да нет, если б я могла поверить в Бога, то знала б, как меня накажут. Или это уже и есть наказание за мою потерянную жизнь, которую я сама потеряла и загубила — сама, кто мне велел, кто? Да нет, ладно, мне и без Бога достаточно наказания... А ты и здесь врешь, нет у тебя Бога и не может быть. Мне передавали, какой ты безобразный скандал учинил у этой... Эпфель, не знаю уж, как ты к ней попал. Мне нет до этого дела. Но это все вранье, ложь, поза — я никогда тебе не поверю...

— Тебе Надя сказала?

— Надя?.. Там была Надя?.. Слушай, Лев Ильич, я могу ведь мгновенно отобрать у тебя дочь, мне стоит только солгать еще раз — а еще раз уже не значит солгать. Ты это понимаешь? Я не сделала этого. Но я тебя предупреждаю... Я еще могу это сделать.

Лев Ильич поднял руку, защищаясь.

— Я могу это сделать и обещаю тебе, что если ты попытаешься забрать у меня дочь, я... сделаю это.

— Ты убьешь ее, — сказал он.

— У меня нет других средств. Не вынуждай меня.

— Она меня любит, я и не знал, как она меня любит.

— А что ты знал, что ты вообще знал про кого-то, кроме себя? Думаешь, я хоть что-то забыла — да, уж конечно, не все, но помню, помню — и то, какие у тебя бывали лживые глаза, когда все на дни рожденья чьи-то таскался, и как, когда мою работу — мой перевод, над которым билась чуть ли не три года, зарубили, совсем отказали, три года кошке под хвост — ты и спросить меня про это забыл! А десятилетие нашей с тобой счастливой встречи? Забыл? Ну как же, помнишь — и свое письмо с восклицательными знаками, и цветы посреди зимы. А ведь больше ничего не запомнил — куда тебе! Большое торжество, шикарный ресторан — все как у людей. А девочку, манекенщицу за соседним столом помнишь, как она нашему счастью умилялась, плакала? Ты думаешь, я не видела, как ты записывал ее телефон, тут же обо всем и договорились, прямо за тем нашим юбилейным столом... Что ты про кого-то другого мог знать — ты и себя никогда не знал, иначе б захлебнулся в своей пакости. Не знаю, как там и в кого ты теперь веришь, ходишь к священнику, что-то ему про себя рассказываешь — он бы со мной поговорил, у меня есть что про тебя рассказать. Может, ты меня с ним сведешь? Или у вас так не положено?

— Зачем ты это все говоришь?

— А затем, что я только-только опомнилась, все припомнив, только сейчас поняла, сколько сил и времени, да уж наверное и таланта — что, скажешь, и таланта во мне никакого не было? Сколько я бросила в то, что ничего такого не стоило. Ты никогда не был мужчиной, а всегда только мальчиком — капризным, избалованным ев-

рейским шенком, которого нужно было оберегать, защищать, отдавать себя для твоего самоутверждения и обманывать для тебя самого. А ты и на это соглашался, на мой обман. Но это был мой обман, ты и за это не отвечал.

— О чем ты говоришь, Люба?

— Не о том, о чем ты думаешь. Да, я тебе изменяла — но как это всегда было ужасно! Потому что я не тебе — себе изменяла, потому что я не могла и не сумела ни разу убежать от себя — ничего не могла поделать с тем, что любила тебя всегда и во всем — и как мальчишка, и как то, что сама слепила, и как свое оправдание, как свою надежду на то, что однажды проснусь — и ты окажешься тем, кем тебя когда-то увидела. Увидела, поверила и, как последняя сентиментальная дура, через всю жизнь протащила эту надежду и веру.

— Господи, Люба, какое это страшное непоправимое недоумение, но ведь и я...

— Что и ты? Сейчас ты меня не обманешь, у меня уже нет ничего, что могло бы ждать обмана, пусть правды — у меня ничего нет, ты все забрал. Кто я такая, зачем?

'Господи, как я любил эту женщину! — думал Лев Ильич. — Но может... да не может, конечно же, она во всем права, потому что главным у меня всегда была не любовь, которая всего надеется и переносит, а ревность, слепая, жалкая, забывшая обо всем.' И он вспомнил, что и лагерь, когда про него, случалось, думал — а кто у нас о лагере не думает? — так не того боялся, что он т а м, а что она останется без него з д е с ь — одна, без его глаза и никакой возможности не будет хоть что-то узнать и представить. И дн так ясно ощутил тот липкий ужас запертой, брякнувшей замком двери, из которой, он знал уж, не выберешься, хоть голову себе об нее разбей. Не ужас лишения свободы, а страх, что не сможет быть возле нее и про нее все знать. "И все это я тащу сюда, в новую жизнь?" — с отчаянием думал он.

— А Иван? — спросил Лев Ильич. — Ивана ты любишь?

— Какое тебе дело до этого? Зачем тебе так беспокоиться? Я сказала, что сама во всем виновата, а ты ни за что не отвечаешь — как уж напоследок не утереть тебе слезы!

— Люба, но этого не может быть! Это все чепуха какая-то, глупость, это какой-то страшный сон, может, мы проснемся — и все не так?

— Что сон, от чего проснемся? Что не так, когда все так! Да я тебя лучше знаю, тебе и в этом, последнем надо помочь — за тебя сделать. Казалось бы, придумал, нашел себе игрушку, играй в нее! Но ты и здесь хочешь, чтоб я все сделала за тебя, потому что и игрушка у тебя фальшивая и игра лживая...

Лев Ильич опустил голову; это уж слишком было.

— Сделаю, не хнычь. И декламация твоя не нужна. Оставь ме-

ня в покое — с самой собой. Может, я еще жива, опомнюсь, может, чего-то во мне собственного осталось, чего ты не успел истратить? Прошу тебя, ради Бога, в которого ты поверил, оставь меня в покое, у меня нет больше сил помогать тебе. Отпусти меня, Лев Ильич!..

Он вскочил, протянул к ней руки, но она справилась с собой и блеснула ему навстречу, обожгла его злобой.

— Сиди. Я ухожу сейчас. Ночуй, коли охота. А я, может, сегодня и не вернусь. А то тебя совсем, гляжу, загнали — по углам но-чуешь. Давай еще разок за тебя все сделаю. Я ухожу — не ты. А ты — в полном порядке. И совесть будет чистая. Для тебя это самое главное?

5

Лев Ильич сидел в "тихой комнате", привалившись к спинке продавленного дивана, и бессмысленно смотрел в мутное стекло на освещенную сейчас солнцем обшарпанную стену. Он не знал, сколько он так сидит. Он ни о чем не думал, как в похмелье вертелись какие-то обрывки мыслей, разговоров, фразы, он все пытался сосредоточиться и хоть одну из них сказать себе до конца: то почему-то не было глагола — "сказуемого", усмехнулся Лев Ильич, то "подлежащего". "А ну-ка, — напрягся, попробовал сосредоточиться Лев Ильич, — составлю-ка я фразу, а то ведь это кончится плачевно... Плачевно или смешно?"

Он и всю ночь так присидел, только не здесь, а на кухне, в своем бывшем доме. Люба ушла, не заглянув к нему — хлопнула дверью. Они с Надей попили чаю, не разговаривали, Надя шмыгала носом, плакала, ушла спать. Какое-то странное безразличие охватило его, он не только не мог, он и не хотел ни о чем думать — подумать, значит что-то решить, а на это у него сил не было. Как есть, пусть так и будет. А что думать, чего решать. Все решилось опять без него, за него. "Комнату надо где-то снять... — лениво, безразлично подумал было он. — Так не сейчас же ночью, вон телефон, позвонить куда?.." К кому? — усмехнулся Лев Ильич, и вспомнив самого близкого своего товарища — Сашу, на которого он так надеялся, оставляя все про запас, на самый последний случай — да и перестал думать. Вот тогда и завертелись все эти нескончаемые разговоры, фразы, в которых не было глагола, и оттого они казались коротенькими, пустыми, страшными своей недосказанностью... Один только раз за эту ночь он сказал себе все до конца, увидел себя целостно, но это, пожалуй, похуже было — уж Бог с ним, с глаголом. Он тоже, так вот, сидел тогда на кухне. На этой самой — они только переехали, а с ними мать Лю-

бы, его теща. Помирала она, лежала уже третий месяц в Надиной комнате. Да уж повидал Лев Ильич к тому времени, как люди умирают, пришлось, и мама тоже... Но здесь происходило что-то невероятное: это уже и не плоть была, не усталое и измученное болезнью безвольное тело, к которому всегда, все равно испытываешь жалость, пусть она — эта плоть — кричит, проклинает, бунтует, но она борется, живет, пусть она не в силах принять то, что ей предстоит, но в этом отрицании тайны, к которой она вот-вот прикоснется, чтобы быть ею поглощенной, всегда трагедия, а стало быть, и собственное соучастие, и твоя смерть... Здесь не было плоти и не было трагедии. Какие-то тряпки вздымались буграми под одеялом, и смерть была не как тайна, а как омерзительная, распадающаяся и бессмысленная мертвечина, мертвая вода, застоявшаяся, пошедшая плесенью. Ничего не было, кроме завистливой злобы к тем, кто остается, кто ходит, кто подает ей воду, лекарства, судно, а значит, у него есть силы, здоровые руки и ноги, чистое дыхание — есть все, что у нее уже забрали... Он сидел в ту ночь так же вот один, Люба, три ночи до того не спавшая, свалилась и теперь спала, а она дергала его каждые пять-десять минут: вода была то слишком теплая, то холодная, то она просила не воду, а чай, а когда он приносил чаю, она, глядя на него косящими от ненависти глазами и с трудом ворочая языком, плевалась, говорила, что просила воды, а он нарочно, на зло, как всегда, как во всем, что бы она у него ни просила, делает не так... "Да ладно вам, — сказал Лев Ильич, а потом думал, что это не он был, а ее злоба, рождавшая ту же самую злобу и в нем, — да ладно уж, чай ли, вода, хоть и вовсе не пейте, чего уж теперь..." Он даже удивился, что у нее нашлось столько сил, глаза зажглись яростью и тряпичные бугры под одеялом зашевелились, как судорогой их свело. "Проклятое говно! — крикнула она. — Ничтожество! она никогда тебя не любила, она и спать с тобой не могла. Она ходила ко мне с мужиками, они смеялись над тобой... Она плясала перед ними..." У нее пена выступила на губах. Лев Ильич с ужасом и омерзением кинулся из комнаты, свалил стул и в дверях налетел на Любу, проснувшуюся от грохота. Вот тогда она и увидела его глаза, которые не могла потом забыть и все ему поминала. Да уж, наверно, нехорошие были глаза, коль и он те, глаза своей тещи, забыть не мог — все, что она ему только что выплеснула, сошлось у нее в тех — ее глазах. Да ладно у нее, а вот в нем как это сошлось, не зря, наверно, Люба их запомнила — все, что было в нем, поднялось, вот она правда о человеке, не та, когда он любит себя своими добродетелями...

Он задремал за столом под утро, опомнившись, когда у Нади затрещал будильник, нашел свою старую бритву в умывальнике, побрился — хорошая новая бритва лежала в портфеле, валявшемся под вешалкой, но он почему-то не мог, не хотел ее доставать. Зажарил Наде яичницу, и они вместе вышли.

Он проводил ее до школы, держа всю дорогу за воротник, как в детстве, когда так вот таскал в детский сад и все шутил, что хотя б скорей она вышла замуж — муж бы ее водил в детский сад. Но сейчас скорей он сам держался за нее.

А утро было хорошее, ясное, и Надя за ночь успокоилась, сказала ему прощаясь:

— Пап, ну ничего ведь такого ужасного нет. У меня, то есть, и ты, и мама. Так что ты за меня не огорчайся... — и улыbnулась широко и счастливо. — И у меня теперь Игорь есть!

— Конечно, — в тон ей сказал Лев Ильич, — пусть-ка он тебя в школу провожает...

Дверь в "тихую комнату" раскрылась, всунулась "сова" — Ксения Федоровна.

— Сидишь? — она вошла бочком и присела на краешек стула. — Ты чего так все сидишь, я давеча заглядывала, а ты и не слышал.

— Задумался.

— Тебе чаю согреть?

Лев Ильич удивленно посмотрел на нее: какая-то новая нота послышалась ему в ней.

— Лев Ильич, батюшка, прости меня старую...

— Ты чего, Ксения Федоровна, что случилось?

— Взяла грех на душу, злоба во мне накипела. Все порядок, вишь, соблюдаю.

— Ну и хорошо. Тебе за это деньги платят. За порядок.

— Какие деньги — помирать скоро... Ты какую все книжку тогда читал?

— Книжку? — не понял Лев Ильич. — Какую книжку?.. А! Евангелие. У тебя нету?

— Прости меня старую, — она вытерла кончиком платка глаза с по-старушечьи покрасневшими веками. — Это я на тебя сказала.

— Ксения Федоровна, я что-то и понять не могу. Ты чего убиваешься?

— Я думала, ты в церкву так, для насмешки ходишь. И девку сбиваешь: в церкву, а потом ее поишь.

Лев Ильич непонимающе глядел на нее.

— Да Крону я, прости Господи, все про тебя пересказала — и что в церкви лоб крестил, и что в машинном бюро девку вином потчевал.

— И про Таню сказала — что она в церкви?

— Про Таню? А чего такого, она, знать, крещеная, у нее свои бабьи дела, а тебе, думаю, зачем... Вам смех один...

— Сказала, и ладно. Ты не со зла про меня так подумала.

— Со зла, батюшка, у меня обида есть.

— Да ладно, Ксения Федоровна, какие секреты, когда в церкви. Не печалься. Да и не со зла это — ты за церковь обиделась.

- Ты про меня не подумай...
- Зачем мне думать? У тебя Свидетель есть, верно?
- Христос свидетель, — Ксения Федоровна пожевала губами, глядя куда-то в сторону.
- Не расстраивайся, сказала-не сказала, подумаешь...
- Сынок у меня...
- Да знаю, Ксения Федоровна. Сколько ему осталось?
- Два годочка — много...
- Много. Да ведь прошло больше. Чего он пишет?
- Не в том дело, что много, а все толку никакого.
- Ну там видно будет, вернется, станет работать. Он не женатый у тебя?
- Какой женатый! Кабы женат... Да ну, хоть и женатый... Не в том дело, что он по пьяному своему зверству натешился с той девкой — она тоже хороша. Они все такие. Толку никакого не будет.
- А какой толк, Ксения Федоровна? — все не понимал Лев Ильич.
- Ты говоришь, вернется, работать станет. Он и раньше у меня работал. Не большой начальник, а каменщик — на стройке, себе как бы хозяин.
- Ну и хорошо, всегда работу найдет — строитель...
- Все без толку...
- Что, пьет, что ли? Так может, поумней станет, а так — кто теперь не пьет.
- Не про то я, батюшка, забочусь. Кто, верно, не пьет, кто не работает. А мне-то много ли надо? Мне и пенсии хватает, я и работать пошла, чтоб дома не сидеть, да ему посылки, а так мне и моего хватит. Я вон на тебя согрешила, что смеяться приходил, или про меня, про дуру описать, а ты, вишь, даром что, может, некрещеный.
- А я крещеный, Ксения Федоровна. Я не смеяться, причащаться ходил к отцу Кириллу.
- Я тебе про то и толкую. Не от пьянства это он, а потому что умный шибко, или в школе его тому научили. Отца у него давно нет, на войне остался, царствие ему небесное, тоже им покойник не больно занимался, да он тогда сопляк был, шибко умный, все знает, над всем смеется, а уж про Вседержителя, Творца небу и земли ему и не заикнись — чего ты от него хочешь, будет он пить-нет — какой был, такой и остался. Все без толку.
- Да, это хуже. А может, поймет? Такую беду узнал, покался...
- Нет, батюшка, я сама так думала, что ежели это ему наказание — образумится. Нет. Ездила к нему — все такой, еще злее стал, а стала ему говорить — ну что ты! А без этого, что ему девчонка, что мать, кто ему что скажет, когда Христа нет?
- Лев Ильич промолчал.

— Да, все перемешалось. Ты вон, видишь, какой, а я на тебя... Скажи-ка, Лев Ильич, а Лев Ильич, ты книжки все читаешь, человек ты грамотный... Я тут слышала, а не пойму, батюшка проповедь сказал, что Матерь Божия, выходит, еврейка. Тогда и мы получаемся евреи?

— Бог с тобой, Ксения Федоровна, какие ж евреи — мы Божьи.

— Вот и я так думаю. Родители у нее Аким и Анна — православные. Не поняла, не дослышу.

— Да хоть и евреи — не люди разве? — опомнился Лев Ильич.

— А я не против — пусть себе. Ты на меня не взыщи, на дуру необразованную. Тебя Крон, как есть, с работы погонит.

— Оно к лучшему, Ксения Федоровна, видишь, я тут все сижу, а дела не делаю.

— К лучшему-не к лучшему, а пить-есть надо. Согреть чайку-то?..

Лев Ильич пил чай с баранками, оттаивал, даже повеселел — все правильно было, чего он мог другого для себя ждать, не пожалел же он, ни разу ни о чем не пожалел, а что тяжело — чего ж хотеть, чтоб сладко, что ль, было? Жив покуда, а там видно будет...

В комнату влетел курьер и крутанулся перед Львом Ильичем.

— Ага! Чай кушаете?

— Садись, сейчас тебе принесут.

— Эх, Лев Ильич, сегодня мы загуляем!

— Поперли все-таки, добежался?

— Загадка природы, свидетельство того, что, как говорят классики, все перевернулось, смешалось и что правды нет не только тут, но и там — выше.

— Не знаю насчет правды — здесь ее не может быть, а там — Истина. Что, по-твоему, выше?

— Схоластика! Вот вам софистический парадокс: меня, который, ну и т.д. — не трогают, а вас, который оплот и столп нашего производства, гонят с работы. Где, по-вашему, правда, ну пусть истина?

— Тут не велика загадка, это даже не правда, а мелкая житейская данность.

— Так считаете?.. Ну диалектик! Значит, по-вашему, справедливо?

— Вполне.

— Не ропщете? Ну даете, Лев Ильич! Молоток!

— А что случилось, откуда такие сведения?

— Фу, черт, совсем забыл! Я к вам по личному поручению его сиятельства фон Крона. Срочно и немедленно с вещами и документами в кабинет главного! Надо ж, чуть опять не забыл!..

- Садись, чай допьем.
- Значит, там истина, а здесь правда?
- Несомненно.
- Давайте пари. Десять пива или бутылка водки. Только без шуток и парадоксов. Если вызывают, чтоб расписаться за премию, я — проиграл. Если гонят, с вас, как мученика за идею.
- Согласен. Только без пари. Дело для тебя беспроегрышное.
- Да, неблагоприятно с моей стороны, тем более, кое-что слышал. Есть правда?
- Истина — не правда. Надо уж соображать. Хватит в коротких штанах бегать. Я вон в твоём милом возрасте так же все путал, тридцать лет, считай, даром потерял...

Кабинет главного редактора был у них самым большим помещением, здесь всегда происходили заседания, собрания, отмечали юбилей и торжественные даты, здесь же посреди кабинета ставили на стульях гроб, когда и такое случалось на их производстве. Редактор сидел за большим, блестящим лакированным поверхностью столом. Он болезненно любил чистоту, а может, как думал порой Лев Ильич, и об этом даже как-то перекинулся с курьером, чувство отвращения к делу, которым ему приходилось заниматься. На столе никогда не было ни одной бумаги, лежал только красиво заточенный большой карандаш, которым Виктор Романович тихонько постукивал, глядя в окно и редко на своего собеседника. Когда Лев Ильич открыл дверь, он медленно повернул к нему крупную голову, лицо было бы даже красивым, значительным, когда б не безразличные, вечно сонные, небольшие глаза, всегда отсутствующие, безо всякой своей затаенной мысли — скучно ему все это было. Когда-то Виктор Романович Голованов делал карьеру, был редактором большой газеты, его прочли в ЦК, но что-то случилось, не то в биографии откопалось долго скрываемое пятно, не то дома произошло нечто нежелательное, а может в чем-то поторопился, не успел за стремительностью времени, в этот момент пошатнувшегося назад ли, вбок — не среагировал на неожиданность, которую следовало бы предвидеть. Ну а коль нет нюха — какая карьера. Порой, глядя на то, как на совещаниях, когда рвутся в клочья редакционные страсти и Крон заходит в праведном гневе, отстаивая некий высший интерес, главный редактор тихонько отстукивает карандашом на лакированном столе только ему слышную мелодию, Лев Ильич думал, что он просто отсутствует — нет его здесь. Наверно, жизнь начинается у него в пятницу вечером, когда за ним захлопывается дверь его квартиры, он снимает свой красивый костюм, развязывает галстук, надевает старенькие штаны, мягкие туфли: накрытый скатертью стол уже увенчан пузатым графинчиком, раскрасневшаяся на кухне жена вносит на блюде что-то, от чего захватывает дух, входит дочь в новом, немислимом платье — видел как-то Лев Ильич, как она прощуршала длинной юбкой по

редакционному коридору... Уж наверно, он напрочь позабывает, вычеркивает все, что хотел бы нет, но должен здесь целую неделю слышать, подписывать, кого-то в чем-то убеждать, уговаривать, принимать решения, отвечать на телефонные звонки... Впереди — два дня жизни! — и можно говорить о чем-то человеческом, хотя бы о новом платье, об удавшемся пироге с капустой, о предстоящем отпуске, рассказать анекдот, поиграть с собакой... Пусть все не так, пусть жена раздражена, а дочь плачет из-за своей девичьей обиды, пирог пригорел, а платье безнадежно испорчено, он хочет поехать в деревню, а жена тащит его непременно в Крым — но это нормальные радости и огорчения, и он — Виктор Романович — еще не старый, сильный человек, мужчина, глава семьи, может реагировать — смеяться или негодовать — проявляться, а не играть все восемь часов какую-то обрядную, пустую и никому не нужную игру, со значительным видом выслушивать подчиненных и понимающе кивать, информируя или получая инструкции на приеме у начальства, зная, что и там все та же, давно всем опостылевшая, пустая, никчемная игра. А ведь их журнал не худшее место, все-таки природа, которую нужно спасать, пусть дела вид, что спасаешь, в газете было похуже, там приходилось делать вид, что губить ту же самую природу еще более важно...

— Лев Ильич, как ваш очерк? — спросил редактор, осторожно опустив карандаш на стол.

— Его еще нет. Это оказалось сложнее, чем можно было подумывать. Не идет.

— Не идет? Но тем не менее, пошла третья неделя, как вы вернулись из командировки...

— Сожалею, Виктор Романович, оказался несостоятельным.

— Может быть, следовало посоветоваться с руководством? Почему вы не нашли времени поставить нас в известность — меня или Бориса Яковлевича? — и редактор кивнул Крону, сидевшему у окна в кресле, закинув ногу на ногу.

Он свое дело сделал. Остальное его явно не интересовало, пусть теперь трудится Крон. Но Лев Ильич и не посмотрел на Крона.

— Что ж я буду по таким мелочам тревожить руководство. Может, все-таки справлюсь, — он достал сигареты, чиркнул спичкой, и редактор тут же вытащил из тумбы чистую стеклянную пепельницу, подставил ему.

— Я думаю, мы не станем тратить дорогое время на обсуждение проблемы творческих возможностей Гольцева, — шевельнулся в кресле Крон. — Мы коммунисты и будем говорить откровенно.

— Ты забыл, Боря, что я беспартийный, — безмятежно заметил Лев Ильич.

Редактор смотрел в окно поверх головы Крона, и Льва Ильича прямо обожгло любопытство: ну что бы он дал — попросить, что ли, его об этом? — узнать бы, ну о чем он сейчас думает?

— Вы работаете в большевистской печати, а она часть общепартийного дела. Любая наша печать. Статья Ленина о партийной литературе для вас не обязательна? Как вы, кстати, теперь к ней относитесь? — с нажимом спросил Крон.

— А так же, как и раньше. Как, впрочем, и ты, — откровенно усмехнулся и в первый раз посмотрел на него Лев Ильич.

Крон даже задохнулся от ярости.

Странные у них были отношения. Крон появился в редакции лет десять назад. Годы на два постарше Льва Ильича, среднего роста, широкий костистый лоб с прилизанными жидкими черными волосами, широко сидящие внимательные глаза: "Череп", — назвал его кто-то в редакции. Он сразу стал секретарем журнала, доброжелательный, безо всякого чванства, требовательный, но по делу, справедливый, угощал корректоров конфетами, пил со всеми сотрудниками — свой, рубаха парень. А со Львом Ильичем особенная у них началась дружба: Крон был один, только приехал из Ленинграда, жить негде, Люба ему комнату нашла, снимал, повидал много, на войне побывал, на праздник пришел — вся грудь в орденах, говорил остро, смело — у него не было запретных тем. Лев Ильич тогда даже поразился: не паршивый интеллигент, как он сам, у которых смелость — всего лишь болтовня после веселого обеда, тут из глубины, так сказать, из жизни, собственный опыт, открывший реальное и одновременно невыносимое положение вещей, а это подороже стоит... Потом умер их старичок замредактора, Крон сел в его кресло, а так как и секретаря все не было, он и секретарствовал — хозяин в журнале. А Виктору Романовичу того и надо: сидел себе, карандашиком постукивал. И тут Крон начал показывать зубы: уже из кабинета не выходил, с корректоршами шутить перестал, Ксения Федоровна да менявшиеся курьеры все бегали — разносили его приказы по комнатам... Но Лев Ильич с ним не из-за того разошелся. Собственно, они и не ссорились. Но вот как-то, когда Лев Ильич поздно сидел в редакции, а Крон у себя, у них начался разговор, кончившийся далеко за полночь уже у Крона в новой квартире — получил он только перед тем, пустая еще, в две комнаты, в хорошем доме.

Пили они коньяк, Крон хоть мог и много, а тут что-то лишнего перебрал, или минута была такая, но соскочили тормоза. Тогда Лев Ильич его и увидел впервые без галстука, без белой рубашки — такая в нем обида, злоба на весь белый свет — глаза черным пламенем посверкивали. Контрразведчиком был на войне Боря Крон — мальчик, а уже капитан. Какая жизнь открывалась, какие возможности! Он и рассказал: и о том, что было в Германии, и о каком-то своем невероятном романе уже там — в Потсдаме с немочкой, чьей-то женой — а уж он-то, голубчик, муж-то ее, известно где, упрятали; Как он ночами мчал на мотоцикле по замерзшим городам и фольваркам; и о том, что началось для него, когда вернулся в Ленинград и

уже Москва светила... Эх, какая открывалась жизнь — посторонись, не попадись ненароком! Но тут 49 год, катавасия, а он Борис Яковлевич Крон, и сразу враги нашлись, кому-то перешел дорожку, чудом уцелел... Тогда-то он и поступил на факультет журналистики, а раньше имел бы он этот самый факультет! Он и там спервоначалу куражился — щенки-желторотики, а он капитан, ветеран, страшные связи; тоже любовь была на весь Ленинград с балериной-звездой... Вот тут и вспомнили о нем — в этом и была загадка. Да не о нем, конечно, ему только казалось, тешился, что его заслуги там помнят. Он сам попытался нащупать почву, как чуть, вроде, поутихло, по своим прежним каналам... "Ты представь, — безумно глядел на него бешеными глазами Крон, — он мне предложил ее привести! Ты отдавал когда-нибудь бабу — свою бабу? Да не баба, ты б поглядел на нее двадцать лет назад! Это я сначала фраером был — звезда балета! А потом, как сошлось у нас — ночами под ее окнами ходил, мне казалось, ничего кроме того, что у нас с ней было — и нет ничего на свете. Какая там к свиньям Германия — дочки-матери! А ведь я привел ее к нему — сам привел, и мало было, меня там оставили, при мне вся игра сыгралась, это уж старый прием, отработанный — пьяные, конечно... У нее отчим сидел, еще что-то — да ну, ясное дело, азбука. Отчим! У нее родинка была под грудью — большое пятно. "Ты ж, говорит, теперь у нас универсант, должен понимать, и мы, мол, грамотные, не лаптежники, читали — что за такую родинку в свое время на кострах жарили..." Я б его убил тогда прямо там — что уж мне было, еврей или кто, пусть бы и сгнил у них, а сомнений не было, что не выберусь. Она меня и спасла — посмотрела, я глаз ее тех никогда не забуду: "Да ладно, говорит, Боря, чего уж теперь..."

Вот тогда Лев Ильич и заскучал — вот они, "смелые разговоры", "человек из глубинки"! Больше они не пили. Да и Крон его избегал, едва ли стыдно было — не тот человек, он примитивно возненавидел Льва Ильича, не часто, верно, так открывался, да и вообще, такое лучше не рассказывать. Стороной узнал Лев Ильич, что Крон женился, да что-то странно — на разбитной девахе, зав большой столовой, забегала как-то, глазами постреливала, наверно, ночами не стоял под окнами, да и те глаза и родинку не забыть... Ничего он вокруг не видел, не замечал, в нем только обида горела на то, что не додали, не успел, что из самой глотки у него вытащили, что не смог проглотить — уж такая страсть была, если ту цену способен был предложить... Поразительный был человек, как обуглился — это не время другим стало — ему, только ему не посчастливилось!..

— Виктор Романович, — сказал Крон зловеще тихим голосом, — я думаю очевидность откровенного нарушения трудовой дисциплины несомненна. Гольцев не просто не справился с заданием по командировке, он принципиально сорвал работу. А ведь этот материал ждут тысячи читателей...

— Seriously? Виктор Романович, вы действительно убеждены в том, что мой очерк о страданиях и переживаниях волжской стерляди читатели ждут больше, чем, скажем, саму стерлядь?..

Редактор все смотрел в окно, поворачивал карандаш между пальцами, и Лев Ильич вдруг обозлился: ну что он все делает чужими руками, пусть бы сам проявился...

— Как впрочем, и весь наш журнал — с первой страницы до объявлений — ну никакого отношения не имеет к тому, что волнует людей, да хоть и в том, что происходит в природе благодаря нашим, на ее хребте, подвигам и развлечением.

Он добился своего: редактор повернул крупную голову, в глазах появилось какое-то осмысленное выражение — "страх, что ли?"

— Я думаю, десятки тысяч подписчиков и а ш е г о журнала имеют по этому поводу несколько иное мнение, как, впрочем, и директивные организации.

— Ну про директивные вам видней, а что до читателей — так я ведь и сам читатель. Виктор Романович, ну положи руку на сердце, придет ли вам в голову когда-нибудь дикая мысль снять с полки в а ш журнал — да не в этом кабинете, а дома, в субботу или в воскресенье?..

Редактор опять отвернулся — он и так позволил себе слишком много. Зато Крон даже подпрыгнул в кресле.

— Видите, Виктор Романович, как заговорил, а? Тут уж не нарушение трудовой дисциплины, не невыполнение задания, тут другим пахнет!.. Что касается вашей командировки, Гольцев, мы это решим в рабочем порядке, вместе с месткомом.

— Значит, опять мне присутствовать, — заметил Лев Ильич, — я пока что непременный член этой организации.

Крон не обратил внимания на реплику.

— Нам стало известно, что вы бываете в церкви.

Теперь Лев Ильич внимательно посмотрел Крону в лицо: у него были такие же бешеные глаза, как тогда, ночью, когда они пили с ним коньяк. Лев Ильич ничего не ответил.

— Вы что — крестились?

— А ты что — допрашиваешь меня?

— Я спрашиваю вас.

— А по какому праву?

— Видите ли, Лев Ильич... — поморщился редактор...

Ох, как не хотелось ему, видно, вести этот разговор! И если он когда-то сорвался на том, что отстал, не среагировал — не соригенировался, то кому, как не Виктору Романовичу Голованову — старому газетному волку — было понять, как безнадежно отстал его заместитель — мумия, чудовищный реликт: "Выставить бы его в музей..." — вот он, может, о чем думает! — обрадовался своей догадке

Лев Ильич.

— Видите ли, Лев Ильич, — с тихой значительностью говорил редактор, — в нашей Конституции записана свобода совести и религиозных культов. Но вы должны и нас понять: журнал со столь определенной мировоззренческой позицией едва ли могут делать люди, придерживающиеся, так сказать, другого мировоззрения...

— Нет, пусть ответит прямо и не виляет! — крикнул Крон.

— А я не хочу говорить об этом здесь, в этой комнате, — сказал Лев Ильич, обводя глазами вылизанный кабинет главного редактора с портретами Ленина и Энгельса на стенах.

— Где же вы соизволите говорить? — спросил Крон.

— Честно сказать, с тобой я совсем про это говорить не стану. Но если вас, Виктор Романович, это всерьез интересует, давайте встретимся. Я буду рад поговорить с главным редактором журнала, занимающегося проблемами природы в современном мире, с человеком, с которым я столько лет вместе проработал. Буду только рад рассказать вам о том, что мне так поздно, но открылось. Может быть, и для вас это будет не бесполезным.

— Вы зря шутите, — зловеще сказал Крон.

— Видите ли, Лев Ильич, — снова повернул к нему голову редактор, и на этот раз глаза у него стали тверже: "Какой мужик был бы, если б не здесь, да в другое время!" — подумал Лев Ильич. — Есть вещи и темы, — сказал редактор, — в дискуссию о которых мы не вступаем. До поры. А уж тут, тем более, все ясно.

— Кто мы? И что вам ясно?

— Мы — коммунисты. Не думаете же вы всерьез, что я с вами в каком-то выбранном вами месте стану обсуждать бытие Божие или догмат о непорочном зачатии?..

"Бедный человек, — с сожалением глядел на него Лев Ильич, — а ведь он наверняка крещеный и, наверно, бабка водила его к причастию, хоть в раннем детстве, но водила. Неужто забыл? Я ж запомнил, хоть и не был крещен. А почему он забыл?.."

— Простите меня, Виктор Романович, я действительно подумал, что вам, может быть, захочется про это поговорить — это всем интересно. Что ж, что вы коммунист? Вы ведь тоже человек и созданы по образу и подобию...

Редактор посмотрел на Крона и на часы на руке.

— Да, — подхватил Крон, — нам достаточно. Пожалуй, и месткома не понадобится... Вы напрасно улыбаетесь...

— Нет, почему ж напрасно, — сказал Лев Ильич, — я вспомнил, что почти те же самые слова слышал уже однажды, в пятидесятом году, на Сахалине, когда меня там выгоняли из редакции. И тоже от такого, как ты, еврея. Только тогда меня гнали за то, что я еврей, а сейчас за то, что православный. А редакция одна и та же — партийная, как, впрочем, и Конституция. Ну не забавно ли? Напрасно, Вик-

тор Романович, отказываетесь со мной поговорить, я так убежден, что разгадка этого, так сказать, парадокса в той самой теме и заключена, которую вам даже обсуждать не велено. А почему не велено, что за запреты такие, табу? Или боязно — вдруг...

— Это еще не все! — в бешенстве крикнул Крон. — Вы не так просто отсюда уйдете! Мало того, что вы бываете в церкви и разводите тут религиозную пропаганду, вы и молодых работников редакции туда водите — уж не знаю для какой цели. Сначала в церковь, потом в редакцию с бутылкой водки, а потом — в постель?

Лев Ильич встал и тихонько пошел прочь.

— Мы вас предупредили — за две недели! — крикнул ему в спину Крон. — Или вы найдете какое-то приличествующее объяснение, или... на себя пеняйте. Вам никогда не видать больше работы в советской печати, да и вообще...

Лев Ильич дошел было до двери, но тут не выдержал, обернулся.

— Эх, Боря, Боря, — сказал он, — а не пошел бы ты на...

Курьер ждал его в коридоре, курил, привалившись к стене.

Лев Ильич вытащил деньги.

— Давай в магазин....

— Проиграли?.. Да не может того быть! Я так просто — для хохмы...

— Мы оба выиграли: ты утверждал, что нет правды — верно, откуда ей быть. А я говорил — есть истина. Хоть это не мои слова. Она в том, что они были произнесены.

— 'Что есть истина?'

— Вот именно.

— Лев Ильич, — курьер отвел его руку с деньгами, — вы на меня не сердитесь, это я по нашей жлобской студенческой привычке мелю все время всякую чушь. Неужто, правда, поперли?

— Слушай, пойдем отсюда, только чтоб тебя не видели со мной, не здесь же пить. Или тебе сейчас куда бежать?

— Куда вы теперь?

— Я думаю на уголок, впельменную, а туда притащим.

— Я не об этом... Что вы станете делать?

— Когда?

— Да хоть завтра.

— Вот еще! Завтрашний день сам будет заботиться о своем — вон, как нам сказано — довольно для каждого дня своей заботы... Ну идем или нет, а то я действительно в стенах редакции начинаю заниматься религиозной пропагандой, да еще под водку... Стоп! — вспомнил вдруг Лев Ильич. — Ты меня прости, ради Бога, мы с тобой уж сколько знакомы, я всегда тебе рад, а как тебя зовут, ну убей меня, не могу вспомнить. Татаринов, так? А зовут?

— Зовут?.. Ну даете! — захохотал курьер. — А меня никто не знает как зовут, но никогда еще не спрашивали. Я даже не пойму почему,

но никто, кроме матери, не называет по имени — и как-то все обходится... Сева я. Ох, и чудак вы, Лев Ильич...

Надо было предупредить Таню, Крон, конечно, станет ее теперь мучить. Лев Ильич открыл дверь машбюро и отшатнулся: Федя целовал ее, обняв, прямо за машинкой; Лев Ильич узнал его по торчавшему над ее волосами светлому вихру, хотел тихонько уйти, но не справился, стукнул дверью.

Таня выскочила за ним в коридор.

— Вы куда?.. Федя вас ждет-ждет. Он к вам пришел.

— Не может быть? А мне показалось...

— Ой, Лев Ильич, вы даже себе представить не можете!.. — шепнула Таня.

— Почему ж не могу...

Федя стоял посреди комнаты, лицо его пылало. Глядя прямо в глаза Льву Ильичу, он отчеканил:

— Если вы полагаете меня подлецом, то прямо так и скажите. Если вы думаете, что я способен воспользоваться беззащитностью и...

— Федя, да вы что? — прервал его Лев Ильич. — О чем вы?.. Я хотел было предупредить Таню, что у нее будут неприятности с нашим начальством. Меня уже...

— Мы любим друг друга, — продолжал Федя с тем же напором, не слушая его. — Я уже сказал об этом и она мне подтвердила...

— Что они, с ума, что ль, все походили? — поразился Лев Ильич. — Или теперь так положено..."

— Поздравляю вас, старика не забудьте за своим счастьем.

— Ой, Лев Ильич! — охнула Таня.

— Каждая насмешка над ней будет насмешка надо мной!.. — гремел Федя.

Лев Ильич подвинул себе стул и сел. Лучше было молчать, черт его дернул сюда заглядывать — плевать ей теперь на Крона, да и на эту редакцию, в случае чего она-то найдет себе работу, и безумца этого прокормит. "Вот тебе и 'русский мальчик'!.."

Федя замолчал, удовлетворенно посмотрел на сраженного Льва Ильича и махнул рукой.

— Вопросов нет?.. Я, между прочим, зашел за вами — нас ждет Марк сразу после работы.

— Какой еще Марк?

— Какой?!.. — опять закричал Федя. — Так мы же с вами договорились!..

— Да, конечно, Марк так Марк... Мне, собственно, все равно... Почему у него имя такое?.. Он что, еврей, что ли?

— Чего? — открыл рот Федя. — А это зачем?.. Марк Кузьмич Калашников... Вы, что, Лев Ильич, опять надо мной издеваетесь?

— Вырвалось, извините. Я не то хотел спросить. Ладно, я его

сам... Мне, действительно, все равно — Марк так Марк...

Ксения Федоровна ждала его в прихожей, стояла сгорбившись у двери — сухонькая, в платочке, помаргивала глазками-щелочками. Лев Ильич и забыл про нее, неуютно ему стало — вот и перед ней, словно бы, в чем-то виноват.

— Ты прости меня, батюшка, чего я по своей глупости...

— Забудь, Ксения Федоровна, я тебе правду сказал, все к лучшему, если мы с тобой, конечно, в Бога веруем.

— Так-то оно так, а через меня...

— Да не через тебя — значит, так надо. Через два года, как вернется парень, приглашай в гости, поговорим с ним, вдруг меня услышит?

— Кабы так! нет, едва ли...

— А мало ли что? Со мной-то случилось.

— Не держи на меня зла, батюшка, — сложила руки старушка.

Лев Ильич наклонился и поцеловал ее в сухонькую щеку.

— Храни тебя Христос, — услышал он, открыв дверь...

Они одновременно с Севой подошли к пельменной, тот летел по улице, размахивая бутылкой с лимонадом, придерживая вторую под пальто. Здесь можно было не раздеваться. Сева поставил на высокий круглый мраморный столик свой лимонад, притащил два стакана, а Лев Ильич взял пельмени Севе и рыбу для себя.

Сева быстро, орудуя под столиком, разлил водку и долил лимонадом.

— По черному, — сказал Лев Ильич, — давно я так не пил. Или нет, соврал, ровно две недели назад.

— Что ж, за правду или за истину? — поднял стакан Сева.

— Правды нет, сам же говоришь, а за истину не пьют. Давай, чтоб нам с тобой еще встретиться.

— Давайте... только где? Я тут тоже не задержусь. Полгода кантуюсь, а до того больше месяца нигде не задерживался.

— Чего так?

— А сам не знаю. Я уж два года так. Как мать заболела, перевелся на заочное и пошел — где только не работал. Не могу задерживаться. Я даже сам не пойму в чем дело. И не потому, что бездельник, я уж тут, чтоб скорей прогнали, а как на грех, держат. Но это первый раз, а то быстро. Может потому, что я почти не бываю в этой конторе? У меня наверно вид такой.

— Нормальный вид, — посмотрел на него Лев Ильич, — курносый больно, так за это у нас не гонят.

— Вот и я не пойму. Но видно есть что-то во мне. Я не пью, тем более на работе, основ не сотрясаю, да и какие основы, когда я сторож в детском саду, лифтер, дворник. Может потому, что я не могу с ними разговаривать?..

— С кем — с ними?

— С заведующей детским садом, в ЖЭКе — в конторе, одним словом. Я им не хамлю, я просто не могу на все это смотреть, меня такая тоска берет, как только вижу начальника за столом — и еще телефон у них обязательно! — лучше удавиться. Они наверное это чувствуют...

Он налил по второму стакану, плеснул лимонаду и сунул пустую бутылку в ящик для мусора.

— Что ж ты собираешься делать?

— Ювелиром хочу.

— Как ювелиром?

— А очень просто. Я как-то с геологами ходил, в партии. Мне камни понравились — красиво! Потом тут к одной артели пристроился, вроде рабочим, а сам глядел, как они это все соображают. Инструмент достал — у меня руки хорошие, тут только терпение нужно и любовь. Я попробовал — берут кольца. С серебром работаю.

— А институт? Ты на биофаке, что ли?

— Да не хочу я. Я вам объяснил — я не могу на них смотреть, не то что с ними работать. А ведь в любом месте обязательно — начальник, стол, телефон, хоть бы я академиком стал, тем более будут начальники. Да пока еще в академики пробаться...

— А тут один?

— В том-то и дело! У нас с матерью комнатуха, у меня за шкафом закуток: инструменты, камни, металл — красиво! У меня альбом есть — такие были мастера! — да еще понять современную форму... И главное я один — я их никого не вижу, я тут и вроде меня нет.

— А институт? — все не понимал Лев Ильич.

— Какой там институт — забудьте про него! Я сам себе хозяин, сам человек. Сделал кольцо — продал. Мне деньги нужны только на жизнь — мать кормить, хотя тут можно и большие деньги делать. Но мне только на оборот — камни, металл. Но главное — свобода! Сделал кольцо — книжки читай, иди себе по улице — и никого нет над тобой.

— Так нужно... где-то числиться, — все больше удивлялся Лев Ильич.

— В том и дело. Поэтому я и бегаю с работы на работу — для справки, а так бы я уж давно... Я эти шестьдесят рублей за два дня могу заработать.

— Ну а... армия?

— А мне психушку одна знакомая провернула — чист!

— Н-да...

— А чего вы удивляетесь? Если б я любил природу, я бы рванул отсюда — можно купить дом рублей за двести, был в Карелии, там целые деревни брошены — да и за сотню купишь. Места потрясающие — рыба, охота, красота! Только я городской человек — я го-

род люблю. Ходишь по улицам — и вроде ты один и со всеми вместе. Мне главное, чтоб ничего обязательного не было. Не хочу я с вами, к примеру, разговаривать, но если мы вместе работаем, я обязан чем-то и как-то от вас завишу. Верно? Неужто человек для того рожден, чтоб стоять перед кем-то, кто смотрит на тебя из-за стола с телефоном?

— Ну а другие? Это эгоцентризм какой-то? — недоумевал Лев Ильич.

— Да что вы, Лев Ильич, почему? Я просто не хочу, а верней не могу жить так, как они за меня хотят. Я не на чей-то счет, ничего ни у кого не прошу — оставьте меня в покое! Вы это должны лучше других понять. Жить как все — значит приспособиться: вставать в семь, покупать газеты, выполнять чьи-то идиотские или умнейшие указания. Но во мне совсем что-то другое, если я стану заниматься всей этой ерундой, я себя не услышу, я в себе себя заглушу. Представьте: я закрыл дверь, я сижу в своем закутке, у меня весь инструмент под рукой, передо мной красивые камни, я работаю час, два, десять и — я сам, своими руками сделал нечто замечательное! Что тут непонятного?

— Я готов понять, — сказал Лев Ильич, — только если ты мне объяснишь — во имя чего! Что такое для тебя самостоятельность, которую так хочешь, свобода — ты ведь об этом говоришь? Внутренняя свобода, свобода от чего-то, или свобода реализации себя, жажды себя, как ты говоришь, услышать, чтоб не заглушили... Я правильно понял?

— Примерно.

— Но что значит для тебя свобода, которую ты хочешь вырвать у мира, а он ее, верно, бесконечно подавляет? Это ведь не просто желание делать, что в голову придет, жить, как твоя левая нога хочет, да это мир все равно тебе не позволит — наш, любой другой...

— Да я вам сказал, мне не деньги нужны.

— Ну а в Бога ты веруешь?

Сева поставил на стол стакан, из которого он второй раз так и не отпил.

— Не в того, в которого вы верите.

— Откуда ты знаешь что-то про меня?

— Не про вас, а про Бога, который живет во мне, а стало быть, Его нету в вас.

— Тогда получается, что у каждого человека свой Бог?

— Не знаю. Может быть, Он одновременно и во мне и в вас, но не может быть снаружи. Что ж, Он сейчас здесь, сам-третий за столом? Как же Он меня оставит?.. Ну да, тогда действительно, у каждого свой. Он ведь во мне не потому, что я такой особый, а потому, что благодаря Его присутствию я и есть я, а не кто-то другой. И потому я не могу заключить с ними какой-то договор, служить им,

они покушаются на мой собственный договор с моим Богом.

— Как бы это они смогли? Отдавай им кесарево, а до Божье-го им никаких рук не хватит.

— Да не кесарево! Они именно от м е н я чего-то все время хотят: я должен улыбаться, когда они смеются... Да нет, не то, я сам готов смеяться над всяким пустяком!.. — он удивленно развел руками. — Они, знаете, Лев Ильич, все время лгут, ну безо всякого смысла, на каждом шагу. Я ведь понимаю, я нормальный парень, совру — дорого не возьму, но я не про это. Они лгут, становятся совсем дру-гими, как только переступают порог любого казенного дома. У се-бя они совсем не те. Вы разговаривали когда-нибудь с нашим редак-тором?

— Да я только что разговаривал и про то же самое подумал — какой он дома?

— Вот-вот! Поняли наконец! Они хотят, чтоб и я такой же стал, чтоб с этим согласился. Да мне наплевать, пожалуйста, ваше де-ло, только сам я так не могу — может, я правда псих?

— Ну а то, что происходит вокруг, тебя никак не интересует — женщины, мать, наша общая жизнь? Ты ж все равно не можешь из этого выключиться?

— У меня не было женщины — я не знаю, что это такое. Об-щество? Так я и не могу с ним, потому что тогда я должен делать то, что хочет оно, а не я — буду ли я с ним вместе или начну с ним бо-роться, то есть все равно от него зависеть. Вот мать, конечно. Но она меня понимает... Да вы что, думаете, я один, что ль, такой? Вы по-говорите с такими, как я, обормотами — так иль не так, но это ред-ко, кто как все хотят. Не обязательно, как я, в закуток. Другой ста-рается диплом получить, может, и диссертацию — но для чего? Чтоб построить себе квартиру, купить машину и — исчезнуть. Нет его! Он сел в машину, поднял стекло — найди-ка! А пошли они все!.. Только ювелиром-то почище будет.

— Да, озадачил ты меня. И вас... таких, правда, много?

— Все такие. А вы сами? Что ж вас с работы поперли? Значит, не хотите, как все, значит, себя хотите услышать.

— Пожалуй, только он тебя в покое не оставит.

— Кто?

— Мир, от которого ты хочешь отсидеться в закутке. Ты сам. Женщина, которую рано ли, поздно приведешь в закуток — а ей бу-дет тесно, мало, одного кольца не хватит, нужно будет три в день. А для этого придется входить еще в какие-то отношения, да и она — эта женщина, тоже ведь человек со своим, как ты говоришь, Богом. А ты ее будешь любить, а значит придется не только себя слушать, но и ее. И тому подобное. То есть если ты не сможешь увидеть Бога вне себя, как реальность не воспримешь Того, Кто и сейчас с нами здесь за столом — а Он несомненно нас слышит, ты и с этой

своей свободой не справишься — она тебя задушит и себя не услышишь. Это обернется только эгоизмом или отчаянием. Один, без Его помощи не справишься с этим. Он ведь и в тебе только потому, что Он существует на самом деле, не потому, что ты есть, а ты — только благодаря Его замыслу.

— Это я не понимаю, — сказал Сева. — Мне пока достаточно, главное от них убеждать... А как вы думаете, мне тут серебряный оклад предлагают — без иконы, просто оклад. Это богохульство, если его в переплавку — мне серебро нужно?

— Вот видишь, — засмеялся Лев Ильич, — а говоришь, Он твой и только внутри тебя? Что ж ты сам с собой такую проблему решить не можешь? Значит, Он вне, над нами, значит Он нас судит, значит мы только Ему навстречу можем раскрыться?.. Ты это обязательно поймешь. Эх, Всеволод, мне б двадцать пять лет назад забраться в твой закуток, а не в ту контору, от которой тебя воротит! Будь здоров — за тебя! — все будет у нас хорошо, один так, другой эдак, а все к одному... А вон и за мной пришли, — махнул он рукой вошедшему в пельменную Феде.

...Дверь была не заперта, слышался быстрый перестук машинки.

— Раздевайтесь! — услышал Лев Ильич звонкий голос. — Проходите...

В коридорчике однокомнатной квартиры прямо на полу были свалены книги, пачки перевязанных веревкой и без веревки газет, накрытые брошенной на них курткой, в углу лыжные ботинки, несколько пар лыж.

Лев Ильич снял пальто, поискал вешалку, не нашел, положил пальто поверх куртки на пачки газет и шагнул вслед за Федей в комнату. Тот не раздевался.

Комната была такая же: широкая, ободранная тахта, ученический письменный стол и несколько стульев, полка с книгами под потолок. Хозяин сидел спиной к ним, быстро стучал на машинке. Не оборачиваясь, он поднял руку, помахал и продолжал печатать. На голых стенах, с ободранными местами обоями, Лев Ильич увидел приклеенный лист белой бумаги с жирно отпечатанными строчками. Он подошел поближе.

”Ненавижу ваши идеи, но готов умереть за то, чтобы они могли быть свободно высказаны.

Вольтер”

— Жуткая история, — поежился вслух Лев Ильич, — полный безысход.

Хозяин с треском выдернул из машинки лист бумаги и встал. Он был невысок, широкоплеч, в серенькой вязаной рубашке, с засученными рукавами, светлая подстриженная бородка делала лицо еще более круглым, в прозрачных ясных глазах, еще погруженных в то,

что он только что делал, уже проглядывала улыбка.

— А что вас так напугало?

— Слова какие — "ненавижу", "умереть" — в такой короткой фразе и два таких слова.

— А мысль?

— По мне, так жалкая мысль.

— Сильно! А почему?

— Да не верю я ему — это раз. Неужто человек ничего не любит, что могло б удержать его от такой бессмысленной смерти за право кого-то высказывать то, что он ненавидит? Чисто гальское остроумство, парадокс, вроде того, что если б Бога не было, Его надо б выдумать.

— А Бог есть?

— А вы в этом усомнились?

— Нет, по мне, так Его и выдумывать не следует. Добровольно лезть в ярмо, к рабству внешнему прибавлять еще более гнусное — внутреннее.

— Тогда только помирать и, действительно, все равно за что — хоть за то, что ненавидишь. Не все ль равно, когда даже любить не способен.

— А вот тут мы с вами поспорим.

— Вот это сила! — закричал Федя. — Вот это разговор, сразу быка за рога! Да вы еще не познакомились... Лев Ильич. — А это Марк.

— А я догадался, — сказал Марк. — Я его таким и видел, только думал — он, как бы сказать, потише...

— Вот, кстати, — сказал Лев Ильич, — я только что получил еще одно свидетельство бытия Божия... Нет, два, а может быть, три или даже четыре.

— Прямо сразу? — засмеялся Марк, улыбка у него была широкая, открытая.

— Одно за другим. Сначала меня с работы прогнали за то, что в Бога верю. Значит есть? Я в него верю, а они верят в то, что я верю. Федя на моих глазах признался в вечной любви женщине, которая только такой высокой любви и достойна. А она так исстрадалась и так той любви просила у Бога...

— Два, — сказал Марк, все еще улыбаясь.

— Несчастливая убогая старушонка, которая меня заложила из ревности к своей вере, такой ощутила мгновенный ад в душе, а я за это такую свою вину перед ней — что уж куда больше. И наконец только что мне поставил поллитра Федя ровесник, которому Бог сам открыл свое бытие — просто сказал ему об этом.

— Это вот непонятно. Сам?

— А это тайна. Бог — обязательно тайна, которую можно услышать, а объяснить нельзя... Дадите чай?

— Какого ты мужика привел мне, Федя! Будет вам чай — по всем правилам заварю. А чего ты не раздеваешься?

— Да мне... тут, одним словом...

— Ага, понятно.

— Ничего вам не может быть понятно! — крикнул Федя, заливаясь краской.

Лев Ильич моргнул поднявшему было брови Марку. Тот смолчал.

— Я... не смогу выполнить то, что вам обещал, — неожиданно выпалил Федя.

— Сейчас или вообще? — спросил Марк.

— И сейчас, и вообще. То есть, не знаю про "вообще", может быть я и пойму, что неправ, но сейчас знаю твердо и считаю своим долгом предупредить.

— Очень жалко, тем более, это твоя идея.

— Это не моя идея, я ее у Достоевского списал — и вы это знаете. А верней, не у Достоевского, а у Шатова, и даже не у Шатова, а у Лизы — никчемной светской барышни. Не велика потеря. Она ее, кстати, и придумала не для дела, а для своей жалкой интриги.

— Лиза?.. Не помню интриги, но мысль хорошая. Да вот, Лев Ильич рассудит. Есть мысль составить книгу, а верней, целую серию книг, целую библиотеку. Если внимательно читать наши газеты — центральные, а может быть, особенно провинциальные, то посреди океана напыщенной бессмыслицы можно чуть ли не в каждом номере разыскать кое-что любопытное. По глупости, случайности или еще уж не знаю из каких соображений, но порой проскальзывает поразительная информация, бросающая такой ясный свет на то, что происходит в действительности. Не зря ж западные клеветники такие дошлые читатели именно наших газет, это у нас к своему нет любопытства! И вот, если эти факты, рассеянные и тут же для всех пропавшие собрать и как-то систематизировать, а рядом, скажем, они на левой стороне, а тут же, на правой или в предисловии, в примечаниях дать подлинную информацию о том, что в то же самое время тут же происходило на самом деле, то представляете, какая получится книга! Причем в одном томе можно собрать материал об идиотизме нашей жизни, а в другом об экономическом развале, в третьем о литературе и искусстве, в четвертом о жизни семьи, школы, международной политике... Могут быть книги о сегодняшней жизни и о том, что было двадцать, тридцать лет назад — это все доступно, в библиотеке получите любую подшивку. Представляете, какая может быть серия? Да я вижу целое издательство, работающее над созданием такой многолетней эпопеи — уникального свидетельства по всем вопросам существования этого государства со дня его основания... Вот мы и решили с Федей сделать пробный том, взяв наугад какой-то месяц прошлого, скажем, года. Здесь самое трудное определить те-

му, а также материал подлинный. Это я взял на себя. А Федя обещал посидеть над газетами. Здесь только терпение и время, и, разумеется, идея.

— Да. Прошу на меня не рассчитывать, — набылчился Федя.

— Можно узнать, почему?

— Я... не имею права сейчас этим заниматься.

— Права?.. А, дошло — любовная лодка. Доказательство бытия...

— Можете думать, что вам угодно. Впрочем, я не хочу, чтоб этим набрасывалась тень... на нее. Совсем не так плоско, как вы говорите, Марк. Я просто не вижу смысла в таких книгах.

— Ничего не пойму. Ты же сам, здесь, с таким азартом разрисовывал мне эту идею?

— Тогда разрисовывал, а сегодня понял, что все это не так.

— Вот и имей дело с нашими господами интеллигентами, — развел руками Марк. — А я уж газет натащил...

— Лучше остановиться в самом начале, чем потом, когда столько сил и времени будет потрачено, когда это будет сделано, а неизвестно к чему.

— Как неизвестно?

— Ну к чему, что они дадут, эти прекрасные книги?

— Но я только что сказал — может открыться, действительно, потрясающая картина, неожиданная, в самых разных областях — во всех сферах нашей жизни.

— Ну а дальше что? Дальше-то что? — передернулся Федя. — Предположим, мы собрали, издали эти книги. Серию. Библиотеку. Отправили на Запад, напечатали, увезли сюда, разоблачили, заклеямили, пробудили общественное сознание...

— Это и есть дело, за которое стоит положить голову.

— Да черта ли в ней — в голове! А что мы предлагаем — вот в чем вопрос-то проклятый? Предлагаем, а не разоблачаем! Теперь уж в детском саду горшочники разоблачают своих воспитательниц. А дальше что?

— А дальше думать будем, да и за нас кто-то придумает. Пусть эти книги станут мостками через кровавую грязь и трусливое болото.

— Куда мостки? Вы книжку перечитайте, из которой я эту идею вытащил. Там про то и написано, как болото начали гатить, да в такой яме завязли, а теперь — еще, что ль, дальше?.. Лев Ильич, да объясните вы ему, я затем вас и привел, что не мостки нужны, что сперва думать, а уж потом ломать и строить. Что нельзя так больше, что мы, благодаря тем мосткам,

так завязли по самые уши, только носом хлюпаем, а все дальше и дальше хотим гнать — а ведь уже и некуда? А потом загоним сами себя уж совсем неведомо куда, что и носом не сможем хлопнуть — Господь Бог будет виноват, все Он попустил, Ему кричать станем, что Он нас разума лишил?.. Не знаю я, только не боюсь того, что вы про меня думаете, и не в том дело, что у меня сейчас... так получилось. А может, потому, что получилось, я и понял, что есть кое-что повыше...

Звякнули в дверь.

— Открыто! — крикнул Марк и шагнул в коридор.

Федя подошел к Льву Ильичу и стиснул ему руку.

— Я неправ? Да, неправ?.. Может неправ, но я не могу, не хочу делать то, за что сам перед собой не смогу ответить. Может, когда пойму, может, это... слабость и я такой жалкий, напугавшийся, сам себе лгуший, изворотливый перед собой... А ладно, все равно, спасибо вам, я даже не ожидал, как вы его сразу за глотку...

"Можно?" — услышал Лев Ильич Танин голосок.

Федя кинулся из комнаты.

"Познакомьтесь, Марк — это Таня."

"Раздевайтесь, сейчас я всех чаем буду поить."

"Спасибо, мы пошли. У нас..." — Федя говорил сурово, готовый пресечь любую улыбку.

Лев Ильич вышел в коридор. Таня, уже расстегнувшая было пальто, снова его застегивала. На Льва Ильича она и не взглянула.

— Заходите, как время будет, — сказал Марк. — Всегда рад.

— Лев Ильич, еще раз спасибо, — Федя открыл уже дверь на лестницу, но вдруг резко остановился. — Да нет, я не о том, вы еще что-то подумаете! Я за то, что только что вам сказал...

Таня подняла глаза на Льва Ильича — она, и глядя на него, его не видела. "Ну и хорошо, подумал он, не мне ж такое..."

— Лев Ильич, идите сюда! — позвал его Марк из кухни.

На плите пыхтел чайник, Марк колдовал над заваркой.

— Это и есть одно из доказательств бытия Божия?.. — спросил он. — Убедительно. Да, с господами интеллигентами только водку пить. Спасибо, хоть сразу, а то б...

Лев Ильич присел на табуретку возле покрытого пластиком стола, у темнеющего на глазах окна. На подоконнике стоял транзистор с торчащей антенной. Марк повернул выключатель, под потолком зажглась голая — без абажура лампочка, поставил чашки, банку варенья.

— Вина нет. Да вам уж сегодня поставили... Хоть надо бы — трясет от злости. Как ни привык к таким номерам, а каждый раз руки чешутся. Вот вам доказательство, и никаких Тань, все элементарно.

Лев Ильич молчал.

- А вас действительно с работы гонят?
- Оно к лучшему.
- Что думаете делать?
- А я еще не думал. Пойду сторожем в детский сад.
- Сколько лет вы там проработали?
- Пятнадцать.
- Ого! Хотите сделать заявление?
- Чего? — изумился Лев Ильич. — Кому?
- О гонении за веру, на конкретном примере. Для прессы, — он кивнул на транзистор. — Или я, про случай с вами.
- Ну сделал. Дальше что? Меня восстанавливают?
- Едва ли. То есть, скорей всего, нет. Но нельзя давать спуску ни в чем.
- Чем вы занимаетесь, Марк?
- Где я работаю? В одном институте. Но это вроде детского сада, который вы себе придумали. Только денег побольше.
- Но я действительно буду сторожем, если меня возьмут.
- Что значит "действительно"?
- Это будет моим занятием.
- И все?
- И все.
- Тут уж я вам не поверю, простите. Потому что, если вы даже будете работать каждый день, хоть сторож чаще всего посменно, а верней всего, в детском саду у ночного сторожа целый день свободный, во всяком случае шестнадцать часов времени вам в любом случае девать будет некуда.
- Вы знаете, Марк, если мы говорим всерьез, а не просто упражняемся в остроумии, то мне вам нелегко ответить. Верней, объяснить. Но поскольку вас интересуют факты, а выводы, как я понял, вы любите делать самостоятельно... Меня гонят с работы не только за то, что я хожу в церковь, верней сказать, в трудовую книжку, конечно, запишут нечто другое: "невыполнение задание по командировке". И это будет вполне справедливо. Я вернулся две недели назад, получал зарплату и ничего — просто совсем ничего за это время для редакции не сделал.
- Ну за это не выгоняют человека, проработавшего перед тем пятнадцать лет.
- Да я не про то — выгоняют-не выгоняют. Я просто к тому, что у меня было не по шестнадцать часов свободных, а по двадцать четыре каждый день. И у меня не было не только часу пустого времени, но и одной минуты, я прожил за эти две недели — с тех пор как крестился, такую жизнь, какой, наверно, не было все предыдущие сорок семь. Вот вам к разговору о том, чем я буду заниматься.
- То есть, собственными переживаниями?
- Назовите хоть так.

— Или спасением собственной души, если научно?
— Это верней и по существу.
— Ну а остальные, все вокруг — кто страдает, кого убивают, кто иначе относится к проблеме участия в общественной жизни, а его из нее выталкивают?

Лев Ильич улыбнулся:

— Этот самый вопрос я сегодня, по слабости, задал юноше, у которого даже некое физиологическое отвращение ко всякому казенному учреждению. Он просто не может переступить его порог.

— И что он вам ответил?

— Что его участие в общественной жизни выражается в том, что он стремится полностью от нее себя изолировать — хочет, чтоб его оставили в покое. Мечтает всю жизнь просидеть в закутке, за шкафом. Только там, полагает он, сможет услышать то, ради чего родился на свет Божий.

— А, это, наверно, ваше четвертое доказательство бытия Божия?..

Лев Ильич снова не ответил.

— И вы находите такую позицию достойной? — спросил Марк.

— Спасение собственной души — это не жизнь в закутке. Вторая главная заповедь Господня: возлюби ближнего, как самого себя.

— Это все абстракции. Во всяком случае, со столь пассивной позицией с преступлениями или, пусть по-вашему, со злом, не справишься.

— Помилуйте, Марк, обратитесь к собственному опыту, да разве любовь бывает пассивной?

— Любовь в современном мире, где зло угрожает самому существованию человечества, всего лишь хобби, во всяком случае, не дело для человека, чувствующего ответственность.

— Ответственность за что?

— За жизнь ближнего, которого надо не возлюбить, как вы говорите, а избавить от страданий.

— А за себя?

— А собой я заниматься не имею права. У меня на это нет времени, потому что и двадцать четыре часа мало на то, чтоб не как-то там туманно-мистически, а реально спасти ближнего.

— Тогда вы последовательный человек, и Вольтер в точности выражает вашу философию жизни: считаете, что я безответственный эгоист-себялюбец, а готовы, не задумываясь, писать заявление в мою защиту. Ну не чужь ли?

— Видите, как действительно странно: христианин утверждает, что возлюбил ближнего, а защищать даже себя самого не хочет — не то чтоб других! А я, отрицая эту любовь, готов за вас в петлю. Чья позиция благородней?

— Благородство не категория для христианина.
— Какие же у вас категории?
— Ну скажем, чувство вины, кротость...
— Опять литература, да и не лучшие образцы. Молью трачены, гнилью, нафталином разит от этих двухтысячелетних тряпок — разных там плащей с кровавым подбоем — опять абстракции!..

— Чай у вас замечательный! — сказал Лев Ильич, он как-то совсем протрезвел и знакомая печаль стиснула ему сердце: "Ну что это все со мной? — спросил он себя. — Славный какой человек — чистый, мужественный, действительно благородный, не чета тому Мите, что скрывался у Любы, Библией подторговывал. Что ж, и тут, наверно, разные люди, хоть может и одно дело делают... Ну а дело-то, дело?.." — Чай замечательный, только едва ли это составляет круг ваших профессиональных занятий. Судя по тому, что вы говорите. А мне, между прочим, так и не ответили — в чем они?

— Я считаю своим долгом принципиально и в любом случае выступать в защиту прав человека.

— Ах, ну да, даже те, которые вам лично несимпатичны.

— Не за идеи, а за права.

— Права?.. Да, это понятней: право на труд, на образование, свобода печати, демонстраций...

— Свобода совести, свобода выбора местожительства, — сказал Марк. Он говорил спокойно, твердо, ни разу не повысил голос, глаза у него были внимательные, чуть-чуть снисходительность уловил в них только Лев Ильич.

— Конечно. Поэтому вы готовы защищать тех, кому трудно здесь, и тех, кто хочет, чтоб было полегче, и потому едет т у д а.

— Разумеется. Это одна из основных свобод.

— А вы сами — не хотите осуществить это свое право?

— Нет. Каждый человек должен знать, что может реально обладать этим правом. Это дает человеку уверенность, он чувствует себя, действительно, гражданином мира, если может в любую минуту отрясти прах и хлопнуть дверью. Но... можете ловить меня на противоречии, это ваше дело, но сегодня уехать отсюда — значит убежать от Распятия, говоря вашим языком. Видите, как я знаю терминологию...

— Знаете? А что это такое? Вы думаете, Он распялся за то, чтоб у всех была ванна с кафелем и всеобщая грамотность? Это ж главное, что побуждает "отрясти прах" и "хлопать дверью" — нет возможности жить как хочется и заниматься тем, к чему имеешь склонность.

— Да, право на нормальную цивилизованную жизнь и право на образование, реализацию своего дарования — элементарные права, и никакое общество не должно их ущемлять... Да кто тогда за вас-то вступится, если я уеду? За эту страну, в которой, в лучшем случае,

у людей хватает сил не участвовать во лжи и за шкафом угнездиться. Вон и Федя таким оказался. Это им сегодня в подвиг вменяется.

— Но позвольте, Марк, значит, любовь для вас не только "хобби", чем же, как не любовью, может быть одушевлена ваша деятельность? Несомненно, любовь к людям, которые здесь обеспамятели, к стране, которая все потеряла — к России?..

Марк чертил ложечкой на столе.

— Значит, я угадал? — повторил Лев Ильич. — А если есть любовь, она может стать началом...

— Нет любви, — поднял голову Марк. — А если и была, я ее в себе вытравил. Потому что нельзя любить страну, в которой уничтожены десятки миллионов людей, народ, который, как вы сами сказали, обеспамятел, все в себе растоптал. Если я буду любить, если я дам любви очнуться в себе, я не смогу ненавидеть, а без ненависти к этой мерзости с ней не станешь сражаться — каждый день и каждый час. Не будешь готов принять любую муку.

— Действительно страшно, когда русский человек становится последовательным — настолько ломает свою природу, что насильно топит живущую в нем любовь в ненависти... Да уж и идола вы себе избрали — ничего более антирусского, чем все эти хохмы Вольтера и вообразить себе невозможно. А надо ж, в восемнадцатом веке его именем клялись... Но неужто еще мало за двести лет аукнулось? До того дойти, что стыдиться в себе любви к несчастным, затоптаным, себя потерявшим... И это в русском-то человеке? Какие уж тут права, свободы, если у вас у самого, в себе нет права любить? Как нельзя на насилии — хоть это-то вы поняли после всего, что здесь было? — построить никакой справедливости, как расползется фундамент, в основании которого будет слезинка того самого ребенка, так и на ненависти вы ничего не соорудите — не свяжутся кирпичики... Да никогда я не поверю в это вымученное рыцарство, защиту меня, которого вы не любите, моих идей, которые презираете — игра это, Марк, простите меня, иль выверт какой-то от собственного отчаяния.

— Что ж я вам голову морочу? — так же спокойно сказал Марк, только глаза чуть потемнели.

— Да нет, вы не сердитесь, мы с вами истину выясняем, я понимаю и ваше мужество и чистоту...

— Благодарю вас.

— Это не комплименты, я просто хочу понять. Хорошо, вы защищаете права человека, записанные в Конституции и Декларациях. Действительно благородно, да и жертвенность, подвижничество, видов у вас, несомненно, никаких — все прекрасно, достойно, особенно по сравнению с теми, кто сидит за шкафом, или того хуже, мелет языком, произносит гневные тирады, злорадствует, запершись на своей кухне, а сам боится телефона, стука в дверь и наутро послуш-

но лжет, чтоб не потерять зарплату. Какие могут быть сравнения с вами, только гордиться можно, что дожили до того, что появились люди, не запирающие дверей и готовые за свои убеждения умереть и от них не отказаться. Действительно прекрасно... Но вот — один случай, другой, десятый, сотый, тысячный: нарушены права на труд, на образование, свободу совести, перемену местожительства и прочие элементарные права. Вы каждый раз выступаете — нельзя давать спуску. Согласен. Ну а система в этом есть, какая общая концепция, философия, пафос утверждения в чем — на этом Федя и споткнулся? Это хаос какой-то — Конституция это еще не программа организации жизни общества.

— Странно, — сказал Марк, — мне так казалось, что за всем этим, как вы говорите, хаосом фактов и вызываемых ими протестов, за самим принципом ни в коем случае не давать спуску в любой, на первый взгляд, мелочи, уж такая ясная и четкая программа! Демократизация всех государственных институтов, суверенность законодательной и судебной власти — и даже при сохранении принципа социальной справедливости вся страна мгновенно преобразуется. Все и каждый изменится, только лишь почувствует право быть человеком, а не трусливым животным...

— Это после того, что произошло, в растоптанной и смятой стране, в которой атеизм до такой степени вытравил представления о духовных и моральных ценностях, искалечил выдуманными, преувеличенными предрассудками, поработил унижительным страхом? В стране с невероятной преступностью и развращенностью снизу доверху вы предлагаете ввести неограниченные политические и гражданские свободы? И после этого говорите об ответственности и о своей готовности умереть за права человека? Умереть-то вы несомненно умрете, но как будет с правами и значительно более элементарными, чем право печати и демонстраций?

— Что ж, в Америке, которой всего двести лет, не демократические институты, не демократизм сознания всей нации и не суверенность судебной власти сняли проворовавшегося президента? А нас, которым уже тысяча лет, все еще за ручку надо водить да розгами воспитывать? Только этим, по-вашему, вбивают человеку уважение к собственным правам?

— Сначала та демократия избрала жулика президентом — тоже, кстати, есть над чем поразмыслить. Да и что уж, к чести ли умиляться этой чужой демократией! Какая память короткая. Неужто Хиросиму можно забыть?

— Хиросиму?

— И Нагасаки. Что-то я не слышал о суде над американским президентом. Не было его в Нюрнберге. А ведь следовало, закрыв тот процесс, открыть новый. Что могло быть чудовищней по бессмысленности этого жуткого эксперимента! Или речь шла о спасении

нации? Да в Америке и гранаты одной не взорвалось! Вы говорите о мерзости деспотического режима, а что может быть более мерзко, чем демократия, з а б ы в ш а я о такой вине перед человечеством, перед другим народом? Свободная нация, до сих пор не покающаяся в таком злодеянии!.. Демократия, власть большинства, суверенность закона, социальная справедливость!.. А что будет с моим собеседником, мечтающим сидеть в закутке, за шкафом, ищущим Бога?

— Человек должен участвовать в жизни страны, во всяком случае, на первых, самых трудных ее порах.

— Вот видите! Да мы только и слышим о трудной поре, которая сменяется следующей, еще более тяжелой... Господи, демократия! Почему-то все забывают, что это свобода не только для одного тебя, но для всех! И для твоего соседа, которого раздражает, что ты приходишь поздно и тебя навещают женщины, для твоего начальника, которого злит борода его сотрудников, для пенсионера, ненавидящего собак, и для другого пенсионера, готового перестрелять всех кошек... Я уж не говорю о вещах более сложных — о проблемах национальных, скажем. Власть большинства! Да нет более унижительной зависимости, чем зависимость от демократического произвола коллектива. У наших интеллигентов настолько спутаны все нравственные координаты, что они считают для себя унижением поклониться Господу в храме, пасть на колени — они свободные люди и не признают никакого рабства! — а тут же, все эти гордецы бегут кокетничать с секретаршей столоначальника, от которого зависит судьба их диссертации. А если это свободное большинство — а ведь это ваш сосед, начальник, пенсионеры — предъявят вам свои права, гарантированные им суверенным законом?.. И если он — мой собеседник, тот, что мечтает о закутке, — придумал, как обмануть режим, равнодушный ко всему на свете, кроме своего брюха, то уж демократию с ее миллионами глаз и суверенностью судебной власти, горящую принципами социальной справедливости — нипочем не проведет. Еще бы, коль ваша социальная справедливость станет идолом, молохом, ей дела не будет до жалкого, живущего за шкафом дурачка, ищущего Бога. Да самый добрый человек, зараженный, обезумевший от таких коллективных идей, становится зверем — мало вам, что ли, исторических примеров? Еще бы, коль суббота выше человека!

— Что ж вы предложите?

— Нет народных масс, есть люди, личность и каждый должен понять себя, осознать свой собственный нравственный долг до конца. При этом общественная деятельность не отрицается, но общество подчиняется личности, о которой оно должно заботиться прежде всего — о создании возможностей для ее духовного совершенствования, воспитания в ней сил для выжигания своих страстей, самости — подчинения высшему нравственному закону, который суть не права,

записанные в Конституции, а Заповеди, возвещенные Господом.

— Опять старая, навязывая в зубах болтовня — что она дала за две тысячи лет?

— Только благодаря ей мы с вами сейчас разговариваем, а не перегрызаем друг другу глотки. Нам действительно тысяча лет — вы правы, а потому нелепо и жалко заимствовать чужой, к тому же принципиально чуждый опыт, который бы только узаконил последствия этого страшного эксперимента. Да прав Федя, по сути-то прав! Ну куда нас завели эти мостки? Поймите, что не обогнал нас Запад, что со своими свободами он всего лишь до того додумался, об чем наши мальчишки-нигилисты сто лет назад кричали. Петеньки Верховенского им только недостает — так ведь свято место пусто не бывает — родится уж обязательно и Петенька!.. Ну можно ли продолжать насилие над душой и совестью народа русского, которые каким-то чудом теплятся — но может ли это быть бесконечно! Ну можно ли продолжать идти, гатить дорогу, которая никуда не ведет — упрямство это, легкомыслие, безответственность или нарочитая, злая воля? Неужто история ничему нас не может научить, ну хотя бы тому, что чудовишно подчинять личность обществу, — самому справедливому и демократическому! — что это равносильно жертвоприношению!.. Судьба этой страны действительно в наших руках, Марк, как бы они ни казались нам — каждому из нас — слабыми. Только жертва нужна не во имя осуществления материального благополучия и справедливости — это иллюзия, изначально нелепая в мире, где не может быть справедливости и счастья — как это до сих пор не понятно! — но во имя Христа, во имя того, чтоб вернуть народу, людям их душу, то, что было у них отнято, испакощено — и в том наша вина, коль мы еще в состоянии мыслить и себя до конца судить. Только истина освобождает человека, только любовь способна реализовать личность. Самое страшное, что здесь за эти полвека произошло, это то, что у людей отняли веру, а что вы предлагаете взамен — какие-то права, демократию, обеспечение прав и возможности отсюда уехать? Конечно, важно, необходимо, поклон вам в землю — хлеб в протянутую руку, облегчение страданий невинных, загубленных — но разве мы сейчас с вами об этом? Неужели страшный опыт нашей жизни, судьба этой страны — все впустую, и вы твердите все то же, что и сто лет назад, все о том, что для человека, а тем более для человека русского, ну никак не может быть главным? Ну какая демократия, социальная справедливость — о чем вы все, Марк? Когда последние времена наступают, когда задыхается человек от самой бессмысленности мечтаний об этой "справедливости"? Разве ему тот хлеб нужен, который вы ему насильно пихаете? Да и что вы можете предложить, когда сами уничтожаете собственную личность, запрещая себе любить, готовы принести жертву во имя уж совсем неизвестно чего...

— Если для вас помочь человеку, которому плохо, трудно,

голодно, страшно — неизвестно что, если он лишен элементарных прав, а вы в его протянутую руку положите свою проповедь смердящего, лживого нравственного закона, который уже тысячу лет здесь освящает все мерзости нашей истории — от костров, на которых жарили раскольников до еврейских погромов, от самого подлого лицемерия до самого гнусного разврата — нам не договориться.

— Для меня это уж несомненно, — сказал Лев Ильич, — не только не договориться, мы и понять друг друга не можем. Для вас история своего народа лишь материал для ненависти и презрения, страшные факты, которые следует только заклеить, а страна — всего лишь территория, годная для одного только проклятия и поношения. А для меня та же самая страна и народ — невероятное чудо не прекращающихся века страданий, живущей в них любви вопреки всякой логике и любым фактам. Эти страдания и эта любовь дарованы народу, как даруется гениальность, это свидетельство непостижимого нам Замысла и того самого б ы т и я, над которым вы всего лишь потешаетесь. Что ж, мне в ответ вашим фактам, вызывающим у вас одну лишь ненависть, а не сострадание, другие начать приводить — о явной всем святости и освещающей все вокруг любви? Что ж, они вас убедят, что ли? Да уж ладно — убедят-не убедят. Трагедия ваша в том — не драма какая-то, трагедия! — что самые добрые дела, за которые вы готовы принять свою муку, коль толкнула на них человека не любовь, а ненависть, так страшно и неожиданно могут обернуться! Схватимся опять — а уж поздно. Вот чего Федя напугался, может, и не понял, а почувствовал, сердцем услышал, а это подо-роже будет. Поношений испугался — да ведь не для себя... "Ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви", — Пушкина, между прочим, слова. Да как вы ненавистью это увидите, поймете это в себе, когда наверно не способны поверить, да и услышать слов того же Пушкина, может быть, самого пронзительного из того, что сказано об этой стране: что ни за что на свете он не хотел бы переменить отечества или иметь другую историю, кроме истории наших предков — такой, какой нам Бог ее дал. Наивность и беззащитность этих слов для вас, уж конечно, да и в лучшем случае, только литература...

— Еще бы. От копошения в себе и своих собственных недоразумений, от равнодушия к чужим страданиям, от нежелания знать, что рядом на твоей крепостной конюшне происходит... Да что вы мне голову морочите! — первый раз заметил Лев Ильич у Марка раздражение в глазах. — Вы нормальный мужик, чуть старше меня, выпить любите, мы с вами одни и те же книжки читали, по тем же улицам бегали. Вы что... серьезно в Бога — ладно в Бога! — и во всю эту околесицу верите?

— Какую околесицу?

— Ну не знаю. В то, что камень отвалился, Ангел спустился,

Распятый вознесся и прочая и прочая — до того, что Он кому-то является и что-то приличествующее моменту возвещает?

— Преподобному Серафиму Саровскому Матерь Божия являлась двенадцать раз. И он — убогий Серафим — как-то летал над цветущим лугом, ногами не касаясь земли. Это один человек видел, которому Серафим запретил до времени рассказывать об этом.

— Ужас какой, — мрачно сказал Марк. — И на этом основании вы строите свои предположения и концепции о спасении этой богоносной страны и отвергаете реальную возможность помогать людям? Действительно, при известных обстоятельствах вас надо бы упрятать в лечебницу. Людям жрать нечего — а вы им байки подсовываете о том, как бородатый мужик летал по воздуху. Им работать не дают, за свободное слово — в лагерь, а вы им лепечете о том, что все это на благо, и стало быть, об этой стране Господь особо печется... Ну что с вами нормальные люди должны сделать после этого?

☛ — Как интересно, — сказал Лев Ильич, — мы с вами уже три часа разговариваем, а я ничего, ну совсем ничего про вас не знаю — и даже догадаться не могу — кто вы такой? Ну хоть какое-то бы представление о человеке, пусть ошибусь, не так пойму — со мной это часто, но хоть живая деталь, жест человеческий — закричали бы, чашку разбили, про птичку вспомнили или кошку — ну в чем люди проявляются?

— Птички, цветочки, кошка — пожалуйста, а про людей...

— Вы знаете, Марк, я не только не видел, но даже представить себе бы не мог, что возможен человек, которому бы до такой степени не интересно, нечего было делать внутри себя, который бы так был обращен весь во вне.

— Спасибо. После всего, я уж комплиментов от вас никак не ожидал.

— Ну чтоб вам было понятней. Мне сначала показалось, что вы... Ну понимаете — Дон Кихот. То есть мне Федя про вас рассказывал, я сам слышал про таких, как вы, все мечтал познакомиться, но не решался — казалось у меня и права нет. Кто я — обыватель. Интеллигент стесняется так себя называть, но это правда. Конечно, я обыватель, а государство — стена. Это, верно, поразительно: после всего, что было у нас, произошло — так очнуться, в этом, действительно, надежда на что-то — раз появляются такие люди. Сколько вас? А перед вами этот чудовищный левиафан. И вы все равно — твердо, чисто, до конца — идете на свой подвиг. Потрясающе!.. Но вы так страшно говорите о том, чего просто не знаете! Если б смогли прочесть открытыми глазами, непременно б услышали Его слова о том, что уготовано тем, кто напоил Его, когда Он жаждал, принял Его, когда Он был странник, одел, когда Он был наг, посетил Его в больнице, в тюрьме... То есть, речь идет о том, что если вы сделаете это любому из малых сих — больному, узнику, страннику, жажду-

щему — вы это сделаете и для Него, для Спасителя! Но поймите, Марк, это только во имя любви! Будет ли вера или вы бунтуете против Христа, но если вы любите и во имя любви жертвуете собой за ближнего — остальное уже не важно, само приложится, найдет себя, а в конечном счете, непременно обретет Бога, Который и есть Любовь. У вас же все замешано на ненависти, вы из нее исходите, ею кормитесь. Потому я вас и понять не могу, живым увидеть. Как же вы за других жертвуете, когда сами не понимаете страданий? Какой же вы Дон Кихот? Он ведь плакал, его унижали, над ним смеялись — весь мир потешается над ним до сих пор! А как он любил! Да если вы попытаетесь выразить одним знаком, одним чувством, одной мыслью этот неисчерпаемый образ — разве это будет не любовь, в которой сошлось все, чем жил и от чего умер дон Алонсо Кихано, за свой нрав и обычай прозванный Добрым... Нет, вы не Дон Кихот, Марк, вы... ветряная мельница.

— Это как стена, — сказал Марк и поднял на Льва Ильича затуманенные какой-то отчаянной болью глаза. — Как стена. Об нее можно только голову расшибить. И крылья у нее, верно, каменные — отбрасывают. Видите? — он положил перед собой на стол ладонями вверх широкие крепкие руки. — Мне казалось, я все могу этими руками. И правда все могу. Но тут, — он сжал кулаки так, что побелели косточки, — у меня их в одну ночь... В одну ночь их не стало.

— Кого? — со страхом спросил Лев Ильич.

— Жены и сына, которому было три дня. Не сто лет назад, в деревне с бабкой. Года еще нет. Здесь, в Москве. В родильном доме... Что это, как не глухая, бессмысленная, тупая, каменная стена?.. Неужто это может быть Промыслом? Каким же, о ком — о них? Но кому они что-то могли сделать? Обо мне? Но почему за их счет? Они здесь причем? — недоуменно спрашивал Марк. — Я всегда знал, что мир совершенная система, в основе которой — вы называете это Замыслом, на здоровье, — в основе лежит, несомненно, нечто разумное, во всяком случае, справедливое. Не знаю, случайно ли так получилось, но вот, отсчитывались варианты — миллионы миллионов вариантов и один — наш, выскочил счастливый. В нем все соединилось. В основе нашего мироздания несомненно справедливость, она в человеке, для которого все крутится, растет, множится... И для меня эта гармония не кончилась с их смертью. Я понял только, что я не могу — все, — он снова с печалью и недоумением посмотрел на свои сжатые кулаки. — Я действительно не Дон Кихот, не безумец, ну что я могу поделаться с этой жуткой и тупой бессмысленной стеной... Вы ее почему-то мельницей назвали — так я вас понял?

Лев Ильич смутился и ничего не ответил.

— Может быть, я что-то не так говорил, вы не поняли — почему вы все время о ненависти? — искренняя обида зазвенела в его голосе. — Я ведь не о людях, я про институты, но они-то нами, наши-

ми усилиями, нашей трусостью и созданы и поддерживаются. Кому же, как не нам, пытаться их исправить, изменить? А пока они существуют, и в них зло — на нас, не на ком-то — на нас на всех вина. Мир был так прекрасен, человек так совершенен — это какое-то жуткое недоразумение, что устроились все эти пакости — как же с этим бороться? Вот им... моим, — голос у него дрогнул, — я не смог помочь — там действительно, только бессмысленная стена — не пробьешься, но хоть кому-то другому, там, где уж несомненно злая воля, то, что нам по силам, хоть в чем-то помочь...

— Простите, — сказал Лев Ильич. — Меня простите. Но это не недоразумение. Это настоящая трагедия — такое невероятное непонимание. То, что вы разделяете: что случилось с вашими близкими — эту дикую бессмыслицу, и ту, что делается человеческими руками. Весь мир лежит во зле, Марк. Вы такое о себе рассказали — причем здесь институты? Какие?

Марк встал, упершись кулаками в стол.

Лев Ильич тоже встал.

Их разделяла только узкая пластиковая доска, но Льву Ильичу показалось, что между ними океан, материк, что у него нет и никогда не достанет сил докричаться.

— Господи, — сказал он, — если б Ты научил меня словам, которые вы могли б услышать! О том, что истинная свобода не в свободе гражданской, не в сытости, что свобода не может быть демократической, что она только в том, чтоб любить Бога, ближнего и своих врагов. Но как мне сказать это вам, который сегодня готов умереть за мое гражданское освобождение, за то, чтоб меня накормили? Как могу это сказать я — перепуганный, связанный своими грехами, страстями и слабостями?..

6

На мгновение он задохнулся от пыли, ослеп и оглох. Он бы упал, уж во всяком случае остановился... Но падать ему было некуда, да и стоять он не мог. Он двинулся дальше, задыхаясь, ничего вокруг не различая и не слыша. Смертельно болела намертво защемленная чем-то рука, ноги подкашивались от тяжести, навалившейся на спину.

— Заснул, что ли! Выбрал место — давай топай отсюда, пока морду не ободрали!..

По всей вероятности, лошадь, не видная сейчас Льву Ильичу, в клубах вздымавшейся до неба пыли, шлепнула копытом в оставшуюся, несмотря на жару, лужу, обдала его грязью, пахнула жаром, по-

том и воню ему в лицо. Он попытался освободить правую руку, не смог, шагнул дальше — и все сразу вспомнил.

Он был прикован к тяжелому и толстому железному пруту вместе с такими же, как он, горемыками. Один из них навалился на него сзади, перед глазами торчал, покачиваясь в такт шагам, знакомый до отвращения затылок идущего впереди, а тех, что были еще дальше и сзади, Лев Ильич и не мог бы увидеть.

Пыль чуть рассеялась и он различил круглое бабье лицо с мертвыми глазами, оно оборачивалось к нему с тяжелого битюга, поднимавшего мохнатыми ногами клубы пыли.

— Не нравится? Чего морду воротить?.. Пьянь рваная... Когда вас всех повыведут, как тараканов! Ишь как заснул — у бабы, что ль, своей? Да какая баба, прости Господи, ляжет с таким, чем он ее ковырять станет — пальцем, что ль?.. Давай, давай, топай, а то сейчас позову кого надо...

Битюг тяжело, перебирая ногами, грохнул копытом о камень, двинулся дальше, и Лев Ильич все так же, удерживая закаменевшей рукой железный прут и омертвевшей спиной поддерживая навалившегося на него, продолжал брести по дороге.

Он уже все вспомнил, осознал себя, боль в спине и руке была сейчас не только единственной реальностью в призрачности и фантастичности открывавшейся ему картины, только она — эта боль и давала ему какую-то надежду и радость: захлестнувшее его горло чувство вины перед теми, кто тащился вместе с ним по этой дороге, только здесь, в этой боли и находило выход, иначе б оно задавило его. Кто, как не он, был причиной того, что все они оказались здесь, рядом с ним? Это только он знал о том, что он во всем виноват — он один. Значит он предал их на эту муку, запутал своей якобы дружбой, а когда пришла пора расплачиваться, тень его вины упала на них. Что ж теперь было кричать о том, что виноват он один, почему раньше молчал, кто теперь, на этой жуткой дороге их услышит? Единственное, что оставалось ему, это напрячь все силы и тащить проклятый прут, стараясь хоть этим облегчить другим их ношу.

Как бы он смог объяснить свою вину перед ними? Но именно это ему и предстояло: облечь в какие-то доступные тупому закону слова свое, столь четкое ощущение вины. "Но я не могу!.. — шептал Лев Ильич пересохшими, запекшимися губами. — Я не знаю этих слов и не знаю ваших законов..." "Не знаешь или не хочешь, боишься, что, объяснив и громко сказав о своей вине и трусости, ты останешься один на этой дороге и железный прут, и без того оттянувший твою руку, станет и вовсе непосильным, задавит тебя?.. Что все-таки легче — поднапрячься, все вспомнить, найти слова, или им, а не тебе — им тащить твою вину, влачась по этой бесконечной дороге? Почему ж ты, всегда столь красноречивый в рассуждениях о себе, вдруг забыл слова, когда речь зашла о других?.."

И он представил себе своих друзей, которыми бывал всегда так счастлив и горд, о которых возникала его первая мысль утром, думая о которых он засыпал — чем жила и что было такое эта дружба? Он называл их имена, шептал, вспоминал, как сводила их судьба и как случилось, что теперь никого из них не осталось. Он вспомнил одного, которого знал уж не менее двадцати лет, чью доброту пил, как лимонад, не думая о том, чего она может стоить, о втором, чью житейскую мудрость принимал снисходительно, позабыв про опыт, ее выковавший, как в душе потешался над наивностью и чистотой третьего, как взваливал на четвертого свою откровенность, не задумываясь, каково ему придется, зная все про него, продолжать его любить. Как в своем слепом эгоизме полагал, что может брать бесконечно, убежденный, что имеет на это право, ибо всегда отдает все, что есть у него. Почему его не останавливало то, что к нему за тем же не обращались — разве стоили чего-то, шли в сравнение крохи, сбрасываемые им со стола — да сколько бы они ни стоили, он всегда мог без них обойтись! Он только легкомысленно отмахивался, если что-то подобное и приходило ему в голову, полагая, что стало быть, нет в том нужды, а меж тем тут, несомненно, и была разгадка. Просто у него не доставало мужества и сил самому справиться со своими пустяками, неурядицами, а его не хотели тревожить, преодолевая куда более тяжкое. А уж то, что сейчас, когда все они по его вине оказались прикованными к одному пруту, когда за все сделанное ими для него пришлось расплачиваться им же, пусть наравне с ним — но им-то за что? Как все это объяснить — не Богу, Который и без того все знает и слышит каждое твое дыхание, а тем, в судейских мантиях, тем, что уже решили их судьбу здесь? Разве было у него право обречь хоть кого-то на муку здесь, да, здесь, коль им дела нет до того, что будет с ними т а м? Он должен был найти слова, которые бы здесь их освободили, здесь облегчили им жизнь, коль они не знали другой, у него не было права обречь их на эту дорогу, пусть бы он даже нашел в ней какой-то ведомый лишь ему высший смысл. Дружба есть равенство душ, говорил еще тысячу лет назад высокоумный Алкуин, а стремился ли он, Лев Ильич, всегда и во всем к такому равенству, способен ли был сознать себя через друга в том, кто был этому другу неведом? Да и возможно ли это, если не признаваясь себе, сам он был одушевлен несомненно фарисейским отрицанием такого равенства.

Брал ли он на себя крест друга своего?.. Да, то есть, нет, — отвечал и путался Лев Ильич, оправдывая себя тем, что всегда готов был бы его взять, и его ли вина в том, что к нему за этим не обращались. Говорил ли он другу о том, что ему передавали, или затаивал в себе обиду, которая, быть может, была всего лишь клеветой или не стоила гроша, если б была обнаружена, а оставшись в тайниках души, копилась, гнивала, подтачивая дружбу? Смирялся ли он во всем, забывая о себе, готов ли был погубить себя ради друга, отдав все, что есть, от-

казывался ли ради него от женщины, с которой было весело, или от свободы, которая тоже всего лишь тешит и развлекает? Что ж ты защищаешься тем, что не было случая проявиться, а в чем тогда подвиг дружбы — в веселье, застолье, убивании времени? Как так вышло, что то, что для тебя оказалось светом, для них тьма внешняя, разве это не вина, которую не искупить? Чего ж ты еще жалуешься на тяжесть, выламывающую руку, ищешь оправдания, когда теперь только и должен думать о том, как бы спасти их, пусть и от самих себя?..

Он снова услышал все тот же дребезжащий, скрежещущий грохот, повернул голову, насколько позволял ему навалившийся ему на спину: розовое, дрожащее марево открылось ему. Это был не тот свет, что так поразил его среди бела дня, бивший в узкие окна иудейского судилища — видно, пространство было велико, степь без конца и без края, свет рассеивался, бледный, едва сиреневый, чуть-чуть сгушавшийся к горизонту. И в этом едва розовом свете в степи без конца и без края он увидел приближавшуюся к ним колымагу: ветхие, с качавшимися во все стороны, готовыми вот-вот отвалиться деревянными колесами — облезлые дрожки, влекомые парой разбитых на ноги, разномастных кляч. Дрожки тархтели прямо по степи, без дороги, бородастый кучер в малахае и в подпоясанном веревкой рваном армяке загоразивал широкой спиной седока, только торчали выгоревший рыжий цилиндр и медная подозорная труба. Как ни медленно выплывала из степи колымага, она должна была достичь их дороги раньше, чем пройдет едва шагавшая, нанизанная на прут, связка живых людей.

Седок приподнялся на качавшихся как на волнах дрожках: он был стар, как его кучер, как лошади и как дрожки; на нем был старинного покроя длиннополый сюртук, платок чуть прикрывал тощую шею, на худом, с редкой бородачкой лице блестели удивительные глаза, вобравшие сейчас всю эту живую, раскачивающуюся гроздь, и позабывшие обо всем, кроме нее.

— Эй! — закричал он тонким стариковским фальцетом. — Поберегись! Стой!.. — и с неожиданным проворством спрыгнул с дрожек, побежал, семеня ногами, прямо по стерне к дороге.

Связка, на которую был нанизан и Лев Ильич, качнулась раз другой и встала.

— Осади! — кричал со своего битюга мужик с бабьим лицом. — Чего надо? Кто такой?

— Слодей! — кричал на бегу старик, размахивая подозорной трубой. — Кто разрешал проклятый прут? Ты фто, не зналь, фто он запретиль? Расковать!..

— Ты кто такой будешь? — конвойный озадаченно чесал под малахаем голову. — Чего раскричался? Много тут вас начальников, всех не упомнишь...

— Я тебя буду много наказывать. Расковать!..

— Да я с тобой!.. — заревел в бешенстве тот на битюге и двинулся всей громадой на маленького старичка, и тут бы уж он его смял с его подзорной трубой, кабы кучер не стеганул кляч и они, громыхнув колымагой и чудом не перевернув ее, не выкатили на дорожку, загородив своего седока. Кучер, перегнувшись с облучка, шепнул что-то конвойному, и тот матюгнувшись, отвел душу, опоясав битюга плетью.

— Да они у меня разбегутся, не знаю уж как вас величать, нас только прут и спасает против этих мошенников — поговорите с ними.

— А фот я поговорю, — живо ответил старик. — Ты кто будешь, голубчик, — обратился он к кому-то в голове связки, не видному сейчас Льву Ильичу. — За фто тебя?

— Ни за что, — услышал Лев Ильич. — Выпил маленько у одной бабы, а там мужик оказался, из жидов, прости Господи. Слово за слово, я думал, с ним можно разговаривать — человек же, объяснил ему по-хорошему, чтоб мотал отсюда, пока цел, вроде грамотный, должен понимать. Бог, говорит, нас свел, а потому этот, мол, наш разговор на пользу, трояк выдал от полноты чувств, а гляди — Бог-то Бог, да и сам не будь плох — доложил куда следует.

”Господи, да это ж Вася!” — узнал Лев Ильич голос актера.

— Фто же тебе за это присудили?

— Пять и три по рогам — за разжигание национальной розни, — был ответ.

— Ну а ты, голубчик? — спрашивал старик дальше.

— У меня нечто противоположное, — услышал Лев Ильич тоже знакомый голос. — Я полагаю, что евреям здесь нечего делать — вред они принесли неисчислимый, а себе еще больший. Место их там, где их кровь на самом деле нужна, где пролить ее — подвиг, а не бессмыслица. Я всегда говорю об этом и ни разу не было осечки — а тут, видите...

— Сколько ж получил?

— Те же пять и три, и то же самое разжигание.

”Володя-сионист..” — мелькнуло у Льва Ильича.

— Ну а тебя, голубчик?

— Я попросил бы вас, сударь, разговаривать со мной вежливо, — услышал Лев Ильич профессорский баритон своего друга Саши. — Я считал своим долгом всего лишь говорить то, что общеизвестно, хотя и предается забвению, что подтверждает мысли и идеи великих людей всех времен и народов. Я всего лишь изложил то, что так или иначе говорили, писали, о чем, если хотите, свидетельствовали не какие-нибудь там Гитлер или Розенберг — ту же самую мысль об угрожающей человечеству опасности, вы понимаете, сударь, о какой опасности — опасности от кого? Ту же мысль, по тому или

иному поводу, но действительно глубоко, с присущим их гениальности своеобразием, высказывали, разумеется, не сговариваясь, Цицерон, Сенека, Тацит, Геродот, Магомет, Эразм Роттердамский, Лютер, Джордано Бруно, Вольтер, Франклин, Наполеон, Франц Лист, Ренан и Черчилль. Я всего лишь привел или, уж не помню, хотел привести слова Петра Великого, утверждавшего в развитие этой идеи, что он предпочитает видеть в своей стране магометан и язычников, нежели евреев. Он говорил, что они явным обманом и мошенничеством устраивают свои дела, подкупают чиновников и, несмотря на его императорское запрещение, становятся равноправными... И вот к чему это привело — я на пруте, а он...

— Ты мне не есть симпатичен, прости, голубчик, но это впрочем, не имеет значения... Фто с тобой? — спросил он стоявшего перед Львом Ильичем.

— Все люди рождены свободными, — услышал Лев Ильич голос Марка. — Черные, белые и рыжие. То, что я оказался нанизан на этот прут вместе с ними, свидетельство бездарности закона, готового бить и правого и виноватого, натравливать людей друг на друга, даже не пытаюсь выяснить их правду. Отсутствие свободы и права приводит к человеконенавистничеству. Освободите нас и все, что нас разъединяет, весь этот средневековый ужас и предрассудки окажутся химерами, живущими только ночью.

— За фто же тебя посадили на этот прут?

— Я никогда не поверю, что дело в моей откровенности. Но если остаться при факте... я только что разговаривал с человеком, которому открыл то, что, впрочем, и не скрываю...

— Кто ты такой? — услышал Лев Ильич.

Старик стоял прямо перед ним, в глазах его сверкали слезы, он коснулся медной трубкой прикованной к пруту руки Льва Ильича.

— Это он! — закричал в ухо Льва Ильича тот, кто навалился ему на спину. — Это он и есть — мешумед, гвоздь ему в задницу! Видели ли вы когда-нибудь, ваше превосходительство, еврея, который бы крестил лоб над гробом своего дядюшки? Не дай вам Бог увидеть это печальное и страшное происшествие! Когда мне говорят, что еврей украл или продал копейку за рубль — я его пожалею. Я его даже пойму, если он стал начальник, женился на гойке и ездит в черном автомобиле — еврей хочет жить и у него есть свой темперамент. Но когда он плюет в могилу своего дяди...

— Я тебя еще не спрашивал, голубчик, подожди...

— Как я могу ждать, когда он стоит перед вами, когда он висит на том же пруте, что и я, будто он мне родной брат, чтоб у заклятых врагов вашего превосходительства было сто таких братьев!..

— Федор Петрович, — сказал Лев Ильич, — освободите их всех, если можете, я один дотащу этот прут — вы ж видите, они ни в чем

не виноваты.

— А ты? — спросил доктор Гааз, уж конечно, это был он, — в чем ты есть виноват?

— Если я стану вам все перечислять, эти несчастные умрут голодной смертью и ваша доброта окажется для них злом. Соболаговолите распрощаться об их освобождении, а мне теперь все равно.

— Ты говоришь как человек, думающий о спасении души, способный к сердечному сокрушению. Фто ты сам и весь мир стал тебе тяжек и горек, говорит о том, фто ты есть на верном пути... Но, значит, правда, что они про тебя свидетельствуют — и их несчастье находится в зависимости от твоей слабости?

— Ах, Федор Петрович, — сказал Лев Ильич, — разве стоит чего-нибудь эта правда рядом с тем, что предстоит пережить всем этим людям — да не здесь, не на этом пруте, в лагере, где им придется провести годы, и они будут вспоминать об этой прогулке по степи, как о прекраснейших днях и часах. Что до того, что они нанизаны на этот прут, как плотва — им же не нужно работать, они спят на цветущем лугу, в розовом мареве, а их ждут зловонные бараки и бесконечное изо дня в день уничтожение. Если им легче от того, что во мне они нашли виноватого, причину их горькой судьбы — пусть себе! Я виноват уже в том, что ничем не смог им помочь, что их ожесточение нисколько не утишилось от их несчастья, что я ничего не понял о них, составив себе представление о людях на основании всего лишь их слов и собственных заблуждений о том, какими они должны быть. А ведь их-то я знаю так мало, но есть люди мне понастоящему близкие, которых моя вина подвесила уж на таком пруту... Что мне еще одно обвинение в том, чего я не совершал, когда я знаю, что сделал и продолжаю делать, несмотря на то, что мне открылась Истина, даны Заповеди, которые следует всего лишь соблюдать? Свобода, сказал один мудрый человек, не в отсутствии оков, а в невинности. Что мне делать, Федор Петрович, когда знание греха не дает мне возможности утишить мои страсти и помыслы, и я, едва избегнув одной бездны, тут же зависаю над следующей?

— Мы об этом поговорим, голубчик, а пока нас ждут дела важнейшие. Ты прав, когда не боишься того, что говорят о тебе — всем нельзя угодить, мало ли кто что скажет, святых, вон, и то осуждают, а уж нам грешным как избежать непонимания. Только кротостью и терпением можно оградиться от несправедливых упреков и клеветы. Они себе больше вредят, клевета на тебя — а что тебе может сделать человек, который все равно умрет — сегодня он есть, а завтра его не будет? Изменился ли мир, голубчик, чуть ли не за две тысячи лет, с тех пор как он узнал Спасителя? Одни говорят, что нисколько не изменился, что те же несчастья подстерегают людей и те же пороки съедают их заживо. Другие говорят, что мир стал так неузнаваем, что то, что когда-то еще можно было объяснить тем,

что Он нам заповедал, сегодня не способно охватить всю сложность жизни и сумму наших новых, будто бы невероятных познаний. И как для тех, так и для других это служит доказательством неисполнения пророчеств, а то и прямо ведет к афеизму. Можно ли, голубчик, возразить им, а главное — нужно ли? Если смерть Спасителя, распятого за нас, для кого-то недостаточное доказательство, то что мы можем слабыми своими силами, если Его слова им не слышны, то как они нас услышат? Люди друг друга, сами себя не понимают. Как же ты хочешь, чтобы они поверили тебе, вздумавшему о спасении собственной души и мучающемуся ощущением собственной вины перед ними? Разве стезя добродетели широка, а стезя порока узка, а не наоборот? Что ж ты удивляешься тому, что ты сам то и дело зависаешь над бездной — потому и зависаешь, что она широка, потому и проходишь, не заметив добродетели, что та тропа узка. Я ведь тоже жил, как и подобает моему положению, состоянию и учености. У меня был и выезд четверней цугом, и хороший дом в Москве, и суконная фабрика в Тишках, и ученые занятия, и известность... Что все это рядом с несчастьями, что открылись мне в этой проклятой людьми, но уж несомненно отмеченной Богом стране? Все, что у меня есть — это подозрная труба и возможность ночью взглянуть на звезды. Много ль мне удалось сделать или мало — разве нам это считать, важно знать, а у тебя всегда есть свидетель, отвернулся ли ты хоть раз, прошел ли мимо несчастного, несправедливости, помог ли больному и сироте? Здесь нет больших или малых дел — ты не за себя хлопочешь... И знаешь, голубчик, пусть тебе не верят, смеются над тобой. Но разве и правда, не смешную я представляю фигуру на этих дрожках — они вот-вот развалятся, запряженных этими клячами, которые вот-вот подохнут, я знаю, как по Москве говорят, что нам четверым — с моим Егором — уже четыреста лет! А мир — он такой же как был — это только города настроили, дороги замостили, корабли плавают, мироздание разгадали, лиссабонское землетрясение тебе тут же объяснят, гильотину в Париже — сделай одолжение, все ясно! — а про Спасителя Христа им скажи, про то, что жить без него, ну никак у вас не получится — засмеют... Ладно, голубчик, мы поговорим, коль у нас с тобой останется время... Послушай, любезный, — обратился он к конвойному, нетерпеливо прислушивающемуся к явно затянувшимся переговорам, — из того, что я услышал, я могу сделать заключение, что они все невинны перед Богом, простившим нам наши слабости и грехи, проистекающие от нашего несовершенства. А уж во всяком случае такого чудовищного наказания, к тому ж отмененного моими хлопотами, они никак не заслуживают. Первым делом сними их с этого прута, ибо тут ты несомненно нарушил имеющееся распоряжение...

— Да вы что, граждачин начальник! — закричал конвойный. — Смеетесь, что ли, надо мной? Уж не знаю, какой ваш мандат, только

не я их нанизывал, не я буду и снимать. Мне своя голова дороже. Да и нету невинных, стало быть, было за что — взяли, сиди! — мы-то с вами, гражданин начальник, почему не на пруту?

— Да ты фто! — закричал фальцетом доктор Гааз. — Да ты о Христе позабыл, за нас за всех невинно принявшем смерть!..

— Ребята! — крикнул Марк и, напрягшись так, что его затылок и шея перед глазами Льва Ильича стали багровыми, поднял над головой дрожащий прут. — Свобода не милостыня — ее берут силой! При счете "три" кидайте этот дьявольский прут влево — он оборвется! Раз, два...

— Слышите! — орал конвойный. — Что я вам говорю, вы что, оглохли?..

— Три! — крикнул Марк, и вся колонна с грохотом швырнула прут, рухнувший вместе с ними на колымагу доктора Гааза, опрокинув ее, двух кляч, кучера, битюга с конвойным и уж раньше других самого доктора.

— Еще раз! — звонко кричал Марк. — Свобода или смерть! Раз, два...

И уже Лев Ильич, с ужасом глядя на разбитые дрожки и раздавленного Федора Петровича, заражаясь общим азартом, раскачивал гигантский прут...

— Три! — громовым голосом гаркнул Марк.

Прут оборвался, зазвенел, и Лев Ильич так ясно услышал последний крик доктора Гааза...

— Да опомнитесь! Покажите документы!..

Он почувствовал, что рука его освободилась, теперь его крепко держали за плечо. Он поднял голову и очнулся.

Над ним стоял милиционер. Рядом визжала уборочная машина. А он сидел на полу, прижавшись к вокзальной скамье, под здоровенным провонявшим рыбой мешком, навалившимся ему на плечи. А ведь он все это время не спал — иногда подремывал, видел и эту визжащую, брызгавшую опилками машину, и бабу за ней, которая ворчала, всякий раз когда проезжала мимо, заставляя его подбирать ноги, и идущего к нему через весь зал милиционера. Устал Лев Ильич, многовато ему было, не по зубам.

7

Он сидел в такой знакомой до слез, радующей его тишиной комнате с зелеными зарослями на окнах. Перед иконой в углу теплилась лампадка, в комнате было убрано, Маша, видно, отзавтракала, на влажной клеенке лежало Евангелие, из которого Лев Ильич

уже однажды читал, тихонько позвякивали розовые колокольчики герани, и ему вспомнилось, как они пришли сюда впервые с Верой — как все это для него началось с такого же вот розового позвякивания. Впрочем, он вспоминал про это всю дорогу сюда, шагая теми же переулками от вокзала, заглянул в открывшуюся уже столовую и, не увидев Маши за кассой, свернул по хрустящему ледку во двор. Маша не удивилась, только глянула на него открыв дверь, тихонько охнула, а теперь сидела против, поставив локти на стол и опершись подбородком на раскрытые ладони. Она была в свежей беленькой кофточке и в темной юбке, только что вымытые влажные волосы тяжелым узлом были схвачены на затылке, и Лев Ильич снова подивился, какая она каждый раз бывает другая. Глаза у нее были непривычно тихие, губы не накрашены — она, вроде бы, и перестала краситься с тех пор, как он впервые ее увидел: губы казались особенно нежными, по-девичьи пухлыми, и вся она словно помолодела, очистилась, как будто сбросила с себя что-то.

Он, уже свернув во двор, подумал, что это ведь единственный дом, в который он, так вот, однажды случайно попав, в городе, в котором родился и прожил всю жизнь, единственный дом, куда он может незванным в любое время ввалиться, где ничего не нужно объяснять и ни о чем его не станут спрашивать — пришел, ну и замечательно! А сколько он раз виделся с этой женщиной — три, четыре, что он знает про нее — все, а может, ничего? Но было что-то другое, важнейшее этого пустого знания, что их, ничего еще друг другу не сказавших, так крепко и навсегда соединило. То, что он плакал тут перед ней, или что-то еще, раньше, когда слышал ее дыхание за своей спиной, стоя перед священником — то, чего никто и никогда от них не отнимет. Но разве она одна там была? Нет, здесь еще что-то произошло...

— Игорь спит, что ли? — спросил Лев Ильич.

— Ушел. Работу ищет, может, не возьмут еще в армию — за ум взялся, жених, — тихо улыбнулась Маша. — Чай станешь пить?

— Как Алексей Михайлович? — спросил Лев Ильич.

— Умер Алексей Михайлович. Вчера. Сегодня после службы и отпоют у отца Кирилла.

— Умер... Ты была там?

— Я в воскресенье была, как вы ушли. С отцом Кириллом ездили. А Игорь там ночевал. Тихо отошел. Да у него и сил не было. Ларисе тяжело, я-то уж что там, ладно — у меня Игорь. Вот когда узелок развязался.

— Вот ты почему такая...

— А какая? Освободилась, что ли?.. Может и так. Да ведь поздно уже, прошло мое время — как не было. Его и правда не было.

— А я на тебя смотрю — ты молодая, красивая, губы, как у девушки.

— Скажешь! Была девушка, да враз выйду в бабушки. Я, Лев Ильич, бабой сроду не была. Это у меня вид такой. Я знаю, чего ты про меня подумал, когда впервые встретились да я тебя компотом попотчевала. Я страсть люблю заводить таких, как ты. А пове-ришь — никогда бабой не была.

— Я тебе во всем верю.

— Нам бы с тобой десять лет назад встретиться — может, тот свой узелок сама бы развязала. А то надо ж, двадцать лет одна, без мужа, старика ходила утешать. А что он мне? Не вдова — не мужняя жена. Или все себя виноватой считала?..

— А если б двадцать лет назад? — спросил Лев Ильич.

— Про это не знаю. И представить себе не могу, кем бы я оказа-залась...

— Ты его любила, Маша?

— Фермора, что ль? Откуда я, Лев Ильич, могла понимать, что такое любовь? Девчонка, сколько мне было? а он такой, как ты. Только у тебя все на личности написано, не знаю, как ты жену обма-нываешь, а Фермора я никогда понять не могла — так, правда, и ума не было. Зачем я ему была нужна? Может так, согрешил, а человек совестливый. Он со смной и разговаривал мало, сидит, бывало, смотрит и смотрит. Или он рисовать все меня хотел...

— Нарисовал?

— Как же... Показать?.. Идем, поможешь.

Лев Ильич придерживал табуретку. Маша перебирала холсты на шкафу.

— Вот он, держи. Идем к свету.

Картина была небольшая, темно-красная. Маша сидела за сто-лом, накрытым цветной скатертью. Перед ней горела свеча в старин-ном подсвечнике, лежало то же самое Евангелие и рассыпанная коло-да карт. Она была, как и сейчас, в беленькой кофточке, кутала пле-чи темной старенькой шалькой, гладко зачесанные волосы открыва-ли чистый белый лоб и опять, как в той картине у старика — у Алек-сея Михайловича, главным и здесь были глаза портрета: живые, слов-но бы меняющиеся — или свет так падал? — удивительные для такой молодой, даже простоватой девушки — тихие, ласковые, чуть ли не веселые, на первый взгляд. Но чем больше смотрел в них Лев Иль-ич, тем отчетливей проступала за этой веселостью такая печаль, что казалось вот-вот они и впрямь наполнятся и прольются слезами...

— Какой замечательный художник! — воскликнул Лев Ильич.

— Не похожа. Я сроду не грустила. Это ему так надо было. Я потому и на шкаф спрятала. Ты представь, Лев Ильич, мы с ним год, пусть два прожили, а я потом чуть не двадцать лет с этими картинами — ну не смех ли? Я вот тебе сказала... — она сделала движенье убрать картину.

— Подожди, — попросил Лев Ильич, — пусть постоит.

— Влюбишься еще — что делать будем? Как-никак я тебе крестная, да и сын — твоей дочери жених... Али уж грешить так грешить?.. Я вот тебе говорю — никогда бабой не была, а знаешь, сколько во мне бабьего — и не тогда, с Фермором, я ему для модели требовалась, а потом, за эти годы скопилось? Что если б тебя встретить... Я потому так эту... твою не взлюбила — ну какая она баба, свиштушка и расчет имеет для себя одной. Не нравятся мне такие. Так, я гляжу, и у тебя с ней не сладилось?

— А ведь он любил тебя, Маша, — не ответил ей Лев Ильич, по-прежнему глядя в портрет. — Может, он тебя лучше тебя самой понимал, видел, какой ты, как говоришь, бабой станешь, как эти двадцать лет без него проживешь, сына вырастишь, как, если случится, себя ради кого-то... а все равно себя не... потеряешь... — Лев Ильич произнес это слово, вспомнил Любу и чуть не задохнулся, так схватило, защемило ему сердце.

— Ты что? Сердце болит?.. Чего ж я расселась — чаю тебе надо!..

Маша подхватила и загремела на кухне чайником.

Лев Ильич все глядел на портрет, в эти глаза, наполнявшиеся слезами, и думал о том, можно ли так понять, раскрыть человека, чтоб угадать его судьбу? Наверно, можно, коль считать, что случайности нет, что все не предопределено, но за тебя продумано — открыто твоей свободе, а она тоже ведь тебе дана заранее. Дан тебе твой уровень свободы... Нет, тут что-то не так было — какая ж свобода, если она д а н а, — и он усмехнулся, вспомнив свой ночной бред и Марка, раскачивавшего стальной прут: "Свобода — не милость!..", "Свобода или смерть!!..". Нет, тут о другой свободе шла речь.

И он вспомнил себя десять лет назад, вот когда, Маша сказала, надо б им встретиться, но другую свою встречу. Такая ж была девушка, как вон сидела перед ним на холсте — тихая, ясная, он ее сразу отметил, да и Люба не зря столько лет не забыла — манекенщица, сказала она, в ресторане на их юбилее. И что она плакала, на них глядя — вон, те же самые глаза, полные слез, и что телефон он ее записал — да не было телефона, адрес. И как однажды с приятелем, поздно ночью, когда выпить совсем было негде, а у нее наверняка найдется (откуда взялась такая уверенность?), поехали по адресу. Край света, новостройка — нелепые, огромные дома среди чуть подмерзшей глины — гигантский пустырь. И не город уже: черное, пустое шоссе, бешеные машины на аэродром, а за пустырем стройка, ночная смена — мертвенный свет прожекторов, визг лебедек, краны с проплывающими панелями — а людей не видеть. Адрес приблизительный — ни улицы, ни номеров, но уже азарт, все равно деваться некуда, метро закрыто — да где оно, метро! Они разулись, засучили штаны, по глине со льдом, в грязи по уши, еле выбрались, угодив в яму под фундамент, и, наконец, часа два было уже ночи, набрали на тот дом —

многосекционный, длиннющий, как стена, с мертвыми распахнутыми подъездами, только один, видно, и был заселен, светилась лифтовая шахта. Они ожили, подходя, обулись, Лев Ильич твердо обещал выпивку, но главная приманка была сама героиня — манекенщица, квартировавшая у подружки в новом жилье — тоже наверное того ж профсоюза. А после такого их подвига как было не ждать награды!.. Они все разыграли, пока топали вдоль дома от подъезда к подъезду, мимо поломанных ящиков, железного хлама, рваной бумаги: как позвонят, как им откроют, водка из холодильника на стол, а там...

Подъезд был действительно освещен, но плотно закрыт, заперт, они еще не верили, очень уж глупо получалось, но не ломать же? да и как сломаешь голыми, замерзшими руками. Покричали вверх: совсем было глупо — девятый этаж, окна закрыты, а живут ли на других этажах? И тут Льва Ильича осенило: другие подъезды открыты, наверх — и на крышу, а там через лифтовую шахту...

Они бежали, прыгая через ступеньку, опять было весело, опять там награда, уплывшая было совсем...

В этом подъезде чердак был закрыт, в следующем тоже, по третьей лестнице они шли уже не торопясь и не глядя друг на друга, тяжело пытели, отдувались. Но тут крыша над головой неожиданно поднялась, узкий железный трап круто вел вверх, над плоской крышей летела в рваных облаках луна, и все это вместе — небо над ними, глухо доносившийся сюда грохот мертвой — без единого человека — стройки, весь этот марсианский пейзаж с крыши огромного дома посреди развороченного экскаваторами пустыря, свежий ветер, прохватывавший здесь до костей, нелепость всего этого предприятия... Если бы им два часа назад, когда они сытые и в меру пьяные, хорошо одетые, приличные люди стояли на улице, лениво подумывая о том, пойти ли домой или еще куда, если б им тогда сказали, что через два часа они осознают себя на крыше двенадцатизэтажного дома, неведомо где и зачем...

—Посидим, покурим, — сказал Льву Ильичу приятель. — Мне так думается, с нас достаточно..."

Они все-таки добрались до шахты первого подъезда, она оказалась отпертой, спустились вниз и позвонили в дверь. Было полтретьего ночи.

Она его даже не сразу узнала, была заспанной, напуганной, но так счастливо смеялась их рассказу; подругу они не стали будить, пили чай на кухне, водки, разумеется, не было, и вот прошли десять лет, а Лев Ильич помнил те ее счастливые, беззащитные, открытые, доверившиеся ему глаза. Все-таки было что-то светлое, что мог он вспомнить, не угрызаясь и не оглушая себя бесконечной виной за все и перед всеми. Никакой она не была манекенщицей — студентка педагогического института, провинциалочка, подрабатыва-

ла в клубе, демонстрируя новые модели, да и плакала тогда в ресторане от одиночества — пить не привыкла, грусть-печаль жила, светилась в ее глазах и теперь, когда она так веселилась и радовалась им. И так все они трое были тогда счастливы, так хорошо им сиделось, и приятелю его — высокому красавцу, азартному и не знавшему промахов по части любовных дел. Так редко отказывается человек от соблазна, никогда не хватает на это сил, но так хорошо бывает, когда у него на это сил достаёт. И тогда всю жизнь бережешь это свое воспоминание, в нем черпаешь надежду и обретаешь уверенность в чем-то, чего и сам еще не способен в себе понять...

— Чего ты улыбаешься, отпустило? — Маша стояла перед ним с заварным чайником и чашками в руках.

— Развспоминался. Может, хорошо, Маша, что мы с тобой не встретились — и двадцать лет назад, и десять. Ничего б хорошего не получилось. А сейчас — смотри, как у нас замечательно.

— Да уж куда лучше — ты за сердце хватаешься, а я нерастряченным хвастаюсь, — а кому, зачем?

— Понимаешь, Маша, — говорил Лев Ильич, — человек рождается свободным... То есть нет, это глупость, конечно. Свобода рождается в человеке одновременно с ним, с его появлением на свет Божий. Это как в современных вычислительных машинах, очень просто: десятки тысяч вариантов, а ответ один — "да" или "нет". И вот перед человеком, с самого его рождения до смерти бесконечно мелькают те же самые варианты — бесчисленное их количество, в самых разных комбинациях, на каждом его шагу и нужно всего лишь сказать — "да" или "нет". В этом свобода, в этом потрясающий замысел Бога о человеке — потому что здесь Он уже бессилен, Он заранее связал себе руки, отказавшись говорить за нас — а Он своему Слову не изменяет. Но человек так редко, а если говорить о нашей обычной скотской жизни — почти никогда — не говорит "нет", он всегда твердит "да!". "Да!" — кричит он навстречу любой слабости, каждому искушению, всякому перед собой, перед замыслом о себе преступлению. И вот этих "да" за жизнь накапливается столько, что когда человек, наконец, опоминается, когда видит весь этот уходящий в десятилетия его коротенькой жизни чостокол "да!" — то уж его "нет" кажется ему таким маленьким, слабеньким, никак не могущим загородить тот постыдный чостокол. "Как мерзко", — говорит себе человек и совсем впадает в ничтожество. "Нет" для него уже бессмысленно, на "да" уже не хватает сил и азарта... Но ведь это неправда — неправда, Маша, потому что и робкое, пусть однажды шепотом произнесенное "нет" — стоит всего чостокола, потому что коль ты все-таки скажешь "нет!" — пусть чепуха, нечем гордиться! — но ты уже сразу не один, ангелы на небесах ликуют, да ты сам услышишь шелест их крыльев вокруг себя, тебя приподнимет сразу, и так, шаг за шагом, ступенька за ступенькой...

— Ты говоришь сейчас почти так же непонятно, как Фермор молчал, — сказала Маша. — Глядишь на портрет и говоришь — а к кому ты обращаешься? То, что там нарисовано, не имеет ко мне отношения. Я, видишь как, Лев Ильич, с самого начала сказала "нет" — а теперь раскаялась. Да и это неправда: не пожалела, скучно мне от самой себя стало.

— В этом, наверно, и есть гениальность художника, — продолжал свое, ее не слушая, Лев Ильич, — он в каком-то озарении, чего обыкновенному человеку, ну как нам с тобой, никак невозможно, а ему внятно, он понимает существо, предел свободы в человеке, про которого он думает или его изображает. Он не тебя здесь нарисовал, верно. То есть не тебя внешнюю. Ты говоришь, все смеешься — не грустишь, бабой не была — да что ты, Маша, разве это в тебе главное? Он т е б я в тебе увидел — в девчонке, твою свободу измерил, ее беспредельность, ее силы, этой силе, а в ней твоему страданию поклонился — все это написал красками на холсте. Все написал: свое восхищение и свою горечь за тебя, свое бессилие тебе помочь, когда его не будет рядом, и главное, свою любовь и печаль, разрыв-тоску. Да и не только к тебе, ты тут не одна, ты тут вместе с этим столом и комнатой вписана в мир, что маячется вокруг тебя, да и сам он — художник, которого я в глаза не видел, где-то здесь, за спиной, что ль, за твоей стоит или на меня твоими глазами смотрит... А я было тут вспомнил свой подвиг — куда мне! за всю-то жизнь раз в карман не залез, свое "нет" прошептал, десять лет назад, а до сих пор оно меня баюкает — куда мне!

— Экий ты, Лев Ильич, проповедник, все мне про меня рассказал, а всего лишь полюбовался на портрет, писанный двадцать лет назад. Тебе бы с Фермором его обсуждать, а меня при том и не нужно. Зачем я — модель! Нарисовали, обсудили, ну приголубили разок-другой — не большой грешок, зато картина с натуры, иди себе двадцать лет... Куда, ты говоришь, мне с этой свободой, которую Фермор во мне открыл, чего мне с ней делать, я позабыла?

— Да, — покрутил головой Лев Ильич. — Крепко. Поделом.

— Наверно, ты такой же, как он. Только рисовать не умеешь. Это я другая стала — не про меня портрет. Вот теперь бы ты мне в самый раз. А что толку, Лев Ильич, прошла жизнь, вот в чем печаль — ты погляди на меня?..

Он и без того на нее глядел. Да, это была другая женщина — совсем не девочка на портрете. Совсем не девочка — но все та же Маша! Вот в чем была гениальность Фермора, что он то увидел, чего она про себя не знала, а знала бы, ничем не поняла. Она и тогда все отдала, что было в ней, и на минуточку о будущем не позаботилась — сохранить бы чего на черный день, все отдала, а потому сохранила! Дел-то, что прелесть девичья ушла, так зато бабья загадка появилась: это уж на любителя — кому пряники, а кому соленые огурцы. Те же

самые глаза глядели на Льва Ильича, та же беззащитность в этом отсутствии собственного расчета и печаль, подымавшаяся, плывущая к нему из глубины — такая печаль, разрыв-тоска, что у него опять захолонуло сердце.

Он ничего ей не ответил, протянул руку, пододвинул Евангелие и раскрыл его.

— "И увидел я новое небо, — прочитал он вслух, — и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни воплей, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло..." Что это? — спросил Лев Ильич и поднял на нее глаза. — Что это, Маша, как это понять?..

— Каждый тут понимает по своему разумению, — сказала Маша. — А я тебя так полюбила, Лев Ильич, прости ты меня, ты же не можешь про меня плохо подумать? Так полюбила, что про тебя принимаю. Это про тебя все сказано, про твою печаль и про твою надежду. Прежнее пройдет, Лев Ильич, да уж прошло, разве в наших сроках тут дело. Но потому что мы живы — вот она в чем она печаль откуда. Но потому что Он будет с нами — вот она в чем надежда... А я всегда буду здесь, ты про то помни. Что б ни было с тобой — ты про то не забудь. Ты все не так на меня глядишь, — она засмеялась, глаза вспыхнули, стали отчаянными, веселыми, как тогда, в первую их встречу, в столовой, — это тебя портрет сбил с толку, — и она повернула его лицом к стене. — Теперь гляди — видишь, я какая? Ты приходи, любой приходи. Делов-то с нашей бедой разобраться — один ты, что ли? А у меня, знаешь, сколько сил?..

— Маша... — благодарно прошептал Лев Ильич.

И тут длинно, резко, в тишине квартиры, как железом по железу, задребезжал телефон...

— Тебя, — сказала вернувшись из коридора Маша, Лев Ильич с удивлением глядел на ее вспыхнувшее лицо и уже совсем другие, враз потемневшие глаза. — Валяй, проявляй свободу.

— Меня? — недоумевал Лев Ильич.

Он подошел к телефону, с тоской взял трубку, держа ее в опущенной руке, не поднимая, глядя на нее, как кролик на змею. В трубке что-то защелкало, потом издали, глухо, как из подземелья, послышалась музыка — старая, с юности знакомая мелодия...

Он решил и прижал трубку к уху.

"Счастье мое, — хрипела трубка, — я нашел в нашей дружбе с тобой... Ты для меня и любовь и мечты..."

— Слышишь? — ударил его в ухо, будто совсем рядом, за стен-

кой голос — он не узнал его сразу.

— Кто это? — спросил Лев Ильич.

”Счастье мое, это молодость в сердце поет...” — пропел тот же голос — не пластинка. — А ты говоришь ”кто”! Эх, Лев Ильич, ”счастье мое”... Я должна тебя видеть. Немедленно.

— Что с тобой, Вера? — со страхом спросил Лев Ильич.

— Приезжай. Приезжай сразу, ни о чем не спрашивая. Запомни адрес и — сразу...

8

Нет, тут все было понятно, какая ж загадка? — как он мог не поехать, не услышать того, что дрожало в ее голосе поперек жалкой трехкопеечной бравады. Это-то он только и услышал, потому и бросил Машу на полфразе, да в таком разговоре, наверно, для нее не простом, коль она его двадцать лет не решалась начать... А может, это обычный жалкий механизм в нем сработал — чего считаться с женщиной, которая тебе так беззащитно признается в любви, тут уж садись ей на шею — все равно повезет!.. Нет, отмахнулся Лев Ильич, разве такие у него с Машей были отношения... Ну да, конечно же, высшие отношения, а потому зачем с ними считаться, церемониться, их всегда можно отодвинуть в угоду тому, что поплоче, высшее-то всегда поймет, простит, грубости не заметит, на то, мол, и высшее, останется с тобой, а вот что пониже, можно так ведь и потерять... Не так разве, чего уж там такого услышал он — Лев Ильич, в воркующем нежно-самоуверенном голосе, промурлыкавшем ему пошленький мотивчик его юности? Воркующую пошлость он услышал, а остальное домыслил, тут же выстроил, подвиг себе сочинил — спасать кинулся по первому слову! Чего тут было оставаться — здесь тебя спасают, собой готовы жертвовать, ну стало быть, можно и отмахнуться, сказано тебе — всегда, в лобом виде, и дверь будет для тебя открыта. Зачем же ноги вытирать, себя беспокоить — шагай в грязных сапогах, подотрут, чего там!.. Примитивно, грубо, но уж коль правду себе говорить, или все будем лгать, как всю жизнь лгал с успехом?.. Другое дело, что может, на похороны надо было ему пойти... ”Что значит и а д о?..” Да и удобно ли — кто он им, чего набиваться...

Нет, так тоже нельзя, — Лев Ильич на ходу промокнул грязным платком горящее лицо, — зачем перебарщивать, это тоже какое-то сладострастие начинается в саморазоблачении, тоже, небось, грех. С Машей у него одно, а тут — другое, что он, сексуальный маньяк, что ль, какой, только ему не доставало, действительно, ки-

нуться ей на шею!.. Верно! о том и разговор: то, что он сейчас, прихлопнув дверь, оставил у Маши, всего лишь нечто высшее, ради чего он родился на свет Божий, а потому подождет, не к спеху — а тут загорелось!..

Льва Ильича совсем в жар бросило. Он меж тем четко шел, улицы перебегал, сворачивал, маршрут сразу себе наметил, выбрал еще там, сжав в кулаке телефонную трубку: глаза страшатся — ноги делают! Выбрал, проявил, осуществил свою свободу Лев Ильич, шелкала его вычислительная машина, быстренько отсчитывала варианты, только только потрескивала!

Теперь он твердо знал, понял, что не там было начало всему, с ним случившемуся, не там, куда он так торопился, что себя позабывал. Это только спервоначалу так показалось: поезд, невероятность встречи, разговор, подхвативший, продолживший все, что в нем уже и без того говорило, нежность, то, как взяли его за руку и привели... Кто взял, к чему привели?

Нет, про то не готов был думать Лев Ильич, еще надо было ему да не так расшибиться. Другая была встреча — она и стала главной, той, что все определила, а в ней не было ничего невероятного, что бы его остановило или озадачило. Не было разговора, которого он так жаждал, не было воркующей нежности, по которой так истосковался. Вот где была в с т р е ч а, которой он не узнал, ни за что принял — водку, подкрашенную компотиком, проглотил, комнату пришел снимать, а оно вон чем обернулось! Да и теперь все так же было — что в нем изменилось-то, где он, опыт, чему он его научил? От настоящего, подлинного, сломя голову кинулся бежать по первому знаку, едва ему заигранная пластиночка прохрипела...

Теперь она хрипела на всю лестничную площадку, только лифт остановился: "Утомленное солнце нежно с морем прощалось..."

Вера бросилась к нему, обняла, прижалась прямо на пороге. От нее пахло вином, на ней было легкое платье с глубоким вырезом, янтарные бусы лежали на обнаженной груди, он и не видел ее никогда в платье — свитер да джинсы...

— Пришел, пришел! Ко мне, ко мне пришел!..

— Чего это, Вера, с какой ты радости с утра?

— Что пьяная, что "утомленное солнце"!.. Ах да, конечно, у нас Великий пост! А если это последний мой пост, если у меня Пасхи не будет, тогда как?.. А ну-ка, снимай свое дурацкое пальто, милый мой, самый дорогой на этом свете человек... А если у меня этого света больше не будет, если ты последнее, что у меня здесь осталось?.. Тогда можно? А ну-ка, я на тебя посмотрю — черт, темно здесь! — такой, такой, как должен быть, только ты такой... Наташка! Можно к тебе? Сейчас я тебе его представляю... — и, касаясь горячими губами его уха, шепнула: — Замечательная баба, увидишь, самая моя близкая — навсегда, со школы, на всю жизнь...

Она схватила его за руку, протащила по темному, хрипящему пластинкой коридорчику, и распахнула дверь в комнату. Посреди нее в коляске лежал распеленутый младенец, а возле стола с разложенными на нем пеленками, спиной к окну — лица не разглядеть — маленькая, круглая, из нескольких шаров составленная женщина, в халатике, в тапочках на босу ногу.

— Вот он! — Вера схватила Льва Ильича за волосы и дернула вниз. — Кланяется тебе — у тебя остается. Мое тебе завещание на этом свете. Поздно схватилась, да, видишь, успела...

Ошеломленный Лев Ильич только глазами моргал.

— Ты не смотри, что он такой тихий, — все держала Льва Ильича за волосы Вера, — он, знаешь, что у Юди учинил! Им на целый год хватит расхлебывать. Ну что ты, я такого в жизни не слышала!.. Ты лучше на нашу Варвару погляди, а? Наташк, смотри, как на мужика вытаращилась! Понимает настоящего мужика — ну девчонка, а, Лев Ильич!..

Крошечная девочка сучила толстенькими ножонками, пускала пузыри, не сводя глаз с Льва Ильича.

— Нет, Наташка, — захохотала Вера, отпустив Льва Ильича, — ты только посмотри на него, а? Покраснел, ну покраснел же!..

— Ладно тебе, — оборвала ее Наташа и бросила на девочку пеленку, которую та тут же ножонками сбросила. — Ты мне ее напугаешь. Идите на кухню, я ее только перепеленаю.

— Ну разве не чудо! Трехмесячную девчонку нагишом увидел — покраснел! — не унималась Вера.

— Ладно тебе, — повторила Наташа.

— Господи, Наташа! Ну может ли такое быть, что я больше никогда всего этого не увижу? Тебя толстуху, с Варькой не поговорю, с этим чудачком больше не поцелуюсь, пластинки эти идиотские... Ты под них, Лев Ильич, под них учился танцевать?.. А мы с Наташкой в седьмом классе на первой танцплощадке... У нее — не у меня, у нее! — кавалер был, а на меня и не посмотрели, а? Ну что она против меня!.. Отдашь пластинки, я тебе взамен Льва Ильича оставлю — сторговались?.. А то еще мне Варьку впридачу, зачем она тебе, а? Вы со Львом Ильичем еще не таких наделаете!..

Девочка еще раз брыкнула ножками, сморщилась, покраснела и неожиданно басом закричала.

— Уходите! — разозлилась Наташа. — Я сказала, что ты ее напугаешь... Я сейчас.

На маленькой кухоньке на столе стояли две бутылки портвейна, разрезанный торт, яблоки.

— Бабы поминки, — сказала Вера. — Выпей за меня, — и расплескивая вино на клеенку, налила ему полный, с верхом стакан.

Красивая была женщина Вера Лепендина, в девичестве Никонова: и рассыпавшиеся сейчас по плечам темно-русые волосы, и

зеленые, непрестанно менявшиеся глаза с небольшой косинкой над широкими скулами, и тонкие брови над ними, и чуть оттопыренная нижняя губа, а под ней ямочка на подбородке, и стройная шея в глубоком вырезе платья над высокой грудью, и угадываемое под легким платьем сильное тело... Да уж чего там было гадать Льву Ильичу.

— И я с тобой выпью, — подняла она свой стакан. — За меня — не пожалеешь... что выпил?.. Ну вот и спасибо. Уважил... Значит, первая моя мысль была тебя увидеть — сбылось! Помнишь, как ты мне там, у отца Кирилла, когда соблазнять вздумал — ты меня или я тебя, кто кого соблазнил? — ты тогда сказал, что умеешь глянуть разок, отвернуться, а потом на свободе рассматривать, пока не сморгнешь?.. Ну вот и я теперь так — нагляжусь на тебя на этом свете, а потом вовсе моргать не буду. Это первая моя мысль была. Вторая — чтоб ты выпил за меня. Видишь, и она сбылась. Ну а уж третья, как Бог даст, я тебя и так не забуду. Так даже лучше... Чтоб больше ничего такого не было, чтоб без обмана... Напугался? Эх ты, миленький, да не трону я тебя...

— Что с тобой, Верочка, я ничего понять не могу. Ты и там, у этой... Эппель, все что-то недоговаривала, все что-то начинала и сама себя обрывала, и теперь...

— У Эппель! А признайся, Лев Ильич, что ты там про меня подумал — что я из ее гнезда курочка? Подумал ведь? А у меня, вишь, Наташка есть. Во как все перепутано...

Она вдруг села за стол, враз потухла, вытащила из пачки сигарету, зажгла спичку и, затянувшись, совсем другим голосом сказала:

— Правильно подумал. В том-то и дело, что я оттуда.

Смутная догадка мелькнула у Льва Ильича, он ее тут же отогнал, но она вернулась, и он сразу вспомнил рассказ Веры о себе, в котором что-то не было договорено, и то, как странно она начинала и бросала что-то, не досказав, в комнате с мебелью "Людовика ХУ", и то, как просила его непременно снова прийти туда, хотя и видела, что ему это трудно, будто бы для того, чтоб что-то решить...

— Не может быть! — сказал он, глядя в ее, вдруг ставшие холодными, безразличными ко всему глаза.

— Понял? Ну и слава Тебе, Господи, мне легче — не объяснять.

— Не может быть, — повторил Лев Ильич, — я ж тебя так знаю...

— Ты — меня? — засмеялась Вера, да так, что у Льва Ильича холодок прошелестел по спине. — Это я про тебя, чудо ты мое, обо всем догадалась, и не потому, что ты мне свою биографию так художественно изобразил, так и то удивил — над трехмесячной девчонкой покраснел, а про меня сейчас только я одна да еще Кто про всех про нас знает... Что ты мне сейчас будешь говорить — раньше надо было. Если бы был подгадливей. На то я и рассчитывала, что догадаешься.

Я за тебя и ухватилась там — еще в поезде. Все уж было кончено — с плеч долой, с бабкой распрощалась — с нянькой. Отец у меня там — у няньки похоронен, в Коломне. А тут ты — как снег на голову, как в чудо не поверить, когда живое чудо рядом сидит и на меня во все глаза смотрит?

— Что ж ты...

— Да чего я? Я в тебя и вцепилась — небось, я тебе позвонила в первое же утро, не позабыл? Небось, и там я сама — не ты, ты бы меня, как гимназист, еще полгода соблазнял, а у меня времени одна неделя оставалась. А потом, как совсем заматалась, к Юдифи тебя вытащила, да конечно, не то было место, да нет — это ты был не тот. Если б и там, еще б тогда — еще не поздно было...

— Что поздно, Вера, что ты все время — о чем ты?

— Ну ладно — чего уж теперь загадками. Об этом по-русски грубовато, но так точно сказано, когда человек хочет и рыбку съесть и... Одним словом, чтоб все у него было в полном порядке. А я еще мало выпила, чтоб с тобой так откровенничать. Да и не стану больше пить, ты на меня тоску нагнал... Я подумала тогда еще, в поезде, что мне, кроме тебя, ничего на свете не надо, с таким бы, как ты, все сначала, с первого колышка, лишь бы тут остаться, за все за это любую цену уплатить. А ты такой рыбкой оказался — с тобой всю жизнь и просидишь возле колышка, ты и заборчика вокруг не поставишь? А мне мало, не смогу, мне и забор нужен, и домик с садиком, а там и гаражик подземный... Ну годишься ли ты для такой великой стройки?

Лев Ильич молчал и больше ни о чем не спрашивал — захочет, сама все расскажет. Он только над собой горько усмехнулся — над тем, как подхватился там, у Маши, и кинулся сюда — верно, какой он строитель.

— Уезжаю я, Лев Ильич. Совсем и навсегда.

— Куда? — глуповато спросил Лев Ильич, словно позабыл, что сам про все догадался — затопил он в себе свою догадку, может, мол, из-за того она чепухой окажется? Да и надоело ему ошибаться, все не так про других думать. А тут не про других — про женщину, с которой, уж понимал он, черт его повязал веревочкой, да не враз та веревочка и порвется.

— Все, миленький мой. Паспорт у мужа в кармане, завтра визы, ничего больше нет. Прощай, Лев Ильич, не судьба.

Да уж надо было давно догадаться. Догадался он, у него и тогда еще, у отца Кирилла, мелькнуло это, проплыло, а у Юдифи и совсем было ясно, много проговаривалась. Да мало ли какие догадки про другого к нам порой залетают, так, к счастью, редко реальностью — правдой оборачиваются. А тут что было фантастического?.. И он вспомнил Колю Лепендина в алом свитере, в своем бывшем доме. Ее — Веры рассказ про него, его друга, вызверившегося на него

— на Льва Ильича еще у Валерия, когда прощались... Так не про Колю шла речь и не про других-разных — Бог с ними, как ему было в чьей-то судьбе разбираться и кого-то осуждать, его ль то дело — не про них...

— Верочка... — сказал он хрипло, — ты не можешь, не должна...

— Ах, пустяки какие — должна-не должна! Кому я чего должна — уж не тебе ли? — и опять посмотрела на него чужими, холодными глазами, даже ожесточение почудилось в них Льву Ильичу: он, и верно, ничего не знал про нее, и рассказ ее про себя оказался литературным — сам же так прошлый раз определил.

— Ты себя губишь, — сказал он. — Ты знаешь, что губишь — зачем тогда? Ты и здесь с ним пропадала, но тут хоть стены помогали, эти хоть, — он кивнул на кухню, с развешанными пеленками, тазом, и замоченными тряпками на полу, кухонным столиком, уставленным детскими бутылочками, — а там что?

— А ничего, — просто ответила она. — Что ты ко мне привязался, когда все ясно и подписано. Ты зачем раньше молчал? Может, я хочу себя погубить, а может, мне та погибель слаще здешнего рая, который ты мне пообещать — угадала ведь, а? — все собираешься. Я тебе объяснила, чего мне нужно — подземный гараж. А из твоего рая я все равно б убежала — к другому, такому ж Лепендину, все, что ль, они уедут, думаешь?

— Неправда это все, — сказал Лев Ильич. — Не может этого быть, чтоб ты мне тогда... там ты меня не могла обмануть.

— Ах, простите, коли что не так! Опять станешь меня мне объяснять?

— Да нет же, Верочка, я не про себя. Ну ладно, может я действительно неспособен — сейчас то есть, чтоб конкретно, потому врасплох, хотя, что говорить, давно следовало догадаться, хоть ты и молчала, но тут не обо мне, о тебе речь! Ты ж не зря ко мне кинулась, ты все-все мне сказала: как едва жива осталась там, как сына там погубят — ну причем здесь я?

— Я к тебе за тем кинулась, что напоследок хотела здесь... в тебе остаться. Да я тебе про то говорила — чего не веришь? А заодно и тебя попытать. Что я могу поделат, когда это не мое... Да ладно уж, Лев Ильич, не про то мне надо думать, доживу, как начала — давно нет Верки Никоновой, не туда шагнула, раньше надо было — поздно...

”Эко они все об одном, — мелькнуло у Льва Ильича, — такие разные, ничего общего нет, а все им ‘поздно’. Неужто у меня еще время есть?..”

— Не надо, Лев Ильич, — попросила Вера и положила руку ему на колено. — Не нужно, миленький. Это счастье, что у меня сил хватило от тебя отказаться. Или не достало, чтоб все сломать и оста-

ться здесь, с тобой. Это как хочешь понимай, но все равно хорошо. Потому что тебе не я нужна — я порченная, это ты по доброте не заметил. Я ведь правда счастлива, что тебя встретила под конец, а теперь никогда не забуду. Научил меня запоминать — уж не сморгну, поверь... Тебе бы, знаешь, какая баба нужна — не жена, знаю я Любу, она как я, ну может, получше, получше-то не трудно. Да все одна порода. Тебе бы Машу, — ту, из столовой. Я это сразу подумала, как она тогда к нам подселла из-за своей кассы. Ты вон ее спроси, что она обо мне понимает, даром что простая баба, а поумней будет нас ученых. Да и покрепче. Небось, обиделась на меня из-за комнаты — что обманула? А главное, знаешь что? Она тебе никогда счет не предъявит. А я б обязательно предъявила, все б вспомнила — а ты ж все равно тот мой счет не оплатишь...

— Господи, когда она правду говорит? — думал Лев Ильич. — Или так ей легче, что, вроде, ради меня приносит себя в жертву?..”

И она ответила ему прямо на его мысли о ней.

— Вот, хоть одно доброе дело я тут напоследок сделала — тебя не погубила, руки тебе не связала. У тебя, Лев Ильич, правда ведь, жизнь начинается. Все для этого есть, чего во мне сроду не было, как и у моего родителя. И Коля тут не при чем. Да и ни в ком я здесь такого не видела — если б раньше встретиться, все, может, и переменялось бы! А теперь хоть буду знать, что бегу не из пустыни, а наоборот — в пустыню. Это Коля здесь все проклял, а я, видишь, любовь оставляю — тем и спасусь... Все, миленький, хватит. Не могу больше, — она подошла к двери, распахнула ее и крикнула: — Наташа! Иди сюда, он мне всю душу вымотал!..

Наташа вкатилась в кухню. Она, видно, едва успела переодеться: на ней было криво застегнутое платье с намокшей тяжелой грудью, из-под короткого подола, открывавшего толстые колени в перекрученных чулках, выглядывала рубашка, над ушами торчали в разные стороны туго заплетенные косички-хвостики, перехваченные ленточками — белой и зеленой, круглые глаза за торчащими кирпичными щеками посверкивали как угли.

— Я тебя просила, чтоб тихо было, — буркнула она, — еле укачала. Уезжаешь — уезжай, а Варьку мою не тронь...

— Ах вот ты как со мной? — остановилась у стены Вера. — Мы последний раз в жизни видимся, а ты...

— Посему мы сейчас выпьем разгонную, а уж тогда, если что есть, друг другу скажем...

Она прочно уселась, налила себе полный стакан и подняла перед собой.

— Вот так, — сказала она. — Сначала надо выпить, может, тогда разберемся. За тебя, Верочка, — и выпила.

Рука у нее была маленькая, крепкая, она пила как-то удивительно бережно, вдумчиво, с поразившим Льва Ильича прямо уваже-

нием к напитку, будто не был это поганый портвейн, которым алкаши опохмеляются, а вино, о котором мы читали только в романах, никогда его в глаза не видевши.

— Значит, со мной теперь так можно разговаривать? — повторила Вера.

Она не садилась, по-прежнему стояла у стены, в глазах закипали слезы.

— Первое, что я тебе хочу сказать, — Наташа поставила стакан и жадно закурила. — Вы меня простите... — она галантно тряхнула косичками, — Лев Ильич, я не ошибаюсь? У меня время мало, через пятнадцать минут нам с Варькой гулять, так что если что не так... А мы, верно, последний раз, не до светских ужимок, — она сделала гримаску и означавшую, видимо, светскую улыбку.

— Я могу выйти, — сказал Лев Ильич.

Наташа посмотрела на него, хотела, видно, что-то сказать, но передумала, махнула рукой с сигаретой и забыла про него.

— Ты думала, я над твоим подвигом стану слезьми умываться? — спросила она, оборотившись к Вере.

— Я думала, ты по крайней мере поймешь, что мы больше никогда не увидимся, — ответила Вера.

— Значит так, — сказала Наташа, — пластинки я тебе не дам.

Вера сделала было движение, но Наташа ее прервала.

— погоди... не велика ценность — старое заигранное дерьмо. Но мы под них целоваться учились, я еще доживу, Варьку научу. Другие отсюда иконы вывозят... Я хоть в вашем христианстве не много понимаю — не сравниваю, могу сообразить что к чему, но если в моих силах не дать мою собственную — да и твою, твою, дура! — юность, душу вывезти, ну неужто ты думаешь, я это сделаю? Да если б хоть любила его — своего Лепендина, любила так, что для тебя ни меня с Варькой, ни пластинок этих идиотских, ни Бога твоего — ничего на свете не было, разве я б тебе тогда чего сказала? Да все забери, беги, закрыв глаза, за своей любовью, пусть все прахом идет — так и говори, чего нам голову морочить и слезы проливать. Но я-то ведь знаю, меня тут не обманешь, знаю, чего стоит та твоя любовь. Да хоть бы он гением был, которому для его гениальности обязательно Атлантический океан нужен, а у нас всего лишь Тихий — не годится. Да я б тогда нашла какого ни то фирмача, он бы мне приволок ведро той воды из Атлантического — на тебе, залейся! Тоже мне проблема — Атлантический океан! А не так, пусть бы плакал над своим погубленным гением, нам эти слезы подороже всех его открытий. Так ведь и не гений — жулик твой Лепендин, и ты это знаешь лучше меня. Значит, что ж тебя туда тащит — расчет поганый, который мне никогда не понять, я в те цифры не обучена? Потому я не дам тебе пластинки, чтоб ты там, в своем бунгало, или уж не знаю чего вы там купите-построите, в своей комнатке с какой-нибудь та-

кой же, как ты зассыхой, под калужскую водку, которую там за большие доллары купите, да под эти пластинки соплями обливались? Не хочу, не верю — нет тут трагедии, нету тут любви, ложь, которая, стала быть, всегда была, а теперь наружу вышла.

— Ты... соображаешь... — начала было Вера, белая как стена, у которой стояла.

— Соображаю. Я тебе всегда правду говорила, а теперь, когда никогда не увидимся... Кто ее еще тебе скажет — этот вот? — она бегло глянула на Льва Ильича. — Ничего он не скажет, да он тебя и знать не знает.

— Наташка! — крикнула Вера.

— Да я лучше перебыю все эти пластинки! — закричала, срываясь с места, Наташа. — Сейчас их все переколочу, только чтоб они туда, в твое поганое бунгало, не попали!..

— Господи! — прорыдала Вера, распахнув дверь, выскочила, сорвала с вешалки пальто, вбежала с ним в кухню, схватилась руками за горло, да и выбежала вон, грохнув входной дверью.

Все это произошло так быстро, что Лев Ильич и опомниться не успел.

Наташа снова села к столу, взяла бутылку, она чуть было не выскользнула у нее из рук.

— Да налейте ж вы... мужчина! — сказала она. — Раз уж выбрали, за ней не побежали...

Лев Ильич налил ей стакан. Она подняла его, рука у нее дрожала, отхлебнула и сказала, посмотрев на Льва Ильича:

— На погосте живучи всех не оплачешь — вон как сказано, — и заплакала, проливая вино на платье.

9

"Теперь — только Костя!" — подумал Лев Ильич. Нет, здесь все было не так примитивно — не так, и уж во всяком случае, не совсем так он подумал. Наверно, и не смог бы разобраться, найти логику и смысл в этом своем решении. Другое дело, что если б он отыскал эту логику и смысл, он бы, скорей всего, этого не сделал, его именно примитив толкнул на это, ему хотелось, ему надо было учинить над собой что-то невероятное, он не просто катился с горы, ему мало было этой все увеличивающейся скорости — не катился он, сам бежал сломя голову, повинуюсь только одному, выставшему в нем, дразнящему и сладкому ужасу.

Это произошло с ним вдруг, неожиданно, напало на него врасплох, подстерегло в мгновение оглушительной слабости и ко всему безразличия. Он бесцельно и тупо брел по улицам, ничего не замечая

вокруг, у него еще стоял в ушах Верин крик — безнадежный и отчаянный, он еще казнил себя за свою вину перед ней: если б догадался и вовремя что-то сказал, остановился, нашел в себе силы, проявил житейскую мудрость, про себя позабыл... Если б то да это... Но все тише, все более ускользавшими были эти запоздалые мысли и сокрушения, тем более знал в глубине души, твердо знал, что она права, что не годился он для этой роли, что не умел, не смог бы, да и не нужны были б ни ему, ни ей эти его силы и житейская мудрость. Безнадежное это было дело, и с самого начала обречено.

Он вдруг остановился. Проулок круто сбегал вниз, делал крутой поворот, а там, внизу, на месте сломанного дома, открылся ему пустырь. Было холодно, в проулочке дул ветер, как в трубе, нес мокрый снег, бил прямо в лицо. "Экую погодушку черт послал..." — бормотнул Лев Ильич да осекся — такой сыростью враз потянуло.

Он плотней надвинул кепку, застегнулся доверху, раздумывая, вниз, что ль, идти или отвернуть куда, раз такой ветер.

На пустыре еще лежал снег — старьй, зимний, слежавшийся, уже потемневший, ноздреватый, чуть свежим, мокрым присыпанный. А посреди большущая проталина, едва припорошенная, с сухой прошлогодней травой и листьями. Льва Ильича останавливало что-то, он еще успел подумать об этом мертвом, разлагающемся, обреченном уже снеге и, словно бы тоже мертвой, но готовой вот-вот очнуться земле; пригреет ее солнышко — живая вода ее sprыснет и... Но земля его сейчас поразила: мертвая, заледеневшая, пустая, но уже все равно так бесстыдно обнажавшаяся, раскинувшаяся, ждущая и готовящая себя...

Вот она что ему напомнила, вот на что был похож этот темный зев, сжиравший снег, падавший на него мокрыми хлопьями!

Безобразное, мерзостное ощущение прошло сквозь него и заставило содрогнуться. Но он не бросился прочь, не отвернулся, его как приковал к себе этот пустырь с тем, что ему в нем привиделось. Да причем тут был пустырь, проулок, снег и ветер, бивший в лицо — это все в нем было, сидело, ждало своей минуты, затаившись до времени, а тут уж она пришла!

Он лишь сначала удивился, что не почувствовал к ней ни жалости, только что вроде бы его сокрушавшей, ни раскаяния, от того, что не смог помочь — прямо же сейчас про это все думал? Он увидел ее такой, какой она была еще час назад, перед тем как кинулась в дверь: вырез платья, открывавший стройную шею и высокую грудь с лежавшими на ней крупными бусами, он увидел ее там, у отца Кирилла — без бус и без платья, ощутил прикосновение ее рук, губ — жадных, дрожавших... И — кинулся бежать.

Он его быстро разыскал, память у него была цепкая, да его словно вело что-то, еще в магазин заскочил, не глядя шел, хоть и дорогу выбрал другую, перед церквушкой свернул в сторону, лишь

над домами крест ему сверкнул на колоколенке — чего ему было теперь "за угол" идти! У него другая была цель... Да ведь где-то здесь рядом был и тот — ее дом, записан адрес...

Костя не проявил радости, даже пробурчал что-то, что у него, мол, дело есть, что ж так, без звонка. Но Лев Ильич его не захотел услышать, протопал прямо в комнату. Он немного поутих, дрожь отпустила. Он был рад, что пришел: крыша, стены — не улица.

— Что у вас стряслось? — спросил Костя. Он казался раздосадованным, а может быть с того раза потерял всякий интерес ко Льву Ильичу. — На чем теперь споткнулись?

— Очень я вам помешал? — не ответил Лев Ильич. — Ну да помешал-не помешал — мне деваться некуда, — и он выставил на стол бутылку водки.

— Убедительно, — сказал Костя. — Трогательно. Только зачем же ко мне? У вас дама есть, если вам охота время убить и водочкой побаловаться. Пастырь — на случай, если опять споткнулись. Я вам объяснил прошлый раз — я больше не занимаюсь спасением душ. Вкус потерял.

— Послушайте, Костя, вы сколько раз ко мне приходили — ну не ко мне, передо мной возникали на моей дороге?.. А я к вам первый раз, чтоб сам. Неужели прогоните?

— Сидите, жалко что ли, тем более такой аргумент, — он кивнул на бутылку. — У меня дело было... да такое, что когда оно срывается, всякий раз хорошо.

— Женщина?

Костя не ответил, захватил со стола чайник и шагнул в коридор.

Лев Ильич огляделся. Все та же была комнатка: прикрытый пледом матрас на полу, груда книг, лампадка перед иконами, на столе раскрытая толстая тетрадь, исписанная мелким, ровным почерком. На стене гравюра под стеклом, в рамочке. Тот раз он ее не заметил.

Лев Ильич подошел поближе: колченогий, похожий на комара чертенок, перед Христом на крыше храма.

— Объясните, Костя, — повернулся Лев Ильич на стук впустившей Костю двери, — почему Спасителю было предложено только три, якобы все остальные суммирующие искушения, а не было еще одного — главного?

— Это про евреев, что ли? У Него на сей счет комплексов не существовало. Или про Церковь? Так Он Сам был Ею.

— Нет, Костя. Не про евреев и не про Церковь. Тут какая хитрость! А с умным человеком поговоришь — все сразу станет ясно. И не про власть, до которой мне лично нет дела. Не про хлеб — чего тут искушаться? Мне, я имею в виду себя — обывателя, как-нибудь прокормлюсь, а думать про человечество у меня масштаба не хвата-

ет. И не про чудо: покажи мне его — я поверю. А нет — стало быть, того не стою.

— Что ж вас, смиренника, в таком случае мучает?

— Есть искушение — главнейшее, самое страшное, на котором весь свет стоит со дня его сотворения, и от него стонет. Святые по той причине в пустыню убегали, а оттуда уж не знаю куда — обратно, что ли? То, с чего все началось, на чем Адам проворовался, а Новый Адам о нем чуть ли не молчит. Ну, предлагает вырвать глаз, правую руку, а надо б другую, радикальную операцию с рождения. Только как тогда с человечеством — как исполнится Обетование о спасении, ежели род прекратится — кого спасать?

— Глубоко копаете... — Костя расставил стаканы, нарезал сыр, вытащил банку шпрот. — Я вам говорил, Лев Ильич, занялись бы общественно-полезным трудом — ну что вы лезете не в свое дело?

— Позвольте, Костя. Вы почему меня понять не хотите? Вы думаете, я вам водку принес, чтоб богословские проблемы обсуждать?

— Чего тогда ерунду спрашиваете, сваливаете в одну кучу не имеющее друг к другу отношения? Сравнили Искушения в пустыне и мелкие похотливые страстишки, испытания, возникающие перед святыми и физиологические переживания, которые и грехом-то называют лишь по литературной традиции. Спасителя, что ли, можно было искушать вождением? На это и дьявол бы не решился, да уж едва ли так глуп.

— Грех то или испытание, про это никому не известно, — заметил Лев Ильич. — Но что здесь, именно здесь все и срываются: ну убить — не убью, украсть — не украду, могу, если поднапрячься, и не лгать — а тут как быть?

— Да грешите. Я думал, вас, правда, тревожит что-то стоящее.

— Но ведь сказано...

— Ну коль сказано, не грешите...

— Вы всерьез? — спросил Лев Ильич, замирая от радости — не ошибся, по адресу пришел!

— А всерьез про это и говорить не интересно. Ну разбейте себе лоб в вашей церкви, ну простойте весь пост на коленях, а Пасха придет, головку приподымете, непременно за юбку, хоть глазком, да зацепитесь. А уж воображение в миг вам все остальное дорисует. Особенно после поста... Пить будем или разговаривать?

— Замечательно! — зазвенело что-то в душе Льва Ильича, давно он того в себе не слышал. Он разлил водку по стаканам. — Значит, дело гиблое — все равно согрешишь?

— Да не согрешишь — разрешаю вас, седьмая заповедь специально вписана, чтоб все вы знали свое место. А то и благодать на вас в крещении, и про теодицею все понимаете... Тогда действительно вырывайте себе глаза, правые руки, а всего верней оперируйтесь.

Вместо обрезания, на седьмые сутки. Где вам другой выход найти.

— А вы нашли, Костя?

— Не я нашел. Он меня нашел, позвал. Я за вас всех буду отмаливать.

— Ваше здоровье, Костя, в таком случае про меня не позабудьте.

— Напрасно иронизируете, — Костя тихонько выщедил водку, подцепил шпротинку, закурил сигарету. — Я б на вашем месте не смеялся.

— Да что вы, Костя, какой смех! Я средь бела дня, сейчас вон, такого страху натерпелся, подле вас только чуть опомнился. Если смеюсь — от радости, от себя убежал, спрятался. Ну и ладно. Вам спасибо.

— Что у вас все-таки стряслось? — помягчел Костя. — Странный вы мужик, раз от разу меня удивляете. Простите за откровенность, но такой застарелый инфантилизм — он чудачеством становится, безвредным, вроде бы, но и... смысла в нем никакого нет...

Давешняя мысль, которую Лев Ильич отогнал, испугавшись, сделал вид, что не заметил ее, снова выплыла из глубины сознания, вильнула геред ним роскошным хвостом, приглашая нырнуть за ней... Лев Ильич вытащил платок, вытер лицо. Он еще держался, хорошо сидел и надежда была, авось не сорвется сегодня. — "Так зачем тогда бежать сюда надо было?" Эх, Лев Ильич, Лев Ильич...

— Хотите, Костя, откровенность за откровенность? Знаете, почему, а верней, зачем я к вам прибежал?

— Так вы сказали — деваться некуда.

— А! — отмахнулся Лев Ильич. — Я эту ночь на вокзале протрчал в прекрасной, между прочим, компании, под конец даже с доктором Гаазом беседовал.

— Это еще кто?

— Русский Дон Кихот, хотя и немец по происхождению. Главный врач Московских тюрем во времена Филарета Московского. "Утрированный филантроп", как называли его недоброжелатели. Герой легенд о "святом докторе", которые рассказывали от Петербурга до Камчатки. Одним словом, общечеловек, как говаривали в прошлом веке. Да у нас и теперь появились. Правда, у того Христос был, а у нынешних супергуманистов — справедливость... Объясните, Костя, феномен: христианин заботится о собственном благочестии, все мудрует с седьмой заповедью, а неверующий рыцарь готов за него принять любую муку — не странно ли?

— Это вы христианин?

— Ну я, к примеру.

— А рыцарь кто?

— Имярек. Где-то тут, скажем, по соседству проживает.

— Давайте, Лев Ильич, раз и навсегда определимся. Сегодня,

через двадцать веков после пришествия Господа нашего Иисуса Христа, во плоти за нас распятого, всякий некрещеный обречен геенне огненной — ад ему обеспечен. Можете не хлопотать и себя не беспокоить. Всякий же крещеный молитвами тех, кого Господь избрал, будет спасен. Все просто. Налейте водки — у вас ловко получается.

— Страшная история, — сказал Лев Ильич и плеснул водку мимо стакана. — Я, копошащийся в самом себе, думающий только о том, как бы невинность соблудности и приобрести капитал, вокруг седьмой заповеди описывающий круги, в полном порядке, а он — за меня готовый принять смерть?.. В чем его-то грех?

— Все, кто не записан в Книге жизни, будут брошены в озеро огненное. Чего вам еще надо — не мной сказано, Господом, через того, кому Он открылся.

Он выпил водку, закусил сыром и закурил новую сигарету.

— Если это так, — сказал Лев Ильич, он вспомнил Марка и так стыдно ему стало, — если это так, тогда, уж простите меня, озеро предпочтительнее. Хотя бы из чувства справедливости.

— Ну поехали! Проклятые интеллигенты! Сколько столетий вы все укоряете Господа в несправедливости — еще Иов пытался, кулаками размахивал: беззаконные, мол, торжествуют, а он, праведник — в дерьме. Так он действительно был праведник, требовал суда у Господа, знал за собой непорочность, всего лишь замысел о себе не мог разгадать. А вы-то, Лев Ильич, вы? Вы что думаете, прыгнете в серное озеро, сваритесь — и на этом все ваше удовольствие закончится? Еще, небось, на берегу речь произнесете о том, как за други своя готовы принять муку, а дамочки платками вам станут махать, в ладошки хлопать?.. Вам там кипеть не час и не десять, не год и не сто лет, не тысячу и не десять тысяч — вы про это способны подумать? Да не кипеть! Все, что с вами здесь происходит, от чего вы все бегаете со своей водкой да по вокзалам ночуете, и еще адом про себя называете, — там все в тысячи крат увеличится, там эти ваши пустячные переживания насчет того, что бабу не приглубили, или, наоборот, лишний раз на нее ниже пояса глянули, там это в такую муку вылетится, такой скрежет зубовный услышите! И ведь ночи у вас не будет, чтоб поспать, передохнуть, это вам не сталинская тюрьма, не гитлеровский концлагерь, где свет то не гасят, то не зажигают, но день ночью так ли, иначе, не сменяется — тут все эти тысячи лет никакого продыха, вокруг визг и над вами издевательство, там всех своих присных увидите, там каждая их к вам претензия уж в такой процент вырастет, кому рубль задолжали, он его вам миллионы лет все будет припоминать, да не канючить — душу из вас за тот рубль будет миллионы лет тянуть. А ну-ка, посчитайте, мало ли у вас таких кредиторов?

Лев Ильич вытер пот со лба.

— Пощадите, Костя.

— Ага! Ну так вот, станете прыгать из солидарности, чтоб убаю-

кать свое чувство справедливости?

— А если отвернусь, — ответил Лев Ильич, — если забуду о нем, обреченном на такую муку, тот рубль, думаете, мне не отыграется?

— Я вам сказал, кому чего и за что положено. Я вам прошлый раз говорил, к е м человек спасается и будет спасен. А если не верите, предпочитаете ходить в церковь, пеняйте на себя... Тьфу, черт меня заberi, давал же зарок ни с кем не говорить! — в бешенстве крикнул Костя. — Опять вынуждаете! Зачем вы пришли, договаривайте?

— Зачем я пришел?.. — переспросил Лев Ильич, переводя дыхание.

В нем нарастал знакомый страшный свист, визг поднимался, его снова раскачивали гигантские качели, сердце падало: ну зачем он действительно пришел сюда, знал же, что нельзя, что ни в коем случае, что забыть должен был адрес?.. Так затем и пришел, что знал, вот сейчас его раскачали, размяли, приготовили... "К чему?" — с ужасом спросил он себя.

Костя насторожился, прислушиваясь к чему-то за дверью.

— Сосед пришел? — спросил Лев Ильич. — Ваш "гегемон"? Несчастный какой-то мужик.

— Нашли несчастного! — Костя блеснул на него глазами, усы погладил. — Нет его, сегодня в ночную смену. Это жена укладывает мальчишку спать... Ну ладно, пускай ее. Так в чем у вас дело?

— Помните, как мы с вами встретились, Костя, тогда в поезде?.. Вы не один там были, Веру помните?.. Так вот, все, что произошло — весь этот невероятный ужас ли, счастье, не знаю, не могу сейчас придумать этому название, все связано с вами и с ней. С вами и с ней! Потому что все остальное, а поверьте, Костя, у меня за эти две недели — третья пошла, столько случилось, что уж не знаю, если вы мне обещаете это еще в тысячу крат увеличить — и от самого себя, не только от справедливости откажешься. Но это другое, это я, мое, со мной, из-за меня — я всему причина и пред всеми виноват. А тут...

— Что тут? — спросил Костя. Он сидел прямо на своем венском стуле, поглаживал усы.

— А тут меня коснулась такая мерзость, такой ад кромешный — уж не знаю, наяву или в бреду черном — да не наказание за грехи и постыдную слабость, не за мое ничтожество... Это, знаете, как если бы я в том, что вы мне наобещали, не эзком был, которому все эти тысячелетия или миллионы лет, то уж все равно! — уготованы без всякой надежды на амнистию, а охранником, вохровцем, который бы с дьяволом — собакой бегал вокрут, и всех, кто оттуда выполняет, обратно бы зашвыривал...

— И это вы связываете...

— Нет, нет! — заспешил Лев Ильич. — Вы меня поймите, меня будто неудержимо тянет к вам — к ней и к вам. Мне иногда кажется,

не вы мне все это говорите, а я себе сам через вас — вроде, как слышу, а без вас нет. И ее — не она меня на что-то тащит, у нее своя судьба, теперь там все кончено, а я в ней, через нее, такую мерзость в себе открываю — такую непосильно-сладостную жуть, что ради нее... Вы знаете, Костя, — прошептал Лев Ильич, недоуменно озираясь, — я на все готов, на самую эту мерзость, про которую в себе и не знал.

— А, это та дамочка, которая бывает в церкви и своими формами там?.. Ага. Да, головка может закружиться... А, теперь понятно, в чем ваша драма — вот откуда седьмая заповедь выскочила! Только я тут причем — не пойму? Я ее знать не знаю, да и на каком уровне вы меня с ней объединили? Темно что-то, болезнь у вас. Я не раз говорил, оставьте это, не для вас. Сидите себе тихонько — мне предоставьте. Вот он ваш хваленый отец Кирилл с его благодатью. А уж она не крестная ли вам?.. А кто?.. Да ладно, не мое дело... Ага, вот в чем загадка: мы вас вдвоем встретили, взяли за руку, она в постельку повела — а я куда?.. Успокойтесь, Лев Ильич, дама она привлекательная, наверное, дело свое знает, чего вам сокрушаться? Я ж говорю вам, я вам говорю, — у Кости блестели глаза, голос сделался звонким, поразвязнел. ("Напился, что ли?" — мелькнуло у Льва Ильича.) — Забудьте про эту заповедь — литература. Я разрешаю вас. Я. Да подумайте, Лев Ильич, ну о каком бы спасении могла идти речь, когда б таким шалостям следовало придавать значение? Добьетесь вы успеха или нет — велика ли разница — возжелали! Справитесь с этой, так за углом, да в той же вашей церкви другую увидите — глаза есть, не вырвали. Да и зачем такое членовредительство, изверство? Что, по-вашему, провокация, что ли, — пустить человека в мир, перед этим миром уж совсем беззащитным? Научить его греху, для этого греха лучшим образом снарядить, а потом ему ж это усчитывать? Правильно вы заметили, — он ткнул дымящейся сигаретой в гравюру на окне, — про это и речи там не было и быть не могло. Че-пу-ха. Да что вы, для себя одного, что ли, стараетесь, вы ей доставляете радость, свою нежность материализуете, не одни слова-серенады современной женщине да еще с такими формами? Вполне гуманно: вы ее первым делом осчастлививляете... Это я на ваш интеллигентский язык все это перевожу, чтоб понятней было...

— Погодите, Костя, — попросил его Лев Ильич, еле-еле удерживая в себе ужас, он уже чувствовал, как погружается во что-то вязкое, как оно ползет по телу, подбирается к горлу, — вы себе все время, на каждом шагу противоречите, эта ваша разорванность, она и пугает меня больше всего, она и есть первый признак...

— Чего? — спросил Костя, покраснев от злобы. — Какие еще там вам признаки открылись? Вам надо, чтоб вашу похоть в церкви освятили, чтоб отец Кирилл на вас руки наложил — и тогда, с его благословения вы пробудете "плоть едина" уже безо всяких сомнений?

Или у вас плоть от того другой станет? От того, что он над вами пошаманит? Может, и про это вам Христос заповедал?

— Сказано, Костя, что всякий, кто посмотрит...

— Ну а коли сказано — не смотрите. Мы с этого и начали. Противоречия у меня нашли. Ну а как вы — без противоречий? Глаза вам дадены — не смотрите, все прочее тоже, как я понял, у вас в полном порядке — куды денетесь? Противоречия у меня нашел! Это уж не черта ли вы углядели в противоречиях и разорванности?

— Черта! — выдохнул Лев Ильич.

Костя захохотал, Лев Ильич глянул на него и обомлел — он и не заметил, как это произошло: Костя сидел верхом на стуле, выбросив ноги в тех же клетчатых штанах, усы топорщились от смеха.

— Наконец-то! — смеялся Костя. — Ну и долго тебя приходится обрабатывать, чтоб вырвать признание. Дошло. Ну сегодня у меня дело пойдет поживей, а то с тобой все высокими материями надо было заниматься — церковь, иудей, а вот он где, камешек-то запрятан! Да я и в те разы замечал интерес, а, вишь, все сбивался. Переоценил своего клиента.

— Чего надо? — с отвращением спросил Лев Ильич.

— Вашу милость. Только уж со всеми потрохами, чтоб не вернулся, а то за вашим братом глаз да глаз нужен, чуть что — жаловаться бегаете. Давай кончать канитель, голубчик, больно много времени на тебя потрачено. Хоть оно у нас и относительное, а лишнего нету.

— Можешь мне... Веру предоставить? — спросил Лев Ильич, холодея от собственных слов.

— Делов-то, — отмахнулся его собеседник. — Вера, Маша, кто там еще? Наташу — ту, шаровидную, не желаешь попробовать, небось, глянул на коленки? Такая, брат, экзотика, лично я бы предпочел, чем с красавицей иметь дело — банальность!.. Ну так как — не уговорил, заметано? Или Варю подождем — да не долго, лет десять, самая сладость, а время у нас, знаешь, десять лет, как одна минута промелькнет... Чего морщишься, верно тебя баба сегодня подсекла — краской залился, младенчика увидев — чист, нечего сказать!

— Болтовня какая-то пустая, — с тоской сказал Лев Ильич. — Неужто ты думаешь меня на такой пошлости изловить? Да причем тут Маша, Наташа, еще Варя. Глуп ты до омерзения. Человек никогда так глуп не бывает — а уж таких дураков навидался. Я люблю Веру, понимаешь — л ю б л ю. Где тебе понять, не твоего ума категория.

— Как не понять! Поэзия, цветы, мадригалы — а с чертом в сговор вступил! Или мне послышалось — меня ж просил свою, как ты выражаешься, любовь сюда доставить? Ай, ай, ослышался...

— Хватит паясничать. Я тебя хотел испытать, чтоб не хвастался.

— Тоже мне подвиг — есть чем гордиться. Ты сам сегодня мог дело повернуть, кабы уши не развесил, на чужие коленки бы не загляделся. Чего за ней не побежал, она б в слезах на что хошь пошла — такой надрыв самая сладость. Или помещения нет? Сообразил бы чего-нибудь, да ведь и она догадлива — пол-Москвы подруги. Можно и кушетку Людовика ХУ обновить, да ее без тебя обновили — это тебе в диковинку...

— Хватит, — сказал Лев Ильич, — надоело. Будем считать, что ни о чем мы не договорились. Знаешь, что такое свобода? Господь Бог над ней не властен, не то, чтоб ты. "Нет!" — говорю я тебе и весь сказ.

Собеседник его снова захохотал, распушив усы.

— Ну уморил! "Свобода", говоришь? Ну комик, с тобой в цирк ходить не надо. Да когда это ты "нет" сказал в таком деле, ну хоть раз был такой случай за твои пятьдесят лет?

— Был... — ответил Лев Ильич, но как-то он это не твердо сказал.

— Ага, — засмеялся тот, — стыдно стало! Мы еще проверим тот случай, все руки не доходят, занимался последним десятилетием твоей жизни. А вот вернусь, в холодке, тьфу, оговорился! — в жару отогреюсь, подниму документы десятилетней давности... Что-то мне странно, как ты тогда на крышу забрался, что-то там не все чисто — скрываете, любезный! Подозреваю, что и там не было твоего "нет", какие-то обстоятельства помешали и уж несомненно внешние, от тебя не зависящие. Может, у нее, к примеру, зубы болели, извиняюсь, или еще чего?

— Все, — сказал Лев Ильич, — кончай балаган.

— Да что ты мне поговорить не даешь! В какие-то веки про клубничку удастся, а то образованные пошли — теодицея, догматы, заповеди... Что ты, кстати, к седьмой заповеди прицепился? Ну чего она тебе далась? Ну мыслимое ли дело, умный человек, еврей, а на такой, прости, ерунде, как на апельсиновой корке... Стоп, язык мой — враг мой! Ну да уж очень ты мне смешон и симпатичен — скажу. Только между нами, надеюсь на твою скромность — лишних ушей меж нами нет, а то и мне за такую откровенность не поздоровится. Ну неужели тебе в голову не приходило, у тебя ж вкус должен быть — ну прости меня, голубчик, ну мадам же литература! Ну мыслимое ли дело всерьез полагать, что кто-то способен совершить сей подвиг, да во имя чего бы то ни было? Ну не делом, так словом, не словом, так глазом, не глазом, так дланью, помыслом, обонянием — не навяу, так во сне, а уж какие сны на этот счет заворачивают! Я тебе скажу, только серьезно прошу тебя — не заложи, это заповедь наших рук дело. Мы ее и вписали под сурдинку — проскочило! Там не до того было — спешка, сдавали в набор, кто-то, уж не помню, замешкался, а там гранки, верстка, подписная — тиснули! Заднего ж хода,

сам понимаешь, быть не могло — на то весь расчет. И получилось — все в наших руках через эту самую — через седьмую. Потому что или ты терпишь-терпишь, пока не взорвешься — а уж тут бери тебя голыми руками, или, если особенно не копырсаешься, вроде как ты, сам навстречу со своим "да!" — еще того легче...

— Ты ж сам говорил, что это пустяк — ну нарушил, подумаешь?

— Это не я сказал, путаетесь, сударь. Какой же пустяк, когда заповедь, когда прелюбодеи Царства Божьего не наследуют, когда вырвать глаз, руку, член, который тебя совращает проч. — читали, знаем. То есть, на самом-то деле, конечно, пустяк, потому что это мы вписали, но об этом никто, кроме тебя, не знает, а ты слово дал — не проболтаешься. Да с тобой все в порядочке — наш! Никто не знает, все думают: преступил, готов! Тут мы его и ловим: или он бунтует — нет, мол, Бога, что ж за такую ерунду, все, мол, такие и прочее. Или в полное ничтожество впадает от своей слабости, с которой ничего поделаться, естественно, не может. Ну как в себе, а стало быть, и во всем мироздании не усомниться, когда сил нет, когда ни у кого сил на это нет!

— Неужто ни у кого? — замирая спросил Лев Ильич. — Есть же сильные люди, подвижники...

— Перестань, не мальчик же ты. Ты почитай про отшельников и пустынников, да не антирелигиозную болтовню, а их же собственные сочинения — какие им живые картинки в кельях мерещатся, какими стенаниями оглашаются те заповедные места! Уж лучше патриархально в "Яму", как описано в отечественной литературе, или на Каланчовку, к Казанскому вокзалу, в связи с эмансипацией... Да вот, хоть та твоя история с кардиналом К.? Уж какой праведник, подвижник, богослов — уж такой кардинал — даром что католик! — никак к нему не подступишься. Так это он думал, что не подступишься, мы-то его знали голубчика, видели — и когда он себя молитвами глушил, и когда за своими рукописями ночи просиживал, чтоб головы не поднять, чтоб сил ни на что не оставалось, и когда кардинальскую шапку выхлопотал себе своим благочестием. Что ж, шапка, хоть бы он ее не на голову, а, извинюсь, на причинное место нацепил — как от сего недоразумения убежишь? Вот он и сорвался, когда все, за семьдесят лет накопленное, сбереженное, внутрь загнанное — а ведь тут и юность, и литература, и сны! Ну сам по себе знаешь — так-то ты себя не ограничивал. А тут Франция, теплынь, вино, женщины — не Маша с Наташей! И вот враз, да уж с такой, прости меня, в таком месте — видел я, ну поверь мне, поверь — ни за что б, при всей моей неразборчивости...

— Вранье это все, — с усилием выдавил Лев Ильич, — не доказано. Фальшивка.

— Да ладно тебе, не доказано! Сам же веришь, поверил, чего

ломаться — за католика обиделся?.. Да вот тебе другая история про то самое, исторический факт, могу на источники сослаться — про Атиллу помнишь?

— Какого еще Атиллу?

— Ну что ты в самом деле, а еще интеллигент! Гунны, еще до Батая, Чингизхана, до Киева, когда пресвятой Руси еще в пеленках не было?.. Ну вспомнил? Когда Азия, Европа трепетали, когда Верона, Мантуя, Милан, Парма уже лежали в руинах? Когда папа сам вышел к нему из Рима христорадничать, и тот плюнул, забрал невероятный выкуп и вышел из Италии?.. А помнишь, какой он был — предводитель тысячных толп этих жутких азиатов — маленький, почти карлик, с огромной головой, с калмыцкими глазами, в которые никто не мог смотреть, такие они были ужасные, судьбу целых племен мгновенно решал этот взгляд... "Где коснутся копыта коня моего — там больше не вырастет трава!" И не вырастала. А как он жил — этот человек с несметным, никому не снившимся богатством — "бич Божий", как сам он себя называл, человек с беспредельной властью над своими полчищами? Спал на войлоке, пил воду из деревянного лотка, ни на седле, ни на лошади, ни на одежде, ни на рукоятке меча не было у него никаких украшений, никогда не знал женщин — аскет, воин, действительно бич Божий! А как сей б и ч кончил? Ты что, правда, позабыл?.. Не выдержало ретивое, сочетался браком с дочерью бактрианского царя — красавицей, правда, не то что мсье К. Пиршество было великое, упился вином, а потом ушел с молодой женой в шатер, так кинулся в сладострастие, коего не знал — за один раз всю свою железную жизнь выпил, как летописец свидетельствует. Кровь пошла из ушей, из носа, изо рта... Что, впечатляет? А ты говоришь, заповедь...

— Что надо? — спросил Лев Ильич. Он уже еле сидел, ни на что не было у него сил.

— Значит так. Я твою просьбу исполню, доставлю тебе сюда твою красавицу, ты не Атилла, не кардинал, за твою жизнь можно не беспокоиться. А ты... только постой, чтоб потом без недоразумений. Ты не один будешь забавляться, играть в свои кошки-мышки — помнишь, как у Крона с балериной повернулось? А там всего лишь о карьере шла речь. Здесь посерьезней. Одним словом, как говорил некто Лебядкин, помнишь: "свобода социальной жены"?.. Мы тебя так должны повязать, чтоб не пикнул, не выкрутился. Значит, мы вместе с тобой...

— Пошел вон! — закричал Лев Ильич, схватил со стола бутылку, замахнулся...

— Что с вами? — услышал он Костю.

Тот внимательно в него всматривался. "Сколько это со мной продолжалось, Господи?" — со стыдом и отчаянием подумал Лев Ильич.

— Опять плохо себя чувствуете или развезло? — спрашивал Костя. — Вы действительно ночь на вокзале?.. Ложитесь. Да и поздно, мне тоже надо выспаться, а то по ночам работаю... Куда вам про заповеди рассуждать, тем более по седьмую. Надо себя привести в порядок...

Он сбросил плед с матраса, положил подушку, вытащил что-то, как в прошлый раз, и швырнул к стене.

Они уже лежали в темноте, Костя на полу, посверкивал сигаретой.

— А что у вас, Лев Ильич, с Верой, простите мою нескромность, поссорились? Вроде бы, роман намечался — или разбились о быт?

— Все я потерял, Костя, — ответил Лев Ильич, — и Веры у меня нет, и Любовь меня оставила, а уж Надежды я несомненно не стою.

10

Он проснулся от того, что скрипнула дверь. В комнате стояла душная, жаркая тишина, только за окном ровно, как электрический движок, постукивала какая-то машина. В свете, падавшем из окна, забивавшем едва теплившуюся лампадку, резким пятном белела дверь. И вот она теперь медленно внутрь подавалась, открывая черноту коридора.

Он следил за ней, пытаясь осознать себя. Вчера он заснул сразу, как провалился — сказала ночь на вокзале и этот безумный день, так страшно закончившийся диким, под водку, разговором с Костей. Он еще успел подумать, засыпая, о том, что так и не знает этого Костю, что ему уже трудно отделить то, что тот говорил, от собственного бреда и явного безумия, что в конце концов ему — Льву Ильичу — Костя ничего плохого не сделал: выручил раз, не прогнал — два, хотя в этот вечер он Косте явно в чем-то помешал. А что до того, что он говорит о себе, что, так сказать, либерализм этого доморощенного богословия вызывает раздражение и протест, что противоречия и путаница в очевидном, порой явная суета, тщеславие, прямое богохульство заходят так далеко, что уж нет места не только Церкви, но и православию — будто оно может быть без Церкви! Что тут можно сказать, да и много ли он-то, Лев Ильич, в этом знает, тверд ли в своей вере, а потому не бестактность ли впутываться в разговоры и требовать ответа на то, чего сам не способен понять?..

Он даже обрадовался спокойствию и трезвости того, как он себе об этом сказал, но так и не успел додумать — кто все-таки Ко-

стя такой, почему отец Кирилл говорит о нем с горечью, почему так тяжелы для него эти их долгие разговоры, заканчивающиеся для него так чудовищно-безумно? Уж наверно, Костя, тот, что сейчас посапивая, лежит у стенки на полу, тут не при чем, а всему виной его собственные разошедшиеся нервы, собственная путаница, и все обрушившееся на него в эти недели... Но додумать тогда не успел — уснул.

Темный провал в коридор все увеличивался, а потом, вместе с остановившейся дверью, его заполнила белая, призрачная, все более рельефно определявшаяся фигура.

Лев Ильич следил за ней всего лишь с интересом — он не мог понять, что перед ним происходит, шурил, хотел даже протереть глаза, но вдруг почувствовал, как волосы зашевелились у него на голове от ужаса: из темноты коридора в комнату медленно вплывала женщина. Она была в белом до пят платье или ночной рубашке, с обнаженной грудью, едва прикрытой кружевами и черными, до пояса рассыпавшимися волосами. На круглом бледном лице, показавшемся Льву Ильичу знакомым, хотя он знал, что никогда не видел его, блестели темные, сейчас казавшиеся совершенно черными глаза. Глупейшая улыбка раздвинула ее черные в этом свете губы, блеснули зубы, она наверняка не видела его, да и не могла видеть, потому что неверный свет из окна освещал только дверь, а он лежал головой к окну. Она улыбалась самой себе, и так, не закрывая черного рта, вытянув руки со светящимися пальцами и черными ногтями, пританцовывая, двинулась прямо к нему.

Лев Ильич не успел закричать, леденящий душу ужас охватил его, он смотрел, не отрываясь в ее лицо, а она, все так же безумно себе улыбаясь, подошла к нему вплотную, наклонилась, полные груди выскользнули, вывалились из рубашки, она подняла одеяло и, забираясь под него, хриловато, задыхаясь прошептала:

— Котик, неужели уснул, заждался? Иди ко мне, миленький...

Господи, — успел подумать Лев Ильич, — никакая это не комната, это поезд, тот самый поезд, где мы встретились, то же самое купе, и значит, они вместе? Почему тогда ночь, был же день, он отлично помнил, как смотрел в окно на пристанционные постройки, когда поползла, уходя в стену, отражая водокачку и столпившиеся у переезда грузовики, зеркальная дверь, и со своим чемоданом она шагнула в купе, в его жизнь, которая вот сейчас так жутко оборвется... Значит, они были вместе, заранее сговорились, пришли по его душу, разыграв с самого начала всю эту омерзительную комедию, передавали его друг другу, и стоило ему сбежать от одной, как он тут же оказывался в лапах другого?.. Но кроме того, они еще были вместе — в м е с т е — она сейчас от него, с его полки шагнула к нему, заползает теперь под его одеяло... "Да какая полка, она в дверь вошла!.."

Перед его глазами поплыли белые, призрачные фигуры, все вокруг посветлело, и над этим кружащимся хороводом внезапно грянул голос Того, вокруг Которого они все кружились, глядя только на Него, ему — Льву Ильичу, не видного.

”Откуда ты пришел и что там видел?”

”Я ходил по земле, обошел ее, — услышал он мерзкий голос того, в клетчатых штанах, — мрак и запустение, Господи, выражаясь высоким штилем, ничтожество и падение, говоря интеллигентно, скотство — чтоб было ближе к истине.”

”Мне не нужны твои оценки, ибо ты все равно не способен понять глубины Нашего Замысла. Отвечай конкретно: ты заметил человечка именем Лев Ильич?”

”Один из тех, в ком я, верно, Господи, не способен понять глубины Твоего Замысла, ибо все, с чего я начал, приложимо к нему.”

”Он будет моим рабом. Отправляйся к нему. Будь рядом с ним, ибо он придет к Святому крещению, но не оставляй в покое, испытай чем тебе вздумается.”

”Возиться с этим жиденком? Да он давно в моих руках, чего испытывать того, кто сам бежит навстречу? Когда-то Ты отправил меня к Иову, тот еврей — да уж еврей ли он был? — был воистину непорочен, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла, это была работа, трагедия! Прости меня, Господи, но тут всего лишь фарс...”

”Иди, исполни. Тебе не дано проникнуть в то, что только Нам ведомо. Возвращайся на второй неделе поста, чтоб рассказать обо всем. В четверг...”

”Четверг?.. — зацепился за это слово Лев Ильич. — Почему в четверг? Сегодня вторник, нет, наверно, уже среда...Это вчера, когда я пришел к Косте, был вторник...”

Меж тем, он чувствовал, что она забралась в постель. Он отшвырнул себя к стене, вдавился в нее, слыша ее горячее дыханье, волосы щекотали ему лицо...

”Четверг... — с ужасом и ускользавшей надеждой думал он, — но сегодня ж среда?..”

И перед глазами замелькали, сменяя друг друга, страшные, чудовищные видения: то был карлик с огромной головой и огненными калмыцкими глазами, в которые не доставало сил глядеть, и рядом с ним на постели о н а — в белом, с распущенными черными волосами, карлик изогнулся в бешеной судороге, оторвался от нее — кровь хлынула у него изо рта, ушей, носа... И тут его сменил изможденный мертвый старик в фиолетовой кардинальской шапке — и рядом о н а же, обнимающая его руками — с черными ногтями на пальцах. О н а же, с окровавленным мечом в руке, нагнувшаяся над обезглавленным телом... ”Юдифь!” — крикнуло что-то в душе Льва Ильича и он узнал ее, увидев отрубленную страшную голову... Нет!

то была не Ботичеллиевская голова Олоферна и, уж конечно, не та — не библейская Юдифь, и даже не та — из комнаты с мебелью Людовика ХУ — чернобородую голову своего деда узнал Лев Ильич, хватящую воздух разверстым черным ртом, и чернобровую, крутобедрую тапершу из трехрублевого дома на окраине Витебска... И тут он увидел себя, а рядом ее — Веру — обольстительно страшную с обнаженной высокой грудью, смеющимся, черными в темноте глазами, он еще успел мелькнувшей, ускользавшей мыслью назвать ее про себя "о н" — то же не она была, не Вера, не Юдифь, не проститутка из парижской мансарды, не красавица — дочь бактрианского царя... Но теперь о н а сама здесь — не где-то там! — изогнувшись под одеялом, скользнула к нему, обняла горячими голыми руками и прошептала все тем же срывающимся хриплым шепотом:

— Ну, Котик, ну что же ты, я так соскучилась...

"Ты сам хотел этого, — хихикнуло ему прямо в ухо, — чего ж испугался, хватай..."

"Господи Иисусе, помилуй меня..." — стукнуло напоследок сердце Льва Ильича, кажется совсем останавливаясь от ужаса.

— Ты что, ополоумела?.. — услышал он вдруг бешеный, свистящий шепот и не сразу узнал Костю. — Ты куда?..

— Ох! — сдавленно выдохнула женщина, разжала руки, выскользнула из постели, шлепнув босыми ногами об пол...

Он видел в темноте две смутные фигуры: ее — в белой до пят рубашке, и Костю — в трусах, с черной волосатой грудью. Костя схватил ее одной рукой за волосы, а она, уткнувшись ему в плечо, тряслась от смеха.

Потом Костя оторвался от нее, подошел к матрасу, на котором лежал Лев Ильич, и наклонился над ним. Лев Ильич прикрыл глаза и сквозь опущенные, прижмуренные ресницы смотрел в смутно видневшееся лицо с напряженными, бешеными глазами.

— Спит, — прошептал Костя, разогнувшись, и схватил ее за руку. — Я б тебя убил, дура. Идем отсюда.

Они вышли, исчезнув в темноте коридора. Дверь скрипнула и закрылась.

Лев Ильич не двигался и ни о чем не думал. Холодный пот на лице высыхал в духоте комнаты. Потом он шевельнулся, нащупал в темноте пиджак, висевший рядом на стуле, нашарил коробок и чиркнул спичкой, поднеся огонек к часам на руке. Была половина второго.

Лев Ильич ходил взад-вперед по переулку, стараясь не потерять из виду церковную ограду. Он пришел к началу службы, видел, как проходили люди в калитку, торопливо крестясь на надвратную икону, не так уж, словно бы много, не как тогда, в Прощеное воскресенье, когда валил народ, но все-таки не так и мало — и не только старушки — молодые мужики, бородачи-интеллигенты, совсем молодые ребята, девочки, чуть постарше его Нади, даже в брючках, без платков...

Он уже не ходил, остановился против, через переулочек, а народ все шел и шел. Проще всего было б, конечно, войти, он бы враз его увидел. Но не мог этого Лев Ильич, свыше это было его сил. Прежде должен был сам, здесь, за оградой с собой справиться, освободиться, очиститься. "Не баня ж там", — усмеялся Лев Ильич и совсем огорчился.

Да уж какие тут были усмешки. Он промаялся кое-как ночь, слышал, как под утро снова скрипнула дверь, Костя подошел к нему, постоял, наклонившись, да и улегся возле стеночки, повозился и заснул. Он выждал, пока рассвело, захватил со стула одежду, ботинки, в коридоре оделся и тихонько прикрыл дверь на лестницу. Он боялся, вот-вот вернется сосед, включит свою аппаратуру, весь дом проснется, а видеть их всех вместе или поврозь было б для него слишком тягостно.

Костя обидится, хоть бы записку оставить? А чего ему обижаться, да и не такой человек. "А какой?" — спросил себя Лев Ильич. Нет, теперь думать про него он не станет, да и ни про кого не станет он думать. Все только в нем, с собой надо разобраться...

Мимо прошел милиционер, покосился на Льва Ильича. Он все стоял, глядя на последних, пробегавших к храму людей, обедня, видно, началась.

Вышел мужик на деревянной ноге, прикрыл калиточку, вытащил из кармана молоток, петлю подправил, тоже поглядывая на Льва Ильича. Сторож, наверно.

Лев Ильич перешел переулок.

— Скажите, отец Кирилл Суханов сегодня служит? — спросил он, подходя к мужику на деревянной ноге.

Тот не ответил, приладил петлю, подергал калитку туда-сюда, снова закрыл ее и только тогда поднял на Льва Ильича прищуренные глаза под тяжелыми бровями.

— А вам на что?

Он был в солдатской ушанке, в седой, давно не бритой щетине, засаленная солдатская гимнастерка под телогрейкой открывала жилистую стариковскую шею.

— Да мне повидаться с ним нужно...

— Ну и выдайся, с кем тебе нужно, а здесь служба, нечего стоять... — мужик шагнул за калитку, закрыл ее и застучал своей колодушкой к церквн.

Лев Ильич подумал, перешел на другую сторону и снова принялся ходить по переулку. Он твердо решил дождаться, поговорить, да у него и выхода другого не было, а идти к нему домой — это как сюда, в храм — не мог он себе этого позволить.

Он только курил одну сигарету за другой, голова плыла, его даже подташнивало, хорошо хоть сегодня ветру не было, снегу, с утра подмерзло, а сейчас потихоньку подтаивало, да и люди на-топтали.

Он старался ни о чем не думать, боялся себя, мало ли куда его снова потянет, есть, мол, сейчас дело — ждать, вот и жди, велик подвиг погулять по переулочку службу, небось, следовало бы еще камень себе на шею повесить, с ним и проходить. Он и ходил, старался на часы пореже поглядывать — так время быстрее бежало. А куда ему было деваться, спешить — не в редакцию ж идти, не к Любе, да и Машу следовало теперь оставить в покое...

”А может, все-таки пойти в редакцию...” — шевельнулась, как хихикнула в нем, мысль. Никто его пока что не прогонял, без месткома это и невозможно, все, что Крон там наговорил — две копейки цена, смолчать разок-другой, все и обойдется. Прийти, закрыться в ”тихой комнате”, за два дня можно и очерк написать. Материал весь у него в портфеле — вот он, портфельчик, все с ним. А чего не написать о трагедии несчастной стерляди, которой никак не удастся попасть к нам на стол из магазина? О том, как до того загадили Волгу, испакостили нерестилища, залили весь Каспий нефтью, что ей только и остается гулять у Персидских берегов... И он вспомнил Красноводск, по которому еще три недели назад ходил со своим блокнотиком, долгие беседы с молодой икhtiологиней, сокрушавшейся о неблагоприятности разводимой ими стерляди: ”Наша, мы ее вывели, а уходит от нас в Персию...”; гневные тирады против браконьеров в местных газетах, запустение и развал на промыслах; несчастных гигантских осетров, стоящих на зимовальных ямах, а их нефтью, а их баржами — чем ни попадя! И роскошные ужины с черной икрой, осетриной, воблой, которые ему — столичному корреспонденту — устраивало райкомовское начальство. ”Диалектика, сказал ему, подвыпив, второй секретарь, они браконьеры, а мы — спасаем природу.” Ну зачем же про это, можно в историческом плане: о том, какая это удивительная древность, реликт — стерлядь и осетр, как бывало, еще в княжеские времена Русь ими славилась, как ее готовили да по-

давали, как ее разводили, не дожидаясь милостей от природы, как благодаря искусственному разведению удалось сохранить стадо этой чудо-рыбы, вопреки, так сказать, объективным условиям и обстоятельствам — вот и понимай, как хочешь, против этого и Крон не станет возражать. Ну и все. Какой же стол, магазин, когда "объективные обстоятельства"? Так, вроде элегии в историческом аспекте. А через десять дней зарплаты, а там через месяц-другой за эту элегию гонорар... "Вот видите, — скажет Виктор Романович, его главный редактор, прочтя очерк, — потрудились и хорошо, ничего, мол, бывают в нашем деле промахи, настроения — не без того, дело творческое..." Еще как-нибудь на уху пригласит, у него-то в магазине, как и у тех в райкоме, небось плавают осетры, да и икра водится — та же диалектика...

"Господи Иисусе Христе, — прошептал Лев Ильич запекшимися губами, — Сыне Божий, помилуй меня грешного, спаси от этого, защити... Прости меня ради Христа..."

И тут увидел отца Кирилла. Тот уже подходил к калитке — как же он его пропустил, когда он пересекал двор? Да и народ давно шел из церкви, оборачиваясь и крестясь на икону, а он все глядел и не видел...

Отец Кирилл, уже в цивильном, в шляпе, с портфелем в руке, за ним хромал мужик на деревянной ноге, а рядом с батюшкой, горячо ему что-то втолковывала женщина в дубленке, в роскошных сапогах, в темном платке, красивая, хоть и не первой молодости — таких только перед подъездами вернисажей да премьер видел Лев Ильич. "Кого только в русской церкви теперь не встретишь!.." — подумал он, кинувшись через проулочек.

Взвизгнули над ухом тормоза, громыкнула машина, ее юзом развернуло, он только бегло глянул на огромный грузовик, из-под колеса которого выскочил. Высунувшийся шофер с сигаретой в зубах блеснул на него яростно глазами, хотел, видно, сказать что-то напутственное, но увидел церковь, выплюнул сигарету и рванул с места.

Отец Кирилл оторопело смотрел на него через калитку и женщина с ним руки прижала к груди.

— Отец Кирилл... — бормотнул Лев Ильич, подходя и берясь за ограду с этой стороны.

— Что вы, милый, разве можно так, — сокрушенно сказал отец Кирилл, торопливо проходя в калитку. Он даже покраснел от волнения.

Лев Ильич шагнул к нему, тот поднял было руку, готовясь его благословить, но Лев Ильич отшатнулся. Отец Кирилл на него остро глянул и опустил руку.

— Простите, — сказал он своей собеседнице, все еще со страхом глядевшей на Льва Ильича большими прекрасными глазами. —

Мы обо всем договорились. Я все-все сделаю.

— Да, очень вас прошу, батюшка, — оторвала она, наконец, глаза от Льва Ильича, — главное ваше письмо и ваши молитвы. Сами мы просто ничего не можем, не знаем, как ей помочь...

Отец Кирилл благословил ее, она поцеловала ему руку, перекрестилась, оборотясь на церковь, и пошла, посмотрев еще раз на Льва Ильича.

“Что у меня вид, что ль, такой, что на меня так смотрят?” — мелькнуло у Льва Ильича.

Отец Кирилл подошел к нему вплоть.

— Что ж вы так ходите по Москве? Разве можно?.. Вы были на службе? Народу много — я вас не разглядел...

— Я с вами должен, если у вас есть время. Я не могу на службу...

Отец Кирилл молча смотрел на него. Потом вздохнул и взял Льва Ильича за локоть.

— Пойдемте... — сказал он. — Давайте погуляем, как тот раз. Я люблю пешком, а сегодня к тому же погода...

Они двинулись по переулку, вышли на улицу, Лев Ильич уже и не смотрел по сторонам.

— Вот вам история, — говорил отец Кирилл. — Была у меня прихожанка, такая хорошая женщина, энергия в ней — прямо турбину можно вращать. Каким-то старушкам помогала, за чужими детьми ухаживала, на работу устраивала людей, пороги для них обивала, доставала книги — а дел таких не переделает. Все у нее кипело в руках, да и редко, чтоб службу пропустила — всегда в храме. И вот, представьте, несчастье: сын — шофер-таксист — сбил человека, женщину, насмерть. Ну виноват-не виноват, а у него еще неприятности были в парке, верующий, между прочим, ходил ко мне. Известно было про это. Тем более смертельный случай. Получил три года. Она за ним уехала и — сломалась женщина. Эта вот — оттуда дама, со мной сейчас разговаривала — из Новосибирска, тоже была моя прихожанка, лет пять как туда переехала. Доктор наук, между прочим, биолог. Я ей написал, чтоб она помогла устроиться, ну и прочее. Лагерь там недалеко, где он отбывает. Они сначала, словно бы, подружались — эти две женщины. Но ту, представляете, как подменили. Как собственное несчастье ее коснулось, она ни о чем больше думать не может: ну за что это ей, ему — сыну? Как Бог допустил, почему такая несправедливость? Во всем усомнилась, всех вокруг обвиняет — злоба проснулась — ко всем, потому что всем хорошо, а ей, сыну плохо. Эта вот приехала, рассказывает: опустилась, по начальству ходит, винится, от Христа отрекается, прямо бесноватая: “Почему со мной, с ним, почему у других все хорошо, я ведь и то, и то делала, никогда никому не усчитывала, все для других... Почему?..” Вот вам любовь, а вернее, ее обратная сторона, когда она всего

лишь занята своим, когда обращена только внутрь, а не вовне. Эта вот женщина просто в растерянности, не осуждает, разумеется — кто кого в чем осудит, обязательно в те же тяжкие грехи впадает — но что делать, чем помочь, гибнет человек...

— Это мне понятно, — сказал Лев Ильич, — это такое испытание — на этом Иов сорвался. Только... кто испытывает, вот бы чего узнать, а, отец Кирилл?

— То есть, как — кто?

— Бог или... Мне вот сегодня примерещилось. Так стал вспоминать, кто меня привел к крещению, да что потом и по сей день с этим получается — усомнишься... То есть я себя не сравниваю — не только с той, библейской историей, но и с этой... вашей прихожанкой. Им, может, и есть на чем споткнуться — благочестие, добро... Но действительно, если подходить с человеческими мерками — за что такая несправедливость? Другое дело, что это нам недоступно, и справедливость там иная, про которую мы не можем понимать. Но по человечеству это так понятно, даже примитивно. Но меня-то зачем Богу испытывать — что я, праведник, что ли? Верно тот, в моем бреде сказал: он, мол, и так в моих руках, зачем даром время тратить...

— Вон вы уж до чего добрались.

— Добрался, отец Кирилл. Видите, стою против церкви, гуляю, всю службу отходил, а зайти боюсь.

— Куда ж вам тогда, если не в храм. К кому...

— А могу, а есть у меня на то право, или это будет еще одно... богохульство?

— Ну в силах ли вы, Лев Ильич, вообразить себе грех, который бы превысил милосердие Божие, Спасителя, за нас за всех — со всем, что в нас есть, — распятого? Как в нас во всех еще мало любви к Богу и веры...

— В ком во всех?

— Во мне, скажем, зачем, действительно, про всех говорить... Я, помнится, вам рассказывал, как меня Фермор с Машей разыскали?.. Мы вчера ведь похоронили Алексея Михайловича. Как сказал, что поста не переживет, так и вышло.

— Я был вчера у Маши. Она мне говорила.

— Были? — остро глянул на него из-под шляпы отец Кирилл. — Да... спокойно умер, как христианин. У всех просил прощения. Вас, между прочим, вспомнил, велел кланяться. Не забуду, говорит, как он здесь смотрел на картину, есть, мол, в России люди, которым все это нужно, значит, не зря все...

— Видите как, — сказал, не глядя на него, Лев Ильич, — а я и на похороны не пошел, хотя знал...

— Сейчас поеду к Ларисе Алексеевне. Вот кому трудно будет. Вчера-то еще что — возбуждена, люди. И сегодня еще. А через неделю... Давайте как-нибудь заглянем, она совсем одинокий человек.

Одна. Ну да Господь милостив... Я начал вам про себя... Думаете, моя история тем и кончилась? Что вы! Фермор устроил меня в семинарию, несколько месяцев проходит — умирает одна девушка, подружка, еще по Ваганьковскому. Ну оттуда, одним словом, где моя пропадающая жизнь началась было. Вместе мы с ней туда попали — дети, а уж какая была испорченность. Первая моя любовь, и такая она была искверканная. Но любовь — все равно любовь, как ты ее не вырядишь — хоть красиво, хоть омерзительно. Там грубость наружная, то есть, как у нас тогда полагалось, а под этим все то же — настоящее... Такая девочка — с наколками, с фиксой, а душа все та же — христианка. Ну а когда мне Маша все объяснила — мы на кладбище сидели, в дальнем углу, у меня там лаз был свой, про него и Федор Иваныч не знал. Я тогда обо всем забыл — стал другим человеком. И про Катю эту, и про Федора Иваныча — все-все позабыл, передо мной только мать стояла, какую ее Алексей Михайлович видел последний раз в камере... И вот сообщили, уже в семинарию, что умерла Катя: простудилась, грипп — в неделю ее не стало. А я ничего про это, конечно, не знал — ну что больна и прочее. А то, что моя вина, так сразу и понял: оставил ее, бросил, собой занимался, а тут еще Дуся, уже она для меня свет в окошке, неизбежная вина. И вот, представьте, приезжаю на похороны, в крематории ее сжигали. Мать стоит, отца у нее, кажется, и вовсе не было, не помню, еще кто-то, наши ребята... А я всю дорогу от Загорска молился, да и тут. Гляжу на нее с цветочками на груди, на мать, рядом плачущую, вроде не в себе... Еще помолился, перекрестился да и закричал на весь крематорий: "Катя, иди вон!". Они все от меня в ужасе отпрянули, а я тоже вне себя — кричу, кулаками размахиваю. Хорошо, ребята меня не оставили, скрутили и вытащили оттуда. Не сразу опомнился. Маша, кстати, меня и приводила в чувства... Удивительная женщина, вы ее держитесь. На сколько она меня — да чуть постарше, а сколько в ней ненавязчивой душевной мудрости, внутреннего такта, а ведь сразу и не скажешь...

— Да, — отозвался Лев Ильич и совсем голову опустил. — Я вчера ее портрет видел.

— Фермора? Замечательный портрет, она его все на шкаф прячет. Значит, сняла?

— Я попросил. Не похожа, говорит.

— Трудно даже понять... что в нем, — сказал отец Кирилл. — Незавершенность, нет, не определишь, — он снова остро глянул на Льва Ильича.

— Да, — усмехнулся Лев Ильич, — в этом, наверное, и есть его сила. Мне только в голову не пришло.

— Так вот, я вам все о себе. Ну что я тогда, мальчишка был, к тому же порча меня чуть было не коснулась — какой спрос. Но ведь и теперь, когда реально, по жизни ощутишь свою недостойность...

— Вы? — остановился Лев Ильич. — И вы тоже?

— Ну а как же. На то мы и люди, и все как один недостойны. Молишься иной раз за кого-то — такая теплота на сердце, легкость — знаешь, твердо знаешь, веруешь — услышано. А другой раз силой себя заставляешь, тягостно бывает. Но ведь — я вам как себе скажу, — он взял Льва Ильича за локоть, — но разве всякий раз моя молитва, просьба исполняется?.. И всегда ли вслед за этим ты понимаешь, что не от Бога — в тебе все дело, а если к тому же с таким человеческим несчастьем столкнешься — почему не услышано?.. Всегда ли мы живем в Его присутствии, разве не находим каждый день и каждый час тысячи дел и мыслей, которые нас от Него отвлекают? А если так, можно ли говорить о своей любви к Богу, о подлинной вере в бессмертие и в то что нас ждет там? Кабы было не так, разве мы бы еще о чем-то способны были думать, хоть на что-то себя отвлекать и рассеиваться — на что бы то ни было, но не о Боге, не о ближнем? И разве это эгоизм, как иной раз говорят о тех, кто, мол, занимается только спасением собственной души? "Стяжи мир в душе и тысячи вокруг тебя спасутся", — учил преподобный Серафим. Вот вам две заповеди — о любви к Богу и к ближнему. Первая и вторая, подобная ей. А ведь коль мы какую-то иную нарушим, мы и эти — важнейшие не соблюдали. Вот в чем печаль и вся наша тягость. А вы молитесь, Лев Ильич?

— Нет, — сказал Лев Ильич, — вот именно так, как вы говорите: случайно, в суете и самых ничтожных помышлениях... Но знаете, как только влетит в голову имя...

— И что? — быстро спросил отец Кирилл.

— И что?.. Ничего... Нет, как же... как же! Я вон дважды — ночью и сейчас, как вас дождался, вспомнил и сразу... Отец Кирилл, а ведь верно — сразу все и исполнилось!

— Имя Божие имеет невероятную силу. Отцы говорили, что если бы человек почаще призывал имя Божие, он бы и в прегрешения не впадал. Да другого оружия у нас и нет и быть не может — чем еще бороться с грехом? Не говоря о том, что у вас и времени на грех не останется, если оно будет занято молитвой...

Они уже шли по бульвару, мимо пустых скамеек, да и людей что-то в этот час было немного — грязно еще, вот и детей нет, пенсионеров...

— Давайте посидим, — предложил отец Кирилл, — вы, я гляжу, бледный какой-то — нехорошо вам?

У Льва Ильича действительно кружилась голова, ноги дрожали: "Перекурил" — решил он.

Они сидели на скамейке, как в прошлый раз, только теперь был день, и тогда, словно бы, Лев Ильич себя чувствовал подтверже, крепче. А сейчас и курить не хотелось, да он, дожидаясь, сигарету изо рта не выпускал, можно было и передохнуть.

— Вы серьезно это, отец Кирилл? — спросил Лев Ильич. — Я этого понять не могу. Чтоб сейчас, в нашей сегодняшней жизни, в том, что в нас и вне нас, но вокруг происходит, так вот всерьез говорить, думать — жить в Боге и с Богом, молиться — это все нереальность какая-то...

— Трудно, конечно. Ну а что думаете, раньше, да и когда раньше — сто, тысячу лет назад, две тысячи — не то же самое было? Человеку всегда трудно соотнести свою жалкую жизнь с этими идеальными требованиями. Но если вдуматься — только они реальность, как бы ни казались неисполнимыми, а наша каждодневность со всей ее обыденщиной — призрачна... Я вижу, Лев Ильич, как вам тяжело. Вы знаете, что с вами происходит? В вас вы прежний умираете, стремительно, очень быстро — отсюда и болезненность, прямо агония такая. Уж я запомню ваше лицо, когда вы сейчас выскочили ко мне из-под колеса. Но это все верно, Лев Ильич, дай вам Бог силы. Сознание вины, греха — это и открывает путь...

— Да какой путь, — с горечью сказал Лев Ильич, — какой же путь, когда я все время в то самое, что вы называете призрачностью — в нее и тычусь, здесь и спотыкаюсь, ну куда мне о высоком думать, предъявлять себе идеальные требования, когда я не в состоянии справиться с элементарным, что мне на каждом шагу попадается?..

— Ой ли? — спросил отец Кирилл. — Разве вокруг, а не в себе самом? Кабы вы глядели вокруг, под колесо бы не полезли б. В том и дело, что вы с собой не можете разобраться, себя судите, вычищаете. А разве вы — такой, как вы есть, с тем, что вас смущает, мучает, доводит до отчаяния, разве вы не такой же, как когда-то — две тысячи лет назад? Разве что-то в человеке изменилось от того, что вместо лошадей по дорогам бегают машины — да вы сами об этом сколько раз думали, только вывода никак не сделаете. Но коли так — если здесь ничто не изменилось, никак не могут, не способны устать или измениться и отношения человека с Богом. Этим отношениям не только не нужна, но для них и невозможна какая бы то ни было модернизация, приспособление к требованиям так называемой среды обитания. Вы раскройте сегодня книгу кого-нибудь из Святых Отцов — даже вы, с вашей чистотой, а я верю в нее, что бы вы на себя ни наговаривали, какие б новые факты мне ни сообщили, даже вы засмущаетесь, потому что ваше сознание настолько забито тьмой, якобы просвещенного, невежества, суетой и всякой вашей праздностью, что это действительно соблазнительно читать. Но неужто вы думаете, что и х современник тысячу лет назад, когда, скажем, Симеон Новый Богослов писал свои "Гимны", в которых он разговаривал с Богом — неужто, думаете, его язык, весь строй его мышления и тогда не приводили его современников в смущение? Всегда это было юродством и безумием. Но ведь только это и есть реальность,

только здесь истина. В отношении к Христу может быть только одно время — настоящее, для Него этих наших двух тысяч лет не существует. Что ж вы будете смущаться молитвой Ему теми словами, которые Он нам заповедал? Не дело искать других слов. Надо себя к этим готовить, собственную душу очищать, а других путей нет. Я потому и говорю вам о недостаточности нашей веры, о том, что нет в нас любви к Богу, потому что иначе, ну как бы мы единую из заповедей нарушили, если они все к двум — первым — и сходятся, сводимы?

— Но ведь... нельзя не нарушить?

— Если б было нельзя, они б нам и предписаны не были. Не для того Господь дал нам заповеди, чтоб их неисполнимость сделала нас преступниками, но заботясь о спасении каждого.

— Вот тут я и усомнился. Когда увидел, что не могу.

Лев Ильич снова поймал все тот же быстрый взгляд отца Кирилла. "Какое у него лицо хорошее", — подумал он. Тот был без шляпы, ветерок шевелил падавшие на плечи густые темнорусые волосы, под широким лбом мягко светились ни на минуту не перестававшие напряженно думать, далеко посаженные глаза, глубокие, прямые складки, начинавшиеся от выдававшихся скул, прятались в бороде, а руки, которыми он держал шляпу, положив ее на колени, были крупные, белые и спокойные.

— Да. Трудно, что говорить, — отец Кирилл снова вздохнул, как только что, когда предложил ему пройтись... — Как не трудно, когда тебе предстоит мир победить, а ведь ты не Бог — всего лишь человек, — он опять взглянул, как рассек Льва Ильича. — Подумайте, как сказано у Иакова: "Кто соблюдает все заповеди, а согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: 'Не прелюбодействуй', сказал и 'не убий', посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона..." Страшные слова, а для современного слуха вовсе несообразные, потому как невозможно понять равенство перед Божьим судом убийцы и прелюбодея. Да ведь прелюбодей-то всего лишь тот, кто посмотрит на женщину с вожделением...

— Я про это и говорю, — опустил голову Лев Ильич, — уж не знаю как для других, а я и есть убийца.

— А знаете в чем дело, — продолжал, не обратив внимания на его слова, отец Кирилл, — если по-простому говорить, не богословствуя? Не в том даже, что грех прелюбы сотворить. Ну не будем говорить о человеке себя тут совсем потерявшем, развратнике, а о нормальном, добром человеке, полюбившем, от живой ли жены, но без венчания, без церковного таинства — и тут, и там. Что ж, грех, конечно. Но если он любит, несет эту свою любовь, а сам с собой договаривается, что все равно, мол, не венчан, ни у кого ничего не отнимает, только отдает свою доброту, радость доставляет другому — тому,

кого любит... Так ведь чаще всего и бывает, не правда ли? Велик ли тот грех, когда освещен отчаянной любовью?..

— Да, вот так и о н во мне говорил, — пробормотал Лев Ильич.

— Кто о н? — глянул опять отец Кирилл.

Лев Ильич покраснел и не ответил.

Отец Кирилл помолчал немного и продолжал.

— Дело в том, что этот человек не любит Бога, не верит в Него, потому что, если б любил и верил, ну неужто с таким своим, пусть подлинным, сильным, но всего лишь, будем считать, душевным движением — неужто не справился бы? Почему не подумал хотя бы о том, кого любит, что и его толкает на это преступление перед заповедью? Уж себя ладно, так мы чаще себе и говорим, но другого — за кого готов умереть — бывает ведь и такая любовь? А зачем умирать — живи, веруй в Бога, и то, что Он нам заповедал, исполняй.

— А если нет, не получается, срывается человек раз от разу — все, скрежет зубонный?

— Мы как-то говорили с вами об этом, помнится мне... Удивительно, что думая о наказании за собственную слабость и несовершенство, человек так оглушает себя страхом этого наказания, его непостижимой вечностью, материализуя при этом испытываемые им нравственные страдания, в такой от этого приходит ужас, что всего лишь уже добровольно идет навстречу греху. Очень по-русски, между прочим: а, мол, все равно пропадать! Так себя запугивает, так распаляет собственное воображение — скрежетом, огнем, "червем неумирающим", что забывает о милосердии Божиим, о Кротком Пастыре — о Том, Кто во имя любви к человеку принес столь великую жертву, это-то ведь прежде всего! Где ж р а д о с т ь с п а с е н и я, переживания Вечной Пасхи, где понимание того, что произошло с Петром-апостолом, с разбойником, с блудницей, с блудным сыном? "Ты Христос, Сын Бога Живаго" — сказал Ему Петр. А вы представьте весь ужас этих слов, сказанных человеку, идущему с ним рядом по дороге, в одежде раба — узнать Его в нем и сказать Ему, что Он Сын Бога?! Чего стоит рядом с этим даже страшное отречение Петра, трижды им повторенное? А какие дары принесли ему разбойник, блудница, блудный сын? Вера спасла разбойника, а уж он-то принесил совсем реальное зло, но в тот момент, когда все — весь свет отвергся, а кто не отрекся — соблазнился, он, висящий, как и Тот, на древе, признал Его Царем и Богом и от всего сердца к Нему воззвал! А какую любовь Богу принесла блудница с такой сердечной щедростью, что как бы весь Закон и все добродетели мгновенно превзошла! А блудный сын, раскаяние которого было столь до конца искренним, готовность его быть хоть и не сыном — наемником, лишь бы искупить вину, так перевернула его душу — Господь его услышал, потому и прославил тут же! Как же не надеяться на доброту и

любовь Того, Кто есть Любовь и Доброта? Все дело в искренности раскаяния, в готовности осудить себя последним судом — кто ж тогда отнимет у вас надежду? Она — ваша.

Лев Ильич, как тогда, в прошлый раз, вечером на бульваре, взял отца Кирилла за руку, державшую шляпу. Он тут же смутился, ему неловко, стыдно стало своего жеста, рука у него дрожала...

Отец Кирилл, как в прошлый раз, широко по-мальчишески улыбнулся.

— А знаете, Лев Ильич, какая есть история — да не история, место в писаниях Паскаля, его знаменитое пари с человеком, не желавшим, никак не способным поверить в Бога — ну с атеистом, одним словом?.. Паскаль заключает пари — утверждает, что Бог есть, оппонент отрицает. Условия такие — я вам смысл пересказываю, может, и не точно цитирую. Оппонент в течение трех, скажем, лет будет жить христианской жизнью и в конце срока несомненно уверует. Если это произойдет, он в своем проигрыше выигрывает все. В противном случае он ничего не теряет, ибо остается при своих. Если бы вы имели в виду выиграть три жизни, говорит Паскаль, а шанс был бы один из ста — и то стоило бы "рискнуть", иначе просто глупо, пусть даже выигрыш сомнителен. Но ведь тут выигрыш равен трем жизням — вечности! Что вы потеряете? Вы будете верны, честны, смиренны, признательны, благотворительны, искренни, будете бескорыстным другом... Правда, вы лишились всего, что дает этот зачумленный мир на своем пиру: этих жутких наслаждений, суеты, славы, удовольствий, но ведь взамен будут иные — высшие. И за это время вы поймете такую несомненность выигрыша, такое ничтожество в том, чем рискуете, что, наконец, признаете, что держали пари именно против несомненного и бесконечного, притом не жертвуя ничем. А я, говорит Паскаль, буду молиться за вас перед Богом и вам поможет еще и Его сила.

— Изящно, — улыбнулся и Лев Ильич, ему вдруг как-то легко стало, весь этот вчерашний ужас с него сползал. — От ума, конечно, не от сердца, но...

— Разумеется! Католик, да еще гениальный математик. Но представьте, как он однажды, доведенный до отчаяния бесплодными дискуссиями о бытии Божием с кем-нибудь из друзей — а ведь Возрождение, человек осознал себя венцом творения: он сам все познает и все может! — и вот такое пари, как акт отчаяния, хоть иначе, другим путем, пусть не в сердце, но все-таки пробиться...

— А я вспомнил другое пари, даже дискуссию, уж не знаю, по какой ассоциации, — все улыбался Лев Ильич. Они уже шли дальше по бульвару, он отошел, чуть-чуть только плыла голова, по крайней мере ноги больше не дрожали. — Безумный спор, кончившийся побоищем Дон Кихота с цирюльником по поводу принадлежавшего тому бритвенного таза, который Дон Кихот назвал шлемом Мамбри-

на, захваченному им в честном поединке, а потому полагал себя его законным владельцем. А вокруг люди — не помните? — одни из них посвящены в безумие Дон Кихота, поэтому подзуживают его для развлечения и издевательства над ним, якобы верят в то, что это рыцарский шлем, а не таз; другие — не посвящены, поэтому вся ситуация представляется им совершенно невероятной, если уж нет здесь нечистой силы; разумные, почтенные люди несут явную околесицу... Тогда Дон Кихот как человек добрый делает попытку разъяснить. Дело в том, говорит он, что все они находятся в заколдованном замке, поэтому тут с ними и происходят столь удивительные события и превращения — помните, чего только ни случилось на этом постоялом дворе! Кроме того, он рыцарь, а посему местные чародеи именно с ним и творят всякие несообразности, с остальными же, быть может, ничего и не могут поделать. Так или иначе, но на один и тот же предмет и явления они смотрят совершенно по-разному, и что для него шлем Мамбрина, для них может быть и бритвенным тазом... Не по тем же ли причинам, отец Кирилл, в нашем современном, явно заколдованном мире, то, что для одних реально, для других безумие и об истине действительно нельзя договориться, едва ли поможет и пари Паскаля — в нее только поверить можно, а уж поверишь, сколько бы тогда тебя по тому тазу не долбили, пусть и голову проломают — что делать, если для меня это шлем Мамбрина! А что вокруг все смеются, — пусть их. Так, что ли?

— Да, — сказал отец Кирилл, — так. Но тут враг и дожидается, подбрасывает человеку детский вопрос: так все-таки таз или шлем?

— Вот видите! Как тут убережешься?..

— Трудно, разумеется. Слова эти безумны в мире сем... Держитесь, но не забывайте, не мы выбрали этот путь — Он нас нашел. Устоять в добродетели зависит не от нас — от благодати Божией...

Они подошли уже к метро в конце бульвара. Здесь былолюдно, их толкали, не поговорить.

— Мне надо ехать, — сказал отец Кирилл. — Лариса Алексеевна там одна.

Лев Ильич стянул кепку и подступил к отцу Кириллу со сложенными руками. Его толкнули сзади, на них оглядывались, он ни на кого не обращал внимания.

— Благословите, батюшка, мне это очень нужно.

Отец Кирилл благословил его, Лев Ильич поцеловал ему руку, они трижды облобызались.

Он еще раз обернулся к нему, уже исчезая в дверях метро.

— К Маше непременно приходите! — крикнул ему отец Кирилл, подняв руку.

Лев Ильич все стоял, забыв в кулаке кепку, потом повернулся и, широко шагая, двинулся куда глаза глядят. Хорошо ему как-то вдруг стало, легко — море по колено, только голова все плыла, кру-

жилась... "Нашел, — шепнуло в нем что-то, — отметил..."

Он сбегал со ступенек на мостовую, поскользнулся на чуть подтаявшей наледи, нелепо взмахнул рукой с зажатым в ней портфелем, попытался удержаться, вывернуться и, чувствуя, понимая, что падает неловко, нехорошо, грохнулся во весь рост, навзничь, прямо навстречу летящему на него, закрывшему уже весь свет, троллейбусу.

Дикая боль обожгла его, он и не слышал, крикнул он или нет. Для него все сразу исчезло.

12

Комната была маленькой, узкой, в одно окно. У белой, тускло отсвечивающей маслом стены стоял стул, а больше глазу не на чем было остановиться. В приоткрытую дверь доносились голоса, но слов было не разобрать — прямо под окном выла, визжала машина, в открытую форточку несло выхлопными газами, это, видно, и привело его в чувства...

В голове позванивало, потрескивало; медленно, лениво Лев Ильич пытался понять: белые масляные стены, узкая комната, он посреди на чем-то высоком, жестком...

Он оперся руками и сел. Резанула боль в левой руке, он схватился за нее правой — и все вспомнил.

Он снова лег, откинулся и закрыл глаза. Пожалуй, так было хуже: в голове опять поплыло, как тогда, перед тем как ему упасть.

Значит, он в больнице, добегался. Жив, слава Тебе, Господи. И вроде цел.

Он снова открыл глаза, шевельнул одной ногой, другой, поднял ноющую руку, заставил себя ее согнуть, еще раз ощупал, в пальто неловко было. Болело в локте. Он и так у него большой, ушибленный. Тоже пижонство подвело. Это первый раз они были с Любой у моря, первый раз оставили годовалую Надю, отправились на юг вдвоем, с Иваном — такая жизнь была фантастическая: ночью пили, а утром Лев Ильич вспоминал, взвешивал, раскладывал сказанное, примысленное... Шторм гремел всю ночь, а с утра все толпились на набережной, широкого пляжа внизу, где еще вчера они бессмысленно жарились, убивали время до вечера, как не бывало, грязная, вспенившаяся на вершине волна выползала из моря, с нарастающим скрежетом, нарочитой медлительностью, сделав движение назад, катилась к берегу, все быстрее, быстрее, а потом с пушечным грохотом разбивалась о набережную, разлетевшись тысячей брызг и уползала обратно, тащила огромные валуны, слизывала гальку, а навстречу ей шла

новая — и так бесконечно, как чудовищная машина, которую не остановить, которую где-то, не видно где, завели, разведя пары, неостановимо вращая ручку гигантского барабана. Ветра уже не было, высоко работал верховой, рваные клочья туч, такие ж серые, как море, метались, исчезая за горами, порой проглядывало и тут же исчезало в них, словно запорошенное пылью солнце, и все это вместе — безветрие, грохот прибой, и мчавшиеся наверху, в тишине, разорванные клочья туч, так похоже было на то, что происходило тогда, не таким уж ранним похмельным утром в смятенной душе Льва Ильича, что он глянул разок-другой на бледную, в темных полукружьях под глазами Любу, на спокойного, как всегда, молчаливого Ивана, перемахнул парашют набережной, у самой стеночки скинул брюки, рубашку и, позабыв на руке часы, шагнул навстречу показавшейся снизу гигантской, как безглазая стена, высоченного дома, волне.

Здесь стоял такой грохот, что он и не разобрал крика Любы, да он только подхлестнул бы его. Он пробежал несколько шагов по скрипевшей, ползшей под ногами гальке, и когда мутная, бешено вращавшаяся стена зависла над головой, нырнул в нее, вытянув руки, стремясь уйти поглубже, проскочить мелькавшие у самых глаз здоровенные камни.

Он не рассчитал, опоздал на какое-то мгновение, не успел пронырнуть, его как щепку подхватило, крутануло несколько раз, да и выбросило назад, к самому парашюту, где он оглохший, ослепший, дрожащими руками вцепился в землю, в камни, изо всех сил удерживаясь, не давая утащить себя обратно, вместе с ползшей, гремевшей галькой. И так, перебежками, то прижимаясь к стене, то проскакивая, когда волна откатывалась, захватив свои мокрые, грязные тряпки, он с позором бежал от этого серого, безглазого чудовища, далеко в стороне от пляжа кое-как оделся и только тут заметил, как болит распухший, вздувшийся локоть на левой руке.

Вот он и сейчас вздулся, видно опух: долгая история, вспомнил Лев Ильич, недели две, как бы не месяц, будет о себе напоминать.

Машина под окном, пронзительно взвывая, внезапно смолкла и в наступившей тишине он отчетливо услышал слова за дверью:

“...без сознания. Сейчас придет врач, его еще не смотрели...”

Ага, стало быть, он без сознания. А чего он потерял сознание, от боли, что ль? Что ж тогда там, под водой, не потерял? Или молодой был, или его тогда водичкой sprыснуло? да нет, у него и без того кружилась голова — перекурил. “А сейчас бы хорошо пива холодно-го... — подумал он и усмехнулся. — Ну прямо алкаш, а еще о благочестии размышляю!..” Да уж какое было благочестие, когда он до т а к о г о, как сказал отец Кирилл, добрался. “А до какого — т а к о г о?” Вот о чем он его позабыл спросить, а верней, тот сам его спросил, а он не ответил, испугался, а надо это было выяснить преж-

де всего. "Кто о н?" — переспросил его отец Кирилл. И в самом деле — кто ж о н? Был он все-таки или это его бред, примстившееся ему, слабость его, грех, ничтожество, оборачивающееся такой страшной реальностью?.. Ну а реальность-то эта существует, если есть та, другая — высшая реальность, то и эта — низшая, да не та, в которой мы барахтаемся, что он остроумно определил "бритвенным та-зом", а та — действительно низшая, про которую лучше не остричь, не дай Бог, снова что-то не то шепнет ему в ухо, обернется жуткой рожей...

Он вздрогнул и сел на своей жесткой койке, прижав здоровую руку к груди — он так ясно, так отчетливо услышал вместе со стуком распахнувшейся где-то двери ее голос, почти крик, не узнать его он никак бы не мог...

"Здесь у вас Гольцев?!"

"Потише, видите, я занята..."

"Вера? — ударил Льва Ильича тот же голос. — А вы почему здесь?"

"Здравствуйте, Люба, я... я даже не знаю, как вам объяснить... Мне позвонили только что... Я должна была... да и сейчас не могу тут сидеть..."

Лев Ильич в ужасе опустился на койку и закрыл глаза: какой ему еще реальности надо было, все еще мало доказательств?.. А в уши лезли и лезли голоса из-за неплотно прикрытой двери.

"Ах, вот оно что?.. Да у меня мелькнуло что-то такое, откуда, думаю, Эппель взялась, вот он ларчик, да и секрет немудреный."

"Погодите, Люба, вы не о том говорите, я... уезжаю..."

"В чем дело, женщины? — раздался новый голос за дверь. — Что вы тут делаете? Что за базар у тебя тут, Лиза?.."

— Да это к тому, которого сейчас привезли, никак в себя не придет...

Взвыла, заверещала машина за окном, все потонуло в этом грохоте, и Лев Ильич облегченно передохнул, с радостью вдыхая си-зый дымок, потянувшийся в форточку — может, опять все примерещилось?

Открылась дверь и вошла женщина в белом халате.

— Ну что тут с вами? А говорят, без сознания — гвалт на всю больницу... — грубовато сказала она, подходя вплоть к Льву Ильичу. — Что молчите, что с вами?

Лев Ильич не отвечал, он и про руку позабыл, холодный пот струился, бежал по спине: "Слава Тебе, Господи, все-таки врач, больница — не Страшный Суд..."

Женщина шагнула к окну и захлопнула форточку, стало потише.

— Тут и мертвого подымут, не только... — она обернулась к Льву Ильичу, взяла стул, села возле него и взяла его за руку.

Лев Ильич поморщился.

— Локоть зашиб, да ничего страшного, извините. Он у меня и так больной.

— Ну уж извините-не извините, попали к нам. Раздеться можете?

— Да не нужно, доктор, я сейчас встану, пойду.

— Ну-ка сядьте.

Лев Ильич сел, чувствуя, как опять поплыла голова.

— Голова кружится?

— Нет, — соврал он. — Просто зашиб руку и потерял сознание от боли.

— От руки сознание не теряют. Разденьтесь... до пояса, — она встала и отошла к окну.

Лев Ильич спустил ноги, неудобно было, да это не койка — каталка оказалась. Он встал, покачнулся, но справился, снял пальто, пиджак, с трудом, закусив губу, чтоб не выдать себя, стянул свитер, рубашку.

Женщина подошла к нему, ощупала локоть. Пальцы у нее неожиданно оказались мягкими, бережными.

— Очень больно?

— Ерунда, — улыбнулся Лев Ильич. — А как вы дотронулись, так совсем прошло.

— Ишь какой, — посмотрела ему в глаза женщина, — что ж, мне так вас теперь и трогать? Да вас, видно, есть кому, — она кивнула на дверь и хохотнула, приоткрыв жирно намазанные толстые губы; в накрашенных глазах застыло удивление. — А еще крест нацепил, — она вытащила из кармана халата стетоскоп. — Кружится голова?

— Да нет же, — упорствовал Лев Ильич.

— Чего ж краснеете?.. Ну нет так нет... А Бог-то, видать, есть, если под колесом лежали, а всего лишь локоть зашибли. Уж как он троллейбус остановил... где еще болит?

Лев Ильич пожал плечами.

— Ноги, голова?..

— Я перекурил, — вспомнил Лев Ильич, — у меня с утра голова кружилась.

— Давайте давление измерим... Пили вчера?

— Да, — сказал Лев Ильич, — а сегодня с утра еще ничего не ел. Чаю даже не выпил.

— Поститесь, значит, как моя мать — так она не пьет и не курит... Да ничего, даже давление почти в норме... По моей жизни в приемном покое редко такого мужика встретишь. Или в пост нельзя?

Лев Ильич не нашелся ответить.

— Оденьтесь и полежите полчаса, а там пусть вас забирают. И не шалите больше, а то Бог-то может и есть, но ведь тоже шалунов

не любит.

— Спасибо, доктор...

— За что? Мне-то за что спасибо? Вы б того водителя поблагодарили, если б не он, никакой бы вам Бог не помог. Ничего, может еще когда встретимся. Ложитесь...

Она вышла, оставив дверь притворенной.

"Кто здесь за больным?.. — услышал Лев Ильич ее голос. — Обе? Ну еще бы... Вы кто ему будете?"

За дверью молчали.

"Что ж вы, отказываетесь, что ли? Только что тут базар был, а теперь язык, гляжу, проглотили..."

"Что с ним?" — услышал Лев Ильич Любин голос.

"Слава Тебе, Господи, вспомнили. Ничего с ним страшного. Локоток зашиб. Головка закружилась. Пусть полежит полчаса — забирайте. И кормить его надо с утра, чтоб голодный не бегал — уже не мальчик. А то кто-нибудь подберет. Такие не валяются. Я б на вашем месте не разбрасывалась... А это что?"

"Это его документы — из кармана вытащили. И записная книжка. Я по ней позвонила — вот телефон сверху. А на паспорте штамп — он в редакции работает, туда тоже..."

"Запишите, Лиза, а я потом... Можете зайти, только по одной, а то, видать, впечатлительный..."

Стукнула дверь, она, наверно, вышла. Зазвонил телефон.

"Приемный... Ой, где?.. В поликлинике? Бегу, бегу, пусть пождет... Чего ж ты сразу не позвонила?.. Полчаса ждет?.. Скажи, бегу, бегу..."

Еще раз стукнула дверь. Лев Ильич слушал установившуюся там тишину, да и машина утихомирилась...

"Мне за мою жизнь больше всего надоела темнота, — услышал он Любу. — Как вы сюда попали?"

"Вам же сказали — открыли книжку, вон на столе, позвонили."

"А в книжку-то как? Или там один телефон?.. Мне так, вот из редакции сразу сообщили... Да что я спрашиваю, какое мне дело. Так, по привычке, семнадцать лет привыкала, сразу не отвыкнешь. Теперь вы привыкайте — вон как его аттестуют, не валяются, говорят. Ну и слава Богу, подобрали, душа не болит."

"Погодите, Люба, выслушайте меня, я уезжаю... Я случайно здесь."

"Много случайностей. Поменьше-то правдоподобней было б. И незачем мне голову морочить... А я еще по глупости с ним поделилась, вот, мол, Вера Лепендина молодец, не дождалась, пока поздно будет, загодя рассчиталась с мужем. Действительно дура. Умна-умна, а как говорят: ума палата — ключ потерял. Да правильно, чего говорить, ваш не такой же, что ли? Да все они из одного теста, нагляде-

лась на наших мужиков, этой, вон, может, в новинку... Ладно, еще отворю, не дай Бог, — подобрали, пользуйтесь, цацкайтесь на здоровье. А что ж, вы еще ничего из себя, лет на десять меня, поди, помоложе, продержитесь. А там и вы ему, коль силы будут, не все заберет, ручкой сделаете. Только чтоб меня не вспомнил, да уж тогда что..."

"Послушайте, Люба, я понимаю, вы нервничаете. Мы действительно встретились со Львом Ильичем в поезде, еще где-то два-три раза наши пути пересеклись, но вы напрасно, у меня и в мыслях, и планы совсем другие..."

"Ну что это вы, голубушка, избавьте меня, уж не мыслями ли, не планами со мной собираетесь делиться, давайте без откровенностей, на что мне?.. Только планы-планами, а не об одной же себе думать. Что-то он у меня за семнадцать лет ни разу под колесо не кидался, да и без чая утром не отпускала... Ну что это я говорю-то, Господи! — крикнула она. — Вы не слушайте меня, забудьте! Ведь я радоваться должна, он значит, и правда, вас любит — ну не любил бы, не случилось бы так, у нас сколько лет, всякое бывало, но для него дом — я, Надя — всегда первое, там то, другое, но я-то знала, чувствовала, что мы такое для него. Раз он — такой, как он есть, с тем, что в нем, да ему чтоб решиться на такое!.. А если так, я радоваться должна, ведь так, Верочка, ведь так? Вы простите меня, это не я, это во мне все эти семнадцать лет кричат, которые я сама загубила, потому что все откладывала — по путанице, по своей бабьей глупости, по самолюбию, все откладывала то, что всегда жило во мне для него, всю мою любовь к нему, которая все случая ждала, чтоб ему преподнести, каждый раз на глупости, на чем-то срываясь, и так дальше, дальше... Вот сегодня, когда позвонили, когда бежала... Отчего это, Вера?.. Может, от того, что ушло, что не дотянуться, а пока было — цены не знала?.."

"Люба! — крикнула Вера, и там стул загремел ("Вскочила она, что ли?") — да не нужен он мне, ваш Лев Ильич, уезжаю я, вы что, не слышите меня? Совсем уезжаю, с мужем, с Колей Лепендиным, навсегда уезжаем..."

Там стало тихо.

"...Я вам не Люба, — зазвенел Любин голос, — а Любовь Дмитриевна..."

"Мне сейчас за визой, — перебила ее Вера, — ну что вы в самом деле, зачем это мне?.."

"Вот значит как... — медленно сказала Люба, — вот, стало быть, отчего он... на ровном месте споткнулся, под колесо... У него высокая любовь, а вы и тут ждать не захотели? Я вам, а вы... Недоценила я вас... Напакостили и бежите..."

"Встать, что ли, — лихорадочно соображал Лев Ильич, — это все уже невозможным становится..." Только слишком театральным

было б его появление, а ему сейчас совсем не до эффектов. И голова еще пуще звенит...

— Да разве можно с ним так? — все звенел Любин голос. — Как вы могли? Я-то ладно, я во всем виновата, у нас с самого начала все не жизнь — все насмерть, кто кого... Да если б можно еще что-то было исправить — так нет, нет уж меня, понимаете — нет! Но вы-то что? Ну конечно, Коля пошкарней будет, вот оно что вам нужно, быстренько сориентировались, распознали, что по чем... Да ты... ты — шлоха, а я-то еще..."

— Вы меня, Любовь Дмитриевна, от откровенностей останавливали, а сами таким делитесь — мне ведь это тоже ни к чему. Не знаю, за что у вас там шло сражение ваши семнадцать лет, чего не поделили, дочь вырастили, что еще? А ежели так страдаете, ну найдете выход. Да уж наверно, не так там было, когда он за чужие юбки цеплялся. А со мной тоже все. Все я перечеркнула, все забыла. Нет меня тут больше. И совсем меня нет, только не так, как вас — у вас вон еще сколько сил, страсть какая! А я мертвая, понятно вам? Живой была б, отсюда не уехала. А мертвые не бегают, ошибаетесь — они... А помирать все равно где. И от него бы не отказалась, если б живой была. И неправда, что Лепендин... это все не так — не вам понять."

— Господи! — крикнула Люба. — Какой же он несчастный, бедный, бедный Лев Ильич!..."

И дверь там хлопнула.

Лев Ильич лежал с закрытыми глазами: "Теперь-то уж все, что ли?..."

Потом он услышал, как там так же быстро, срываясь, набрали номер телефона.

— Коля?... — услышал он. — Это я... Понимаешь... Когда сейчас?... Да жив-здоров. У него случайно в записной книжке оказался наш телефон... Не знаю, почему именно нам. Кому-то надо было позвонить... Любе?... Нет-нет, не звони, ее нет... Я звонила. Его надо увезти отсюда... Ну да, действительно, почему мы должны заниматься... Но раз я здесь... Погоди, а завтра нельзя?... Ну хорошо, что ты злишься! Паспорт мой у тебя?... И билеты тоже обязательно сегодня?... Конечно, лучше завтра, что за истерика. Значит, завтра?... Ну не кричи, еду, еду. Значит, где?... На углу, возле сберкассы?... Не опоздаю..."

Брякнула трубка и сразу открылась дверь. Она, видно, подошла к нему, наклонилась, он слышал ее дыхание, боялся хоть чуть приоткрыть глаза, чтоб не задрожали ресницы.

— Прощай, Лев Ильич, — прошептала Вера, — теперь навсегда. Ты знаешь, что все не так. Ты знаешь меня, ты же мне веришь... по-верх всего. Прости меня...

Стукнула одна дверь, вторая, в ушах звенело от тишины.

Он полежал еще несколько минут, медленно приподнялся, сполз с каталки, с трудом натянул свитер, пиджак, захватил пальто, портфель и открыл дверь.

В соседней комнате никого не было, отодвинутые от стены, как живые, стулья — вот здесь они только что сидели.

На столе, возле телефона лежала его записная книжка и паспорт. Он раскрыл — паспорт был действительно его.

Он сунул в карман книжку, паспорт и открыл дверь в коридор. Он дошел только до угла, надо было переходить улицу, а тут конец рабочего дня, безумные машины, толчая на мостовой, рев, он и приостановился, ноги дрожали.

”Напугали, что ль, теперь до смерти все по одной стороне буду ходить?.. — он нашарил сигареты, спички. — Ну раз могу курить...”

Его ветерком обдуло, он с трудом прикурил, морщась от боли в локте, поставил у ног портфель, да и загляделся на небо, привалившись к стене дома, прямо на углу. Солнце садилось не видимое отсюда, за домами, а небо розовело сквозь дымку. Что-то ему за город захотелось, чтоб деревья росли свободно, не в асфальте, чтоб мокрая земля, оживавшая на глазах, зелень неведомо откуда, чтоб пахло прошлогодней прелой хвоей, потянуло дымком... Эх, сколько еще прекрасного на свете! Что ж, раз жив остался, надо жить.

Он смотрел через улицу. Движение перекрыли, толпа сгрудившихся машин словно топталась на месте, ждала своей минуты, и там, на том берегу широкой как река улицы, девушка сбегала с тротуара и кинулась прямо, не глядя на пешеходную дорожку: тоненькая, длинноногая, в расстегнутом дешевеньком кожаном пальтишке, косынку у нее с головы смахнуло ветром, она подхватила ее налету, все ближе, ближе, — как в последний раз бежала.

— Папочка! — закричала она вдруг. — Папочка-а!..

Лев Ильич оторвался от стены и бросился ей навстречу.

Они сошлись посреди мостовой, ближе к его краю. Он схватил ее, обнял, прижался к ней, чувствуя на губах ее соленые слезы, гладил ей волосы — и все не верил — она, его Надя!

Вокруг уже рычали машины, объезжая их, толкотня, грохот, он ничего не видел, не замечал, кроме ее мокрых глаз, да ему ничего больше и не надо было.

Они так и простояли обнявшись, пока снова стихло, выбрались на тротуар и двинулись было — он все ее обнимал...

— Портфель! — засмеялся Лев Ильич.

И портфель все валялся на углу у стеночки, как он его оставил.

— Что с тобой, папочка? — выговорила, наконец, Надя. — Я как пришла из школы, а у нас сегодня кружок, поздно, дверь — настежь, мне соседка Серафима и крикнула еще на площадке, что тебя машиной сбilo, мама побежала в больницу... Я сразу...

— Никто меня не сбивал — видишь, все хорошо.

— А что с тобой?

— Подскользнулся, отвезли, а маме кто-то позвонил, напугали.

— Она где, мама?

— Уже ушла...

Темнело так легко, не враз, а словно воздух уплотнялся, Льву Ильичу шагало все легче, или от того, что держал ее за руку, что теперь он был не один, что вместе с этой девочкой, так неожиданно невесть откуда слетевшей к нему, все стало четким, определилось, обрело форму — хаос, призрачность кончились. Это ведь только кажется, быстро так и тоже легко думал Лев Ильич, только кажется, что меж хаосом и гармонией бездна, что их разделяет пропасть, которую не перескочить, а сорвешься — не выбраться. Только кажется! Это как в перенасыщенный раствор, — вспомнил он такой любимый он им образ, — где все спутано, где нет ни мысли никакой, бросишь веточку, и все сразу меняется — обернется совершенной формой кристалла, чудом гармонии, самой природой, уж наверно созданным для какого-то неведомого нам смысла. Это потому, что все — в нас, ни через какую бездну не надо прыгать. Это в нас хаос, это в нас — гармония. Только мысль, идею, образ — истину надо услышать сердцем. А ведь есть и слово — как-то называется эта веточка, как же, такое знакомое, льющееся и никогда не прекращающееся слово... Не мог его ухватить Лев Ильич.

— Папочка, а купи мне пирожное, а? — услышал он Надю. Они стояли возле маленького кафе.

— Как кстати, — сказал Лев Ильич, — я и не ел с утра.

Сказал, да и осекся сразу.

Надя подняла на него глаза, в них опять закипали слезы.

— Как же так? Ты где живешь, что с тобой, папочка?..

— Ладно, ладно, перестань. Вот мы сейчас...

Кафе было уютным и людей не много. Они сели возле окна. Надя выбрала себе пирожное, Лев Ильич бутылку кефира, неожиданно нашлась селедочка, салатик с огурцом...

— Ты можешь выпить, папа, — важно сказала Надя, она уже и забыла про свои переживания.

— Спасибо, — улыбнулся Лев Ильич. — С меня хватит. Я теперь трезвенник.

— И давно это с тобой?

— С сегодняшнего утра. А там видно будет...

Какая красивая девочка, думал Лев Ильич, какое счастье, что она есть, что сейчас она с ним — как все хорошо...

— Что скажешь про пирожное?.. Надо тебе кофе взять, что ж ты так?..

— А я потом, с тобой. И еще пирожное... Ты знаешь, меня се-

годня в школе такая странная мысль посетила...

— Посетила? — переспросил Лев Ильич, так и застыв с вилкой в руках.

— Да, вот именно посетила. Нам что-то такое объясняли по истории — мы проходим революцию, гражданскую войну, коллективизацию. И я вдруг подумала, не знаю почему, что учителя и все мы все время играем в какую-то игру. Понимаешь, мы как бы условились однажды, еще в первом классе, или нет — раньше, помнишь, ты меня еще в детский сад водил? — вот еще там. Мне уж тогда объяснили правила этой игры. И все твердо знают, что это игра, что смысла в ней ну совсем никакого, то есть, такого, чтоб он имел, ну хоть какое-то отношение, например, к моей жизни, потому что на самом деле мне нужна не эта история, не эта литература, и физика другая. Я, правда, не знаю какая, но твердо знаю, что другая. Но мы все почему-то играем и играем в эту игру — вот что удивительно! — знаем, что другие тоже знают, а никого не стыдимся. И себя не стыдимся. Надеваем на себя какое-то не свое лицо и ходим в нем: разговариваем, отвечаем уроки, а они — учителя нас спрашивают. Но это все не по настоящему — понарошке...

— А сейчас, со мной, — спросил Лев Ильич, все больше удивляясь, — со мной ты тоже играешь?

— В том-то и дело, что я уже не знаю. Вот, может, только когда мне Серафима про тебя крикнула или когда тебя увидела там, возле больницы... А так, знаешь, папа, как страшно: всю жизнь человек играет в эту свою игру, даже дома позабывает себя настоящим, а потом, когда умрет, и уж не может играть, то там...

— Что там?

— А там ничего. Ну лицо-то он уже не может себе делать — мертвый.

— Какая ты фантазерка, Надя...

— А что — глупость, да? А что — неправда?.. Мы про это уже говорили, помнишь, когда Игорь мне сделал предложение?.. Я заметила, как она — наша Марфа Павловна — рассказывала нам, что было, ну когда раскулачивали, знаешь?.. А тут завуч зачем-то заглянула, какое у нее — у Марфы сразу стало лицо — она совсем о другом, про другое, это ей отгарабанить, а там чай пить, про свои дела разговаривать или еще чего. Что, у нее своих дел, что ли, нет? Это понятно, я ничего не хочу про нее сказать плохого — но ведь так все и во всем? Что думаешь, когда я отвечаю урок, я разве этим живу — и у меня свои дела. И не нужно мне это раскулачивание, тем более, может, это вранье, а там все не так было. И получается, что это даже не игра, а такая двойная, тройная игра — игра в игре. А там еще... Мне вчера Игорь звонил, — неожиданно перебила она себя.

Лев Ильич вздрогнул: хаос, о котором он только что думал, в котором гармония присутствовала уже самой возможностью мгно-

венного выпадения в нем кристаллов, словно бы вдруг определился, тем самым перестав быть хаосом. Он представил себе огромное живое тело земли, ту ее часть, что одна и была чем-то в его жизни, живую сеть капилляров, пульсирующих кровью под любым асфальтом, пересекающихся, завязывающихся узлами, разбегающихся в стороны, и все равно остающихся вместе... "Господи, как вошел в жизнь этой девочки Игорь Фермор? Отчего и зачем, вот оно переплетение судеб, но что оно значит?.." И он вспомнил Машу, историю Глеба Фермора, его стариков родителей, о которых ничего не знал, кроме того, что они жили когда-то во втором этаже того дома во дворе, попытался представить себе, не смог, но они ж были, их и Глеб, небось, знал! — деда и бабушку Ферморов, прадедов Игоря... Он подумал, об отце Кирилле, чья судьба оказалась так вплетенной в жизнь этих людей, и не только тем, что жил он сейчас в их доме, что когда-то кто-то из них ему помог... И увидел еще одну ниточку-капилляр, пульсирующий кровью, орошаемый все той же живой водой, здесь в этой земле, почве, неотделимой от нее. И он узнал его...

— Ну что Игорь? — спросил Лев Ильич.

— Обещал зайти к нам на кружок. Я сказала нашему руководителю — Володе, что у меня есть знакомый актер, он сказал, что рад, если он придет.

— Нравится он тебе?

— Кто — Володя?

— Игорь.

— Как нравится — он мой жених. Вы ж нас обручили. Ты забыл, что ли?

— А что у вас в кружке, ты действительно хочешь быть актрисой?

— Ой, папа! Вот поэтому, я к тому тебе и говорю. Раз уж мы все играем, так пускай это будет делом. И я стану играть не пустое, ненужное никому — ведь потому и жизнь у нас не настоящая, что мы все время, с самого утра и до вечера, врем себе — и других собой ненастоящими обманываем. А потому я лучше буду играть настоящее — настоящую любовь, как у нас с Игорем, настоящую смерть, как с тобой чуть сегодня не случилось... Ой, папочка! Что я говорю, этого не может, не могло быть!..

— А разве актеры, — отмахнулся Лев Ильич, ему почему-то очень важным показалось понять, что она все-таки хочет сказать, — разве актеры, выходя из театра, не позабывают про свои роли? Иначе они могли б играть только одно и то же? А если ты сегодня Офелия, а завтра Кабаниха — кто ты на самом деле?

— Та, которую я играю сегодня — Офелия. Так и будет до тех пор, пока не стану Кабанихой.

— А ты-то, ты кто? Я и говорю — да не я, отец Кирилл сказал, что ты себя не успеешь найти — потеряешь...

— Ну как ты не поймешь! Володя нам сегодня прочитал "Пир во время чумы". Мы будем ставить. Он сказал, что никто никогда не ставил, а он — не боится. Вы, говорит, сможете. Уже роли распределили. Я — Мери... Вот скажи, кто по-твоему еще в русской литературе такая Мери?

— Еще?.. В русской?.. Не знаю... Соня Мармеладова?

— Откуда ты знаешь? Тебе кто сказал?

— Кто мне скажет — ты спросила. А кто еще в русской...

— Значит, это всем приходит в голову, на поверхности. А я думала — мое открытие, я еще и Володе не говорила...

— Зачем тебе открытие — тебе сыграть нужно. А Достоевский хорошо читал Пушкина.

— Пускай так. Ты помнишь "Пир"?.. Нам Володя так объяснил — там всего-то десять страничек, а можно про это целый день говорить и целый год думать. Представляешь, прямо на улице стол, за ним сидят мужчины, женщины — пьют, поют песни — гуляют. А кругом чума, все вокруг или мертвые, или заражены, завтра умрут. Они поют, кричат, звенят бокалами, сами в себе свой страх заглушают — но только того не знают, что чума-то в них, что, может, никакой чумы на самом деле и нет. То есть болезни, эпидемии, а они все равно заражены, все равно смертники.

— Это Володя вам так объяснил?

— Ну примерно, может, другими словами. Понимаешь, все на этой земле пропало, все разломано, все себя потеряли...

Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща темная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое стоит, —
Тихо все: одно кладбище
Не пустеет, не молчит...

Но они пьют, безумствуют, они в себе самих себя заглушили...

Бокалы пеним дружно мы,
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может... полное Чумы.

Ну и так далее. Ты наверно помнишь. Но я тебе не для того рассказываю...

Поразительно, думал Лев Ильич, мне б и в голову не пришло в шестнадцать лет так это прочитать — да просто задуматься над этим! Как замечательно, что теперь читают Пушкина, да как хорошо, неожиданно, по-своему — жива Россия... "Ну вот уж и Россия, — одернул он себя. — Какой-то литературный мальчик, наглец, вздумал в школьном драмкружке ставить "Маленькие трагедии" — а Россия причем?.. А где он, в Париже, что ли, ставит?.."

— Сколько лет вашему Володе?

— Какому Володе?.. А... не знаю. Он еще учится, на заочном в училище... Подожди, папа, ты меня дослушай. Там есть еще одна женская роль — Луиза. Я сначала все на него глядела-глядела, на этого Володу, чтоб он мне Мери дал — текста больше. Он и дал. А потом поняла — Луизу интересней бы сыграть. И не из-за того, что она характер, надрыв, а эта Мери — сентиментальная мямля... хотя она, может, и Соня Мармеладова. Но Мери, как бы тебе сказать, ее не жалко, ее чего жалеть? Потому что она сильная, она не боится, она в себе чуму победила — это не важно умрет она или нет. Помнишь, как Соня с Раскольниковым разговаривает? Он и мужчина, и образ, и убийца, и гений, и Наполеон, и философ, и истерик — такая значительная фигура, а она — букашка-замарашка. А когда читаешь — он перед ней ничто. Разве ее — это его все время жалко! Она его бесконечно сильнее, хоть он ее пугает: про болезни, про канаву, на самоубийство ее толкает — и юродивая, и помешанная, и все над ней смеются. Еще бы над ней не смеяться, еще бы ее не пугать, не мучить! Чего он только ей не говорит — я недавно читала, — как только над ней не измысливается, а она в ответ на это на все его только жалеет. Он ведь ее ни в чем не поколебал — сила-то в ней какая! Вот что там, как я это понимаю. А ты знаешь, почему?

— Да, конечно, — сказал Лев Ильич, потрясенно, — я-то знаю, но я что — а ты?..

— А что я? Это для всех написано. Соню, конечно, можно сыграть. Там про нее есть одно такое место... Может, ты помнишь. Она говорит Раскольникову о том, как любит Катерину Ивановну, а он ее не понимает, она, мол, жестокая, чуть ли не бьет ее и прочее. И вот Соня говорит: разве она жестокая, она добрая, это она, Соня, с ней жестоко поступила. И рассказывает. Она зашла как-то показать воротнички и нарукавнички, которые ей торговка Лизавета — ну та самая, понимаешь? — которые она ей задешево предложила. А Катерина Ивановна себе примерила, посмотрелась в зеркало, так сама себе понравилась, что говорит: "Подари, говорит, мне их, Соня, пожалуйста." Соню почему-то это слово "пожалуйста" поразило. У Катерины Ивановны ни платьев, ну совсем ничего, и сколько уж лет — а она гордая, чтоб у кого попросить, а тут — "пожалуйста"! А Соня пожалела: "На что вам", — говорит... Ты что, пап?..

— Так, вспомнил про свои воротнички, — усмехнулся Лев Ильич, в жар его бросило.

— ...И вот, понимаешь, эти слова так рвут ей сердце — ну что она пожалела... Конечно, тут есть чего сыграть, в этой Мери материала-то поменьше — нам, актерам, я имею в виду, а так то же самое... А вот Луиза — в той страх, потому что она завистлива, ревнива, она злая, потому ей и кошмары наяву снятся — черный, белоглазый, жуткая тележка с трупами. Потому, представляешь, папа, какая она

несчастливая — не Соня, не Мери, а эта Луиза, этот Раскольников...

— И что же ты? — Лев Ильич так что-то разволновался, стал шарить сигареты по карманам, да здесь вроде не курят.

— Понимаешь, ее надо пожалеть. Как ей помочь — Луизе? А если я ее сыграю, может, я ее как-то успокою?.. Но если бы перед тобой, папа, стоял выбор — Мери или Луиза, кого бы ты выбрал?

— Как выбрал?

— Ты же мужчина, папа, ты любил — не маму, у вас семья, когда-то был роман. А ты знаешь, что такое настоящая любовь?

— Вообще любовь? — переспросил Лев Ильич и услышал слово, которое только что на улице, когда ему стало так хорошо, все не мог поймать — веточка, которая превращает хаос в гармонию, от чего раствор оборачивается кристаллами... Любовь?

— Да. Не та, про которую кино и песенки, не та, про которую Луиза все знает — может, мне поэтому и не сыграть, я не знаю, что это такое. А как у Сони, как у Мери, которая ведь и эту Луизу любит, хоть та ее так злобно обругала. Про такую любовь?

— Может, еще и не знаю. Только одно мне известно — что она превыше всего.

— Да, — сразу печалилась Надя. — Вот и я еще не знаю. А хотела бы сыграть. Только знаешь, папа, мне кажется, что если это понять — а это все равно в ком, хоть в Мери, которая про то знает, хоть в Луизе, которая и умрет, про это ничего не узнав, но если это понять и сыграть — это уж будет не чужое лицо, которое снял и пошел... чай пить. Это навсегда. Вот я про что. Почему ты актеров не любишь, где можно еще такое узнать и про это понять?.. Но ты мне все-таки ответь — кого бы ты выбрал?

— Выбрал?.. А... а для чего, для какой, то есть, цели — кого я хочу сыграть? Но ведь я не актер, я этого не понимаю.

— Да нет, папа, то есть, я-то хочу выбрать, чтоб играть. Но я тебе все пытаюсь объяснить, что это не игра, жизнь. Мне это по жизни надо понять. Вот, ты мужчина, ты любишь двух женщин — так ведь бывает, папа? И они тебя любят, обе. Но одна такая Соня, Мери — такая ясная, сильная, ее никогда не заставишь быть самой собой. То есть, какая ж она сильная? Она слабей слабого и несчастий у нее не сосчитать: и деньги зарабатывает... ну одним словом, телом, и то, вон Соне не всегда удавалось — кому она такая нужна, над ней только посмеяться можно, тем более конкуренция — Луиза. И из квартиры ее гонят — Капернаумовы, и дети Катерины Ивановны на ней, а они вот-вот по миру пойдут, на ту же дорожку — все несчастья у нее. Но это все равно — у нее та Книга в кожаном переплете, подержанная, старая лежит на комод — помнишь, из которой она ему про Лазаря читала? — вот в чем ее сила. Ты ведь это понял? Потому она такая ясная, она на любой вопрос Раскольникова знает, что ответить, он ничем ее не поразит, не уничтожит, не сломит — она самое главное зна-

ет. И Мери такая же. А другая — Луиза — красивая, отчаянная, роскошная такая женщина. Но... злая, ей кошмары средь бела дня мешаются, она пропала. Вот я о чем... Ну кого бы ты, папа, выбрал? Это ж не для тебя, для них — кого твоя любовь может спасти? Вот я тебя о чем спрашиваю. Кого?..

13

На этот раз он был осмотрительнее, а может, просто опытной: не ткнулся на первую попавшуюся скамейку, на самом виду, на ходу, на первое бросившееся в глаза место, которое потом, ночью пришлось уступить старику с мешком, провонявшим рыбой, он прошел подалее, походил меж рядами скамеек, на которых сидели, лежали, с бесконечным тупым ожиданием глядевшие на него и его не видевшие люди. Так тут было и год, и десять, и двадцать, и тридцать лет назад. Так, наверно, было и пятьдесят лет тому, когда он не мог всего этого видеть. Россия-то была не на новых, возникших на асфальтом асфальтом костях особнячков, проспектах, где разгуливали сейчас по весеннему яркие, длинноволосые франты, останавливались сверкавшие черным лаком машины, а из них, воровски озираясь, выпрыгивали краснорожие, с бегающими белыми глазами, торопливо проходя в высокие подъезды одинаковых, как их машины, шляпы, костюмы, рубашки, галстуки, исподнее — домов... Да, наверно, и это было не совсем так, там же сердце бьется под тем выданным с одного склада исподним, а о чем плачет ночами душа, когда тело, под казенным, хоть и пуховым одеялом, трясут судороги жалких, корыстных ли, честолюбивых, плотских страстей, или увлажняется мерзким трусливым потом, вспоминая кабинет, куда обладатель всего этого богатства был вызван в тот день с докладом, перехваченный там взгляд, предвещающий конец всему — машине, атласному одеялу, шелковому исподнему... "Душа-то все равно христианка", — сказал ему отец Кирилл.

Все это была Россия. И не проклинать ее следовало, подыскивая клокочущие звонкими аллитерациями рифмы, призывая мор, глад и холод, точно зная, что современная рифма оплачивается сегодня звонкой монетой, а чем громче проклинаешь, холодеет от собственной смелости, тем больше получишь, коль останешься цел, а там — прощай и будь ты проклята! И уже не жалкие проспекты — провинциальные в своем напыщенном стремлении быть похожими на то, что бесконечно клеймят в газетах, развешанных на тех же проспектах, не доморощенные, трогательные в своей провинциальной безвкусице франты — курносые и конопатые, как в маскарade,

в расклепанных штанах, с жиденькими волосенками на пестрых плечах... Да всегда тут так было, еще с Петра, с Алексея Михайловича, да, верно, и раньше — с Иванов — все тот же жалкий маскарад. Так разве в нем была Россия, а не в том, что билось и мучалось под этими цветными, заморскими тряпками?.. Им — уехавшим — не было до нее дела. Теперь перед ними подлинная цивилизация, настоящих денег стоящая благородная небрежность, естественно перелившаяся из средневековья в безумный сверкающий двадцатый век. Вот оттуда и добавить, плонуть смачнее, уж кому — не этим же, здешним, что имеют все это с рождения, понять нашу убогую, мелко-травчатую мерзость, кому ж еще, кроме нас, сполна расплатиться за липкий, во сне шевелящийся в желудке ужас за собственную смелость... Да, только трусы, рабы, лакеи, стреляющие рубрики, чтоб поддержать эту жалкую жизнь, там и остаются!.. "Где ж она все-таки, Россия, что она такое, уж не миф ли она действительно..."

Лев Ильич уселся в уголке, хорошее было местечко, рядом бабка бодро сидела, обхватив двумя руками деревянный чемодан с замочком, недреманно смотрела прямо перед собой, а напротив него солдатик жевал булку, закусывая вареной колбасой, прямо от куска отрывая молодыми звонкими зубами, запивая лимонадом из бутылки... И Льву Ильичу стало хорошо — ничего ему больше не надо: "Да уж привык..." — подумал он рассеянно.

Теперь, со все не утихавшим в нем изумлением он думал про Надю. Сам-то он разве так читал книжки, когда это они так входили в его жизнь, чтоб уж и не понять, рассказывают это ему или сам измерил это страдание — о тебе, про тебя, с тобой это все происходит, ты в той судьбе виноват и пришла пора платить по счетам?

Где ему было ответить на ее вопрос, да и разве в ответе было дело, а не в том, что он непонятно как вызрел в ней, зазвенел, что она задалась им, ничего про то не умея понять. А ведь ему давно б тем вопросом задаться...

Он проводил Надю до дому, бережно держа за руку, поймав себя даже на какой-то счастливой робости перед ней. Вот в чем надежда была — в том, что они вырастали совсем другими, легко перешагнув засасывающую, чавкающую под ногами грязь, то, в чем он столько лет барахтался, да и едва ли еще отмоеется. Как не бывало! И все несметное богатство, что те — смельчаки за деньги, полагали возможным вывезти в своих модных чемоданах, выкладывая двойные стенки иконами да павловскими, екатерининскими секретерами, разбирая их на досточки, все, что там оборачивалось пошлостью, стыдом, позором, здесь было своим, собственным, живой кровью — не трусливым гаденьким воровством. Будто открылся родник, источник, забитый телами, залитый известью, заваленный камнями, а сверху асфальтом, а по нему полвека ползал каток, утюжил, чтоб способней было маршировать на костях, дудеть в трубы, в горы,

чтоб цвет крови напоминал уже не о живом страдании, а вызывал кровожадное дикарское веселие, чтоб оно все вокруг застило, заглушило... Открылся источник, размыл страшную плотину, просочилась окрашенная еще той самой забытой, живой кровью живая вода, хлынула на истосковавшуюся, жаждущую, ждущую влаги землю...

Снова, как в прошлый раз, в дальнем углу огромного зала ожидания, уставленного рядами огромных скамей, взвыла машина, но сегодня она подальше была — вот он, опыт! — спать же мешала. Но не спалось ему: он искал разгадку, он должен быть ответить Наде, там-то, в кафе, он ушел от ее вопроса, заморочил ей голову, она и не заметила, отвлеклась, а здесь, с самим собой, от ответа было не уйти.

Он поднял голову. Старушка рядом уже спала, навалившись на свой чемодан, солдатик, открыв рот, откинулся на спинку скамьи, фуражка валялась на полу, он что-то бормотал, не открывая глаз, не разобрать было — команды, что ли, сам себе подавал?

Лев Ильич уселся плотнее, поудобней, сунул под бок портфель, устроил половчей больную руку...

Свет вроде притушили, он освещал стол меж скрывшимися в полумраке скамьями, уставленный бутылками, стаканами — а закуски не было... Какая закуска, когда пили насмерть, в последний раз, твердо зная, что больше ничего — и утра не будет!

Столик маленький, а сколько их сидело вокруг! Перед Львом Ильичем мелькали лица, блестящие от вина ли, свечей — вот он откуда такой неверный свет: свечи пылали в высоком светильнике, оплывали, капая на стол желтым, как мед, воском — блестели глаза, смеющиеся мокрые губы, обнаженные руки... Да он знал их всех... "Господи, но это-то кто?"

Чернокудрый красавец с бараньими глазами поднял стакан вровень с пылавшим канделябром. Уж этого-то Лев Ильич точно знал, только глаза у него всегда были бешеными от злобы, ненависти, а тут потухшие — как в мертвом бутылочном стекле дрожали в них блики свечей.

— Давай, давай!.. — закричали за столом.

— Смирно! — гаркнул чернокудрый, и огонь свечей от его крика прынул, тени заметались по потолку. — Слушай меня! Речь о любви, о выборе, который нам всем сейчас предстоит, ибо тут никто не отвертится. Слышите, как гремит тележка, кого из нас она сегодня заберет — меня, тебя, ее? Пусть каждый знает, что его — наш час пробил... Речь о любви и выборе, который каждому из нас предстоит... — он выпил, запрокинув голову, вытер ладонью яркие губы. — Мы собрались сюда, чтоб умереть, и знаем, что не переживем утра. Откуда в нас эта уверенность, убежденность, знание того, что произойдет этой же ночью?.. Я вам за вас все объясню. Те, кто прячется сейчас за запертыми дверями, наглухо закрытыми окнами со ставнями на балконах, под жарким одеялом, думают избежать конца. Глупцы, они и

зная забыли, что страх выел в них остатки трезвости — будто чума боится замков и болтов, жаркого одеяла! Она в нас, вот она дышит на меня из ее уст, а я пью их... — и он, перегнувшись через стол, обхватил руками женщину, сидящую к Льву Ильичу спиной, притянул к себе и впился в ее губы.

Но Лев Ильич знал эту женщину — и как знал! — и темные, в желтизну, в золото волосы, и гордо сидящую голову, и нежную спину в каком-то криво надетом платье, и ее сдавленные, заглушенные рыдания узнал Лев Ильич, хоть, может и слышал-то их всего раз в жизни...

— Что ж, а меня? Или не той же чумой кипит моя кровь, красавчик? Уж со мной-то забудешься, и не слезами, есть в чем тебя утешить! — сидевшая рядом с чернокудрым отбросила русую волну волос, падавшую ей на лицо. Лев Ильич вздрогнул, попытался встать, кинуться к ней, но не смог сделать и движения.

— Давай, давай!.. — зашумели за столом.

Чернокудрый оторвался от сидящей напротив и обхватил ту, что была рядом...

Визг, скрежет все нарастали. За столом затихли, даже слившиеся в объятии как-то обмякли.

— Что ж речь? — прошептал Лев Ильич. — Чего ты напугался?

Он сказал так тихо, что и сам себя не услышал, но все за столом повернулись и уставились на него. И снова он увидел эти обезображенные, как тлением тронутые лица, разверстые рты, мертвые, с плещущим в них огнем свечей, глаза.

— Я испугался? Испугался тебя? Смерти? Чумы?.. Я обещал вам речь о любви и вы ее сейчас услышите... Все ложь, что любовь есть забота о ком-то, страдание за кого-то, стремление кому-то помочь и принести благо. Все ложь — и заповедь, запрещающая нам свободу любить, ложь, ибо говорит только о похоти, о блуде — неважно плоти или очес, души или мысли. Любовь есть единственное из средств преодолеть, заглушить, затопить в себе страх. Разве благо в том, чтоб забить болтами ставни в доме того, кого любишь, врезать стальные замки и затащить любимую под жаркое одеяло, где тебя все равно и в твоей трусливой похоти настигнет все та же кара? Нет, говорю я, потому что чумы нет за окном, ее нет и под одеялом, она в нас и ничто и никто нас от нее не спасет. Поэтому я пью за любовь, в которой бросаю вызов всему, что копошится во мне и грызет меня, поэтому я здесь, при всех, ни от кого не прячась, смешиваю свое зловонное дыхание с ее — таким же. Я забыл обо всем, мне ничто страшно, мне нет дела до нее и я знаю, что ей нет дела до меня. Но мы вместе, мы перепутались, я не знаю, где мои, где ее руки, где мои, где ее губы, моя чума в ней, а ее во мне — и уже нет смерти, хоть бы даже и не суждено нам друг от друга оторваться. Все остальное трусливая жалкая ложь, желание спрятаться и обма-

нуть себя, ее, всех. Ибо ты не для нее кладешь ей руку на грудь — видите, видите, не для нее! — для себя, ты не для нее лезешь ей под юбку, берешь за прохладное колено, выше, выше... Пусть ей это не нужно, я знаю только одно, хочу только одного — и я забыл о смерти. И чумы уже нет...

— Любовь побеждает смерть, — так же тихо бормотнул Лев Ильич. — Это штука посильней, чем "Фауст" Гете...

И все опять его услышали и снова обернули к нему мертвые лица с огнем, пляшущим в стеклянных глазах.

— Он смеется! — закричал чернокудрый. — Он издевается над нами! Я посмотрю, что он скажет, когда она проснется, зашевелится в нем и он сам в себе услышит ее зловоние...

— Я никогда ее не услышу, — сказал Лев Ильич и почувствовал слезу на щеке. — Она лежит на Ваганьковском. Если пройти от ворот мимо церкви, по главной аллее, а потом направо еще метров тридцать, то слева под большим деревом... Я не был там уж целый год...

— Он сумасшедший! — крикнул кто-то за столом. — Он плачет о жене похороненной!..

— Он лжет! — закричал чернокудрый, и Льву Ильичу показалось, что впервые его бараньи глаза ожили, в них глянула такая печаль, тоска, такое несчастье, что он снова попытался встать, думая взять его за руку, что-то сказать ему, но опять не смог сделать и движения, и голоса у него не было. — Он лжет, потому что и у меня могилы, а я их бросаю, потому что он год не был там, а спал с тобой и с тобой... Правда, Мери, скажи, что он лжет!

— Нет, — хрипло сказала та, что сидела к Льву Ильичу спиной. — Хотя голос мой не тот, что прежде, он слаще был в то время, он был голосом невинности, но напраслину возводить я не могу и сейчас. Да и вам, да и тебе, разве не жалко тех могил, что ты бросаешь — как ты станешь там ходить по их асфальту, а что под ним — то ж не твое?.. Встань! — закричала она и, схватившись с места, вцепилась в него через стол, поднимая его. — Выйди сейчас, встань прямо тут, посреди этого зала, посреди скамеек, поклонись, поцелуй истоптанный, заплеванной пол, поклонись истерзанной этой зале, земле, стране, в которой ты родился! Скажи им вслух, громко, чтоб все слышали, кто ты и что собрался сделать, что предаешь их!.. Ну что же ты, что?..

У чернокудрого в глазах блеснули слезы. Он хотел что-то сказать — может, он услышал ее? — но сидевшая с ним рядом захохотала, отбрасывая волосы, и опять Льва Ильича резануло болью такое близкое, такое желанное ее лицо...

— Ой, не могу!.. Поклонись, поцелуй, скажи, не предавай!.. Не по адресу, милочка — у, ненавижу волос проклятых эту желтину! Чего нам кланяться, чего нам каяться — мы пропащие, мы мертвые,

нам бежать отсюда, чтоб всех вас, верно красавчик сказал, не видеть за вашими трусливыми замками. Оставайтесь, совокупляйтесь в темноте, под своими одеялами, рожайте таких же как вы трусов и лакеев — а мы, верно, миленький, перед нами весь мир — посто-ронись!..

— Что это мы все обо мне, — сказал чернокудрый, опоминаясь и отбрасывая руку женщины, сидевшей напротив. У него снова мертво блестели бараньи глаза, а может и не было в них слез, почудилось то Льву Ильичу. — Зачем обо мне — вот он, пусть нам расскажет про любовь, раз он такой умный.

— Пусть расскажет! — все хохотала его соседка. — Он умный, я его одну минуточку любила, так он и за минуточку успел — обманул, надежду мою затоптал, толкнул в яму, а руку подать побоялся. Пусть-ка и обо мне, не только о своей могилке поплачет!..

— А ты, Соня, — спросил чернокудрый, — неужто его пожалеешь, разве он тебя не обманул?

— Я его люблю, — ответила та, которую он сначала назвал Мери, — я его всегда любила, даже когда... даже когда...

— Чего "когда"? Напугалась — каяться, каяться, а сама замолкла? — мертвые глаза соседки чернокудрого зажглись злобой. — Расстоналась...

— Я всегда тебя любила, Левушка, даже когда обманывала, — сказала Соня-Мери, оборотясь к Льву Ильичу, и он внезапно увидел ее прямо перед собой. — Нам надо расстаться, я тебе уже не нужна, я знаю. А я, может, еще кому успею помочь. Устала я, Левушка. Но я всегда, я вечно тебя люблю...

"Господи, помоги ей, — шептал Лев Ильич. — Прости меня за все, что я ей сделал, но раньше помилуй ее, Господи, она так истрадалась из-за меня..."

— Поможет, как же! — хохотала соседка чернокудрого, перекрикивая визг снова приблизившейся тележки. — Вот за нами экипаж с негром белоглазым! Как раз оба и поможете нагрузить, если вас обоих туда вперед не взвалят!..

— Смирно! — закричал чернокудрый, поднимаясь с полным бокалом. — Отвечай ты, мужчина, что такое любовь и кого ты из них выбираешь — вон они пред тобой, знаешь ведь их обеих, попробовал, обе тебя любят. Ну кого?

И тут еще одна на него обернулась, она сидела сбоку в темноте, Лев Ильич и не видел ее до того — такие немислимые за этим столом глаза, вот-вот готовые пролиться слезами, такая печаль глянула на него.

— Ты приходи, — сказала она. — Я всегда буду здесь, ты про то помни. Ты любой приходи — ты про то не забудь...

"Папочка! — услышал Лев Ильич. — Что ж ты, неужто меня все еще не понял?.."

Лев Ильич в страхе озирался — как, и она здесь и все это слышит? Нет, ее к счастью не было, только голосок звенел в ушах.

— Знаю, — сказал Лев Ильич спокойно и твердо. Это он действительно знал и только за Надю испугался, а так чего ему было пугаться, когда он навсегда теперь это знал.

— Знаешь? — поразился чернокудрый. — Тогда говори. Что ж она, по-твоему, любовь — возможность заглушить страх, жажда наслаждения, обладания красотой, забвения себя, попытка получить то, чего у тебя нет, стремление к продолжению рода, к бессмертию?..

— Скажи, скажи! — закричали за столом. — Пусть говорит и выбирает из них!..

— Любовь не ищет своего, — сказал Лев Ильич с ощущением невыразимого счастья. — Не ищет своего и всего надеется.

И враз смолкла, взвигнув на последок, машина, стола меж скамьями не было, бабка рядом все так же тихонько посасывала, обхватив обеими руками чемодан, а солдатик напротив бормотнул, взмахнул рукой, крикнул: "Встать!.." — и тут же дернулся, открыл глаза, поморгал, поднял с полу фуражку и спросил Льва Ильича охрипшим со сна, ломким баском:

— Сызрань не объявляли?

14

Туалет был чистеньким, видно, ремонт здесь только закончился, еще не запаковали, а уж навидался Лев Ильич вокзальных туалетов. Он даже на дверь оглянулся войдя, может, не туда его занесло, сейчас погонят? Никого нет, можно и побриться — красота!

Он раскрыл портфель, вытащил чистую рубашку, старую пропотевшую запихнул поглубже, переоделся, сразу стало посвежей, полегче, да и локоть проходил, иногда только от резкого движения о себе напоминал, достал новое лезвие — "жиллет" у него был припрятанный, он все его берег, а сегодня почему-то захотелось: "Во все чистое, как перед концом", — мелькнуло у него.

Он смутно чувствовал это в себе — почему день такой особенный не знал, ночью в бреду ли, во сне уж было додумал, но тот помешал своей "Сызранью", перебил мысль, когда он вот-вот было ее ухватил.

Открыл воду — он привык холодной бриться в командировках, приятней даже, пену взбил, лезвие впрямь удовольствие доставляло, словно снимал с себя вместе с двухдневной щетиной какую-то пакость... Да вдруг остановился с намыленной щекой.

Он себя вдруг увидел — что-то поразило его. Так привык, ни-

когда не смотрел, и бреясь, делом бывал занят — взглядишься, порежешься, да и чего глядеть, не барышня, надоел за столько лет.

А тут увидел, даже небритую щеку смыл. Стального цвета рубашка ему шла, он ее любил, хоть уж старенькая, села, узковата в широких плечах, подчеркивала раннюю седину в каштановых когда-то густых еще волосах, вон виски совсем стали белыми. Он откинул волосы, падавшие на высокий лоб, открыл пересекавшую его поперек морщину. Крупный нос с едва заметной горбинкой, утолщавшийся к низу, с большими ноздрями, хорошей формы, резко очерченные губы, подбородок не тяжелый, но сейчас, когда щеки запали, казавшийся широким, четким, две складки от носа вниз... Чужое было лицо, не он, не его.

Он смотрел себе в глаза — светло-карие, с дрожащим в глупине робким удивлением перед тем, что не здесь, конечно, им открылось, не в этом зеркале в вокзальном туалете, а удивившимся чему-то в себе. Сквозь неизбывную печаль ему почудилось в них ожидание предстоящего, знание страдания, которого не избежать, удивление перед собой, открывшим это в себе, но не испугавшимся, в нем увидившим надежду.

Он смотрел на себя как со стороны. Вот где он был — не нос, лоб, подбородок, плечи — то все чужое, случайное, а может и нарочно надетое, как Надя вчера сказала. "Вот он где я, — подумал Лев Ильич, — отыскался, вылутился, пророс росточек".

И он ухватил мысль, толкнувшуюся ночью в сердце, понял ее. И вздохнул, как от чего-то, чего уже не избежать.

Он снова намылил щеку, забыл о себе, торопясь добриться. И тут наткнулся глазами на чьи-то чужие глаза, моргнувшие ему из-за плеча.

Он резко обернулся. Перед ним, шутовски стянув кепку, склонил плечивую голову человек в мятой бархатной куртке. Он тут же распрямился, еще раз, как в зеркале, подмигнул Льву Ильичу потухшим желтым глазом.

— Марафет наводите? Да уж глаза б наши на себя по утрам не глядели — такая, извините, харя! Как наш классик сказал: ноги вытереть не захочешь...

Лев Ильич отвернулся, торопливо принялся добривать щеку.

Тот — в мятой куртке все так же стоял сзади, внимательно в зеркале изучая Льва Ильича.

— Может, и мне, это самое, так сказать, привести личность в некое соответствие? — раздумчиво спросил он. — Только смысл-то в чем? В соответствии с чем? С образом, как говорят, и подобием?.. Да после двух десятилетий безупречной службы на ниве отечественного винокурения едва ли, даже с помощью такой великолепной бритвы, обретешь сие подобие... Или вы, гражданин, на сей предмет смотрите иначе?

Лев Ильич сполоснул лицо и обернулся, обтираясь полотенцем.

— Н-да, позавидуешь, — сказал плешивый с искренним огорчением, — с таким портретом, как у вас, и в восемь часов продадут, ждать не надо.

— Какой сегодня день? — спросил Лев Ильич.

— А! — обрадовался плешивый. — У вас те же заботы, та же неясность в мыслях, то же отсутствие быта, но что самое главное — та же свобода в действиях!.. Сегодня четверг, с вашего позволения. Может ли это повлиять на наше с вами бедственное положение?

— Ч е т в е р г ? — переспросил Лев Ильич, почувствовав смутное беспокойство. — Сегодня четверг?..

Почему тогда сказано было о "четверге"? — думал он. Значит это что-то или просто день — среда, пятница... "Что ж ты думал, четверга и вовсе не будет?.."

— Ура! — закричал плешивый. — Сегодня я поверил в себя — в гениальность своей интуиции, в свою сверкающую надо мной звезду, не важно, утренняя она или вечерняя, но скорей утренняя, ибо, с одной стороны, кто ж вечером глядит в небо, есть еще куда посмотреть, а с другой — куда ж еще глядеть утром, ибо все наши возможности пока перекрыты... В четверг у вас зарплата — я угадал?

— Нет, — сказал Лев Ильич, он полез уже было в карман, но вдруг остановился: "Что-то они мне слишком часто стали попадаться — эти интеллигентные алкаши, и у каждого свой прием околпачивания дурачков..." — быстро думал он, глядя на часы: теперь он не мог терять ни минуты, все ему было ясно, он уже маршрут рассчитывал. — Нет, зарплата была в прошлую пятницу, а посему я вынужден извиниться...

— Эх, — сказал плешивый, натягивая кепку, — что ж мне домой, что ль, идти, сдаваться?..

Лев Ильич бежал по улице, размахивая портфелем, поглядывал на часы — слава Богу, стрелка перемещалась медленно, да тут все было вымерено, всю жизнь пробегал. День начинался ясным, он вчера по закату определил, что будет хорошо, не ошибся. Весна, никуда не денешься, к Пасхе совсем станет тепло, сухо. Может, неловко так рано? Ловко-неловко, а когда опоздаю — ловко будет? Тут главное — не опоздать. Да не может быть, ему всегда везло. К тому ж он ясно слышал, как она сказала, что билеты з а в т р а. Ну а завтра, значит сегодня — в четверг. "В четверг?" — стукнуло в голове. "Ну и хорошо, сегодня я ее остановлю, — бормотал он, — я ж не для себя.." Вся беда, вся его путаница, вся жалкая неразбериха всегда были в том, что он старался для себя, искал свою выгоду, в какие бы красивые одежды она ни обряжалась. Теперь с этим кончено, он сам с собой и перед собой был совершенно чист, он в эту ночь всего себя рассек и увидел, он там, перед зеркалом, поглядев себе в глаза, понял это и

то, что ему предстояло делать. Ей было хуже всех, она погибала, как же тут проклинать, подталкивать, радуясь своей силе, а ее слабости, тому, что нет уже и желания сопротивляться, выбраться из трясины, что ее затягивает глубже и глубже — радоваться только своему пониманию? Что ж, что он услышал Любу сквозь все ужасное, что у них было, поверх всего — что любит ее, что она его любит, вот и станет он пережевывать свое счастье, упиваться своим высоким страданием, а рядом человек будет гибнуть... "Да у нас сил много, у нас-то любовь... — белго подумал он и отмахнулся, все было решено. — Тут совсем другое..." Пусть она не просит, отказывается, не верит — он заставит поверить, он все сделает, найдет в себе силы, у него их хоть отбавляй, хватит, раз он ей нужен — она про это, может, и не знает. Он себя погубит — пусть, не о том же думать, когда рядом человек уже не кричит — гибнет, и стоны не слышать, все кончено, обеспамятела от слабости, а никто, верно, руки не протянул. Потому что у всех самолюбие, своя правда, самоуважение... А вдруг ошибся? Нет права судить, чужую беду — руками, каждому свое... Но неправда это все — каждый перед всеми и за всех виноват, а стало быть, отвечает за каждого, а он-то точно виноват — не увидел, не помог, проглядел. Как же ее оставить в злобе, в ненависти — да и вдруг не так?..

Он все на часы глядел — ну не может так быть, чтоб опоздал, а что там — там-то сомнений не было, будто и она с тех пор, как наклонилась над ним в больнице, была с ним вместе, то же, что и он, прошла, про то же думала, те же слова ей шептали — и то же знание открылось.

Он ни на минуту в этом не усомнился — главное было не опоздать, будто билеты что-то значили, раз уж все и так решено, и будто, если можно перерешить, трудно было б порвать эти билеты, выбросить.

Он и не думал о том, что скажет, словно его появление само по себе так должно было ее поразить — что какие еще слова, а то, что она там собралась, сложила вещи, распростилась с этим домом — даже упрощало задачу: он возьмет ее за руку, она ведь действительно так этого все время ждала, да ведь еще не поздно, не опоздал, успел, еще и билетов не взяли...

Он на мгновение приостановился, узнав знакомое место: тот же проулок круто сбегал вниз: "Эко меня все здесь носит", — успел подумать он, где-то тут позавчера была та страшная проталина... Он глянул — снег был разбросан, искромсан, да хоть бы и то же самое, теперь он стал совсем другим — ничего такого ему не надо. Все в нем, вся эта гнусная чума не за окном, не в доме, не под одеялом, — в нем она, в себя надо поглядеть. "Да уж нагляделся", — с облегчением думал Лев Ильич.

К Косте надо было сворачивать налево, а ему — направо. "И

это хорошо”, — мелькнуло у него. Он издали увидел дом с балконами, узнал его, он его представлял по адресу, да знал этот район!.. Перебежал двор, у самого подъезда перегородила дорогу сверкнувшая темно-красная машина — ”жигули”-фургон. ”Успел, не уехали!” — как ударило его.

Он вбежал в подъезд, глянул номер на первом этаже, про себя просчитал этажи и махнул мимо лифта на пятый этаж: ”Еще застряну, — вдрут со страхом подумал он, — так-то понадежней.” Он позвонил задыхаясь, сердце стучало, в пальто было жарко, да и большую руку повернул неловко, опершись о перила. Ему показалось, долго не открывали. Он позвонил еще раз, не отпуская кнопки, потом ударил кулаком — дверь медленно внутрь отворилась, пропускающая его.

Коридор был ярко освещен, завален вещами, он только бегом на все это взглянул и обомлел: перед ним, расставив ноги в джинсах, в белой маечке, засученной на крепких литых руках, стоял чернокудрый красавец с бараньими глазами — тот самый, из его ночного бреда — ”Ах, это он?..”

— Вот те раз, — изумленно свистнул тот, — сам пожаловал?

— Коля или Вера дома? — спросил Лев Ильич, испугавшись вдрут, что все-таки опоздал.

— Так кого ж вам — Колю или Веру? — не двинулся с места чернокудрый.

Лев Ильич все боясь, что теряет время, шагнул вперед по коридору, но тот поднял руку, преграждая дорогу.

— Не так быстро, чего вам здесь надо?

— Кто там? — услышал Лев Ильич мужской голос за закрытой дверью комнаты.

— Смотри какой гость, — отозвался чернокудрый, — сам приполз, а я думал, придется его искать, чтоб проститься, не уезжать же так, воспитание не позволяет.

Распахнулась дверь комнаты, на пороге стоял Коля Лепендин, голый до пояса, тоже в джинсах с веревкой в руке: ”Собираются...” — мелькнуло у Льва Ильича. ”Успел, успел”, — все так же замороченно думал он.

— Погляди, Николай, каков Ромео...

— Здравствуй, Коля, — шагнул к нему Лев Ильич, но чернокудрый все не отходил и снова поднял руку вровень с грудью Льва Ильича. — Нам нужно поговорить. Вера дома?

— Это еще об чем разговор? — прищурился Коля. — Да у меня и времени нет. Мы сейчас за билетами едем.

— Вот об этом, о билетах... Вера не может, не должна уезжать.

— Чего? — захохотал чернокудрый. — Коля, ты слышишь?

Распахнулась дверь другой комнаты, выскочила Вера в своем черном свитерочке, в джинсах (”Чего это они все в джинсах, как в

форме?” — успел подумать Лев Ильич), со стопкой белья, прижимая его подбородком, непричесанная, бледная, увидела Льва Ильича да и шархнула обратно.

Чернокудрый шагнул за ней и хлопнул дверью, закрыл, за-слонил ее широкой спиной.

— Чего надо? — на этот раз без шутовства, с угрозой спросил он, и в бараньих глазах заплескалось бешенство, злорадия.

— Послушай, Коля, — сказал Лев Ильич, — мы с тобой столько лет знакомы, хоть не так уж знаем друг друга, но я б никогда не стал тебя отговаривать, убеждать — у каждого свое право, своя судьба, а что ты ее такой выбрал, пусть Господь тебя судит. Да ты и человек, как я понимаю, четкий в своих действиях... Но Вера... Ты ее лучше меня знаешь, она — вся здесь, всеми корнями, всей душой — наша, она пропадет, замучается, она и сейчас потерялась...

Коля слушал его в полном изумлении, механически наматывая веревку на руку.

— Ты мне поверь, — несло Льва Ильича, куда уж ему было оценить нелепость ситуации. — Тут никакой моей корысти или расчета. То есть, конечно, если бы Вера захотела, я буду счастлив, ты можешь быть уверен, я умру здесь ради нее, все сделаю, чтоб ей быть счастливой. Но она будет дома, она отгадет, успокоится, найдет себя, ты не только о себе, о ней подумай — ну куда она, такая до ногтей русская — куда ей ехать?

— Ты что... сбрендил? — хрипло выдохнул Коля Лепендин. — Откуда тебе знать про ее... ногти?

— Да и мальчика, — спешил Лев Ильич, уж совсем обезумев, — разве можно его лишать родины? Ты знаешь, я тут наглядился на молодых — куда нам, наше дело, верно, уезжать да пропадать, если не... Да нет, не так, не так, но в них, уж точно, вся надежда, в них Россия очнется — разве можно мальчика? Здесь каждый на счету, да и он тебе не простит, как вырастет...

— Что?! — крикнул Коля. — Какого еще мальчика? Андрюшку моего?.. Саша, ты слышишь? — теперь он спрашивал чернокудрого, все так же изумленно.

— Я-то слышу, я не пойму, зачем тебе это все слушать.

— Понимаешь, Коля, это как над пропастью... — продолжал Лев Ильич, он смутно начал понимать, что делает что-то не то, что все это чудовищно, кроме того, что глупо и бессмысленно, но уже и остановиться не мог. — Она, может, ждет, чтоб ей протянули руку, она падает, понимаешь, падает и...

За спиной чернокудрого раскрылась дверь, он невольно сделал шаг назад и под его рукой проскочил мальчишка — белобрысый, с глазами, как у Веры, чуть с косинкой.

— Здраствуйте... — сказал он, не выговаривая "р". — Папа, ну газгеши, я возьму атлас СССР и наши сказки? Мама говорит, что

что можно, что там их не найти...

Чернокудрый поймал его за воротник, отшвырнул в комнату и снова захлопнул дверь.

— Ты просто городской сумасшедший, — сказал Коля Лепендин, — убирайся вон отсюда. Я б, может, и поговорил с тобой, руки чешутся, да у меня время считано. Вот уж номер на закуску...

Он повернулся голой спиной и пошел в комнату.

— Да тебе и нельзя, — весело сказал чернокудрый, — личный момент, как же! Тут все чисто должно быть. А вот у меня с ним разговор простой и право есть. Свое собственное. Наше. Я его еще тогда, как Валерия провожали, для себя выбрал, память-то надо оставить, а уж в нем все сходится... — и шагнул от двери.

Лев Ильич уже опомнился, сообразил, понял, что будет дальше. Так уж такое нелепое предприятие и должно было закончиться какой-нибудь нелепостью, дикостью. Он и в детстве не был драчуном, так, случалось, вынуждали, да и не умел, верно, драться, но когда очень становилось обидно, когда его охватывало бешенство, тут его бывало трудно остановить, все-таки и вес был, и отчаянность в нем поднималась. Но сейчас-то какая была обида, на себя разве? Откуда бешенству взяться, отчаянности...

Он впервые всмотрелся, увидел чернокудрого: "Саша его зовут, что ли?" Тот внимательно глядел на Льва Ильича, веселая злоба играла в глазах. "Ишь командос..." — мелькнуло у Льва Ильича.

И тут у того за спиной снова распахнулась дверь: Вера — белая, как стена, стояла на пороге, прижав руки к груди.

Лев Ильич на мгновение оторвался от Саши, краем глаза только следил, ждал — не ему же первому было бить. Но так и не уследил, тот и половчей был, умелый, да и всерьез, сам же сказал, готовился, раз давно его выбрал. Он и не видел его руки, не ждал отсюда — тот ударил левой, резко, точно, и Лев Ильич упал бы, если б не дверь, у которой стоял, медленно стал сползать, услышал, как Вера сдавленно вскрикнула, отшатнулась в комнату, захлопнула дверь, и удивился, что так и нет в нем ни обиды, ни злобы — ничего того, что заставляло его кидаться в драку. И тогда Саша ударил его правой.

Он, видно, на мгновение потерял сознание, потому что вдруг увидел возле себя Колю Лепендина, все с той же веревкой, а когда тот подошел, не заметил. "Уж не свяжут ли?" — усмехнулся он, пытаясь улыбнуться, и не смог раздвинуть разбитые губы.

— Будет, Саша, только этого нам сейчас недоставало... — сказал Коля Лепендин. — Да он уж готов. Сбрызни его водичкой...

— Может еще добавить? — спросил Саша. — Чтоб запомнил, чтоб нас вспомнил, когда его тут православными сапогами будут топтать...

— Будет, — повторил Коля, глядя в глаза Льву Ильичу, все с тем же застывшим у него в глазах удивлением.

Саша отошел, тут же вернулся, выплеснул в лицо Льву Ильичу кружку воды, открыл дверь, приподнял его и вышвырнул обмякшее тело на лестничную площадку. Потом рядом с ним шлепнулся его портфель.

Дверь захлопнулась.

15

Лев Ильич полулежал, привалившись к бетонной стене на площадке лестницы, свесив ноги на две ступеньки. Все плыло перед глазами, а мысли были спокойные, медленно сменяли одна другую, поворачивались перед ним, он с разных сторон их рассматривал, взвешивал и только тогда отпускал. Будто он сделал уже свое дело, а теперь, наконец, торопиться было совсем некуда.

Значит, с этим покончено. Совсем, навсегда. Или нет? Еще хочешь попробовать? "Нет, — ответил себе Лев Ильич. — Больше не хочу". А разве только до семи раз, а не... нет, здесь было уж семьдесят... Он с трудом отоврался от стены, вытащил из кармана грязный платок, вытер лицо и с недоумением посмотрел на платок — он стал красным, мокрым. Он выбрал местечко почище, приложил его ко рту. "Второй-то раз он мог бы и не бить — это уж свинством было..." Да чего теперь говорить, это ты мог бы не приходиться, мало, что ль, тебе было ее разговора по телефону, который слышал, лежа там, на каталке?.. Так после того она к нему подошла, как же, когда он услышал ее сдерживаемое дыхание, когда она навсегда с ним простилась. Ну так навсегда же, зачем не поверил?.. Нет, здесь все было кончено, и мокрый, весь кровью пропитанный платок тому свидетельство.

Отсюда надо уходить, подумал он, они вот-вот откроют дверь, а там еще мальчик. Мальчику на это уж совсем не к чему смотреть — зачем ему такое напоследок... "Может, сказки все-таки разрешат увезти..." Он попытался подняться и не смог.

Наверху, пролетом выше, открылась дверь.

— А машина в гараже? — услышал он женский голос.

И глухо, видно из глубины коридора, ответил мужской:

— У подъезда. Иду, иду...

"Ага, вон, значит, чья машина..." — для чего-то отметил Лев Ильич.

Каблочки стучали все громче, ближе и замерли возле него.

— Только этого не доставало!.. До чего дошли, Петро! Ты полюбуйся, что тут у них! Мало того, что уже две ночи спать не дают, крик на весь дом, они и с утра начинают...

Лев Ильич с трудом повернул голову. Он увидел длинный ко-

жанный сапожок на высоком каблучке, поднял голову — полная, в светлом прозрачном чулке ножка, круглое колено...

Ножка поднялась и ткнула его острым носком в бок.

— У — мразь!.. — прошипела женщина. — Хоть бы все друг друга перебили и уматывались отсюда, дышать можно будет...

Женщина побежала вниз, Лев Ильич увидел темно-зеленую замшевую спину, рассыпавшиеся по ней золотистые локоны. На следующей площадке она обернулась: на румяном лице злобно блестели сузившиеся глазки. Она высунула язык, верхняя губка приподнялась, обнажив ровные, белые, как на рекламе зубной пасты, зубы...

— Шлем Мамбрина... — пробормотал Лев Ильич, отнимая платок от разбитого рта, и сплюнул тягучую красную слюну.

Женщина выкрикнула еще что-то нечленораздельное и побежала вниз, отступив ступеньки.

Наверху щелкнула дверь, скрежетнул, поворачиваясь, ключ в замке, приближались новые шаги. Теперь рядом с собой Лев Ильич увидел новенький, блестящий черным лаком полуботинок, ярко-красный носок, а над ним чуть расклепленную в стрелочку брючину.

— Чего это с тобой, друг, в такую рань и уже готов?

Лев Ильич недоверчиво косился на полуботинок.

— Сказал бы чего — жив-нет?

Полуботинок постучал каблуком, потом носком, появился второй и они дружно двинулись вниз, прыгая через ступеньку; открылась широкая, светло-желтая замшевая спина.

На площадке он так же, как и она, обернулся, тоже прищурил глаза и свистнул, удивленно сложив бледные губы.

— Ну и отделали тебя, друг, уж не наступил ли кто ненароком?

— Во своя прииде, — сказал с трудом разжимая губы Лев Ильич, — и свои Его не прияша...

— Готов, — констатировала замшевая куртка, — спекся.

— Петро! — взвизгнул снизу знакомый уж Льву Ильичу голос. — Дверь на второй ключ запри, а то от этих... французов всего можно ждать!..

Замшевая куртка покачала головой, отвернулась от Льва Ильича и побежала вниз.

Хлопнула дверь подъезда, зафырчала машина, и ему показалось, он услышал какое-то движение здесь, за дверью на площадке. Он оперся руками так, что хрустнул, прямо по сердцу резанул левой локоть, встал, снова нагнулся — это было особенно трудно, поднять портфель, качнулся от стенки к перилам и пошел, закрывая глаза на поворотах, когда в голове все поворачивалось, обгоняя его, ступеньки вставали дыбом и уж лучше на них было не смотреть.

На улице стало полегче: ветерок, свежесть, солнышко такое — рано еще, да и не торопился он никуда, хотя и знал, вот что самым-то

главным теперь в нем было — знал, куда путь держит.

Так он и шел: медленно, как в воду, пробуя ногой тротуар. Он уж забыл о захлопнувшейся за ним двери подъезда, о лестнице, по которой с таким трудом только что спускался, закрывая глаза на поворотах, о площадке, на которой остался выплунутый им сгусток его крови, о квартире, где сейчас складывали чемоданы, подбивали бабки, в пустой надежде забрать с собой прожитую жизнь.

Нельзя ее забрать — вот она медленно поворачивалась перед Львом Ильичем разномастными, старыми, обшарпанными, новыми — нелепыми домами, грязными дворами, блеклым в дымке небом. Нельзя ее перечеркнуть, забыть в себе, забить — она уже проросла, кровью впиталась, качает ее сердце, гоняет по всему телу, а иначе и ногой не двинешь. Это там так можно: собрал чемодан, купил билет — и вот уже новое небо. То там, а то — здесь. А может, и ошибался Лев Ильич, это ведь общий закон, что от себя не сбежишь. Конечно, не знал он, что там. Да и не хотел узнавать. В нем теперь другое з н а н и е стучалось.

“За что это мне, Господи?” — услышал он в себе когда-то шевельнувшуюся в нем, не додуманную мысль. Велика ль заслуга, что нет у него ничего, разве это сам он хоть от чего-то отказался? Это Господь так его любит, за что, почему, ну чего он стоит! — что Сам все у него забрал, где-то далеко остались и дом, и постылая работа, и друзья, и женщина, которую вздумал спасти... Вот если б сам, своей волей избрал эту подаренную ему свободу, сам бы распростился со своей жалкой жизнью... Но на это у него не хватило бы сил, а значит, и это Господь за него решил... Но он все еще думает, вспоминает, перебирает — жалеет, что ль, вон какая печаль его вдруг пронзила? Стало быть, что-то оставалось в нем, оно и плакало сейчас, выбаливаясь. Долгий еще путь ему предстоит и чего только не будет на этом пути, но он уже шел, он был уже другим, знал, что возложивший руку на плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия...

Он подумал, что всего три недели назад — нет, две недели, нет, как же, сегодня четверг... “Четверг!” — прошептал он про себя.

Значит... восемнадцать дней назад, тогда в поезде он, еще не сказав, понял в себе, услышал сердцевицу, зернышко, луковку, а все эти дни одну за одной снимал с себя шелуху, добираясь до нее. Добрался ли? Нет, конечно, но все ближе, ближе, и какое это счастье было то осознавать, чувствовать биение, теплоту ожившего сердца, зная, что оно непременно будет нужно кому-то, что все мы кому-то еще нужны...

Он поднимался по переулочку, поглядывая вверх на вырастающую над ним белую, приземистую башню. Ее венчали купола, крест горел в голубевшем сквозь дым небе, башня занимала всю вершину бывшего здесь когда-то холма, выросла в него прочно — века уже сто-

яла — не сдвинешь. На паперти никого не было. Он стянул кепку, шагнул в притвор. Две старушонки забормотали, увидев его, он выгреб из кармана мелочь, перекрестился и ступил в церковь.

Он поразился малолюдству: старухи стояли, как выстроены, на равном расстоянии одна от другой, вдоль стен, парами, образуя правильную геометрическую фигуру... "Как кристалл" — радостно подумал Лев Ильич: старухи обозначили вершины, точки пересечения, он ступал по одной из граней, а все вместе это и называлось чудом гармонии.

Прямо перед собой он увидел Царские врата, наглухо, как крепом, затянутые черным воздухом, шагнул вправо к конторке, попросил свечу, не заметив, как глянула на него прислужница, и медленно пошел по проходу, меж старухами, прямо к Царским вратам. "Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, — слышал он чистый речитатив, один голос, хора же вовсе не было. — Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину..."

Он прошел прямо к Распятию, затеплил свечечку, прилепил ее рядом с другой, трепетавшей живым огоньком, перекрестился, отступил на несколько шагов и стал прямо против Царских врат меж двумя старухами.

Тихий восторг задрожал в его душе. Как это произошло — он сделал всего лишь несколько шагов, переступил порог, его одна лишь стена отделяет от города, живущего совсем другой, безумной жизнью, а тут...

"Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемая; тогда возложат на олтарь Твой тельцы..."

Он увидел священника. Тот вышел из боковой двери — старенький, шаркающий, в темном облачении, с белой бородой, стал у Царских врат, глянул перед собой, ткнулся глазами в Льва Ильича, стоявшего против.

— Господи и Владыко живота моего, — сказал он глухим, проникшим Льва Ильича голосом, отчего у того мороз пробежал по спине, — дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми...

Он повалился на колени, приложившись лбом; потом с трудом начал подниматься с колен.

Лев Ильич увидел боковым зрением, что и старухи рядом бухнулись оземь, торопливо стал на колени, ощутил лбом прохладу камня и, уже поднимаясь, услышал:

— Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви да-

руй ми, рабу Твоему.

Теперь Лев Ильич успел, вместе с ним упал на колени и поклонился с восторгом.

— Ей, Господи, Царю, — произнес священник, поднявшись, — даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Лев Ильич еще раз упал на колени вслед за священником, одновременно со старухами — они были теперь вместе, он знал, что они повторяют те же Слова, что и он, — он молился!

И тут он снова вздрогнул от неожиданности — от тишины, внезапно объявшей храм. До того кто-то шелестел, бормотал, на клиросе читали молитвы, кто-то за спиной двигался — а здесь ничего, мертвая тишина упала, и в ней увидел Лев Ильич священника, крестившегося и кланявшегося поясно, по-стариковски, с трудом распрямляясь. И старухи рядом, как крыльями черными взмахивали, кланяясь и распрямляясь.

У Льва Ильича уже кружилась голова, но он так счастлив был этим неведомым ему ощущением того, что он не один, вместе — ощущение Ц е р к в и его посетило и сотрясло всего.

Священник последний раз выпрямился и твердо взглянул перед собой, прямо в глаза Льву Ильичу.

— Господи и Владыко живота моего, — сказал он тихо, — дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Он еще раз упал на колени, Лев Ильич за ним; священник поднялся и перекрестившись ушел в те же боковые двери.

Льву Ильичу показалось, что он весь как бы насквозь высветлился, очистился, голова плыла — о, ему было за кого молиться и кого поминать, за кого умолять Спасителя, раньше всего понимая свою вину перед всеми.

“Блажени нищие духом, яко тех есть Царство Небесное...” — услышал он четкий, быстрый речитатив.

Старуха рядом пала на колени, крестясь, он следом за ней, и тут с легким треском, как разодрался креп — отошел черный воздух и поток голубого просвеченного солнцем света хлынул в храм сквозь радужные резные Царские врата.

Лев Ильич застыл на коленях.

“... Блажени плачущие, яко тии утешатся, — продолжал все так же, не прерываясь, безо всяких переходов тот же голос. — Блажени кротцыи, яко тии наследят землю. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся. Блажени

изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное. Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради. Радуйтеся и веселитесь, яко мзда ваша многа на небесах...”

Лев Ильич не поднимался с колен, да у него и сил сейчас не было. Вот она, л а з у р ь , в е ч н о с т и , о которой недавно читал, вот она — не в книге, не в чьих-то словах, он сам в ней — льющейся и льющейся, струящейся к нему из Царских врат. Ему показалось, его накрыло, приподняло и вынесло куда-то на волне этого голубого, пронизанного солнцем, не способного теперь уже иссякнуть в его жизни света. Он увидел в нем все, что было и есть, все, что было всегда, еще до того, как стало все, время кончилось — его уже не было, оно сошлось в мгновение, все сразу и одновременно: и первый день Бытия, когда Господь приколачивал звезды к небосводу, и начало истории, и ее центр — Распятие и Спасителя на Нем, и две тысячи лет спустя, и сегодня — все одновременно и сразу присутствовало в этом свете, отсекавшем все, что подлежало отсечению, и сгоревшему. Он увидел и тут же узнал в клубящемся розовом мареве горстку пастухов, выходящих со своими стадами из Харрана, беснующуюся, рвущую на себе разноцветные одежды толпу перед храмом в Иерусалиме, штабеля трупов с занесенными снегом глазами где-то здесь, со всем рядом, подле — и себя, стоявшего на коленях посреди русской церкви, в льющемся и льющемся потоке голубого солнечного света. ”Се, скиния Бога с человеками, — вспомнились ему Слова, — и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни воплей, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло...”

Да, он был там, где он должен был быть. Это была его судьба, его жизнь, не отделимая от судьбы и жизни всего, что плыло сейчас вокруг него. И он знал, что у него не может быть другой жизни или другой судьбы. И готов был радоваться и веселиться тому, что, быть может, Господь будет так милостив к нему, что отметит его поношением за Имя Свое и его ижденут и прорекут всяк зол глагол на него лжуще Его ради. И ему позволено платить и платить по неоплатным счетам всей кровью и всей любовью, которой горело сейчас его сердце.

Он испугался, что упадет, голова гудела, все плыло перед глазами. Он встал, напрягши все силы, перекрестился, поклонившись в пояс, и пошел меж старухами к выходу, прижимая платок к мокрому лицу.

Паперть и теперь была пуста, его качнуло о косяк, он не удержался и грузно сполз на каменную ступеньку.

Сейчас пройдет, — думал он, — это от счастья, слишком уж хорошо мне — за что?

И все было хорошо — не только в сердце, переполненном ра-

достью, но и дома вокруг маленькой площади, переулочек, начинавшийся здесь, круто бежавший вниз, редкие в этот час прохожие — все было его, родное, и на всем, на чем бы не останавливались его затуманенные слезами глаза, он видел как бы начертанное солнечными литерами одно имя... "И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло..."

— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, — прошептал Лев Ильич, отнимая платок ото рта, — помилуй мя, грешного...

Платок был мокрый, в крови, густая капля упала на камень, на котором он сидел, и тут же он услышал, как глухо стукнула в кепке, брошенной на колени, монета.

Он вздогнул и поднял голову.

Над ним стояла немолодая уже женщина в плисовой черной жакетке, перепоясанной на груди крест-накрест платком, держала за руку девочку в платочке, в валенках с галошами. Они, видно, выходили из церкви следом за ним и тут у порога наткнулись на него.

Лев Ильич узнал ее сразу — та самая, из поезда. Он попытался встать и не смог.

— Сиди, сиди, мил человек, не тревожь себя, отдыхай, — сказала женщина, уж она-то, конечно, не узнала его, сколько их, таких, как он, мелькали перед ней за эти дни. Да, верно, его и мудрено было б узнать. — Экой ты несчастной...

Она полезла за пазуху, вытащила белую тряпицу, неторопливо и бережно развернула ее, вынула просфору, разломил пополам на тряпице и протянула Льву Ильичу.

— Как знала, со вчера сберегла. Покушай, батюшка, сил-то и наберешься.

Лев Ильич принял просфору с половиной креста и буквами "ИС" — теми самыми, что сияли сейчас перед ним в солнечном свете.

Женщина еще раз разломил оставшуюся половинку, один кусок протянула девочке, а второй завернула в тряпицу и спрятала за пазухой.

— Пойдем, внученька, — сказала она, крепко взяв девочку за руку, и еще раз глянула на Льва Ильича. — Храни тебя Христос, батюшка.

Она широко, по-мужски, перекрестилась, оборотясь на церковь, и шагнула вниз с паперти.

1974 — 1975

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	205
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	410

ACHEVÉ D'IMPRIMER
EN NOVEMBRE 1978
PAR JOSEPH FLOCH
MAITRE-IMPRIMEUR
A MAYENNE
N° 6452

НОВАЯ СЕРИЯ ПЕРЕИЗДАНИЙ

В эту серию войдут книги литературного, общественно- и религиозно-философского содержания давно распроданные, а вместе с тем, по значению своему и качеству, необходимые широкому кругу читателей.

- 1 — К. МОЧУЛЬСКИЙ — Духовный путь Гоголя.
(Париж 1934), 150 стр.
- 2 — В. ХОДАСЕВИЧ — Некрополь.
(Брюссель 1939), 280 стр.
- 3 — Э. ГОЛЛЕРБАХ — В. В. Розанов.
(Петроград 1922), 112 стр.
- 4 — М. ЦВЕТАЕВА — После России (1922-1925). Стихи.
(Париж 1928), 160 стр.
- 5 — Сергей БУЛГАКОВ — Тихие думы.
Из статей 1911-1915 г.г. (Москва 1918 г.), 204 стр.
- 6 — Ф. ТЮТЧЕВ — Политические статьи.
(С.-Петербург 1900 г.), 178 стр.
- 7 — К. ЧУКОВСКИЙ — Книга об Александре Блоке.
(Берлин 1922 г.), 170 стр.
- 8 — А. РЕМИЗОВ — Огонь вещей.
(Париж 1954 г.), 232 стр.
- 9 — ЛИК ПУШКИНА. Три речи: о С. Булгакова, А. Карташева, В. Ильина. (Печоры 1938), 48 стр.
- 10 — Б. НОЛЬДЕ — Юрий Самарин и его время.
(Париж 1926 г.), 248 стр.
- 11 — О религии Льва Толстого. Сборник статей.
(Москва 1911 г.), 260 стр.
- 12 — Н. МЕТНЕР — Муза и мода.
(Париж 1935 г.), 160 стр.
- 13 — Л. КАРСАВИН — Saligia.
(Петроград 1919 г.), 80 стр.
- 14 — Н. АНЦЫФЕРОВ — Душа Петербурга.
(Петроград 1922 г.), 232 стр.
- 15 — Кн. С. ВОЛКОНСКИЙ — Быт и бытие.
(Париж 1924 г.), 232 стр.
- 16 — Памяти Блока.
(Петроград 1922), 112 стр.